



*Жанне Павловне, жене
помощнику, другу*

Г О Д И Н Ы

РОМАН

*И, упав, её лицо
В губы чёрные целую...
В. Брюсов. «К земле»*

Глава первая

ИЮЛЬ 41-го...

1

Землю как будто наклонили: всё, что было на земле, что могло двигаться, медленно сползло на восток. По мощёным трактам, по душным от пыли просёлкам, по тропам, промятым прямо по несбережённым в эту лихую годину хлебам, люди шли и не смели остановиться: женщины с детьми на окаменелых от натуги руках, старухи в платках, согнутые тяжестью ещё не брошенных узлов, ребятишки, то догоняющие с плачем своих матерей, то снова затеривающиеся в общем движении людей, изнемогающих от усталости, своего и чужого горя, голодности и униженности, — тьмы людей, среди которых двигались подводы, ревели одуревшие коровы с дикими, будто вспухшими, глазами, ползли машины, катились пушки вслед за покорно-бесчувственными лошадьми. Позади, по краям, в самой этой раздавшейся за обочины пёстрой людской реке, текущей прочь от закатного солнца, шли другие люди, одинаково одетые в испятнанные потом гимнастерки, в пилотках, а многие и без пилоток, не пряча от солнца недавно стриженные головы. Люди эти, ставшие теперь солдатами, тоже шли на восток, вцепившись усталыми руками в ремни своих винтовок, и качались над их плечами и головами, взблескивая прожигающими отсветами солнца, ненужно длинные штыки. Солдаты шли молча, глядя вниз, в растёртую людьми и машинами землю; казалось, никто из них не видел, не хотел видеть стоящие в спелости хлеба, затенённые леса по логовам, дома деревень на взгорьях, никто из них не смотрел в распаханное небо, никто из них уже не ждал от знойной, давящей высоты ничего, кроме лиха.

Макар Разуваев перешёл за обочину, спустил с натёртого плеча лямку; пулемёт, привязанный к вожже, дужкой придавил серые лопухи, пыль потекла с помятого кожуха, с окованных, пообтёртых до лоска колёс. Пулемёт он подобрал у Рудни, на перекрёстке дорог, на бугре под берёзами, где лежали два пулеметчика в взгорбившихся на спинах гимнастёрках; по-уставному раскинув ноги в ещё не стоптанных ботинках, они лежали голова к голове, и, видно, давно.

Из всего, что случилось за первую и вторую неделю июля: бомбёжек, людских страданий, солдатской горечи, — он почему-то особо запомнил этих пулемётчиков на бугре у дороги, лежащих в тишине, без пилоток, голова к голове. Сбоку пулемёта свисала лента с недострелянными патронами, рядом стояли три коробки с открытыми крышками — одна порожняя, две полные, с уложенными лентами. Снаряд пропахал землю прямо по тугим корням, чернотой взрыва окинув по низу берёзы. Выше стволы чисто белели, и живая тень листьев шевелилась на белых стволах, на ещё не обмятых гимнастёрках, на стриженных затылках парней. Если бы не земля, надорванная снарядами, не чёрная гарь на стволах, можно было подумать, что на бугре, в тени листьев, заснули два умаявшихся подпаса. Может быть, потому он и взял пулемёт и повёз за собой в скопище людей, отступающих в глубь России, что стриженные эти парни, чем-то похожие на знакомых ему семигорских подпасков, не успели дострелять припасённые для боёв патроны.

Макар расстегнул, растащил до плеч как будто влипший в тело комбинезон; сидеть в танке — куда ни шло, но для июльской жары и пеших дорог — не одежда! Шлемом утёр лицо, губами ощутил солёность сопревшей подкладки, хотел сплюнуть, но сухой рот не набрал слюны; языком потрогал занывшие от соли губы.

Мимо теперь шли только солдаты, замыкающие неоглядную колонну беженцев, шли вразнобой, тяжело переставляя будто неразгибавшиеся в коленях ноги. Качались лица, одинаково серые от пыли; из белых, промытых потом глазниц глядели невидящие глаза, казалось, безразличные ко всему на свете. Солдаты как будто врывались в душную пыльную завязь, не ускоряя, не замедляя движений; за собой они оставляли какое-то неопределённой величины безлюдное пространство, в которое с той же неостановимостью, с какой шли они, входила чужая, вслед им идущая сила, и оттого, что были они последними и за ними оставалась пустота, над которой они уже не были властны, шаг их казался особенно тяжким.

Макар пристроился к солдатам, впереди неулыбчивого лейтенанта в ремнях, при кобуре, с коротким немецким автоматом на груди. Лейтенант был из казахов или татар; плоское его лицо и узкие щёлки чёрных, прицеливающихся глаз он видел и прежде и знал, что лейтенант, по приказу капитана, ведущего колонну, следил, чтобы никто не отставал в пути, ни по случаю, ни по своей воле; лейтенант уже много дней исполнял приказ неотступно, как будто не чувствуя ни усталости, ни жары. Макар видел взгляд следящих за ним чёрных глаз, но в пыльной духоте, объявшей дорогу, не хотелось даже говорить; объясняться он не стал, просто пошёл следом за солдатами, принаравливаясь к их тяжёлому, неспешному шагу. В хвост колонны он перешёл от нарастающего беспокойства за всё множество людей, собранных на одну дорогу.

Не далее как третьего дня, вот так же после полудня, из-за леска сзади и слева наскочили на колонну немецкие мотоциклисты. Веером развернули мотоциклы по выгону, стараясь поглубже охватить движущийся поток людей, и пока, взбудораженные появлением врага, люди суетно растекались по канаве, ложбинам, хлебам, автоматчики, не сходя с мотоциклов, деловито, сосредоточенно били в них из пулеметов, автоматов, даже из короткого установленного в коляске миномета. Сеть трассирующих пуль трепетала над дорогой, опрокидывала людей; люди разбегались, кричали, рыдали, стонали, голоса их глохли в хлопках разрывающихся мин, ровном гудении хорошо отлаженных пулемётов, прерывистом потреске автоматов, — казалось, саму землю хлестали свинцовыми кнутами, и лопалась земля, и проступала кровь.

Тогда ещё не было у него этого, подобранного на другой день пулемёта; была у него, тоже подобранная, самозарядная, не очень надёжная винтовка. Ожесточаясь от бессилия, он пытался сдвинуть заклиненный затвор, чтобы выпустить хоть несколько пуль в бесстыдно краснеющие под расклевёнными касками хорошо видимые лица. Недружный винтовочный огонь от дороги не останавливал лихую забаву немецких солдат. И страшен был бы конец настигнутых на той дороге людей, если бы не оказалось среди отступающих солдат артиллеристов с двумя «сорокапятками». Пушки успели развернуть. Первые же снаряды в куски разнесли два мотоцикла. И Макар, отбросив бесполезную винтовку, со злым удовлетворением, с чувством обретенной силы смотрел, как в блеснувшем пламени брызнули обломками ещё две машины. И словно обрезало щёлканье и свист, враз оборвалась раскинутая над дорогой и лежащими людьми сеть огненных пуль. Автоматчики круто развернулись; подпрыгивая вместе с мотоциклами на неровностях, обгоняя друг друга, неслись они по выгону, торопясь убраться за лесок. И когда сошлись у выступающего в луг осинника, увидел Макар, как на огненном всплеске взрыва поднялся и перевернулся колёсами вверх ещё один мотоцикл. Возбуждённый отбитой опасностью, он подошёл к артиллеристам сказать благодарное слово и остановился, не понимая: сержант, похоже — командир орудия, матерясь, отчитывал молоденького наводчика за тот последний выстрел, которым он поднял в воздух мотоцикл. Наводчик стоял у пушки, виновато опустив голову и руки, пощипывал пальцами складки помятых солдатских штанов, но по чумазому от пыли и пота его лицу открыто блуждала ликующая улыбка.

Свистящий, сорванный, наверное, ещё в первых боях голос сержанта старался сбить радость с лица молоденького наводчика, и Макар собрался было вступить, успокоить сержанта, но тут увидел, как бережно уложили артиллеристы в один-единственный, на две пушки, пустой ящик два последних снаряда, и всё понял; молча отошёл, унося в себе ещё не осмысленную горечь так непонятно идущей войны.

Люди собирались на дорогу, топтались, оглядывались, как будто не знали, как отойти от тех, других, кто не поднимался с пыльных обочин и посохлой травы открытого луга, но скоро каждый нашёл свое место; сначала медленно, потом всё заметнее люди потекли друг за другом, по праву живых оставляя тех, кому уже не надо было уходить от войны.

Макар помогал прибирать убитых. В канавы складывали всех вместе: солдат, женщин, старых, молодых.

Вдвоём с молчаливым пожилым солдатом подняли они с дороги небольшого, как подросток, старичка в просторном полотняном костюме, с седой бородкой, с седыми растрёпанными волосами; смотрел старичок одним неподвижным глазом. Когда его положили в канаву, Макар принёс его вещи; легкой белой шляпой накрыл лицо; пачку плотно увязанных книг поставил, у изголовья; прочитал на одном из корешков: «Докучаев», подумал: «Перехоронять будут — приберут».

Обочь дороги наткнулся на опрокинутую детскую коляску, побитую пулями, в коляске была подушка, обшитая по краям розовой лентой, с ручки свисал маленький носок. Макар было прошёл коляску, но вернулся; подушка ещё хранила вмятину от ребёночьей головы, и почему-то эта, казалось ему ещё тёплая, вмятина подействовала сильнее другого. Он снял с ручки белый с красными полосками носочек — весь-то не длиннее его пальца, — не ведая к чему, сложил, сунул поглубже в карман; причудилось, кто-то будет искать потерю и носок окажется кстати. Про потерю никто не спросил, но о коляске и обронённом носочке помнил он долго.

Движение колонны день ото дня замедлялось, как будто каждый пройденный километр добавлял ношу людям. И Макар беспокоился: немец мог догнать людей, прежде чем они выйдут к днепровским переправам.

Тревожил его именно тот немец, который шёл вслед им, потому что самолёты в эти дни колонну не бомбили; гулом заполняя небо, согласными косяками они шли к востоку: что-то было там важнее отступающих по всем дорогам колонн; кто-то там, впереди, принимал на себя бомбы и смертный град бьющих с воздуха пулемётов.

В стекающий к днепровским переправам разнолюдный поток Макар попал уже после того, как на последних всплесках горячего загнал свой танк под густую тину пруда около брошенного лесного кордона. В пруду оказалось достаточно глубины, чтобы скрыть под водой тяжёлую машину вместе с заклиненной башней и бесполезной теперь пушкой.

Случилось это дня четыре назад — дни он плохо различал в почти безостановочном, отупляющем движении. Но день, когда война подступила не в мыслях, не в опыте других, подступила к глазам, опалила, казалось, само сердце, он помнил до ясности, как помнил день смерти отца и час прощания с Васёнкой, на берегу Волги, у тревожно и тоскливо пахнущих брёвен, где оглушительно хрустело под сапогами иссохшее еловое корьё.

Война явилась к нему на железнодорожном полустанке, среди полей и рощ, где мирно пахло мазутом от нагретого за день щебня и шпал. В голове эшелона сипел окутанный паром раненый паровоз: час назад «мессершмитт» прошёл над их танковым, эшелон, дал очередь в паровоз и пропал в белёсой, выпревшей за жаркие дни высоте неба. Не думалось в той остывающей тишине вечера, что может последовать за этим как будто случайным пролетом.

Паровоз дотянул эшелон до полустанка. Объявили приказ о выгрузке. Уже сняты были растяжки, уложены стальные ленты, приставлены шпалы к последней платформе, на которой стояла их новенькая «тридцатьчетвёрка», Макар уже готовился залезать в свой люк и задержался: такой спокойной, мягкой тишины он не слышал за многие дни торопливого пути сюда, на фронт. Пели птицы. Он хорошо помнил, что птицы пели в частых елях, подступающих к разъезду с восточной стороны. В другую сторону, под низкое солнце, уходило открытое поле; высокая, уже в колосе, ржица спокойно стояла, дожидаясь своего срока. «Дозреть-то дозреешь. Найдутся ли руки тебя убрать?..» — думал Макар; безлюдно было вокруг, покинутым гляделся и единственный на станции домик, с растворёнными окнами, с распахнутой дверью. А ржица стояла, она была из той, ещё мирной, жизни, и грустно было смотреть на поспевающие в безлюдье хлеба. Рядом, на броне, был командир, молоденький их лейтенантик. На спешной формировке и на пути сюда, к фронту, Макар так и не определился в своём отношении к новому для него человеку. Понимал: бой — это не поле пахать, в бою каждый из них, втиснутый в своё место, будет поступать уже не по своему разумению — будет под властью ума и умения командира. А вот какой ум и умение у мальчишки в неполные девятнадцать — этого-то Макар с твёрдостью определить и не мог.

И хотя сам был аккуратен в своих водительских обязанностях, исполнительен в командах, думал, наблюдая губастенького, с нежной застенчивостью в глазах лейтенанта: «Не командир ещё!..». Скребла по сердцу мыслишка — как ещё скребла! — не по опыту, не по возрасту доверили машину: «тридцатьчетвёрок» всего-то, на весь эшелон было четыре!

Потому Макар как-то даже оторопел, услышав доверительный голос: «Хорошо-то как, Разуваев! Косить — самая пора...» Какое-то созвучие тому, что было у него на душе, услышал Макар в голосе лейтенанта, хотел было по-доброму ответить, да — выбрала же война минуту! — на дальнем краю поля, ниже багрового, располневшего к заходу солнца, замелькали быстрые огни.

Что это за огни, он понял, когда рвануло насыпь у колёс соседней платформы, и тихий вечер взвыл, и земля загрохотала от падающих на полустанок снарядов.

Макар не помнил, как оказался за рычагами, как запустил мотор, сквозь гул и удары донёсся до него, словно задавленный в горле, испуганный крик:

— Пошѐ-ѐл!..

Макар двинул танк на косо приставленные, к платформе шпалы; заставил себя на минуту забыть об огне, озаряющем всё вокруг, сосредоточенно свёл машину и, когда траки лязгнули о рельсы и танк осел, рванул его к откосу и дальше вниз, в затишь низины. Что было потом, вспоминалось Макару не само по себе, всё накрепко связалось каким-то особенным образом с лейтенантом, с молоденьким их командиром. Пока, подхлестнутый испуганным его криком, Макар гнал танк, прикрываясь спасительной высотой насыпи, лейтенант как будто срывал с мальчишеской своей души всё, что было на ней прежде, что мешало, как хорошие одежды мешают в чёрной работе: растерянность, мягкость, робость непривычной власти. Первая же его команда: «Стой, Разуваев! Куда?!», в которой ещё слышался казнящий себя стыд за испытанный страх, объявила в нём командира.

— Через насыпь, Разуваев! Во фланг! — скомандовал вдруг ожесточившимся голосом лейтенант, и Макар с готовностью подчинил себя почувствованной командирской воле.

Он запомнит на всю жизнь то, что увидел с высоты насыпи.

По открытому разливу хлебов широким полукругом шли к железнодорожному разъезду чужие танки, покачивали тёмными угловатыми лбами, на ходу жалили густой вечерний воздух языками огня. На полустанке пылали платформы. В пламени стояли танки; их пушки, повернутые в сторону поля, стреляли,— там, в огне, в бою, погибал их эшелон. На что-то надеясь, Макар придержал машину, увидел, как с задней, ещё не разбитой, платформы сполз танк соседа Артюхова, тут же, словно пластаясь по насыпи, понесся по шпалам к ним. Выползала из пламени на заднюю платформу ещё одна «тридцатьчетверка» — Коноваленко. Но полыхнувший взрыв подломил угол платформы, танк Коноваленко осел, как тонущий корабль.

— Артюхов!.. Артюхов!.. — кричал лейтенант. Рация Артюхова не отвечала, Артюхов как будто не слышал, не видел. Танк его не дошёл до них какой-то сотни метров, круто развернулся, бросился вниз по откосу навстречу немецким танкам.

— Вперёд! — крикнул лейтенант. Макар, стараясь не терять из виду Артюхова, сорвал танк с насыпи, погнался вслед. Но Артюхов, как ослеплённый зверь, нёсся напролом, и напрасно зывал к нему осипшим голосом лейтенант.

— Стой, Разуваев! — приказал лейтенант. — Артюхову, видать, вожжа под хвост попала. — Выходи на край поля!

И тогда, и сейчас, заново все переживая, Макар не мог до конца понять, как пришла к молоденькому, губастенькому, болезненно застенчивому, вспыхивающему не только от слова — от взгляда, их лейтенанту вот эта командирская трезвость. От испуга, потерянности, стыда, отчаяния, бешенства — до спокойной власти над собой, и всё за какие-то минуты! В другое время, в другом месте, в обычном движении жизни на такой душевный перелом понадобился бы десяток неспешных лет.

Успокаиваясь спокойствием командира, Макар выглядел впадину, прикрытую деревьями, проломил под деревьями кусты, вывел танк на кромку поля. Сразу увидели они изломанную дугу стягивающихся к полустанку немецких танков; гусеницами утопая в хлебах, они ползли теперь медленно, приостанавливались, стреляли и снова подвигались к пылающему эшелону. Позади них, среди поля, горело несколько машин, черные дымы тянулись к зависшему над лесом солнцу. С болью за тех, других, кто остался на платформах, Макар подумал: «Сами горели, а этих били...». Он приблизил лицо к щели, сжал рычаги, ожидая команды. Но тут враз всплеснули листьями, пошатнулись, опрокинулись правее их осины; придавливая поваленные деревья днищами, выползали на край поля две испятнанные желтизной и зеленью громады.

Он видел короткие, утолщенные к башне пушки, чёрные прямые кресты на крутых боках и, оцепенев в настороженном любопытстве от первой опасной близости врага, часто с трудом глотая вдруг загустевшую слюну, следил, кося глазами, как шевелились и взгорбливались на роликовых блоках до блеска обкатанные траки гусениц; у одного из танков успел заметить чёрный, густой выхлоп, подумал: «Горючее переливает!..» — и тут же, сбрасывая оцепенение, тревожно позвал:

— Лейтенант! Два справа...

— Вижу, — сквозь зубы отозвался лейтенант.

Над головой Макара, оглушая, ударила пушка, сиреневым светом окинуло стволы и листья осин; огненный прочерк достал мотор дальнего танка, и вместе с вывороченным над мотором железом выплеснулось на башню пламя.

Тут же откинулась крышка, суетливые руки охватили края люка: из башни, как из воды, вынырнул человек в чёрном шлеме. Чёрных людей, торопливо прыгивающих на боковины машины, Макар видел вполглаза: теперь он следил за другим, ближним, танком. И чадающий мотор, и копоть на красновато освещённом солнцем пятнистом боку, и раскрытый буксировочный крюк — всё видел он в отчётливости, как, бывало, в один взгляд замечал всякую малость на входящем в ворота МТС тракторе. Не сразу он понял, почему первый выстрел командир направил по дальнему танку: близость этого танка казалась опаснее. Теперь, вспоминая, Макар знал, как точно рассчитал лейтенант даже в первой для него встрече с врагом: второй танк мог бы одним поворотом укрыться за корпусом ближнего танка, и неизвестно, чем бы тогда кончился их поединок.

Плохо он знал своего командира. Просто не успел узнать! Война никому не дала успеть. Не дала она пожить и молоденькому их командиру.

Макар отлично видел немецкую бронированную машину, наполовину вползшую в хлеба. Как бы в удивлении; она остановилась после первого их выстрела; большая, с круглой нашлапкой, её башня разворачивалась: кто-то там, в башне, торопился довести, нацелить на них ствол пушки. Движение пушечного ствола завораживало, расслабленные руки и ноги не чувствовали ни педалей, ни рычагов; он ждал команды, только команды, а в сознании умирала тоскливая мысль: «Не успеть, не успеть...»

Плохо, всё-таки плохо он знал своего командира! Об этом он успел подумать ещё раз, когда услышал медленный, какой-то неживой, в то же время успокаивающий голос: «Под башню, Руфат... Не спеши. Под башню... Под башню...». И когда на добирающем разворот стволе немецкой пушки обозначился черный круг пустоты, вспышка вновь осветила багровой синевою кусты и рослые хлеба. Рванулось из пятнистого танка упругое пламя, башня отделилась, с какой-то неуклюжестью запрокинулась в хлеба. От близкого взрыва Макара качнуло на сиденье, дрогнули на рычагах руки; с другого, горящего, танка взрывным ударом сорвало дым и людей.

— Так... К праотцам оба... — сдавленно прошептал лейтенант, как будто не веря тому, что сам сейчас совершил. Прорезался вдруг высокий мальчишеский его голос, возбуждённо, отчаянно он крикнул:

— Разуваев! А ну...

Макар, приходя в себя, пригнулся к рычагам, холодок прошёл от плеч до рук; он почувствовал, что командир, упоённый счастливой победой, совершит сейчас что-то уже непоправимое. Но лейтенант не договорил. Наверное, оба враз они увидели, как из-за горящих среди хлебов немецких танков, подбитых орудиями погибающего эшелона, выкатилась «тридцатьчетвёрка» Артюхова. Озаряя себя сполохами выстрелов, одинокий танк мчался в самую гущу вражеских машин, добивающих в неторопливости, объятый дымным пламенем эшелон.

Макар смотрел, как слепо и отчаянно мчалась «тридцатьчетвёрка» в затылок дугой развернутых немецких танков, и в эти последние минуты, когда Артюхов был ещё жив, уже пережил его смерть. Он видел, как развернулись четыре танка, с двух сторон пошли наперехват; огненные пути трассирующих снарядов скрестились на «тридцатьчетверке».

Артюхов горел, тяжёлые клубы дыма оседали на поле; «тридцатьчетвёрка», казалось, плыла по черной реке.

Танк Артюхова теперь мчался, как одичалый конь с огненно-чёрной, развевающейся гривой; вошёл в дугу вражеских машин, вдруг вцепился правой гусеницей в землю, развернулся, в бок ударил ближайшую машину. Полыхнул огонь в вечернем, ещё светлом поле, и тут же густой чернотой дыма накрыло насмерть сцепившиеся танки.

Макар до упора нажал сразу две педали, танк взревел, готовый сорваться с места. Макар был уверен, что лейтенант вот-вот обрушит команду и выметнутся они в слепой ярости туда, в поле, где сгорал Артюхов.

Лейтенант молчал, молчал много дольше, чем нужно было для того, чтобы дать команду: в наушниках только часто потрескивало от ревущего мотора. Макар сбросил газ, в беспокойстве повернулся, потряс лейтенанта за ногу. Лейтенант отозвался чужим голосом:

— Что, Разуваев? Живы. Пока живы... Ну что, за Артюховым пойдём? — спросил он всех троих, притихших на своих местах, и сам ответил: — Погибнуть — ума не надо, кто воевать будет?! Слушай приказ, Разуваев! Скомандую — тут же назад. На полную железку. И не к насыпи, а по ложине, к лесу!.. Заряжающий! Работать тебе за двоих. Давай, Руфат, начинай!..

Ахтямов стрелял молча, иступленно. Вражеские машины засекали сполохи выстрелов, останавливались; трассы немецких снарядов прожигали кусты, в которых стоял танк, но команду лейтенанта Макар услышал только тогда, когда танк содрогнулся от доставшего его снаряда.

В сумеречности июльской ночи Макар вёл танк безлюдными полями, обходя зарево полустанка. Лейтенант стоял в открытом люке, зарево как будто жгло его, время от времени он ронял команды:

— Левее, Разуваев... Ещё левей...

В напряженном его голосе слышалась боль, казалось, даже слёзы. Макар понимал командира: потрясённый гибелью эшелона, он хотел мести. Он даже всхлипнул от радости сбывшегося ожидания, когда в уже устоявшемся рассвете, на выходе из увлажнённого росой бора они увидели колонну немецких грузовиков. Крытые брезентом машины спокойно шли по высокой, мощённой булыжником дороге, почти за каждым грузовиком катились, подёргивая зачехлёнными стволами, орудия на резиновом ходу.

Макару не нравилась эта длинная опасная вереница вражеских пушек, но лейтенант уже командовал, сдерживая звенящую силу голоса:

— С головной начнёшь, Руфат! И — подряд... Разуваев, подтягивайся к дороге. Ближе... Ближе...

Макар, огибая горушку, осторожно подвигал танк к дороге, прикрывая его насколько можно густой здесь сосновой порослью. Стрелять из-за горушки было бы в самый раз, но командира он уже понял: лейтенант жаждал разметать колонну огнём и тяжестью танка. Полыхнувшее на дороге пламя как будто разорвало первую машину пополам. У второй — снарядом выбило передние колёса; огонь бойко, как по сухой траве, побежал по развороченному капоту, заплеснул через выбитое стекло в кабину. В третьей машине, похоже, взорвались снаряды: брезент над кузовом распахнуло, тонкостволая пушка, оторванная от прицепа, развернулась, как на льду, опрокинулась, сползла по откосу колесами вверх.

Из-под брезента других остановившихся машин, как картошка из прорванных мешков, сыпались на дорогу солдаты. Лейтенант стрелял, пули дырявили брезент, разбивали стёкла кабин, валили оружейную прислугу. Макар видел огонь, взлетающие колёса, куски железа, падающих на дорогу людей, но сердце его двоило холодком: в колонне не было паники, солдаты не разбежались: суетно, но быстро они отцепляли орудия, расчехляли стволы, здесь же, на дороге, разворачивали. Макар видел, как у выдвинутых из-за дальних машин на обочину орудий опускались, будто живые, стволы, нащупывали цель.

Он понимал, что произойдет, когда повернутые к ним орудия откроют огонь, понимал, что назад по склону, поросшему мелким сосняком, им уже не уйти; пожалуй, поздно и таранить отцепленные и развернутые пушки. Оставался единственный путь: выскочить на дорогу перед горящими машинами, прикрываясь расползающимся дымом, промчаться по прямой здесь дороге до леса. Прикинув этот единственный спасаящий их путь, он, напрягая голос, предупредил:

— Командир, надо уходить...

Лейтенант был весь в ярости боя: он видел, как падают под его огнём враги, и чувствовал свою силу, он мстил и не мог остановить себя.

На дороге горела уже вся голова колонны, когда перед танком вспухла рыжая пыль, взлетели в воздух комья земли, ветви сосен; в грохоте выстрелов и взрывов Макар расслышал иступленный, ликующий крик:

— Вперёд, Разуваев! Круши!

Это были последние слова молодого их командира.

Из-под второго залпа Макар вывел танк: под его умелыми руками тяжёлая машина рванулась с места, будто конь, огретый кнутом. По откосу он выскочил на дорогу у пылающих грузовиков, в дыму заметил людей и оружейный ствол, нацеленный к лесу, с ходу бросил танк по обочине к развёрнутой за горячей машиной пушке.

Нет, не исполнилось яростное желание лейтенанта: не побежали немецкие пушкари ни от горящих грузовиков, ни от несущейся на них стальной громады. Что удержало солдат у пушки: вера в свою силу или властная команда офицера, стоявшего с поднятой рукой у радиатора ещё целой машины,— но выстрелить солдаты успели: когда он почти доставал гусеницей до пушки, тупой удар снаряда звоном раздался в ушах, как будто вмял голову в плечи. Хо́да танк не потерял, и Макар довершил своё дело: смял пушку и расчёт при ней и, перед тем как ударить в квадратный нос грузовика, уширенный высоко поднятыми круглыми фарами, наконец-то увидел растянутое ужасом лицо офицера.

Всею тяжестью танка Макар, вздыбил, развернул грузовик поперёк дороги, баррикадой загородил обстрел пушкам, стоящим в колонне; не слыша голоса командира, провёл танк через жаркое пламя горящих головных машин, донёсся серединой дороги в спасительную тень высокого бора.

На брошенном кордоне, куда привела их лесная дорога, они вытащили из башни командира. Лобовая броня танка выдержала пушечный выстрел в упор, а вот осколок брони вошёл лейтенанту под шею.

Хоронили командира на краю поляны, под низкими ветвями дикой яблони. В мрачной немоте смотрел Макар, как наводчик Руфат ножом врезал в дощечку слова: «Лейтенант Соколов Володя». Что Соколов — Макар знал, что Володя — узнал вот теперь. Губастенький мальчишечка-командир — Соколов Володя...

Заново проживая те дни, вспоминая лейтенанта, без шлема лежащего на плащ-палатке, с волосами, светлыми, спутанными, чёлочкой зависающими на лоб, Макар, напрягаясь от протестующего чувства; думал: «А ведь лейтенант-то, Соколов Володя, похож на Васёнкиного братика, ну вылитый Витька!..»

Руфат Ахтямов погиб под бомбежкой, уже не в танке — в колонне отступающих солдат и беженцев, к которой они примкнули, больше суток проблуждав по лесам. Заряжающего Бокова, родом из-под Курска, он потерял при налёте автоматчиков-мотоциклистов.

Теперь Макар шёл один в множестве незнакомых людей, и в памяти его сверкал огонь и грохот разрывал землю, в смерть уходили люди, которым не должно было умирать. И командир танка Соколов, мальчишечка Володя, и неистовый в гневе Артюхов, и два пулемётчика под берёзами, похожие на семигорских подпасков, и детская колясочка в канаве, прошитая пулями, и учёный-старичок, с крест-накрест перевязанной стопкой книг, и наводчик Руфат, и заряжающий Боков, всю жизнь до первого дня войны ходивший в пастухах, — всё ложилось на душу Макару, плотно, одно к одному, и тяжесть этой памяти была так велика, что выдавливала из сердца жалость к себе.

У дороги показалась жердёвая загородь, обычно отделяющая у них, на Волге, выгоны. Солдатские спины закачались сильнее, солдаты к чему-то поспешали, теснились к левой обочине. Когда за придорожным ольховником открылось нагорье, Макар увидел большую деревню. Три порядка изб, один за другим, тянулись по склону окнами на дорогу, дома были целы, и стёкла над распахнутыми створками окон жарко отсвечивали дополуленным солнцем. Даже занавеси и цветки в горшках видел Макар на окнах. Мирная жизнь ещё не ушла отсюда, и как-то беспокойно было смотреть на беззащитно-белые платки баб и девок под открытым небом у запруженной солдатами дороги. Босые ребятишки и девчонки, видно не впервой, бежали, торопясь, к домам, размахивая пустыми мисками и кринками, а бабы сыпали горячую картошку прямо из чугунов в бесчувственные солдатские ладони, совали ломтики хлеба, куски сала. И всё это в молчании, в привычной хозяйской озабоченности хоть как-то, чем-то насытить оказавшихся в деревне мужиков в солдатской одежде. Только одна из близко стоящих молодух, простоволосая — завитки волос, будто упругие стружечки, свисали по сторонам её открытого, жалостливого лица, — вдруг выронила опростанный чугун, полой передника зажала рот и, отвернувшись, заглушая в себе рыдания, стояла, вздрагивая спиной. Макар остановился, не решаясь подойти к женщинам, взять у них еду. Он видел, что и широколицый лейтенант-пограничник стеснительно потирает пальцами лоб. Лейтенант не выдержал, медленными шагами подошёл к девочке, держащей на раскинутых руках полотенце, с домашними, круглыми, как блины, лепёшками. Пряча глаза в припухлых веках, взял одну, быстро отошёл на другую сторону дороги.

Рядом с девочкой молча и неподвижно стояла старая женщина с сухим, строгим лицом. Голова повязана платком, узел закрывал шею под острым, по-мужски крепким подбородком. Женщина тронула девочку за плечо, рукой показала на Макара. Девочка тотчас перебежала пологую канаву, мелко и быстро переступая загорелыми ногами, подошла.

— Откушайте, дяденька! — сказала, приподнимая полотенце с лепёшками. У Макара будто петлёй захлестнуло горло, не узнавая своего голоса, он хрипло выдавил:

— Спасибо, доченька. Сыт я...

— Не обижайте, дяденька! Бабушка пекла. Вкусные!.. — Девочка смотрела на него чистыми, упрасивающими глазами; по нарядному платьицу, сандаликам, банту в косице можно было догадаться, что девочка в деревне — гостья.

— Ну, возьмите на потом!..

— Ну, разве на потом... — Макар попытался улыбнуться, опухшие губы не послушались. Бережно он взял с полотенца лепёшку, придавив во рту слюну, не спеша сломал пополам, хотел прямо так сунуть в карман комбинезона, но девочка угадала его движение, вытащила из-под полотенца обрывок газеты, протянула:

— Заверните вот...

Макар почувствовал у груди надёжную тяжесть лепёшки, ладонью утёр губы, как будто уже поел.

— Мне бы водицы испить, доченька...

— А вот пойдёмте! — Девочка заторопилась впереди него к старой женщине, всё так же в неподвижности стоявшей у дороги, положила на землю полотенце с последней лепёшкой, из ведра зачерпнула кружкой воды. Старая женщина молча остановила её, нагнулась, подняла из травы кринку, сорвала тряпицу.

— Молока попей! — приказала, как малому, и Макар не посмел ослушаться. Принял кринку, ощущая даже задубевшими пальцами отпотевающий на её боках холод погреба, поднёс к лицу, почувствовал, как задрожали руки и губы, — знакомый домашний запах вдруг обессилил его. Медленно он втягивал, глотал холодное молоко, остужая горячий рот и горло, не в силах оторвать от себя постукивающий по зубам край посуды. Наконец опустил полегчавшую кринку, рукавом виновато промокнул губы. Затушёвывая проявленную в голоде слабость, в неловкости спросил:

— Что за деревня?

— Речица, — ответила старая женщина. Она приняла кринку и теперь держала её на согнутой руке, как ребёнка. Строгие её глаза смотрели на Макара, и Макар видел в черноте её глаз покорное отчаянье покидаемого, человека. Такие глаза он видел однажды у матери: мать стояла, охватив себя руками, в холодном бараке, у топчана, и молча глядела на отца, на, жёлтое, замертвевшее его лицо, на замкнутый синими губами рот.

Стоять под взглядом старой женщины было трудно, ещё труднее было уйти, и Макар ненужно шарил рукой по комбинезону, то застёгивал, то отстёгивал пуговицу, ещё болтавшуюся на остатках нитки.

Девочка подошла к старой женщине, подлезла под её опущенную руку, заглядывая в лицо, спросила:

— Бабушка Анна, а ещё солдаты придут?

Макар хотел поклониться и отойти, суровостью прикрывая саднящую свою вину перед старой женщиной, перед внучкой её, перед всей этой тихой смоленской деревней, последние часы живущей миром и добром, и не осилил: ноги словно приросли к земле. Он смотрел, как чистая, по-городскому нарядная девочка, ещё не понимающая, откуда и зачем идут солдаты мимо бабушкиной деревни, так порывисто желающая новых добрых дел в этом уже обвалившемся мире, ласкаясь, тёрлась лбом и щекой о безответную руку старой женщины, и чувствовал, как бешено понеслась ему навстречу бесконечность дороги, по которой он отступал. Оттуда, из глубины России, как будто придвинулось Семигорье, с покатостью серых крыш, с печными дымами, ниспадающими к полям, с открытостью Волги, пахнувшей арбузной свежестью; в какое-то мгновение Семигорье сместилось, встало здесь, у дороги, на взгорье, на месте этой смоленской деревни, и Макару невозможно стало дышать.

Старая женщина, не отнимая руки, о которую всё тёрлась, ласкалась, девочка, молча глядела на него, сомкнув сухие, в морщинах, губы. Она всё понимала накопленной за годы жизни мудростью, понимала и не осуждала, она просто смотрела на Макара, как будто не верила, что может уйти из их деревни последний русский солдат. И Макар из-под обожженного солнцем лба и до сивости выгоревших бровей смотрел ответно и тяжело в глаза старой женщины, и пальцы его сжимали и скручивали край расстёгнутого комбинезона.

Опустив голову, он стряхнул с ладони раскрошенную пуговицу, сказал, будто самому себе:

— Стало быть, Речица... — и пошёл, тяжело ступая, к пулемёту. В канаве он подобрал оржавленный обломок лопаты, сунул под локоть. Отвернул пробку кожуха на пулемёте, вернулся, взял ведро с водой, заполнил кожух всклень. Всё делал он теперь обдуманно и спокойно и, ставя ведро на место, посмотрел на старую женщину не винясь.

Солдаты уже отходили от стоявших вдоль обочин баб, девок, стариков. Отходили поспешно, не оглядываясь, по необходимости разрывая ту родственную близость, которая в общей беде устанавливается вдруг; пустое пространство между притихшими людьми и уходящими солдатами ширилось на глазах, как ширится на реке вода между причалом и отплывающим пароходом.

Макар уже в неторопливости оглядел поле по другую сторону дороги, с леском по взгорью, отвязал вожжи, бросил на обочину, снял с пулемёта связанные коробки с лентами, пристроил на плече.

Лейтенант-пограничник, с лицом казаха; и чёрными, непроницаемыми глазами, вернулся к нему, спросил:

— Что не идёшь, танкист?

Макар повертел обломок лопаты, прикидывая на глаз его прочность, поднял повыше дужку пулемёта, так, что кожух ствола почти уткнулся в дорогу, сказал:

— Всё, лейтенант. Дошёл.

Он видел, как до лезвия плоского штыка сузились и без того узкие глаза лейтенанта, по-недоброму вздулись, отвердели под смуглой кожей широкие скулы.

— У меня приказ, танкист, — проговорил он медленно, голос его вдруг стал железно-холоден. Макар не сумел растянуть в усмешку непослушные губы, только поморщился, поглядел на лейтенанта, как будто издалека.

— У меня свой приказ, лейтенант, — сказал он как-то даже устало. — Передай капитану: часа на два немца задержу. На дольше — едва ли... Ну, прощай, лейтенант!..

Макар, натужась, перетащил пулемёт через канаву, слегка приседая, пошёл к бугру у леса, обходя поле низкого, полёгшего белесого ячменя.

Лейтенант, будто сопровождая его, прошёл по дороге, держа руки на автомате, понял Макара, крикнул:

— Эй, танкист! Фамилию, адрес скажи!..

Макар приостановился, тылом ладони отёр потную под подбородком шею, сказал нехотя:

— Из России я, лейтенант...

3

Носками ботинок срывая закаменелую землю, упираясь локтями и коленями, Макар втащил пулемёт на бугор, попытался протолкнуть на взлобок, руки подломились, он ткнулся лицом в хрустнувшую под щекой траву. Комбинезон на спине раскалился, как плита, пот со щёк натекал на губы, не было сил даже слизнуть разъедавшую губы соль.

Так бы и лежать, не шевелясь. Но с высоты открытого неба снова плывет гул самолётов. Макар поднимает голову: всё те же, всё не наши... Спустя какое-то время вздрагивает земля, как будто боль проходит по земле от тяжёлых тупых ударов, — и всё оттуда, от Днепра, куда уже много дней течёт мутным половодьем вконец измотанное тысячелюдьё.

Макар подтянул к животу колени, руками упёрся в землю, с трудом поднялся. Постоял, широко расставив ноги, с высоты оглядел место, где предстояло ему быть.

На взлобке оказалась траншейка с опавшими стенами, с отвалами, размытыми дождями, уже поросшими травой. Оказалась она в нужном месте, и Макар прошёл над траншейкой, догадываясь, по мелкости и давности её, что рыли здесь ребяташки; видать, местная школа проводила военную игру, ребяташки держали свою оборону, лицом к дороге, и вряд ли думали, что их окопчики, вырытые для игры, сгодятся для настоящего боя.

Осматривать, куда и как идет траншейка, Макар не стал. Обломком лопаты пробил отвал, подтащил пулемёт, подогнул под станок дугу, втиснул «максим» в расширенный в сторону дороги прокоп, расчётливо заботясь, чтобы кожух ствола оказался ниже бруствера. Потом неспешно, но и не давая себе отдыха, заглубил в выбранном месте траншейку, чтобы стоять в ней в полный рост; с правой стороны часть бруствера отвалил, сровнял, поставил на площадку коробки с лентами.

Поглядывая на пока ещё пустынную дорогу, некоторое время занимался пулемётом. Больше всего другого он опасался теперь песка и пыли: машина, бывшая с ним, должна была сработать в свой час чисто и точно. Тряпицы в карманах он не сыскал. Оглядел словно залужённый маслом, пыльный, растрёпанный на коленях комбинезон, усмехнулся собственной нерешительности, пригнулся, норовясь располосовать штанину, вспомнил об исподнем белье. Рубаха, мокрая от пота, расплзлась до швов, когда, спустив комбинезон, он тянул её со спины, — однако на обтирку влажное тряпье годилось.

Макар вынул замок, осмотрел, потрогал пальцем, привычно определяя износ рабочих деталей, — пулемёт не из новых, поработал порядком, но служить вполне мог, — уложил замок на тряпицу, отросшими ногтями соскрёб набившуюся в сочленения грязь; аккуратно протирая, не досуха снимал нечистую, но нужную для работы смазку. Вспомнил, что внутрь деревянных рукоятей обычно ввёртывается масляный ёрш; напрягая измазанные, скользкие по насечке пальцы, отвернул похожую на медный пятак крышку. Ёрш был на месте, сочился прозрачным маслом — убитые под берёзой пулемётчики, по всему видать, были заботливые ребята.

Теперь насухо он протёр замок, по нови смазал, поставил на место. Прислушиваясь, опробовал спуск. Механизм сработал чисто, боёк щёлкнул коротко и сильно. Макар вставил ленту, оттянул замок, вогнал первый патрон в ствол.

Пока Макар сосредоточенно работал, ощупывал, прочищал, смазывал железо, он как будто забыл о войне. Теперь, отладив машину, привычно вытирая тряпьем замасленные руки, вспомнил, для чего готовил её. И лицо его, дочерна обожжённое зноем, затяжелело, в глазах, нездорово углубившихся, отенённых более светлыми, чем всё лицо, подглазьями, проступила боль.

Солнце стояло за спиной; дорогу, круто изгибающуюся здесь почти встречь солнцу, Макар видел отчётливо — от густого придорожного елошника на повороте до сизого, истаивающего в знойном мареве леска. Всё видимое пространство дороги было не меньше полутора километров, но открыть огонь и расстрелять первую ленту Макар решил в упор, когда колонна выйдет к деревенскому выгону и подставит свой бок.

Глаза, воспалённые от бессонницы, солнца и пыли, слезились, всегда остро видевшие, порой двоили предметы, и Макар обеспокоился, как бы не подвела его в нужную минуту наплывающая слеза. Высмотрел по ту сторону дороги отсвечивающий на солнце валун, аккурат на том месте, где старая женщина подала ему молоко и городская девочка, ещё не видевшая войны, суетилась в детской озабоченности накормить как можно больше идущих мимо солдат. Белый валун, похожий на бычий лоб, хорошо был замечен, по нему Макар и определил ту черту, за которую не должны перешагнуть немецкие солдаты, по крайней мере до тех пор, пока работать будет пулемёт. С бруствера попытался на глаз замерить расстояние до валуна, но понял, что высота обманывает. Не доверился он и телеграфным столбам с ещё не порванными проводами, хотя точно знал количество метров между ними. Мысленно поворачивал расстояние между четырьмя столбами, умещал это расстояние между валуном и своим окопом, но ошибка могла случиться, позволить же себе хотя бы короткую пристрелку он не мог.

Ещё раз настороженно оглядев безлюдную дорогу, пустоту окрестных полей, он пошёл напрямик к валуну, считая шаги. На кромке ячменного поля было замешкался, не сразу решаясь ступить в хлеба. Опустив голову, будто виноватаясь перед кем-то, пошёл, пыля и придавливая к земле усатые, похрустывающие колосья. Прикрывшись от солнца ладонью, внимательно оглядел свой бугор. Отсюда, от дороги, не видно было ни разрытой земли, ни самого пулемёта — склон сплошь пятнали красновато-бурые разводя цветущего щавеля, скрывали впадины и выпуклости, и Макару почудилось, что сухую землю бугра как будто уже оплескала кровь.

На обратном пути он обошёл поле, спустился в окоп, поднял прицел, поставил планку на сто семьдесят пять метров, винтом наводки приспустил ствол, поймал в глазок розовеющий на солнце валун. Медленно повёл ствол влево, проверяя, точно ли над дорогой движется линия прицела, слегка углубил правое колесо, проверил ещё раз и удовлетворенно положил свою тяжёлую ладонь на готовый к работе горячий, маслянистый металл.

Только теперь Макар услышал тишину. Всё время, пока он был занят делом, звучал в ушах устоявшийся за дни и ночи отступления топ солдатских ног: солдаты, казалось, тяжело ступая, как будто всё шли и шли где-то за его спиной. Теперь, когда он положил руку на готовый к работе пулемёт и посмотрел в небо, на слепяще-белые, будто впаянные в синеву облака, он удивился тихости дня. Где-то глухо гудела война, а здесь, в полуденной, уже спадающей жаре, недвижно стояла тишина; слышно было, как в лесу постукивает дятел, шелестит под налетающим ветром поле; Макар слышал даже вкрадчивый, царапающий звук — то надломленный сухой стебель тёрся о кожух пулемёта. И только теперь, услышав этот слабый царапающий звук травы о железо, осознал, что остался один.

Чувствуя неприятный, тягучий холодок в груди, Макар сидел в неподвижности, не зная, как распорядиться выпавшим вроде бы ненужным теперь временем. Попытался припомнить, какое сегодня число июля, и не припомнил, и больше не вспоминал. Он старался войти в окружающую его тишину без времени, принять всё вокруг, как оно было сейчас, в этом знойном дне июля, и не давал себе думать о прожитой жизни и о том, что случится здесь через какое-то время. Он просто ждал, когда начнётся то, что сам себе определил.

Не торопясь, Макар расшнуровал, стащил с занывших в неподвижности ног схожие с булыжниками ботинки. Оглядел швы, сбитые каблуки, стёртые на сгибе подошвы. Бросить не решился, выбил в окопной стенке заглубок, аккуратно, нос к носу, поставил. «Послужат кому-никому...» — подумал с привычной заботой о ком-то, кто придёт сюда уже потом. Изопревшие портянки постелил под ноги, хотя прохлада глубинного песка не беспокоила, а утишала боль избитых в ходьбе ступней. Давая отойти натруженным рукам, уложил ладони на коленях, как это делал обычно перед большой работой в поле, в мыслях ещё раз перебрал: всё ли готово, не забыл ли чего?

Землю снова били, Макар спиной ощущал её дрожь. От особо сильных ударов вздрагивал душный воздух. Гул доносился с двух сторон: из-за леса и с другой стороны — из-за горы, на которой стояла деревня. Много дней сопровождал их этот затихающий только в ночи, охватывающий гул, и теперь, выйдя из общего бездумного поспешания, Макар ясно понял, что гул этот сближается и, похоже, скоро соединится там, куда шли отступающие войска. Если немцы, идущие им вслед, ещё раз догонят и остановят их хотя бы на полдня, дойти до Днепра и выйти за Днепр люди уже не успеют.

Одoleвая ломоту, непослушность усталого тела, он выбрался из окопа, с настороженностью одинокого человека вгляделся вдаль. Дорога, насколько видел её Макар, была, как прежде, безлюдна; от безлюдья, неподвижных горячих полей, от притихших на взгорье изб с наглухо захлопнутыми окнами исходила тревожность, как от подступающей грозы. Ощущая колкое тепло сухой земли и оттого высоко поднимая босые ноги, он пошёл было вдоль траншейки поглядеть, что там, на бугре у леса, но тут же, закаменев лицом, вернулся к пулемёту; как-то вдруг он понял, что смотреть вокруг ему без надобности.

Макар давно не ел — последний, раздавленный в кармане, кусок хлеба сжевал в позавчерашний день, после того как отбили наскочивших мотоциклистов. Теперь, в бездействии, голод одoleвал до дурноты. Умеряя торопливость рук, он с бережностью вытащил из кармана комбинезона лепёшку, отломил выпирающий из просаленной газеты край, задрожавшими губами выхватил прямо из чёрных пальцев. Едва удержался, чтобы не проглотить целиком. Жевал медленно, чувствуя, как немеют отвыкшие от работы скулы. Сухой, воспалённый рот не принимал еду; только дожёвывая третий кусок, ощутил вместе с кисловатым, разжиженным наконец-то проступившей слюной тестом тягучий привкус топлёного масла, который прежде знал по праздничным матушкиным пирогам. Голод от проглоченных кусков стал острее. Макар с ладони ссыпал в рот опавшие с лепёшки крохи, стараясь отвлечься, расправил на колене просаленный обрывок газеты, в котором была лепёшка. Печатные строки, с машинной аккуратностью подогнанные одна под другую, он сначала просто просматривал, потом с любопытством, затем и с жадностью стал вникать в смысл. В словах, которые оказались на обрывке, не поминалась война. Газета была довоенная, наверное ещё майская, потому что в заметке, написанной неведомым человеком; говорилось о том, что в каком-то колхозе «Победа» запаздывают с севом яровых. С язвительностью уверенного в себе человека корреспондент спрашивал, куда смотрят беспечные руководители: на небо или на опыт передовых хозяйств?! Макару такие слова были знакомы по своей районной газете, и, когда на обратной стороне оторвыша он прочитал, что некто Титов И. В., тракторист, борясь за сталинский урожай, поставил рекорд и на тракторе ХТЗ трёхлемешным плугом за день работы вспахал восемь гектаров, жизнь, недавняя, привычная, рабочая, потом которой он пропитан был, казалось, до костей и которой столько лет жил в спокойном удовлетворении, прихлынула из памяти, опрокидывая все запреты отупленного голодом и усталостью разума.

Увидел он, прежде всего другого, мать, даже не её саму, а её глаза и руки. Глаза, пустые, неподвижные, смотрели, не видя его, на жестяную звезду над свежим холмом могилы, а руки, холодные, зашершавевшие от бесконечности всякой работы, шарили по его шее и плечам, как бы ища, за что ухватиться. Под звездой лежал отец, загубленный бандой «зелёных» — сынками сельских богатеев. Отца, комбедовского активиста, взяли на крыльце дома, подвесили к берёзе, разорвали лошадьми. Макару шёл одиннадцатый год, но в тот день он узнал, как люди, обычные на вид люди, превращаются в зверей. Руки матери наконец отыскали его руки, уцепились за них, как за спасение. С отчаянностью он сдавил их своими ещё не сильными руками, прижал к жарким от горя глазам. Он выстоял в тот день, на себя принял своё горе и горе матери.

Среди прихлынувших воспоминаний ясно увидел он мать и в другой час — когда война объявила свой всеобщий сбор. Откуда бы ни смотрела на него мать, когда вместе с Иваном Митрофановичем полдничали они в последний раз, — от горящей печи, от лавки, на которую выставляла с шестка горячие противни с пирогами, от сундука в горенке, в которой лежали её заветные вещи, — отовсюду сторожили его обеспокоенные глаза. И не страх он видел в её глазах, а заботу, одну только заботу, чтобы всё ладно было у него и там, на войне, чтоб не пал в тягостях духом, верой и правдой служил в ратном деле родной земле. Может, думала мать в тот час не так, как теперь казалось ему, но беспокойство её и заботу о том, чтобы всё у него было ладно на войне, он видел и знал точно. Забота подвела её и к заветному сундуку. Достала тот, лёгкого пуха, платок, которым мечтал он укрыть стеснительные Васёнкины плечи, хотела положить в солдатский его мешок. И застыли у груди её руки с платком, и такую тоску по несбывшемуся увидел Макар в материнских глазах, что при всей своей сдержанности опустил голову, долго сидел за столом, не в силах слова молвить. Платок он велел носить матери. Но мать на глазах всех, кто был в тот час в доме, свернула, прибрала платок в сундук, сказала сурово: «Кому куплен, тому и подаришь. Когда придёшь...»

4

Из притихшей деревни донёсся тоскливый коровий рёв, какой-то задавленный, будто из наглухо закрытого двора. Так неожиданно он нарушил устоявшуюся душную тишину пополудня, что Макар враз напрягся, поглядел на дорогу.

Вдали, там, где повис на проводах сбитый столб, поднялись серые вороны, лениво махая чёрными крылами, полетели над полем к лесу. Макар скорее почувствовал по дрогнувшему сердцу, чем осознал, что час, которого он ждал, наступил.

Дорога у дальнего лесного клина обозначилась неровной пыльной полосой. В пыльном тумане, нависшем над дорогой, увиделись серые фигуры, двигались они к нему.

Макар судорожными глотками прогнал в сухое горло вдруг скатавшуюся в ком слюну, встал к пулемёту. С настороженностью, с нарастающим напряжением следил за приближающейся колонной.

Он видел: колонна пешая — ни мотоциклистов, ни машин, ни танков, по крайней мере впереди, не было, — Макар отметил это про себя с облегчением. Немцы шли вольно: каски у пояса, рукава курток засучены, поперёк груди автоматы. Шаг уверенный, голоса горластые — перекрикиваются оживленно, будто не на войне.

Два офицера впереди колонны, в руках снятые фуражки, размеренно и сдержанно помахивают ими в такт шагам. Офицеры увидели на взгорье дома, подобрались, сначала один, потом другой надели фуражки, надвинули покрепче на лоб.

Макару удобно было глядеть — солнце стояло за левым его плечом, и, может быть, потому, что ясно он видел всю многокилометровую, выползающую из пыли силу, тоскливо замирало сердце.

Метров на полста опережая офицеров, шли по дороге семь автоматчиков охранения. Эти семеро путали расчёты Макара: если он пропустит их и откроет огонь по колонне, автоматчики окажутся почти в тылу и бой окончится намного раньше, чем это нужно Макару и солдатам, отходящим к Днепру. Если первую очередь он направит в этих семерых, колонна заляжет, не получится тот опустошающий удар в упор, который так тщательно он готовил.

В беспокойстве, с холодным недружелюбием следил Макар за автоматчиками: уместив руки поверх висящих на груди автоматов, с ленивой небрежностью утомлённых работяг, они как раз выходили на ближний изгиб дороги; ещё шагов сорок — пятьдесят — и поравняются с валуном. Макар охватил тёплые ручки пулемёта, слегка присел, лоя в глазок прицела красновато отсвечивающий на солнце валун, большими пальцами нащупал предохранитель и спуск.

«Нет, этих пропущу. Первая лента — в упор, по колонне», — в последнюю минуту решил Макар, подавляя прошедшую по спине к затылку дрожь.

Автоматчики миновали валун, приостановились, разглядывали молчаливые дома будто вымершей деревни. Колонна ходко подвигалась к ним, пыль поднималась, растекалась по сторонам дороги. Казалось, вражеская колонна выползала из густого белёсого тумана.

Первый автоматчик из головного охранения повернулся лицом к офицерам, указал автоматом на деревню. Офицер повелительно махнул рукой, автоматчики, будто в раздумье, постояли, нехотя двинулись серединой дороги. В это время офицеры поравнялись с валуном.

Макар, щуря левый глаз, чуть стронул ствол пулемёта вправо, до фигуры головного автоматчика, приподняв предохранитель, вдавил спуск.

Он хорошо видел, как согнулся, будто от удара в живот, первый автоматчик. Развернулись на месте и, как будто удивленно посмотрев друг на друга, упали навзничь оба офицера. Потом всё смешалось: дорога до ближнего изгиба кипела падающими, шевелящимися телами, как вспоротый суком муравейник. То, что минуту назад было колонной, сползло в обочины и на поля, обнажая словно дымящуюся дорогу.

Макар присел в окопе. Вслушиваясь в треск автоматных очередей, выдернул отстрелянную ленту, вставил другую — последние свои патроны, двести пятьдесят, из которых каждый он должен был выпустить теперь бережно и точно.

Прислонясь щекой к горячему пулемету, он наблюдал то, что делалось внизу. Немцы копошились на обочинах, отстёгивали от поясов, надевали каски. Но Макар видел, как много из упавших осталось лежать на дороге с непокрытыми головами, пыль, поднятая пулями и людьми, оседала на их лица и затылки.

Близкого посвиста пуль Макар не слышал; похоже, немцы в неожиданности случившегося пулемёт не засекли. К тому же солнце мешало им видеть, и Макар подумал, что дело складывается к лучшему.

Из обочин дороги солдаты вставали; пригибаясь, перебежали на поле, стреляли короткими очередями по буграм.

Вслед поднялась уже цепь автоматчиков, пошла в рост. Двигались они левее бугра, на котором был он, но Макар следил за ними с недобрым предчувствием: срезать редкую цепь он не сумеет — солдаты тут же залягут, но после второй очереди он уже выставит себя, как мишень на полигоне.

«Второй бы пулемёт туда, к лесу, — с бесполезной расчётливостью думал Макар. — Зажали бы всю колонну намертво. А теперь, мудри не мудри, стрелять придётся в открытую...»

Он сознавал, что видит землю в последний раз. Оглядел небо, где в вышине, загромождающая синь, стояли сомкнутые горы облаков, тёмных снизу и ослепительно белых вверху; всмотрелся в дальний лес, отчётливо разделённый облачной тенью; глянул на уходящее по косогору вниз косматое от густых, развалившихся в тяжести колосьев белёсое ячменное поле и в жалости ко всему, что оставлял на земле, трудно вздохнул и положил ладони на ручки пулемёта. Смотрел он сейчас на подходящих к бугру автоматчиков, но видел близкий, заслоняющий их, малиновый огонь иван-чая прямо перед собой. Автоматчики, выдирая ноги из густого ячменя, шли не пригибаясь и уже не стреляли. Ободрённая тишиной, поднималась на всём видимом протяжении дороги и уложенная Макаром колонна; Солдаты отряхивались, закидывали на шеи ремни винтовок, с опаской подходили к тем многим, кто лежал в пыли и не поднимался.

Зная, что бой теперь пойдёт в открытую, Макар как бы перестал замечать опасность, идущую с поля, и повернул пулемёт на дорогу — здесь, в скоплении врагов, пули отработают положенное им вернее. Стронул предохранитель, но спуск нажать не успел: на холме, у леса, вдруг заработал пулемёт. По округлому гудящему звуку Макар распознал «дегтярь» — свой, русский, ручной пулемёт. Пули, посланные с холма, прошли где-то выше автоматчиков, идущих по полю, вразброс ударили по дороге и по придорожному пыльному, елошнику, срезая листья и ветви. Но и этого неприцельного огня было достаточно, чтобы изменить всё движение боя.

Автоматчики залегли. Солдаты с дороги волной накатились на поле, с ходу припадая в ячмень. По краю поля и дальше, по всей дороге, покатались, опережая друг друга, хлопки выстрелов, дробь быстрых очередей.

Бугор у леса задымился разбитой, поднятой в воздух землёй. В белёсом дыму плескались на вершине и по всему открытому склону быстрые разрывы мин. Вряд ли можно было остаться живым в этом огненном проливне, и Макар принял как неизбежное то, что пулемётчик с «дегтярём» замолчал. Солдаты, лежащие в ячмене, поднялись, повинувшись командному крику, настороженно и быстро пошли вверх по склону.

Макар не торопился стрелять. Он приспустил прицел и, когда достаточно плотная ближняя к нему часть цепи развернулась, приоткрыв спины, хорошо прострочил по цепи сбоку, с удовлетворением отмечая, как заваливаются солдаты в ячмень по одному, по два, и не по своей воле.

Такого замешательства среди врагов, какое случилось после второй его пулемётной очереди, он не видел с начала войны. Как волна, нахлынувшая на берег, вдруг останавливается и, опадая и рассыпаясь, откатывается назад, так рассыпалась вся видимая Макару цепь; обгоняя друг друга, солдаты и автоматчики бежали вниз, к дороге, западали в елошнике, в придорожных канавах. Макар не удержался и подогнал их короткой очередью, пустив пули туда, где бегущих было погуще.

Теперь воздух рвался со свистом и стоном над ним, взрывы раскидывали его бугор, накрывали пыльным туманом пулемёт и траншейку.

Макар вжался в окоп, приник к земле, мужеством было даже высидеть под этой убивающей пляской металла.

Поднялся Макар, когда вокруг затихло. Немцы шли на него от дороги цепью, он видел под касками их лица, багровые в низком солнце. Двумя короткими очередями, по левому, по правому краю, он заставил залечь всю цепь, он хотел как можно дольше удержать расстояние между собой и врагами.

После очередного шквала огня, когда притихало и в воздухе и на земле, Макар поднимался, смотрел сквозь оседающую пыль на ячменное поле, на дорогу. И всякий раз, когда он смотрел, он видел близко перед собой, на бруствере, малиновое пламя одинокого иван-чая. Удивительно, но на этой перевероченной пулями и осколками земле цветок стоял на своем тонком стебле, и Макар, взглядывая на его спокойное цветение среди беспорядка боя, успевал подивиться его негаснущему цвету. И хотя в жизни он никогда не связывал свою судьбу и случающиеся вокруг знамения природы, на этот раз он как-то поверил, что, пока цветок горит, он, Макар, будет жить.

В какой-то момент — часы и минуты уже спутались в сознании — он почувал неладное: в наступившей вдруг тупой после грохота тишине услышался рокот мотора. Он поднялся, глянул поверх пулемёта и с впервые почувствованной беспомощностью, как-то сразу ослабев, прислонился к обвалившейся стенке своего уютного окопа.

Танк вывернулся откуда-то из хвоста колонны и теперь катился по дороге, закрывая пылью, как дымовой завесой, поле. Но вот он словно запнулся перед неподвижно лежащим поперёк дороги солдатом, крутанул плоским лбом, объехал по обочине. Чем ближе подходил танк, тем всё осторожнее и как-то суетнее обходил он лежащих в пыли и наконец остановился: убитые солдаты лежали здесь сплошь, перекрывая дорогу.

Танк попятился, развернулся на месте, переполз придорожную канаву, набирая скорость, покатыл краем поля на Макаров бугор.

Макар приподнял из короба остаток ленты, прикидывая последний свой запас — патронов оставалось на хорошую очередь; с сожалением подумал, что эти патроны потратит сейчас, и, наверное, без пользы. Он знал, успел разглядеть, что на него шёл не танк, как показалось ему вначале, а танкетка с незакрытой и достаточно широкой смотровой щелью. Попасть пулей в щель — расчёт шаткий, но другого не было ему дано, и Макар приготовился встретить силу последней оставшейся у него силой.

Прицел он опустил до упора, направил пулемет чуть правее середины лба набегающей танкетки и, слившись с пулемётом и чувствуя, как от напряжения каменеют плечи и пальцы, почти не слыша наплывающего гула и треска мотора, ждал того мгновения, которое одно могло ему помочь.

Когда, нырнув в косую впадину под бугром, танкетка будто выпрыгнула на склон и, задрвав тонкий ствол пулемёта, по-звериному юрко поползла вверх, нацеливаясь на него, Макар надавил спуск. Он видел, как брызнула осколками разбитая фара, вскипела и побелела у водительской щели озеленённая броня. Левая гусеница вышвырнула песок, машина почти на месте развернулась и затихла.

Плохо веря в случившееся, Макар отёр холодный лоб, осторожно ощупал голову под слипшимися волосами, — показалось, волосы мокры от крови. Не был страшен теперь и чужой пулемёт: танкетка наклонилась так, что, если бы тот, другой оставшийся в живых, переставил пулемет даже в боковую щель, то всё равно он не достал бы его огнём.

Макар привалился к своему пулемету, не в силах унять дрожь в ногах. Шагах в двадцати стояла танкетка, потрескивала перегретым, теперь остывающим мотором. Макар слышал знакомое потрескивание усталого металла, слышал возню внутри танкетки, настороженно поглядывал, ожидая, что крышка люка вот-вот откинется. Не сводя глаз с танкетки, нащупал конец пулемётной ленты, с ощущением вдруг образовавшейся пустоты пальцами дважды пересчитал оставшиеся патроны — было их три. Дело шло к развязке. Но колонна немецкая лежала. И хотя теперь он был почти начисто безоружен, она лежала, придавленная к земле той огненной памятью, которую он оставил у врагов.

Что-то должно было произойти, и Макар ждал, стараясь уже не думать, как это произойдёт. Странно, но, обессиленный долгим неравным боем, он сожалел сейчас, в последнем своём ожидании, не о том, что по своей воле выбрал этот неудобный бугор у незнакомой ему смоленской деревни Речица, — он сожалел о том, что не мог теперь удержать в неподвижности лежащих перед ним чужих солдат.

Всё, что случилось чуть позже этого часа, было уже по-военному буднично. Обогнав остановившуюся колонну, подошёл тяжёлый танк, перевалил через дорогу, спокойно, даже не стреляя из пушки, двинулся полем на бугор. Макар, отстранившись от пулемёта, смотрел на завораживающее мелькание гусениц, мнущих почти спелый ячмень. И когда мелькание и блеск стальных, отполированных дорогами траков стало нестерпимо, пригнулся к пулемёту, повернул ствол к скоплению солдат у края придорожного елошника и послал туда последние пули. Грохот работающего металла, лязг гусениц заглушил его выстрелы. Опрокидываясь в окоп, Макар сквозь поднятую пыль, дымную, опавшую на него бензиновую гарь успел заметить близкий малиновый огонь иванчая — цветок жил!..

* * *

Когда танк, с аккуратно отпечатанными жёлто-чёрными крестами на боках, сделал свое обычное на войне дело и, выбрасывая вбок чёрные выхлопы дыма, ушёл к дороге, к бугру направился генерал и два немецких офицера. Впереди них и по бокам шли шестеро солдат в касках, настороженно выставив перед собой автоматы.

Генерал, самый медлительный из троих, поднимался по склону, как по крутой лестнице. Лицо его было мрачно. Сомкнув губы, нервически раздувая ноздри, он с трудом сдерживал шумное дыхание, время от времени промакивал чистым белым платком лоб под чёрным козырьком высокой фуражки.

Генерал встал над вмятым в песок пулемётом, кистью руки опираясь на выставленное вперёд колено, сделал повелительный жест. Тотчас в замятую танком траншею прыгнули автоматчики, руками разрыли окоп, приподняли голову Макара. Смертная белизна его лица проглядывала даже сквозь обожжённую солнцем тёмную кожу, из угла стиснутого рта натекала на подбородок кровь.

— Hege Hande! Zeigen Sie mir die Hande! [Руки! Покажите руки!.. (нем.)]
— приказал генерал.

И когда из земли высвободили руки Макара и разбросали их по сторонам, генерал, уже не сдерживая раздражения, закричал:

— Ich sehe keine Ketten, die ihn an das Maschinengewehr fesselten! Ich frage sie, wo die Ketten sind?! [Я не вижу цепей, которыми он был прикован к пулемёту! Я спрашиваю вас, где цепи?! (нем.)]

Офицеры вытянулись. Они не смотрели на генерала, они смотрели на раскинутые руки Макара.

—Noch zwei - drei solche Russen, und von meinen Soldaten bleiben Kreuze. Birkenkreuze! [Ещё два-три таких русских пулемётчика, и от моих солдат останутся кресты! Берёзовые кресты!.. (нем.)] — отчётливо, выделяя каждое слово, сказал генерал. Он повернулся, пошёл вниз, ставя ноги на каблуки. Каблуки съезжали по крутому склону, генерал оступался, взмахивал рукой с зажатым в ней белым чистым платком: было в нём что-то от птицы, падающей с высоты.



Глава вторая

ПЕРЕПРАВА

1

Степанов не мог различить, где берег, где вода и есть ли на всём видимом ему пространстве отдельные люди, — всё смешалось в одну, будто на огне кипящую массу. Людские толпы стекали от жиденького побитого леска по открытому песчаному склону к реке, туда, где ближе казался другой, спасительный берег; вся обширность реки, просвеченная высоким солнцем и голубеющая вдали, была багрово-серой здесь, на переправе. В воздухе ещё стоял гул немецких самолётов; обломки разбитых понтонов, лодок, расщеплённые брёвна от давно, и теперь снова, разбитого моста сносило течением реки вместе с кровавой пеной, телами людей и лошадей, копнами сена, тележными колёсами. Самолёты ушли, и людская лавина снова потекла с берега в узкие горловины двух понтонов, протянутых по обе стороны разбитого моста, закрывая путь всему, что было на колёсах. Танки, беспомощно выставив короткие стволы пушек, словно тонули в обтекающей, их плотной человеческой массе. Лошади, впряжённые в артиллерийские орудия, понукаемые отчаянными жестами сидящих на них ездовых, яростными их криками, почти неслышными в общем плотном, как будто сгущающемся и нарастающем беспокойном шуме, как-то ещё протаскивались вместе с людьми, но в конце концов и они остановились, не дотянув до понтонов.

Нижний по течению наплавной мост был разбит, но люди уже не могли остановиться: напор общего движения сталкивал их в широкий разлом, солдаты падали в воду, старались добраться до другого, развёрнутого течением, конца. Кто-то добирался, кого-то выносило на стрежень, и головы плывущих пропадали в заворотях беспокойной воды; многие, перебирая руками боковины понтонов, тянулись обратно к берегу, от которого они хотели уйти.

Выше этих двух понтонов, наведённых сапёрными частями отступающей армии генерала Елизарова, жались к береговому лесу не менее многолюдные толпы беженцев. С высоты берега видны были повозки, коровы, козы, тачки, коляски, пёстрые платья и платки женщин; у кромки воды, будто испуганные кулички, сновали ребяташки. Переправа разделила военных и невоенных людей.

Сдвинутые сюда отступающим фронтом гражданские люди даже не пытались пробиться на воинскую переправу сквозь плотную солдатскую массу. В той безнадежности, в которой они оказались, они искали свои пути на другой, им казалось спасительный, берег. Кто-то, видимо, нащупал что-то похожее на брод. Многие уже шли по воде, придерживая на плечах узлы и ребяташек. Люди медленно брели, будто сцепленные друг с другом и, перепоясывая светлое пространство реки, и, насколько видел Степанов, дотягивались до противоположной стороны. Ближе к тому берегу, там, где обширную отмель огибало русло, людей как будто размывало: кто-то решался и плыл, многие, в надежде на помощь с того берега, стояли по пояс в воде, ожидая. И тех, кто ожидал, становилось всё больше...

Арсений Георгиевич Степанов прибыл в армию генерала Елизарова два дня тому назад, уже после того, как части, составляющие армию, дважды прорывались сквозь охватывающую их танковую группировку генерала Гудериана и, после тяжёлого сражения, с большими потерями вышли севернее Смоленска к Днепру. Степанов распоряжением Ставки был назначен на место погибшего в этих боях члена Военного совета армии, в боях участвовать ему ещё не пришлось. Он только приглядывался к новой для него фронтовой обстановке и пока что мыслил и оценивал то, что видел, памятью прежней, пережитой им в молодости гражданской войны и опытом мирной партийной работы. Потому, когда с берегового возвышения он разглядел заполненный людьми берег, он понял, что перед водной ширью реки в худшем положении, чем армия, находятся тысячные толпы беженцев. Давняя выработанная деятельная потребность помогать тому, кто слабее, быть там, где труднее, побудила Степанова к естественному для него решению организовать переправу выше понтонов, там, где искали себе путь оставшиеся без помощи люди. Поддаваясь потребности быть там, где беда казалась большей, он с обычной своей, сейчас особенно ощутимой хрипотцой проговорил:

— Смотри, Иван Григорьевич, сколько там женщин и детей! Пойду помогать...

Генерал Елизаров, стоявший рядом со Степановым, бывший в одних с ним годах и в равной власти над вверенной им армией, но переживший и понявший за неделю отступления и боёв больше, чем за годы всей своей военной жизни, очевидно, понял это чисто человеческое побуждение своего нового комиссара.

Напряжённым взглядом оценивая возможности наведённой и снова разбитой переправы, зная предел оставшегося времени, которое с каждой минутой как будто спрессовывалось вслед им идущей немецкой армией и всё ощутимее превращалось из понятия жизни в понятие смерти для многих тысяч сдвинутых к переправе людей, — зная всё это, видя и беженцев, остановленных рекой, и общую солдатскую стихию, которая выше возможного заполонила обе нитки понтонов и с которой уже смешались части его армии, понимая, что только огневые средства, выставленные на том, противоположном берегу, в какой-то мере ещё могут спасти людей, задержанных на этой стороне реки, поднял на Степанова глаза, охваченные воспалёнными, припухлыми веками, сказал, самой категоричностью голоса удерживая его от невозможного сейчас шага:

— Нельзя, Арсений Георгиевич. Армию погубим. И тех людей не спасём. Немецкая пехота на подходе к Речице. От Речицы до места, где сейчас с тобой стоим, три часа хода. Бери на себя левый, действующий, понтон. Сам займусь разбитым. Немедленно надо перебросить на тот берег всю артиллерию, по возможности — танки. Там их примет, распределит по рубежу полковник Самохин. Имей в виду: заслон в сторону Речицы слаб. Противника не удержит. В лучшем случае предупредит. Всё, Арсений Георгиевич. Пошли действовать!..

Степанов принял как необходимость то, что сказал, что приказал ему и себе командующий. Молча кивнул; затаивая неловкость и вину перед пёстрой толпой людей там, у леса, решительно пошёл вниз, запылёнными сапогами осыпая с иссохшего склона песок.

— Погоди-ка, Арсений Георгиевич! Куда это ты один? — окликнул генерал. Но в шуме напряжённого, непрерывного движения тысяч людей Степанов его не расслышал.

Генерал движением руки подозвал автоматчика — знакомого ему паренька с почти девичьим, даже в усталости привлекательным лицом, приказал:

— Чудков! Возьмёшь пятерых из взвода автоматчиков и — за комиссаром. Ни на шаг от него!.. — и подумал с тревожностью: «Ещё не понял ты этой войны, дорогой товарищ Степанов: Не понял...»

Степанов не смог бы пробиться к понтону, если бы не молоденький автоматчик Чудков. Он появился вдруг, на ходу доложил: «По приказу генерала с вами, товарищ дивизионный комиссар!..» — и повёл его, высвобождая ему дорогу, среди солдатских плеч и спин, обтянутых выбеленными до портяночной бесцветности гимнастерками; от солдат, как от измученных лошадей, терпко пахло потом. Чудков лавировал в душном, почти не двигающемся людском столпотворении, как лодочка среди сплошняком идущего по воде молевого сплава. Он то просил голосом негромким, убеждающим: «Отдайся чуток, солдатик! Приказ генерала. Генерала приказ, говорю!» То мальчишеский, задиристый его голос вдруг обретал командирскую силу, когда, затёртый массивными солдатскими телами, откуда-то снизу он кричал: «А ну, не напирай! Расступись, говорю. Дай дорогу начальнику переправы!..» Сам выбравшись из этой живой глубины, он выводил комиссара и уже похлопывал кого-то впереди по широкой спине, с весёлой отчаянностью бросал шуточки в гущу, казалось, безразличных, ко всему притерпевшихся людей: «И спина же у тебя, дядя! Не спина — плот. Подавайся к реке, на тебе два солдата поплывут!»

Степанов с трудом протискивался за весёлым, сразу расположившим его к себе пареньком и всё острее чувствовал, как опасно напряжена охватившая его со всех сторон солдатская масса, движимая сейчас единственной близко видимой целью — уйти на тот, свой, берег, за спасительный рубеж реки, оторваться наконец-то от назойливости огненного немца. Почему-то именно два слова — «огненный немец» — повторял он с особой настойчивостью, когда пробирался к переправе, мысленно прикидывая, как овладеть движением тысяч людей. Слова эти, запавшие в память, услышал он ночью от пожилого солдата, который, как узнал он, оказался земляком — семигорским жителем, Василием Ивановичем Гожевым, работавшим у Ивана Петровича Полянина при лесхозовских лошадях. Самого человека он не вспомнил — не с каждым встречался и говорил на широких дорогах, — но общих знакомых они тут же, в сложившейся беседе, припомнили с понятным интересом. Солдат и сказал рассудительно эти не сразу показавшиеся ему важными слова: «Нонешний немец, товарищ комиссар, огненный немец. Огня у него много. С земли, с неба — отовсюду у него огонь. А мы всё с винтовочкой — пять пуль, и то чередом. И не то чтобы духом пали, про то не скажу. Но ежели огнём не раздобудемся — не кинем немца назад. Это уж так, товарищ комиссар...»

Так сказал ему бывший конюх, теперь солдат Василий Иванович. Шли они в ещё светлой ночи июля, в одной из растянувшихся по дороге колонн, шли вольным усталым шагом, беседа накоротке. Ещё с Гражданской войны, в долгих походах, любил Степанов пристраиваться к бойцам и говорить вот так, без каких-либо условностей. Он и теперь, прибыв на фронт новой войны, оживил в себе прежние комиссарские привычки и доволен был, что в первом же безрадостном переходе попал на рассудительного земляка, к тому же повидавшего немца. Как ни короток был разговор, Степанов запомнил солдата, запомнил и слова с их по-солдатски выстраданным смыслом, — приоткрывалось нечто, имеющее отношение и к общему отступлению их армий, и к новой для него войне.

«Огненный... огненный немец...» — думал Степанов, пробираясь в плотном окружении автоматчиков вслед за умелым Чудковым и повторяя слова солдата: «Огня у него много... огня...» Он был уже невдалеке от понтона, когда занимавшая его, казавшаяся важной мысль отступила перед охватившей его вдруг неприятной потревоженностью: в шелестящем шуме движения множества людей он отчётливо расслышал откровенно насмешливый голос: «Расступись, солдатня, — начальство драпает!..» Степанов тут же повернулся на голос, на мгновение увидел нацеленный в него враждебный взгляд высокого, выше многих других, солдата. Загорелое его лицо чем-то — сытостью, что ли? — отличалось от всех виденных им за последние дни солдатских лиц. Подозвать солдата, внушить ему что-то Степанов не успел: враждебный ему насмешник будто растворился среди покачивающихся грязных от пота и пыли солдатских лиц. И самого Степанова уже сдвинуло от того места, перенесло ближе к понтону. Но услышанный им насмешливый голос, откровенно рассчитанный на то, чтобы возбудить людей, полоснул будто шашкой, и какое-то время Степанов не мог подавить чувство растерянности, слепо двигался в безразличной к нему, теснящей его, всё уплотняющейся солдатской массе.

У воды, перед накатом из толстых, измолотых ногами и колёсами брёвен, открывающим путь на понтон, Степанов попытался остановиться. Чувствуя всю безнадежность одиноких своих усилий, но ещё больше понимая необходимость немедленного действия, он, в окружении автоматчиков, поднялся по исшарканному, разболтанному настилу, остановился с краю, повыше, чтобы могли его видеть, вскинул руку, напрягая грудь, крикнул во всю возможную силу голоса:

— Солдаты! Внимание!.. Освободить проход танкам и артиллерии!..

Голос его за годы кабинетных сидений, видно, потерял былую командирскую властность, может быть, просто потонул в гуле множества других голосов, ругани, рокоте моторов, ржании лошадей, шорохе тысяч ног, мявших сыпучий песок.

Но вид дивизионного комиссара, стоявшего на возвышении, в полной форме, при ясно видимых знаках различия, при орденах, которые Степанов все надел, отправляясь на фронт, на какое-то время приостановил ближайших к нему, уже подступавших к переправе солдат. Напряжёнными спинами сопротивляясь общему движению, они упирались ногами, старались задержаться перед комиссаром, но напор людей, двигавшихся к реке и ничего впереди не видящих, кроме недалёкого спасительного берега, был неостановим: упирающихся солдат подняло и понесло на Степанова, как полая стремительная вода поднимает и несёт впереди себя летние жиденькие запруды. Снова хлынула на понтон людская масса, и автоматчики едва успели оттеснить неосторожного комиссара от её сметающей силы.

Степанов видел и сознавал, что людской поток, в котором смешались остатки соединений, частей, разных родов войск, где чёткий, привычный для солдата и командира воинский порядок был разрушен оглушающими ударами врага, невозможно ни вдруг остановить, ни подчинить даже высокому командирскому приказу. Вся масса войск, стекающая с берега на переправу, подчинялась сейчас не армейскому закону, имя которому — воля и слово командира, а тому, казалось, неподвластному закону необходимости спасения своей жизни, который действовал вопреки воле и слову командира. И хотя страх, подгоняющий людей к переправе, не был той губительной для армия паникой, которая совершенно лишает солдата разума, достоинства и силы, он всё же был, этот страх, — люди не хотели оставаться на открытом, ничем не защищённом берегу, каждый из них для себя знал и верил, что, прорвавшись через бомбы и огонь самолётов за пространство реки, они наконец-то найдут тот прочный рубеж, откуда начнется порядок, ясность и утерянная под напором врага военная их сила.

Поверх плотно окружающих его автоматчиков он вглядывался в солдатские лица, понимал страх и надежду этих солдат, рвущихся на понтоны, знал, что все эти люди так или иначе должны уйти на тот берег. Но знал он и другое: на том берегу не ждут их свежие дивизии и готовые рубежи, что все эти солдаты разбитых соединений, разными дорогами приведённые к переправе, пополнят полки их отступающей армии, будут в спешке рыть иссушенную землю, сами создавать тот рубеж обороны, в который сейчас верили; знал он и то, что «огненного немца», даже на широкой реке, винтовками и пулемётами не задержать. Каждого солдата в отдельности он мог бы убедить в том, что ему, солдату, без артиллерии не выстоять за рекой, и каждый в отдельности солдат понял бы то, чего добивается он, и посторонился бы, и пропустил орудия и танки.

Но солдат было тысячи, и остановить, убедить каждого он не мог, — команда его не действовала, да и голоса его не слышали эти тысячи. Всё это Степанов сознавал, напряжённо вглядываясь в проходящих мимо него в угрюмой торопливости солдат. Но то, что он сознавал, не делало его сильнее: мудрость не всегда сила. Чтобы поступить по необходимости, нужна была сила большая, чем заполнившая весь берег реки людская стихия. Такой силы у Степанова не было. Автоматчики плотно прикрывали его спинами, ошетилив перед собой резные стволы автоматов; но это была лишь сила, охранявшая его, комиссара, и привести её в действие против людей, даже исступленных жаждой спасения, он никогда бы себе не позволил. Но Степанов не был бы Степановым, если бы признал своё бессилие. Он знал, что должен овладеть переправой, должен навязать необходимый для этих людей порядок. Мысль его работала быстро, настойчиво выискивала решения, тут же взвешивала, отвергала. Наконец решение появилось, ему нужны те шесть танков, которые стояли метрах в ста от понтона, казалось намертво зажатые стекающими к реке людьми.

— Чудков! — Степанов окликнул негромко, но молодой автоматчик тотчас повернулся, смотрел на комиссара сочувствующим взглядом. И, видя этот его взгляд, в котором не было растерянности, была только готовность помочь, он не приказал, а скорее попросил:

— Чудков, старшего командира вон тех танков ко мне...

В живых глазах Чудкова вспыхнула откровенная радость от того, что комиссар и в безнадежности нашёл какое-то решение. В радости он выдохнул: «Есть!» — что-то сурово сказал автоматчикам и снова, как остроносая лодочка, ловко толкнулся навстречу сплошному, на него идущему людскому потоку.

Вернулся Чудков раньше, чем Степанов ожидал. За ним как будто выдрался из движущейся солдатской массы танкист в истрёпанном, потерявшем цвет комбинезоне; шлема на нем не было, волосы, будто пук спелого, спутанного ветром ячменя, прикрывали висок и серое от пыли ухо.

— Старший лейтенант. Один за всех командиров 121-го танкбата... — выговорил он глухо. Голос его едва можно было слышать: его занемевший от усталости язык едва проталкивал слова.

Степанов видел, какую усталость носит в себе старший лейтенант, и постарался не заметить, ни нарушенной формы доклада, ни распахнутого ворота надорванного комбинезона; он догадывался, через какой огненный ад прошёл этот по виду безразличный ко всему молодой командир, и, не желая показывать своё человеческое сочувствие, которое вопреки всему в нём было, стараясь возбудить в танкисте какой-то последний резерв его человеческой силы, сказал:

— Прошу вас, старший лейтенант, сделать невозможное: подведите танки, отгородите танками горловину понтона. Если в ближайший час мы не переправим на тот берег артиллерию — люди на берегу обречены...

Танкист с трудом удерживал тяжелые веки, веки опускались на глаза, он даже покачнулся в забытьи, вздрогнул, приходя в себя из мгновенного сна. Слова, которые ему говорили, медленно входили в его сознание. Степанов повысил голос, резче, чем прежде, спросил:

— Вы поняли, старший лейтенант?

Танкист старался понять, что от него хотят; рука его поднялась, в неловкости придавила к горлу надорванную половину ворота, скользнула по груди. Невозможно было представить, в который раз он преодолевал усталость, но сознание вернуло его в действительность: взгляд прояснел, руки вытянулись вдоль тела, голосом глухим, но достаточно отчетливым он сказал:

— Понял вас, товарищ дивизионный комиссар!..

Степанов кивнул:

— Исполняйте! Возьмите автоматчиков, они помогут. Хоть метрами, хоть сантиметрами, но приказываю двигаться к понтону!

Старший лейтенант и автоматчики пошли в обход, вдоль берега, с трудом одолевая напор встречь им идущих солдат. Один Чудков не двинулся с места. Степанов вопросительно и недовольно смотрел на него, но маленький автоматчик как будто ещё крепче врос в песчаную кромку берега, где сейчас они стояли. Искоса, напряжённым взглядом, он смотрел на Степанова, опережая его слово, неуступчиво сказал:

— По приказу генерала не имею права оставить вас, товарищ дивизионный комиссар! — и как бы для убедительности обеими руками потряхнул висевший на груди автомат.

В душе Степанов одобрил солдатскую исполнительность упрямого автоматчика.

Поджидая танки, не вполне уверенный в том, что старшему лейтенанту удастся продвинуться к переправе, он с давно забытым чувством бессилия оглядывал ближайший к понтону, заполненный напирющим войском берег. Среди множества словно плывущих лиц взгляд выхватил вдруг знакомое лицо высокого усмешливого солдата, который, явно рассчитывая на солдатское расположение, выкрикнул смутившие его слова. Взгляды их опять встретились, и Степанов опять отметил на обожженном, как у всех, солнцем, но сытом лице бегающие, как будто что-то ищущие глаза. Высокий солдат тут же исчез среди голов и плеч, лицо его промелькнуло уже ближе, но в стороне от понтона, и Степанов с неприятным удивлением подумал, что солдат не торопится на переправу.

Было что-то настораживающее в назойливом присутствии этого странного солдата. Но возникшая было настороженность тут же ушла: он увидел, как качнулись стволы танковых пушек: разделённые людской текучей массой, танки начали медленно сдвигаться. Сомкнувшись, посвёркивая сквозь покрывающую их пыль металлом, танки короткими, какими-то судорожными рывками, но всё-таки поползли. Однако, пройдя половину нужного пути, машины встали: перед самым понтоном солдаты как будто слипались друг с другом, пробиться сквозь сплошную людскую стену было невозможно. За танками втянулись в проложенный ими коридор несколько артиллерийских упряжек. Теперь все они снова замерли; по-прежнему двигались одни солдаты, с ещё большей иступленностью прижимаясь к впереди идущим, — глухо, безостановочно людская масса втискивалась на понтон.

Степанов ясно представлял, какой кровавый ад случится здесь через час-два, когда на переправу выйдет немецкая колонна. Он знал, что должен принять решение — не свойственное ему, жестокое решение, но принять его он должен.

Старший лейтенант-танкист, наполовину высунувшись из открытой башни, сорванным, каким-то рыдающим голосом бесполезно материл закрывших ему путь солдат, и Степанов, понимая, что должно сейчас случиться по его приказу, уже повернулся к Чудкову, готовый послать его к старшему лейтенанту-танкисту.

Приказать он не успел: воздух прорезал гул моторов. Из-за леса, с той стороны реки, вынырнула тройка «мессеров», ринулась с нарастающим созвучным рёвом вниз, нацеливаясь прямо на горловину понтона, у которого стоял Степанов.

Минуту, назад казалось, что нет силы ни отодвинуть, ни задержать наплывающее на понтон половодье отступающих армий. Но лобовой нарастающий рёв стремительно пикирующих на переправу «мессеров» оказался для людей сильнееё страха той опасности, которая была где-то за их плечами. Под ударившим в воду и в песок проливнем пуль сплошная масса солдат будто вздыбилась, люди волнами отплеснулись от понтона на обе стороны, насколько это было возможно в той тесноте, в которой они были. Самолеты, оглушая, пронеслись, казалось, над самыми головами, взмыли в небо, широким кругом пошли на новый заход. Степанов, хмурясь от проявленной слабости, поднялся от бревна, к которому его придавил моторный рёв и хлещущие удары пуль, движением руки отряхнул песок с груди, с колен, с неожиданным облегчением увидел почти свободную от людей горловину понтона. Не сразу понял, почему не двигаются к понтону танки, не сразу услышал, кому и что кричит высунувшийся из башни танкист. Потом понял: перед танком лежали убитые солдаты, и старший лейтенант-танкист кричал автоматчикам, чтобы они оттащили убитых. С тяжёлым, похожим на упрёк себе чувством Степанов подумал, что старший лейтенант-танкист не исполнил бы его вынужденного жестокого приказа, если бы такой приказ ему, дивизионному комиссару Степанову, пришлось отдать.

Автоматчики, озирая небо, с суетностью движений и какой-то виноватостью на лицах, оттаскивали к свободной кромке берега убитых. Степанов видел, как повсюду, в приостановленном движении войск, попарно, по трое, солдаты выносили убитых и раненых к крутояру, и удивительно было смотреть, как податливая, только что, казалось, наглухо отвращенная от всяких разумных поступков людская масса упредительно раздвигалась перед солдатами, несущими скорбную ношу. Он успел это заметить и в озабоченности своим делом почувствовал, что сможет совершить то, что надлежало.

Пока «мессеры», сопровождаемые настороженными, недобрыми взглядами тысяч глаз, делали по небу широкий круг, танки подвинулись к воде, лбами уткнулись в зады друг друга, наискось перекрыв горловину понтона, — проход остался лишь с той стороны, где был Степанов. В этот проход устремились стоявшие за танками четыре упряжки с полковыми пушками, грохоча колесами по бревенчатому настилу, въехали на понтоны. И тотчас, как будто все ждали увидеть это движение, масса войск, отринутая было огнём самолётов, с ещё большей стремительностью хлынула на переправу. Солдаты, отсечённые стеной содвинутых танков, с шумом входили в воду, и уже с воды, сбоку, взбирались на колеблющийся и оседающий под тяжестью людей, орудий, лошадей наплавной мост; эти солдаты сдерживали, но уже не останавливали движения въехавших на понтоны артиллерийских упряжек. Степанова теперь беспокоил хотя и ослабленный, но по-прежнему неуправляемый поток людей, который прохлынул в оставленный проход. Тяжёлые 152-миллиметровые орудия на тракторной тяге, которые было двинулись к понтону, опять встали, захлестнутые плотным движением солдат. Нужна была ещё какая-то сила, какое-то решительное действие, чтобы отсечь, хотя бы на самое малое время, напористый поток пехоты, пропустить, кроме двух тяжёлых гаубиц, ещё четыре видимые ему батареи полковых орудий, обоз с ранеными, несколько танков, безнадежно застывших на крутояре. Обдумывая своё возможное решительное действие, Степанов в то же время следил за самолётами, почему-то не уходившими от реки. «Мессеры», сторожа, но уже не останавливая общего движения людей, делали третий широкий круг над переправой. Похоже было, что они израсходовали боеприпасы и теперь звали другие самолеты на лёгкую добычу, и люди догадывались об этом, ещё нетерпеливее теснились и торопились пройти опасный путь.

Один из самолётов вдруг отделился, кренясь и снижаясь, вышел на середину реки, выровнял полёт, нарастая звуком мотора, устремился на переправу. Степанов видел, как от самолёта отпало, показалось почему-то — жёлтое, тело бомбы, и короткий свист её, пронизывающий воздух, оборвался глухим, каким-то утробным взрывом. Река взыграла, как будто кто-то снизу с силой выбросил воду в небо, опрокидывая и смывая с моста людей; нитка сочлененных понтонов лопнула, концы разорванного моста под напором течения начали расходиться.

Самолёты наконец ушли. От противоположного берега отплыли две лодки; часто махая вёслами, люди спешили к месту разрыва. Видно, кто-то из саперных командиров на том берегу неотступно следил за работой переправы, потому что ниже торчащих из воды свай старого, почти полностью уничтоженного бомбами деревянного моста уже действовала и вторая нитка понтонов, у которой распорядился генерал Елизаров. Степанов видел, как медленно ползли по тем понтонам артиллерийские упряжки в таком же плотном, окружающем их потоке солдат.

Степанов и не глядя на часы чувствовал, как сжимается время, беспощадное к нему, к этим тысячам людей, задержанным рекой, — время определялось сейчас только пространством от недалекого села Речицы до этой вот переправы. Едва Степанов давал себе думать о том, что случится здесь, когда выскочат на крутояр немецкие танки, — сохло горло, сводило плечи, как будто лёд протаскивали по спине: ни одно из бывших здесь, зажатых людьми орудий не смогло бы сделать даже выстрела!

Солдаты видели разведённый, забитый людьми мост и всё-таки продолжали продвигаться, ещё больше уплотняя, казалось, до предела заполненные понтоны; многие, проталкиваясь мимо стоявшего в окружении автоматчиков комиссара, забредали в воду, прихватывали отпилки брёвен, плавающие в реке доски, оглобли, тележные колёса, придерживаясь боковых понтонов, плыли к тому берегу, надеясь на всеильное русское «авось».

Взглядом напряженным и пристальным Степанов выискивал в людском потоке ещё какую-то силу, способную принять и исполнить его приказ. Для себя он уже определил эту силу и каждого, на ком видел знаки командирского отличия, окликал громко и властно. И лейтенанты, капитаны, старшины подчинялись его властным окрикам, выбирались из плотного людского скопища, как будто виноватысь за себя, за своих и не своих солдат, с тяжёлой, глухой настойчивостью заполняющих переправу, докладывали о себе, вставали позади, ожидая указаний. Группа командиров росла, и Степанов видел, что обретает силу, которой прежде у него не было; плечи его как будто становились шире, он чувствовал, что эти уже подвластные ему широкие плечи смогут помочь ему в нужный момент.

Сапёры на лодках и солдаты, облепившие понтоны, натужно тянули канаты, сводили концы порванного взрывом бомбы и расчленённого течением наплавного моста. Сейчас понтоны соединятся, и снова взиграет в людях, иступленных усталостью, жарой, постоянной близостью смерти, стихия видимого им на том берегу спасения — и тогда ни отсекающая танковая изгородь, ни заслон из автоматчиков и командиров не удержат с трудом освобожденную горловину понтонов.

Ищущий взгляд Степанова отметил на высоте берега новую, только что появившуюся часть. Взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что эта новая небольшая часть и в отступлении сохранила свой воинский порядок. Командир остановил бойцов на склоне, подозвал к себе других командиров, все они встали в полукруг, разглядывая затопленную войсками переправу. Солнце освещало склон, высвечивало лица стоящих на склоне людей, и Степанов, сощуренными глазами заостряя взгляд, с чувством нужного ему обретения разглядел на плотном невысоком командире зелёную фуражку пограничника.

Он обернулся к группе собранных им командиров, быстрым взглядом выделил артиллерийского капитана, судя по крупным чертам лица, твёрдому подбородку, спокойному прямому взгляду — человека неуступчивой воли, сказал, подойдя на шаг:

— Задание вам, капитан. Передайте командиру только что подошедшей части приказ: пробить к переправе коридор, подтянуть к понтонам все застрявшие пушки. И помогите ему, времени мало!

Капитан исчез так быстро, что Степанов не успел дать в провожатые ему Чудкова. Внимание его тут же сосредоточилось на всё возрастающем напряжении у входа на понтоны. За танковой загородью по-прежнему двигалась в реку не могущая остановить себя людская масса. Часть солдат, общим напором сброшенная в воду, плыла к тому берегу, придерживаясь свай разбитого моста. Многие плыть не решались, лезли из воды на понтоны, кричали, в нетерпении ожидали, когда сапёры вновь спаяют оба берега реки. Вся половина моста вместе с артиллерийскими упряжками, с трудом туда проведёнными, и теперь стоявшими, и тоже сплошь облепленными солдатами, напоминала раздраженно гудящий пчелиный рой, случайно опустившийся на переправу.

Другой поток людей, стремящийся на мост и приостановленный автоматчиками и старшим лейтенантом-танкистом, загнавшим свой танк почти в горловину понтона, набирал всё большую, угрожающую силу. Степанов видел, как под напором хмурых, озлённых препятствием солдат пятились автоматчики — спинами они жались к танку, лица их были бледны и решительны, но они тоже понимали, что бессильны перед массой напирющих на них людей.

Артиллерийский капитан ещё не дошёл до командира-пограничника, Степанов видел его, в зелёной фуражке, в окружении своих командиров. Сапёры почти состыковали понтоны, ещё несколько минут — и солдаты ринутся на переправу, и всё опять вернётся к началу.

Надо было выстоять, совсем немного, но выстоять: он видел, как выдрал себя из плотной массы людей артиллерийский капитан, спеша побежал на склон, Степанов обернулся, негромко, как будто не приказывая, сказал:

— Товарищи командиры, прошу помочь... — и первым шагнул к танку, в ещё свободное от людей пространство. Он не рассчитывал на физическую силу своих с возрастом ослабленных мускулов, да и смешно было бы рассчитывать на физическую силу там, где не могло помочь даже оружие, — он рассчитывал на то, что ближние к нему солдаты, пока приостановленные, оторванные от общего стихийного движения, не могут не вспомнить про свой солдатский долг в виду стоящих перед ними, с высокими воинскими званиями, командиров.

Но прежде, чем Степанов успел что-либо сказать, он увидел среди одинаково осунувшихся, угрюмых, даже озлобленных лиц уже знакомое ему, отличное от всех других лицо высокого солдата. Солдат был близко, настороженно следил за каждым движением Степанова, и, когда взгляды их встретились, солдат не зашепел, как это было прежде, укрыться за чужими спинами. Напротив, он как-то ловко скользнул телом между молча и нетерпеливо стоящими солдатами, передвинулся ближе. Его усмешливо растянутые губы, будто прицеливающийся взгляд явно выражали готовность к действию. И Степанов, взглянув на передвинувшегося ближе к нему высокого солдата, вдруг ясно понял, что этот солдат без пилотки, недавно наголо остриженный, с настороженным взглядом неглупых глаз, отлично знает, что только он, дивизионный комиссар, стоящий здесь, у начала переправы, пока ещё мешает общему взрыву всё сметающей людской стихии.

Степанов опять ощутил неприятное чувство от близкого присутствия этого непохожего на других солдата, хотел сказать Чудкову, чтобы подвели к нему странного человека, но вздрогнул от натужного, взвинченного до пронзительного крика голоса:

— Братцы! Немец на переправе! Все тикай на паром!.. Бей предателя-комиссара...

Когда слух изумленного Степанова ещё воспринимал натужный, насильственно взъярённый голос высокого солдата, он увидел направленный ему в грудь пистолет.

Выстрел он тут же услышал, но удара пули не почувствовал. Ещё не успев понять, он увидел, как обмякло на руке высокого солдата маленькое тело автоматчика Чудкова; Чудков подогнул колени, как-то нехотя, лицом вниз, повалился на песок.

Степанов на гражданской войне и в мирной жизни встречался с трусостью, изворотливостью, даже предательством. И всё-таки, по устоявшемуся в нём, несмотря на горький опыт, доверию к людям, по обретенному им в этом доверии душевному благородству, не предполагал до самой этой минуты, что нынешний враг, превосходящий в огне и военной силе, ещё и грязен, и коварен, и подл даже в таких вот мелких проявлениях войны. Ни на минуту он не сомневался, что высокий солдат — не боец Красной Армии: ни один из советских солдат не мог бы поднять руку на своего комиссара. Потом, вспоминая всё, что было на переправе, он, словно шкуру, сдирает с себя былые представления о войне, о враге, с которым пришлось сойтись в противоборстве, и молча и тяжело страдал, переживая в себе ту, прежде немыслимую им, кровь, которую увидел на переправе, — за одни сутки переправа обнажила перед ним всё, что не было ещё прожито на самой войне.

У высокого солдата уже выбили пистолет; и те самые до безразличия усталые солдаты, которые в оцепенении, в страхе перед идущим вслед немцам готовы были, отводя глаза, протолкнуться в общей массе мимо пытавшегося остановить их комиссара, — те самые солдаты теперь ломали диверсанту руки к спине так, что грудью он давил согнутые колени, пытался повернуть лицо к солдатам, с яростью пойманного зверя рвался, кричал проклятья комиссарам, и кто-то из солдат шагнул к нему и наотмашь ударил по мокрому, раскрытому рту.

Степанов обводил медленным взглядом плотную, близкую, шумно дышащую на него толпу; ему казалось, толпа стала ещё плотнее и неподвижнее: солдаты, которые были впереди, будто вросли в размятый песок берега и силой напряженных ног и плеч уже сами противостояли напору тех, кто был позади. От передних пошёл и говор, быстро передаваемый по сторонам и в задние напивавшие ряды: «В комиссара стреляли... диверсанта словили...»

Степанов слышал перекидывающийся говор, удивлённый, вроде бы даже виноватый, отметил и упорствующих общему движению стоящих перед ним солдат, как заметил для себя и то, что бывшая почти безликой, казалось, безразличная ко всему, кроме движения, людская масса вдруг обрела лица, одинаково хмурые, утомленные, но отличные одно от другого. Он видел и лица солдат, взхлест охвативших руки диверсанта.

Один, что был невысок, но крепок в груди, придавливал заломленную руку с какой-то злорадностью в выпуклых глазах, косо нацеленных в тёмный стриженный затылок пригнутого к самому песку диверсанта; другой, пожилой и похудее, в мятой, почему-то мокрой пилотке, крепко прихватив сильное плечо всё ещё пытавшегося кричать подлеца, с угрюмостью смотрел на лежащего у его ног молоденького автоматчика Чудкова. Степанов вглядывался в лица солдат и на хмурых — старых и молодых — лицах, одинаково тёмных, как будто усохших от зноя на открытых дорогах отступления, не видел сочувствия стрелявшему мерзавцу — Степанов даже про себя не мог назвать его солдатом. В числе других вокруг стоявших военных людей он увидел и знакомого рассудительного земляка Василия Ивановича Гожева — стоял он прямо в воде, мокрый по грудь, с перекинутой за спину винтовкой, придерживал на плече бухту пенькового каната, в другой держал топор: видно, кто-то нарядил его, а скорее всего — по своей воле он шёл помогать саперам. Василий Иванович как вступил в воду, нагруженный сапёрным припасом, так и остановился в полуобороте, став свидетелем того, что случилось; в его лице, озабоченном работой, Степанов не прочитал ничего, кроме тяжёлой сдержанной гадливости. Многие солдаты, встречая взгляд Степанова и виноватясь за случившееся зло, отводили глаза; пожилой боец с курчавой, словно опалённой, щетиной на скулах, бывший ближе других к Степанову, глаз не отвел: как бы не уступая Степанову своей самостоятельности, сузил глаза, сказал вроде бы за всех:

— Дайте его нам, товарищ комиссар... Не из наших он! Надо думать, специально забросили!

Вокруг стояли те же солдаты, которые минутами раньше не слышали, старались не слышать его приказов. Надо было чему-то случиться в этой многотысячной, разобщающей души людей стихии спасения, чтобы люди вновь почувствовали свою причастность к общему делу. Солдаты, видевшие сотни смертей в боях, лежавшие под бомбами в пулемётным огнем, сражавшиеся и отходившие под силой немца, не могли, не оказались равнодушными к рассчитанной подлости, к этому выстрелу из-за их спин. Те самые солдаты, которые не хотели его видеть и торопились пройти мимо, теперь стояли и ждали его приказа.

Степанов всё это чувствовал, видел и, как бы заново обретая силу, данную ему воинским званием, негромко сказал:

— Спасибо, солдаты, за веру! — и, обращаясь к автоматчикам, товарищам Чудкова, приказал: — Расстрелять...

Слаженная, послушная воле командира воинская часть майора погранвойск влилась в людское половодье, колыхнула, раздвинула, как раздвигает многопудье волн упрямая грудь парохода. Солдаты майора пробились и тут же, будто надолбами, вросли в песок — образовали коридор от артиллерийских орудий до танковой загороди. Упряжки лошадей, иступленно подстёгиваемые ездовыми, двинули орудия к понтону, влились в общее, уже начавшееся по наплавному мосту движение. Трактора подтащили ближе тяжёлые гаубицы, и Степанов понял, что пик той невероятной трудности, перед которой он был поставлен обстоятельствами и словом генерала Елизарова, миновал. Когда он это понял и, чувствуя облегчение, снял фуражку, серым от пыли комком платка протёр мокрую от пота голову и тоже потную, горевшую от солнечных ожогов шею, в небе снова обозначился гул: шестёрка «юнкерсов» заходила к реке, как всегда со стороны солнца, хотя каждый из сидящих там, в крылатых машинах, не мог не знать, что на переправе не было зенитных средств — три зенитных батареи, открывшие огонь по первым появившимся самолётам, были начисто разбиты бомбами.

Самолёты вышли на открытость, реки, друг за другом низко прошли над скопищем войск, заставляя людей падать и цепенеть в ожидании смерти. Лихой, впритирочку к воде, пролёт для бомбёжки был не нужен — это была игра в силу. И Степанов, понимая это, оглушённый дрожащим, трамбующим воду и землю, забивающим слух рёвом, с трудом, но устоял, не лёг под перекладыны понтона.

Тень от самолета как будто ударила его по лицу — он откинул голову, дотянулся пальцами до ворота гимнастерки, тяжестью руки разорвал: ворот душил.

«Юнкерсы», отблёскивая выпуклостями крыльев и кабин, ушли в солнечную высь, не спеша построились в круг, и первый самолет, опрокидываясь на крыло, пошёл с нарастающим воем вниз, растягивая круг в спираль.

В памяти Степанова остался однажды пережитый им на охоте случай: к пролетающему над озером чирку метнулся болотный лунь. Вскинув напряжённые крылья, вытянув вперёд когтистые лапы, он с высоты косо падал на молоденькую, летящую над водой уточку, и уточка, заметив падающую на неё тень смерти и отчаянно зашпешив, вдруг покорно раскинула крылья и приняла удар; у неё ещё было мгновение занырнуть в спасительную воду, но страх сковал её, и возможное спасительное мгновение не спасло. Степанова поразила тогда не сама гибель уточки — поразила беззащитность одной живой частички природы перед силой, быстротой, когтями такого же другого живого существа, сотворённого той же природой, — беззащитность и, особенно, покорность, какая-то как будто уже от рождения заявленная покорность перед другой враждебной силой.

Когда ведущий «юнкерс», растягивая круг в спираль, пошёл вниз, к незащищённому скоплению людей, Степанов напряжённым, обострившимся взглядом увидел вытянутые вперёд колёса, расширенные шпорами кожухов, и мгновенно вспомнил мохнатые, нацеленные ноги хищника. И та давняя мысль о силе и покорности, которой он был тогда свидетель, отозвалась в нём протестующим, упругим толчком. Он понимал: ничто — ни высокое воинское его звание, которое имело власть над солдатами его страны, ни физическая, ещё сохранённая им сила, ни богатый опыт нравственной жизни, помогающий ему понимать людей и влиять на их судьбы, — ничто не защитит его от падающего на него самолета, придуманного человеческим умом, нацеленного на него чужим, враждебным ему человеком. Сейчас, здесь, на переправе, открытой недоброму небу войны, он был как та, памятная ему, уточка в последнем своем полёте. Но всё в нём протестовало против покорности падающей на него силе. И, задавливая в себе тоску от предчувствия возможной близкой смерти, силой ума, волей своей одолевая дикий позыв броситься под слепую защиту ободранного, зашарканного ногами бревенчатого наката, он заставил себя остаться на месте. Он никому ничего не приказывал, он просто стоял, широко поставив ноги, среди бегущих от понтона и от берега к лесу людей, гонимых знакомым ему страхом смерти, и, не отрывая взгляда от падающего к реке самолёта, всё-таки успел заметить краем глаза, что вдруг образовавшееся вокруг него безлюдное пространство вновь наполняется движением командирских голов и плеч; оттого, что он заметил это движение стягивающихся к нему людей, он почувствовал себя твёрже.

Степанов смотрел, как приближается, увеличивается в размерах вытянутая вперёд, будто живая, морда самолёта, отблёскивая лобовым фонарём кабины; веером выпали из-под колёс чёрные предметы, к рёву мотора добавился нарастающий, как у сирены, просверливающий душу звук. В то мгновение, когда бомбы отделились, самолёт будто клюнул пронизанное солнцем пространство и круто, как по горке, пошёл вверх, оставляя в воздухе летящие к воде снаряды.

Почему-то на этот раз лётчика, ведущего всю шестёрку, привлекли не понтоны и не остатки свай когда-то бывшего здесь деревянного моста. Выше по реке, где пологая песчаная коса ближе всех отмелей подходила к другому берегу и люди тысячами шли по косе, по воде, плыли там, где не доставали дна, где образовалась своя отчаянная переправа, перепоясавшая реку настолько плотной живой стеной, что за ней — это было видно от понтона — река словно бы набухла и даже подтопила песчаную пологость берега, — именно туда, в эту живую, движущуюся людскую череду, в которой мало было солдат, но почти сплошь шли и плыли беженцы из занятых чужой армией городов и селений, косо летела с воем, с нарастающим визгом быстрая стайка бомб.

Другие налётчики в точности повторили то, что сделал первый из них; шесть бомбовых залпов с дробным, сотрясающим всё окрест гулом разметали живую людскую плотину. Вскипевшая мутная вода хлынула в обозначившиеся провалы, вместе с пеной, кровавой в отблесках солнца, сплошь поплыли по текущей середине реки человеческие тела.

Шестёрка «юнкерсов» выстроилась в круг, и, как будто повторяя для зрителей устрашающий цирковой номер, пошёл вниз, растягивая круг в спираль, всё тот же первый самолёт. На двух ревущих его моторах встопорщились, забились, словно от ураганного ветра, огненные усы, и по краю реки, по измятому сухому песку берега, на котором ничком сплошь лежали люди, осыпью ударил убивающий металл.

Степанов стоял, плотно упираясь расставленными ногами в песок, как будто собирался устоять даже тогда, когда ударит в него снаряд. Приподняв левое плечо, наклонив голову, он из-под глыбастого лба, затенённого козырьком фуражки, следил за каждым низко проносящимся, казалось лихо играющим силой крыльев, пулемётов и пушек, ревущим стервецом; он как будто закаменел под секущим воду и людей невообразимым проливнем. Он выстоял двенадцать огневых штурмов и, когда последний самолет ушёл ввысь, оставив на земле замирающий вой, едва оторвал будто вросшие в песок ноги. Он ещё плохо воспринимал обычные звуки, и странно было ему видеть, как беззвучно по всему широкому берегу поднимались живые солдаты, осторожными улыбками виноватясь перед мёртвыми, в неловкости отряхивались, косились на небо, где после оглушающего рёва, казалось, беззвучно ходили в высоте по кругу не улетающие самолёты.

Степанов снял фуражку, медленным движением провёл ладонью по бритой, в струях нервного пота, голове. Голоса он уже слышал, но не мог понять совершенно новый здесь, на переправе, непривычно слабый звук. Он повернулся; взгляд его выхватил кромку берега и лежащую в воде, на спине, женщину; волосы её, распущенные, почти белые, колыхались, темнея в приливах воды, колыхалась вместе с водой откинутаая рука, глаза смотрели в небо. За женщиной, у бока её, что-то слабо шевелилось.

Степанов подумал, что женщина ещё жива и пытается рукой дотянуться до раны. Но взглядом, вдруг обострившимся до боли, заметил другие, маленькие руки, цепляющиеся за складки платья, лобастую голову с наплывом мокрых волос, глаза, распахнутые недоумением, растянутый в плаче рот и сквозь гул, ещё стоявший в ушах, услышал сам плач и разглядел всего младенца: суча голыми ножками, младенец выбрался наконец из воды и, цепляясь за платье и пачкаясь в крови, упрямо полз к безответному материнскому лицу.

Среди неподвижных лежащих в реке тел он заметил другое суетное движение — выбирался из воды мальчик с белыми, как у женщины, волосами, выбирался как-то странно, на боку, рывками поддёргивая тело, обтянутое мокрой матроской и липнувшими, к телу короткими штанишками на лямках. Только теперь, когда мальчик выполз на мелкое место, Степанов заметил, что за мальчиком чёрным полотенцем тянется полоса крови, и, чувствуя, как каменеют виски и боль стягивает затылок, разглядел, что мальчик в синих штанишках ползёт без ноги; ни гримасы боли, ни слёз на белом лице, только испуг. Из последних сил он спешил доползти до матери и не дополз: руки подогнулись, он упал лицом в воду и уже не поднялся.

Степанов не успел ни сказать, ни приказать — лица солдат и командиров, бывших вокруг, поднялись к небу: снова приближался самолётный рёв. Из круга, образованного шестёркой, один из самолётов снизился, шёл над самой водой, рёвом моторов глуша звуки земли, он как будто оглядывал содеянное, покачивал крылами, всем показывал свои чёрно-жёлтые кресты. Степанов увидел за стеклом кабины голову в шлеме, в квадратных очках, показалось даже, что лётчик в очках удовлетворённо ему улыбнулся. Степанов перехватил эту улыбку тяжёлым, страшным взглядом: рубец, которым он был отмечен ещё в гражданскую войну, проступил и угрожающе багровел на крутом его надбровье. Случись кому-нибудь там, на мирной, обычной его работе, принять на себя подобный его взгляд — человек счёл бы себя уже ненужным ни людям, ни делу. Но лётчик, которого видел Степанов, был из чужого мира, он не был в его власти. Возможно, в какое-то мгновение лётчик тоже разглядел человека в фуражке, может быть, понял, что стоит у понтона командир, и, может быть, пожалел, что бомбы сброшены и все патроны расстреляны; он повернул лицо и поднял руку в перчатке. И Степанов понял этот жест уверенной в себе силы: лётчик обещал возвратиться.

Степанов молча стоял, чувствуя, что ещё не способен владеть собой. Всё, что он видел за дни фронтового присутствия, что принимал как неминуемую жестокость войны, обретало иной смысл: прежнее понимание военных действий, с которым он пришёл на войну, переставало в нём быть. Действительность оказалась страшнее: враг не различал войско и беженцев, солдата и младенца — он посылал огонь туда, где людей было гуще, он бил там, где можно было больше убить. Страшным своим взглядом он провожал самолёт и, может быть, впервые до ясности прозрел тупую смертную силу, которая обрушилась на его Россию; и от мгновенного этого прозрения сдавило сердце сознанием долгой, кровавой, всеохватной, ничего не прощающей врагу войны.

Он овладел собой; увидел пробирающегося на мост с топором и лесиной уже выделенного им из всех прочих знакомого семигорского солдата Гожева, обратился к нему:

— Василий Иванович! Прошу вас: убита женщина, мать. Ребёнка надо передать какой-нибудь женщине из беженцев. Видавшей горе женщине. Вы поняли меня?

— Как не понять, товарищ комиссар! — тоже не по-уставному отозвался Гожев. Положил лесину на понтон, топор заткнул за пояс, под висевшую на спине винтовку, в неторопливости направился к убитой женщине. Степанов и все стоявшие с ним рядом молча смотрели, как неспешно он подошёл, с мягкой настойчивостью отцепил от материнского платья обессиленного криком младенца, обмыл ему ноги, прижал к себе, прикрыл бережливыми ладонями, обходя людей, тяжело пошёл по растоптанному песку к лесу. Степанов проводил его взглядом, жёстко глянул на стоявших вокруг командиров, стараясь удержать в себе пробужденную недобрую силу и всё-таки чувствуя, как прорывается она в его напряжённом голосе, отрывисто и четко приказал:

— Все пулемёты — «максимы» и ручные — поставить для стрельбы по самолётам! Все, сколько есть в наличии на берегу. На танки, на телеги, колёса, столбы, — но поставить! Дать огонь! Дать огонь! И никому у пулемётов не ложиться. Стрелять. Бить!..

Он помолчал, с трудом справляясь с ненужной в приказе яростью.

— Вам, капитан. Собрать все топоры и пилы. Взять людей. Валить лес и вязать плоты. Понтонами и переправой войск занимаюсь я. Переправляйте беженцев. Это люди. Это наши люди!..

Степанов повернулся и, зная, что слова, сказанные им, обернутся сейчас делом, не оглядываясь, стал пробираться краем забитого людьми наплавного моста туда, где сапёры вместе с солдатами, неудержимо матерясь, тянули канаты, в который уже раз стягивая снова разорванные понтоны.



Глава третья

ГОДИНОЧКА

1

Трудно возвращался Макар обратной дорогой, к жизни, которую, казалось, навсегда оставил на выжженном июльским зноем бугре, в опавшей его бензиновой гари, под изламывающей тяжестью танковых траков.

В полузабытьи ощущал, как давила его земля, задыхался от её тяжести; языком раздвигал губы, сквозь щёлочку со свистом тянул воздух, загонял с клокочущим сипом в непослушную грудь; воздуха не хватало, и снова чужая сила тащила его к раскрытым вокруг чёрным безднам. Макар помнил, что сам избрал смерть и принял её в окопе, на холме, близ незнакомой ему деревни, живущей последним мирным днем, и всё-таки чувствовал блуждающую рядом жизнь. В смуте низко плывущего над чёрными безднами дыма время от времени различал малиновый огонь иван-чая, видел, как вздрагивал в пыльных всплесках земли и металла, клонился в ветровом вое пуль крохотный в зачужавшем пространстве земли цветок, и в благодарном чувстве спасения тянулся к его огню всем, что ещё было в нём живого.

В каком-то из дней явственно различил он осторожное прикосновение пальцев к гудящим болью вискам, что-то щёкотно трогало оживающий краешек губы. Попробовал отвернуться — голова не послушалась, голову будто приклепали к плечам. Макар догадался: щекочут его чьи-то волосы, кто-то низко наклонялся над ним. Прохлада освежила лоб, увлажнила рот. Кто-то был рядом, кто-то оберегал его от давящей тяжести земли. Он подумал: «Васёнуш-ка...» — и снова упал в темноту.

Глаза он открыл, наверное, ночью; понимал, что глаза открыты, смотрел осмысленно и не видел ни звезд, ни нависающего над окопом бугра земли. Он помнил, что стрелял по немецкой колонне при склонившемся пополуденном солнце, — значит, пролежал он в земле вечер и часть ночи. Но ведь лето, июль! В июле даже у ночей нет такой вот непроглядной осенней тьмы! Он поднял руку, повёл вокруг над собой, рука пристукнула с певучим отзвуком сухого дерева. Пальцы скользнули вниз, ощупали выпуклости брёвен, дощатый край нар. Нет, он не на бугре. И не в земле. Он — у людей.

Словно бы в ответ на его стук, напахнуло движением воздуха от бесшумно приоткрытой двери. В проёме забрезжил сумеречный свет, даже не свет — обозначилась полоса светлее, чем всё вокруг. Он почувствовал прикосновение лёгкой, озабоченной руки и, успокаиваясь и снова забываясь, подумал: он — дома...

2

— Вот так случилось с тобой, бедовый человек. Понесли хоронять, а ты будто землю сыру почуял. Выстонал. Взяли тебя перед смертью на поруки...

Старая женщина перед ним на табурете. Всё в ней в достоинстве и силе. Тусклый свет из узкого, в две ладони, оконца, прорубленного в бревенчатой стене, даёт разглядеть суровость лица, худобу щек, подбородок редкой для женщины твёрдости. Старая женщина сидит, уместив руки на коленях, юбка, по исконному деревенскому обычаю, длинна и широка, цветом — чёрная; тёмные руки слабо проглядывают на ней. Но Макар помнит сухие её руки с узкими, поистертыми между суставов, пальцами, — это они сорвали тряпицу с крынки, подали ему погребного молока. От молока и заныли зубы и сердце на той пыльной дороге, обочь которой стояла старая женщина и, под её рукой, девочка городского обличья.

Старая женщина говорит с Макаром, но взгляд её обращен в себя:

— Герой ты, солдат! Когда молока подавала, в глаза глядела. Что, думаю, солдат, у тебя на сердце? Не в отход идешь, ворогу землю оставляешь. Боль видела. Что совестишься — тоже видела. А что готов себя в землю положить — того не выглядела. А ты вон какой! Сто семнадцать крестов с касками поставили они у школы. Ночь собирали, утро хороняли. У тех, кто хоронял, не печаль — страх в глазах. Вот что сделал ты, солдат. Знаю, сам на то пошёл. Потому герой... — Старая женщина смотрит теперь на Макара, в глазах скорбь и дума. — Пока ты жизнь нашаривал да в силу входил, немец край заполонил. Слышала, за Смоленск, к Москве пошёл. На дворе осень. Недолга — и зима подвалит. Окрепнешь — что делать будешь, солдат?! Дочь, Анна, надумала тебя в Речице оставить. Говорит, здесь наших дождёшься. Анне ты обязан. Счастье твоё, солдат, что в твой смертный час она при мне оказалась. Доктор она, жизнь в тебе удержала. Таиться не стану, полюбился ты ей. Ведаю, всё ведаю, солдат. Беда лютая по земле разошлась. А сердце своим законом живет. Беда свела вас: её, горемычную, и тебя, солдата-героя. Может, не на время свела?.. Как смотришь на то, солдат?..

Макар лежал на большой крестьянской подушке, перебинтованный по груди полотенцем, вытянувшись, как того требовала Анна. Такого разговора он не хотел, не хотел отяжелять неблагодарностью душу старой женщины, потому, тушуя неловкость, с осторожностью сказал:

— Непростое то дело, Таисия Александровна. Человек я для вас незнаемый.

— Полно, солдат. Человека и по взгляду узнают. Себя ты делом обозначил. Большое сердце надо, что бы по своей воле промеж людьми и смертью встать. Тут не обманешься, солдат. И внучок Серёга свою весть подает. От отца родного отбился. А к тебе припал. Стало быть, есть к чему припадать. Нет, солдат, для нас ты человек знаемый. Останешься — за себя не страшись. Пожалуют гости — прежде меня убьют. Потом Анну. Потом Серегу. Только после того до тайной этой кладовочки доберутся. Говорю, стало быть, знаю, — под моей рукой и Анна, и Серёга поднялись. Что скажешь, солдат?.. — Взгляд старой женщины в упор — ждёт, ни в ту, ни в другую сторону не торопит.

Макар понимал: слово старой женщины — крепь, пулей бей — не отступится. У него слово тоже обратной силы не имеет. Потому молчал Макар. За прикрытой дверью, за двойными стенами жила своей притихшей жизнью изба. В долгом одиночестве он изучил каждый, даже невнятный, редко проникающий сюда из жилой половины звук. Улавливал глухое мычание где-то запрятанной коровы. Настороженное затишье на деревенских дворах и улице, без привычного петушиного ора, без собачьего лая. И свыкся с нехорошей тишиной, вроде бы безлюдной, время от времени нарушаемой лишь трамбующим гудом пролетающих самолётных армад да накатной дрожью проходящих в спешке по дороге танков. Потому до невозможности громкий нетерпеливый крик на воле, у маленького, в две ладони, оконца, будто ударил его.

— Мама! Ну, мама же!.. — Близкий выстрел был бы для него меньшей неожиданностью, чем этот тревожный детский крик.

Макар приподнялся, боль резкого движения едва не кинула его обратно, он удержался, настороженно слушал, спрашивая взглядом.

Старая женщина не пошевелилась, ровным голосом пояснила:

— Не признал? Внучка моя, Годиночка. Лепёшкой-то тебя потчевала!..

Макар и сам догадался, что кричала та, городского обличья, ясноглазая девочка, что суетилась при дороге на виду старой женщины; до сих пор, в доме и около, он не слышал её голоса, думал, памятную ему девочку куда-либо отправили. Старая женщина как будто успокаивала Макара. Но взгляд её напрягся, ушёл за окошко: в деревне, придавленной войной и немцем, детей отучили кричать. Макар, чувствуя тревогу старой женщины, спросил:

— Что же, имя такое — Годиночка?

— Нет, солдат, не имя. Внучку Катенькой зовут. А для меня — Годиночка, — в лихую годину в разум входит. — Спокойствие, казалось, вернулось к старой женщине. Но тут новый крик, ещё более нетерпеливый и громкий, услышали они оба:

— Мама же! Ну, скорей... Там пленных дяденьков ведут!

Макару показалось, что старая женщина хочет встать, но руки на её коленях не пошевелились, только лицо, белое под чёрным платком, медленным движением поворотилось к оконцу.

— Пусти меня, мамочка! Я картошек им снесу!..

Оба, Макар и старая женщина, понимали, что Анна старается увести девочку. Сухо треснула, глухо откинулась пустым лесом, ударила дробным звуком в оконце автоматная очередь. И тут же отчаянный детский вопль, казалось, прорезал стены:

— Они дяденьку убили-и-и!..

Анна втащила в дом кричащую, наверно, бившуюся у неё в руках девочку; Макар это почувствовал по тому, как дрогнула от прихлопнутой двери стена. Первый раз за все дни, что провёл он здесь, он слышал через стены и двери неостановимый плач потрясенной Годиночки.

Старая женщина сидела неподвижно, оборотив лицо к оконцу. Поднялась, сдвинула табурет в угол, выпрямилась, ровным голосом сказала:

— Думай, солдат...

3

— Дядь Макар, эва чего тебе припас!

Сергеа положил на табурет тяжёлую ребристую гранату, прижал ладошками, как живого птенца. Макар отвёл детские руки, взял гранату. Запал был вставлен. Подумал с неуютным холодком, что мог бы натворить этой опасной штукой неуёмный малец, убрал от греха под подушку.

Сергеа, хитро щурясь, наблюдал за лицом Макара, заученным движением тут же вытянул из-за пазухи пистолет, заблестев глазами, ловко прицелился в пол.

— Ну-ну!.. — только и сказал Макар, стараясь быть спокойным, принял пистолет из тонкой мальчишеской руки.

Сергеа, довольный тем, что удивил, устроился на табурете, подсунул под себя ладошки, вобрал голову в плечи, затих. «Одобрения ждет!» — понимал Макар; давно он чувствовал неловкость перед старательным мальцом за постоянную и, наверно, обидную свою сдержанность.

Люди, которым он был обязан жизнью, сам дом, ещё целый, не порушенный войной, всё больше располагали к себе. Макар это чувствовал и страшился нарастающей в нём ненужной привязанности. Как-то он поднялся, придерживаясь за стены, за нарочно натасканный к двери кладовочки хлам, малыми шагами пробрался на поветь. В знакомых запахах, в просторности под высоко поставленной крышей долго стоял, утишая бьющееся в радости сердце, разглядывал пыль в солнечном луче, округлое, пёстрое, словно половичок, пятно на полу. По узким оседающим половицам пробрался к сену, опустился на колени, подгробал шуршащие запашистые вороха к лицу, тихо смеялся, ненасытно мелко вдыхал болезненно стиснутой грудью. В углу приглядел старые рассыпанные кадушки, не утерпел: сидел на полу, умеряя дрожь ослабевших пальцев, отбирал ровные клёпки. Собрал кадушку, сдавил обручами; подбить до упора не решился, хотя и нашарил в рухляди старый топор, — знал, как опасен рабочий стукоток в бабьем доме среди чужого порядка жизни. В желании довершить работу терпеливо дождался самолетного гуда, под всё заглушающий моторный рёв осадил охваты, оставил кадушку на виду. Анна по-докторски выговорила ему за вольный выход; но блеск её глаз в ту минуту, когда застала она его в работе, он увидел и долго пребывал потом в задумчивости — Анна могла понять и так, что показанной хозяйской заботой ответил он на слово старой женщины. Вот ещё и Серёга. Припал к его солдатской руке малец, выросший в бабьем миру. Ждёт не только одобрения — ждёт мужского понимания. Ласки ждёт.

Макар разглядывал ужавшегося на табурете мальчишечку. Ни оттопыренные большие уши, ни цветком распахнутые толстые губы, ни простодушно вздёрнутый нос в непропадающих ярых конопушках — хоть руками обирай! — не действовали на Макара так, как чувство своей солдатской вины за этого вот Серёгу, за многих других подобной судьбы мальчишечек и девчоночек, с таких-то лет оставленных у смерти на виду. Пригладить бы белые слабые волосы, к себе прижать, собой оградить бедового мальчика от гуляющего по земле лиха. Сумели бы, ещё как сумели бы они поладить, на удивленье всему свету! Да беда — свет-то теперь не свет, темь кромешная, война, огонь да дым на земле. Когда-то солнце проглянет! Не решился Макар, не приласкал, побоялся обмануть, поманить на короткий срок. Задавливая мечту и жалость и свою солдатскую вину, сказал с нарочитой командирской суровостью:

— Докладывай, что на воле, Сергей!

Серёга встрепенулся, покрутил упрямой в плечи головой, сузил глаза в недетском, осуждающем прищуре:

— От света до темна идут! Всё туда! К нам! Пушки разные, машины. Всех курей по дворам переловили... Самолёты с неба не уходят. И сколь ни гляди, всё не наши... Где наши-то, дядь Макар?

Макар сам не ведал, где, что и как, но ответил:

— Велика война, Сергей. В других краях, надо думать, летают!

Серёга снова ужаснулся, уставился в пол с недетской сосредоточенностью. Вскинул вдруг голову с белыми, взброс растущими волосами, задрожав губой, крикнул:

— Тимка Кривой в полицаи записался! Казнить его будем! Раз предал.

Макар, сдерживая себя, провёл медленно рукой по захлававшему лицу, сказал:

— Казнить — штука серьёзная... Казнить-то как? Думали?

— Знаем как! Подсидим и дадим из винтовки! А то из пулемёта!

— Пулемёт-то откуда?

— У нас что хочешь есть. Патронов мало. А оружия — набрали. По лесам-то его накидано! Пулемётов два было. Один сгубил...

— Недосмотрел, что ли?

— Нет. Когда ты, дядь Макар, на дороге их срезал, я у леса на бугре лежал. Ну и стеганул из ручника, как полем они пошли. Ну!.. Такой шум устроили, еле утёк! Ходов разных у нас там понарыто, а то бы не спроворил! А пулемёт разнесло. Это потом, на другой день, как вернулся, увидел!

Макар до ясности помнил, как после кинжального огня по колонне немцы хлынули на ячменное поле, ещё не разгадав от слепящего их солнца, где поставлен пулемёт. Тут-то и ударил ручник. Его и засекли. И весь огонь с дороги и поля пришёлся по дальней, у леса, горушке. Вот кто, оказывается, принял на себя первые в том бою пули и мины!.. Он думал: приникший к нему мальчишечка только мечтает о войне. А мальчишечка-то уже весь в войне!

Цепляясь за округлые бока бревен, Макар сел, голосом, загустевшим от волнения, позвал:

— Поди сюда, Сергей.

Серёга послушно поднялся, встал рядом, стеснительно поджал к бокам локти, опасливо поглядывал на туго забинтованную полотенцем грудь. Макар бережно взял тонкую, как пруток, руку, потянул к себе. И когда Серёга оказался рядом, заговорил, сбиваясь на шёпот:

— Спасибо, друг-товарищ! Кровью с тобой мы теперь паяны. Это, брат, крепко. На всю жизнь... — Он прижал, утопил в окладистой, непривычно мешающей бороде, доверчивую мальчишескую голову, в неловкости прихватывая истерзанными в болях губами вихор волос, шепнул:

—Ты вот что, брат, Тимку до времени не трогай. Примечай пока, что к чему. Сил наберу — вместе судить будем.

Серёга откинул голову, внимательно посмотрел в глаза Макару.

— Не обманешь? — спросил серьёзно, не отводя глаз.

— Что за вопрос, Сергей! Мы же в одном бою были! Как? Принято?

Сергей подумал, кивнул, соглашаясь.

— С наскоку, брат, войны не одолеешь. Давай уж вместе. Как солдаты. И снова, уже не сдерживаясь, прижал мальчишку к себе.

4

Макар поднялся, сел, когда Анна с привычной беззвучностью вошла, напахнув запахом печного дыма от принесённых с собой в чугушке углей. Он слышал, как ошупью она опустила дерюжку на оконце, некоторое время стояла неподвижно, прислушиваясь; она всегда прислушивалась, когда входила, — враждебен был мир за стенами дома, люди привыкли таиться. На этот раз Анна прислушивалась не к тому, что было за стенами дома; она выжидала, молча и напряжённо; в кладовочке, уже накопившей прохладу осенних ночей, Макар чувствовал исходящее из темноты, почему-то беспокоящее его тепло.

Анна наконец пошевелилась, слабо подула на угли, ответно набухшие малиновым жаром, запалила стружку, от бегущего, коптящего её огня зажгла лампадку, давно привешенную в его кладовочке взамен лампы. В тускло-ровном жёлтом свете лампадки, стеснившем темь, оборотила к нему лицо, смотрела всё с той же напряжённой выжидательностью, будто не знала, как заговорить, в не теперь возникшем затруднении. Макар не выдержал её взгляда, пошутил:

— Солдат выжил. В путь пора. А доктор вроде бы не рад! — сказал и почувствовал ранящую жестокость своей суетной шутки. Красивое лицо Анны, в охвате чёрных гладких волос, с открытым лбом, энергичными, видимыми даже при слабом освещении, линиями тонкого, сжатого с боков носа и сосредоточенно сдвинутыми прямыми бровями, с твёрдым, как у матери, подбородком, идущим к общему решительному её виду, будто застыло в мгновенном выражении боли. С заметным усилием она встала рядом, медленными движениями рук, не меняя на лице выражения болезненной напряжённости, молча освобождала его грудь от тугих хватов холстины. Быстрые её пальцы, привычно придавливая кожу, пробежали по срастающимся рёбрам, по левой, правой стороне груди, подлезли под бороду к шее, прощупали ключицу, задержались в ямке на жиле, бившейся тугими частыми ударами.

Макар почувствовал, как напряглись её пальцы, настороженно взглянул, увидел закрытые глаза, почти одну линию бровей над тонким побелевшим носом, увидел, как дрожит, словно вырывается из отчаянно прихвативших её зубов бунтующая нижняя губа, и притих в мужской неловкости. Ему казалось: он и Анна долго шли по обе стороны одной стены, шли, сдерживая себя, затаённо слушая шаги друг друга. Оба понимали: сколько бы они ни медлили, стена рано или поздно кончится, неминуемо окажутся они друг перед другом, глаза в глаза, и придётся им решать и поступать в согласии или несогласии ума и сердца. Макар почувствовал: стена кончилась, они друг перед другом и нет между ними ничего, кроме пустого короткого пространства и до невозможности напряжённых рук.

Анна не устояла: пала на колени, охватила, ткнулась горячим лицом ему в грудь.

— Макар, — выстонала она. — Родной мой! Не пущу. Мой ты! Для себя выходила. Для себя к жизни вернула. Не отдам! — в забывчивости она с такой силой прижалась к его груди, что Макар едва перехватил крик; уходя от боли, от рук Анны, привалился к стене, поймал наконец дыхание.

— Солдат я, Анна... — сказал тихо.

— Нет! — шёпот Анны был похож на крик. — Нет. Ты уже не солдат! Всё, что ты мог, как солдат, ты сделал! Ты был убит. Я выходила, оживила тебя мёртвого! Слышишь? И не для того, чтобы ты снова пошёл погибать!..

Своя правда была у Анны, и Макар знал её правду. Но вместе с жизнью Анна вернула ему и его душу, и отступить от того, что было его душой, Макар не мог. Обидеть Анну он не смел и все-таки говорил, умеривая неприятную ему дрожь голоса.

— Солдат я, Анна. Раз живой, — значит, солдат. На войне моё место. Пока война — солдат я, Анна...

Анна, откинув голову, смотрела чёрными в полумраке глазами.

— Что же делать, Макар? Люб ты мне. Люб! Понимаешь?.. — Неожиданно злым движением руки она отёрла глаза, заговорила, словно что-то обрывая в себе: — Вот что, Макар. С тобой пойду, слышишь? Где ты будешь, там и я буду. Где хочешь: на войне, в партизанах— хоть в аду! Только с тобой! До смерти, Макар, слышишь? Что молчишь? Возьмёшь?

Макар нагнулся, помог Анне подняться, как больную, усадил рядом; не укрывая ни лица, ни глаз, сказал:

— Не про то разговор, Анна. Для меня все вы родные. Покуда жив, так оно и будет. А плохую память о себе оставить не могу. Что поделаешь, такой вот!..

Анна, как будто вдруг озябнув, крепко охватила свои плечи, молчала, пригнув к груди голову.

— Ладно, Макар,— сказала, всё ещё не в силах подавить ознобную дрожь. — Дурь дурью, бог с ней. Ты вот что скажи мне: война кончится — придёшь? — Она смотрела, не сводя с Макара напряжённого ожиданием взгляда. — Молчишь? Или жена есть?..

Макар покачал головой.

— Тогда что же? Ждёт тебя кто?

Макар не сразу, но ответил;

— Ждёт.

— Кто же?

— Васёна.

Анна отвернулась, не совладала с обидой, насмешливо спросила:

— Что-то долго думаешь! Себе не веришь или ей?

Макар так же тихо ответил:

— Верю. Себе верю. И ей.

— Так бы и говорил, солдат; любишь, да не меня! — Анна встала. Огонёк в лампадке заметался, вытянулся, отделив от себя столбик копоти. Зябко потирая плечи, Анна шагнула по узкой кладовочке: шаг в угол, шаг обратно, сказала тоскливо:

— Нехорошо что-то мне, Макар. И беспокойно! Не совестно, не стыдно — беспокойно...

В скорби уже осознанной потери она одиноко стояла у стены.

Макар молчал. Анна с трудом отклонилась от стены, подошла, в сдержанной озабоченности уложила его на подушку, накрыла тяжёлым стёганым одеялом. Взяла полотенце, которым после осмотра всегда туго бинтовала смятую грудь Макара, сложила, как обычно складывают отслужившее бельё, сказала с не переболевшей горечью:

— Без доктора теперь обойдёшься, солдат. — Задула лампадку, ощупью вышла, тихо прикрыв дверь.

Шагов Макар не слышал, лишь уловил обостренным в одиночестве слухом скрип оседающих половиц. Темнота не давала различить, кто вошёл. По тому, как сухо пристукнула по краю нар рука, нашарила, придвинула табуретку, по медленному, с остановками дыханию он догадался, что села с ним рядом суровая мать Анны, старая женщина, Таисия Александровна Малышева. В молчании сидела долго, так долго, что от ожидания её слов заломило у Макара в висках.

Старая женщина пришла глубокой ночью; знал Макар, пришла неспроста. Сейчас она скажет свои слова, и слова эти будут как приговор ему, его совести, его жизни. Он ждал, не шевелясь, изредка сглатывая ненужно копившуюся в сухом горле слюну. И старая женщина, как бы заново в медлительном молчании всё пропустив через себя, сказала:

— Надумал, солдат. Знаю. Скажу тебе, как на духу, — полюбился ты мне. Любее зятя ни одна из дочек для меня не сыскала бы. Но ты надумал. И благословляю тебя, солдат. Путь ныне у всех один — через войну. Но, коли выживешь и нас бог упасёт, возвернись. Хочу глянуть на тебя победного. Зла на Анну не держи. И когда уходить будешь, руки поцелуй. За что — знаешь. Ещё об одном, солдат. Случится что со мной, с Анной — Годиночку-Катеньку в сиротах не оставь. Это моё к тебе слово.

Старая женщина встала. Макар почувствовал движение её руки над собой. Старая женщина его перекрестила.



Глава четвертая

ПОД МОСКВОЙ

По осенним истоптанным, разбитым машинами и лошадьми дорогам, сквозь мокрые леса, по уныло-жёлтым бесприютным в своей брошенности полям, мимо деревень и накрытых чёрными дымами пожарищ городов стягивались к Москве солдаты сражающихся армий, дивизий и полков, орудийные упряжки, тягачи с гаубицами, кавалерийские части, и обозы, и ещё сотни и сотни солдат, оставшихся без рот и взводов. Рассекаемые танковыми клиньями, прорываясь с отчаянными боями из окружения, теряя соседей по флангам, сходились они снова, смутно угадывая движущийся фронт, и шли, и шли, ожидая увидеть в мутных осенних далях, где-то за лесами, за полями, настороженно притихший на семи холмах стольный город, чувствуя оскорбленным сердцем, веруя не умирающей русской верой, что там-то и окажется конец их тяжкого пути, там-то и обопрутся они на святую для всей России вековую опору и на силу свежего войска, собранного с других земель к красному Москве-граду. И тогда уже всё, — как ни был долог отходной путь, а дальше немецкая броня не сдвинет их, потому как дальше Москвы земля хоть и есть, но она уже невозможная для врага земля. Под немецкий сапог и так оставлены тысячи верст исконно своей земли, сколько можно ещё оставлять, хотя бы и напролом прущей силе!

И солдаты шли, стекались к подмосковным лесам, к деревням, городкам, и малое сливалось с большим, большое сливалось с ещё большим, и всё, что ещё могло быть силой, сходилась, врывалось в неудобную от осенней непогоды, но последнюю на воинском их пути землю и вставало, чтобы быть живу или мёртву, но не сдвинуться с рубежа. А если сдвинуться, то только туда, где начинался тяжкий и горький их путь, — в обратную от Москвы сторону, теми же памятными, навек вразумившими их дорогами, туда, откуда все началось, — к Берлину.

И недоумение от того, что не по своей воле оказались они здесь, под самой почти Москвой, отуплявшее болью и скорбью души людей, перерастало в ненависть, и ненависть становилась силой.

Так было по всему отступающему с запада фронту, так было и в армии генерала Елизарова, с боями, с потерями, в усталости и озлобленности и с нарастающей надеждой отходившей к Москве через Калугу на Серпухов.

— Комиссар, я сделал всё, что мог. Наверное, больше, чем мог. Обстоятельства оказались сильнее. Когда нет доверия ко мне как командующему армией, моё участие в войне теряет смысл. Не осуждай, Арсений Георгиевич. Но другого выхода я не вижу... — Генерал Елизаров медленным движением раскрыл кобуру, вынул пистолет, положил на стол перед собой.

Степанов смотрел в изменившееся лицо генерала, с жёлтой, как будто присохшей к скулам кожей, с остро и недобро смотрящими из припухлостей отёкших век неподвижными глазами, и ощущал пустоту в душе. На стиснутых губах генерала он видел неровную белую полоску. Эта нехорошая накипь на губах была знакома Степанову: такие, казалось намертво сжатые губы, с кипенью проступившей на них слюны, он видел у генерала в день прорыва армий из Вяземского котла. Тогда пистолет, настороженно лежащий сейчас на столе, был в напряжённой руке генерала Елизарова с уже взведённым курком и был так же предназначен оборвать генералу жизнь.

Армия прорывалась через смертельную загородь немецких танков, осатанело бивших из пулемётов по тысячам бегущих им в лоб людей. И оба они, и генерал Елизаров, и Степанов, с пистолетами в руках в спешности шли, насколько хватало сил, среди бегущих на танки солдат, и оба готовы были выстрелить себе в сердце, если кому-то из них случится упасть на землю ещё живому.

То было перед врагом...

Степанов, стараясь медлительностью собственных движений удержать генерала Елизарова в неподвижности, поднял со стола ленту телеграфного разговора командующего фронтом; пропускал между пальцами шелестящую, словно обжигающую руки ленту, перечитывал чётко отбитые по узкой бумажной дорожке слова: «Вы сдали Калугу. Не думаете ли вы так же легко сдать Серпухов? Имейте в виду: враг может вступить в город, лишь перешагнув через ваши с членом Военного совета трупы...»

Слова, казалось, всвистывали, ударяли, как пули. Это был первый телеграфный разговор нового, только что вступившего в должность, командующего фронтом; тем непереносимее воспринимались слова, бившие в их с генералом Елизаровым человеческое достоинство.

Пистолет тяжестью своей придавливал складки раскинутой на столе карты с сеткой квадратов, проткнутых широкими телами синих стрел, с редкими красными подковками удерживаемых армией рубежей, и Степанов со сковывающей душу мрачностью думал: «Каким же должно быть действительное положение под Москвой, если фронт первые свои разговоры с генералами начинает с подобной жестокости!..»

Он смотрел на воронёный, лоснящийся маслом, настороженно-безотказный в продуманном своём механизме личный пистолет генерала Елизарова; не давая окрепнуть в себе созвучному настроению, собирал ум и волю, чтобы найти слова, способные оказаться выше оскорблённого достоинства. Слов не было. Степанов близок был к тому, чтобы опередить руку командующего, взять со стола пистолет и уже потом, постепенно приглушая опасно обострившиеся чувства, спокойно обговорить и обиду и долг. Но даже сейчас он сознавал, что генерал Елизаров не из тех людей, чью руку можно перехватить. Перехватить он должен был его волю. Потому, сдержав уже готовое движение, нарочито замедленным шагом отошёл от стола, сел на лавку, положил ладони на колени; стараясь быть будничным в движениях и словах, сказал:

— Садись, Иван Григорьевич. Подумаем...

Генерал Елизаров стоял, упирався сжатыми кулаками в стол, голова его была в упрямом наклоне, кожа высокого, открытого лба в тяжёлых складках, неподвижный взгляд упирался в пистолет, лежащий у правой руки. Слов, обращённых к нему, он не слышал, и Степанов с большим напряжением повторил:

— Сядь, Иван Григорьевич. Сядь...

Генерал Елизаров с трудом оторвал от стола затяжелевшие кулаки, распрямил, сжал пальцы, как будто проверяя их силу, взглянул непонимающим взглядом.

— Сядь, Иван Григорьевич, — потребовал Степанов.

И генерал, подчиняясь его настойчивому голосу, сел у окна.

Слышно стало, как снаружи обсыпает бревенчатые стены дождь, потрескивает под напорающим ветром угол дома; рябое от капель стекло дребезжало в раме, сопротивляясь ветровым толчкам.

Степанов не чувствовал себя спокойным, хотя отвёл от стола и усадил генерала. Что-то разладилось в, казалось бы, прочно установившемся созвучии их умов и понимания долга, и ощущать этот вдруг случившийся разлад было невыносимо.

С генералом Елизаровым он был связан не только должностью, общей ответственностью и равной опасностью в событиях идущей войны; привязывала его к генералу и чисто человеческая симпатия, которая рождалась у Степанова всегда трудно, но, родившись, уже не знала предела.

Генерала он раскрывал для себя в стремительно изменяющихся событиях войны, когда многие из придуманных людьми условностей, в большей части искажающие суть человеческих отношений, отпадают за ненужностью.

В том состоянии, в котором Степанов был, он не мог припомнить всё, из чего складывалась его симпатия и даже любовь к генералу. Но что-то помнилось и сейчас, когда приходилось как бы заново определять своё отношение к, казалось бы, уже ясному в своей сути человеку.

Степанов и теперь помнил отупляющий грохот боя на левобережье, когда армия, переправленная за Днепр, не только выстояла, но и приостановила перед своим фронтом напор немецкой силы. Тогда впервые он увидел генерала в бою. Спокоен генерал не был; до неприятности возбуждался, когда бой выходил из-под его власти. Но был совершенно бесстрашен даже перед близкой опасностью: и тогда, когда танки прорывались к КП, и тогда, когда почти вплотную подступали медлительно-нахальные автоматчики и земля оторопело дымилась от бьющих в неё пуль. Хладнокровие генерала перед опасностью, когда в груди вместо сердца образуется холодная пустота и разум слепнет от жажды спасения, Степанов не сразу постиг. Понял потом, когда в одну из тихих минут спросил:

— Спокойствие твоё — откуда, Иван Григорьевич?

И генерал ответил:

— От простого, Арсений Георгиевич. К смерти готов. Потому и делаю, что положено, не думая о самой смерти.

Слова тогда показались Степанову ещё недоступной ему мудростью нынешней войны; слова он запомнил. Хотя именно готовность генерала к смерти особенно настораживала теперь.

На третий день того же памятного боя, в наступившем ещё до захода солнца неурочном затишье, оба они выбрались из полуразвороченного блиндажа на вольный, ещё пахнувший толовым смрадом воздух. Пошли по избитым, покорёженным полям к полковым позициям, где, казалось, не было и не могло быть ничего живого. Но жизнь была и на мёртвой земле: они встречали солдат в заваленных песком и деревьями траншеях, вокруг кухонь в испятнанных взрывами лощинах, у заглубленных в землю орудий, слышали говор, чей-то смешок, и Степанов, всё это видя, слыша, понимая, что армия, на которую враг почти трое суток обрушивал всё, что мог обрушить из орудий смерти, жива и способна стоять на рубеже, неподобающе волнуясь, поздравил генерала с как будто очевидной для них обоих победой. Генерал удивил ответом.

— Пока это стойкость. До победы ещё далеко, Арсений Георгиевич, — сказал генерал; прикрываясь козырьком фуражки от мешающего ему закатного солнца, вглядываясь за излучину Днепра в западный странно затихший берег, пояснил: — Фронт велик, устоишь сам — не удержится сосед. И не помочь — не знаешь, где, что у него и как. Вслепую бьемся, не видя соседа, не зная врага. Вижу: вышла на меня мотопехота, танки. А что за части — бывшие ли в боях, потрёпанные ли, какой комплектации, какая у них поддержка — не ведаю. Считаю танки уже на поле боя. Наши армии — как острова среди всё время прибывающей воды. Вот первая наша беда, комиссар. — И спросил, прицеливаясь острым взглядом;

— Не приходилось тебе в карты поигрывать?

— До карт ли было, Иван Григорьевич! — Степанова вопрос обидел.

— Я не о том. Смотри. Вот он, в этом пространстве, невидимый стол между мной и Гудерианом. Он зрит все мои карты. Со всех сторон направлены на меня зеркала его разведки. Он учитывает даже передвижение моей танковой роты! Я же вижу только ту карту, с которой он ходит. К тому же знаю, что на руках у него полно козырей. У меня же козырь один — мужество и стойкость солдата. А ставка — много больше, чем собственная моя жизнь. Понимаешь теперь, почему он бьёт нас на этом кровавом столе?!

Другим, не просто воюющим, но страстно желающим найти возможности победы над сильным врагом, видел он генерала Елизарова под Ельней, в трудный момент, когда штаб фронта каждодневно, настойчиво и недовольно требовал от командующего объяснений, почему части армии недопустимо медленно ликвидируют ельнинский десант (как выяснилось позже, не десант, а глубокий прорыв немецких подвижных частей, остановленный восточнее Ельни), и генерал, стараясь уйти от досаждающей ему мелочной опеки, с малым своим штабом, из трёх человек, дневал и ночевал, в дивизиях. С какой-то ищущей тревожностью следил он за атаками полков, и открытое, крупное, красивое его лицо искажалось до неузнаваемости, когда длинные солдатские цепи, охватывающие склоны высот, никли под плотным огнём пулемётов. Степанов хорошо помнил, как однажды оба они наблюдали очередную медлительно-тяжёлую атаку полка, привычно развернутую фронтом. Солдаты поднялись, дружно пошли цепью на высоту, но не одолели и половины нужного пути: начали цепляться за бугры, валуны, цепь зашаталась, сломалась, залегла. Поднялась вторая цепь, третья, четвёртая и — всё повторилось. Странно суетливый, молодой подполковник, почему-то ходивший в заместителях умного командира дивизии Самохина, припадая к стереотрубе, громко говорил с явным желанием обратить внимание командующего на выучку одного из своих полков:

— Как, как идут! Смотрите! Это же Боевой устав в действии!

Подполковник, занятый стереотрубой, не увидел взгляда генерала. Руки генерала Елизарова дрожали на бинокле; не отрывая от чёрных окуляров глаз, он тихо спрашивал полковника Самохина:

— Что думаешь делать, Егор Захарович?

— Что уж тут думать, товарищ командующий! Атаки надо прекратить. Положим лучший полк. И дело не сделаем.

— Высота нужна. Думай, думай, Егор Захарович! Немцы недолго упорствуют, натываясь на сопротивление. Обходят. Ищут стыки. Бьют по слабым местам. — Он говорил приглушённым голосом, для одного полковника, и, хотя Степанов видел, как нетерпеливо подёргиваются веки его прижатых к биноклю глаз, генерал не торопился открывать Самохину своё, видимо уже сложившееся, решение.

— Думай, Егор Захарович. Думай.

Высоту взяли утром. Ночью группа автоматчиков, усиленная четырьмя ручными пулемётами, обошла позиции противника, атаковала на рассвете с тыла. Полк не сумел взять. Неполный взвод, действующий по ещё не созданному Уставу войны, сбил сильного противника с высоты.

Генерал счел нужным разобрать ход боя. И когда командиры собрались, и разбор был сделан, и высветлена и одобрена полководческая мысль Самохина, генерал сказал:

— А теперь прошу разрешения на притчу. Адресую её прежде всего себе. Но и каждому из вас, — глазами он выискал молодого подполковника, того, что восхищался уставным усердием полка, посмотрел пристально. — Так вот. Не знаю в какой, но, несомненно, жаркой стране умирала от жажды обезьяна. Пески кругом! Но пальмы и кокосы на них росли. И обезьяна знала, что своим соком кокос может её спасти. Вцепилась в пальму, трясёт из последних сил. Не падает кокос! «Думать, думать надо...» — говорит себе обезьяна. Ходит, думает. Нашла палку. Дотянулась, сбита кокос. Напилась. Побежала дальше жить.

Шёл человек. Тоже от жажды умирал. Увидел на пальме кокосы. Потряс — не падают. Трясёт, трясёт — не падают! «Думать надо. Думать...» — говорит человек. Сел. Вдруг вскакивает и кричит: «Зачем думать? Трясти надо!..»

Пока затихал несмелый смешок, генерал молчал. А сказал неожиданно жёстко:

— Так вот, командиры. Кто хочет победы — обязан думать!

«Вот-вот, дорогой Иван Григорьевич, — мысленно говорил теперь Степанов, припоминая былую силу генерала. — Даже эта твоя любимая притча оборачивается против тебя. К пистолету тянешься. А кто думать будет?!»

Выдержав достаточно долгое молчание, чтобы притушить опасно обострённые чувства, Степанов, глядя в нездоровое, до невозможности истомленное постоянным перенапряжением воли лицо генерала, проговорил, твёрдостью голоса обрывая саму возможность сочувствия:

— Так вот, командарм. Не нам помогать врагу своей смертью. Погибнуть мы можем только в бою. Другого ни тебе, ни мне не дано. Нет у нас с тобой права свои жизни у Родины отнимать. Вот моё слово, Иван Григорьевич. Другого не будет.

Генерал Елизаров не шелохнулся; как сидел, опираясь на раскинутые по лавке руки, так и остался в таком отрешённом состоянии. Только тяжёлые веки на мгновение приоткрыли глаза — в Степанова как будто ударил острый, напряжённый взгляд.

— Теперь меня послушай, комиссар, — голос генерала был медлителен и недобр. — Днепр, переправу помнишь? Тыщи солдат. Две нитки понтонов. Бомбы, пули с неба. И три-четыре часа времени. Чтобы эти тыщи перешли Днепр. Могу сказать теперь: в живых не думал остаться. Солдат переправляю, а время свою черту подводит. Вот-вот немец к реке выйдет. И — всё. Армию у переправы не развернёшь. Когда противник на твоих плечах, как высоко кулаки не вскидывай — на земле лежать тебе... Было у нас четыре часа времени. Четыре! А к переправе немец вышел через восемнадцать! В девять двадцать пять. Когда мы, в общем-то, готовы были его встретить. Почему враг подарил нам полдня и ночь? Зря у немцев, сам знаешь, ничего не бывает. Что-то, значит, случилось. Знать психологию противника — это иметь две армии вместо одной. Послал людей в Речицу. Прояснилось. Какой-то пулемётчик, без приказа, по своей воле, подчеркиваю, по своей воле, по убеждению, по долгу — выделяй что хочешь, — остался в Речице. Колонну расстрелял в упор. Держал под огнём несколько часов. Свежее немецкое кладбище видели разведчики. Сто с лишним крестов. Колонна, что должна была догнать нас на переправе, вышла из Речицы только утром.

Теперь думай. Казалось бы, малое — солдат. А на солдате том держалась судьба армии. И ты, комиссар, не сидел бы сейчас в этой избе, если бы не другой солдат, подставивший себя под пулю. Тот самый молоденький автоматчик Чудков...

Ты меня пойми. На войне — в жизни то же самое, но на войне особенно — всё сцеплено. Каждое событие, поступок, даже слово одного так или иначе отражается на других, на общих событиях войны. Все мы — от маршала до солдата — сцеплены живой человеческой связью. Долгом, совестью, умом, чувством. Из общей нашей сцепленности душ только и может родиться победа.

Устав нынешней немецкой армии категорически утверждает: «Приказ есть приказ». Жестокостью гитлеры добиваются исполнительности. Им важен действующий солдат. Как часть некоей хорошо продуманной и запущенной на войну машины. В этом главная опора их военной силы.

У нас — тоже приказ. Но когда я приказываю солдату или командиру, я знаю, что приказываю ещё и человеку. Приказ мы накладываем на убеждённость солдата. Не знаю, как вёл бы себя тот пулемётчик у Речицы, если бы я приковал его к пулемёту только жестокостью своего приказа. Для меня он свят одним тем, что сам отдал себе приказ на смерть...

Степанов уловил горькую и — знал он — справедливую мысль генерала. Но сейчас важна была не сама мысль, справедливость или несправедливость её. Важно было, что генерал высказал свою боль. Мысль высказанная — Степанов это знал по своему опыту — ослабляет свою побуждающую к действию силу.

Генерал Елизаров сменил отрешённую позу, навис крупным телом над своими коленями, стиснул тяжёлые кисти рук; Степанов понял, что генерал способен слушать. Встал, пошёл к столу, отмечая про себя, как неприятно гулко отдаются в пустоте избы шаги. Приподнял телеграфную ленту, нашёл конец; придерживая в пальцах, но глядя на генерала, сказал:

— Читал я в трудах одного умного военного теоретика, что у полководца должно быть равновесие ума и характера. Это для нас с тобой, Иван Григорьевич. Не хочу ни успокаивать, ни разубеждать тебя. Но в телеграфном разговоре есть требование командующего фронтом доложить шифром план обороны города. Требование это к тебе как командарму. Ответственность, как видишь, с тебя не снята.

Генерал поднимался, не глядя на Степанова; медленными движениями одну за другой застегнул на кителе пуговицы, так же медленно, по-прежнему избегая смотреть на своего комиссара, подошёл вплотную к столу.

Степанов, напрягаясь до боли в глазах, следил за рукой генерала. Рука легла на пистолет, пальцы привычно охватили тяжёлую рукоять. Приподняли без стука. Генерал подержал пистолет в руке, медленным движением опустил в кобуру. Только теперь, когда Степанов услышал царапающий звук вдвигаемого в тугую кожу металла и успокаивающий щелчок застёгнутой крышки, он увидел, что длинная телеграфная лента смята в его руке — пальцы держали оторванный короткий её конец.

На крыльцо они вышли вместе. Дождь, все последние дни нудно исхлёстывающий поля и дороги, перестал, видно, во второй половине ночи: тёмные доски ступенек были мокры, перильца пообдуло. По своей привычке всё замечать и сопоставлять (по изменениям он ощущал движение времени и предугадывал смену явлений) Степанов отметил, что ветер переменялся: ощутимо входил в ещё влажную, ознобливающую погоду холодок. Отметил он и как будто ничего не выражающий, кроме усердия, зоркий взгляд немолодого часового, вытянувшегося под непросохшей ещё плащ-палаткой при появлении генералов. Степанов кивнул солдату. Проходя, ещё раз близко взглянул в немигающие, сдержанно-внимательные солдатские глаза; хотел понять: слышал ли? Догадывается ли повидавший жизнь солдат о том, что было, что могло произойти в доме, неприкосновенность которого он охранял в ночи? И подумал невесело: «Как часто с усердием мы ограждаем себя от опасности, существующей вовне. И всегда ли должно озабочиваемся опасностью, могущей невидимо подняться из человеческой души?..»

Вместе с генералом они проехали, где не могли проехать — прошли, заткнув под ремни полы шинелей, чавкая и скользя сапогами по унылым в общей осенней распутице позициям передовых частей. Трудное положение армии после прорыва из Вяземского котла Степанов знал, теперь видел воочию. И когда генерал Елизаров, замкнутый, недоступно-сосредоточенный, не сдерживая ни горечи, ни ярости, почти выкрикнул:

— Всё видишь, комиссар? Пятьсот штыков на дивизию! И никаких, по крайней мере мне известных, частей позади! Они, — он ткнул рукой в сторону, где был противник, — мы и — Москва!.. — Степанов понял и горечь и ярость человека, которому должно было остановить до этого дня неостановимое. Как понял и то, что ярость генерала не была яростью бессилия: в горькой этой ярости было что-то от оскорблённого воинского и человеческого достоинства, которому так долго пришлось пребывать в униженности отступления, и эта ярость предела оскорблённости была сейчас по душе Степанову. Желая укрепить генерала в его полезных сейчас чувствах и пробудить в нём ощущение собственных возможностей, сказал ему в тон:

— Всё правильно, Иван Григорьевич! Но ведь и противник уже не тот! Ты сам это почувствовал по последнему бою — в действиях его теперь больше отчаяния, чем силы. Зима вот-вот станет. А победа ему и не светит!..

В доклады командиров дивизий и полков, в разговоры командарма с начальниками воинских служб Степанов не вмешивался. Важны были ему сейчас не цифры количественного состава частей, оставшихся единиц вооружения и не слова, из которых составлялись далеко не бодрые доклады командиров, — всё это вбиралось и взвешивалось опытом и умом генерала; для него, для Степанова, важно было уловить другое: ту сцепленность чувств, долга и совести, о которой думал и говорил с ним в тревожной ночи генерал.

Генерал молча выслушивал доклады, коротко приказывал, и по тому, как и что он приказывал, Степанов чувствовал, что для самого генерала рубеж, занимаемый его армией по изгибающейся среди полей и лесов, чёрной от стылой воды реке, — действительно последний, и по долгу, и по совести.

На пути к ожидавшейся в рощице машине генерал Елизаров остановился на когда-то мощённой булыжником старой дороге, в виду обрушенного деревянного моста, сказал, всё ещё не умея или не желая выйти из хмурой сосредоточенности ума:

— Вот здесь наиболее и вероятен главный удар. Здесь брод. Другого по фронту армии нет. Сюда стягивает Гудериан и танки...

Степанов прислушался, уловил в шумных порывах холодного ветра многоголосое медлительное рокотание на той стороне реки, у леса, клином выходящего в поле. Если это были действительно танки, то видимое бездействие командарма не казалось Степанову уместным. Генерал Елизаров, как будто не замечая настороженно-вопросительных глаз комиссара, разглядывал заострённым, перебегающим взглядом фронт реки; похоже, он уже видел то, что будет на этом открытом береговом пространстве, если не в ближайшие часы, то завтра, и крупные черты его осунувшегося лица каменели.

Генерал знал, что должен доложить члену Военного совета армии созревшее в уме решение боя; не отрывая взгляда от реки (неловкость от пережитого ночью в крестьянской избе всё ещё стояла между ними), он заговорил ненужно резким голосом:

— Переброшены и окапываются сейчас вдоль дороги две полковые батареи. Фланги оставлены без орудийного прикрытия. Если расчет верен, выстоим. Самохина со всеми оставшимися в его дивизии людьми ночью передвигаю сюда. Гранаты, бутылки — всё, что может быть использовано против танков, — сюда. Свой НП тоже ставлю здесь, у дороги. Сдержим танки — будем жить...

Генерал, видимо, сам почувствовал излишнюю резкость своего голоса, сказал уже спокойнее:

—И всё-таки на месте Гудериана я бы на день-два повременил. Танкам нужен маневр. А земля твердеет на глазах. Впрочем, холода — не их союзник. К зиме немецкая армия не готова. А вот наши люди крепчают, Арсений Георгиевич. Духом крепчают. Ты это чувствуешь? — Неловкость помешала ему повернуться к Степанову, посмотреть с открытостью, как бывало прежде, в глаза, но голос его на последних словах дрогнул — генерал ждал понимания и сочувствия. И Степанов, помогая утвердиться нужному им обоим созвучию мыслей и чувств, сказал:

— Как решил, так и делай, Иван Григорьевич. Ответственность, а стало быть судьба, у нас с тобой одна. А настроение людей я чувую. И морозу — быть!..

3

Генерал оказался прав: противник выжидал.

Солдаты на всех позициях армии углубляли старые, долбили и копали новые траншеи, выносили на бруствер тяжёлые, как валуны комья смерзающейся глины. Полки зарывались в низкие прибрежные холмы с таким исступленным упорством, как будто земля, на которой сейчас они стояли, была для них действительно последней.

Степанов смотрел на копающих землю солдат и чувствовал, как предстоящим боем уже завязались в один узел его собственная судьба и судьба генерала, судьбы ближайших к нему и всех других видимых вдали солдат, и судьбы командиров, которые ещё не вышли, в возбуждении теснились в душной штабной избе. Генерал только что обсуждал с командирами дивизий и полков возможные направления ударов немецких сил по позициям армии. И хотя предположения генерала казались обоснованными и убедительными казались возможные действия полков, Степанов знал, что предвидеть всё движение ещё не начавшегося боя невозможно. Всякий бой — знал Степанов — развивается по своим законам, когда необходимости и случайности едва ли не равны в своём воздействии на общий его исход; и от сознания невозможности знать действительное движение предстоящего боя на рубеже, выбранном не ими, но временем и обстоятельствами войны, — рубеже, последнем для них с генералом, а может быть, и для всей армии, — неприятно придавливало сердце. Как всякий человек сильной воли, он предпочёл бы не ждать (неопределённость всегда унижительна для человека), он предпочёл бы пойти навстречу неизбежному; но начало событий не зависело ни от него, ни от генерала.

Вопреки тревожности, идущей от ожидания, всё определеннее завладевала его душевным состоянием вера в возможный достойный исход уже вплотную подступившего к ним сражения.

И вера эта укреплялась, и не только тем, что фронт беспокоился оборонительными их возможностями и скупо, но добавил им орудийных стволов и даже два тяжёлых танка, - в сложившемся по фронту армии соотношении сил это уже мало что меняло, - вера в возможный достойный исход назревающих событий укреплялась в нём общим настроением людей, в котором Степанов видел последнюю в сложившихся обстоятельствах и решающую силу их армии. Вера шла к нему от людей, которые сейчас в солдатских шинелях, томясь ожиданием боя, ходили в захламодавщих окопах, с хрустом продавливая ботинками первый, настывающий по дну траншеи ледок; от командиров, от тех, кто чудом остался в живых после гибельных боёв и долгих дорог; от генерала Елизарова, чья душевная боль и оскорблённое достоинство уже перешли в твёрдость и расчётливость готового принять бой командарма.

Особенно он почувствовал эту общую веру на только что закончившемся совещании у генерала. Почувствовал и, может быть, впервые за время пребывания в действующей армии не счёл нужным смягчить ни слова в жёстком приказе генерала Елизарова. Не счёл нужным смягчить, потому что люди, принесшие на себе через пол-России скорбь отступлений и утрат, готовы были принять такой приказ. Он только постарался вынужденную жестокость приказа наложить на свою убеждённость; он только в свои слова подобрал чувства, которые, он знал, были в сердце каждого из сидящих перед ним в тесной штабной избе. Он сказал:

— Друзья мои, товарищи боевые! Всё можно отдать: жизнь можно отдать. Москву отдать невозможно. Здесь нам стоять. Здесь и выстоять. Другого никому из нас не дано...

Степанов зашёл под старые обдутые до последнего листа вётлы, давая остыть беспокойным чувствам, наблюдал, как в таком же заметном возбуждении расходились командиры, на ходу торопливо глотая махорочный дым. (Генерал Елизаров остался верен себе: даже на этом, для многих, наверное, последнем в их жизни совещании он не разрешил курить.) Теперь командиры жадно затягивались, озабоченно прощались, разъезжались в полки и батальоны; и возбуждённость их и озабоченность были Степанову по душе.

Отчётливый топот коней какое-то время дробил тишину пустого поля, затих в стороне передовых позиций. Степанов с наслаждением вдыхал знакомый ему по своим северным краям морозной свежести воздух, чувствовал, как медленно стекает куда-то на дно души, скопившаяся за месяцы фронта физическая и нравственная усталость, высвобождая, казалось бы, уже весь, до последней капли, израсходованный запас сил.

Широкое, однообразно-серое небо привлекло его обострённое внимание. Низкая, бегущая над землей, казалось, нескончаемая навесь туч, так долго угнетавшая нудной мокрядью поля, дороги и людей, бредущих этими дорогами, теперь как будто поднялась, просвечивала жёлтыми и голубыми окнами. Но не сами светлые окна — предвестники погодных перемен — привлекли внимание Степанова. Он видел, как быстро бегущие тучи вдруг начинали сдерживать свой бег: какие-то, ещё не чувствуемые на земле, ветровые потоки уже шли встречь их движению. И встречные эти потоки были настолько сильны, что порой вздыбливали тяжёлые, набегающие тучи. Они словно наталкивались на невидимую твердь, клонились влево, вправо, опускались, поднимались; их подпирали другие, сдвигали, опять как будто начиналось общее движение. Но копившиеся в высотах неба встречные ветры обретали силу. И тучи снова вздыбливались, зависали, не находили себе пути.

С каким-то незнакомым ему чувством живого соучастия следил Степанов за могучим борением в огромности надземного пространства; край светлого холодного неба ширился на его глазах.

К ночи вызвездило. Ударил мороз.



ИВАН МИТРОФАНОВИЧ

1

Второй день Ивана Митрофановича знобило. Думал, лихорадка вернулась, прежняя, ещё с гражданской: потреплет — отпустит. Но жар не прошёл. Голова — не тронуть, словно чугун, вынутый из печи. Ноги узоры плетут. И клонит к земле. Так бы и припал, отлежался на земле-матушке. Пока шёл от конторы к дому, раз шесть прислонялся то к плетню, то к росшим в улице вётлам. А дома как повалился в постель, так уж и не поднялся — в жару да в бреду пролежал полную неделю. Шура — жена, верный друг с давних, ещё молодых годов, не успевала менять мокрые рубахи на худом, будто из одних костей сложенном, теле.

На восьмой день жар прошёл, глаза углядели потолок, ровную матицу с давним оржавелым крюком для колыбели, крест оконного переплёта, просинь июльского неба за стеклом.

Слабый, тихий лежал Иван Митрофанович, седой волос торчал с запавших щёк; табачной желтизны усы уже не топорщились, как бывало, обвисали на спёкшиеся от жары губы. К полудню попросил Иван Митрофанович мятой картошки с молоком, но поесть не осилил — с ложки покормила Шура, ни взглядом, ни словом не выдала дурного предчувствия, которому на этот раз уже не могла не поверить. Нашла силы даже пошутить: опрокидывая ложку в непослушный рот мужа, сказала с доброй ворчливостью, как не раз, бывало, на веку:

— Горюшко ты моё ясно-луковое! Шея-то совсем цыплячья стала...

На что Иван Митрофанович, тоже с привычной ворчливостью и непривычной, тронувшей её ласковостью в голосе, отозвался:

— Сколь помню, всё такая была...

На другой день пришёл Натуха — деревенский брадобрей, привёл лицо Ивана Митрофановича в нужный порядок, даже пообтёр «тройным» одеколоном из пузырька, ещё до войны припрятанного на важный случай. Причёсанный, посвежевший, одетый в чистую рубаху-косоворотку, Иван Митрофанович сел на кровати, подперев спину подушками, велел позвать Васёну.

Васёнка пришла, тихо села на табурет, подняла на Ивана Митрофановича глаза, полные участия и тревоги. В углах её всё ещё нежных, стеснительно сомкнутых губ Иван Митрофанович заметил горькие вмятины, которых не помнил, и подумал, что общая для всех баб жизнь солдатки метит и Васёну. О горестных своих заметах не сказал, только долго глядел запавшими глазами, любуясь мягкостью и добротой её лица, всей красотой её, как будто бы притенённой, не раскрытой ещё сполна нужной для того радостью, с предубеждённостью искал в стеснительном её облике знаки ещё робкой, но давно угаданной им душевной силы. Изменить исподволь выношенное, с разных сторон продуманное решение он уже не мог и теперь в просветлённом от болезни состоянии которое, он знал, пришло ненадолго, хотел поговорить о том с Васёнкой.

— Васёнушка, ты уж не сердчай, что позвал в неурочное время, — сказал он, обласкивая её слабым голосом. — Как видишь, уже не я себе приказы спускаю. Командир надо мной теперь шибко недобрый — отымает и времечко и силы. Речь-то вот о чём: тебе, Васёнушка, колхоз принимать, тебе, хорошая моя, больше некому...

Видел Иван Митрофанович, как откачнулась Васёнка, вскинула к груди испуганные руки; тронул исхудалыми пальцами усы, спрятал за ладонью понимающую улыбку.

— Первый шаг только и страшит, Васёнушка! Потом разойдёшься, ходишь-бегаешь, останову не знаешь. Колхоз-то без председателя. Мужиков война подобрала. Бабьим село стало. А вот земляца семигорская, как была, вся на месте. Как подумаешь, сколько её, матушки, под войну ушло, так каждый наш бугорок отдышать хочется! Солдат без хлеба не навоюет. А хлеб, он весь сейчас в женских руках, Васёнушка. Как теперь говорят: «Война, товарищи...». Вернее и крепче слова нет для нынешней поры. Вот и я к тебе с этим словом: война, Васёнушка! Тут, как говорится, через себя прыгни, а что надо — сделай. С людьми о тебе говорено. В районе знают. Сверху и снизу «добро» дано. За тобой теперь дело, хорошая моя!..

— Иван Митрофанович, родненький! Да что вы говорите такое! — Васёнка разволновалась до красноты на щеках. Она не могла усидеть на табуретке, вскочила, отбежала к окну, умоляюще прижала к шее руки. — Надсмехаетесь вы надо мной, Иван Митрофанович! Нехорошо-то как!.. Разве смогу я? Время-то какое? А я что? Сама десять раз сделаю, чем кого заставлю! Кроме слова доброго, ну, ничегошеньки у меня нет! С чем я к людям-то пойду?! Нехорошо, Иван Митрофанович, ой, плохо!

Иван Митрофанович слушал, давал выговориться, а провалившиеся его глаза блестели в глубоких морщинистых глазницах, как от яркого света.

Когда Васёнка выговори́лась, и замолкла, подперев в расстроенности чувств подбородок, и отверну́лась к окну, Иван Митрофанович подозвал её, усадил на табурет, накрыл влажной холодной рукой её руку, сказал:

— В том-то и сила твоя, Васёнушка! В годину горькую людям доброе слово твоё нужно, душа твоя ясная дорога. Приказать-то не труд, труд — исполнить. Крестьянскому усердию ты цену знаешь — сама с малых годов в работе. Так кому, как не тебе, вместе с людьми на земле хозяйствовать?! Я, Васёнушка, с радостью ещё бы век рядом с людьми пожил, косу в руках подержал, отбедовал бы вместе с вами. Вместе и победным временам порадовался бы. Да что отмерено человеку, того, видать, никто не переменит. Спокойным хочу быть. А спокойствие моё — ты, добрый наш человек! Увижу в твоих руках дело — мне легче будет. Легче, Васёнушка! Забота — твоё дело. По сердцу и по разуму твоё...

Иван Митрофанович приклонил к плечу голову, рукой, такой же белой, как подушка, посилился толкнуть с груди одеяло.

Васёнка, напугавшись, бросилась перед постелью на колени: видя, что Ивану Митрофановичу плохо, приспустила одеяло, ухватила будто неживую руку, страшась его забытья, торопилась разговорить:

— Иван Митрофанович, родненький! Что надобно-то? Сейчас отогрею, руку-то отогрею... Вот так... — Она гладила, дышала на его руку, старалась дыханием вернуть ей тепла.

Позади всхлипнула Шура. Васёнка не оборотилась, ещё усерднее задышала в холодную ладонь Ивана Митрофановича, и неживые пальцы его, будто и впрямь отогретые Васёнкиным дыханием, пошевелились, Иван Митрофанович открыл глаза, посмотрел на Васёнку, на Шуру, улыбнулся виновато.

— Жил... Никого не пугал... А тут вроде бы пугать начал. — Он шутил, отгонял страх от дорогих ему людей. Собравшись с силами, старательно выговаривая слова, попросил:

— Шура, Васёнушка, как бы мне лошадку. На поля глянуть. Соскучал по воле...

Васёнка, глотая слезы, сама запрягла старого, печально вздыхающего мерина, положила в телегу побольше сена, накрыла рядом, повезла уложенного и укрытого одеялом Ивана Митрофановича за село.

На горушке, у края ржи, откуда видны были и дальние поля, поставила телегу в тени берез, подложила под голову Ивану Митрофановичу прихваченную из дому фуфайку, чтобы удобнее было глядеть на колосья и зазелень леса у Туношны, хотела отойти, не мешать, во Иван Митрофанович позвал:

— Не уходи. Сядь. Вроде бы отдышался, говорить хочется. Что я хотел тебе сказать... Да вот... До войны ещё, помнишь заспорил я с Андриановым. Точно, при тебе было. Председателю хлеб сдавать, а у молотилки нутро приболело, так разладилось, что эмтээсовский докторишко рукой махнул да сгинул. А Василию Ивановичу хоть за чёрта ухватиться, лишь бы сделать. Он батю твоего, Гаврилу Федотовича, и призвал. Не тебе говорить — в мастерстве твой батя башковит. Поклонишься, посулишь — блохе подковки навесит. Я бы не против, сам поклонился бы для дела, да пора-то какая — матушка твоя, помирает, а Капка на глазах всего села Гаврилу Федотовича хороводит... Андрианову про то рассказываю, а он, будто жеребчик, на дыбки. Тебе, кричит, мораль дороже зерна! Дороже, говорю, Василий Иванович, дороже, горячий ты мой человек! Ты колхоз перед Гаврилой Гужавиным на колени ставишь. Мужику кураж, другим пример. А пример такой: ни закон для тебя, ни мораль, ежели дело умеешь. А так ли оно, Васёнушка? Ты тогда с обидой на меня глядела. Не терпелось тебе, чтобы батя добром себя проявил. А я устоял. Жалел, а устоял. Даже перед тобой, Васёнушка! В дальний колхоз за Макаром съездил, он дело нам свершил. Да так, что до сих пор машина молотит. Не гляди так жалостливо, Васёнушка! Не суди старика: ему помирать, а он всё про то... Ни к чему бы теперь поминать, вроде пустяшное дело. А скребёт тут, хочу, чтоб тебе помнилось. Дело почнешь, Васёнушка, — делягой не стань. В жизни человек и дело вообще-то об руку идут. Но ты гляди: как человек дело ладит и как живет. Тут тебе такая книга — всё в неё вписано... Макарушку что-то поминаю. Каково-то ему там, не на хлебном — на бранном поле?! — Иван Митрофанович со вниманием поглядел на Васёнку, понять хотел: по-прежнему ли дорого ей Макарово имя, но увидел в её глазах такую боль, что и пытаться не стал.

— Прости старика, договорю уж... Бывают, Васёнушка, в жизни выверты. Бывает, что и свои золотые руки мужик пропивает. Но это такая уж несуразность, что словом не обозначишь. Хотя что уж, могу сказать: золото без ума не на пользу... Заговорился, старый, но ты потерпи. Всё кажется, не углядел чего... Ты с главного начинай, Васёнушка. С земли. Дело — оно всё вокруг себя завертит. Люди к делу льнут. Заладится — тут и счастье твоё. Что-то мне, Васёнушка, не дышится. Вроде бы и воздух вольный, а тяжко. Бок давит. Подыми-ка меня повыше... Ладно, ладно, хорошо...

Иван Митрофанович поднимал голову, а она валилась; так и уместил он её на правом плече, выпирающем под сатиновой, полинялой от времени, теперь просторной ему рубахой-косовороткой. Всю жизнь носил такие: то серые, то синие, то под пиджаком, то навывпуск с пояском, но — всё косоворотки. Были они такой же принадлежностью его вида, как усы, в бодрости — встопорщенные, в тягости — будто дождем обмоченные.

Васёнка глядела на знакомую, залатанную на локте рубаху, на обвислые теперь усы, и обида за Ивана Митрофановича, за то, что не дала ему жизнь ничего другого, кроме забот о людском устройстве, о старых и малых, о несчастливых и порадованных судьбой, о всех, кто ходил-бегал по семигорской земле, кто обихаживал её, скупую на отдачу кормилицу, — обида за то, что жизнь взяла всё, что могла взять от его ясного ума и беспокойного сердца, и дала ему такую малость от общей людской богатости, захлестнула Васёнку. Горьким и несправедливым почудилось ей то, что Иван Митрофанович один здесь, у конца своей жизни, растроченной для всех, что одна она при нём и одной ей он говорит слова, слушать которые надобно всем, и нетерпеливое желание тут же поправить несправедливость заполнило Васёнку. Она ухватила вожжи, в поспешности стала заворачивать лошадь, чтобы собрать на сельсоветской луговине вокруг Ивана Митрофановича всё село, чтоб все могли его видеть, слышать, внимать ему. Но едва заворотила нерасторопного мерина, Иван Митрофанович остановил её.

— Куда это ты, Васёнушка? Пошто заторопилась? — слабым голосом окликнул он, тужась поднять от плеча голову. — Сорви-ка мне колосок, с той вон ржицы. Зерно хочу потрогать...

Васёнка подала ему стебли с колосьями, самыми большими, какие только могла в торопливости найти, бережно вложила колоски ему в ладонь. Иван Митрофанович медленно, один за другим, согнул длинные худые пальцы, прикоснулся к выпуклостям плотно сидящих зёрен, и по выболевшему, испятнанному тёмными метами его лицу прошла улыбка, никлые, табачного цвета усы пошевелились, на какой-то миг вроде бы встопорщились. Из-под полуоткрытых век смотрел он на Васёнку, будто запоминая, нежданно пошутил:

— Вот, болтают, усы у меня прокурены. А ведь в жизни не курил! Давай-ка теперь, Васёнушка, на Волгу...

Пологой дорогой, вдоль Нёмды, затенённой зарослями раки, Васёнка выправила к Волге; поставила телегу у воды так, чтобы Иван Митрофанович мог видеть всю ширь и даль пустой в этот час реки. Свежестью наносило от плёса. Волга дышала: скатывалась с широкой её груди вода, набегала на песок, уносила обратно с берега шевелящуюся полоску пены. Мерные вздохи Волги, шелест воды по песку, неподвижные, вечереющие дали обласкивали взор и слух, и Васёнка, давая Ивану Митрофановичу углядеться Волгой, молча и участливо стояла, прислонившись к тёплому, остро пахнущему крупу мерина. Иван Митрофанович, однако, не видя Васёнки, опять забеспокоился, позвал.

— Что хотел ещё сказать тебе, Васёнушка... Опять плохи у нас дела. До Волги фашист дошёл. Но ты верь. И народ уверуй: победа за нами будет. Так и сказывай — русские, мол, долго замахиваются, но бьют напрочь... Да, вот оно, главное, что хотел. Мне бы, Васёнушка, руку омочить!

Васёнка знала пологое твердое дно, осторожно пустила мерина в Волгу. Когда заднее колесо притонуло по ступицу, Иван Митрофанович свесил руку, коснулся воды бережно, будто припоминая забытое ощущение, процедил сквозь согнутые пальцы упругую, податливую течь. И дрогнуло, сместилось небо; и показалось Ивану Митрофановичу в последнюю минуту жизни, что вместе с небом качнулась и Волга; припала к нему и — приняла...

Васёнка видела, как обвисла рука Ивана Митрофановича, выпали из ладони смятые колоски, покружились, потыкались остьями в пальцы, поплыли, топорщась на светлой речной глади, всё дальше, всё быстрее, запропали среди ряби, дробящей на мелкие блёстки опаляющий Волгу пламень заката.

Васёнка сложила на груди Ивана Митрофановича руки, сорвала с шеи платок, накрыла ему лицо. Плохо разбирая от натекающих слёз дорогу, правила, шагая обочь телеги, к Семигорью. Никогда прежде она не чувствовала такой беззвучной пустоты вокруг: ни тогда, когда проводила на войну Леонида Ивановича, ни тогда даже, когда оставила на погосте матушку. Душа будто повисла, и не было теперь у неё опоры. Рядом с безгласным Иваном Митрофановичем вышагивала Васёнка, молча откидывала из-под глаз слёзы, без надобности торопила свой шаг.

В Семигорье въехала с видом скорбным и решительным. И когда у дома Обуховых собрались люди, бабы запричитали, отделилась от начавшейся суеты и людности, пошла, опустив голову, мимо огородов по некошеной луговине к Туношне, — снова горе вошло в её жизнь, и надо было пережить его.



Глава шестая

ПАХОТА

1

Бился, захлёбывался младенческим лепетом в просторном, загустевшем от синевы небе жаворонок. А у земли было парко; и запахи, какие бывают только по весне после ранних дождей, в уже устоявшемся тепле, исходили из тронутой плугом глуби.

Васёнка слушала жаворонка, вдыхала пахучую теплынь пробужденной земли, готовой принять, выколосить каждое павшее в неё семя, чувствовала, как и в ней разбуживается вроде бы пристынувшая за вдовьи зимы сила и надежда на радость, хотя бы на простую радость дарового летнего тепла. И, плечом напирая на залоснённую лямку вожжи, она с ожившим любопытством поглядывала из-под низко повязанного платка на баб, тянущих с надрывной старательностью на вожжах борону, хватко цепляющуюся за комья земли, неумело расковырянной плугом. Поле на быках пахали мальчишечки — Мишка Петраков да Вовка Шайхулин: приходилось радоваться и тому, что в свои десять да двенадцать годочков сумели они как-то отвалить землю, поднять наверх её родящее нутро. Быков и трёх старых, негодных для войны мерингов она отправила поднимать другое поле; а по этому, вчера паханному, сами бабы, сцепившись, где по четверо, где впятером, с утра потянули бороны. В той упряжке, в которой были Фенька, Женя Киселёва и Маруся Петракова со старшенькой светленькой Нюркой, тянула свою лямку и Васёнка. В каждом шаге она видела сразу всех и в отдельности каждую и каждую чувствовала и понимала, как себя. С левой стороны, задевая её жарким, мокрым плечом, шла в коренниках простоволосая Фенька, шла, побурлацки нависнув над землёй, сминая отваленные плугом пласты крепкими, напряжёнными в икрах ногами. Рыжие её волосы полохались по щекам, по белой, в крупных веснушках, шее; лямка вминалась в старую кофту, под кофтой круглились, выпирая ткань, тугие груди. Фенька шла мерно, как будто давно привыкла к этой лошадиной работе, и справляла, её, как все, с непривычной покорностью. Рядом с Фенькой торопилась, оступалась невеликонькая росточком Маруся Петракова, остроносая, большеротая; в натуге кривила бледные подвижные губы, высоким голоском постанывала в действительном старании.

«И за что только душа цепляется? За кости, что ли?» — думала Васёнка, крепче надавливая на вожжу, чтобы хоть чуток облегчить Марусе тягу. С усердием тянула упряжь своим худеньким плечом и Нюра; все старалась, жалеючи мать, зашагнуть хоть на полшага вперёд. Васёнка отметила это с одобрением: она вызнала про сердечную привязанность Витеньки к Нюре, и хотя скрытного характером братика взяли в город, на завод, и по редким письмам она чувствовала уже полную его самостоятельность, всё-таки с доброй строгостью приглядывала за Нюрой, в душе привыкая к ней, как к будущей невестке. Обочь Васёнки шла левым плечом вперёд Женя, закинув руку за спину, на вожжу, захватив её цепкими пальцами. Оборачивая своё широкоскулое лицо к Феньке, дурашливо выкрикивала хриплым своим голосом:

— Давай жми, Сивка-Бурка, рыжая каурка! Без мужика рожать не научены, так хоть подможем матушке-землице жито выродить! Эх, шевелись, бабы-лошади! Хороша сбруя, Фенькиным грудям в самую пору...

Женя балагурила, но Феньку её слова задели, она повела натужными глазами на Женю, зло ругнулась:

— Тарахтелка тракторная! Грому на всё поле, а толку чуть...

Хмурость, однако, не задержалась на распаленном работой лице Феньки; она закинула голову, не останавливая шаг, нашла в синем мареве дрожащее пятнышко жаворонка, улыбнулась призывно полными губами то ли птахе, то ли своей памяти. И Васёнка, встревоженная Женькиной задиристостью и уже готовая помешать ненужному разговору, увидела её улыбку, с облегчением подумала: «Ну, и уладилось! Только в словах мы, бабы, ершисты. А на деле — добрее не сыщешь. Ой, бабы, ой, страдалицы мои! Мужикам даже там, в боях своих, молиться на вас да молиться...»

Васёнка наблюдала за всеми четырьмя упряжками: все они двигались по пахоте, и Васёнка радовалась этому медленному, терпеливому движению, как только можно радоваться большому, нужному, ещё вчера, казалось, невозможному, а сегодня удачно начатому делу. К вечернему, низкому солнышку, хотя и с остановками, с перерывами, но большое, гектар в шесть, поле разборонили.

На подгибающихся ногах доволочив борону до края последней полосы, Васёнка отбросила лямку, распрямилась, оттягивая прилипшее к телу платье, и, платьем опахивая разгорячённое потное тело, подумала с усталой удовлетворённостью, что завтра можно засылать на это поле севцов. Она уже прикинула поручить это завершающее общий труд дело Феде-Носу, одному из четырёх семигорских мужиков, оказавшихся не на войне, по возрасту обойдённых даже трудповинностью.

Почему-то именно к старому Феде она испытывала безотчётное доверие, хотя Федя-Нос ни по внешности, ни по характеру не был похож на покойного и посейчас так нужного ей Ивана Митрофановича.

Оглядев пробороленную, не очень-то ровную открытость поля, она перевела взгляд на видимое за низкой лесной порослью, что укоренилось на меже, другое, ещё большее поле, наполовину расковырянное плугом, и к её лицу, без того притомлённому, добавилось озабоченности. Она вспомнила разговор в райкоме, у Кобликовой Доры. Слова Доры о железной, прямо-таки стальной необходимости закончить пахоту и сев в ближайшие три дня не очень-то добавили Васёнке бодрости — слишком ясно виделся разрыв между необходимостью и возможностями семигорского колхоза. И тогда, в райкоме, и теперь чувствовала она беспокойство. Нет, не перед устрашающим взглядом требовательной Доры — беспокойство она чувствовала от своей, всегда живой совести, которая не давала ей забыть о войне, идущей так далеко от Семигорья и так близко от её сердца. Она понимала, что одно, даже удачно сделанное дело — это ещё малость. Это такая малость — хлеб с одного поля, — что до солдат этот их хлеб может просто не дойти. И такая ли важность для войны, для солдат, что хлеб на этом поле взойдёт от последних бабьих сил, на поту, на слезах, на безголосой тоске вдов и детишек, в одиночества оставленных у земли?! Важность в том, чтобы хлеб был...

«Всё одно — надо, — думала Васёнка, глядя на то, другое, только наполовину паханное поле. — Эту половину до тёмок и оборонюем. Так и скажу: надо, мол, девки»

Баб будто кнутом стегнули: заголосили все разом, замахали руками, когда услышали о другом поле. Маруся Петракова так даже одной рукой махнуть не осилила: подняла из муравы испачканное землёй лицо, маленькое, с большими, как будто навсегда испуганными, глазами, не сказала — выдохнула:

— Всё, Васёна. Силов нету. Завтра разве на корячках из дома выползу.

Васёнка сама видела: обессилели бабы. И, смиряя своё беспокойство за многие ещё не сделанные дела, за неостановимое солнышко, всё ниже клонившееся к мохнатой загороди бора, и жалея всех баб вместе и каждую в отдельности, сказала голосом, в котором больше было участия, чем строгости:

— Ладно, девки, Отложим до утречка. Но завтра хоть на корячках, хоть ползком, но второе поле пробороним...

Васёнка почти не спала ночь, полную шорохов, возни, птичьих кликов, слышных в раскрытое окно с залитых половодьем лугов; различала и утиный крик, и тонкий долгий посвист куличков, и возбужденный говор гусей, учуявших с высоты милую им землю. Весна всегда тихо радовала её общей напористой суматохой жизни, исходящей отовсюду: и от самой земли, и от затеплевших небес, и от прояснённых людских глаз; слушая весеннюю ночь, она досадовала на себя за то, что в её обеспокоенную заботами душу прорывались всякие памятные ненужности, которые она силилась сейчас не помнить.

Натуга на пашне не обошлась и для Васёнки. Ноги-руки, налитые тяжестью, были как в болезни: чуть пошевелишь — прокалывает с живота до спины, плечи крутит в жгуты. И всё же, сомкнув плотно губы, чтобы случаем не простонать, не разбудить Женю, по давней привычке стелившую себе постель на печи, и не потревожить Лариску, приткнувшуюся к боку, и Ваню-Рыжика, устроенного на широкой лавке в лучшем углу дома, и Машеньку, вовсе отбившуюся от Капитолины, она неслышно ворочалась со спины на бок и обратно, болями тела заглушая гомонившую за окном весну. Приподнявшись на локте, она осторожно подвинула к стенке Лариску, подсунула под голову ей угол подушки, сама легла повыше, нашла наконец нужное положение, ушла мыслями в трудные и необходимые утренние заботы. Главным её беспокойством была забота допахать и проборонить второе и ещё одно, тоже большое, поле. Не только умом она понимала, каждую минуту жизни чувствовала, как нужен тот хлеб, который, кроме них, некому ныне посеять и собрать, — нужен всем: и городу, и ребятишкам, и бабам в деревнях, но прежде всего — войне, солдатам, наконец-то погнавшим врага от Волги, за Дон, до самой Украины. Украину Васёнка не представляла, не ведала, что там за люди, какая там земля, — так уж получилось, что нигде она не была дальше зареченского города, который и был центром их района. Но войну представляла. Война была для неё близко, она как будто слышала её, а в зимние ночи, когда от забот случалась бессонница, ясно видела полыхающее по фронту пламя. До того ясно, что даже чувствовала лицом жар горячей земли и с болью глядела, как пламень охватывал бегущих солдат, и солдаты горели, как молодые сосенки в лесном пожаре, и пепел вместе с чёрным дымом поднимался в небо, летел под облаками и оттуда, сверху, падал на города, на деревни в руки баб неживыми листками похоронок. И чёрные листки, летевшие оттуда, с горячих полей войны, заживо подкашивали баб, навек сиротили ни в чём не виноватых ребятишек, саму землю, тоже ни в чём не виноватую.

В думках о войне Васёнке часто виделась та большая волжская баржа, зачаленная к дебаркадеру, которая увозила к войне семигорских и других окрестных мужиков. Видела на барже и Макара в той чудной кепочке. И, как в яви, опять дивилась неизвестной прежде кепке Макара, глядела с пристальностью в его косящие, как у коня, глаза. Даже в ночи, не под чужими взглядами, стыдилась она того, что видится ей не Леонид Иванович, а Макар, и, стыдясь грешности своего сердца, заставляла себя думать не о своей, а о той общей беде, в которой горевала вся Россия. Думала она о России и снова — в который раз! — ужасалась той огромной барже, которая такое великое множество мужиков оторвала от земли. И забота о том, как управиться с полями, уж не со всеми — хотя бы на самой родивой земле, — управиться теми бабьими силами, что оставила война Семигорью, не давала ей спать. И опять мысли её скатывались к Макару, и уже не со своей, от сердца идущей тоской, а с председательской озабоченностью она думала: «На денёк бы Макарушку в Семигорье. Хотя б на утречко! Нашёлся бы, отладил бы нам какую-никакую машину. И управились бы, в самую пору управились бы с заботой...» Васёнка в суровости сжимала губы, думала, что так бы оно и было, возвратись Макар в село: встретила бы она его только так, как председатель встречает механика...

Пристроилась Васёнка на подушке, ушла в думы, а тело и в удобстве заломило. Повернулась на правый бок — не лежит, повернулась на левый — тяжело; опять примостилась на спине, закинула руку за голову, даже дыхание придержала, перетерпывая идущую по телу ломоту. В самое это время и послышался хриплый шёпот Жени:

— Что, Васка, неровно дышишь? От весны, что ль, распалилась?..

Васёнка, напугавшись, что Женя подумала бог знает что, собралась с силой, ровным тихим голосом ответила:

— Заботы голову заботят. Боюсь, Женя, не споровим мы с севом...

Она слышала, как Женя возилась, слезая с печи, прошлёпала босыми ногами по полу, потеснив Васёнку, села на край постели. В светлом проёме открытого окна хорошо прорисовывались крупные, почти мужичьи черты её лица, волосы, заброшенные назад, худая тёмная шея над серой просторной рубахой, в которой она всегда спала. Потомившись в молчании, Женя охватила свои угловатые плечи руками, будто себя обогревая, сказала напрямки:

— И мне видать — не осилим. Бабы два дни в борозде — не кобылы. Вот что, добрая наша председательша: добудешь две бочки керосину — вспашу и отборону тебе полтора поля...

Васёнка хотела бы поверить, да не поверила, — видать, замечталась на печи верная, заводная на всякую диковинку подружка! Сказала с прощающим вздохом:

— Мечтала и я, Женечка, о такой силе. Да вся наша мечтанка — те же бабьи руки да то же наше терпение. Ничегошеньки другого не осталось!..

— Сказала, значит, смогу! — рассердилась Женя. — Не на гулянья, чай, утекла. В эмтеэсе, считай, третью неделю ковыряюсь. С миру по железке — старому колёсничку на жизнь! Завела старичка. Гудёт!.. Доставай керосин — пахота будет.

Васёнка скинула с постели ноги, ткнулась лицом в жилистую, тёплую шею Жени:

— Ну, что бы я без тебя делала, выручалочка ты наша. И крышей поделилась, и обогреваешь. И дух крепишь...

— Полно тебе, Васка. — Женя хотела погладить Васёнку, но застеснялась, только подбила неумело её мягкие, спадающие на спину волосы, сказала сурово:

— Керосин, керосин добывай!..

— Добуду, Женечка. Добуду! Быть того не может, чтобы на такую нужду люди не откликнулись!..

3

Васёнка редко бывала в райцентре и теперь дивилась городу, ещё позимнему притихшему и малоллюдному даже в этот синий слепяще солнечный день. Она обходила склады, магазины, конторы, советы, комитеты и нигде не добыла даже малого бидончика керосина, А ей нужны были бочки, две большие железные бочки, чтобы оживить старый Женин тракторишко и на него, готового к работе железного конягу, переложить с перетруженных бабьих плеч тяжкую земельную работу. Только две бочки. Целых две бочки! Наконец Васёнка узнала: керосин есть. Но под многими железными замками. И ключи от всех замков — у секретаря райкома партии, у Дарьи, у Доры Павловны Кобликовой. «Да что уж раньше-то не могли сказать! — сокрушалась Васёнка, измученная хождениями и уговариваниями. — Давно бы всё решилось!».

Согбенный старичок, сидевший за дверью с вывеской «Райплан», — тот самый старичок с белым хохолком на голове, который, сжалившись, открыл ей наконец керосиновую тайну, — услышав её убежденные слова, осторожно отвалился на спинку стула, посмотрел на неё очень внимательно, потом склонил к плечу седую голову и голосом тихим и проникновенным сказал:

— Дай бог, чтобы ваша вера помогла вам...

Васёнка вошла в кабинет Доры Павловны стремительно и легко, как привыкла за последний год входить в любые учрежденческие кабинеты, будь то по вызову или по делам колхоза.

Даже тяжёлые кирзовые сапоги, доставшиеся ей в наследство от Леонида Ивановича, не топотнули по всё ещё жёлтому, но уже с пролысинами полу, плавно донесли её до широкого, в треть кабинета, стола. Смахнув с головы на плечи рябенький ситцевый платок, добытый из матушкиного сундука, она с улыбкой на своём открытом, оживленном быстрой ходьбой лице и с верой в то, что всё решится быстро и хорошо, проговорила:

— Вот и до вас, Дора Павловна, дело довело!

Дора Павловна, не поднимая головы от разложенных перед ней бумаг, молча повела рукой, показывая на стоящий перед столом стул. Васёнка потербила узел платка на шее, сказала в живости:

— Да у меня дело-то минутное! Не надобно, чай, и время тратить.

Но протянутая рука Доры Павловны оборотилась к ней ладонью, остановила её, и Васёнка, пожав плечами, села.

Дора Павловна продолжала молча изучать бумаги. Васёнка, смиряя своё нетерпение, с полуулыбкой разглядывала её. Хотя Дарья Кобликова стала властью, самым главным человеком в районе, и под её рукой были председатели всех колхозов, в том числе и она, Васёна Гужавина, всё равно и теперь она не знала перед ней робости. Оттого ли, что сама Кобликова была семигорского корня и с детства зналась как соседка «тётка Дарья», то ли Иван Митрофанович как-то исподволь приучил её в любом начальнике видеть понимающего человека, но на самых строгих совещаниях, когда от железных слов Доры Павловны мрачнели даже покалеченные фронтом мужики, она не опускала глаз, не клонила головы.

Доре Павловне было уже около сорока, но была она по-своему красива — не только глубокими твёрдыми чертами лица, подобранными аккуратно в высокую причёску волосами и тёмными, вразлёт, бровями на белом, без заметных морщин, лбу, но самими движениями головы, рук, бровей, медлительными и в то же время выразительными, подчёркивающими её достоинство и власть. Васёнка про себя даже любовалась этим её медлительным достоинством и думала: если бы не холодящий взгляд её голубых немигающих глаз, то прежняя тётка Дарья, нынешняя Дора Павловна, была бы на зависть привлекательна и люди, имеющие к ней дело, не столько боялись бы, сколько поклонялись ей.

Телефон беспокойным своим дребезжанием нарушил Васёнкины раздумья. Дора Павловна и теперь не подняла от бумаг красивой головы, подождала, когда телефон зазвонил в третий раз, медленно повела рукой над столом, привычным, точным движением взяла трубку:

— Да, я, — сказала она ясно и четко, и в этом её «да, я» было столько подчёркнуто-властного достоинства, что Васёнка, с любопытством глядя на бывшую, не безгрешную, Дарью, подивилась — в который уже раз! — её способности утверждать себя даже перед телефоном.

— Закончим через три дня, — спокойно говорила в трубку Дора Павловна; а разговор, как поняла Васёнка, шёл о себе, и разговаривала Дора с областью. — Да, по всем колхозам. Безусловно. К плану добавим, как было обговорено. Благодарю. — Она не спеша положила трубку, наконец посмотрела на Васёнку.

— Слушаю вас, товарищ Гужавина, — тем же подчёркнуто-властным голосом сказала она и, не убирая со стола рук, сочленила над бумагами пальцы с тщательно и ровно подстриженными ногтями.

Васёнка, как бы оставляя при Доре Павловне строгий официальный её тон, с доверительностью рассказала о запаленных на бороновании бабах, о том, как Женя Киселёва оживила старенький, давно списанный трактор, и о возникшей своей, вернее общей, колхозной заботе.

— Нам бы только две бочки керосина, и мы легко бы подняли и засеяли два оставшихся поля! Главное, сберегли бы до макушечки настрадавшихся баб, — сказала она и улыбнулась, веруя, что всё нужное обговорено и Дора Павловна сейчас так же спокойно и властно распорядится о керосине.

Дора Павловна смотрела на Васёнку немигающими глазами, как будто ждала услышать ещё раз о том, что поведала только что Васёнка.

— Кто вам сказал, что у нас в районе есть лишнее горючее? — после долгого молчания спросила Дора Павловна. И Васёнка, не думая о том, что доверчивость может обернуться кому-то неприятностью, простодушно разъяснила:

— В райплане у вас старичок есть такой седенький. Вошёл он в наше положение. И присоветовал обратиться к вам...

— Галкин?! — Одна из бровей Доры Павловны поднялась в неприятном удивлении, глаза остановились в неподвижности на квадратной массивной чернильнице. Васёнка не знала, что с этим согбенным старичком, который, как это она узнала потом, по годам вовсе не старичок, у Доры Павловны было связано самое неприятное, в её жизни воспоминание. Казалось, всё ушло, забылось: человек, попавший по её обвинению в места очень далёкие, вернулся, продолжал жить и работать, растворился в жизни их городка. Но он был. Значит, было и то, что случилось в своё время.

И хотя сам этот человек уже не имел значения для Доры Павловны, — для неё имело сейчас значение только то, что кто-то, помимо её воли, посмел открыть кому-то скупые резервы, с трудом, при личном её участии, добытые в области, — всё же неприятное её удивление усилилось от того, что не кто-то другой, а именно этот человек нарушил её строгое установление. Первым движением её чувств было тут же взыскать, поставить на место этого неприятного ей и теперь человека, — она даже потянулась к телефону. Но, пожалуй, впервые властная, не знающая сомнений её рука остановилась: Дора Павловна увидела, как испуганно метнулся взгляд Васёнки, сначала на телефон, потом на её руку, как, всё поняв, она подняла на неё глаза, полные раскаяния и мольбы. Похоже, семигорская красавица, в мужской робе и кирзовых сапогах, уже до горести переживала то, что ещё не случилось. И, отступая перед мольбой и открытой доверчивостью Васёнки, Дора Павловна не дотянулась до телефона, в досаде снова сочленила пальцы над бумагами:

— Как дети! Все вы как дети!.. — вдруг раздражилась она и передёрнула полными плечами, будто ознобило её под плотно облегающим её фигуру тёмно-синим шевиотовым костюмом. — Скажите, товарищ Гужавина, фронтovou кинохронику вы колхозникам показываете? Видели ваши люди, как солдаты на руках, на своих плечах тащат пушки в бой? Тащат под бомбами, под снарядами, под пулями?.. А вы тянете по полю борону и не слышите даже гула фашистского самолёта! Над вами, как прежде, мирное небо. Тяжело? Да. Порой очень и очень тяжело. Но кому сейчас легко, скажите мне, товарищ Гужавина?!

Васёнка опустила голову. Верные слова Доры Павловны тронули отзывчивое на чужие тягости её сердце. Даже стыдливая краснота проступила на её и теперь ещё нежных щеках. Ещё бы минута — и, наверное, она встала бы и, согласно вздохнув и повинившись, пошла бы к себе в Семигорье утешать и уговаривать баб. «Но керосин-то ведь есть?! — Эта мысль ожгла её. — О том Дора ни слова! Керосин-то есть! И трактор может пойти. Зачем же опять на баб, когда пускай на сегодня, но можно снять тягу с размозоленных бабьих плеч?!»

Васёнка подняла глаза, и Дора Павловна увидела в ясных её глазах, какого-то тёплого, песочного оттенка, не смущение, а твёрдость.

— Про солдат мы знаем, Дора Павловна, — тихо, но с неожиданной неуступчивостью сказала Васёнка. — И про бомбы и пули — знаем. И про тех наших мужиков, которым уже не страшны ни снаряды, ни пули, тоже знаем, — память о них бабьими слезами до сих пор не залита. Но сказали бы нам с вами спасибо мужики-солдаты, когда б увидели своих баб в борозде вместо лошадей?! Бабы сами пошли на пашню, сами бороны потянули, потому как видели: край подошёл, до самой до необходимости. Но баба — не конь: когда силы у неё кончаются, кнутом её не подгонишь.

Уговорить и то слов не найдёшь, когда знаешь, что у ворот починенный трактор стоит, а здесь, за рекой, на вашем складе, горючее припасено. Для какой надобности — не ведаю. Может, керосиновыми лампами на совещании светить, может, бумажки писать — не ведаю того. Но то, что перее всех бумажек — хлеб, тот, что должны мы посеять, знаю твёрдо.

Дора Павловна слушала в неподвижности, даже как будто дышать перестала, изумленная неожиданным поворотом разговора. Она привыкла к тому, что после её речи люди молча вставали и с охотой или неохотой — это её не касалось — шли исполнять её волю, общую партийную волю, как думала Дора Павловна. Сейчас же случилось необычное: речь её не только не направила, но обернулась несогласием, даже отпором!

Дора Павловна как бы издали изучала раскрасневшееся, прекрасное даже в сердитости лицо Васёнки, думала со спокойным холодком ещё не проявленной власти о неприятном ей райплановском работнике: «Нет, определённо, этого проболтавшегося человека надо безжалостно наказать. Нарушает порядок, возмущает умы... А что же делать с этим неоперившимся ещё председателем? Сердца много вкладывает в дело — понимания недостает»

Васёнка в горячности говорила:

— Ну что из того, Дора Павловна, что кто-то ночью лишнюю бумажку напишет? Всё одно кому-то на стол ляжет. А хлеб? Прямо в руки да на зубок. Кому-то силу даст, чьё-то сердце согреет. Тому же солдату, что сегодня фашиста положит, завтра может, сам от пули умрёт...

«А есть убеждённость в этой красавице, — думала Дора Павловна, против воли любуясь Васёнкой. — Дадим возможность себя проявить. Может быть, действительно дело сделает...»

— Довольно слов, товарищ Гужавина, — сказала Дора Павловна голосом таким твёрдым и властным, что прервать её никто бы уже не решился. — Вот вам записка. Получите на складе бочку горючего. Но помните: за правильное использование каждой капли отвечаете головой.

Васёнка держала в руках записку и не знала, радоваться ей или печалиться? Одной бочки едва ли хватит на половину поля. А дальше что?

Дора Павловна отлично поняла растерянность Васёнки, глаза её чуть заметно сузились, она спросила холодно:

— Вы не удовлетворены? Тогда положите на стол записку, попробуйте решить свои заботы без райкома.

— Нет, нет! — испугалась Васёнка и крепко прижала записку к груди. — Другую половину мы наберём. Обязательно наберём! По всем домам пройдем. По плешечке, по ковшичку, а все равно наберём!

— Это другой разговор! — Дора Павловна встала. — Ещё одно: к спущенному вам плану сева прибавьте десять гектар. Желаю успеха, товарищ Гужавина!

— С кого начинать-то, дядя Федя? — Васёнка в растерянности стояла перед крыльцом, не зная, как приступить к трудному делу — собрать не бочку, а теперь уже, после щедрого подарка Доры, полторы бочки керосина, собрать по деревне, по домам, которые с начала войны живут без света. В скольких домах, в которых приходилось ей бывать в тёмные, зимние вечера, видела она вспомнутую теперь лучину, горящую с чёрной копотью над корытцем с водой! В редком доме светила керосиновая лампа, да и то притушенно, вполсилы, чтобы надольше хватило ещё довоенного, у всех скудного запаса.

Федя-Нос спустился с крыльца, с осторожностью переставляя согнутые старостью ноги, обутые в плетённые при свете горящей печи, не обношенные ещё лапти, взгляделся участливо в глаза расстроенной Васёнки.

Отяжелённое могучим носом лицо Феди теперь почти до глаз заросло сивым, с проседью, волосом: в первый год войны, когда всё Семигорье жило в тягостной подавленности от долгого, неостановимого отхода Красной Армии аж до самой святой для каждого русского человека Москвы, Федя-Нос, допив последнюю бутылку самогона, схоронённую от прошлых годов в картофельной яме, поклялся не стричь ни бороды, ни усов, ни на голове волос до тех пор, пока не сгонят фашиста с России. И хотя с того дня Федя до невозможности оволосатился, Васёнка не смела даже про себя осудить его, — чутьем доброго человека понимала, что в чудаковатом этом упрямстве старика была боль за Россию, за себя тоже, по годам и всем прочим неспособностям оставленного с бабами, поодаль от ратных дел.

Дядя Федя глядел из волос с участливым вниманием, и, если бы к краям глаз не набежали хитроватые морщинки, Васёнка так бы и не поняла, что дядя Федя улыбается, — ни губ, ни щек в его усах и бороде не было видать.

— Так с чего начинать-то, дядя Федя? — как-то жалобно снова спросила Васёнка, чувствуя себя перед молчаливой мудростью Феди несмышленишем.

— А вот с меня и начинай, — сказал Федя, простотой своих слов ободряя Васёнку. — В войну мы не с бедной жизни вошли. Ежели не хлебом, то прочим несъедобным припасцем не каждый себя обделил. Заходи в дом. Ну, коли некогда, погодь тут. Я сейчас... — Вернулся Федя-Нос с четвертной бутылью, оплетённой ивовым прутом.

— Вот, в общий котел для начала. Чуть не полная. Припасал на пасеке вечерять. Да разве возможно ныне такое богатство одному тратить?! Бери. Рад, Васёнушка, послужить землице нашей.

Васёнка, обняв бутылку, как ребятёнка, несла её к Жене на двор, не слышала ног от лёгкости на сердце. Бережливо, до капли, слила керосин в бочку, прежде припасённую, в волнение слушая, как булькают и плескаются о пустое дно первые литры тракторной силы. На деревянную пробку накинула чистую тряпицу, плотно заткнула отверстие в бочке. С той же бутылкой, что передал ей дядя Федя, вышла в улицу, раздумывая, к кому заявиться теперь. Глаза остановились на окнах магазина с наглухо закрытыми ставнями. Капитолина торговала только в дни, когда привозила из города кой-какой товар; а так магазин был пуст, и открывать его было незачем, и большую часть времени Капка проводила дома, в жилом пристрое к магазину. После того как батя с превеликим, на все село, шумом проводил Капку из своего дома, она недолго отирала углы на стороне, вернулась вскорости в Семигорье завмагом, заняла пристрой на законном основании.

Васёнка знала, что Капитолина дома — из трубы потягивал дымок; прикинув, что у кого-кого, а у Капки она возьмет не меньше двух бутылок керосина и тем закрепит счастливое начало затеянного дела, направилась к пристрою.

Капитолина куда-то собиралась — сидела за столом, недовольно глядя в зеркало, крутила только что вымытые волосы на бумажные жгутики. У печи, на мокром табурете, стоял неубранный таз с мыльной водой, на шестке лежал мокрый кусок хозяйственного мыла, огромный, чуть не в полкирпича, пахнущий керосином кусок. Васёнка прежде другого разглядела мыло и в озабоченности от постоянной нехватки всего самого необходимого подумала: «Этаким куском полсела можно обмыть! А эта одну себя, не жалеючи, мылит» Однако вдаваться в недобрую сторону дела Васёнка не стала, без приглашения села на лавку, поставила на пол между ног бутылку в плетёнке, с лёгкой усмешкой осведомилась:

— Для кого красоту крутишь?

Капитолина наклонила голову, с обеих сторон узенького лба упали незавитые пряди, повисли настороженно, как рога у коровы; из-под поднятой к волосам голой руки она покосилась на бутылку, спросила, хмурясь:

— Что, без света контора не пишет?

— Пишет. У нас заместо лампы до ночи солнышко! — отшутилась Васёнка и почувствовала, наблюдая прихорашивающуюся Капку, как сердце прихватывает памятью: от горестей, что принесла в её жизнь бесчувственная Капка, нет-нет да подступало, а в последний год всё чаще и острее, желание прихватить под кофту короткий конский кнут и где-то на безлюдье, не для чужих глаз, хлестнуть раза два по бессовестному её лицу. Васёнка теперь уже не пугалась этого, невозможного для неё прежде желания, но сдерживала себя и виду не показывала, как до дурноты тяжело ей встречаться с бывшей своей мачехой. Сдержалась она и теперь; стараясь говорить помягче, объяснила:

— С бутылью, да по другому делу. Трактор запускаем, надобно керосину полторы бочки. Вот хожу, собираю по домам...

Капитолина метнула на неё странный взгляд, накрутила последний пучок волос на жгутик и, похожая теперь головой на кудрявую овцу, молча пошла к печи, слила воду из таза в ведро, ногой с грохотом задвинула пустой таз под лавку.

— Нету у меня, — сказала она, как отрезала. Не оборачиваясь сунула в печурку мыло, заткнула тряпкой от посторонних глаз. Пригнула голову к жаркому челу печи и так, в согнутости, стояла, подсушивая волосы.

Васёнка покосилась на её тяжёлый зад, с неожиданной для себя весёлой дерзостью подумала: «Вот бы сейчас-то кнутом приложиться!» — но вслух сдержанно:

— Не для себя керосин-то.

— То-то и оно, — отозвалась от печи Капитолина. — На должность влезла, а ума для дома не хватает.

Капитолина не видела, как в добрых Васёнкиных глазах засветился недобрый огонь, и, только услышав незнакомый ей прежде твёрдый голос, от неожиданности выпрямилась, едва не задев головой печь. Васёнка, глядя из-под сдвинутых бровей ей в лицо, говорила:

— Керосин у тебя есть, Капитолина. И ты мне его дашь. Вот эту бутыль заполнишь и ещё свою нальёшь! — Васёнка встала, не давая гневу излиться, прошла по тесной горнице; словами ударяя в слабые места Капитолины, досказала: — А не дашь то, что положено, не выйдет завтра трактор — придёшь и впряжешься в борону рядом с другими бабами! Всё тебе ясно? Вот у меня предписание райкома и лично Кирпичёва. — Она вынула из кармана куртки, показала сложенную вчетверо пустяковую бумажку с нарядами за прошлый месяц. Васёнка знала, как боится Капитолина потерять своё сытое место, доставшееся ей какими-то хитрыми ходами, с помощью самого председателя сельпо Кирпичёва, и потому не сомневалась в том, что на этот раз Капитолина Христофоровна сдастся без боя. И в самом деле, Капитолина, потрясённая сразу всем: неизвестной прежде начальственной твёрдостью Васёнки, участием в делах её самого Кирпичёва, видением пахотной борозды, по которой ей, не дай бог, придётся тащиться в конячьей упряжи, — будто прикипела к печи.

В кудельках закрученных волос, багрово освещённая с одной стороны огнём, она следила за руками Васёнки, как загнанная в угол нашкодившая кошка.

Васёнка подержала на виду бумажку, не спеша засунула обратно в карман, подняла, поставила на лавку бутыль.

— Так что наполняйте, Капитолина Христофоровна! Тратить на вас время больше не можно.

К Петраковым Васёнка не хотела заходить: какой с них спрос за керосин, когда картошки и той в подполе не сыщешь — подобрали всю ещё до мая. Нюра, однако, увидела её с крыльца, в радости, стесняясь, позвала:

— Зайдите к нам, Васёна Гавриловна!..

Нюра всего на годочек старше Зойки, но вытянулась чуть ли не вровень с самой Васёнкой. Хоть и худа, и бледна, а глаза живые, и вся какая-то располагающая к себе, — недевической озабоченностью, что ли?

Нюра зазвала Васёнку, стояла теперь перед ней потупившись, теребила рукав старенькой, от стирки потерявшей цвет, кофты.

— Ну что, светленькая! — ободрила её Васёнка. — Где краски-то на веснушки взяла?

— Ай, да ну их! Будто с берёз сыплются, в сердцах отмахнулась от своей горести Нюра, не поднимая на Васёнку глаз, едва слышно выдохнула: — От Вити второе письмо нам...

Васёнка видела, как покраснели мочки её ушей, даже на бледных щеках проступили пятнышки радостного смущения, с материнской, грустной понятливостью подумала: «Вот и подросла невестушка для Вити. Да можно ли в общем-то горе о свадьбе мечтать?!».

— Что пишет-то? — спросила, припоминая, что им с Зойкой братик прислал только одно, совсем коротенькое письмишко, и то давно, сразу как призвали его в город.

— Отписал, что всё ладно! В слесари-сборщики поставили. Моторы собирает. Для танков, надо понимать. А вот про тягости — ни словечка! Такой он — про плохое разве напишет!

«Да, он такой!» — подумала Васёнка, облегчаясь мыслью, что у братика наконец что-то налаживается в жизни. И, не подумав, спросила:

— Письмо-то дашь поглядеть?

Сказала и запереживала за милую ей девушку — в такую неловкость поставила! Нюра не осиливала поднять глаза, руки её метались у ворота кофты.

— Там, Васёна Гавриловна, стихи... ну, понимаете?.. — пролепетала она. — Нужное-то я сказала...

Васёнка привлекла к себе девушку, успокоила:

— Понимаю, всё понимаю, светленькая. Главное, что у Вити всё ладно. Это — главное, Аннушка!

— Я тоже так мечтаю. Вот честное слово! — Нюра оживилась, и Васёнке радостно было от её маленькой, ну, совсем маленькой радости. «А может и не маленькой?» — подумала Васёнка, входя вслед за Нюрой в дом.

Маруся, всегда шумливая, раздражённая голодностью и заботами, на этот раз встретила её по-тихому, даже какой-то испуганной улыбкой. Ополоснув в корыте руки, суетно вытерла их о подол, шагнула было к лавке, но подломила в поясице, охнула, ухватилась за бок.

— Вот где твоя пахота! — Она жалобно смотрела, ждала, что Васёнка сейчас выговорит ей за то, что надумала домовничать не по времени, и тут же, в своей жалобности, с беспокойством взглядывала на Нюрку, стараясь угадать, не худой ли разговор был у них на крыльце, — о письме она знала, и надеялась, и страшилась за возможное счастье. По улыбчивости Васёнки, по светлому лицу дочки углядела лад и враз успокоилась, опустилась на лавку, кинула на колени маленькие сухие руки.

— Что, опять на пашню тащиться? — справилась в сей минутной покорной готовности подняться, снова впрячься в бурлацкую вожжу.

И Васёнка, глядя на неё, вдруг подумала, что за эту вот всегдашнюю её готовность к любому надобному делу прощает ей всё, как простила прошлым летом карманы, набитые ещё не отвеянным зерном. Она знала чем грозит это Марии, только и сказала, очутившись перед страшным для Семигорья случаем, суровостью скрепив готовое оборваться в жалость сердце: «Вернись, Мария, на ток. И сама — слышишь? — сама, до зёрнышка, обратно, в общую кучу...»

Васёнка старалась не помнить про тот случай, сейчас ненароком вспомнила, и видать, не к добру: заметила на сдвинутом в угол, затёртом половике меньшую из Петраковых — большеголовую, плохо растущую Верку, с торопливостью отгрызающую от куска, цепко зажатого обеими ручонками; по-зверушачьи настороженно Верка глянула и тут же опять припала к куску. Васёнка видела намётанным глазом, что лепёха, которую с такой жадностью изгрызала меньшая из Петраковых, спечена почти из чистой муки, и, чувствуя как в новой жгучей догадке останавливается, будто спицей проколотое, её измученное терпеливостью сердце, подумала: «Не хватит у меня добра. На всех не хватит. Не сдюжит сердце. Господи, зло уже в сердце идет!»

Наверное, она побледнела и пошатнулась. И Маруся увидела её лицо и то, что она пошатнулась, увидела, и взгляд её, полный отчаяния, боли и гнева, и пронзительный крик её, всё понявшей, был страшен:

— Нет! Нет! Нет! — Маруся кричала, оборотив кверху к Васёнке, маленькое остроносое лицо, выставив перед собой худые до прозрачности руки. — Нет! Ни зёрнышка, ни былиночки не брато!.. Нюрка с Валькой, они, они выручатели! На старых остожьях, в мышинных норах нашарили колосков. С полбадьи нагребли! Дали ржаного духу нюхнуть. А ты!.. — Маруся упала головой на стол, затряслась в плаче. Нюрка глядела на Васёнку не виноватясь, может быть, впервые за свои семнадцать лет осуждала она Васёнку взглядом.

— Правду мама говорит, — тихо сказала Нюра.

И Васёнка расслабилась духом, сама молча заплакала, подошла, села рядом с Марусей, мягким, успокаивающим движением обняла. Она всегда сострадала Марусе-матери, этой невысоконькой, как подросточек, худенькой женщине, в вечной хлопотне добывающей себе и деткам право на любовь и жизнь. Благородство конюха Василия Ивановича, который так просто, по доброй воле вошёл в неустроенную петраковскую семью отцом и хозяином, потрясло её. И было, было! — зайдясь однажды в тоске от грубости Леонида Ивановича, она позавидовала непутёвой Марусе за то счастье, что в спокойной убеждённости принёс ей конюх Василий Иванович Гожев. И знала Васёнка: случится, сгинет на войне Василий — Маруся в тот же день наложит на себя руки. И никто, ничто не остановит её! Сразу, от одной смерти, добавится на земле пятеро круглых сирот, потому что вся их опора, вся вера, надежда — он, Василий Иванович — муж, хозяин, отец. Сейчас, в мыслях казня себя за нанесённую в торопливости обиду, она в жалости гладила жёсткое, казалось из одной кости, плечо Маруси, утешая её и себя, с обычной своей мягкостью говорила:

— К лучшему дело-то складывается, Марусенька. В который раз Женя выручает. Может, и впрямь обойдёмся без бабьих сил и мук. И под времечко подгонимся... — Сказала она о тракторе, о заботе, которая повела по селу, и Маруся тут же отошла, тут же закипела общим делом, как чугун с водой у огня. Всегда у неё так: подхватит слово и пойдёт катить, не зная останову! Углядела она непорядок и в Васёнкином деле и тут же определила виноватого. Поворотилась к Нюре, привскакивая на лавке, размахивая в нетерпеливости руками, заголосила:

— Ты-то, тихоня, с чего бездельничаешь?! Вот, колхозный комсомол, — одно название! Председатель с бутылью по миру ходит, а тебе не в догадку девок собрать! Васёк Обухов был бы — хвосты бы вам накрутил. Накрутил бы! Ишь, заступила на его место, а чему выучилась? Речи на собраниях кричать?! А ну, крутись, бессовестная. И живо чтоб!..

Нюра ни с какого боку не чувствовала себя виноватой, широко раскрыв большие глаза, в удивлении спрашивала:

— О чём ты мама? О чём?

— Как о чём? Бери вон бутылку да с девками по селу. Не председателево это дело по домам обираться!

Маруся уронила на колени руки, с видом человека, утвердившего наконец-то должный порядок, умолкла.

Нюра поглядывала на Васёнку, пожимала плечами, бледные её губы ещё берегли невинную улыбку.

— Васёна Гавриловна, но я только узнала! Зараньше бы сказали, мы б за утро сделали.

— И теперь не ночь! — вставила свое быстрое слово Маруся.

Васёнка рассмеялась: усердие старших Петраковых было до радости трогательным. Стараясь не уронить в достоинстве Марусю, она сказала:

— А что, Нюра, дело-то и впрямь для вас.

— Да разве мы хоронимся?! Это вон мама, ей только бы ругаться. А вы-то, Васёна Гавриловна!.. Сейчас вот своих девчонок да мальчишек соберу. И в Починок, и на Хутор сбегает! Вот только говорить-то как? Давайте, мол, керосин, и всё? Или как-то умеючи, что ли?..

Васенка улыбнулась.

— Умеючи, Нюра. Кто от доброго сердца да понимания свой последний припас отдаёт, тому низкий поклон. Ну, а кто про совесть забыл, на того и речей не трать! К тем сама потом схожу. В глаза погляжу.

6

К вечеру Васёнка оказалась за Нёмдой, в бывшем лесхозовском, теперь леспромхозовском посёлке, всё с той же своей неотложной заботой. Нюра с девчонками, к её радости, наносили с полбочки керосина. Женя, нагрузившись двумя ведёрными бидонами, уже ушла в МТС перегонять трактор к полю. А Васёнка, в уме прикидывая невспаханные гектары, всё не могла успокоиться — по запасу никак не выходило тех литров, что были надобны.

В бараках повидала семигорцев, которые отбывали трудовую повинность на зимних лесозаготовках, теперь торопились довершить сплав, чтобы успеть вернуться к земле; многого они не насулили, да и не могли при всём желании: «Вот придём, в бороны впряжёмся. А керосину — вон разве из лампы слить...»

Пораздумав, Васёнка постучалась в дом Поляниных. Елена Васильевна вечеряла одна и выказала ей такую радость, что Васёнка даже в нынешнем своём почётном положении застеснялась корыстного своего прихода.

Елена Васильевна на керосинке разогрела чайник, достала с самодельной полки, прибитой над узкой железной кроватью, наверное, рукой самого Ивана Петровича, весь припас сладостей. Припас уместился на блюдечке — четыре розовых карамельки, два куса сахара, три квадратных, фабричной выпечки печенины.

— Видите, что у нас есть? Паёк Ивана Петровича выручает! — сказала она с заметной гордостью к тому богатству, что оказалось на столе. — Иван Петрович на сплаве. А я вот с бухгалтерией. Нужда появилась, пришлось и бухгалтерию освоить. Вы пейте, Васёнушка! Леонид Иванович пишет ли?

Васёнка от слов Елены Васильевны притемнилась лицом, взгляд её скользнул в сторону, остановился на окне, ещё освещённом слабым закатным светом, в горестной раздумчивости, с видимой неохотой она ответила:

— С дороги весть подал. А больше ничего. Ни письма, ни похоронки.

Елена Васильевна чутко уловила в голосе и в словах Васёнки что-то похожее на отчужденность к Леониду Ивановичу; свои давнишние мысли о талантливости Васёнки, поистине непостижимой её красоте и доброте она помнила и теперь, слушая её, думала, удовлетворённая своей проницательностью: «Всё-таки я была права: талант, одухотворённость и бездуховность грубой силы несовместимы в жизни!»

— Не надобно о том, Елена Васильевна, — попросила Васёнка. — Лучше про Алёшу скажите...

Про Алёшу Елена Васильевна могла говорить бесконечно; даже по ночам она переговаривалась с Иваном Петровичем, то растравливая, то успокаивая себя полуночным тихим разговором. От Алёши сейчас шли успокаивающие письма. Часть их недавно вывели из боёв, стояли они на реке Угре, под известной Елене Васильевне Знаменкой. И то, что Алёше выпала судьба воевать именно под Знаменкой, откуда пошёл весь её род — и отец и мама, — особенно её волновало. В войну, в лихие годы, люди не могли без веры, своя вера была и у Елены Васильевны. И в том, что фронтовые дороги привели Алёшу на землю её предков, мнилось ей знамение в благополучном для Алёши исходе войны. Перед Васёнкой Елена Васильевна не таилась, говорила про всё, что думала, что чувствовала. Васёнка слушала её, соперевживала её волнениям, надеждам, а глаза её туманились от своей вдовьей одинокости, которую почему-то особенно чувствовала она ныне, по бурной весне. Как-то неожиданно подумалось, что все заботы её о земле, бабах, их детишках, об эвакуированных ленинградцах, которых доньше расселяли в деревнях по обеим сторонам Волги, хлопоты вот об этих литрах горючего, которые привели её и в дом к Елене Васильевне, что всё её заботное житейское поле, которое она так старается охватить глазом и своей душевной силой,— есть ли это то самое важное, что надобно ей самой?!

Вот близкая её сердцу Елена Васильевна. Хоть и в леспромхозовском доме, думала Васёнка, а угол всё же свой, прочный. И работа при ней. И заботы велики ли? Ивана Петровича встретить да сыночка с войны дожидаться. А у меня? Ни дома, ни хозяина. Лариска с утра без глаза. Будто сирота! И заботы, заботы, свои и чужие, — всё на мне! Будто некому и печься о колхозной жизни! Столь годов прожила, и всё не своей волей. Всё в услужении, всё в покорности: перед батей, перед Капкой, перед Леонидом Ивановичем. Теперь перед всем селом! Что я за человечинка такая, которой тащить за собой и борону, и чужие судьбы?! Самой-то много ли надо? Обеим с Лариской ломоть хлеба на день, кружку молока да пяток картошин. Помогала бы по надобности, как все другие. Время бы сыскала, чтоб с Лариской да Рыжиком походить у Туношны, поглядеть на синих стрекоз, живой водой налюбоваться... И с Дорой до душевной надрывности не объяснялась бы. И этот, будь он неладен, керосин сердце б не мотал! Слила бы в бочку тот жбанчик последний и ждала бы смирёхонько, пока добрая Женья поле вспашет...

Никогда прежде такие мысли не являлись Васёнке. Что ни случилось, всё принимала, всё благословляла она в своей доброте. И хотя душа порой рвалась от боли, от чужого зла, — всё было ей ладно уже тем, что было. А теперь вдруг что-то сорвалось в душе. Устала, видать, устала в не своих заботах! Что-то, незнакомое прежде, явилось в её мысли, и Васёнка ужаснулась тому, что надумалось ей под доверчивую речь Елены Васильевны. Ужаснулась сама себе, тому, что может оказаться другой — недоброй, и в зависти.

Ладонями Васёнка провела по заолодевшему от дурных мыслей лицу, подобрала упавшие к щекам прядки волос, вздохнула трудно. И вышло так, что трудным своим вздохом она как бы посочувствовала ожиданиям и надеждам Елены Васильевны. По крайней мере, Елена Васильевна так поняла её трудный вздох и, принимая её сочувствие, в неушедшей ещё разволнованности чувств старательно разглаживая перед собой старенькую, пообтертую на углах клеёнку, тоже со вздохом проговорила:

— Да, вот так: даём жизнь детям, чтобы потом всю жизнь тревожиться за них! И Лариска ваша растёт. Сколько ещё с ней беспокойств впереди!

Васёнка будто ухватила за память о Лариске, с ожившей тревожностью подумала: «Ведь с утра одни с Рыжиком в доме! Ни Жени, ни меня!». Поднялась, стоя у стола, молча застегивала пуговицы на куртке. В прозрачных весенних сумерках, проникавших в комнату, светлело её лицо, кисти сдержаннодвигающихся рук.

Елена Васильевна даже растерялась от торопливости Васёнки, прижала к груди руки, испуганно спросила:

— Уж не обидела ли я вас, Васёна?!

— Что вы, Елена Васильевна, какие обиды! Забот много. А ведь я к вам по делу. Керосин собираю для трактора. Пахать надо, а без горючего напашешь ли? — Васёнка говорила, как всегда, мягко, но внутренне напряглась, ждала, что ответит Елена Васильевна. Она не сомневалась в добром её расположении к себе и вообще в доброте её. Но одно дело — доброта от избытка, совсем другое — когда у тебя горсть сахара на месяц и последняя бутылка для керосинки!

Елена Васильевна колебалась какую-то минуту.

— Хорошо, Васёна. Я сейчас отдам, что у нас есть. Только не торопитесь, пожалуйста! Сейчас свет дадут, мы и разберёмся.

И действительно, в лампочке над столом загорелась нить, стала накаляться, наконец загорелось неярко, но комната осветилась.

«Доживём ли мы до такой благодати?» — с ревнивым чувством подумала Васёнка; забота Ивана Петровича недолго радовала семигорцев: на второй день войны село отключили от электричества. Но лампочки в домах никто не снимал, все верили: война кончится, свет вернется.

Елена Васильевна, задетая самостоятельностью и неожиданной твёрдостью Васёнки, вгляделась в её лицо с новым, тревожащим её чувством. В мягкости, покорности той Васёнки, которую она знала, она всегда чувствовала что-то близкое ей самой; было даже как-то легче утешаться мыслью, что не одна она, но и Васёнка, одухотворённая невесть откуда взявшимся талантом доброты, тоже жертва собственной покорности. И вдруг, вот сейчас, она почувствовала в Васёнке нечто, не свойственное ей прежде. И в милом лице её, в котором всегда читалась застенчивая готовность услужить, в лице, сейчас хорошо освещённом, увидела она иное, какую-то, обращённую не к ней, раздумчивость взгляда усталых глаз и совсем уже обидную неуступчивость в красивом складе потвердевших губ. Всё это, неизвестное прежде, Елена Васильевна увидела вдруг, и горькое чувство человека, остающегося на дороге в одиночестве, легло ей на сердце. Горечи своей она не выдала, заторопилась, прошла в кухонку, из-под стола достала двухлитровый жбанчик с крышкой, поставила на плиту.

— Вот, Васёна, всё, что у нас есть. Почти полный. Иван Петрович, сами знаете, больше положенного ни капли не возьмёт. Ну да ничего, чай да картошку можно на плите готовить! — Она сказала это с какой-то даже вызывающей весёлостью, как будто дополнительные трудности военного быта её уже не пугали, — ей не хотелось уступать в причастности к общим заботам. И когда Васёнка, тронутая её старанием, сказала с прежней мягкостью: «Сердце не велит брать, да надобность заставляет...», Елена Васильевна на какой-то миг полностью удовлетворилась её словами.

Васёнка собралась уходить и жбанчик уже держала в руке, явился Иван Петрович. Боком перешагнул высокий порог, стащил фуражку с потной головы, сквозь очки, будто не узнавая, уставился на Васёнку. Сейчас совсем он не был похож на городского человека, на известного всем «директора Ивана», как с уважением величали его между собой семигорцы. В лоснящихся грязью сапогах, в брезентовом плаще, на распахнутых полах которого, и на рукавах тоже, густо лепилась грязь, с небритостью по подбородку и низу щёк, с колюче торчащими потными волосами, он был похож скорее на оплётнутого волной шкипера с проходящей баржи, чем на директора городского обличья, каким привыкла видеть его Васёнка.

Елена Васильевна, глядя на мужа, всплеснула руками:

— Бог мой! Не иначе — глину месил!

— Хуже, матушка: Нёмду догонял! Вода уходит, плоты на берегу. Часть вывели, больше половины на мели.

Иван Петрович был возбуждён, как всякий человек после азартной работы. Васёнке, имевшей с ним дело, он был понятнее и даже как-то ближе в этой своей рабочей робе. Она с сочувствием глядела, как, топчась в углу, он скидывал с плеч тяжёлый плащ, стаскивал с ног сапоги, не стесняясь её присутствия. В своём возбуждении он забыл поздороваться, кинул мокрые портянки на сапоги и тут же громко, как будто был ещё там, на берегу Нёмды, заговорил:

— Вот вы-то мне позарез нужны, Васёна Гавриловна! Понимаете, какое дело. Если завтра не столкнём сплотки — на Волгу лес не выведем... Студентов институт подкинул, да надежда невелика — девчата не парни, ни опыта, ни силы. Мне бы на денёк вашего Фёдора Носонова да ещё бы двух старичков, что в прошлом на сплаве промышляли. Как, Васёна Гавриловна?.. — Он остановился перед ней, нетерпеливый, с колюче торчащими, намокшими от пота волосами, смешной своим беспорядком в одежде и в то же время завлекающий азартом дела. Васёнка понимала его, но, даже желая ему добра, не могла уйти от своих забот, с мягкой укоризной сказала:

— У нас же, Иван Петрович, все остальные мужики на севе!

— Знаю, — Иван Петрович прислонился к подоконнику, остывая от возбуждения, в задумчивости потёр пальцами лоб. — Вся беда в том, что нет у нас сил задержать Нёмду! Упустим день — потеряем год.

— Но, Иван Петрович, у нас весенний-то день тоже год кормит... — мягкостью голоса Васёнка как бы старалась убедить Ивана Петровича в том, что его и её дело — оба важны, что поделить между ними людей никак невозможно.

Иван Петрович нахмурился, пристукнул рукой по подоконнику, он, видно, не ожидал, что всегда уступчивый семигорский председатель вдруг откажет ему, да ещё в крайней необходимости. Он хмуро смотрел на Васёнку, думал, понимает ли она, что завтра райком заставит её отдать ему всех оставшихся мужиков, и даже подростков, заставит, потому что приготовленный лес не может остаться на берегу, — лес нужен заводам, железным дорогам, нужен войне. Её заставят отдать. «Но зачем же, — думал Иван Петрович, весь сосредоточиваясь на своей необходимости и оттого раздражаясь, — зачем вмешивать власть там, где нужно простое понимание?»

Васёнка, будто не чувствуя его раздражения, стояла перед ним, заботливо удерживая в руке жбанчик, глядела ему в глаза с доброй улыбкой. Ни тени упрямства или какого-то там торжества не видел в её лице Иван Петрович. Только чистый выпуклый её лоб был напряжён важной для неё мыслью.

— Иван Петрович, — тихо сказала Васёнка. — Вы знаете, что наши бабы на себе потащили вчера бороны?! Лошадьми, что остались, пахать не успеваем. А паханое-то разборонить надо, засеять, потом опять заборонить. Половину яровых сеем ныне вручную. Разве стариков с полей сымешь?.. Лес нужен. А хлеб?!

Елена Васильевна, наблюдавшая разговор, снова почувствовала в обычно стеснительной Васёнке неизвестную прежде самостоятельность ума, какую-то особенную, смягченную её добротой твёрдость и уже не с ревностью, но с молчаливым сочувствием женщины к женщине подумала, что Ивану Петровичу, наверное, придётся уступить.

Иван Петрович пытался скрыть раздражение, сухо покашлял в кулак, бросил на Васёнку быстрый, недобрый взгляд, отошёл, стянул с печи валенки.

— Так, помочь, значит, не можете, — сказал, натягивая на ногу тесноватый валенок; хотел он того или не хотел, но в голосе его прозвучала скорее угроза, чем обида. Васёнка улыбнулась спокойной улыбкой человека, уверенного в своей правоте, подождала, пока Иван Петрович справится с валенком, тихо сказала:

— Можем. И понять и помочь можем. Только хорошо ли, Иван Петрович, видеть свою беду и не видеть чужую?.. Вот о чём думается: у вас день в запасе, нам для управы надобно три. Помочь мы завтра вам соберём. А на другой день с нашими мужичками вы своих лошадей подошлёте. Вывозка-то закончена, не все лошади у вас при деле? Так-то оба дела зараз решим. Вы бы не сплеховали, и мы бы с севом управились...

Иван Петрович, видимо, уже не ожидал ни понимания, ни участия; в растерянности кинул руку к лицу, сильно потёр пальцами лоб, при этом старательно прикрыл ладонью очки, чтобы женщины не заметили его потеплевших глаз. «Нервишки, нервишки», — думал он и всё тёр лоб и заминал волосы, как будто досаждало ему невесть откуда взявшееся комарьё.

— Что ж, это выход. Спасибо на доброй мысли, Васёна Гавриловна, — сказал он с обычной своей хмурой деловитостью, и только Елена Васильевна услышала, как на последних словах голос его будто размылся прорвавшейся против воли теплотой.

«Вот тебе и Васёнушка! — думала Елена Васильевна с тайной гордостью. — Ивана Петровича преклонила!»

Согретый добрым участием и уютным теплом, Иван Петрович глазами поискал чайник. Елена Васильевна поняла его взгляд, привычным движением обнажила фитили, зажгла керосинку, из ведра налила в чайник воды. Васёнка проследила за движением её рук, представила, как завтра Иван Петрович придёт в такой же усталости, такой же озябший и ему придётся ещё принести дров, затопить плиту и, сидя на корточках перед дверцей, терпеливо ожидать чашки горячего чая, а утром понадобится опять растапливать плиту, и делать это он будет уже в торопливости, потому что ждать его будут дела и люди, — всё это до точности представила Васёнка и, поколебавшись, поставила жбанчик с керосином к печке.

— Не могу я, Елена Васильевна. Кто и обойдется, а вам в надобность, — сказал она и, готовая попрощаться, направилась к двери. Елена Васильевна с несвойственной ей живостью преградила путь.

— Нельзя так обижать нас, Васёна! — сказала она с твёрдостью, которая редко проявлялась в ней в обычных её отношениях с людьми. — Мы тоже едим хлеб и должны помочь вам. Хоть в малом...

Она взяла жбанчик, подала Васёнке. Иван Петрович смотрел на них, не понимая.

— О чём спор?! — поинтересовался он. Елена Васильевна, не изменяя оскорблённого выражения лица, объяснила.

Иван Петрович нахмурился, прошёлся по кухонке от окна до плиты. Этого малого расстояния хватило ему, чтобы обдумать вопрос и решить.

— Ох, женщины, — сказал он со вздохом. — Жбанчики, бутылочки... Трактор — не лампа на столе! — Он говорил сердито, он снова был в своей деловой стихии, и затея Васёнки виделась ему игрой, ребячеством. — Вот что, Васёна Гавриловна, утром пришлёте подводу и отношение: колхоз просит отпустить на пахоту и так далее. От зимних запасов осталась у нас бочка керосина. Думаю, люди сумеют правильно взвесить вашу необходимость и наше временное неудобство. Не зима теперь. Словом, утром жду подводу... Разумеется, — он энергично взмахнул рукой, как будто отсекая сказанное прежде, — эта бочка горячего не имеет отношения к нашей договорённости по сплаву: четыре лошади мы вам выделим.

Васёнка, по своей ещё девичьей привычке склонив к плечу голову, смотрела на Ивана Петровича растроганно, Елене Васильевне показалось, даже любовно.

Стараясь разрушить это неприятное ей благодарное молчание, она тронула Васёнкины пальцы, вложила в них деревянную ручку жбанчика. Васёнка перевела на неё свой мягкий взгляд.

— Нет. Елена Васильевна, теперь-то уж точно не возьму. Ваш пай вон какой!

— Не возьмёте — навек обижусь! — рассердилась Елена Васильевна, и Иван Петрович с решительностью её поддержал:

— Не путайте, Васёна Гавриловна! Леспромхоз вносит в пахоту свой пай, мы — свой.

Когда Васёнка ушла, всё-таки забрав с собой жбанчик, Иван Петрович постоял у окна в задумчивости, сказал не то Елене Васильевне, не то себе:

— А не проста эта Васёнушка. Не проста!

Почему-то вдруг вспомнился ему Иван Митрофанович Обухов, по-отцовски опекавший Васёнку до последнего часа своей так неожиданно закончившейся жизни, снова подумал о Васёнке и, не найдя других слов для выражения своих мыслей о ней, пристукнул пальцами по задребезжавшему стеклу.

7

— Ну, Васка, погодка не иначе тобой заказана! Сегодня отпашу последний клин, и можешь рапорт самому Сталину писать. — Женя облизала пообхватанную зубами деревянную ложку, бросила в пустую сковородку, важно поднялась, встала у печи, заправляя кофту в залоснённые сатиновые шаровары. Васёнка, убирая со стола, сдерживала улыбку, старалась на Женю не глядеть, чтобы нечаянным взглядом не порушить её важной стати.

Второй день Женю не узнать: будто вернулась в довоенную пору. Когда она появилась у села на пыхающем дымом, рыжем от ржавчины, но родном своём колёснике, да ещё в нарочито отстиранной с вечера красной косынке, когда трактор вкатился на поле и плуг врезался в залежалую, непокорную рукам землю, столько торжества силы было в её лице, что не только ребята, бабы не выдержали — завопили, ринулись вслед за трактором, как когда-то за первым, ещё в тридцатом. Красивой гляделась Женя в этой своей рабочей жадности, весь день красивой, даже тогда, когда с закатом солнца пришла в дом серая от пыли, насевшей от перевороченной земли, не в силах разогнуть переутомленную спину.

И сейчас, на утреннем свете, она, как и вчера, была до завидности приглядна нетерпеливым ожиданием важного дела. И в том, как надела она рабочую куртку и с медлительным удовольствием повязала голову кумачовой косынкой, было тоже предвкушение радости и какая-то особая, не бабья, рабочая красота. Не только Васёнка, но и Лариска, свесив свои тоненькие ножки, водя пальчиком по скамье, смотрела на Женю зачаровано, и Рыжик, что-то уж очень медленно отходивший от недетской сиротской угрюмости, тоже смотрел на свою названную мать с тихим восхищением, как будто только теперь увидал, какая она у него необычная и сильная!

— Ну, загляделись — не икона, — вдруг засмушалась Женя, пригнулась к окну, ещё раз убедилась, что трактор стоит у палисада, подмигнула Васёнке, взглядом обласкала Рыжика и, уже не в силах сдержать нетерпение, выбежала на волю.

К полю, на котором Женя работала, Васёнка пришла уже по низкому солнышку, после дневных хлопот. Женя добирала Заозёрский клин, за плугом, ныряя под пыльное облако, тащила тяжёлая железная борона; на остатней, узкой, ещё не запаханной полосе поля грудились бабы, белея косынками, а кое-кто и кофтами и босыми ногами, благо — снизошла на землю настоящая летняя теплынь. Задиристый стукоток трактора слышала Васёнка ещё с просёлочной дороги, и так ясно прослушивался он в тёплом за вечеревшем воздухе, что она даже приостановилась. Война стянула все моторы туда, где Красная Армия билась с врагом; поля давно попритихли; даже в страду они были тихи, носился над ними лишь птичий посвист да бабьи крики. С этой пустой тишиной как-то свыклись и ухо и душа, и ворвавшееся теперь в устоявшуюся тишину живое тракторное говоренье было как радость возвращённого довоенного дня. Даже чем-то большим был сейчас для Васёнки этот отчётливый голос работающего трактора: был и памятью, и ожиданием, теперь уже верным ожиданием другой поры, когда на семигорскую землю вернутся сила и надёжность, отозванные в другие края войной.

Васёнка шла к бабам, тоже, видно, обрадевшим от моторного гуда и ожидавшим, когда Женя допашет последнюю полосу. Все были в возбуждении, и, когда что-то звякнуло утробным звуком, и натужный чёткий стукоток вдруг оборвался, и трактор осел в землю большими железными колёсами, бабы без команды, дружно, ринулись на пашню. Плохо понимая, почему Женя остановилась, они, как муравьи, с трёх сторон облепили трактор, на все голоса крича:

— Давай, Женя, жми! Помогнём!..

В старании они тужились, пока Женя не встала над ними, не закричала сиплым, давно сорванным голосом:

— Да что вы, бабы, очумели?! Этакую силу сдвинуть!.. — Завидев подходившую Васёнку, сорвала с головы косынку, хлестанула запальчиво по колену, завинилась криком: — Всё, Васка! Напрочь встал мой Сивка — нутро у него порвало!

В наступившей тишине Васёнка слышала, как булькает в горячем моторе вода. Потом услышала жаворонка в чистом закатном небе, увидела испуганные глаза баб. И, зная, что пугаться уже нечего, сказала, успокаивая:

— Всё, бабоньки. Ты, Женя, сделала больше, чем нам мечталось. Слезай-ка к нам, боевая наша подружка, поклонюсь тебе!

Женя вытирала косынкой лицо, слушала необычные слова, недоверчиво косилась на Васёнку, спросила для верности:

— А трактор? Не осилим с поля стащить.

— А надобно ли? Здесь, в борозде и побудет. И борону с ляжками рядом поставим. Мужики придут, пусть видют, каково нам без них-то было!

Так сказала Васёнка, а про себя — то ли от жаворонка, слышного в небе, то ли от счастливой веры, ныне вошедшей в её сердце, не пугаясь греха, подумала: «Не кому другому — тебе Макарушка, придётся убирать эту память. А прежде нагладишься да ещё и повинисься за то, что так долго по чужим краям ходил!»



Глава седьмая

К ФРОНТУ

1

Придерживаясь за прохладный поручень, Алёша слегка присел, выискивал глазами удобное место, прыгнул с высокой, закиданной окурками подножки вагона. Свежая, ещё рыхлая, насыпь осела под ногами, он съехал вместе с шуршащей галькой вниз по откосу, но удержался, не упал; стряхнул с кирзовых сапог камушки, потопал, сбивая с них песок и пыль. Он был доволен, что спрыгнул ловко и красиво и хорошо удержался на крутом откосе. И не мог уйти от ощущения, что с этой минуты, когда он вышел из вагона и вдохнул вот этот необычный, пахнувший войной воздух, на нём остановились чьи-то глаза. Это не были глаза какого-то одного человека: ни генерала, ни солдата, ни той вон красивой девушки в гимнастёрке и узкой юбке, не совсем ловко спрыгнувшей с подножки на землю. Нет, глаза эти были знакомы ему и прежде. Они присматривали за ним, когда он ходил ещё в школу и уютно жил за спиной отца и матери; присматривали, правда, не всегда, и не за всеми его делами и мыслями, и не так чтобы очень уж строго. Но всё-таки присматривали, и заставляли думать, и удерживали от недостойных поступков. Знакомые эти глаза смотрели на него и теперь, но не так, как раньше. Теперь они следили за каждым его движением, следили внимательно, непрощающе, и Алёша чувствовал их пристальный взгляд на себе. Он знал, что глаза эти видели, как ступил он на землю фронта, стараясь выглядеть красивым, и ловким, и чуточку небрежным, и осудили его за то, что он старался выглядеть, а не быть. Он это понял и смутился. И, уже не красуясь, просто следуя выработанной в училище привычке, поправил на ещё не отросших волосах пилотку, загнал складки гимнастёрки под ремень; однако лямки солдатского мешка надеть на плечи постеснялся, прихватил, как носят чемодан, и пошёл к остаткам вокзала, куда двигалась от стареньких пригородных вагонов короткого фронтового поезда толпа военных людей.

Вдоль насыпи, навстречу им, шёл человек в чёрной куртке железнодорожника, негромко выкрикивал, видно, своё привычное: «Вылезай!.. Все, все вылезай! Пути дальше нет!..»

Алёша, отделяясь от толпы, прошёл дальше беспокойно пускающего пары паровоза. Ожидаящий взгляд его словно наткнулся на сдвинутую вбок насыпь, вздыбленный кверху рельс, с которого чёрным фонарём свисал обломок шпалы, на разбросанные бомбами бревенчатые клетки моста. Густой, уже осевший в речную впадину дым подбирал под себя обвалившиеся берега; из впадины наносило незнакомым, настораживающим запахом, и Алёша непонятно возбудился и видом разбитого моста, и незнакомо пахнущим из оврага дымом. Взгляд его охватил скелеты опрокинутых под насыпь, обугленных вагонов, заваленную битым кирпичом платформу, полустены без крыш, на которых синяя штукатурка гляделась разбитыми зеркалами, трубы обваленных печей поодаль, за привокзальной площадью, среди искалеченных деревьев, и каждой своей клеточкой, каждой пульсирующей жилкой ощутил жестокую силу, которая совсем недавно, перед тем как вступил он на эту землю, гуляла здесь. И наперекор тому, что видел, что ощущал в опасной близости этой силы, подумал со странным для такой минуты облегчением: «Ну вот, наконец-то я на фронте!..»

Старшой, с которым Алёша ехал из резерва Западного фронта, разыскал его среди поредевшей толпы военных, сказал жёлчно:

— До города теперь топать! Без этой самой военной власти ни хрена тут не найдёшь...

Алёша, как будто не чувствуя досады старшого, счёл нужным сообщить:

— Видели? Мост разбомбили!

Старшой как-то странно посмотрел, задавливая в себя обидное для Алёши слово, потёр ладонью длинную свою шею, сказал миролюбиво:

— Пошли... — Он возвращался на фронт из госпиталя, и было ему не до Алёшиных чувств.

Перед небольшим, почти безлюдным городком с каменными, деревянными, в большинстве порушенными домиками пересекла им путь текущая внизу широкого оврага по россыпям гальки быстрая речушка. Старшой, спускаясь по тропке в овраг, обронил:

— Вазуза... — и, берясь за шаткие перильца узкого, временного мосточка, равнодушно, как показалось Алёше, кивнул направо: — А там — Волга...

Алёша будто споткнулся, загородил собой проход на мостик, глядя то на старшого, то в конец оврага, куда стекала речушка, волнуясь и не веря, переспрашивал:

— Не может быть! Откуда! Это правда?.. Волга и — здесь, на фронте?

Старшой шумно продул свои широкие ноздри, опять, как на вокзале, крепко потёр когда-то загорелую, теперь побледневшую от бессолнечной госпитальной жизни шею, промычал что-то, будто от зубной боли.

— Вот что, — сказал он измученно. — Покантуйся здесь часок. Сам схожу, узнаю...

Осчастливленный подаренным ему часом, Алёша накинул на плечо ляжки пустого солдатского мешка, побежал вдоль речушки к желтеющему песком бугру, над которым белыми всплесками взмывали и падали чайки. С бугра увидел сильную зеленовато-мутную воду, уходящую в тёмную сжатость береговых лесов, и, уже зная, что это — Волга, впрыгнул на широкий валун, у крутого лба которого урчали перевитые струи воды, сел, взглядом впился в даль уходящей реки, как будто ждал, что раздвинутся сейчас берега и увидит он отсюда, с прифронтной земли, родную вольную ширь той, своей, привычной ему Волги. Вода омывала гранитный валун, растягивала, колыхала тёмно-зелёные волосы лепившихся к камню водорослей, и сознание того, что та самая вода, в холодных струях которой он держал сейчас свои ладони, пройдет неминуемо в какой-то день и час под крутой горой на виду Семигорья, волновало, озабочивало ещё неясной ему возможностью.

Загоревшись этой возможностью, он перепрыгнул обратно на берег, пошёл быстро вдоль воды в нетерпеливой надежде найти необходимую ему вещь. И — бывает же так! — наткнулся в ручье, вытекающем из ближнего распадка, на замытую в песок бутылку. Увидел косо торчащее тёмное горлышко и едва поверил ниспосланной ему удаче, когда откопал и вытащил из глубины сырого песка совершенно сохранившуюся бутылку. Из подходящего сучка смастерив и заскоблив ножичком плотную пробку, он вырвал лист из заветного блокнотика, маленьким карандашиком, которым запасся ещё в училище, нацелился в бумагу. Подумал: но — кому? Кому пошлёт он из тысячевёрстной дали свой невероятный привет? Отцу, маме? Но разве дойдет до них, озабоченных буднями и делами, нежданная эта бутылка?! Лучше, конечно, Ниночке. Да, Ниночке. Пусть узнает, что и на фронте она с ним!.. Он прочертил первую букву и тут же ясно осознал, что бутылка в руки Ниночке не попадет. И не потому, что такая его записка была бы ей неприятна, — потому, что Ниночка, увидев плывущую мимо, зовущую к себе высокой деревянной пробкой бутылку, сочтёт неприличным вынуть её из реки, неприличным, даже если бутылка будет у самых её ног. Он подумал так и, зная, что подумал верно, в огорчении хотел смять листок. И вспомнил о Зойке. Вот уж кто не пропустит романтическую бутылку! Вот кто, едва завидев плывущее необычное послание, бросится в Волгу хоть в непогодь!..

Тут же, уже не раздумывая, Алёша написал: «Зоинька! Шлю привет тебе командирский с фронта. Скоро начнутся бои. Будем биться до победы. Поклоны маме, отцу, Васёнке. Алёшка»

Как можно плотнее он закупорил бутылку, уже отвёл руку, чтобы бросить подальше, и вдруг тень легла на берег и воду, блеск солнца потускнел на стекле. Он задержал руку, оглянулся: на крутизне склона стояла девушка, та самая красивая, аккуратная девушка в командирской портупее, которая неловко спрыгнула с поезда вслед за ним и которой он хотел и не посмел помочь.

— Бутылки бросают от отчаяния, — тихо сказала девушка; её внимательные глаза на странно неподвижном лице не скрывали усмешки, и Алёша смутился, какое-то время держал бутылку, как бы взвешивая её на руке, потом размахнулся и всё-таки бросил далеко в текучую воду, как, бывало, бросал на учениях гранату.

— Бутылки бросают не только от отчаяния. Бросают их ещё и с надеждой! — ответил он наперекор своему смущению.

— Если с надеждой — это хорошо, — так же тихо сказала девушка. — Вот когда уже нет надежды... — Она медленно пошла вдоль берега; от ручья повернула обратно, снова пошла к ручью. Похоже, она, как и Алёша, кого-то ждала.

Когда появился старшой, девушка подошла.

— Если не ошибаюсь, вы — медики? — сказала она, выпуклые спокойные её глаза смотрели на старшого устало и чуть насмешливо. Была она в звании старшины, но достоинство, с которым она держалась, шло не от звания, а от какой-то внутренней её силы, чему Алёша всегда и безнадежно завидовал. Командирская форма, гвардейский значок над выпуклостью груди, пилотка, со вкусом пристроенная в густых тёмных волосах, только подчёркивали красивое достоинство девушки. И Алёша тотчас пожалел, что военная судьба сделала его медиком. Но старшой с неожиданной улыбкой на хмуром лице подтвердил: «Точно, медики!..» — развёл плечи, одёрнул гимнастёрку, стал как будто ещё выше.

— Если вам нужен штаб двадцатой, то нам по пути, — сказала девушка без обычной в таких случаях радости. Её матово-бледное, без тени волнения, лицо не менялось в разговоре, только в заметно выпуклых, влажно поблёскивающих глазах, которыми она спокойно смотрела то на Алёшу, то на старшого, было какое-то печальное, как будто угасающее, тепло. Восхищённый взгляд Алёши она, видимо, заметила и первый раз улыбнулась странной короткой улыбкой, которая тронула лишь правую половину её лица.

— Ну что же, надо идти! — сказала девушка; она как будто почувствовала, что теперь к ней перешло право руководить стоящими перед ней такими разными и такими одинаковыми мужчинами в форме военных командиров, и первая начала подниматься в гору.

Шли они пустынной просёлочной дорогой, через поля и лёгкие, ещё зелёные, пятнистые от солнца рощи. Старшой разговорился, шёл впереди, рядом с девушкой, энергично размахивая рукой; потёртая кирзовая сумка, низко висевшая на его боку, тяжело постукивала по бедру; в увлечении он не замечал этой походной неловкости.

Земля, по которой они шли, была полосой недавнего наступления, когда после зимней победы под Москвой войска Центрального фронта, собравшись с силой, ещё даванули немца, отогнали под самый Ржев и здесь пока остановились, довольствуясь одержанной победой, приводя себя в порядок, собираясь с новой силой. Если бы не тяжёлые дела на юге, под Сталинградом, эта победа была бы совсем хороша, потому что это была первая летняя победа, которая о многом говорила всем, и прежде всего о будущих возможных победах и зимой и летом. Война в каком-то своём мгновении лишь перекатилась через этот, заросший травой просёлок, не коснувшись ни лесов вокруг, ни полей. Впервые после строгих стен училища и цепких, сковывающих взглядов командиров Алёша чувствовал себя свободным, как в недавней юности. Из юности, казалось, выходила и сама дорога и шла, как в Семигорье, под косогор, полями, туда, вниз, к нёмденским перелескам. И шум листвы над дорогой, сухой шелест выстоявшейся ржи, и говор скрытого в елошнике ручья, бегущего обочью дороги, и запахи нагретой солнцем придорожной незатоптанной травы — всё повторялось, всё было, как помнилось, и Алёша всей своей памятью прожитой жизни призывал сюда, на смоленский просёлок, незаботную, улыбчивую свою юность. Воля освежила его, он едва ли не трепетал, как лист, промытый летним дождём, и радовался, и, не умея выразить то, что было в нём, тихо напевал слышанную в Семигорье песенку:

По камушку, по камушку ручей в лесу бежал...

Он снова был свободен, он мог остановиться, шагнуть вправо, влево, пойти назад и ещё раз полюбоваться той берёзой, с раздвоенным стволом, которая вон там, за ручьём, отшельницей стояла среди поля, не приминая хлебов, стояла с прядью ранней желтизны и отобранным у солнца светом белого ствола. Он мог испить чистой воды из ручья, уронить с куста на ладонь лиловую ягоду-малину, прижать послушным языком к зубам и раздавить, чувствуя, как бежит от скул на раздражённый сладостью язык торопливая слюна. Он мог бы до завтра, до послезавтра пробывать вон в той деревне, целые крыши которой виднелись за полями, стеснительно и душевно поговорить с невоенными людьми, поуспокоить их своей верой в скорую победу.

И вообще, он мог бы многое позволить себе в этом ниспосланном приволье, если бы не длинный, суховатый старшой, который держал у себя карту и знал, куда и зачем им следует идти. Старшой, всё время маячивший впереди, рядом с девушкой, не то чтобы портил, но как-то притемнял солнечную радость дня, и Алёша должен был всё время видеть его высокую, покачивающуюся фигуру, чтоб не затеряться в пути, и эта его зависимость от совершенно незнакомого человека вызывала временами досаду. Он думал, что, если бы не этот, подвернувшийся в резерве фронта старший военфельдшер, с которым на пару дней связала их судьба, он мог бы идти по этим лесам в вольном одиночестве, может быть, вот так же, рядом с красивой неулыбчивой девушкой...

Война притихла, таилась где-то там, за лесами; тишина, совсем мирная, как будто шла вместе с ним. И чувствовал себя Алёша почти счастливым. Он как будто забыл, что его судьба и судьба каждого из многих миллионов людей, составляющих Россию, была давно расписана по фронтам, по заводам, по сёлам, речным и железным дорогам, расписана и привязана к неотступным нуждам войны, к той общей необходимости, которая с первых дней лихих для страны годин была наречена словами «фронт» и «победа».

Дорога по овражку спустилась вниз, расширилась, ушла под мелкую, прозрачную, струящуюся по гальке воду; за ручьём, взбираясь на бугор, дорога снова обсыхала, светлела на солнце давно не езженными колеями. Старшой стоял в воде, по валунам переводил девушку на другой берег. Алёша прошёл ниже; там, где русло сужалось, он мог бы, хорошо разбежавшись, перепрыгнуть через него. Но ощущение вольности вернуло ему задор юности. Он приглядел тонкую, склоненную к ручью берёзу, быстро вскарабкался по стволу, как по шесту, и, цепко держась руками за вершину, бросил тело к ручью. В детстве, с мальчишками, подобные фокусы они проделывали бессчётно, и на этот раз ему всё удалось: берёза, клонясь под его тяжестью, плавно перенесла его на другой берег. Ноги почувствовали землю, он отпустил гибкую вершину и стряхнул березовую пыльцу с рук; нагнулся, чтобы почистить штаны на коленях, и тут услышал донёсшийся сквозь елошник, отгораживающий его от дороги, глуховатый голос девушки:

— Он всё ещё играет!

Алёша понял, что прыжок его видели и слова эти — про него, и притаился, мысленно оспаривая девушку и старшего, наверное, согласного с ней, подумал с обидой: «Ладно, ладно! Пока я для вас мальчишка. Посмотрим, что будет после боя!..»

Его привлек непонятный блеск в елошнике, он подошёл, в изумлении замер: на мятой плащ-палатке отсвечивала свежей латунией россыпь нестреляных винтовочных патронов. Сотни! Гора новеньких боевых патронов!

Закладывай в винтовку и — пали, пали без счёта! Железными короткими ручками вверх торчали из россыпи патронов гранаты. Все четыре угла плащ-палатки были закручены в жгуты; кто-то, завязав припасы в узел, тащил их, задыхаясь, к тем, кто был в бою, почему-то уронил здесь, у ручья. Может быть, пуля достала солдата? Может, и лежит он где-то рядом?

Алёша проглядел кусты, вышел на край поля — ни взрытой земли, ни могилы. «А может, всё было проще? — думал Алёша, возвращаясь к плащ-палатке. — Может, немцы так быстро удирали, что не было возможности их догнать, и солдат бросил свою ношу? Бросил, чтобы кто-то потом подобрал?..».

Патроны лежали перед Алёшей, они завораживали, манили, потрясали своей доступностью, он опустился на колени, подцепил в пригоршню, ощущая их холод и тяжесть, высыпал, снова запустил пальцы в колючую металлическую россыпь.

«Как меняется ценность вещей! И вообще всего! — потрясённо думал он. — Давно ли, ну, месяц назад, их роту курсантов впервые вывели на стрельбище. Каждому выдали по три вот таких боевых патрона. Три выстрела почти за год учёбы! Стреляли, конечно, по-разному. Он постарался, он ведь охотник! Две пули послал в «десятку», только последнюю из-за нетерпения чуть занизил. Двадцать девять из тридцати! Перед строем ему объявили благодарность, поручили собрать стрелянные гильзы и все оставшиеся патроны, сдать по счёту старшине. Он всё исполнил добросовестно. Но один боевой патрон почему-то оказался лишним. Он оставил его у себя, ещё не зная зачем. Завернул в промасленную бумагу и тряпочку, закопал в землю на задах училищного двора, у забора. Если бы этот боевой патрон у него нашли, он бы ничем не оправдался. Случай мог бы плохо кончиться для него. Но там, в училище, он готов был к любому испытанию ради будущего подвига на фронте. В ночи, в душной комнате, на нарастающих всхрапывание и бормотание своих усталых за день товарищей по взводу, его мысли рвались на фронт, и всё возможное и невозможное, что ждало его там, проходило живыми картинками в распалённом воображении. Чаще всего другого виделся бой, в котором все наши уже убиты, и все немцы в поле тоже убиты, и все патроны расстреляны, и он, Алёша, чёрный от земли и дыма, тяжело поднимается из окопа и вдруг видит, как поднимается в поле и встает один неубитый фриц. И, зная, что у русских все патроны расстреляны, идет к нему, держа автомат двумя руками у груди. Ноги его в кованных сапогах бьют землю, будто копыта лошади, и с каждым шагом оглушительнее устрашающий топот, всё злораднее улыбка, всё ближе чёрное дуло автомата. И тогда он, Алёша, не спуская глаз с идущего к нему врага, достает из кармана гимнастерки этот вот завёрнутый в тряпицу, сбережённый патрон...

Патрон давал Алёше силу верить в то, что последний выстрел останется за ним. Он выкопал этот свой патрон из тайника в тот день, когда начальник училища перед строем зачитал приказ о досрочном выпуске ста лучших курсантов. В кармане гимнастёрки, вместе с комсомольским билетом и удостоверением о присвоении звания, он провёз свой обласканный мыслями патрон через полстраны, постоянно ощущая у груди его успокаивающую тяжесть. Он довёз его сюда, до фронта. Он и сейчас был у него в кармане, так трудно сбережённый уральский патрон. Один-единственный, величайшая его ценность, вдруг обесцененная россыпью, целой горой точно таких же, готовых к бою патронов...

Алёша снова поднял пригоршню патронов, просыпал их сквозь пальцы, подумал, не взять ли в запас? Усмехнулся этой, теперь уже в самом деле наивной, мысли, достал из кармана свой патрон, освободил от тряпочки, хотел бросить в общую россыпь, но сердце почему-то дрогнуло, рука задержала патрон. Пальцы обласкали заостренную головку пули, вытянутое маслянисто поблескивающее латунное тело, целенький, ещё не пробитый бойком кружок медного капсюля; улыбнувшись стеснительной улыбкой, он снова завернул патрон в тряпицу, упрятал в кармане на груди.

3

До штаба засветло они не дошли. Алёша готов был идти и в темноте. Но старшего наступающие сумерки беспокоили: он поглядывал по сторонам, вроде бы незаметно, но расчётливо обходил заросшие, покрытые лёгким туманцем, подступающие к дороге овражки. Тяжёлую командирскую сумку с левого бока он перевесил на правый и, как бы случайно, выдернул ремешок застёжки из петли.

Девушка теперь шла рядом с Алёшей. Заговорить он не смел, молчала и девушка, погружённая в свои, Алёше казалось, нерадостные думы. Судя по ровному её спокойствию, её не тревожила быстро наступающая ночь, — ей как будто были безразличны и насторожённость старшего, и молчаливое, оберегающее внимание Алёши.

Старшой наконец остановился перед крытым длинным сараем.

— Будем ночевать, — сказал он с ненужной командирской категоричностью.

Влажный, потемнелый воздух охлаждал лицо, даже плечи под гимнастёркой охватывало холодком; из чёрного, без дверей, проёма призывно наносило тёплым запахом свежего сена. Алёша вошёл под крышу, густая теплота сохранённого в высушенной траве солнца как будто обволокла его, он едва удержался, чтобы тут же не повалиться в мягкую упругость пахнущих мирными деревенскими днями ворохов.

Старшой стоял у края проёма, рукой придавливая к бедру сумку, тихо приказал:

— Осмотри сарай!

И Алёша вздрогнул от холодного его голоса, не доверяющего ни теплу, ни запаху сена.

Уже с тревожностью, рукой ощупывая патрон в кармане, он вгляделся в скопившуюся под крышей черноту, по-охотничьи настороженно, с приглушённо ударяющим в грудь сердцем, обошёл вдоль стен высокие вороха. Никто не шагнул ему навстречу, никто не выстрелил; но, если бы кому-то надо было укрыться от их подозрительности, он укрылся бы под любой не различимой в темноте копной. И хотя Алёша обошёл сарай, тёплая его тишина осталась тревожной. В настороженности был и старшой. Когда девушка, молчаливая их попутчица, спокойно прошла в глубину сарая, разрыла, шурша сеном, себе место и, звякнув пряжкой расстёгнутого ремня, легла, старшой неодобрительно и в то же время с каким-то мужским сожалением поглядел в её сторону, откинул крышку сумки, осторожно вытянул тяжёлый плоский пистолет. Передернув затвор, загнал патрон в ствол, мягко щёлкнул предохранителем.

— Едва уберёг в госпитальной каптерке, — сказал он почти шёпотом, как будто оправдываясь перед Алёшей. — У нас ведь как: всегда возвращаешься на фронт с голыми руками. Тут, в ночи, столько шнырит их, фрицевских лазутчиков! Умнут и уволочут за милую душу!

Легли они напротив входа, пистолет старшой держал в руке. Алёша не спал: неожиданное откровение старшого, рука, настороженно держащая пистолет даже во сне, даже в тихой этой ночи, в этом всегда убаюкивающем запахе сена, возмутили самую глубину его души. Он лежал с открытыми глазами, повыше примостив голову, рассматривал через проём чёрную землю, чёрное, в мерцающих звёздах, небо, и душа его не была спокойна. Множество чувств и понятий как будто сдвинулось со своих удобных и, казалось, прочных мест, сошлось в противоречивом, каком-то холодном кипении: что-то опускалось вниз, на самое дно, укладывалось там до какой-то своей поры; что-то поднималось наверх и здесь притаивалось, готовое в нужную минуту увидеть, услышать, причуять, вовремя приготовиться, не упустить того опасного мгновения, когда что-то вдруг навалится из этого вот, ставшего враждебным мира.

Алёша теперь прислушивался к шуршанию мышей, сторожил звуки в тихой ночи, улавливал даже царапающий стук кем-то сбитого с дороги камня.

Подобную настороженность, бывало, он испытывал и в недалёкой юности, когда на охотах случалось ночевать одному в лугах или в лесу.

Ночная тьма и тогда казалась враждебной, так же прислушивался он и к шуму леса, и к треснувшей ветке, и крику ночных птиц. Но там, как ни настораживала тьма, он знал, что он — человек, а значит, сильнее всего, что есть живого вокруг. И если какой-то близкий шорох, какая-то причудливая опасность очень уж досаждали ему, он вылезал из шалаша или из-под стога и шёл на тревожащий опасный звук, сжимая в руках ружьё. Он давно убедил себя: чтобы не бояться, надо знать. Он узнавал и уханье филина, и словно из земли идущий смех козодоя, и стон сохатого на осеннем гону; даже близкий волчий вой уже не цепенил его волю. Свои леса он знал; даже не открывая глаз, знал, на какой сосне уселся филин, через какое болото пробирается лось, в каком камыше, опустив клюв под воду, по-бычьему ревет выпь. «Так было, — думал Алёша. — Там, у охотничьих костров, против меня, человека, стояли только звери и птицы. Здесь же, в этой ночи, в завтрашних ночах, против меня — люди, со всеми своими хитростями, со страшными придумками своего ума; здесь пули, созданные человеком, летят в человека, бомбы разрывают мосты, дома, саму землю, чтобы убить человека; здесь ночь и тьма для того, чтобы человек выследил человека. Здесь все наоборот. И если страх подойдёт ко мне и я захочу побороть страх и, как прежде, пойду на звук в ночи узнать, что шуршит в неподвижной траве, отчего скатился с дороги камень, я могу лицом к лицу сойтись с другим человеком — с человеком-врагом. И человек этот убьёт меня. Он выстрелит в меня, потому что здесь — война!»

Алёша ловил звуки ночи, в растерянности думал, что здесь — всё наоборот: здесь добро — не добро; здесь открытость — смерть; неосторожность — кровь; и ум здесь служит силе...

Осторожно, стараясь не шуметь сеном, Алёша поднял руку, вытер на лбу испарину.

Ему казалось, он один сейчас не спит, один в думах, один стережёт старшего и девушку, которая тихо лежит где-то отдельно от них, в ворохах сена. Он лежал, и слушал, и старался не пропустить тех звуков, которые открывают приближение врага.

Из непроницаемо чёрной полосы леса в неподвижное звёздное небо вдруг выметнулись багровые, жёлтые, зелёные струи, — было такое впечатление, что у далёкого, чем-то потревоженного леса дыбом встали огненные волосы.

— Что это? — в изумлении прошептал Алёша, приподнимаясь на локтях.

— Эрликоны. По нашим самолётам бьют, — тихим отчетливым голосом ответил старшой; он тоже не спал. Алёша это понял и почему-то успокоился.

Огненные струи, извиваясь, как водоросли в текучей воде, медленно ползли в чёрное небо, пропадали среди звезд. Что-то в той стороне вспыхнуло, на мгновение высветлив неровную кромку леса, через какое-то время услышался отдалённый гул.

— Спи, парень, всего ещё насмотришься!.. — с какой-то отеческой опекой сказал старшой.

И Алёша, тронутый и успокоенный его участием, закрыл глаза.

4

Штабом армии оказался лес. И начальник санитарной службы армии принял их, сидя на пне. И, хотя он был в хорошей гимнастерке, в мягких сапогах и в зелёных его петлицах, вызывая военное почтение, плотно стояли с каждой стороны по три зелёных шпалы, общий его вид: и расстёгнутый ворот, с чистым подворотничком, и седые, видно недавно вымытые, рассыпающиеся редкие волосы, и старческие морщины на плохо загорелом лбу и вокруг добродушно поглядывающих глаз, — общий его вид был совсем не военный. Если бы не форма, Алёша вполне мог бы принять его за деда где-нибудь на лесном кордоне, с лукавством рассматривающего явившихся гостей.

— Ну, что же, — взбадривая свой негромкий голос, сказал он. — Начнём, пожалуй, с девушки.

Красивая их спутница, опрятная, подобранная, успевшая поутру умыться и привести себя в полный порядок, прижала к бокам руки, щёлкнула каблуками невысоких, на её ногу пошитых сапог, сказала ровным голосом:

— Товарищ военврач первого ранга! Со мной дело особое. Прошу отпустить сначала мужчин.

Начальник санслужбы прищурился, посмотрел на девушку, пряча в долгом молчаливом взгляде недовольное удивление. По возрасту девушка годилась ему во внучки; но, кроме того, что где-то там, в мирной жизни, он, наверное, был дедом, здесь, на фронте, он был ещё и начальником. И скрытое им недовольство обратилось на старшого.

— Почему только троих прислали? Что, кадров у них нет?

— Не могу знать, товарищ военврач первого ранга! — Старшой вытянулся, и, хотя он действительно не мог знать, на лице его проступило виноватое выражение.

— Не могу знать... — ворчливо передразнил военврач. — И я вот не знаю. Мы же из боев! А медики тоже погибают.

Он оглядел Алёшу, потеплел взглядом.

— Ну, а ты, военфельдшер, прямиком из училища на фронт?

— Прямиком. Дождаться не мог, когда попаду!.. — со всей открытостью, на какую был способен, ответил Алёша — его подкупил и добрый взгляд, и голос старого человека; он забыл, что перед ним начальник, почти генерал. Свою оплошность он тут же понял: покраснел, вытянулся в покорной готовности принять выговор.

Но старому военврачу, видно, по душе пришлась бесхитростная открытость юного командира. Он не спеша достал из кармана платок, прочистил нос, Алёша увидел поверх прижатого к щеке платка глядящий из морщин весёлый глаз.

— Ну, что же, военфельдшер, пойдёшь в гвардейскую дивизию?

Алёша растерялся. Была у него привычка мыслями обгонять события. Ещё в дороге, лежа на полке в сумраке вагона, он весь изворочался, стараясь представить свою боевую жизнь на фронте. Тогда же он твёрдо определил: раз не выпало ему гордой чести быть артиллеристом или лётчиком, свою, навязанную ему, службу медика он начнёт с самых низов, с самой чёрной, самой опасной работы. И будет делать эту чёрную работу в полную силу, даже через силу, и никогда не склонит головы, не пожалуется, если не будет хватать сил. Так он решил, и вдруг — гвардия, — высота, и опять — почёт без заслуг!.. С трудом справляясь с противоречивыми чувствами, не отводя взгляда от изучающих его пристальных глаз старого военврача, он всё-таки сказал ломающимся от волнения голосом:

— Я только начинаю службу, товарищ военврач! Направьте меня в рядовую часть. Где трудно. И опасно.

— В гвардии, думаешь, не опасно?

— В гвардии почётно. Заслужить надо, товарищ военврач!

Старшего вдруг что-то сдвинуло с места, он шагнул, кинул руку к фуражке:

— Разрешите, товарищ военврач первого ранга!..

Старый человек, сидящий на пне, поднял голову, махнул рукой.

— Знаю, о чём просить хочешь! Мальчик этот прав. Ты из госпиталя, ты воевал. Гвардия тебе по груди. Ладно, пойдёшь вместо него. — Он снова посмотрел на Алёшу, теперь строго, без улыбки. — А ты, военфельдшер, пойдёшь в отдельную стрелковую бригаду. Решил, так держись своего решения. Теперь давай с тобой поговорим, милая девушка!..

Алёша понял, что судьба его решена, отшагнул в сторону. Старшой приблизился, тихо, цедя сквозь зубы, проговорил:

— Отдельная бригада — это бригада прорыва. Записал себя в смертники! Отказывайся, пока старик к тебе настроен.

Алёша сузил глаза, не глядя на старшого, сказал:

Но ведь и там — люди!..

— Дурной ты мужик! — Старшой в сердцах взмахнул кулаком, отошёл и больше не разговаривал.

Военврач просматривал бумагу, поданную девушкой; заметно было, как сходило с лица его ворчливое добродушие, с которым он принимал пополнение. Старый военврач встал, с вниманием и, как показалось Алёше, с почтением оглядел девушку.

— Пройдёте к генералу, — пригласил он.

— Разрешите? Мне одну минуту!.. — Девушка быстро подошла к Алёше, протянула руку:

— Хочу попрощаться, романтический военфельдшер! Постарайся не растерять своей романтики. Как звать тебя? Мне кажется, мы ещё увидимся. На фронте это бывает.

Алёша, застыженный общим вниманием, сжимал и от смущения не отпускал тёплую сильную руку девушки. Он не умел найти нужных слов и, чувствуя, как заливается краской, глупо спрашивал:

— А вас как зовут? Как зовут вас?..

Когда девушка ответила, он в порыве рвущихся к открытости чувств почти клятвенно заверил:

— Я сам найду вас, Оля! Вот увидите!

Ольга наконец высвободила свою руку, Алёша почувствовал ускользающее движение её напряженных пальцев и страстно повторил:

— Буду думать о вас, Оля...

В эту прощальную минуту он собрался с силами, близко посмотрел на девушку — спокойное, матовой бледности её лицо подрагивало в усилии удержаться от улыбки, но улыбка победила. И эта же самая улыбка сделала её лицо страшным: половина её лица осталась неподвижной, половина её лица была мертва! И всё её лицо от этой мгновенной улыбки перекошилось, как мехи гармони, разведённые на одну сторону. Трудным, испуганным усилием девушка погасила улыбку, лицо её снова стало безучастно-красивым. Но Алёша, потрясённый жуткой тайной её лица, видел теперь и вывернутое слезящееся веко левого, как будто насильно раскрытого глаза, и лёгкий мазок седины в волосах под краем пилотки, и тёмные скопления морщинистой кожи под печальными застывшими глазами.

Он был ещё в оцепенении, когда девушка полностью, и, видно, привычно, овладела собой; глухо, без сожаления, она сказала:

— Вот так, милый Алёша. Искать, как видите, меня незачем.

Алёша пришёл в себя, обида и боль за девушку, стыд за свой испуг чужим несчастьем как бы заново потрясли его, теперь уже состраданием к чужой боли. И, не лукавя, не опуская глаз под спокойным и печальным её взглядом, в упрямстве доброты и сострадания, он с честной открытостью сказал:

— Если бы можно было, я бы сейчас пошёл за вами.

Девушка смотрела все так же спокойно и внимательно и тихо ответила:

— Спасибо, Алёша. Счастливых шагов тебе на трудных дорогах!



Глава восьмая

СТАРШИНА АВРОВ

1

В чистом небе над старыми придорожными, ещё в зелени листьев, берёзами образовалось белое облачко, донёсся хлопок разрыва. Облачко зависло, истаяло. Обозначились три новых, теперь над хлебами, где косили солдаты. Солдаты косили на открытом месте, немцу они были видны, и те из солдат, которые были ближе к разрывам, в настороженности подняли головы.

Когда облачка одно за другим стали быстро покрывать небо над полем, солдаты перестали работать, закинули косы на плечи, не спеша, как от надвигающейся дурной погоды, пошли друг за другом к лесу.

Алёша, опираясь на косьё, следил за красиво повисающими в воздухе округлыми облаками и, когда недалеко, хлопнув, возникло новое облако и по хлебам, будто крупным дождём, хлестануло шрапнелью, вопросительно поглядел вокруг. Бывший тут, на поле, медицинский народ продолжал работать: мужчины косили сухую, перестоявшую рожь, девчата из санзвода всё так же, с ровным азартом, вязали снопы, стаскивали, составляли в бабки. Рядом косил широкий, плотный, медлительный в движениях военфельдшер. Алёша только сегодня узнал, что зовут его Иваном Степановичем, хотя уже три ночи спали они в одной палатке. Казалось, странному этому человеку всё равно, кто пребывает с ним рядом, — с Алёшей он не разговаривал, по утрам, сидя на пеньке, молча принимал больных и всё думал о чём-то, глядя неподвижно перед собой.

Иван Степанович не мог не видеть ударившую по хлебам шрапнель, но от дела не оторвался, девчата тоже стаскивали снопы, и Алёша, с преувеличенной озабоченностью поправив снятый с пояса и концом перекинутый через плечо ремень, пригнул колени, напрягая тело, повёл косой по низу высоких, хрустких стеблей.

Новое облачко, теперь уже на правом краю поля, вспухло, брызнуло на хлеба секучим дождём.

Алёша много читал о войне, знал, что такое артиллерийская «вилка», он ждал следующего разрыва — теперь уже над собой. Представлял, как, просечённый шрапнелью, упадёт в хлеба лицом вперёд, и потому, делая последние, как казалось ему, взмахи, подальше влево выносил сверкающее жало косы, чтобы в последнем своём падении упасть не на заточенное остриё. Будь он один, он, наверное, где-нибудь укрылся или отбежал бы к лесу, но под хитрыми, как казалось ему, взглядами работающих девчат не смел сойти с поля, — достойнее было умереть. И Алёша в ожидании уже летящего снаряда косил, и было ему в этом нелёгком ожидании жутко и радостно, как было в детстве на открытости луга под чёрной, громыхающей, бьющей слепящими молниями тучей.

Опасное облако не появилось. Позади, в лесу, где располагался батальон, гулко рванули фугасные снаряды, несколько разрывов вразброс накрыли дорогу, по которой лошадь в галоп несла двуколку. И всё стихло, как будто фриц позабавился и успокоился.

Молчун военфельдшер устави́л перед собой косу, точил чёрным дорожным камнем. Алёша, платком вытирая взмокшие от нервного напряжения волосы и шею, счёл нужным сообщить:

— Жарко...

Иван Степанович не ответил, сжал губы, пошёл напористо валить перестоявшую рожь, обходя Алёшу. Алёша тоже некоторое время работал молча. Подбежала вязать за ним шустренькая девчужка со смешливыми глазами, он отложил косу, с готовностью предложил:

— Давайте помогу!

Девчужка, пряча за ресницами глаза, оглянулась на дорогу, идущую от леса, где стояли их палатки, и, лишь выглядев, что дорога пуста, согласилась:

— Помоги!

Алёша длинными руками легко сгрёб рожь, поставил сноп под перевясло; девушка, улыбаясь, быстро и туго перехватила хрустнувшие в его объятиях умятые стебли. Он приготовил второй, третий сноп. Девушка, которую подружки окликали Полинкой, ловко вязала, задорно улыбалась Алёше; когда она наклонялась, пилотка падала с её головы, она смешливо сердилась, пришлёпывала её рукой к волосам. В радости повеселевшего дела Алёша не заметил, как из-за близких плетней деревни, напрочь порушенной войной, вышел старшина их взвода Авров. Только тень на лице Полинки, выгнавшая задор из светлых её глаз, и настойчивый, даже какой-то испуганный её шепоток: «Косу бери... Тебе косить надо!» — заставили Алёшу оглянуться. Старшина неспешной, нарочито сдерживаемой походкой приблизился к девчатам, постоял, наблюдая их усердие, напрягая голос, крикнул:

— Поднажать надо! Комбат приказал сегодня кончить!

Девчата и санитары, взятые из рот на уборку поля, отмолчались. Авров нагнулся, рукавом гимнастерки, как бархоткой, протёр носы припылившихся сапог, упруго распрямылся, расправил с боков, сзади гимнастёрку, направился к фельдшерам. Алёша почувствовал, как напряглась спина, — чем ближе подходил Авров, тем сильнее росло напряжение. Он сам не знал почему — ведь Авров по званию и положению находился в его подчинении. Но опасность он чувствовал, и, может быть, именно потому, что, вопреки званию, власть старшины не только во взводе, но и в батальоне была очевидной. Алёша это понял на первом же шагу своей службы, с той минуты, когда, желая обрадовать своим прибытием командира, вошёл в палатку доложить о себе. Командиром санитарного взвода оказалась женщина; сидела она на спальных мешках, по-восточному поджав ноги в коротких сапожках; ворот её гимнастерки был по-домашнему расстёгнут, в петлицах, рядом с зелёной шпалой, тускло поблёскивала змея, обвивающая чашу. Не сразу в сумеречной приглушенности палаточного света он заметил ещё одного, стоявшего к нему спиной человека с совершенно прямыми, будто из-под пилы, плечами. Человек не обернулся, не шелохнулся, пока он докладывал военврачу о своём прибытии, и только тогда, когда женщина недовольно сказала: «Хорошо, идите...» — и Алёша из брезентового сумрака палатки вышел на солнечный свет, он услышал, как к шуму желтеющих над палаткой берёз примешался жёлчный голос человека с прямыми плечами; он не слышал, что было сказано, но по резкому голосу понял, что человек, стоявший к нему спиной, был раздражён и знал за собой право выказать своё раздражение командиру.

Присущим ему чутьём, объяснений которому не было, Алёша понял также, что недовольство, выказанное человеком с прямыми плечами, относилось к нему, к его появлению в батальоне, и холодок опасности опухнул его впервые здесь, на фронте, — не от близкого разрыва мины, не от свистнувшей над головой пули, — от жёсткого голоса человека, в котором чуть позже он угадал старшину Аврова.

Фронт после почти месячного успешного, но трудного наступления отдыхал, Алёше не терпелось делать положенное ему дело. Но — удивительно! — куда бы он ни приходил: к кухне — проверять чистоту пищеблока, в роты — узнать, есть ли больные, выкопаны ли ровики-уборные, — всюду встречал его старшина Авров. Не по-уставному расставив ноги, утопив под ремень большие пальцы рук, он смотрел настороженно и вежливо, скучным голосом сообщал:

— Всё проверено, военфельдшер... — и стоял, постукивая пальцами по широкому командирскому ремню. Однажды Алёша вознамерился помочь девчатам скатывать нарезанные из марли бинты; девчата поспешно, даже как-то испуганно, отвели его помощь, и причиной тому был появившийся Авров.

И вот старшина лично пожаловал взглянуть на труды подопечного взвода!

Не доходя шагов трёх до Алёши, он остановился, привычно сунул пальцы под ремень, понаблюдал за неторопливо косившим Иваном Степановичем, перевёл глаза на Полинку, спешно, будто напоказ, вязавшую снопы, уже не за Алёшей — за старшим военфельдшером; пилотка лезла ей на вспотевший лоб, быстрым шлепком она водворяла её на затылок, смахивала со лба пот и волосы и, не разгибаясь, раскидывая руки, гребла с высокой стерни очередную охапку ржи.

— Молодчина! — в полный голос похвалил Авров. Однако радости от громкой похвалы не промелькнуло на лице Полинки — напротив, озабоченные её глаза даже как будто с презрением стрельнули по старшине.

Алёша чувствовал, что Авров копит силу, чтобы обратить своё внимание на него, и ясно ощущал, как от часто постукивающего сердца начинает подниматься к голове жар. Готовый к резкому слову, он ждал, когда заговорит старшина.

— Что-то не своим делом занялись, военфельдшер! — наконец сказал Авров, взгляд его пока не поднимался выше Алёшиных грязных сапог. Поднакопив силы, он поднял взгляд до уровня его труда, ожесточая голос, медленно проговорил:

— Косить, косить надо! Здесь не деревня, где девок мнут!

Щёки шустрой девчушки, вязавшей снопы, будто оплеснули кипятком, уронив сноп, она стянула с волос пилотку, закрывая пилоткой лицо, неловко закидывая в стороны ноги, до колен охваченные узкой зелёной юбкой, побежала к девочкам.

Алёша принял обиду Полинки на себя; задетый очевидной несправедливостью, едва сдерживаясь, поднял косу со стерни, воткнул в землю перед Авровым, сказал:

— Собственно, почему вы не работаете, старшина?! Вот коса. Косите!

На этот раз взгляды их встретились, какое-то время они смотрели, как бы взвешивая душевные силы друг друга. Алёша первым не выдержал, усмехнулся, покачал косой, напоминая старшине, что работа его ждёт, и тут заметил, как сдавила зрачки запоминающих его жёлтых глаз Аврова холодная ярость; на какую-то минуту ему стало не по себе.

Чеканя слова, Авров произнес:

— Занимайтесь своим делом, военфельдшер!.. — повернулся так, что сухая земля пылью брызнула из-под начищенных его сапог. Алёше, по званию и по должности, дано было право вернуть старшину, поставить перед собой навтыжку, как это делали командиры в училище. Но чуткий его разум точно взвесил данные ему права и действительные его возможности.

В то мгновение, когда старшина повернулся и пошёл, Алёша уже знал, что его окрик Аврова не остановит: старшина был в бою, власть его во взводе была признана, он же, Алёша, в глазах всех был не более чем неоперившимся хлопунцом, никто ещё не видел, его полёта, и власть, данная ему званием, ещё не была закреплена делом. Всё это Алёша понял и не остановил Аврова. Плохо владея руками от пережитого неприятного напряжения, он выдернул из земли косу, ни на кого не глядя, встал рядом с Иваном Степановичем.

Разговор его с Авровым был как будто делом личным, но что-то в отношении к нему определённо переменилось: девчата в своей сосредоточенной работе будто по необходимости переместились и теперь вязали снопы за ними, и Алёша, хотя и был в расстройстве от своей нехорошей стычки с Авровым, всё же замечал на себе их короткие, выразительные взгляды. Даже Молчун — Иван Степанович, — когда они сошлись направить косы, передавая ему плоский чёрный камень, проговорил, с трудом разомкнув свои малоподвижные губы:

— Оказывается, горячий!.. Молодой, понимаешь!..

В, казалось, потеплевшем вокруг него воздухе Алёша успокоено, радостно косил, стараясь свободнее и шире вести косу. От Ивана Степановича он ушёл вперёд и в сторону, наметив свой прокос до зеленеющих впереди кустиков. Перед кустами он приметил пролысинку, какую-то примятость в ровном наклоне хлебов, и, задав себе урок дойти до этой пролысинки, косил, не останавливаясь. Широким взмахом срезав перед самой пролысинкой густую полосу стеблей, он вдруг, задержал косу, ещё не понимая, что перед ним, почувствовал, как задрожали пальцы. В хлебах лежал человек, солдат, с котомкой за плечами; лежал боком на винтовке, в каком-то, видно, последнем, усилии оборотив лицо к небу; закинутая левая его рука как будто пыталась снять со спины мешок. Рядом с наголо стриженной головой, у небритого лица с синевой на лбу и щеках, опрокинуто лежала пилотка с зелёной звёздочкой и каймой от высохшего уже пота. Из чёрного отверстия ноздри солдата выполз муравей, пошевелил усиками, деловито побежал по краю отвисшей губы.

Алёша отшатнулся, потрясённо закричал.

Подошел Иван Степанович, подбежали девчата. Солдата на плащ-палатке отнесли хоронить к дороге, на краю спаленной деревни.

Алёша бестолково, в расстроенных чувствах, копал, потом с осторожностью заваливал солдата, морщился от шума сыплющейся земли, старался, чтобы земля с его лопаты не попадала на голову, укрытую плащ-палаткой.

Косить он больше не мог, постоял и побрёл в край леса, будто был у себя в Семигорье.

Умогнулся над ручьём в развилине между старой ольховиной и берёзой, сидел молча в тесноте стволов, успокаивая в себе ощущение чужой смерти.

«Вот жизнь. Вот смерть,— думал он. — Как далеки были они друг от друга на доброй земле Семигорья! Как близки здесь! Как эти стволы, сдавившие плечи. К какому из них качнет меня завтра? А может, не завтра — сегодня? Может быть, не меня — Ивана Степановича. Или шустрюю Полинку. А может, и самого Аврова? Здесь все равны перед лицом смерти. Хорошие и плохие. Добрые и злые. Разумные и неразумные. Так зачем между нами это мелкое зло? Что мы пытаемся делить с Авровым? Власть, самолюбие, лишний котелок каши? Неужели мне, другому, третьему надо что-то ещё, кроме возможности честно исполнять свой долг?! Да пусть Авров командует! Пусть! Я сам помогу ему утешиться в самолюбии. Мы просто не поняли друг друга, — думал Алёша, не чувствуя в себе даже ответного желания зла перед открывшейся ему, действительно возможной и, может быть, близкой смертью. — Ведь у нас — один враг, — думал он, ставя себя и старшину по одну сторону против врага, таящегося где-то на холмах, за ржаным полем, на котором они косили. — Нам в самом деле нечего делить! Разве только желание добра тому делу, которому мы призваны служить. Просто нам надо объясниться! — думал он по незабытому убеждению своего чистого, справедливого отрочества. — И всё. Всё встанет на свои места!»

Успокоенный в добрых чувствах знакомыми запахами леса, тишиной умиротворенного в этот час фронта, Алёша поднялся в нетерпении тотчас отыскать Аврова, скрепить добрые свои чувства дружеским пожатием рук. Он ещё не дошёл сквозь засумеречивший лес до опушки, где были их палатки, как услышал шум плохо сдерживаемых голосов, хлопанье брезента, всхрапы лошадей, постукивание тележных колёс среди деревьев и понял, что в жизни батальона что-то переменялось.

Встревоживаясь этой ещё непонятной ему переменой, он побежал к своему месту.

Иван Степанович уже складывал опрокинутую на землю палатку. Увидев подбегающего растерянного Алёшу, он, как все не любящие торопиться люди и раздражаясь на то, что торопиться всё же надо, сердито дёрнул угол брезента, недовольно крикнул:

— Пропал, понимаешь! А тут — поход...

Разговор с Авровым не получился. Старшина с видимым интересом выслушал сбивчивую, наверное невразумительную, речь Алёши о добре, глубоко затаился из красного наборного мундштука, закинул голову, выпустил через ноздри в подбородок ему обволакивающий дым, сказал задумчиво:

— В другой батальон проситься тебе надо, Полянин!

Совет старшины неприятно отозвался в душе Алёши: проситься из батальона в какую-то другую часть, да ещё самому, и неизвестно, из каких побуждений — по меньшей мере, было странно.

Авров продолжал властвовать в санвзводе: все распоряжения он передавал от имени командира, все они имели силу приказа. И как ни хотел Алёша найти для себя дело, старания его оставались напрасными. В долгих, утомительных переходах и на новом месте, в лесу, где теперь обосновался батальон, он мучился ощущением совершающейся несправедливости.

Он и сейчас ворочался на подстилке из елового лапника, под солдатской своей шинелью, безответно спрашивал себя:

— Но почему, почему? Старшина — и такая власть?!

— Пустой философией мучаешься. Ты давай спи, спи... — Неожиданная речь всегда молчаливого Ивана Степановича подняла Алёшу; он сел на хрустнувших под ним ветках, натянул на спину и плечи шинель; он истосковался в душевном одиночестве и готов был говорить хоть с сапогом.

— Подождите спать, Иван Степанович, — попросил он. — Тут душа разрывается...

— Во-во, бомба какая! Ему ещё запал не вставили, а он, понимаешь, уже рваться... — Сердитая скороговорка Ивана Степановича на этот раз не обидела Алёшу. Молчун фельдшер был раза в два его старше и когда вдруг начинал округло и быстро, почти не раскрывая рта, говорить, то казалось, он сердится. Алёша, однако, быстро разглядел, что Иван Степанович — человек добрый, и если сердится в разговоре, то не на собеседника, а только на то, что заставили его говорить. Они были одни в тесном пространстве низкой палатки, отгородившей их от плотной темноты октябрьской ночи, в которой спали по-походному тысячи разных по характеру, по отношениям друг с другом людей. И эта отгороженность тьмой и влажным брезентом, и в то же время ощущение близкого присутствия множества людей, в чём-то сопричастных его судьбе и судьбе Ивана Степановича, заставляли Алёшу быть настойчивым.

— Иван Степанович, ну скажите, почему всё-таки Авров командует в нашем взводе? — спрашивал Алёша, не обращая внимания на сердитое ворчание напарника. — Вот вы: три кубика у вас в петлице, а он над вами командует! Почему вы не можете поставить его на место?

— Ты-то чего на место его не ставишь? У тебя то же, понимаешь, два кубика.

— А вот поставлю! И поставлю! — запальчиво сказал Алёша, хотя тут же почувствовал шаткость своего уверения.

— Во-во, ставь козла на рога. — Иван Степанович пустил в темноту неприятный смешок. — Я тебе тут не помогу. Был бы генералом — помог. А в генералы, понимаешь, не берут.

— Ясно. Всё ясно. Справедливость устанавливают только генералы! — В голосе Алёши было не столько горечи, сколько презрения. Иван Степанович вдруг рассердился:

— Не буду с тобой говорить! Больно лих. В таком кипятке только глупость варить! Дурак позавидует, умный — уйдёт.

По, хрусту вминаемых тяжёлым телом веток Алёша понял, что Иван Степанович отвернулся. Недовольный собой и разговором, он тоже лёг на спину, натянул шинель до носа, почувствовал на губах солоноватый ворс, сплюнул.

— На меня плюёшь?!

— Да что вы, Иван Степанович! — смутился Алёша. — Рот сукном опоганило...

Иван Степанович помолчал, не вытерпел:

— Ты вот что: до боя погоди. Пройдём через бой — он, понимаешь, почистит!

— Разве Авров не был в бою?

— Что был, что не был. На передовую не ходил. На то безотказные девки есть.

— Что же тогда бой изменит?

— Что-что... У тебя свет на старшине сошёлся! Плёвый он мужичонка. Одна в нём цена — услужливый! Половых в ярославские трактиры из таких набирали. Не в нём, понимаешь, дело... Ладно, спи давай. Устал я говорить. — На этот раз Иван Степанович умолк, и, похоже, до утра; тревожить его Алёша больше не решился.

Когда в уютном осеннем рассвете он вылез из палатки, медленными движениями расправил занемевшее тело, мысль его возвратилась к ночному разговору. Он вспомнил, что он решил, и знал, что своё решение исполнит. Наскоро позавтракав, он пристроил на коротких, что-то медленно отрастающих волосах пилотку, расправил гимнастёрку под солдатским ремнём, на котором по правому боку висела пока ещё пустая кобура, — эту командирскую принадлежность он выменял у бойкого солдата за свой паёк, — пальцами провёл по вороту, проверяя, все ли пуговицы застёгнуты как надо, подумал: «Значит, так. Вхожу в палатку, докладываю. Не забыть руку вскинуть к виску, хоть и женщина, но командир! Надо сделать по Уставу. Она скажет: «Слушаю вас...». Тогда и говорю всё, как есть. Напрямик. Так и так, мол, товарищ военврач, во взводе нарушены воинский порядок и простая человеческая справедливость. Об этом вы можете и не знать. Поэтому прошу вас... Как это ей всё понравится? Не может не понравиться: ведь говорить я буду о порядке. А командир может ли быть против порядка? Сдержанно она поблагодарит и тут же вызовет старшину...»

Перед палаткой командира Алёша ещё раз одёрнул гимнастёрку, пальцем проверил звёздочку на пилотке; надо было бы постучать, но в брезент не постучишь! Входная пола у палатки не была застёгнута, свисала, открывая щель, и Алёша, вежливо покашляв, шагнул под просторный полог. Руку к виску, как положено по Уставу, он вскинул, но слова, которые он тщательно готовил, вдруг остановились у раскрытого рта; в осеннем полумраке палатки он увидел старшину. Авров лежал на застеленной одеялом раскладушке, закинув руки под голову, вытянутые его ноги были скрещены — сапог на сапоге. На земляном полу на коленях стояла женщина, положив голову ему на грудь; распущенные её волосы покрывали распоясанную гимнастёрку старшины, рука обнимала плечо. Женщина резко вскинула голову, и Алёша узнал своего командира.

На какое-то время он оглох; он видел побелевшее до неприятности, искаженное злобой лицо, круглые от бешенства глаза, видел, как в крике ломались и дрожали губы командира. Но не слышал. Не слышал и ничего не понимал. Он опустил стывшую у пилотки руку, незряче нащупал, отодвинул свисающий над входом полог, вышагнул на волю.

Авров окликнул его, остановил, сочувственно глядя, сказал:

— Надеюсь, теперь ты кое-что понял. Просись в другой батальон, Полянин!..

Иван Степанович ни о чём не спросил, только искоса, испытующе глянул в расстроенное лицо Алёши, взял ящик с лекарствами, ушёл к своему пеньку принимать больных. Когда Алёша отлежался в палатке; с понурым видом подсев к нему, Иван Степанович сказал своей сердитой скороговоркой:

— Во-во, туда петухом, назад — мокрой курицей! Плохо было, хуже стало. Не слушаешь, понимаешь, что, говорят!

Он замолчал неожиданно, так же как начал говорить, локтем придавил крышку ящика, широкой скулой опёрся на кулак. Не сразу он заметил упрямую решимость в мрачном взгляде Алёши, а когда заметил, насторожился:

— Что, что ещё надумал?! Ты, понимаешь, голову для дела береги!

— А это не дело? Подлый человек среди нас, а мы... — Алёша не договорил, к ним подходил Авров, небрежно поигрывая пустым котелком.

— Сачкуете, доктора? — Старшина был доволен: и сереньким утром, и здоровьем своим, хорошим аппетитом, и тем, что шёл за неограниченной порцией завтрака для себя и для своего доброго шефа, — и это полнившее его довольство жизнью и собой ясно читалось на его круглом широконосом лице, в поблёскивающих, прицеливающихся глазках. Старшина сверху смотрел на них, смиренно сидящих, постукивал от избытка силы котелком о колено; не дождавшись ответа, снисходя к общему их молчанию, сказал:

— Могу подбросить приятную работёнку!

В том подавленном состоянии, в котором Алёша находился, он мог бы пропустить мимо себя явно насмешливые слова старшины. Но вид Аврова, вызывающее торжество, которое было в его голосе, движениях рук, в небрежном постукивании котелком о колено, показались ему оскорбительными. Он порывисто поднялся, ещё не зная, что сделает. Память вынесла ему видение военного училища и, может быть, не лучший, но простой и мгновенно действующий способ, которым их ротный данной ему властью укрощал любого распоясавшегося курсанта. Он вспомнил ротного, и, встав над старшиной, закричал, почти срывая свой мальчишеский голос, криком пререзая тишину ещё по-утреннему молчаливого леса:

— Старшина Авров, смир-р-р-но!

Мгновенный испуг окинул лицо старшины, руки его вытянулись, котелок застыл у колена. Ещё бы секунду простоял Авров, и Алёша подал бы другую команду: «Кру-угом, арш!..» — и старшина, хотя бы на малые эти минуты, был бы посрамлен: на пронзительный крик уже выглянули из палатки девочки.

Но оцепенение тут же сошло с Аврова, он сложил на груди руки так, что висящий на локте котелок упёрся Алёше, под грудь, сказал едва слышно, чтобы слова дошли только до его ушей:

— Шутишь, фельдшер! Не знаешь того, что иные шутники не доживают и до боя... — Он довернулся, расчётливо толкнув Алёшу котелком, не спеша пошёл к кухне, поигрывая узким сильным задом.

Под любопытствующими взглядами девчат Алёша стоял, будто настёганный крапивой. Он царапал пальцами кобуру, убеждал себя, что в эту минуту стыда и ярости мог бы — выстрелил бы в туго обтянутый штанами зад Аврова, если бы в новенькой его кобуре был пистолет, а не пара засунутых туда бинтов. Смотреть на Ивана Степановича, на весело шумящих у своей палатки девчат он не решался: он чувствовал свою правоту и в то же время с отчаянием сознавал, как по-глупому бессилён перед житейской хваткой человека, надевшего форму старшины.

Авров возвращался, бережно неся на вытянутой руке тяжёлый котелок. Разговором он, видно, не удовлетворился, подошёл, остановился так, чтобы Алёша видел котелок, полный каши, явно не по-солдатски залитой маслом, оглядел Ивана Степановича, по-прежнему молчаливо, по-стариковски сутуло сидящего на пенёчке, укорил:

— И ты туда же. Смотри, чуваш-темнота!..

Лицо Ивана Степановича медленно краснело; кровь его как будто уже не умещалась в широком теле, растекалась к щекам, короткой шее, к словно помятому, в морщинах лбу. С неожиданной стремительностью он поднялся, ловко сдёрнул с ящика марлевый лоскут, перекинул через руку наподобие полотенца, приклонил к плечу голову, шаркнул по земле ногой, застыл в подобострастном наклоне.

— Чего изволите-с?! — произнёс он с искательной улыбкой на багрово-тяжёлом от гнева лице.

Авров побледнел, отступил на шаг, повернулся, склонил голову, быстро пошёл, почти побежал к палатке командира, не замечая, как выплёскивается из котелка каша.

Иван Степанович опустился на пенёк, вытирая марлей лицо и отдуваясь, будто после тяжёлой работы, произнес в удивлении:

— Дерьмо, понимаешь!.. Не трогаешь, а вонь.

3

В огромной, казалось на весь мир, ноябрьской ночи Алёша старательно кочегарил. Пламя из жерла горячей печи окидывало пляшущим светом утопанную здесь землю, высвечивало бока свежих поленьев, разбросанную щепу, сапоги, уже крепко побитые, которые он получил ещё в училище. Ноги Алёша подсунул как можно ближе к мерцающему на стылой земле отсвету огня: холод прихватывал пальцы сквозь кирзу и портянки.

В огромной трофейной бочке, вставленной внутрь глухой землянки, бушевало пламя; через железные, стенки воздух, запертый в землянке, калился до сотни градусов, в удушающей жаре ссыхалась и гибла на висящих там солдатских рубахах и гимнастёрках ползучая тварь, с тараканьим упорством возрождающаяся среди житейских неудобств, тесноты и непросыхающего пота.

Ещё минут двадцать — и, не притушая огня в печи, он откинет двойной полог из плащ-палаток, влезет в палящий мрак вошебойки, уклоняясь от малинового округлого свечения раскаленной бочки, на корточках, не поднимая головы в обжигающее подпотолочье, на ощупь skinет с шестов себе на руку сухую горячую одежду, придавливая её подбородком, неуклюже выберется на волю, постоит, приходя в себя от жары, вдохнет свежий воздух ночи, сбросит поклажу на вешала. С помоста из еловых лап отберёт с десятков-другой налитанных густым служивым духом рубах и гимнастёрок, снова влезет в удушающий жар слепой землянки; придерживая дыхание, развесит под потолком. Под утро придёт за прокалённой одеждой дежурный, раздаст строго повзводно, и сразу всем, чтобы не перемешались чистые с нечистыми, — это на совести ротных старшин, которым на каждом осмотре Алёша всё дотошно втолковывал. Пятую ночь, не отлучаясь, дежурил он у этой вот, сделанной по его указаниям, вошебойки. В первые ночи вместе со смешливой, неунывающей якуточкой Ниной Яниус, которую все звали просто Яничкой, они едва успевали до общего подъёма прокалить натасканные к ним груды солдатской одежды. Теперь — легче: в эту ночь он сделал лишь третью закладку. Старательную Яничку отпустил отдыхать, а сам, уже по привычке к ночному бдению, сидел, сторожа огонь, подкидывал время от времени в печь берёзовые поленья. Странное состояние души испытывал он: как будто ему, до тоскливого воя изголодавшемуся, вдруг навалили вдоволь хлеба! По-другому он не мог выразить почувствованную жадную радость от первой своей настоящей работы. Он набросился на эту чёрную работу, как будто действительно она была его хлебом. Почти неделя бессонных ночей, бесконечных проверок по ротам, пререканий со взводными и старшинами, суета с дровами, бочками, чистым бельём, — всё было до удушья трудным, но и в этих отчаянных трудностях он не помнил минуты, когда бы ему захотелось всё бросить и отступить.

Теперь он знал, что своё первое на фронте дело он исполнил. Он чувствовал удовлетворение от хорошо сделанной работы, оно жило в нём как праздник, который сейчас, в тишине ночного прифронтового леса, он молча в одиночестве справлял.

В радости праздника души он с улыбкой вспоминал самое начало этого трудного счастливого дела, ту самую минуту, когда старшина Авров подчёркнуто значительным жестом выхватил из кармана и молча подал ему письменный (бумаги не пожалел!) приказ военврача.

Будь Алёша помудрее, поопытнее, он если бы и не испугался, по крайней мере, насторожился, — не категоричностью слов, написанных карандашом и рукой Аврова, а явной несоразмерностью того, что он должен был сделать, и того срока, который ему указывали.

«Военфельдшеру Полянину. Под личную ответственность. В недельный срок полностью ликвидировать в батальоне вшивость».

Авров — Алёша теперь это понимал — ждал увидеть на его лице растерянность, испуг, может быть, даже мольбу о пощаде, но Алёша смотрел на старшину с такой открытой радостью, что Авров, заподозрив неладное, даже оглянулся на Ивана Степановича, сидящего тут же на пеньке в обнимку со своим аптечным ящиком, и, перед тем как уйти, пожал плечами, будто говоря: «Ну-ну, лети, птенец. Ещё почешешь задницу!»

Иван Степанович дождался, когда старшина ушёл, заглянув в приказ, зло ворохнулся на пеньке, вдруг зачастил своей ворчливой скороговоркой:

— Во-во, обрадовался, понимаешь! Вошь тебе не воробей: крикнул, хлопнул — ищи-свищи! Её, паразитку, к ногтю, она — в рукав, с ворота сбил — она под мышкой, с этого на того, пошла-побежала, без хвоста, понимаешь! Девки всем гуртом вошь давили, благодарности не выдавили. Комбат свиреп, на тебе, понимаешь, отыграется! — Ворчливый говорок Ивана Степановича Алёша слышал и сейчас и улыбался.

С трудом верилось, что он счастлив тем, что оборол какую-то маленькую, влипчивую вошь, которую ни в детстве, ни в юности не видел, не знал, бережённей материнской чистотой и заботой.

Он сидел, согреваемый шинелью и жаром огня, и не совсем понимал, что с ним: как будто не надо было ему ни боев, ни подвигов; казалось, он готов ещё десятки, сотни ночей просидеть здесь, у очищающего огня, лишь бы чувствовать, знать, что силы его и умение творят добро. Он понимал, что сделал малость, самую малость из того огромного долга, который призван исполнить на войне. Но эта крохотная сделанная малость невидимо связала его с батальоном, с разными, не похожими друг на друга, людьми, которые и радовали, и злили, и смешили, и всё-таки в конце концов понимали, что озабочен он не собой, а их чистотой и благом.

Тёплое чувство сделанного добра стеснительно согревало сердце: он готов был для всех людей, собранных в этом холодном лесу, жмущихся сейчас друг к другу в малом пространстве землянок и шалашей, спящих и не спящих в томительном беспокойстве о доме, ребятишках, жёнах, для всех этих людей, которых он чувствовал за своей спиной, готов был сделать, казалось ему, самое невероятное — отдать им не только свои ночи, своё уменье, силы, но и саму жизнь.

Тёплое чувство, которое сейчас согревало его сердце, было ему знакомо, он знал его в счастливые дни и прошлых лет. Удивительным было не само чувство, а то, что рождало это чувство. Он всматривался в себя, с удивлением сознавал, как меняются его отношения с миром. От малости, сделанной для людей, каким-то прежде неведомым ему смыслом начала наполняться его новая обязанность перед войной. В глубине души он сожалел, что выпало ему в военной его судьбе совсем не то, о чём мечталось. Он не сомневался, что был бы хорошим артиллеристом; мог бы стать отличным асом, если бы призвали его в авиацию; мог бы воевать лихим кавалеристом. Собственно, вся его юная жизнь, с его увлечённостью спортом, охотой, водными заплывами, с его силой ног и рук, верным глазом, привычными ночёвками в лесах, в одиночестве, в холоде, давала ему возможность быть полезным в любом деле войны. Медиком он стал не по своей воле, медиком сделала его проклятая близорукость. И то, что было нравственным тайным его стыдом, странным образом менялось теперь здесь, в ночи: чувство удовлетворения от хорошо сделанной им работы как будто высвободило его от прежде угнетавшей неловкости за навязанную ему не боевую профессию. «До боя, — думал Алёша; всё-таки какой-то юный чертёнок и теперь гулял по его самолюбию. — До боя в любой работе дотяну. А там видно будет, на что и где я гожусь!»

Он не слышал чуждого безмолвной ночи звука, но чувства, настороженно жившие как бы отдельно от занимавших его мыслей, предупредили о том, что поблизости объявилось нечто постороннее, чего прежде не было. Не поднимая головы, не шевельнув даже пальцем, он слухом ушёл в ночь, различил, как у болота протяжно прошуршала мёрзлая трава, с коротким птичьим всвистом рассекла воздух пригнутая и неосторожно отпущенная ветка. Тут же Алёша неслышным движением прикрыл ранее приготовленным листом железа огненное отверстие печи, сдвинулся в тень землянки. Оружия у него не было; крикнуть, поднять тревогу он не решался, боялся оказаться смешным, хотя находился на краю расположения батальона и охотничий опыт говорил, что краем болота пробирается не зверь.

Алёша нашарил в дровах топор, сжал холодное топорщице; в ночи могли быть и немецкие лазутчики, которых так опасно и удачливо для себя повстречал ротный санинструктор Петренко.

Он ждал. Ждал и человек на краю болота. Немой поединок в ночи окончился так же тихо, как начался: человек не мог не видеть, как прикрыл он огонь и затаился, и — отступил. Обострённым слухом Алёша ловил осторожные отдаляющиеся шаги. Потом шаги стали слышней: человек, уже не таясь, пошёл лесом к палаткам санзвода, порой с тупым стуком задевая сапогами о корни.

В досаде Алёша откинул топор; теперь он не сомневался, что подходил к нему в ночи Авров. Что надо было этому человеку? Что хотел он увидеть? На чём подловить?

Он старался отогнать неприятное чувство, подкинул в печь дров, сел на прежнее место, поплотнее охватил себя шинелью, с вновь обострившимся беспокойством подумал о старшине: «Ходит, как зверь! Будто добычу чует»

Он порядочно, как казалось ему, просидел в угнетающей настороженности, пока не различил в ночи другой звук — торопливый, приближающийся к нему лёгкий топоток. Топоток этот не был осторожным, притаённым шорохом авровских шагов, и Алёша, отходя от напряжения, узнал будто скользящие шаги верной напарницы Янички и, не оборачиваясь, ждал, когда она подойдёт. Девушка, будто тьмой вынесенная к свету, с размаху под села к нему вплотную, охватила его рукой, прижалась щекой к плечу.

— Не замёрз?! Лежала, лежала — не спится. Как, думаю, ты там один?

Как всегда, она говорила торопясь, будто захлёбываясь радостью, заглядывала снизу в его глаза. Огонь из отверстия железной печки окрашивал будто вечерним солнцем плоское её лицо, с почти затерявшимся между щёк носом; за растянутыми в широкой улыбке губами краснели бугорки влажных дёсен с плотными, ровными, тоже влажными зубами. Эта недавно появившаяся в батальоне девушка была как будто переполнена радостью своего пребывания на земле и старалась одарить этой живущей в ней радостью всех вокруг. Алёша знал, что она старше его на четыре года, но, лёгкая в движениях, быстрая, как бельчонок, Яничка гляделась не больше как девчонкой. Для неё, как для Алёши, не было неприятной работы, всюду она торопилась опередить его, с весёлым азартом бросалась на любое дело. Общая забота, ночные дежурства у печи сблизили их, детская открытость и простодушие Янички даже смущали его порой.

Вот и сейчас она прижалась к нему, будто к любимому, и, не переставая радоваться живущей в ней, наверное от рождения, радостью, заглядывая узкими, блестящими от огня глазами ему в глаза, ждала от него ответных, призывающих слов. Алёша стеснительно отстранился, делая вид, что высвобождает шею из жёсткого ворота накинутой на плечи шинели, боясь обидеть доверчивость девушки, осторожно прижал к себе её худенькую, подсунутую под локоть руку и, уводя её и себя от пугающей его чувственности, мягко упрекнул:

— Ты так и не рассказала, как попала на фронт! — Он не почувствовал в девушке и секундной досады от его нарочито отвлекающих слов; Яничка не отстранилась, напротив, как будто даже спасительнее к нему прижалась и с той же торопливой радостью, с которой пришла, сказала:

— Я, Алёша, штрафница! Голову от любви чуть не потеряла. Мне и сказали: головы не хочешь — теряй её на фронте

— Смотри-ка! Ты, оказывается, шутница! А на самом деле?

— На самом деле! — Яничка заглядывала ему в глаза и смеялась. — У нас в госпитале, в Якутске, лежал парень, русский, хороший парень, весёлый. Весь побит — и грудь, и рука, — а весёлый! Выхаживала я его, выхаживала и — полюбила! Ему на фронт, а я — не хочу. Взяла его документы, число переправила в бумагах. На целую неделю для себя Ванечку оставила! Вот дура, да?

— Ну, почему же, — смутился Алёша. — Теперь вот жалеешь!

— Не-к, не жалею! Тут лучше. И люди все хорошие. Я здесь больше нужна.

Алёша опять близко увидел по-ночному чёрные щёлочки-глаза; влажные губы Янички, растянутые в радостной улыбке, были совсем рядом с его губами. Он опять смутился. Эта по-детски доверчивая девушка из далёкого края была совсем не такая, каким был он, и совершенной противоположностью строгой, сдержанной, милой ему Ниночке (странно, подумал мимолетно Алёша: Нина — Ниночка, одно имя и — такие разные!), и всё-таки, всё-таки, именно эта простодушная открытость, тёплая, живая близость доверчиво жавшейся к его плечу девушки рождали стыдное для него сейчас желание. Он склонился, влекомый дурным чувством, шепнул: «Нин...» — и похолодел: произнесённое им слово было как предательство. Это полное любви слово принадлежало другой Ниночке; ей он шептал это слово в маленькое чуткое ухо в ночи, под мраком парковых деревьев; ей бережно выписывал на листках курсантских писем. И не от этой приникшей к нему девушки, а от той, неповторимой, его Ниночки, пришли сюда, уже на фронт, опаляющие, слова:

Полюбила сокола
Самого высокого.
Всем парням не равного,
Самого желанного...

Алёша осторожно высвободил руки, взял с плеча девушки упавшую пилотку, положил ей на колени. Он и теперь не хотел обидеть доверчивость Янички, сказал, виноватясь:

— У меня ведь девушка есть...

Он почувствовал, как замерла Яничка под ласковостью его руки, и тут же вскочила, и, будто не было его слов, засмеялась открытым, беззаботным смехом.

— Давай, Алёша, парилку разгружать!

Она взмахнула пилоткой, весело подпрыгнула и первой побежала к землянке.

4

В один из дней тишина рухнула впервые за долгий месяц мирной, совсем не фронтовой жизни. Он увидел *их*, вползающих в просвет заиндевелых сосновых вершин, раньше, чем пронёсся по лесу какой-то сдавленный, как будто ещё не уверенный в близости опасности и в то же время вмиг выжигающий все прочие будничные заботы крик: «Во-оздух!..». Крик этот, кем-то рождённый, тут же подхваченный на разные лады другими голосами, перекидывался, звучал по окрестным лесам, но Алёша уже ничего не слышал, стоял у печи с поленом в руке и оцепенело смотрел, как по небу на лес, в котором он был, надвигались не живым, не птичьим, а выправленно-машинным, будто спаянным, строем тяжёлые самолёты. Солнце снизу подсвечивало широкие, неподвижно раскинутые крылья, бело-мохнатые от покрывающего их инея; чёрные в середине, они казались прозрачными по краям, и оттого каждый из них походил на огромную вошь, и все они, будто вши, замедленно вползали в раздвинутый болотом просвет бледно-голубого, в морозной туманности, неба.

Алёша ещё не мог взвесить действительную меру опасности, которая надвигалась на него и на тысячи других людей, уже много дней живущих буднично под хвойной завесью леса, но то, что опасность надвигалась вместе с гулом работающих в небе моторов, он чувствовал, плечи его, бывшие только что сильными и послушными, вдруг странно ослабли, дрожь пошла гулять по рукам и пальцам. В удивлении он оглядел полено, будто не понимая, откуда и зачем в его руках эта березовая плаха, торопясь освободить руки, засуетился, сунул полено привычным ему движением в горящую печь. Не успел распрямиться, как вырос перед ним Авров, взгляд его суженных ненавистью глаз будто высверливал ему зрачки:

— Ах ты, гад... Падла... Немцам сигналишь?! — торжествующий его шёпот раздирал Алёше грудь. — А ну, глуши свою вшивую баню!

Гул с неба потряс лес и саму землю. Старшина по-птичьи вобрал голову в плечи, обратил лицо вверх и вдруг, утробно хрюкнув, перепрыгнул через груды дров; его распахнутая, вздутая горбом шинель, как спина испуганной, уходящей вглубь рыбины, обозначилась и пропала среди, казалось, спасительных стволов сосен.

Алёша взглянул на хорошо видный дымок, лениво поднимающийся изломанной лесенкой к хвойному переплетению ветвей, и понял, чем грозил ему и всем вокруг этот, в другое время безобидный, синевато-белый след топящейся печи. Одним сильным движением он прыгнул на покатуую крышу парилки, содрал с себя шинель, придушил трубу тяжелым комом солдатского сукна, спрыгнул к печке, приставил лист железа к жаркому челу, срывая ногти, отворотил ком мёрзлой земли, придавил им железо, чтобы по случайности не отпало.

Только теперь он взглянул в гудящее моторами небо. Строгий машинный порядок, прежде связывающий самолеты, нарушился: бомбовозы теперь по отдельности разворачивались над лесом, каждый своим телом пробивал клубящийся в небе морозный туман, выискивал себе цель, не обращая внимания на робкие, зависающие то там, то тут округлые плотные облачка разрывов зенитных снарядов. Один из бомбовозов проходил как раз над головой Алёши; прерывистый гул моторов словно трамбовал землю, и эта падающая с высоты тяжесть звука придавливала плечи, как будто вминала его в то место, где он всё ещё оцепенело стоял. Гул возрос до такой силы, что бьющий плотный воздух, казалось, мог проломить сейчас голову. Алёша почувствовал, как мал, как беспомощен, как незащищен он перед нависшей над землёй, выискивающей его силой, — дикий страх, который в эту минуту был сильнее его достоинства и воли, сорвал его с места.

Он мчался от леса в болото, невероятными звериными прыжками перемахивая кусты, моховые кочки, старые пни, стоящие на пути сосенки, мчался, как одуревший от близости гончих заяц, всё спасение которого было в скорости и выносливости длинных ног. Но, как ни стремительно мчался он, вкладывая в слепой бег всю скопленную за жизнь силу, он не пробежал и сотни метров, тогда как самолет за эти же минуты его бега пролетел по избранному им кругу километры. Когда, запаленно дыша, он наконец остановился на другом краю болота и взглянул в небо, бомбовоз с тем же нарастающим рёвом снова шёл прямо на него. Алёша бросился назад, потом в правый край, в левый, и всюду, где он искал спасения, оказывался над ним тяжёлый бомбовоз, ревуший рёвом всех своих моторов.

Из тысяч людей, затаившихся сейчас повсюду, эта ревушая, свободная в своём движении громадина как будто выбрала его одного, мечущегося среди лесного болота, и неотвязно шла за ним, выжидая время уронить из-под заиндевелых крыльев принесенные с собой бомбы.

Затравленный, обессиленный, сжимая в кулаке измазанную пилотку, Алёша в последнем прыжке вломился сапогами в молодой ледок болотной мочажины, увяз в торфяной жиже и повалился, подминая телом упругие, хлестнувшие его по лицу прутья. Лёжа, он лихорадочно протёр полый гимнастерки забрызганные грязью очки, опасливо глянул вверх: тяжёлый бомбовоз теперь уже точно шёл к нему, разрывая воздух ревом моторов. Он всё-таки нашёл его, забившегося в край болота, выискал из беспредельного простора неба, выбрал для своего чёрного дела именно эту, гибельную для Алёши точку!

Алёша угадывал, что сейчас произойдёт самое жуткое, что только есть на свете. И ничто: ни словно вымерший лес, ни впадина болота, в которой с ощущением своей ничтожности он лежал, ни люди, только что бывшие вокруг, ни далёкая сейчас родная его мама, может быть, прозревающая вещим своим сердцем эту погибельную его минуту, ни сам он, Алексей Полянин, сильный, разумный, полный жгучего желания жить и делать людям добро, — никто, ничто не сможет оградить его в эти последние минуты от нацеленной в него вражеской силы.

То, что он угадывал, случилось: от широких крыльев самолёта, будто стайка головастика, пущенных в воду, отделились бомбы; новый, свистящий, усиливающийся с каждым мгновением звук, который был страшнее оглушающего рёва моторов, неотвратно приближался, леденя голову. Алёша с почти угасшим сознанием подумал: прежде чем оборвётся этот нарастающий вой падающих бомб и грохот взрывов заглохнет в окрестных лесах, его уже не будет среди живых. «Прощай, мамочка... Все-все прощайте...» — крикнул в мыслях Алёша, вжался лицом в мокрую холодную землю.

Потом, когда небо очистилось от гуда и самих самолётов и возвращённая лесу тишина оживилась возбуждёнными голосами людей, Алёша, растерянный, грязный, жалкий, но совершенно целый, подошёл к тому месту, где упали бомбы. Бомбы упали даже не в болото, в котором он лежал, — земля была разворочена по краю леса — здесь лежали опрокинутые взрывом сосны с обломанными ветвями и побитыми вершинами. С обнажённых влажных корней отваливались комья, с шорохом катились по свежей жёлтой супеси, с легким плеском падали в уже проступившую со дна, заполнившую круглые ямы воду.

Он стоял у шелестящего края воронки, думал, что мог бы лежать на месте этих уже навсегда мёртвых сосен, что вообще могла бы быть на его месте такая вот пустота бомбовой ямы. Но он был жив. И оттого, что продолжал жить, и не какой-то другой, а прежней своей жизнью, и весь установленный в его душе, ясный ему порядок чувств и мыслей, определяющий его жизнь, тоже был при нём, он должен был ответить перед самим собой за дикий, слепой страх, который он испытал перед только показавшейся над ним смертью.

«Что это было?.. — думал Алёша, пытаюсь понять себя в том, что произошло. — Что со мной?» — думал он, помня, как готовился к любым случайностям войны. Он помнил, как у врача-старушки рвал без наркоза корни сломанных зубов, испытывая себя на боль. Как, будучи уже в училище, стоял, закаменев, но не опускаясь даже до малого унижения перед самым высоким начальством, которое в бешенстве отчитывало его за неуставные вольности в учебных военных играх. Как мыл полы, чистил сортиры, перевязывал в госпиталях, на учебной практике, тяжёлых солдат с отвратной вонью гноя на застарелых ранах. Всё это он делал вопреки своей разнеженной, страдающей даже от грубого слова, даже от случайного недоброго взгляда, ранимой душе. Делал, чтобы знать, что он в силах, что он может сломать в себе любое нежелание, все привычки устроенной своей жизни ради исполнения назначенного ему долга. Он готовился к пыткам и к самой смерти. И теперь жили в его памяти деревня Петрищево и казнённая Зоя; он читал и перечитывал в спрятанной у себя газете о её подвиге, как верующий перечитывает святую для него Библию. Ставил себя на место Зои под петлю виселицы, не однажды мысленно проверял себя на готовность к подобной смерти. Он верил, что готов быть на войне. Готов и на войне. Готов и на виду смерти не уронить ни своего достоинства, ни достоинства тех, кому был обязан жизнью...

«Что же случилось? — думал Алёша. — Как случилось, что первый же фашистский бомбовоз сломал мою волю? Неужели страх перед настоящей смертью сильнее, чем всё продуманное и прочувствованное наперёд? Зачем тогда разум? Зачем воля? Зачем я человек, если я делаюсь как обезумевшая овца и слепо несусь от смерти? Стыд-то какой! Весь я в позоре, как в этой вот болотной грязи!..» Алёшу охватил тот сочувливый стыд, который всегда возникал в нём, когда он делал дурной поступок по слабости души. Он подошёл к опрокинутой сосне, попробовал отереть налипшую на ладони грязь о её шершавую кору и вдруг отвёл руки: ему показалось кощунством лепить свою грязь на павшую от бомб сосну.

Он пытался вспомнить, как вели себя другие люди под налётом немецких бомбардировщиков, но вспомнить ясно не мог. Он не смотрел, что делалось вокруг. Всё же смутно помнилось, что другие люди; по крайней мере в начале налёта, тоже метались по лесу. Но легче от того ему не стало. Он отвечал за себя. И перед своей совестью.

Стоя у пустоты бомбовой ямы, с трудом устанавливая необходимый ему порядок в перевороченной страхом и стыдом душе, он вдруг подумал с ясностью, с какой никогда прежде о смерти не думал: «Да, смерть одна. И одинаково страшна для всех. Но умирают по-разному. И если я хочу быть человеком в жизни, я должен быть готов к тому, чтобы человеком умереть»

Он вернулся к парилке, не замечая ни грязных сапог, ни подтёков торфяной жижи на одежде; время от времени, он только зябко поводил плечами от неприятной, холодящей сырости в рукавах. Хотя мысли о будущем своём поведении на войне ему были ясны, нравственно он был подавлен и, как провинившийся человек, хотел одиночества. Здесь, у потухшей печи, где он пристроился, свесив с колен грязные руки, и застал его старший лейтенант-особист. В полной форме, аккуратный, чистенький, от сапог до воротничка гимнастёрки, от фуражки без единой морщинки на тулье до блестящих ремней двойной портупей со свисающими с неё по бокам тяжёлой кобурой и планшетом, он, можно было думать, только что придел себя для парадного выхода, хотя Алёша знал, что этот старший лейтенант ходит по расположению батальона всегда в таком вот неприкасаемо-аккуратном виде. Когда он по-хозяйски сел рядом, подставив под себя чистый чурбачок, Алёша с завистью к его, виду подумал: «И где только он был в час бомбежки?!»

Старший лейтенант не терзал его душу допросом, напротив, был подчёркнуто-вежлив и как будто щадил его самолюбие: больше разглядывал, меньше расспрашивал о том, как случилось, что он, военфельдшер, подложил в горящую печь дрова, когда уже была объявлена по батальону воздушная тревога.

Побыл он недолго, наверное, потому, что своим цепким взглядом увидел и наглухо закрытое чело печи, и трубу, заткнутую шинелью. С необидным сочувствием, даже как-то дружески посоветовал:

— Приведи-ка себя в порядок, военфельдшер... — и ушёл, спокойный, уверенный в себе, оставив запах одеколona, звук скрипящей портупей, блеск отличных хромовых сапог.

Опасности в разговоре старшего лейтенанта он не уловил. И только потом, когда особист ушёл и Алёша, расколов ледок, умылся в ручье, и, вконец продрогнув, надел задымленную шинель, и долго махал руками и прыгал, согревая себя, он вспомнил Аврова, вдруг шагнувшего к нему в расчётливо выбранную минуту откровенной его растерянности, и тоска, совершенно похожая на тоску, которую он испытал в болоте под нарастающим свистом падающих бомб, сдавила его сердце. Нет, это не был страх, — он слишком верил в справедливое разрешение всех вопросов жизни, чтобы испугаться представителя неведомой ему особой службы государственного надзора; но почувствовал тоску гонимого зверя: он не сомневался, что и эту, всегда неприятную для, людей, службу направил против него старшина Авров.



Глава девятая

ДОБРЫЕ ЛЮДИ

1

В этом просторном, людном по вечерам шалаше Алёша отогревал душу. Жили здесь артиллеристы, но вокруг невидимого со стороны костра, разведённого в ямке, посередине шалаша, собирались разные по возрасту и по службе люди, те, кому артиллеристы, по каким-то неясным для Алёши причинам, симпатизировали. Собирались перед отбоем, уже в осенней темноте, и, хотя не женщины хозяйничали на этих вечерах, — были здесь одни мужчины в одинаковой военной форме, — всё равно, сам уют тесного сидения вокруг огня в неспешном, часто весёлом и остром разговоре как будто возвращал каждого, вычлененного войной из привычного семейного и трудового круга, к счастливым, как теперь казалось, временам довоенной жизни.

Старшим по званию в шалаше был командир батареи старший лейтенант Романов, человек распахнутого сердца, всегда нетерпеливый, всегда рвущийся в спор, вносящий во фронтовое застолье больше суеты, чем порядка. Настоящим же хозяином уютного костра, чая и неспешных бесед был лейтенант Жимбиев, казах с широким красивым лицом, который, как постепенно узнавал Алёша, командовал орудийным расчётом в батарее Романова.

Алёша наблюдал, как умело хозяйничает он у огня, пытался для себя определить возраст лейтенанта и терялся в догадках: судя по гладкой, молодо поблёскивающей смуглой коже щёк, по ярким губам и совершенно чёрным, плотным волосам ему не было больше двадцати; по сдержанности движений, по мудрой неторопливости разговора, по тому, как умел он, слушая, смотреть, как бы вбирая узкими, неподвижными, внимательными глазами речь собеседника, он мог бы иметь за плечами вдвое больше. Именно этой уверенной взрослой сдержанностью и спокойной распорядительностью привлекал молчаливое внимание Алеши лейтенант Жимбиев.

Каждый, кто приходил побывать в шалаше, выкладывал на расстеленную у огня плащ-палатку свой пай к обязательному чаю: пару сухарей, кусок хлеба или сала; Алёша обычно приносил в марлевой салфетке сэкономленный сахар. Жимбиев всю еду делил, красиво раскладывал, заваривая чай в полуведёрный медный чайник, где-то раздобытый его солдатами. Чай он всегда заваривал сам, сам и разливал с бережливостью по кружкам, и взгляд его глаз, следящих за тёмной, вытекающей из носика горячей струёй, был молитвенен. Как бы ни был горяч разговор, все замолкали, когда Жимбиев разливал чай, смотрели на его короткие сильные руки, умело удерживающие тяжёлый чайник; от любимого им усердного действия на его широком, с раздутыми крыльями ноздрей, носу проступали в горячих отсветах огня мелкой высыпкой капельки пота.

Алёша осторожно пригубил налитый ему в кружку чай; рука не выдержала обжигающий пальцы жар нагретой кипятком жести, он пристроил кружку в развилке упругих еловых лап, на которых сидел. Но пахучий парок, который он успел вдохнуть, тронул память, и тут же сердце сдвоило удары, в груди заныло: увиделись отзывчивые на его просьбы мамины руки; протягивающие ему через стол на блюде чашку, с торчащей, позвякивающей о край ложечкой, и Алёша, сознавая, как далеки сейчас от него мамины руки, с молчаливой благодарностью обласкал взглядом и Жимбиева, и Романова, и всех других, сидящих кругом, принимающих в ненадолго установившемся молчании кружки, дымящиеся парком в ощущаемой всё-таки в шалаше прохладе. Алёша понимал, что для самого Жимбиева, для Романова и для всех, кто собирался у костра в шалаше артиллеристов, важен был именно чай и общий разговор за чаем. Чай был их недавним прошлым, был оттуда, из мирной жизни, теперь порушенной войной, и близкая память о доме, оживляемая тесным гостевым кругом и знакомым запахом хорошо заваренного чая, была для каждого как теплинка домашнего уюта, сотворённая под этими чужедальними, зябкими в поздней осени лесами.

Здесь, в шалаше, Алёша не только отогревал свою одинокую душу, — молча внимая людям бывалым, он примеривал себя к уже идущей вокруг новой для него фронтовой жизни и особо, с замиранием сердца, к тем дням, когда в каком-то близком от них месте соприкоснутся непримиримо враждебные друг другу армии, и полыхнёт по земле огонь, и, как сейчас в Сталинграде, будут и у них падать и гибнуть люди, и дни станут ночью. Он думал о минуте, когда перед ним появится человек, по имени *враг*, и он должен будет выстрелить в этого человека, быть может, и убить. Он думал об этой неизбежной, как казалось ему, минуте с опасливостью и смущением, и, когда представлял эту минуту, какое-то хватающее, цепкое чувство, о котором никому он не говорил, нарушало обычно ясный ход его мыслей.

В памяти хранилось одно из потрясений юности, когда однажды вернулся с работы отец, снял очки, до онемения сдвигая переноску пальцами, чтобы не видеть ни Елены Васильевны, ни Алёши, сказал: «На дороге, в горах, нашли убитого человека...» Алёшу потрясло слово: не «мёртвого», а «убитого»! О человеке, которого нашли, потом говорил весь поселок, рассказывали — возбуждённо, слушали — подавленно; люди долго не могли успокоиться. Алёшу событие вывело из душевного равновесия. Он ходил на то место, представлял, как *это* случилось, и не мог уложить в мыслях, как вообще может такое быть: кто-то у кого-то зачем-то отобрал жизнь! *Убил* человеческую жизнь!..

Здесь, на войне, было по-другому. Хорошие, добрые люди, сидящие вокруг огня, рядом с ним, с кружками горячего чая в руках, разделяли радость тех, кто стрелял, кто убивал удачливее. Правда, никто из них не говорил: «убил», обычно говорили: «Дали фрицам прикурить!..». Или: «Ну и положили их там!..», но за этими словами всё равно стояла смерть. Алёше казалось, что, говоря нестрашными словами о страшном, каждый из говоривших как бы старался оправдать перед собой и другими свою изменившуюся в сторону жестокости душу. Слова «немцы», «фрицы» уже в самом произношении окрашивались враждебным чувством, связывались с понятием «враги» и тем самым как бы отчуждались от тех нравственных принципов, которыми эти добрые люди руководствовались в отношениях друг с другом. Алёша приглядывался к тем, кто уже был в бою, уже стрелял, убивал, старался найти в них то, что отличало этих людей от других, ещё не бывших в деле, или от него самого, и ни в разговоре, ни в поведении, ни в выражении лиц не находил ни жестокости, ни раскаяния. С особой пристальностью он наблюдал сегодня за Петренко, ротным санинструктором, который вдруг попал в герои батальона, хотя до вчерашнего дня был тих и незаметен. Вчера, поутру, Петренко взял в плен немецкого офицера, взял с большим для себя риском, как говорили все, и был уже представлен к награде.

Здесь, в спокойном, вроде бы не очень близком к фронту тылу, он совершил то, о чем Алёша мог только мечтать. Совершил и как будто уже забыл о том. Его широкое, с розоватостью здорового человека лицо было спокойно-добродушным, голубые, какие-то не солдатские глаза, как всегда, смотрели на разговорившихся людей с застенчивым вниманием; и кружку с чаем он держал в ладонях у подбородка, как бы скрываясь за кружкой от излишне любопытных взглядов.

Интерес он вызывал не только у Алёши — размашистый в движениях командир батареи Романов, подхватывающий с плащ-палатки свою эмалированную кружку, смачно отхлёбывающий горячий чай и после шумного глотка возвращающий кружку обратно на плащ-палатку, уже не раз прицеливался озорноватым взглядом к Петренко. Наконец уловил момент, дал по герою залп:

— Петренко! Ты-то чего молчишь? Батальон перебаламутил, всех строевиков опозорил и — любуйтесь, люди! — сидит некоханой девицей! Кайся, Петренко!

Петренко ссутулился, стараясь уйти от общего к нему внимания, мял лоб, брови, укрывал под ладонью проступившую в глазах неловкость; он знал, что здесь, в шалаше, отмолчаться ему не дадут, и, примостив дымящуюся парком кружку на своем сапоге, аккуратно придерживая её за ручку, поднял на Романова глаза:

— Та что говорить, товарищ старший лейтенант! Повстречались с нимцем, поигрались, вот и... — Он пожал плечом, занялся с кружкой, сосредоточенностью движений стараясь внушить, что говорить ему больше не о чем.

... Весть о том, что Петренко один, без оружия захватил в плен немецкого офицера, облетела батальон вмиг. Алёша, как услышал, рванулся через лес к штабным палаткам, он не мог устоять перед возможностью увидеть живого врага. Плененный офицер был у палатки комбата, под берёзами. Сам комбат, высокий, нескладный, быстро ходил взад-вперед перед немцем, раскидывая сапогами шуршащие листья. В лице его Алёша видел два отчетливо выраженных чувства: одно из них — радость счастливой для батальона удачи; другое — злобное торжество над наконец-то оказавшимся в руках живым врагом. И это второе чувство было как будто сильнее, и, когда комбат поворачивался и проходил мимо немца, Алёше казалось, он ловит момент, чтобы молча, наотмашь ударить пленного по лицу. Немецкий офицер опасливо озирал возбужденного командира, поднимая поочередно ноги, суетно стягивал с себя пятнистую маскировочную одежду, железные пуговицы не давались его дрожащим рукам, он рвал их спешащими движениями. Выражение его побледневшего лица постоянно менялось: в какие-то мгновения он как будто вспоминал о том, что он — офицер; можно было уловить в его взгляде даже надменность.

Но мимолетные эти выражения совершенно тонули в общем состоянии испуга и растерянности, он не мог остановить ни дрожь пальцев, ни подрагивание изломанных страхом губ. Офицер был молод, может быть, чуть старше Алёши, тоже в очках, только хороших, роговых; богатая оправка очков придавала упитанному его лицу интеллигентность, правда, смятую испугом.

Молодость пленного, его очки, интеллигентный вид, беспомощность перед чужими ему людьми, во власти которых он теперь был, смущали Алёшу. Он знал, что этот офицер, напуганный ожиданием смерти, предупредительно-послушный каждому указующему жесту чужой руки, — враг, враг ему и всем, кто был сейчас у штабной палатки, и всё-таки жалел его и думал в смятении, что, приведись ему встретить такого вот немца где-то на впереди лежащих дорогах, он не нашел бы в себе силы выстрелить в него. «Вот комбат — выстрелит! И ударит, и убьёт!» — думал Алёша, с нарастающим душевным напряжением наблюдая комбата. Он боялся, что комбат не сдержит себя, ударит пленного — и тогда что-то случится, что-то оборвется в его понимании человеческой порядочности, и он, Алёша, навсегда потеряет уважение к своему командиру.

Алёша старался понять, что чувствуют другие, стоявшие тут же командиры и солдаты. Он видел комиссара Миляева: комиссар батальона сидел на пенёчке, положив на колени свою кирзовую полевую сумку, как-то по-домашнему расположив на ней руки, и, как все, тоже смотрел на пленного офицера. Он не вмешивался в поведение комбата. Он только смотрел без сочувствия, с каким-то пристальным, вникающим вниманием; почему-то именно присутствие комиссара успокаивало смятенные чувства Алёши.

Комбат встал спиной к пленному, с высоты роста оглядел молча стоящих среди берёз солдат.

— Петренко? Где Петренко?! — крикнул он.

Петренко выступил боком, как будто его подтолкнули. Его округлое мягкое лицо розовело на скулах, но голубые глаза смотрели прямо и твёрдо.

Комбат шагнул ему навстречу, выбросил вверх кулак:

— Молодец, Петренко! К ордену Боевого Знамени тебя!

Петренко стеснительно пожал плечом, как бы говоря: «Что ж, вам виднее...»

— К ордену тебя, Петренко, слышишь?! — повысил голос комбат.

— Есть к ордену, товарищ капитан, — тихо сказал Петренко и почему-то посмотрел на Алёшу. Взгляды их встретились; Алёше показалось, что Петренко смотрит на него с пониманием, он весь вспыхнул от этого случайного взгляда и внезапно, по какому-то неуловимому обороту мысли, подумал: «А Петренко мог бы убить? Ведь не убил. Но мог бы?..».

... «Мог бы?» — думал теперь, сидя в людном шалаше, Алёша, наблюдая, как Петренко старается избежать общего, стесняющего его внимания. Непокойный Романов давно уже вышел из себя, даже привстал, как будто хотел своими длинными руками дотянуться до упрямого санинструктора и потрясти!

Но слова в Петренко сидели мертво, как гвозди в дубовом кряже; и, как старший лейтенант ни горячился, вытягивал он из Петренко одну только фразу: «Та што говорить, товарищ старший лейтенант!..»

— Вста-ать! — вдруг заорал Романов, будто был перед строем батареи, и первым поднялся, подперев высокими плечами тяжёлый лапник.

— Товарищ батальонный комиссар...

Никто, кроме Романова, не заметил, как поднырнул в низкий ход шалаша комиссар, никто не успел встать, — комиссар вытянул перед собой ладонь, тихим торопливым голосом всех оставил на местах. Людской круг потеснился: комиссар сел рядом с Алёшей, ловко, по-казахски, подогнул под себя ноги. Отодвинуться Алёша не мог и стеснительно и радостно напрягал плечо, когда его касалась плотная, жилистая, быстрая рука комиссара. Комиссар, как показалось ему, был не в лучшем своём настроении, поданную ему кружку чая принял рассеянно и, хотя кружка была горяча, не поставил её, как это делали все, на колено, а забывчиво держал на ладони.

Алёша осторожно, насколько позволяла ему его стеснительность, наблюдал близко сидящего к нему человека. Он наблюдал его именно как человека, потому что ещё дома, под незаметным влиянием отца, учился видеть в любом, даже самом высоком должностном лице прежде всего человека с главными его качествами — добра или зла, справедливости или жестокости, честности, прямоты или всегда неприятной снисходительности к другому человеку.

Комиссар был худ, по росту не велик; даже сейчас, когда они сидели рядом, Алёша нарочито сутулился, чтобы не смотреть на комиссара сверху. И никакой внешней красоты не было в комиссаре: крупная голова, особенно широкая в висках; сухое лицо с неровным, каким-то бугристым носом; пятнистые щеки, когда-то исцарапанные оспой; почти сросшиеся над переносьем брови, на концах загнутые этакими чёртовыми рожками; неопределенного цвета жиденькие волосы были сдвинуты на одну сторону, на крупное, чуткое ухо. Не по-военному держалась на его узких, покатых плечах и гимнастёрка, хотя, как все строевые командиры, он был перепоясан ремнями и носил кобуру с пистолетом и кирзовую, потёртую на сгибах полевую сумку.

И походка у комиссара была совсем не строевая: Алёша не раз видел, как ходил он по расположению батальона неторопливыми короткими шагами, наклонив голову, не по-военному закинув руку за спину. Словом, в комиссаре всё было вроде бы против красоты и против не такого уж редкого даже здесь, на фронте, подчеркнутого воинского блеска.

Но странно, на этого некрасивого человека хотелось смотреть, хотелось быть с ним рядом; он привлекал; и Алёша, то ли от уважительных разговоров, которые шли про комиссара, то ли по внутреннему чутью на истину, ощущал и верил, что у этого невидного, как будто бы измятого жизнью человека внутренней силищи на сотни людей. Смотреть неотрывно на комиссара, как хотелось, он не решался, — смотрел, не поднимая глаз, на узкие кисти его рук с неразгибающимися до конца пальцами, тоже как будто чем-то измятые. Чай комиссар всё-таки выпил горячим и теперь перебрасывал с ладони на ладонь вытащенную из углей и поданную ему картофелину.

— Откуда картошка, Жимбиев? — в голосе комиссара было больше настороженности, чем одобрения. Жимбиев тотчас уразумел и вопрос, и тон, которым вопрос был задан; его непроницаемое для чувств лицо осталось спокойным, спокойным был и ответ:

— Деревня тут совсем гиблая, без домов, без людей, товарищ комиссар. Яму ребята нашли. Много картошки...

— А люди вернутся? Голод встретит? Думал?!

— Думал, товарищ комиссар. Два ведра взяли. От дурного глаза яму укрыли. Сами мало кушаем. Для гостя бережем.

Комиссар уместил на ладони остуженную картофелину, разломил, от каждой половины не торопясь куснул, пожевал медленно, как жуют старики; все поняли: Жимбиева он не осудил.

— О чём шумели? — спросил он, нацеля рожки бровей на Романова.

Романов больше чем надо зашевелился, размашисто кинул руку в сторону. Петренко.

— Вот с ним маялись, товарищ батальонный комиссар! Пытали, как фрица сграбастал. А он молчит, как девица про первую брачную ночь!

Комиссар перевёл взгляд на Петренко. Алёша быстро взглянул на комиссара, увидел, как затеплились его глаза, и почувствовал: толкнулась в сердце ревность! «Ну, почему, почему не ему выпало военное счастье?!»

Комиссар молча разглядывал Петренко, как будто прощупывал взглядом податливые места его души, и спросил совсем не о том и не так, как спрашивал Романов:

— Зачем в поле-то пошел в такую рань?

И Петренко с неожиданной живостью откликнулся:

— Та привычка, товарищ батальонный комиссар! Хлеб робишь, рано у поле идешь. На солнце дивился... — Петренко, стеснительно улыбаясь, отвечал, комиссару, и Алёша с первых же его слов как будто сам вышел из шалаша и побрёл на утреннее поле. Туман уже оторвался от земли, и шёл он вроде бы под низкой крышей; влажная, скошенная солдатами стерня обмывала его сапоги. Постоял он у снопов ржи, составленных солдатами в суслоны, погоревал, что зерно осыпается, а в поле немо — ни люда, ни стука молотьбы. Прошёл до леса. Назад поворотил. Да захотел дождаться солнца, присел у снопов. Тут и шумнула из пологой балочки стайка куропаток. Куропатки — птицы плотные, заработали крыльями — шум, будто мотор запустили! И что интересно: полетели они оттуда, снизу, и прямо к нему, к человеку! Алёше не стоило бы труда догадаться, что не от спокойной жизни поднялись на крыло куропатки-бегуны. А Петренко ещё поглядел-понаблюдал, как опустились они под туманом на краю поля, да ещё вспомнил степь за своей хатой! Потом уж поднялся, пошёл к балочке поглядеть, что за помеха птиц подняла. Глянул — обомлел: внизу — шапкой докинешь! — семеро фрицев в пятнистых своих халатах, согнувшись, гуськом по балочке пробираются. У первого за спиной ящик-рация, и торопятся они от восхода солнца; подзадержались, проплутали где-то, теперь по намеченной дорожке к себе, за фронт. Подумать есть о чём: их — семеро, Петренко — один; фрицы с оружием, у Петренко — только санитарная сумка через плечо. Да вот незадача: думать некогда! Ринулся Петренко с диким воем вниз, взлетел над балочкой, как орёл над пугливой кроличьей ратью. И подхватились фрицы! Не иначе, почудилось им — в засаду угодили. Видел Петренко: последышем драпает фриц в очках, посвёркивая мокрыми подошвами ботинок. Бросился за ним. Фриц, видно, от торопливости запнулся, сунулся головой в траву — себе на беду, Петренко на счастье. Пал врастяжку, а на боку лёжа, рвёт кобуру неверной рукой, отпахнул крышку, рукоять парабеллума из кобуры уже полезла. Вспомнил тут Петренко два страшных для немца слова; не вспомнил даже — слова сами, будто выстрелы, сорвались с языка. «Хенде хох, курва!» — заорал Петренко, сорвал с плеча сумку, крутнул да немцу в ноги. Поджался фриц, руками голову обкрутил, ждёт гранатного взрыва. Так вот и ждал, пока из его кобуры пистолет не выхватил Петренко...

Алёша, слушая, по-своему, переживая то, что случилось пережить другому, всё время помнил о душевной неопределенности, которая в нём была, когда он разглядывал уже пленённого немца.

Петренко в случайном столкновении победил, победил без смерти, без крови; это было как раз то, что душевно устраивало Алёшу. Но вопрос, коварный, не решённый им, перебивал все другие мысли. А если бы всё случилось не так? Если бы немец успел, выдернуть пистолет? Если бы те шестеро не оставили в беде своего? Что тогда? Тогда была бы кровь, была бы смерть...

Он даже вздрогнул, когда в установившемся общем молчании услышал голос комиссара:

— Слушай, Петренко, а вёл ты себя не по-умному... — Комиссар глядел на Петренко, щурился, будто целился в одну, только ему видимую точку. — Не по-умному, — повторил он. — Окажись эти семеро сообразительнее — стоять бы тебе сейчас «языком» перед немецким генералом!

Петренко будто отяжелел от мгновенной обиды, ниже опустил голову, нежные ещё щеки затвердели, губы несогласно сжались. Не поднимая головы, исподлобья, он смотрел на комиссара, и Алёша поразился упрямой твёрдости его взгляда.

— Нет, товарищ комиссар, — сказал он, не уступая. — Расчёт точный был. В чужой хате вор от кошки за дверь скачет. Я на своей земле был. Видел: фрицы света бояться. Себя выдать бояться. А язык, товарищ батальонный комиссар, коли случится такое, и откусить можно...

Алёша подумал: «И откусит...» — перед ним был совсем другой Петренко.

Комиссар, не скрывая удовлетворения, туго скрестил на груди руки, поглаживая согнутыми пальцами плечи. По какому-то своему, комиссаровскому разумению он вдруг наклонился к Алёше, глядя сбоку, спросил:

— А что думает по этому поводу военфельдшер?

Алёша будто кипятка хватил: изумился дружным к нему вниманием, опустив голову, терпел, пока не отступил от горла жар. Поднял на комиссара горячие от волнения глаза, ответил с убеждённостью, на которую только был сейчас способен:

— Петренко — герой, товарищ комиссар! Главное — не убил. Живым немца привёл!

Мгновенным, всё охватывающим зрением он увидел, как заулыбался, будто в неловкости, Романов, почти закрыл плоскими веками глаза, ухмыльнулся Жимбиев. Петренко смотрел с любопытством, кто-то с жалостью, кто-то с сочувствием.

Комиссар будто застыл в наклоне, согнутые его пальцы уже не гладили — сдавливали плечи. Он выпрямился, упёрся кулаками в колени, взглядом - вроде бы всех приглашая к разговору, спросил:

— Слушай, Петренко! Случись выстрелить в того немца — ты б заробел?! Алёша покрылся испариной: комиссар открывал для всех его тайные мысли.

Петренко, как тогда у штабной палатки, внимательно посмотрел на Алёшу, но ответил не так, как он ждал:

— Выстрелил бы, товарищ комиссар. По нужде бы выстрелил.

— Вот то-то и оно! — Комиссар как будто ждал этих слов. — По нужде! Война вся — страшная нужда. Никого не щадит фашист! И жестокость его добротой не поправишь! Гитлер освободил своих солдат от совести. А человек без совести — разве человек?! Фашизм делает ставку на силу. Признает только силу. Как нам быть со своим добром и человечностью?! Остаётся одно: на силу ответить силой... Может, кто-то знает другой способ победить фашизм? — Комиссар подождал, не возразит ли кто-нибудь на жестокую прямоту его слов.

Все молчали. Он досказал:

— Один из поэтов нашёл такие слова: «Я стреляю. И нет справедливости справедливее пули моей...» Точно сказано. Стоит пропустить эти слова через сердце... Что ж, спасибо за картошку, чай. Время к отбою. По домам?

Из шалаша комиссар и Алёша вышли вместе, вместе по памяти осторожно шли во тьме ночного леса. На опушке, угадываемой по звёздному небу, комиссар остановился, сказал с неожиданной теплотой:

— А на Урале звезды ближе — горы!

— Где на Урале, товарищ комиссар? — спросил, волнуясь, Алёша.

— Город такой есть, Златоуст. Не слышал?

— Даже рядом жил!

— Ну? — удивился комиссар. — Где?

— В Миассе

— Значит, и с тобой мы с одной земли! — Комиссар снова вошёл во тьму леса, разговором увлекая за собой Алёшу. — В Златоусте я на заводе работал. В цеху у печи стоял, пока легкие не обжёг. Таганай знаешь?..

— Как же! Даже лазали с отцом!

Случайный попутный разговор позвал Алёшу к откровению. Знать, что комиссар думает о старшине Аврове, было для него так же важно, как знать своё место на войне. Алёша догадывался, что в батальоне с Авровым связано нечто большее, чем знает он. Но спросить об этом прямо он не решился и спросил не совсем о том, что беспокоило его в действительности.

— Простите, товарищ комиссар, — сказал он, обходя тёмные стволы деревьев и снова оказываясь рядом. — Но как вы относитесь к нашему старшине Аврову?

Комиссар остановился.

— Слушай, военфельдшер! Это я должен спрашивать тебя о твоих подчинённых! — В голосе его звучал упрёк и досада. Что-то подсказывало Алёше, что комиссар знает о том, что происходит в санузле. Знает. Не одобряет. Но пока почему-то молчит.

Комиссар снова двигался среди деревьев, руками отводя невидимые ветви; чувствуя состояние Алёши, говорил:

— Ты подумай-ка вот о чём. В этом любопытном шалаше тебя приняли. А старшину Аврова я ни разу не видел у артиллеристов. У далеко не простого их костерка! Ни разу!..



КОМБАТ-ДВА

1

Разбитая ещё по теплу ногами солдат, колёсами телег, машинами, теперь затвердевшая, дорога была мучительна. Подошвы кирзовых сапог соскальзывали с земляных глыб, каблуки с хрустом проламывали ледок лужиц, и брёл Алёша один, в гулком одиночестве, среди лесов, до отказа набитых людьми, не нужный никому — ни батальону, ни фронту, ни войне.

Оступаясь на колдобинах, он отошёл от дороги в лес, опустился под старую ель на подёрнутые изморозью корни. Уходить от батальона было трудно. Он всё ещё надеялся, что пересидит здесь, под старой елью; тем временем комбат образумится, пошлёт вдогонку своего молоденького связного. Вместе они и возвратятся в батальон. Человек не может не помнить о том, что кому-то сделал больно. На то он и человек, чтобы помнить.

Сам Алёша помнил. Помнил, как по вызову шагнул в блиндаж комбата-два, шагнул в радостной готовности чем-то ещё послужить батальону, а вышел, не видя от горя земли и неба. Помнил, как собирал свои скудные вещи в мешок, как, уже покинув батальон, брёл разбитой дорогой в другой лес, где располагался штаб бригады. Больше, казалось, он ничего не помнил.

Но проясняющая работа сознания шла в его страдающей душе, и с удивлением он обнаружил, что в зрительной его памяти сохранилось нечто большее, чем холодный взгляд суженных глаз комбата и голос его, бесстрастный и оглушающий невероятным смыслом произносимых слов: «Из батальона вы отчисляетесь за ненадобностью...». Оказывается, он помнил, что комбат-два был без гимнастерки и сидел на краю нар, положив ногу на ногу, и за белым, обтянутым рубашкой его плечом, в углу, темнела наклонённая голова знакомой ему девушки Полинки. Полинка клонила голову не из смущения, как теперь соображал Алёша, — на худеньком, когда-то задорном её личике уже устоялось выражение вызывающей замкнутости, какого-то отстраняющего презрения, и, может быть, именно к нему, неудачнику, не сумевшему отстоять своё, а может быть, и её достоинство.

Была она уже в заботах о другом человеке и голову клонила к расправленной на коленях гимнастёрке комбата, на которую старательно нашивала подворотничок. И чувствовала она себя в блиндаже комбата явно по-домашнему, и сознавать это было больно даже теперь, когда всё уже было позади.

Память открылась: всё теперь помнилось с отчётливостью второго, уже осмысленного видения. Вспомнилось ясное утро общего построения батальона, комбат-два, нескладно высокий, перетянутый поверх длинной шинели ремнями, его голос, чёткий, торжественный, будто одаривающий этой торжественностью весь батальон, застывший перед ним на поляне, и, конечно, он самый, старшина Авров, молодцевато вытянувшийся в трёх уставных шагах впереди общего строя. «За отличное санитарное состояние всех подразделений батальона старшине санзвода Аврову объявляю благодарность!..» — торжествен, звучен в осеннем ясном лесу голос комбата-два; глух, вороват торопливый уставный ответ старшины.. Или так кажется? Алёша по всегдашней своей привычке ставит себя на место старшины, старается представить, что можно чувствовать, присвоив чужую благодарность. Нет, это только кажется. Старшина встаёт в строй рядом, в старании отлично выглядеть крепко задевает его плечом. Взгляд он чувствует: сухие губы растягиваются, роняют холодную усмешку в сторону Алёши, не смеющего пошевелиться в строю. «Ведь пальцем о палец не ударил! Рассчитывал, что неопытный фельдшериска сломит себя на том, что, казалось, исполнить невозможно!» Но дело было сделано, и Авров сумел подставить свои плечи под чужие достоинства. И откуда такая ловкость? И независимость, и сила? И такая необъяснимая ненависть к нему, Алёше?..

Алёша был в отчаянье; он вспоминал свои отношения с Авровым шаг за шагом, с пристрастием допрашивал себя и ни в чём не находил своей вины.

«Так где же та скорбная черта, что разделяет людей? — в исступлении думал он. — И если она есть, то зачем она?!»

Алёша вдруг вспомнил одно из ворчливых откровений Ивана Степановича: «Ищешь, понимаешь, справедливости. Того самого не знаешь, что врачаха аттестовала, старшину. На военфельдшера аттестовала! Старшина ждал приказа свыше. А свыше тебя прислали. Вот ты и ляпнулся, как блин на сытую рожу!.. Ничего ты, дурь-голова, не понимаешь. Зелёный!..»

«Может, и правда зелёный!» — думал Алёша; и виделся ему Авров на раскладушке в палатке врачахи, и сама врачаха на коленях, и голова её с распущенными волосами на груди у старшины. И тут же, будто это тоже было рядом с тем, что виделось ему, он с дрожью вспомнил случайно услышанный разговор Аврова с Полинкой.

«Ты всё-таки пойдёшь. — Это был голос старшины. — А я говорю — пойдёшь. И сегодня же!» — Голос старшины был жесток, как приказ. «Значит, продаёшь?! — тихо сказала Полинка. — Себя продал, теперь меня продаёшь?» — Она сказала это с таким презрением, что у Алёши оборвалось сердце. Разговор был не для него, он поспешил уйти. Но на другой день все знали, что Полинка ночевала в блиндаже комбата-два.

Всё, что припоминалось сейчас Алёше под старой елью, было как лоскутки разрезанной, разбросанной по дням его жизни, ещё не видимой им картины; он знал одно, знал другое, что-то соединялось, что-то было само по себе. И вдруг, как это обычно случается, когда человек долго и мучительно думает об одном, все лоскутки, неизвестные по отдельности, составились точно теми краями, которыми соприкасались в самой жизни, и картина, которая была в действительности, но до сих пор не видимая в своей целостности, вдруг предстала перед ним. И Алёша готов был завывать от того, что увидел.

Начальником санитарной службы бригады оказался хмурый человек, сутулостью, худобой, шалашиком усов под широким носом похожий на памятного ему семигорского Ивана Митрофановича Обухова. Слушал он Алёшу, сидя боком к пустому белому медицинскому столику, хмурился, моргал и почему-то прикрывал ладонью ухо, как будто его раздражал тихий голос стоящего перед ним навтыжку совсем ещё юного медработника. Не дослушав, он разгневанно стукнул по столу кулаком, и стол дрогнул и сдвинулся на тонких своих ножках. Алёша побледнел; он подумал, что к несправедливости комбата добавится сейчас гнев этого хмурого человека и всё вместе уже бедой обрушится на него, с ещё большей высоты, и теперь непоправимо. Так поняв, он обрёл силу внутреннего сопротивления. Он ещё раз вскинул руку к пилотке, напрягая мускулистое тело, как будто от физической его силы зависела сейчас и убеждающая сила слов, сказал:

— Разрешите объяснить, товарищ военврач второго ранга?..

Хмурый человек, морщась, расстегнул ворот гимнастерки, потрогал шпалы на своих петлицах, проговорил страдающим голосом:

— Нечего мне объяснять, голубчик... — и закричал: — Когда? Когда, я спрашиваю вас, комбаты, наконец, поймут, что медицинскими кадрами в бригаде распоряжаюсь я?! — И снова стукнул кулаком по шаткому, похоже не в первый раз битому столу. — Отправляйтесь обратно в батальон. И служите там, где вас поставили! Я напишу, я сейчас напишу ему, голубчику... — говорил он, в горячности выбрасывая на стол висевшую на его боку тяжёлую полевую сумку. Нервно бегающей рукой он нацарапал карандашом на бумаге десятков слов, сложил, протянул Алёше.

— Передашь своему комбату. Иди...

Алёше оставалось откозырять, повернуться и уйти. К лучшему или худшему — этого он ещё не знал. Он знал другое: он возвращался к себе, в свой батальон, и радость поднялась в нём таким тёплым ответным чувством к сидевшему перед ним доброму человеку, что совершенно по-глупому он забормотал слова благодарности.

Начсанслужбы, видимо довольный неожиданно проявленной своей решительностью, покашливал в кулак, ворчливо останавливал:

— Ладно... Ладно... Достаточно...

Наверное, он чувствовал, что сам уже клонится к растроганности, потому встал и наставительно поднял кверху палец.

— Не меня благодари, голубчик! — крикнул он. — Благодарю законы нашей армии!

В батальон Алёша возвращался утром. Переночевал он в одной из пустых палаток полевого госпиталя и теперь шёл той же разбитой, ещё более скованной ночным заморозком дорогой. Ночь он почти не спал в холодной палатке и сильно озяб; его и сейчас познабливало и подташнивало, похоже, от голода, — спросить в госпитале еды он постеснялся. Но шёл он в приподнятости чувств и, пока шёл, старался додумать важную, открывшуюся ему вчера мысль.

«Подобное, — думал Алёша, — ищет в жизни себе подобное. И сцепливается, как атомы в молекулы. И образуются цепочки. Короткие, длинные — всякие. Есть цепочки зла, которые сцепливаются из людей недобрых. Из таких, как Авров, как потерявшая себя в своем командирском обличье врача, из таких, как комбат-два. Но есть и другие цепочки — цепочки добра. Они состояются из людей как будто незаметных, таких, как Иван Степанович, комиссар Миляев, из таких, как похожий на Ивана Митрофановича Обухова хмурый военврач. Но они, цепочки добра, есть и противостоят злу. И в этом противостоянии чья-то судьба может зависеть от того, у добра или зла окажется больше силы...»

Этой мыслью Алёша удовлетворился, даже как-то успокоился. Поторапливая без того скорый шаг, подумал: «Жить легче, когда обретается ясность...»

Батальон он встретил на выходе из леса; движущимся ему навстречу живым потоком батальон изливался из тесноты лесной дороги на открытость пустого поля. И было в этом движении людей, будто спешащих ему навстречу, нечто до слёз волнующее — батальон, казалось, снова вбирал его в себя. Алёша встал обочью дороги, стеснительно улыбался идущим мимо людям-солдатам, уже по-зимнему одетым в ватные стёганные штаны, шинели и шапки; батальон — он знал — теперь каждый день выходил на полевые учения.

Он видел многие, уже знакомые ему лица и в то же время с напряжением, с нарастающими тревожными толчками сердца поглядывал вдоль строя людей, готовясь увидеть высокую фигуру комбата. И точно: увидел. Комбат-два размашисто шёл по обочине прямо на него, пристально оглядывал строй, как будто не замечая вытянувшегося, ожидающего его человека. Алёша видел эту подчёркнутую отстранённость от него комбата-два и потому, не произнося ни слова, козырнул, протянул распоряжение начальника санитарной службы. Комбат-два приостановился, взял записку, развернул, глаза его сузились, над скулами вспухли желваки. Как будто заново читая записку, он пошёл, сначала медленно, затем всё быстрее, отлично зная, что возвращённый в батальон человек будет идти за ним, пока он не произнесёт своего командирского слова. Комбат-два шёл, уже не глядя на бумагу, шёл молча, размашисто, убыстряя шаг. И шёл за ним Алёша, понимая, что комбат дает ему почувствовать, что власть вышестоящего начальника — случай, власть же его, комбата, в батальоне — закон. И Алёша, чувствуя своё унижение и не смея по закону воинского подчинения повернуться и уйти, шёл, всё с большим отчуждением глядя в обтянутую шинелью узкую спину комбата-два.

Не поворачивая головы, комбат наконец приказал: «Становитесь в строй!..» — и приказ этот был ещё большей несправедливостью: санвзвод в полевых занятиях не участвовал, — при наличии ротных санинструкторов и санитаров военфельдшер на учениях был не нужен.

Человеческая память умеет непостижимым образом приближать прошлое к настоящему. И сейчас, в эту минуту ещё не совершенного поступка, память сдёрнула пелену времени с, казалось бы, уже забытого дня.

Было это в училище. Он стоял в большом, уже опустевшем зале столовой, держа руки по швам своих курсантских синих полугалифе; перед ним, загораживая ему выход широким плотным телом, метался батальонный комиссар — политическая власть училища. Человек, с некрасивым, морщинистым лицом, с нездоровой припухлостью под глазами, не жалея ни голоса, ни своего сердца, кричал на него. Кричал страшно, захлёбываясь и разбрызгивая слюну с изломанных злобой губ.

— Мальчишка! — кричал батальонный комиссар. — Захребетник! Подбирало! Сытости, стервец, захотел?! Люди под пулями гибнут! Сутками стоят у станка, получая краюху хлеба! Где совесть потерял? Где достоинство потерял?! Гнать его отсюда поганой метлой! — срываясь с голоса, кричал он официанткам, которые в присутствии начальства быстро и суетно убирали со столов. — На минуту задержится — гнать! Гнать!

Батальонный комиссар кричал страшно, и вид его, дурно изменённый яростью, презрением к жалкому курсантишке, стоявшему перед ним в нелепых для военного круглых очках, мог повергнуть в отчаяние даже бывалого строевика. Всё возможное делал батальонный комиссар чтобы устыдить его своим презрением. Алёша это видел, но застыло стоял перед унижающим его человеком. Так же молча он выстоял бы, если бы дрожащая ладонь комиссара хлестанула его по лицу. Последним яростным окриком батальонный комиссар как будто вышвырнул его из столовой, так и не увидев раскаянья на ненавистном ему в ту минуту лице курсанта.

Знал бы батальонный комиссар, что было с этим человеком потом! В глухом углу училищного двора, за кирпичной стеной склада, — единственном месте, где можно было уйти в отчужденность, от всего прочего курсантского мира, — Алёша до испарины на пылающем лице, до икоты, до судорожных, задавленных в груди рыданий избаливал стыд. И странно — он помнил это, — в его чуткой на обиду, потрясённой душе не было ответного зла на человека, унижившего его. В тот час душевной потрясённости он сумел обратить сжигающий его стыд и презрение на себя. Он нашёл в своей курсантской жизни тот отвратный день, когда, побуждаемый будто бы естественным для молодого здорово парня и всё-таки низким желанием сытости, спустился вслед за пронырливым дружкой по взводу, кареглазым красавцем Конюховым, в уже опустевшую после обеда столовую. С той уступки и начал незаметно, по чуть-чуть составляться тот страшный день, когда встал перед ним батальонный комиссар. В жизни всё связано: и как нежные узелки и петельки - в кружевах, и как стальные кольца – в цепи. Шагнул – значит, первый шаг сделал. Куда шагнул, туда и повела дорога. Когда знакомый дружку повар впервые выкинул им из кухни в узкое окошко поднос каши, сердце уже дрогнуло стыдом. Потом оно застыло. С застывшим сердцем в госпиталях, на практике, он испрашивал у раненых папиросы, отдавал их где-то в закутке повару, принимал соскрёбши с курсантского котла. Так, шаг за шагом, составилось то противное его существованию унижение, в котором он молча стоял перед яростью батальонного комиссара. В училище и в курсантском окружении Алёши никто не успел узнать о том, что случилось с ним: батальонный комиссар на следующий день, по давней своей просьбе, отбыл на фронт. Алёша мог успокоиться, мог в себе похоронить и позор и своё унижение. Мог. И не похоронил. В один из вечеров он написал свою «исповедь». Нужно было мужество, чтобы посмотреть на себя яростными глазами батальонного комиссара. Надо было подняться до высшей совершенной справедливости, чтобы сказать о себе с презрением, с отвращением, сказать всему училищу, всем, кто каждый день и час был бок о бок с ним.

Он сказал. Сознавая, что идёт на новую, ещё большую нравственную боль, он поместил свою «исповедь» в ротной стенной газете, которую сам редактировал. Он видел, как толпились курсанты у газеты, замечал ухмылки, слышал смех, ловил на себе злорадные, и недоверчивые, и удивленные взгляды.

Закаменев, как каменел он перед яростью батальонного комиссара, он молча и старательно продолжал исполнять свои курсантские обязанности. Он сказал слово, теперь делал дело. И выстоял. Выстоял перед любопытствующими взглядами сотен глаз и перед парой преследующих его глаз красавца Конюхова. Был день, когда вместе они дежурили в уже опустевшей столовой и уязвленный своей душевной слабостью дружок выставил перед ним, как это бывало прежде, поднос с добавочной порцией лапши. «Рубай, тётенька-философ!» - он похлопал его по плечу с грубоватой покровительственностью, уверенный, что в пустоте столовой, без чужих глаз, друг Алёша не устоит. Алёша устоял. Даже не устоял – по уже созревшему убеждению не принял того, что не было ему положено. Удивляясь своему спокойствию, встал, доделал дела по дежурству и ушёл.

Он стал сильнее, чем был. Он это чувствовал. Чувствовали, видимо, и другие. Когда он попал в группу досрочного выпуска и должен был выехать прямо на фронт, к нему, уже собранному в дорогу, уже стоявшему у проходной, прорвался не кто иной, как дружок и напарник, красавец Конюхов. Не обращая внимания ни на команды, ни на командиров, он обхватил его длинными, цепкими своими ручищами, и, целуя и обмазывая совсем уж неожиданными слезами, всё силился сказать ему что-то важное, и не мог найти этих нужных, важных слов, и только всё с большей силой прижимался мокрой щекой к его щеке, не отпуская от себя, пока решительная команда не разомкнула его, казалось, намертво сцепленных рук. В те минуты Алёша понял, что победил не только в себе. Батальонный комиссар знал, что делал: унижая его в слабости, он заставлял его укрепиться в силе...

Всё это память с невероятной быстротой раскрутила перед ним, когда комбат-два жёстко выговорил свой приказ. Но комбат-два унижал не его слабость – он унижал в нём человека. И Алёша чувствовал по тупо заколотившемуся сердцу, по дрожи в холодеющих пальцах, что поступит сейчас не по законам армии.

Комбат-два шёл размашистым шагом, не оборачиваясь: у него не было сомнений в том, что подчиненная ему батальонная единица не осмелится не исполнить его приказ. Алёша глядел в удаляющуюся твёрдую спину комбата-два, ощущал силу его власти над собой и всё-таки, утверждаясь в несправедливости унижающего его приказа, остановился; потом повернулся и медленно пошёл по обочине встреч батальону, с топотом идущему по прихваченной морозом дороге.

Когда последние солдаты и замыкающие их командир третьей роты со взводными так же размашисто, как комбат-два, поспешая за общим движением, прошли мимо, Алёша в остром ощущении невозможности оторвать себя от людей, составляющих батальон, повернулся, даже сделал несколько шагов вслед. Но холодный голос комбата-два, который он и сейчас слышал, остановил его в этом последнем спасительном порыве. Он стоял, пока батальон не скрылся в перелесках, сжимающих за полем дорогу, потом, неловко переступая по мёрзлым дорожным кочкам, пошёл в расположение, сознавая свою человеческую правоту и едва слаживая с сердцем, вдруг отяжелевшим от недобрых предчувствий.

2

Алёша не поднимался, лежал на хвойной подстилке, под двумя шинелями, в мокрой от пота шапке, надвинутой на лоб. Отхаживал его лекарствами из своей аптечки Иван Степанович; он же приносил суп, поил чаем — без ворчливой его заботы Алёша мог бы и не отойти от жестокой простуды, попал бы в госпиталь, — кашель, гулкий, царапающий, истязал грудь особенно по ночам.

Комиссар Миляев явился на третий день его болезни, боком вдвинулся под низкий полог палатки, сел напротив, на постель Ивана Степановича, выставил из-под распахнутых длинных пол шинели острые колени. Алёша заволновался, близко увидев комиссара, начал подниматься, Миляев нетерпеливым движением руки приказал лежать.

Алёша был уже в состоянии слушать, говорить, думать. Приход комиссара его растрогал, но тотчас он предугадал, что комиссар пришёл не просто навестить больного. Неприятный холодок подступившей расплаты потёк к груди; заныли плечи, ноги заломило чуть не до судороги, он прикрыл глаза, осиливая заползающую в душу слабость. Кажется, это ему удалось. Когда он открыл глаза, встретил внимательный, недобрый взгляд комиссара. Сказал первым, пробивая хриплость в горле:

— Спрашивайте, товарищ комиссар! — Голос его хотя и дрогнул, но слова он произнес даже с жестокостью, обращённой к себе: если чему-то быть, тянуть незачем. Необходимости следует идти навстречу, это первое качество мужественных людей далось ему не легко, но всё-таки он выработал его в своём характере.

— Спрошу, военфельдшер! — комиссар продолжал смотреть пристально. — О чём разговор, знаешь? Рассказывай!

Рассказывать, не чувствуя доброго к себе участия, всегда трудно; Алёше было трудно особенно, потому что комиссар был единственным из батальонного начальства человеком, которого он молча, издали, любил. Хрипя, прокашливаясь, тужась, он рассказывал комиссару о своих отношениях со старшиной, о том, как неожиданно вмешался в эти отношения комбат; и дальше, всё по порядку, вплоть до приказа встать в строй, который он счёл несправедливым. Умолчал он только о том, что довелось ему увидеть в палатке врача, безликого их командира: зная теперь, что это тоже имело отношение к жизни батальона, к нынешнему собственному его положению, он всё-таки умолчал о том, — по-прежнему он верил, что отношения мужчины и женщины святы и неприкасаемы, даже у таких людей, как Авров.

Комиссар внимательно слушал; молчал долго после того, как Алёша Полянин высказал всё, что казалось ему важным и нужным. После долгого молчания сказал:

— Приказ, значит, был. И приказ ты не исполнил...

— Не исполнил, — послушно подтвердил Алёша.

Комиссар враз как будто раскалился изнутри, сцепил руки, прихлопнул себя по колену, прихлопнул, видимо, больно, поморщился мимолётно в досаде, глянул в упор из-под густых рыжеватых, рогами изогнутых бровей, сказал оглушающе-тихо:

— Ты знаешь, что дело на тебя передаётся в трибунал?..

Алёша не заметил, как сел.

— Почему в трибунал? Зачем? — недоумённо вышептывал он. Само это слово было не для него. Само слово, которое выкрикивали в запальчивости, и вряд ли к месту, командиры, обычно слабые и жестокие, в училище и здесь, в батальоне, почему-то всегда нагоняло на Алёшу тоску. Трибунал — это было нечто чрезвычайное, такое, что навсегда и с позором прерывало привычное движение человеческой жизни, а то и вообще обрывало её. Трибунал — это было нечто холодное, жестокое, бездушное, обращённое к действительным отступникам от той жизни, в которой он, Алёша Полянин, и все вокруг жили, к тем, кто не хотел защищать эту жизнь, кто вредил этой жизни. Какое отношение трибунал имел к нему? К нему, который сам выпросился в армию, в нетерпении отсчитывал дни, отделявшие его от фронта, и готов был исполнить любое солдатское дело, чтобы хоть что-то добавить к общей победе своей страны?! Нет, это слово не для него. Трибунал! Но почему трибунал?!

— Не понимаю, товарищ комиссар... Зачем это?.. — Алёша попытался перейти с шёпота на голос, но простуженное горло не слушалось; сам себе с этим своим шёпотом он казался беспомощным и жалким. — Я не знаю за собой такой вины, товарищ комиссар...

Комиссар, не поднимаясь, распрямился, насколько позволял брезентовый полог; тёмное в полумраке палатки его лицо было повёрнуто к выходу, казалось, он вглядывался в щель, сквозь которую пробивался внутрь свет холодного осеннего дня. Не глядя на Алёшу, с подчёркнутой неприязнью к последним его словам, он сказал:

— На учениях, где приказано было тебе быть, солдат сломал ногу. Ротный санитар не сделал, не сумел сделать того, что положено. Солдат едва не умер от шока, от потерянной крови. Спасли его в госпитале. Командование бригады рассматривает это как ЧП. Виновником комбат считает тебя, военфельдшер.

Алёша почувствовал, как охватывает его озноб, стянул шинель у подбородка, но плечи дрожали, он не мог удержать шинель слабыми пальцами. Он мог бы объяснить комиссару, что никто не поручал ему подготовку ротных санитаров — занимался этим старшина Авров. Что ни один человек из санвзвода не привлекался к каждодневным учениям рот. Что в этот день он вообще был отчислен из батальона, что, задержись он в пути хотя бы на десять минут, он не встретился бы с комбатом. Что всё это лишь совпадение случайностей. Но понял: что бы он ни сказал, чем бы ни оправдал себя в своих глазах, в глазах других он всё равно преступник. ЧП случилось. Если бы он, Полянин, был там, солдата со сломанной ногой не пришлось бы спасать. На учения он не пошёл. Приказ не выполнил. Всё ясно. Теперь всем всё ясно...

Алёша ощущал совершенную пустоту, — не страх, не удивление, а именно совершенную пустоту, как будто не было у него ни души, ни сердца, а была только вот эта немая, бесчувственная пустота. Из оцепеневшего сознания неведомым путём выскользнула лишь, как пузырь воздуха из воды, одна-единственная, как будто далёкая от нынешнего его состояния мысль: «Что же с мамой? С отцом? Проводили на войну. Ждут, что вернусь. А я...»

Поймав концы шинели, сдавив их у подбородка, уняв на минуту дрожь большого тела, Алёша с убеждённой и безнадёжностью сказал:

— Всё-таки приказ комбата был несправедлив, товарищ комиссар!

— Несправедлив, говоришь?! — Комиссар обжёг его взглядом горячих глаз. — Запомни, военфельдшер, на всю войну запомни: в армии несправедливых приказов нет. Война идет. Каждый день убивают и убивают людей. Вот где она, несправедливость!.. Там, за чертой фронта! Вот и выхлестывай ту, которая там!..

Алёша смотрел поверх жёстко упирающегося в щёку ворота шинели в разгневанное, недоброе сейчас лицо комиссара и, удивляясь вдруг появившемуся безразличию к тому, как и куда повернётся собственная его судьба, и уже не пытаясь справиться с дрожью ослабевшего тела, молча и укоризненно возражал: «Нет, товарищ комиссар. Война войной. А несправедливость не только там, за линией фронта. Она и здесь, рядом. И внутри нас она есть. И вы это знаете, товарищ комиссар. Весь батальон заметил, что вы, товарищ комиссар, отделились от комбата, перебрались в отдельный от него блиндаж. И не потому, что так лучше руководить батальоном. Не потому. А потому, что не могли жить рядом с той непорядочностью, которой живет наш нынешний командир. Вы знаете правду о войне и знаете вот эту, мою, правду. Правду о войне вы говорите. Но вы молчите об этой вот, моей, правде...»

Алёша смотрел на комиссара с пристальностью человека, понимающего то, что недоговаривал властный его собеседник. Смотрел, сам удивляясь вдруг появившейся смелости, которая ещё вчера была бы дерзостью, для него непосильной. Смотрел укоряюще, с безразличием к своей судьбе, которая сейчас была, наверное, и в руках этого человека. И обострившимся в болезни чутьём чувствовал, что комиссар верно понимает его молчаливый пристальный взгляд, оттого и говорит громче и резче, чем надо бы говорить с больным и, в общем-то, беззащитным в своей вине человеком. В какой-то момент комиссар сделал над собой усилие, сломал в себе несправедное чувство силы и власти над другим человеком — Алёша почувствовал это по отмякшему его взгляду. Возможно, комиссар просто заметил струи пота, стекающие по его лицу, увидел, как бьёт его неостановимый озноб, но вдруг с обеспокоенностью сказал:

— Ну-ка, ляг, военфельдшер. Ляг! — Он опустился на колени, неожиданно сильным движением рук уложил Алёшу, натянул до носа шинель, подкутал под бока полы, другой шинелью накрыл ноги.

— Давай-ка оздоравлийся, — проговорил ворчливо, как будто был недоволен проявленной участливостью. Помолчал, сказал, прежде чем вылезти из палатки.

— Дело в трибунал я пока не подписал. Пока не подписал, военфельдшер!

Обессиленный Алёша вжался знобкой спиной в жёсткие еловые лапы, прикрыл болезненными веками глаза и услышал раскатистый голос комиссара уже там, за палаткой, где — он знал — прохаживался в беспокойстве молчаливый Иван Степанович:

— Почему до сих пор в палатках?! Перед боем санвзвод хотите вывести из строя?! Приказа ждёте? А вы что — не командир?! Немедленно приступить к строительству землянок! И больного военфельдшера сегодня же, сейчас же, поместить в тёплый блиндаж!

Алёша слушал раскатистый голос комиссара, приноровленный к одновременному разговору с сотнями внимающих ему солдат, и чувствовал, как из-под крепко прижатых к глазам ладоней сбегает на жаркое лицо благодарные слёзы.



Глава одиннадцатая

НА БЕРЕГАХ

1

В мире что-то случилось: Алёша почувствовал это тотчас, как только выскочил из землянки и с ходу подцепил на ладонь снега растереть заспанное лицо. Необычность была не в сверкающей свежести белой земли, не в жёлто-розовых солнечных прочерках на полосатых сугробах между стволами сосен, не в безмолвии красоты, которой всегда полнится зимний лес в ясный утренний час, — ощущение необычности исходило от людей, которые в тесноте стояли, заполнив всё видимое пространство леса, в шинелях, шапках, тяжёлых солдатских ботинках, с бессознательной цепкостью прижимая к себе взблёскивающие затворами винтовки.

Не слышно было команд, обычных при скоплении солдат, шуток, смеха; от батальона, сгрудившегося под пологом заснеженного леса, исходил какой-то особенный не то шорох, не то шелест сдержанного возбуждения.

Алёша слышал этот растекающийся по лесу шелест возбуждения и, толком ещё не сообразив, что могло означать это необычное самостийное стояние на морозе солдат, почувствовал, как толкнулось и замерло сердце.

От хозвзвода бежал, придерживая на груди автомат, связной комбата; на разгорячённом молодом лице красногрудыми снегирами пылали щёки. Не останавливаясь, он махнул рукой, весело крикнул:

— Приказ получили! Выступаем!

«Вот оно!» — ясно прозвучало в Алёше; от мгновенного внутреннего напряжения заныло под грудью, как всегда ноет, когда умом знаешь ждущую тебя впереди опасность и всё-таки идешь к ней.

«Вот оно!» — гулко и пугающе звучало в Алёше и потом, когда он уже покинул землянку и, готовый к движению, в нетерпении и любопытстве ходил среди тоже готовых к движению в неизвестность солдат.

Он хотел видеть, как ведут себя другие люди, идущие в необходимость боя, и ходил среди людей, смущаясь встречных взглядов и всё-таки стараясь угадать то, что было скрыто за как будто бы спокойным выражением солдатских лиц.

Солдаты стояли отдельными кучками, сдержанно переговаривались; у каждого, где бы он ни стоял, говорил или молчал, Алёша, казалось ему, улавливал не относящуюся к разговору, свою, скрытую в себе думу. О том, что эта дума была в каждом, Алёша догадывался по той излишней сосредоточенности, с которой солдаты говорили о рано наступившей зиме, первых больших снегах, о слабоватой, только что выданной им, махорке; по тому, как курили медленными, глубокими затяжками, невидяще глядя из-под надвинутых на лоб ушанок в посвёркивающую сквозь стволы холодную белизну полян; по тому, как с непонятной старательностью молодые солдаты, робкими улыбками скрашивая растерянность на своих лицах, обтапывали неуклюжими ботинками снег, как будто крайне важно было именно сейчас почувствовать под снегом успокаивающую твердь земли.

Даже по тому, как пожилые, бывалые солдаты, занимая свои руки делом, сосредоточенно доставали из подсумков обоймы с патронами, тряпицей тщательно протирали патрон за патроном, Алёша догадывался, что чувствовали все эти люди в напряжённом ожидании того часа, когда начнёт свершаться страшная для всего живого необходимость войны.

У своей, уже покинутой землянки сомкнулись в круг санвзводовские девчата, все одинаково одетые в новые светлые полушубки, в валенки. Первыми они разрушили немоту томившегося ожиданием батальона, — закинув головы, вызывающе глядя в небо, они пели напряженными голосами:

Ты не вейся, ворон, над степным простором,
Ты над городами, ворон, не кружи.
Мы тебя не любим, мы тебе отрубим
Голову и крылья чёрные твои...

Пели девчата для себя, задавливали обеспокоенность перед, может быть, уже близкой смертью, заполняли морозный воздух высокими голосами, и оттого, что наперекор пугающему ожиданию дерзнули они разрушить общую людскую скованность, стало вроде бы легче, свободнее дышать в заполненном людьми лесу.

Кто-то уже шутил, кто-то сдержанно смеялся, над серыми шапками гуще завис махорочный дым; в острой свежести лесного зимнего воздуха как будто пахло знакомой будничностью предстоящей работы, которую, покуривая, обдумывают сообща мужики.

А в утяжелённом снегом лесу звенели напряжённые девчоночьи голоса:

Мы в бой пойдем со славою за наше дело правое,
За чистые, весёлые родимые поля...

Из штабного блиндажа вышли комбат-два и комиссар; следом, из-под укрытого снегом бревенчатого наката, словно из-под земли, друг за другом поднимались по ступеням командиры рот и подразделений, ступали на мало ещё притоптанный после ночной пороши снег.

Алёша как будто впился взглядом в комбата, стараясь угадать, что чувствует он, комбат-два, в эту всё открывающую в человеке минуту?

Комбат-два на ходу докуривал из красного наборного мундштука, держа пальцы у губ, в торопливости затягивался, пристально следил за укорачивающимся концом папиросы. Докурил, выбросил окурочок, мундштук сунул за отворот полушубка, резким движением натянул перчатки, расправил на пальцах. Минуту помедлил, глянул, сощурился, в морозную голубизну неба, втянул в себя холодный воздух с такой же точно жадностью, как только что курил, и понял Алёша, с затаённой пристальностью наблюдая, что даже ледяное сердце комбата сжато тоской предстоящего боя. Комбат переглянулся с комиссаром, комиссар спокойно кивнул, и Алёша уже сочувственно проследил, как повелительным жестом комбат-два подозвал к себе командиров рот, что-то сказал, и тотчас, обрывая песню девчат, знакомо разнеслись по лесу командирские голоса: «Первая... Вторая... Третья роты...»

«Вот оно!..» — снова прозвучало в Алёше; всё в том же возбуждении чувств он поспешил к санвзводу. Девчата всё ещё стояли тесным кругом, обнимая друг друга, как будто не в силах расстаться, и только одна из них, не принятая в общий круг, стояла около нагруженной подводы, вызывающе прикусывая губы. Алёша увидел её, одетую, как все девчата, в светлый полушубок, но словно отторгнутую от всех, и с неожиданным чувством сострадания остановился, — у подводы была та самая, похожая на мальчишку Полинка, которая в землянке комбата-два со старательностью хозяйки подшивала к комбатовской гимнастерке подворотничок. Почему-то она была не при комбате и в стороне от девчат; яркие, накусанные её губы были как будто обведены тёмной полосой, и траурная эта кайма вокруг губ и какая-то недобрая отторгнутость от всех больно задела Алёшу.

Он хотел подойти, ободрить девушку, но ездовой тронул лошадь, и девушка, неуклюжая в полушубке и валенках, покорно пошла за подводой.

Весь день и в наступивших сумерках сквозь леса, через болота, по заледенелым гатям, с нудными остановками, как будто через силу, подтягивался к передовой батальон, казалось, бесконечный в своей живой, медленно движущейся очереди. Ночь коротали в жиденьком холодном березнячке, на снегу, не разводя костров. Солдаты — кто как мог: в тихих разговорах, в молчаливых думах или в полудрёме, привалившись спинами к тонким, податливым стволам берёз, — покорно дожидались того часа, когда командиры стронут их с мест тихой командой. Алёша хотя и притомился долгой дорогой, но, как прежде, всё ходил среди людей, стараясь проникнуться их состоянием, с любопытством смотрел, как за ближайшим бугром взлетают, зависают в мерцающем ночном небе ракеты и далеко проступают от бледного их света жёлтые снега.

Под утро, постукивая колёсами по неровностям дороги, подъехали батальонные кухни. От сгрудившихся к кухням людей чёрнотой заплыли снега. В привычной суете у котлов, звяке котелков, в нетерпеливом солдатском говоре Алёша различил знакомые голоса поваров. Что-то в тоне их голосов, не бывалое прежде, остановило его, он подошёл ближе.

Он хорошо знал неподступный поварской вид, раздражённые окрики, которыми они осаживали суету у кухонь; на солдатскую очередь всегда они смотрели с высоты котлов, и неуютно становилось от их крика тому, кто дольше положенного задерживал под черпаком свой ожидающий котелок. И солдаты всегда молча повиновались — что поделаешь: повара раздавали пищу, а у пищи своя власть над солдатским желудком! Но тут... Предупредительно-суетно работали черпаками оба повара; в словах, которые говорил то один, то другой: «Погодь...», «Ещё плесну...», «По второму подойдёшь...» — в словах этих, в голосах, как будто даже заискивающих, необычных для тех, кто кормит, Алёша уловил общую, чувствуемую обоими поварами вину перед солдатами, которых сейчас они щедро кормили в ночи. Повара знали, что сами они остаются здесь, в тылу, перед линией фронта, а солдаты, которых в темноте они даже не могли видеть, пойдут в близкий уже час рассвета под пули, проламывать железо и землю, и сколько их хлебает сейчас из котелков в последний раз!..

«Вот оно!..» — в который уже раз прозвучало в Алёше, обжигая душу необычными ощущениями дня и последней перед сражением ночи. Он разыскал подводу с имуществом взвода, при которой находился Иван Степанович, вместе они поели густого мясного супа, принесённого от кухонь.

— Тут твои граммы. Выпьешь? — спросил Иван Степанович.

— Да нет. Кому-нибудь отдайте, — сказал Алёша, всё раздумывая о солдатах, которых почувствовал вдруг совсем не так, как чувствовал прежде. Он обтёр котелок снегом, сунул в подводу.

— Мне бы, Иван Степанович, сумку, побольше пакетов, бинтов. Пойду с ротами, — сказал он.

Иван Степанович чертыхнулся.

— Ты, дурь-голова, смерть себе не торопи, — шипел он, как оплётнутый водой накалённый камень, — не твое дело под пулями шастать! Здесь, понимаешь, мне будешь помогать!

Алёша, чувствуя всепрощающую силу уже наступившего важного часа, неожиданно для себя обнял Ивана Степановича, глядя поверх его широкого плеча в обозначившуюся над снегами просветлённость неба, сказал растроганно в закрытое шапкой ухо:

— Спасибо, Иван Степанович! Но с солдатами я всё-таки пойду...

2

Лопнул стылый, подсвеченный багровостью зари воздух, порванную тишину снова и снова рвали залпы открывших себя орудий. Гул нарастал: вступали в артиллерийскую подготовку другие, невидимые в лесу батареи, как будто торопились догнать тех, кто первыми открыл огонь. Ухающие за рекой особенно сильные взрывы тяжёлых реактивных снарядов сливались с общим гулом работающих орудий, и настолько силён был этот гул, сотрясающий землю, что человеческий голос беззвучен был в этом адском грохоте, производимом самими людьми. За береговым бугром, в немецкой стороне, вспухала тяжёлая дымная туча.

Солдаты, повинувшись жестам командиров, медленно подтягивались через промятые снега к дороге. Когда люди поуплотнились и батальон неровной, длинной, направленной в овраг колонной вытянулся вдоль дороги, Алёша увидел комиссара, поспевающего по серому, размятому, снегу в окружении трёх молодых помощников. В руках у всех были пачки синих листовок, и что-то, наверное очень важное и нужное, было в этих листках, потому что глаза всех четверых на распаренных лицах горели нетерпеливым, шальным огнём. Говорить что-либо в лопающемся от пальбы воздухе было невозможно, и все четверо, оседавая валенками в снегу, побежали в разные концы строя, рассовывая в солдатские руки, синие листки. Комиссар оказался рядом с Алёшей; задыхаясь от быстрой ходьбы, паром тёплого дыхания окутывая овчинную мохнатость расстёгнутого на груди полушубка, он быстрым движением передал ему листовку, подмигнул из-под рогастой брови — мол, смотри и радуйся — и поторопился дальше к солдатам, которые стояли тесно и безулыбчиво и сдержанно следили, как вспухает за рекой и медленно растекается по снегу непроглядная чёрная туча.

Алёша взглянул в листок, и ликующая нотка, которую он слышал в себе со вчерашнего утреннего необычного часа, зазвенела в нём во всю возможную силу. Глазами пробегая крупные печатные строки, он выхватывал суть сообщения об окружённой под Сталинградом армии Паулюса, о стремительном наступлении фронтов к Дону, и в радости хотелось ему кричать: «Вот оно! — наконец-то!».

Появились белые танки, будто рождённые самими снегами; неслышные в общем артиллерийском гуде, тяжёлые в движении, юркие на разворотах, они медленно тянулись, выхлопывая низкие чёрные дымы, вдоль дороги в ложину, всё туда же, к руслу реки, с непонятным и памятным именем Вазуза, — там и остановились впритык друг к другу, дожидаясь своей очередности. Танковая колонна была настолько велика, что видимый в открытости поля хвост ещё не был её концом — конец затеривался где-то в заснеженности леса. Там же, у леса, с правой стороны, по всей шири опушки проступили плотной, устрашающей чернотой подтягивающиеся из тыла конники — Алёша уже слышал, что через прорыв, который должна проделать во вражеской обороне их бригада, уйдёт в тыл врага вместе с танками и конный корпус Доватора.

Обозрев всю, до поры скрытую, теперь явленную к месту удара силу, он уже не мог устоять на месте. В нём ликовал тот доверчивый, восторженный мальчик, который всегда был в нём, который явился с ним и сюда, на фронт. От непрерывных вспышек, пальбы, рёва орудий, от вида нацеленных в прорыв танков и конников, подступивших к передовой, поддаваясь нетерпению и восторгу, Алёша сорвался с места, побежал разыскивать Ивана Степановича. С ходу приник к нему; порываясь сквозь вселенский артиллерийский гул к его уху, что-то восторженно кричал, до невозможности напрягая горло, пока не сорвал голос. Тогда он стянул рукавицу, выставил кверху большой палец, ликующе смотрел сквозь очки, ожидая ответной возбуждённой радости. Однако Иван Степанович как-то неопределённо поглядел на выставленный палец, не разжимая губ, усмехнулся какой-то ускользающей усмешкой, натянул плотнее себе на квадратную голову ушанку, старательно завязал под подбородком тесёмки. Постукивая валенком о валенок, отломил от куста ветку, концом нарисовал на снегу палатку, над ней флаг с крестом, показал рукой на овраг. Алёша кивнул, он понял: санвзвод развернётся в овраге. Но не это было важным: всё, что могло быть важным, было уже там, за рекой, куда медленно, с частыми остановками, продвигалась живая, настороженно-притихшая, неоглядная в своей растянутости череда батальона.

С тех минут, когда с высоты берега Алёша увидел белое пространство реки и людей, которые, выставив перед собой винтовки, покачивая плечами, как будто путаясь в длинных полах шинелей, бежали к противоположному, низкому здесь берегу, с усилием и клоня головы, как бегут против пронизывающего холодом ветра, бежали, ещё прикрытые сверху гулом артиллерийской пальбы и воем ракетных установок, хотя с той стороны реки уже стреляли, и на пропаханном сотнями ног снегу рвались с каким-то лёгким, как будто безобидным дымком мины, и солдаты, словно спотыкаясь о мимолётные эти дымки, падали и многие не поднимались; с тех минут, когда основная, и всё-таки, казалось, редкая, цепь солдат накатила на тот берег и большая её часть ушла в овраг, оставив на истоптанной реке тёмные бугорки неподнявшихся солдат; с тех самых минут, когда общее направленное движение людей, называемое наступлением, обозначило себя и как бы потянуло за собой, и Алёша, казалось, забыв обо всём, чем жил до сих пор, и помня только своё решение идти вслед за солдатами, съехал с края откоса на спине, вскочил и побежал за людьми, уже зная, что вернуться с того берега так же трудно, как бежать туда, — прошло сколько-то не поддающихся осознанию часов. Уже не раз он пересекал открытость реки, волочил то молчаливых, то стонущих, то матерящихся от боли раненых, затаскивал их с помощью попутных солдат-связных в блиндажи, нарытые стоявшей здесь до наступления частью, снова шёл через реку. И всё время, пока он шёл, слышал в воздухе знакомый птичий пересвист, — так обычно посвистывали над заснеженными семигорскими полями пуночки, белые, с бурыми крыльями, небольшие птицы, прилетавшие в суровые зимы из тундры. Всегда с любопытством он наблюдал этих быстрых птиц, шумными стаями, с тонким, звенящим свистом перепархивающих над снегами и дорогами, и так памятен был ему посвист пуночек, что, удивляясь тому, как появились они здесь, после адского грохота недавней артподготовки, пытался в минуты затишья даже разглядеть их.

Пожилой солдат, которого он тащил из-под дальнего берега и рядом с которым опустился в снег отдышаться, долго следил за ним в хмурой настороженности, не удержался, спросил:

— Чего всё выглядываешь, милоч?

Алёша, скидывая пот с лица, смущённо улыбнулся.

— Да птиц! Свистят, а где — не вижу...

Солдат закрыл глаза, поворочал головой в съехавшей на лоб шапке, жалеюще вздохнул:

— Впервой, видать... Такую птицу, милок, поймаешь — не подымешься. Пули это. Вон, с колокольни бьёт!..

Алёша с опаской оглянулся на церковь с тускло-красной колокольней, открыто стоящую на крутояре, на самом повороте реки, среди хорошо видного большого села, почему-то ещё не отбитого у немцев, и неуютно стало ему среди открытости снегов. Уже без остановок он дотасил солдата до блиндажей и, когда перебежал снова на тот берег, где был батальон и откуда глухо доносилась нечастая стрельба, всё поглядывал на тёмно-красную колокольню, чем-то похожую на обгорелую ель, и пригибался, и даже падал в снег, когда близко слышал знакомый, пугающий теперь, не птичий посвист.

Бой, начавшись, шёл уже по своим законам — по законам необходимости самого боя и по возможностям, которые были в бою у людей: солдаты, видимые с реки, перебежали по склону оврага; кто-то стрелял; кто-то падал и лежал не в силах подняться под высверками летящих пуль; кто-то волочил по дну оврага ящики не то с патронами, не то с минами. Но общее, движение шло — полоса соприкосновения враждующих сил медленно, но отодвигалась, то в одном, то в другом месте, в глубь берега от реки.

Действовал по своим возможностям на отвоёванном берегу и Алёша: перебегал, полз, где казалось опасно, выискивал раненых, перевязывал; тех, кто не мог идти, стаскивал под берег, ближе к дороге, рассчитывая, что захватят их обратные, в тыл уходящие подводы. От солдат он отстал. И только тогда, когда прополз наконец сквозь полосу уже порванных, опрокинутых во многих местах проволочных сплетений и пробился через снега на приовражный бугор, тогда только близко увидел замкнутое холмами пространство земли, где шёл тот самый бой, к которому так упорно его влекло.

Не сразу он разобрался в том, что происходило на маленьком пяточке зареченской земли. Он заметил людей в траншее, отбитой у немцев, уходящей правым своим концом вниз к глубокому дну оврага; видел на заснеженном склоне, выше траншеи, лежащих редкой цепью солдат; и под самым гребнем, над которым ещё висело задымленное небо, угадал изломанную полосу другой немецкой траншеи. В неё-то, как можно было понять, и пытались втянуться лежащие на снегу солдаты. На глазах Алёши поднялись двое, горбаться, пробежали вверх по склону; поднялось ещё с десятков солдат. Тут же запыхало вокруг бегущих от множества ударяющих в поверхность снега пуль, и все, кто поднялся, спешно попадали, как будто только и ждали этих оправдывающих их падение минут.

Через какое-то время в точности всё повторилось, и Алёша в досаде на солдат, которые так трудно поднимались и с такой готовностью падали, с мальчишеской злостью на тех, кто не давал солдатам подняться, пополз нетерпеливо выше на бугор, стараясь разглядеть тех самых, которые стреляли.

Траншея, ещё не отбитая у немцев, проглядывалась, и довольно отчётливо, с нового места. Тянулась она сквозь гребень склона, и щель, пересекающая гребень, виднелась, как открытая в небо дверь; её светлый квадрат то закрывался ходившими там чужими солдатами, то снова открывался. Когда тени сходились, над срезом траншеи словно вскипал парок, доносился глухой в снегах, вроде бы безобидный постук пулемёта. И было неловко и странно видеть, как от этого глухого, как будто безобидного звука солдаты, поднимавшиеся на склоне, падали и вжимались в снег.

Алешу, видимо, заметили: у глаз возникла и с каким-то свистяще-режущим коротким звуком пронеслась, сверкнув мгновенным видением огня, устрашающе-враждебная ему сила. И так остро ощутил он саму возможность опрокидывающего её удара, что всё мысленное его участие в действиях солдат, замедленно подбирающихся к чужой траншее, исчезло, — спасающим себя движением он тут же сполз, укрылся за бугром.

Всё ещё ощущая унижительную неподвижность испуганного тела, он подумал о солдатах, которые были там, на склоне, и с какой-то ещё не совсем ему ясной мыслью пополз вниз, к кольям, опутанным проволокой. Вытянул из-под лежащего там убитого солдата винтовку, вернулся по свежему следу к бугру.

Страх, который он испытал, он помнил, и память страха теснила ему грудь, и всё-таки осторожно, но подтягивался он к верху бугра, прикидывая, как быть ему понезаметнее в белизне снегов.

Не поднимая головы, лёжа на боку, он проверил, есть ли в патроннике патрон, передвинул планку прицела, бинтом тщательно протёр очки, бинтом обмотал шапку, конец ствола, уместил тяжёлую винтовку на ладони.

С такой же тщательностью, как на контрольных стрельбах в училище, он целил в чёрные тени, заслонявшие в траншее просвет неба. После выстрела просвет открылся. Возбуждаясь первым выстрелом, он перезарядил винтовку, прицелился. Когда появилась тень, снова выстрелил, и снова просвет освободился от тени. Он выстрелил пять раз, не зная, куда попадают его пули, но пулемёт не стрелял. Он видел, как перебежками, словно большие, тёмные, взлетающие и тут же падающие в снег птицы, накапливаются на склоне солдаты, и радовался тому, что они двигаются.

Винтовка была пуста; он вспомнил про свой патрон, который вёз с далекого Урала и до сих пор тайно и упрямо носил в кармане гимнастерки, и, радуясь тому, что вспомнил, что патрон действительно был при нём, торопясь расстегнул полушубок.

Достать патрон он не успел. Что-то вдруг переменялось во всём движении боя.

Солдаты только что перебежавшие по склону вверх, теперь безостановочно, спасая себя, бежали вниз, назад, к той траншее, которая была отбита у немцев прежде. Солдаты бежали, вбирая головы в плечи, стараясь уменьшить себя на открытости поля, и за ними, невесть откуда явившись, катился, сливаясь со снежностью поля, белый будто вывалянный в муке, танк; мерцали траки гусениц, вихреватое облако летело за танком, и острый язычок пламени бился у правого края угловатой башни. Бегущие солдаты падали, танк накатывался, давил их, разворачивался, настигая тех, кто оставался позади. Он неистовствовал среди бегущих, беззащитных перед ним людей, и от вида его неистовства леденела спина у Алёши под полушубком. Там, за рекой, стояла колонна мощнейших, готовых к бою танков, одного из которых хватило бы остановить это кровавое побоище. Но танки стояли за рекой, танки почему-то ждали, когда эти вот падающие под пулемётным огнём люди пробьют им проход в немецкой обороне. Там, за рекой, на огневых позициях были сотни орудий, один снаряд которых мог бы превратить эту убивающую машину в груды дымящегося железа. Но даже если бы на месте оцепенелого от вида чужой гибели Алёши был самый опытный артиллерийский корректировщик, он не смог бы послать в танк и единого снаряда, потому что снаряд рванул своих же солдат. На малом пяточке наступления, где был Алёша, должны были быть какие-то свои возможности, должны были действовать другие силы, способные остановить побоище; но, если эти силы были, они почему-то не действовали.

Сейчас Алёша не думал о том, что немцы, поддержанные танком, могут перебежать в свою, отбитую у них траншею, отрезать другие роты, которые бились где-то впереди, в конце оврага, на выходе в поле; он не думал о том, что, если это случится, он тоже не уйдет, потому что река тогда станет фронтом переднего края. Он только смотрел оцепенело и сознавал, что помешать этому чудовищному побоищу бессилён.

Солдаты добежали до траншеи, сыпались в узкую глубь её, как сыплется в ров оползающая земля. В панической суе людех Алёша не сразу увидел человека без винтовки, в короткой стёганке, в шапке с торчащими кверху ушами, который, будто не видя того, что делается на поле, один шёл от траншеи навстречу бегущим.

Оказавшись в безлюдье, человек пригнулся, не отводя от тела напряжённые тяжестью руки, широкими шагами побежал к близко проходящему танку, охватывая его сзади, как охватывают охотники набегающего зверя. Одну из гранат он кинул, не рассчитав своей силы: взрыв поднял только снег и землю. Танк остановился; что-то зловещее было в том, как медленно он поворачивался лбом к смельчаку. Так же медленно танк двинулся к нему, распластанному, чернеющему стёганкой на размятом снегу. Человек вдруг перевалился с боку на бок, покатился по склону вниз, исчез не то в окопе, не то в воронке. Танк, не прибавляя скорости, подошёл к тому месту, где скрылся человек, повернул вправо, влево, вдавливая своей тяжестью то, что было под ним, спокойно, как вдавливают подошвой сапога окурки. И тут случилось то, чего уже не мог ждать Алёша. Едва танк отошёл, нацеливаясь пушкой на траншею, как выметнулось позади его низкой угловатой башни пламя. Взрывом, казалось, содрало половину его белой шкуры; дым, на глазах разбухая, потёк в снег. Из чёрного дыма появился человек в стёганке, без шапки, пьяно шатаясь, загребая ногами, подошёл к траншее, повалился на руки солдат. Видно было, как в досаде он растолкал окруживших его людей; покачиваясь, пошёл траншеей в овраг; время от времени он останавливался, тряс головой, как будто выбивал из ушей воду.

Алёша перехватил солдата на выходе из оврага. Привалившись к земляному выступу, он лежал на боку, подогнув ноги, выгибая худую шею, хватал красным ртом снег. Алёша, почему-то боясь дотронуться до солдата, припал рядом, переводя дух от бега, с готовностью предложил:

— Давай перевяжу!

Солдат повернул к нему чёрное, в копоты, лицо, морщась, пальцем засверлил ухо.

— Где перевязать?! — крикнул Алёша, поняв, что солдат не слышит.

Солдат сел, сказал, сияясь улыбнуться опухшими губами:

— Бинтов, доктор, не хватит. Всего поломал, сволочь... Руку вот разве перевяжи.

Алёша узнал солдата.

— Ты, Колпин?!

— Я, доктор, я. Видишь, как получилось... — Он всё старался улыбнуться страшным чёрным лицом. Алёша видел улыбающийся сквозь боль взгляд солдата, бинтовал окровавленную ладонь и мучился запоздалым раскаянием.

— Доктор, а доктор! Ты не серчай за то самое... — говорил Колпин, возбуждаясь болью. — Ей-ей, зла тебе не хотел. У солдата, сам знаешь, какая воля...

То, о чём говорил сейчас Колпин, был случай между ними, задолго до боя, ещё в лесу, в пору, когда Алёша в безоглядном увлечении первым порученным ему делом искоренял в батальоне вшивость. Казалось бы, всё — искоренил! И вдруг на осмотре в роте — двое. На третий день — опять двое. И опять Колпин с дружкой! Нечистых солдат в приказном порядке освобождали от полевых учений: Алёша держал их при вошебойке как рабочих и по три раза на дню заставлял прожаривать всё белье, даже чистую смену. Ничего не помогало — на второй день у Колпина опять снимали с ворота живую вошь.

Алёша в яростном негодовании молодости, от непереносимого презрения к телесно нечистому, как казалось ему, человеку, без жалости заставлял его пилить на болоте берёзы, колоть дрова, топить печь, выжаривать бельё. И чем больше он неистовствовал, тем с большей видимой увлеченностью и усердием работал Колпин.

Как-то в ночи Колпин, вроде бы сочувствуя и жалея, подсел к нему, угрюмо сидевшему у печи, сказал примирительно:

— Ладно, доктор. Покаюсь... — Он раскрыл ладонь, багровую в отсветах огня, перекатил короткую, от автомата, гильзу, заткнутую мхом. — Вот вся твоя печаль, доктор. Пленные воши у нас тут, в патрончике. Как проверка — себе да дружке на ворот... У твоей вошебойки хоть в нечистых, а привольнее. Да и рукам привычнее пила да топор... Уж больно убиваешься, глядим. Трудно ты, доктор, живёшь! Хоть и молодой. Вот решили: в успокоение тебе, отпускаем. Все, доктор. Чист теперь твой батальон... — Он вздохнул, сощёлкнул патрон с ладони в темноту.

Алёша едва не плакал: так унизительна казалась ему открывшаяся солдатская хитрость. Растроганный неожиданным покаянием, ненавидя и прощая солдата, он горестно воскликнул:

— Воевать-то как будешь, Колпин!

— Да как-нибудь, доктор, — ответил смиренно Колпин. Мы ж понимаем. Что позволяешь тут, там не дозволишь... А вот на этакое, доктор, при случае погляди. — Он с неловкостью положил ему на колено квадратик плотной бумаги. — Я, кроме прочего, ещё и рисовальщик.

Потом он разглядел карандашный рисунок, где Колпин изобразил его, Алёшу, в командирском обличье под берёзой, у огня; при удивительной внешней схожести было в крутом повороте головы и чертах лица нечто такое, что заставило Алёшу, разглядывающего рисунок, краснеть, — безулыбчивость и нетерпимость в колючем взгляде сквозь очки и какая-то насильственная жёсткость, пожалуй, даже жестокость, в плотно стиснутых губах.

Алёша понял адресованный ему упрёк солдата Колпина и не сразу решился отослать рисунок в письме домой. То, что хотел открыть ему умудрённый Колпин, солдат с несомненным даром художника, разглядела мама. Как всегда, щадя его самолюбие, она чутко отнесла нетерпимость и жёсткость взгляда сощуренных глаз к суровости, общей для солдат, нынешней войны. «Судя по рисунку, ты стал совершенным солдатом...» — писала мама, и Алёша не мог не почувствовать мамину боль от того, что она не нашла в том рисунке ни доброты, ни прежней, милой её сердцу стыдливой мальчишеской нежности...

Алёша ясно помни, забинтованную разорванную ладонь Колпина, а солдат, измятый танком, возбужденный болью воспалённого тела, всё порывался испросить у него прощения за то, что не было его виной.

Колпин закашлялся, согнулся, рукой терзая грудь, сплюнул кровью.

— Ты, доктор, меня не провожай, сам дойду. Делов у тебя и так хватает... — Он поднялся, не сразу установился на ногах, Алёша, остро чувствуя свою вину перед солдатом, крикнул:

— Герой ты, Колпин!

— А!.. — солдат поморщился. — Надо было ему, суке, дать... — Он пошёл кособоча, в неподвижности удерживая склонённую к плечу голову.

Алёша не решился взять с лежащего невдалеке убитого солдата шапку, надеть на живого Колпина. Колпин сам подошел к убитому, с трудом нагнувшись, подружески похлопал мёртвого по плечу, взял его шапку, насунул себе на голову.

Колпин шёл по реке, широко загребая ногами, время от времени останавливаясь, собирая силы, шёл дальше, пьяно пошатываясь, не таясь в открытости речного пространства ни пулемёта на колокольне, ни миномётных батарей, шёл, забирая снежной целиной к оврагу. И Алёша взглядом широко раскрытых глаз провожал его до тех пор, пока солдат не дошёл до своей стороны и тёмная покачивающаяся его фигура не укрылась в приовражном, уже безопасном для него кустарнике.

В глубине оврага слышались дружные подбадривающие крики. Алёша встревожено оглядывался, пока не увидел, как из-за выступа оврага к пологому склону, где горел танк, солдаты, крича, торопливо выкатывали пушку. Под уклон пушка сошла юзом, солдаты, вцепившись, даже придерживали её. Но внизу она всей тяжестью вдавилась в заснеженный гребень, колёса осели в снегу, и солдаты, облепившие пушку, как ни ругались, не могли надвинуть её на крутизну.

Алёша, только что проводивший взглядом Колпина, вскочил, подбежал помогать. Увидел среди облепивших пушку солдат багровое от напряжения лицо комиссара; ладонями, грудью напирая на щит, он натужно кричал:

— Взяли!.. Ещё взяли!..

Когда пушку общим согласным предельным усилием наконец перекатали, комиссар, переводя дух, сволок с головы шапку, растирая ладонью мокрые, спутанные на лбу волосы, в удивлении смотрел на Алёшу, как будто только сейчас разглядел его.

— А ты чего здесь?! — спросил, тяжело дыша.

— Да вот... — не зная, как объяснить, Алёша развёл руками, радостно улыбаясь удивлению комиссара и тому, что комиссар его видит здесь, на только что отвоеванном берегу. Открытая наивная радость, с которой он смотрел, не вызывала почему-то одобрительной ответной радости. Лицо комиссара, ожесточённое какой-то другой, важной и спешной заботой, с минутной пристальностью оборотилось к нему; отвлёкшись на миг от главной своей заботы, он как будто прикидывал сам факт появления батальонного фельдшера здесь, где, по его комиссарским понятиям, ему не надлежало быть.

— Значит, геройствуешь... — сказал он, часто и шумно дыша. — Геройствуешь, значит, — повторял он и закричал, потрясая шапкой так, как будто ему ненавистно было само присутствие Алёши: — Здесь бой, военфельдшер! Бой! Немедленно за реку! В санвзвод!

Слова и крик комиссара, обращённые против него, были неожиданны и незаслуженно жестоки — радость Алёши потухла. Опустив голову, сжав губы, он молча стоял, всем своим видом выражая упрямое несогласие с тем, что кричал дорогой ему человек. Он считал себя правым: он не бежал из боя, он шёл в бой. И комиссар даже в запальчивости, сквозь взбудораженные идущим сражением чувства, сумел разглядеть и понять его обиду. Уже не приказывая, озираясь на пушку, он в торопливости выкрикивал:

— Двое вас, врачей, на батальон! Двое! А нас — тысяча! И на каждого...

Заслышав зачистившую на склоне стрельбу, о тотчас ушёл в главное дело идущего боя, до зычности возвысил голос, закричал артиллеристам:

— На позицию выводите! По танку! По танку!..

— Танк подбили, товарищ комиссар! Солдат Колпин подбил! — заражаясь общим, чувствуемым в самом воздухе боя возбуждением, тоже закричал Алёша.

— А!.. Подбили!.. — Глаза комиссара сверкнули мстительностью и злорадством; он выругался сладостно и непривычно грубо, как, может быть, подобало минуте крайнего ожесточения. Однако солдат, тащивших пушку, он не остановил, а ещё больше увлекая, закричал:

— Давай, давай, ребята! Выводите на позицию! Чтоб ни одна сволочь лба не показала...

Он надвинул на неостывшую, окутанную паром голову шапку и побежал, торопясь через сугроб, неуклюже вскидывая ноги в простых кирзовых сапогах, к замешкавшимся, суетящимся у пушки артиллеристам.

Возвращаться в санвзвод теперь, когда бой обретал какую-то определённую, Алёша не думал. Здесь он был нужней, он видел это. И тоже побежал, оглядывая место, где ставили сейчас пушку, к линии разбитых проволочных заграждений: он помнил, что там, у проволоки, лежал не выбравшийся к дороге раненный солдат.

4

Он пробирался вдоль второй линии проволочных заграждений к лежащему там солдату, когда рядом с ним плюхнулась Яничка. Привалилась, обхватила рукой, как будто собиралась прямо тут, на снегу, пролежать рядышком до ночи. Потом стащила с головы шапку, обратила вверх будто в бане распаренное лицо, с мокрыми, по-смешному прилипшими ко лбу спутанными волосами, морща маленький нос, захлёбываясь словами, заговорила, сама себя перебивая залихватистым смехом:

— Ох и утомилась! В са-амом конце оврага была! Солдатики поднимала, поднимала... Командир орёт, а солдатики позарылись, — ну, будто всех поубивало! Бегу, тащу. Кого за шапку, кого за шинель. Одного, трусливого, со зла даже пнула. «Вставай! — кричу. — Такой разэтакий!..» Раскричались, побежали. А пулемёт с горы — вжи, вжи!.. Опять повалились! Ну, работка — помереть!..

Яничка, будто в изнеможении, раскинулась на снегу, в одной руке шапка, на животе сумка с красным крестиком, и Алёша, как ни был удручён назначенным себе делом, улыбнулся беспечному Яничкиному задору.

Горсть зеленоватых пуль пронеслась с такой стремительностью, что только глаз запомнил их мгновенный, будто опавший ветром пролёт, брызнули щепки с ближайшего к ним кола; задетая пулями проволока звенькнула неприятным железным звоном. Алёша запоздало пригнул голову. Досадуя на свой испуг, подёрнул к себе Яничку. В смешливой готовности, будто и не заметив хлестнувших пуль, Яничка перекатилась к нему в умятую ложбинку, с весёлым ожиданием заглянула в лицо. Он взял из её руки шапку, сердито нахлобучил ей на голову.

— Не дури, Яничка, — сказал, хмурясь. — Давай-ка лучше работать...

Яничка засмеялась, повернулась на живот, приподняла голову, разглядывая чёрный, медленно растающий в морозное небо дым над горящим танком, удивленно протянула:

— У вас тут и танк долбанули!..

Алёша не ответил, пополз вдоль проволоки к раненому.

Этого совсем ещё молодого парня-солдата, до невозможности тяжёлого, они, не сговариваясь, потащили за реку. Парень был ранен, наверное смертельно: пулей раскроило ему темя; но он хрипел, ощущая сохранившейся частью сознания свою жизнь, выгибал с такой яростной натугой грудь, как будто старался подняться на ноги. Парень хотел жить, и Алёша не мог оставить солдата.

По пространству реки, задыхаясь от безостановочной натуги, они волокли на шинели хрипящего, булькающего слюной парня, торопились, напряжённо перебирая ногами, почти в рост, совершенно забыв в поспешности дела о высокой колокольне на крутояре. Но именно оттуда, с колокольни, накрыли их пулемёты. Пули засвистали в открытости реки, будто порывы ветра в чердачных щелях, втыкались в снег, казалось, под самыми ногами. Залечь на виду было гибелью, и Алёша подстегнул Яничку яростным криком. Бегом они одолели последние десятки метров, укрылись вместе с солдатом за береговой кручей. Весь мокрый, словно только что выбрался из реки, Алёша обессилено привалился к откосу, запалёно хватал открытым ртом воздух, скомканным бинтом торопливо протирал заплывшие потом, лоб, глаза, подбородок. Надел очки и увидел, как Яничка, замерев, смотрит на парня-солдата.

— Алёша?! — Тихо позвала она.

Солдат не хрипел, лежал спокойно, вдавив подбородок в грудь.

Алёша нагнулся, пошевелил парня — на ладони осталась кровь.

— Второй раз убили, — сказал он, вытирая руку о снег, и неожиданно выругался: — Сволочи!.. — Наверное, он побледнел, потому что Яничка переползла, головой сунулась ему в плечо, сказала, утешая:

— Ладно, Алёша! Гляди, сколько их! И на реке. И там, за оврагом...

Тела убитых как-то уже примелькались; смерть парня подействовала. И пуля ударила рядом, могла бы в Яничку, могла бы в него... «Могла. Но не ударила же!» — думал он, трезвея не первым в сегодняшнем дне ощущением пролетевшей мимо смерти. Он начинал понимать, что в медленном продвижении людей, которые упорно стараются проникнуть сквозь заграждения, бьющие в них пулемёты, сквозь разрывы снарядов, мин и чёрт знает через что ещё спрятанное там, в глубине и вокруг оврага, в этом, может быть, даже наверное, необходимом на войне, но далеко не радостном движении людей, называемом боем, слишком много какой-то общей человеческой боли.

Он сидел на снегу, привалившись к береговому откосу, думал, что всё его безрадостное состояние от того, что своего места в бою он ещё не нашёл. «Что-то не так делаю, — думал он, стараясь вернуть себя в необходимость боя. — Полдня тыкаюсь в то, что перед носом. А стреляют уже в конце оврага. И сколько раненых там. И, наверное, без помощи...»

Яничка толкнула его в колено:

— Гляди, Алёша!

Алёша посмотрел вдоль реки, увидел на дороге, проложенной к тому берегу в глубь оврага, три подводы, гружённые ящиками. В ту минуту, когда он посмотрел, за подводами уже опадали комьями льда взрывы долетевших снарядов и езовые, пригнув головы, бежали к оврагу, побросав лошадей на открытости реки. Следующие три снаряда, так же обозначив себя согласными взрывами, упали ближе подвод. Бурый дым, светлея снизу, потёк к лошадям. Лошади, приученные к звукам войны и послушанию человеческому голосу, стояли в упряжи, опустив головы и хвосты. Алёша напрягся, догадываясь, что следующие снаряды упадут прямо на лошадей. И точно: взрывы ударили, казалось, из-под самых подвод. Задняя, соловая, лошадь подняла голову, как будто хотела разглядеть сани и человека, своего хозяина, подогнула передние ноги, как-то нехотя повалилась на бок, придавив своей тяжестью оглоблю, задрал кверху другую. Лошадь лежала неподвижно, темнея выпуклостью брюха. Две другие, карие, с чёрными гривами и хвостами, переступали, но ни одна не сделала движения к своему спасению. В покорности они всё так же стояли на открытости реки, пока новые разрывы не повалили их в снег; одна из упавших лошадей какое-то время сучила вскинутой ногой, потом затихла.

— Жалко-то как! — сказала Яничка, напряжённо смотрящая на лошадей. — Ума не хватило убежать!

— У этих подлецов — хватило! — Алёша в злости стукнул кулаком по колену, как от холода, передёрнул плечами, подумал: «В ящиках, наверное, мины, гранаты. Что было бы там, на открытом склоне оврага, если бы у солдата Колпина не оказалось гранат?!»

Выглядывая схоронившихся под берегом езовых, напрягаясь желанием понять, он думал: «Может быть, они тоже поступили по законам человеческих возможностей?.. Но как же тогда Колпин? Были бы гранаты, но не было бы солдата Колпина, что произошло бы там?!».

— Яничка! — Сказал он, суровостью голоса давая понять, что говорит серьёзно. — Пойдёшь сейчас в санвзвод. Пусть посылают подводы, вывозят из береговых блиндажей раненых. Оврагом подъедут и днём. А я туда, к передним ротам...

— Фига с два!.. — сказала Яничка, и с такой непреклонностью, что Алёша даже оторопел. — Ты пойдёшь и я пойду!..

— Да пойми же! — Алёша пробовал сердиться — приказывать он ещё не умел. Яничка, не слушая, навалилась ему на ноги.

— Попробуй вот, встань, — она ещё смеялась...

Алёша, сердясь, хотел подняться, но упал, рука его ударила по уже затвердевшему лицу солдата. Он притих, сел, уткнувшись подбородком в согнутые колени.

Яничка почувствовала его настроение, села рядом, прижалась.

— Ой, Алешка! Забыла тебе сказать! — Она обхватила рукав, заглядывая ему в лицо узкими, будто растянутыми к вискам, смеющимися глазами. — Врачиху-то нашу отправили в тыл... Живот у неё! Вот-вот родит... Старшина теперь голенький остался. Другого командира пришлют!..

Ну и Яничка! Было в ней что-то от той, теперь, издалека, особенно милой ему девчонки из Семигорья, удивительной Зойки Гужавиной. Яничка — такая же! Бой идет, смерть у ног, а она живёт в своем привычном ей мире, как будто вся эта неестественная для жизни гулкая суматоха, в которой кровью захлёбываются люди, никак не может затронуть её самое!..

С трудом он уговорил Яничку пойти в санвзвод. Яничка вытребовала у него слово ждать её тут, и на самом этом месте, и с ловкостью неуклюжего на вид зверёнка вскарабкалась по крутому откосу на берег, отороченный высокими елями, махнула оттуда, сверху, рукой. Вернуться она могла минут через тридцать, ждать Яничку надо было хотя бы и потому, что в сумке у него почти не осталось перевязочных пакетов.

За рекой, уже далеко на выходе из оврага, вперекрест хлестали снежное поле кнуты светящихся в полёте пуль. Бой передвинулся, Алёша это видел и почему-то не почувствовал радости от видимого ему передвижения боя.

Только теперь, в одиночестве ожидания, он почувствовал, как устал. Привалился к откосу, ощущая, как неприятно холодит, липнет к словно избитым бокам и спине мокрое от пота бельё, но пошевелиться, отлепить от тела мокрую под полушубком рубашку не находил сил.

Дрожание земли он ощутил сначала спиной, потом услышал слитный непрерывный гул, увидел, как вышли из-под кручи берега осторожные на реке танки. Давая подальше отойти впереди идущим, они ровно катили, поднимая снежную пыль, мимо убитых лошадей, брошенных повозок, к оврагу.

Нескончаемо, с низким ровным гудом шли танки, выставив из покатых белых лбов башен длинные стволы пушек, и было их так много, так угрожающе сотрясали они берега, что даже вражеские наблюдатели, похоже, занемели на колокольне, — ни одна мина, ни один снаряд не ударили в открытость реки, рассечённой танковой колонной.

«Вот оно! Значит, прорвали!» — встрепенулся Алёша, поднялся, возбуждаясь видом идущей на вражеский берег силы, слушал заметно участившуюся пальбу тяжёлых орудий за спиной.

Танки прошли, гул их замер в глубине оврага, слился с привычными звуками идущего боя. Снова перед ним была знакомая открытость реки с ещё не рассеявшейся дымной полосой, оставленной танковой колонной. Искрящийся на солнце снег. И в снегу, ближе к тому берегу, бугорки солдат, павших в утренней атаке. И неподвижные лошади у брошенных повозок. И всё та же стрельба на склонах оврага.

Он сел рядом с безгласно лежащим на шинели парнем-солдатом, снова привалился к откосу.

«Значит, прорвали...» — подумал на этот раз устало, как о деле, которое давно должно было сделать, а оно всё тянулось, не завершалось и наконец вот, как надо, завершилось. «А конники что-то не пошли...» — вспомнил он. И как-то отрешённо от всего, что было вокруг, подумал, что бой — совсем не место для подвигов. Что это, быть может, самая тяжёлая работа. Самая тяжёлая, опасная и самая горькая из всего, что только может быть...

Из-за реки шёл солдат, широко размахивая рукой, с тем безразличием к открытому пространству, с каким обычно уходят в тыл раненные в самом пекле боя. Не было причин волноваться видом солдата, идущего по их с Яничкой следам, но Алёша почему-то насторожился. Когда солдат подошёл, обдав шумом и паром тяжёлого дыхания, повалился боком в снег, оберегая под шинелью раненую, забинтованную руку, с натугой разлепляя губы, попросил: «Покурить сверни, браток... Кисет в кармане...» — и Алёша, неумело слюнявя, свертывал ему из квадратика газеты папиросу, чувство ожидания нехорошей вести от этого, ещё не остывшего от боя солдата усилилось. Так оно и случилось: глотая дым от запаленной самокрутки, между жадными глотками этого нужного ему пахучего дыма и сочными плевками в снег солдат проговорил, кивнув на убитого парня, лежащего у ног Алёши:

— Не дотащил, видать... А там комиссара побило! На самом ходу из оврага в поле лежит. Ни достать, ни доползти...

Алёша как будто не понял, о чём сказал ему солдат, зачем-то стащил с головы шапку, встал. Вдруг суетно скатился с откоса на реку, поднялся, упал, снова поднялся и, с ощущением непоправимой беды, хватая раскрытым ртом воздух, побежал в дальний конец оврага, где безостановочно шёл бой.

5

Памятливый ум умеет заново разворачивать в живую картину то, что уже было, что повториться в точности в самой жизни уже не может; но, принуждая движение мысли к тому, что было, память заставляет человека с большей остротой чувства, с большим пониманием и верностью оценок переживать то, что уже свершилось; и час живой памяти совестливого человека бывает часом действительных его страданий.

Так было с Алёшей Поляниным, когда лежал он уже в пустой и холодной палатке санвзвода в ночи и тишине умолкнувшего боя. Оживающая память вырывала из прожитого дня, с какой-то устрашающей обнаженностью бросала к его глазам то одни, то другие лица, то опадающие взрывы, то мёртвых на белом снегу людей, то горящее чёрное железо танка, то низкое, задымленное небо. Наконец память выделила самое важное, самое мучительное из того, что было в прожитом дне, что случилось после того, как раненый солдат, выбравшийся из-за реки, глотая махорочный дым и сплёвывая, сказал ему о побитом комиссаре и Алёша, не дослушав солдата, побежал.

Он бежал, спотыкаясь, по дну оврага, размятого танковыми гусеницами, мимо людей, подвод, миномётной батареи, туда, на выход, где уже почти безлюдный, овраг заметно мельчал и распахивался в заснеженное поле.

Опасную не то насыпь, не то открытую, как ладонь, горушку, на самом выходе в поле, он заметил ещё издали: россыпи зелёных и красных, как будто раскалённых, пуль с короткими перерывами и пугающим постоянством проносились по-над горушкой, закрывая из оврага путь; заметил он и неподвижные тела солдат на снеговой ладони.

В последнем распадке он почти налетел на живых солдат, они лежали под горушкой, умяв себя в рыхлый здесь снег, оборотив к нему хмурые лица. Алёша упал рядом; он задыхался от бега, от ощущения непоправимой беды, которое всё усиливалось; он не спросил, прохрипел, не узнавая своего голоса:

— Где он?..

Солдат в каске, надетой поверх опущенной и завязанной под подбородком ушанки, оказавшийся ближе, хороня голову, осторожно перевалился на спину, махнул рукой на горушку:

— Тут лежит. Да не взять. Секёт, спасу нет. Варезку кинешь, и ту прошивает. По четверым уж поминки справили...

Теперь, лёжа в тёмной палатке, вспоминая каждое движение, каждое слово укрывшихся в распадке солдат, морщась от боли в ноге, которая время от времени сжимала, подёргивала тело, Алёша никого не осуждал.

Но в ту минуту рассудительность солдата в завязанной под подбородком ушанке, его осторожность были невыносимы.

— Эх, вы... — только и сказал он. Он поднялся, не раздумывая, что ему делать и как, метнулся из последних, казалось, сил через раскатанную пулями горушку. Он и теперь не знал, как позволил ему немецкий пулемётчик проскочить над смертным пространством: снял ли он с пулемёта замёрзшие руки или отвёл глаза в ту сторону, где вздыбились в задымленное небо чёрные выворотни взрывов, но нажал он на спуск чуть позже, чем надо бы: прожигающая воздух и снег струя пуль обошла его.

Вспоминая, Алёша чувствовал, как горит его лицо, как будто, задыхаясь, он всё ещё бежал по снегам. В те минуты, когда он перескочил горушку, он ещё не знал, что опасный бег из оврага в поле это ещё не конец беды — ждало его другое испытание, о котором он не мог и подумать.

...Всё, что сделал он возможного и невозможного, всё оправдалось бы, всё было бы в радость, в счастливый миг, если бы под намётанном первыми зимними ветрами сугробом лежал, сжимая побелевшими руками ногу, комиссар. Но когда дрожащими мокрыми пальцами Алёша протёр над жаркими щеками запотевшие стёкла очков и торопливо взглянул, он как будто застыл в горьком недоумении: прежде чем человек поднял и повернул к нему бледное, изменённое страданием лицо, по крупному носу, тяжёлому подбородку, по всему жёсткому, самолюбивому профилю лица он узнал в лежащем на запачканном кровью жёлтом снегу комбата-два.

У памяти свои законы, — Алёша в это мгновение вспомнил всё: и то, как стоял навтыжку в комбатовской землянке, и как человек этот сидел на нарах в исподней рубашке, положив ногу на ногу, покачивал сапогом и покуривал с расчётливой медлительностью из наборного красивого мундштука, подаренного ему старшиной Авровым, чтобы потом, после долгой паузы, ровным, будничным голосом приказать ему покинуть батальон; вспомнил и худенькую Полинку, старательно подшивающую подворотничок к вороту комбатовской гимнастёрки; и разбитую, схваченную морозом дорогу, по которой этот человек заставлял его почти бежать за собой, растягивая срок незаслуженного им, Поляниным, унижения; и ухнувшее, как шальной взрыв, слово «трибунал», от которого отвела его твёрдая воля комиссара. Всё вспомнил он в горький миг узнавания, и комбат, лежащий беспомощно под снежным намётом, разглядел недобрую тень памяти в его взгляде — боль и страх заматались в широко раскрытых его глазах.

По обильно напитанной кровью ватной штанине, отвисшей под коленом, яркому окрасу крови на пальцах и серому лицу Алёша понял, что у комбата разорвана артерия. Он мог бы просто не притронуться к этому человеку, всё случилось бы само собой: ещё пятнадцать — двадцать минут — и, с каким бы отчаянием комбат-два ни сжимал онемевшими пальцами свою простреленную ногу, кровь всё равно вытекла бы, вместе с кровью ушла бы и жизнь. Как просто было воздать этому недоброму человеку! Как просто! И никто ни в чём не смог бы его упрекнуть: на кусочке заснеженной земли, они были одни, отрезанные пулями от всех других людей, от всего привычного им человеческого мира.

Молчаливый поединок памяти и долга продолжался в душе Алёши какую-то, как будто повисшую над временем минуту. Потом минута заняла своё место во времени, и Алёша молча стал делать то, что должен был делать. Из пробитой двумя пулями сумки извлёк уцелевший жгут, стянул бедро, остановил кровь; через распоротую штанину туго забинтовал пулевую рваную рану. Не пожалел, последним перевязочным пакетом забинтовал и разрезанную ножом штанину, чтобы хоть как-то укрыть от холода наверняка занемевшую ногу. На комбата-два он не смотрел, он делал свою работу, делал так, как делал бы любому раненому солдату, даже тщательнее, лучше, из упрямого желания показать, что он не способен злом отвечать на зло.

Потом так же молча они лежали в снегу, рядом. Комбата знобило, Алёша видел его сцепленные на животе, подрагивающие руки. Он приподнялся, молча расцепил заледенелые руки комбата, натянул на них свои рукавицы, широкий ворот комбатовского полушубка расправил под головой, завязал тесёмки ушанки под твёрдым, как камень, подбородком. Всё это не могло согреть обескровленного, лежащего в снегу человека. Поколебавшись, он распахнул свой полушубок, расстегнул полушубок на покорном ему сейчас комбате, охватил ладонями прямые костистые плечи, осторожно, стараясь не задеть раненую его ногу, прижался своим разгорячённым телом. Какое-то время он неловко лежал, отдавая своё тепло, щекой ощущая колючий холод металлических пуговиц гимнастёрки, перемогая застойный запах табака и запах чужого ему тела. Комбат перестал дрожать, дышал ровнее. Алёша, стараясь сохранить тепло, запахнул на его груди полушубок, натягивая петли на кожаные пуговицы, поднял глаза и встретил близкий, незнакомый в своём выражении взгляд: всегда холодно-властные, глаза комбата-два благодарили, заискивали, молили.

Алёша понимал: до ночи комбат не доживет; надо было найти путь из снеговой ловушки. Он попытался стянуть к себе под уклон лежащего на снеговой ладони солдата. Но едва пошевелил неподатливое тело, пули взвизгнули, пронеслись у руки, ударили, разрывая на мёртвом шинель. Алёша отпрянул, увидел лицо солдата, узнал: вчера утром этот молоденький связной комбата, пробегая мимо, весело крикнул ему: «Выступаем!» — «И вот он — короткий на войне путь», — подумал Алёша с кольнувшим сердце состраданием.

Безнадёжно было и пытаться перетащить комбата через горушку, прикрываясь телом убитого связного.

Комбат всё видел; уронив голову на плечо, он смотрел, и мольба в его взгляде уже сменилась покорностью тому, что должно быть.

Алёша не помнил, как услышал будто издалека идущий, слабый его голос:

— До дома... сорок верст не дошел... Мать, дети... все тут...

Тоскливые слова комбата словно проскребли по сердцу. С этой минуты Алёша знал, что сделает даже невозможное, но человека этого спасёт.

Трудно проследить в меняющемся времени, как детство, с его будто бы наивными играми, вдруг проявляет себя через много лет в сложностях уже взрослой жизни, порой в таких вот опасных обстоятельствах, в каких оказался Алёша, с раненым комбатом на руках, среди идущего боя. Что дало найти ему путь из, казалось бы, полной безысходности: ребячьи ли игры в «белых» и «красных» со снежными крепостями и хитроумными подкопами; водный ли упорный марафон, вылепивший послушное, выносливое тело; охотничья ли страсть, которая научила невидимо подбираться к чуткой дичи, — но опыт бытия, накопленный им за восемнадцать лет жизни, оказался счастливее того военного опыта, которым владел невидимый немецкий пулемётчик. В боку смертной горошки он сумел отыскать похожую на канаву впадину, плотно забитую ещё первым оттепельным снегом, заровненную ноябрьскими снегопадами, и, заходясь от боли, отогревая, дыханием побитые бесчувственные пальцы, проскрёб каской ход; через тесноту этого хода протащил беспомощного комбата к залёгшим в распадке солдатам.

Когда под стук и звень чиркающих землю пуль, вжимаясь в крошево мёрзлой земли и снега, рывок за рывком, он протаскивал по прорытому ходу как будто налитого, валунной тяжестью комбата, ударило его какой-то твёрдостью в левое бедро. В запальной суеде дела он не обратил внимания на свой ушиб, терпел боль и потом, когда вытянул комбата к распадку и уже вчетвером, на плащ-палатке, они тащили его по оврагу в тыл. Но ясно помнил, как всю долгую дорогу видел заискивающий, признательный взгляд полузакрытых от слабости и в то же время лихорадочно блестящих глаз комбата.

Взгляд комбата неотступно следил за ним и тогда, когда, до бесчувствия сжимая пальцами угол плащ-палатки, оступаясь на неровностях дна оврага, он вместе с солдатами тащил его, беспомощно-покорного, и в те короткие минуты, когда, задохнувшись от непосильной для спешного хода ноши, они опускали его, тяжёлого, на снег и все четверо падали тут же на холод размятой ногами, колёсами и гусеницами дороги. Алёша даже помнил, как обожгло его неожиданное прикосновение чужой руки: где-то уже под берегом, на такой же остановке комбат нашёл его руку, слабо, благодарно пожал.

Вконец обессиленные, они вволокли безмолвного комбата в палатку санвзвода. Алёша встал в стороне от тотчас образовавшейся вокруг комбата суеты; он чувствовал, как дрожат ослабевшие ноги, чувствовал боль в зашибленном боку, устало смотрел, как Авров распорядился, чтобы комбата осторожно подняли на высокий стол; видел маленькие, встревоженные глазки на широком, с выпирающими скулами, лице Ивана Степановича: подняв кверху шприц с тонкой иглой, он терпеливо ждал, когда освободят комбата от лишней одежды и бинтов.

Комбат ожил, возбудился, как это обычно бывает в определённый час с тяжелоранеными, неверными, спешащими движениями помогая стянуть с себя ремни, полушубок. Освободившись от одежды, приняв укол, он приподнялся на локтях, оглядел всех медленным, узнающим взглядом. В свете двух керосиновых ламп, прикрепленных к стоякам палатки, Алёша видел, как возвращалась к недавно отрешённому лицу комбата осмысленность, как проступала в свете ламп в заострившихся чертах удлинённого, нездорового лица и былая властность. Приподняв кисть руки с разведёнными в нетерпеливом ожидании пальцами, он приказал:

— Курить!..

Авров заученным движением выхватил из своего кармана портсигар, обломал у папиросы конец, всунул в мундштук, с пониманием вложил конец мундштука в приоткрытые губы комбата, чиркнул зажигалкой. Комбат, откинувшись на изголовье, молча всасывал дым, неподвижно глядя в зауженный верх палатки; не докурив, бросил мундштук под ноги Аврову.

— Пить. Чаю! Горячего! — так же властно приказал он; Авров исчез. И тут, словно заполняя освободившееся место, влетела в палатку, с раскрытым в безмолвном крике ртом, простоволосая, в одной лишь гимнастёрке, похожая на мальчишку Полинка. Будто не видя людей, упала она головой на грудь комбата, худенькие её плечи дёргались, — рыдала она в голос, как плачут деревенские женщины при невозвратной разлуке.

И комбат — Алёша хорошо это видел — в досаде покривил губы крупного рта, с неожиданной силой отстранил, почти оттолкнул её от себя. Девушка замерла в изумлении, вцепившись согнутыми пальцами в свои мокрые щёки; потом, всё поняв, с ужасом в глазах отступила, как будто повалилась за потрескивающую огнём печку, и там, забившись в тень угла, плакала, стискивая в горле стоны.

Комбат, не обращая внимания на прорывающийся из угла стон, приподнялся на локтях:

— Пить! Где Авров?!

Он сказал это нетерпеливо, и кто-то из девчат подстёгнуто выбежал искать старшину. Алёша видел: комбат сознает свою власть над стоящими вокруг людьми; он снова обводил всех медленным взглядом, как будто спрашивал каждого: «Ну, чего стоишь?!». И каждый, на ком останавливался его взгляд, опускал глаза, неловко отступал в полусумрак палатки. Комбат знал, что спасён, он слышал, как уже пофыркивала у входа лошадь, готовая домчать его до ближайшего госпиталя, и, сознавая ещё действующую свою власть, как бы освобождал себя от людей, от которых теперь не зависел.

Алёша с нарастающим душевным напряжением ждал, когда взгляд комбата остановится на нём, он ещё не верил, что в спасённом им человеке вместе с жизнью оживет тот, прежний, комбат-два, для которого власть не была и не могла быть добром.

Комбат-два остановил на нём взгляд на такой же короткий, точно отмеренный, как для всех других, стоящих вокруг, миг и с той же мерой властной досады на то, что человек, на которого он смотрит, ещё находится здесь. Словно оттолкнув взглядом Алёшу, крикнул раздраженно:

— Где Авров?! Ехать надо!..

«Вот оно!» — потрясённо думал Алёша, выходя из душного воздуха палатки на мороз, в звёздную ночь, плохо ещё сознавая, каким тяжёлым смыслом наполняются эти, ещё утром звеневшие радостью, слова.

Новый, ещё неясный ему, тяжёлый смысл привычных слов состоял в том, что духовная его победа над былой несправедливостью жестокого в своей власти комбата, в которую так безоглядно он поверил, не оказалась победой. В его памяти жила его духовная победа над красавцем Конюховым в училище, вдруг прорвавшиеся в последние минуты прощания его раскаяние и признательность ему, Алёше, и мокрое от слёз его лицо, и тем горше было чувствовать напрасность всех своих усилий, которые он употребил на то, чтобы хотя бы в расставании увидеть комбата человеком.

«Вот оно... Вот оно...» — с болью пульсировало в самых чутких местах его души, когда он лежал в пустой холодной палатке санвзвода, казалось, забытый всеми.

«Но если так, то зачем добро? — думал Алёша. — Если добро не подвигает человека к совестливости, зачем стараться о добре? Почему-то в солдате Колпине, даже измятом болью, жила необходимость объясниться в несуществующей вине! Почему-то его заботило, какая память останется в другом человеке, которому ничем он не был обязан?! Почему же в комбате не нашлось доброго слова для Полинки, которая отдала ему себя со всеми своими девичьими чувствами? Доброго взгляда тому, кто спас ему жизнь?..»

«Но ведь было же, было! — думал, волнуясь, Алёша.— Не кто-то — он, комбат, благодарно искал спасающую его руку, немо молил, заискивал взглядом! — всё было там, среди снегов! Там человек был! Куда же делся *тот* человек?! Или всё было ложь? И *тот* человек имел только одну, спасительную, цель? Но как же тогда быть? Как быть, если *такой* человек воюет рядом с тобой? Если *он* над тобой? И над многими другими?!»

Давно Алёша слышал какой-то посторонний, нарастающий шум. Он сделал усилие, сосредоточился на том, что было где-то за пределами палатки, различил стук множества копыт, фырканье лошадей, сдержанные окрики, говор и понял, что в ночи шёл к реке, втягивался в узкую горловину прорыва, с трудом проделанную их бригадой, конный корпус Доватора. Конникам предстояло вслед за танками уйти в немецкие тылы, на окружение ржевской группировки войск противника, и Алёша, зная это и не зная людей, идущих в ночь, с щемящим чувством соучастия в смертельно-опасном их деле подумал, как горько, может быть, придётся кому-то из тысяч этих людей, уходящих сейчас в неравные бои, если окажутся среди них и над ними такие вот, как комбат-два. Почему-то он подумал об этом, смутно ощущая взаимосвязь боевой силы огромного войска, стоящего по всему тысячекилометровому фронту, с теми законами человеческих взаимоотношений, с действительными человеческими качествами каждого, кто был сейчас солдатом или командиром, ту взаимосвязь, от которой в не меньшей степени, чем от огневой мощи, зависел и общий исход войны. Он долго слушал шум идущих в прорыв войск и, когда шум затих и в ночи опять установилась тишина, вернулся в мыслях к безответным своим вопросам. Он страдал от того, что не может разрешить эти вопросы для себя, и не понимал, где чувствуемая им боль мучительнее: в душе или всё-таки в ноге от раны; он уже догадался, ощупав на боку, ниже пояса, ватную штанину, порванную и влажную, что ногу он не ушиб, — немецкий пулемётчик достал-таки его пулей, когда протаскивал он комбата по узкому ходу сквозь смертную горушку.

Две эти боли теперь как будто нашли друг друга, соединились в одну, и выдерживать общую эту боль было трудно. перевязать рану, почти на боку, он вряд ли бы сумел, да и бинтов у него не было; идти же в перевязочную, где, возможно, ещё был комбат, он не мог. И лежал, смирясь с болью и начинающейся от раны лихорадкой. Голова кружилась. На какое-то время он, наверное, забылся, потому что вернулся в действительность холодной палатки от ощущения тепла, какой-то успокаивающей робкой тяжести на голове. Лоб его прикрывала чья-то ладонь, и, когда в темноте близко он услышал слабый, как выдох, шёпот: «Алёша...», — догадался, что рядом с ним Яничка. Он протянул в темноту руки, неловким движением свалил с головы Янички шапку, не дал даже поднять, охватил Яничку за тонкую шею, прижал к себе, поймал сухими губами холод её волос и держал какое-то время, не отпуская, чувствуя, как от близости другой, доверчивой, души в комок собралась вся его ещё не пережитая боль.

— Яничка, — сказал он, чуть отстраняя от себя послушную его руке голову. — Ну, почему, скажи, почему человек не удерживается в человеке?!

Яничка замерла над ним, не понимая. Но когда он договорил то, что было его болью: «Ведь должна же быть среди людей справедливость? Хотя бы простая человеческая благодарность?!» — она поняла, поняла по-своему и в радости с шепота сорвалась на голос:

— Она есть, Алёша! Я сейчас тебя поцелую, и пусть это будет благодарностью за всё, что ты сделал сегодня...

Яничка распахнула на себе полушубок, тая дыхание, склонила своё лицо над его лицом, стараясь губами удобнее достать его губы, коленкой придавила ему бок, и боль, та, которая была от раны, заставила его крикнуть.

За какие-то минуты из ищущей ласки женщины Яничка преобразилась в деятельную, ловкую фронтовую сестричку: запалила в палатке коптилку с широким фитилём, раздела Алёшу, нимало не обращая внимания на его смущение и протесты, сердясь, выговаривая ему, сострадая его боли, залила йодом навывлет пробитую рану, туго забинтовала поперёк живота и наискось, через пах. Натянув на него, ознобленного холодом, запачканную кровью одежду, застегнув, как на маленьком, до ворота полушубок, она помогла снова залезть в ватный конверт, села у изголовья, обхватила его подбородок и щёки узкими тёплыми ладошками.

— Довоевался! Завтра вот в госпиталь отправлю. И молчи! И ничего не говори!..

Алёша, согретый её участием, её ворчливым, милым ему сейчас разговором, молчал. В его душе истекал день первого, давно затихшего боя, медленно, трудно истекал, озаряя и сотрясая память орудийными залпами, тугими ударами взрывов, взвизгами просвёркивающих над снегами пуль; он видел тела неподвижно лежащих среди реки людей, снова смотрел в чёрное лицо солдата Колпина, отплёвывающего измятое нутро; из глаз не уходили обхваты бинтов, тяжелеющие на ранах от проступающей, дымящейся на морозе человеческой крови. Прожитое течёт через душу, пока из прожитого не извлечётся усилиями ума какой-то важный для жизни смысл. В душе всё переживается мучительнее, чем в яви; порой труднее думать, чем поступать. Отгороженный брезентом палатки и оберегающими ладонями Янички от морозной, казалось, омертвевшей после грохота дня ночи, Алёша не успокаивался, он весь был в прожитом дне. Упрямо высвобождая подбородок из-под овчинного ворота полушубка, возбуждаясь и торопясь, он выкрикивал в уже начавшемся бреду:

— Завтра же... Надо, Яничка... Солдаты же, солдаты!..

Яничка, всё больше встревоживаясь состоянием Алёши, сжимала его щёки, тихим голосом уговаривала, успокаивала, думала, что надо бежать за лошадью, надо Алёшу отправлять, и никак не могла его оставить.

Она гладила жаркое, влажное его лицо и шептала хорошие, ласковые слова, которые в беспмятстве он не мог слышать.



Глава двенадцатая

ППГ-4

1

На двенадцатый день батальон выводили из боя. Припадая на раненую ногу, Алёша шёл позади, и, когда люди из оврага спустились на лёд реки, он увидел в сумеречно-зелёном свете стоявшей над берегом неполной луны то, что было теперь батальоном. И не поверил — стоял и ждал, когда выйдут из оврага другие роты. Никто не вышел. И хотя он помнил о сотнях раненых, которые прошли за эти дни через его руки, через передовой медпункт, который всё-таки, одолевая боль и неподвижность раненой ноги, он сам развернул почти в порядках наступающих рот, в отбитом штабном немецком блиндаже, — видеть как будто отсечённое по грудь живое тело батальона было жутко.

Оставшиеся от батальона люди и службы без труда разместились в блиндажах артиллеристов, покинувших свои огневые позиции.

В землянке, где расположились он, Иван Степанович, старшина Авров, штабные связные, бойкие, умелые молодые ребята, даже один из пожилых снабженцев, шла с поздних рассветов до полуночи непринуждённо-весёлая, в общем-то странная для фронта жизнь. Как будто, побыв рядом со смертью, оставшиеся в живых получили право и время на какую-то другую, особенную жизнь. Никто не определял им порядок дня; каждый волен был поступать по своему разумению и хотению: бродить в одиночестве по опустевшим дорогам среди слепящих белизной полей или в глухо придавленных снегом лесах, отсыпаться, молчать или говорить вместе со всеми о девчонках, наградах, начальстве, втором фронте, о доме в прошлой своей жизни; каждый волен был в эти дни как будто совершенно забыть о войне и жить, просто жить в согласии или несогласии с теми, кто был рядом.

В шумной землянке, где был и Алёша, неумеренно ели, пили ещё идущие в батальон наркомовские граммы, шумно спорили, плохо слушая друг друга, травили анекдоты, обнявшись, пели под гитару, особенно стараясь, когда приходили в землянку скучающие без дела девчата. И Алёше не казалось странным, что заводилой, тамадой в шумной, премилой их компании был не кто иной, как старшина Авров.

Авров не потерялся, когда должностная сила его — безликий командир их санитарного взвода — была отправлена в тыл по причине слишком заметной беременности; не затерялся он в остатках батальона и тогда, когда отбыл в госпиталь, похоже без возврата, и раненый комбат-два — твёрдая опора его армейского благополучия. Авров сменил не свою должность, он сменил как будто самого себя, — улыбчивый, предупредительный, в меру весёлый, с лёгкостью достающий всё, что требовалось оставшимся в живых фронтовикам, он сумел всей компании и каждому в отдельности стать необходимым именно теперь, в общем вынужденном безделье.

Алёша в эти дарованные после боя бездумные дни как будто бы породнился со всеми, кто оказался рядом, какое-то чувство радостного всепрощения владело им. И жил он в счастливом ощущении случившейся удачи, настоящей, большой удачи; никогда прежде он не испытывал подобного, приподнимающего его чувства от исполненного им действительно важного, не только ему нужного дела. И рана его, не сказать чтобы тяжёлая, но такая, с которой он сам безоговорочно отправлял солдат в госпиталь и боль и лихорадку от которой он превозмог своей волей, добавляла общему ощущению удачи какой-то ещё и героический, не одному ему видимый ответ.

Комиссар прямо сказал ему, одобряя всю двенадцатидневную его работу в условиях тяжёлого для батальона боя:

— Толково проявил себя, военфельдшер. Хвалю... А когда ПНШ [Помощник начальника штаба] батальона, близкий приятель Аврова, до боя подчёркнуто обходивший его своим вниманием, молодой, сутулый, с жёлчной улыбкой, старший лейтенант Ларин, сам пожаловал к нему и заговорил с ним как с равным: «Причитается с тебя, Полянин! Представление на орден послали...» — Алёша в совершенном ощущении удачи готов был назвать своим кровным другом и ПНШ Ларина, и даже старшину Аврова. Он взахлёб смеялся анекдотам, которые с умелой безулыбчивостью артиста рассказывал Авров, подпевал его ровному тенорку, даже спал на земляных нарах с ним рядом, бок к боку, и по утрам, когда холод наполнял землянку, спросонья заботливо укрывал его полой своего полушубка.

Иван Степанович, один из всех обитателей землянки, держался в молчаливой отстранённости, никому не мешая, но и не давая вовлечь себя в шумную бестолочь веселья. В махорочном дыму Алёша иногда замечал на себе испытующий, нацеленный его взгляд, порой слышал в общем шуме усмешливый, как будто удивленный его возглас:

— Друзья, понимаешь!..

Чужая трезвость не останавливала Алёшу. В иные ночи смутно вспоминалось — вольница, Юрочка Кобликов, близко к глазам придвигалось лицо Красношеина, слышался его удовлетворённый голос: «Вот так, Лексей, одна бутылка и — нет человека. Даже двоих...» Но всё это лишь мгновениями озаряло сознание, как мерцание неслышных зарниц где-то далеко проходящей грозы.

— Ты, должно быть, знаешь, — сказал ему в один из дней Авров. — Наградное твоё вернулось...

Он сказал с сочувствием, в другое время Алёша увидел бы в сощуренных глазах Аврова проблёскивающие огоньки удовлетворения, возможно, заметил бы в истончённых постоянным напряжением губах умело спрятанную усмешку. Но новость была слишком тяжела, было не до того, чтобы вникать в выражение лица старшины. Он ответил, едва удерживая дрожь обиды в голосе:

— Начальству виднее...

Ответил не так, как думал, а как должен был сказать, и этим, может быть, спас себя, не дал Аврову расположиться в своей душе.

Авров дружески похлопал его по плечу, как бы смиряя с горечью неудачи, сказал:

— Ничего, бывает хуже. Хочешь? — Он показал фляжку, и Алёша, теперь уже привычно уступая, принял от него кружку с той самой водкой, от одного запаха которой задышался.

Потом он узнал, что наградные дела вернулись поголовно на всех командиров — в штабе фронта утвердили только десятка два медалей рядовому составу. Было это проявлением раздраженного настроения, которое шло сверху, от фронтового командования, из-за общей неудачи широко задуманной операции, — от той неудачи, в которой их батальон и бригада в целом повинны не были.

Быть среди других было легче, Аврову не совсем точное известие он простил. Столкнулись они в другом: во время общего, довольно бестолкового, разговора о жизни Алёша заявил:

— Два качества определяют настоящего человека — добро и справедливость. Горе ушло бы с земли, если бы каждый, прежде чем сказать и поступить, думал о другом человеке, о том, к кому относится его слово и поступок. Человек становится человеком, когда забота о других делается потребностью души. Именно с этого начинается человек...

Авров, сидевший о ним рядом, слегка отстранился; покуривая из особого, цветного наборного мундштука, смотрел с интересом. Дождался тишины, сказал:

— Человек начинается с заботы о себе, военфельдшер. И кончается — заботой о себе. На том стоит мир. Сказанное вслух, это звучит неприятно, как неприятно всем вместе сидеть в нужнике. Но ничего не поделаешь — такова вонь естества. Кстати, тот разум, о котором ты, Полянин, так печёшься, всегда находит оправдание эгоизму. Понаблюдай — только без разных интеллигентских вывертов, — как работает твой ум. Увидишь, как изворачивается он, этот твой совестливый ум, когда тебе надо оправдаться в собственной подлости. Наивность хороша для тех, кто хочет выглядеть приличным. В жизни, к сожалению, от неё тошнит...

Алёша вспыхнул — он не терпел холодной иронии в спорах. Всегда казалось ему, что человек, прибегающий к иронии, сознательно уходит от самой возможности истины. Потому он загорячился и, горячась, недостойно для себя оборвал старшину:

— Если вам, старшина, не знакомо чувство добра и справедливости, то лучше помолчать!

И тогда все весело закричали:

— Дуэль! Дуэль!..

Кто придумал эту шутовскую, но азартную дуэль, не было известно: называли её американской. Когда спор затягивался, все быстро вылезали из землянки на волю, спорщики втыкали в снег свои мундштуки или зажигалки и с десяти шагов, поочередно, каждый стрелял из пистолета в чужую ценность. Выигрывал тот, кто разбивал первым.

Алёша улыбался, предчувствуя победу: кожаную его портупею теперь солидно оттягивала кобура с немецким парабеллумом; он быстро освоил этот массивный, удобный в руке, точный по бою пистолет и почти не проигрывал в стихийных поединках. Первым был его выстрел: красный мундштук Аврова взлетел над снегом, но остался целым. Алёша, всё так же улыбаясь, протянул парабеллум старшине. Авров, будто не замечая протянутой руки с пистолетом, приподнял полу гимнастёрки, заученным движением расстегнул маленькую кобуру, закреплённую на поясе у правого бока, ловкими пальцами извлёк плоский светлый пистолетик, почти весь уместившийся в его ладони.

Снизу вверх медленно повёл вытянутую руку в направлении воткнутого в снег мундштука. Щёлкнул слабо слышимый среди снегов выстрел, осколки брызнули, мундштук исчез.

— Моя победа, Полянин. Выходит, и правда моя, — Сказал он, аккуратно убирая под гимнастёрку пистолетик.

Алёша, переживая артистичность старшины и точность его руки, какое-то время в растерянности стоял, потом запоздало вскипел от неудачи, двумя выстрелами в пыль разнёс красный авровский мундштук, всё ещё валявшийся на снегу. Хотя он и был расстроен, заметил, как вздулась в мгновенной холодной ярости плотная авровская шея, но тут же почти спокойно старшина сказал:

— Вне игры. Вне игры, Полянин!

Алёша сам понимал: спор по законам дуэли выиграл Авров. Но в жизни спор продолжался, и потому он выкрикнул в совершенном, исступлении:

— Добро, Авров, не распуляешь никакими пистолетиками!..

Всем, кто вышел из землянки смотреть их поединок, стало неловко; поёживаясь то ли от холода, то ли от стыда за мальчишескую горячность Алёши, один за другим все пошли в землянку.

Авров приобнял Алёшу, сказал с успокаивающим дружелюбием:

— Пошли пить мировую, Полянин! Пусть каждый думает, как хочет. И делает, как хочет. Ну?!

«А ты не прост, старшина. Совсем не прост!» — думал Алёша, послушно спускаясь в душную теплоту землянки. Авров как будто раскаивался в показанном своём превосходстве, был предельно предупредителен. Но в настроении Алёши что-то сломалось. В землянке он побыл недолго, оделся, побрёл по дороге к лесу. Светлый маленький пистолетик Аврова не выходил из головы. За, казалось бы, пустячным случаем снова почувствовалась чужая расчётливая сила, и, снова настораживаясь, он думал: «А не прост! Нет, не прост. Совсем не прост ты, старшина!..»

Так же медленно (он всё ещё прихрамывал), почти успокоенный, Алёша возвращался хорошо накатанной дорогой. В стороне, среди снегов, заметил чёрный дубок и стоявшего у дубка в неподвижности одинокого человека. Побуждённый неясным сочувствием, он по свежим следам, промятым в снегу, подошёл, узнал комиссара, смутился, хотел уйти. Но комиссар позвал:

— Подходи, Полянин. Постой... подумай...

Под дубком, укрытая напавшим свежим снегом, угадывалась могила. Но не сам уже привычный холмик земли приковал его внимание, а дощечка, притиснутая обрывком колючей проволоки к стволу. И необычные слова на дощечке, писанные неловкой рукой, сажей, разведённой в бензине: «Полинка из санвзвода. Приняла смерть 2.XII.42 г.»

Алёша, не стесняясь присутствием комиссара, прислонился к обдутому ветром холодному стволу, в растерянности думал: «Так вот где ты теперь, страдалица...»

Ещё с той, первой работы на поле, под облачками шрапнельных разрывов, шла с ним рядом, испуганно чуждаясь его, эта худенькая, по-мальчишески ловкая и молчаливая девчушка. Он сам себе не смог бы ответить, что за чувства были у него к Полинке: наверное, просто она нравилась ему, как может нравиться созвучный по азарту жизни человек. Может быть, они стали бы хорошими товарищами, может быть, друзьями. Какие-то другие чувства могли бы связать их. Всё могло бы быть, думал теперь Алёша, если бы не злая воля старшины. Он помнил, как на том же поле, где косили они рожь, испугало её близкое присутствие Аврова. Помнил и тот страшный разговор Аврова, который случайно услышал, и слова Полинки, брошенные с не девичьей злостью: «Себя продал, теперь меня продаёшь?!»

И тот чёрный для себя день в блиндаже комбата-два, когда Полинка, таясь в углу, с покорностью и старанием подшивала подворотничок к комбатовской гимнастёрке.

И другой день, уже в перевязочной, где лежал спасённый им комбат-два, её слезы, растерянность, страх, отчаяние и нетерпеливый, отстраняющий её жест комбатовской руки.

Последний раз он видел её в штабном немецком блиндаже, в ста шагах от ротных позиций, где он и Яничка перевязывали и укрывали раненых до ночи. Вошла она тихо, стояла у стены и наблюдала за ним, пока он бинтовал солдату бедро. Когда он закончил, сел на нары, вытянул, морщась от боли, ногу, она долго, пристально на него смотрела. Так, не сказав ни слова, и ушла.

Такой он видел её в последний раз. Нет, в последний раз он увидел её наутро: принесли её в блиндаж солдаты. Лежала она на плащ-палатке, уже освобождённая от полушубка; на гимнастёрке, там, где обычно бывают ордена, темнели два, от проступившей крови, пятна. Один из принёсших её солдат, толстенький, коротконогий, мял шапку в руках, говорил, как будто оправдываясь перед теми, кто был в блиндаже:

— Уси у роти позалэглы, у поли, у снигу! А оця дивчинка, дивимся, подиймаеця и, як нічога нэ баче, пішла на кулэмэт...

Он слышал голос короткононого солдата, удивлялся: «Зачем он говорит?..»

Напряжённно смотрел на голубоватое, с полуоткрытыми глазами лицо, в застывшем выражении которого не видел ничего, кроме успокоения, и думал, слыша и не понимая солдата: «Зачем он говорит? Молчать надо. Всем молчать...»

Алёша вглядывался в буквы на неструганой дощечке с таким напряжением, как вглядывался в то утро в неподвижное голубоватое, какое-то уже не девичье лицо, но различал только два скорбных слова: «Приняла смерть...». Как точно кто-то написал. Не было только имён тех, по чьей вине приняла она смерть.

Алёша расслышал голос комиссара:

— Невозможное это дело — девчонок губить!.. Убрать с передовой! Всех убрать! Есть у них своё дело — раны и души врачевать!..

Алёша слышал как будто злостью надорванный голос, думал, что комиссару, наверное, известно всё о смерти девушки Полинки. Не знает он только то, что ему, Полянину, тоже известно всё. И что гибель Полинки для него много больше, чем просто смерть одной из девушек санвзвода...

В шумную землянку Алёша не вернулся — ночевал он у минометчиков. Утром, ничего не объясняя, перенёс в блиндаж к ним и свои вещи.

2

На этот раз Иван Степанович был неумолим.

— Показывай свои раны, победитель! — приказал он жёстко. И Алёша уступил; хромал он всё заметнее, морщился, неловко ступив, рана болела, мешала ходить. Иван Степанович давно наблюдал за ним и вот:

— Раздевайся давай! Герой, понимаешь... Молись богу, что доглядел вовремя. Ты же совсем больной! Собирайся, в госпиталь пойдёшь.

Иван Степанович был убеждён, что все его беды от раны. Спорить Алёша не стал, он сам чувствовал, что изменить свою жизнь, хотя бы на малое время, надо: он уже отупел от безделья, бесполезных дум, раздражался даже по малому поводу.

Провожать его в ППГ-4, в госпиталь, расположенный километрах в пяти, напросилась Яничка. Вышли они морозным утром. Шли не спеша, согласно вбирали в себя холодную ясность неба над головой, разглядывали тяжёлую лиловатость инея на берёзах, солнечные узкие, как рельсы, отблески на уходящей вдаль дороге.

Яничка с заботливой привязанностью шла рядом, на скользких дорожных раскатах в готовности подставляла под его руку плечо. В новом дублёном, подпоясанном ремнём полушубке, который уже после боя вручил ей батальонный интендант, вдруг проникшийся уважением к её всем уже известной боевой лихости, в валенках, в просторной солдатской шапке, скрывающей не только голову, но и уши, она была трогательно-забавной и очень милой своим скуластым, ярким на морозе лицом. Отчаянно весёлые её глаза, будто всё время рвущиеся ему навстречу из раскосых щёлочек век, стесняли; Алёша чувствовал в её взгляде вопрос, наверное очень для неё важный, и не знал, как ответить на этот её вопрос, старательно избегал её взглядов.

У знакомого дубка Алёша молча свернул к могиле, ещё раз, будто запоминая, вчитался в неровные чёрные буквы, так же молча вышел обратно на дорогу. Яничка догнала его, спросила простодушно:

— Тебе она нравилась?

В досаде Алёша чуть не побежал.

— Не то, не то, Яничка! Убили её немцы. А погибла она из-за другого... Есть люди, понимаешь...— Он почувствовал, что заговорил словами Ивана Степановича, поправил себя:

— Есть люди, Яничка, вроде бы как люди. А рядом с такими людьми бывает хуже, чем перед врагом!..

Яничка, не очень-то поняв сложную его мысль, согласно кивнула; приноровившись к Алёшину шагу, она шла рядом в беспокойной готовности помочь и всё поглядывала искоса, ожидая его призывного взгляда. Она многое помнила в их дружеских отношениях, но особенно тот жуткий случай с молодым солдатиком, после которого Алёша враз подобрел, даже крепко её поцеловал, и, Яничка верила, — не просто от взволнованных и благодарных чувств. А случай был действительно жуткий. В отбитый у немцев штабной блиндаж, где был у них перевязочный пункт, ворвался испуганный солдат, крикнул доктора, и Алёша в гимнастёрке, без шапки, припрыгивая и приволакивая раненую ногу, побежал сквозь хлещущую сухим снегом метель вслед за солдатом, в дальний, тоже отбитый у немцев блиндаж. Сама Яничка едва успела за ним, уже на ходу прихватив санитарную сумку. В большом блиндаже, набитом десятками солдат, на освобождённом у входа месте, на плащ-палатке, неудобно лежал, подпирая острыми плечами уши, молоденький солдатик, с белым лицом и широко раскрытыми глазами. Взгляда хватило, чтобы понять, какое испытание ждало Алёшу: вся в крови разбитая лодыжка, и стопа в солдатском ботинке, развёрнутая пяткой наперёд.

Принести — принесли бедного солдатика, положили, и теперь не то что перевязать — притронуться было страшно! Тут бы растерялся и врач! Алёша будто сразу забыл обо всем, присел, подсунул под коленку солдатiku скомканный край палатки, быстро и ловко размотал слепленную кровью обмотку. Рана обнажилась: сосуды и нервы были порваны, кости раздроблены, сама стопа держалась только на трёх полосках багровых мышц и вздувшейся посинелой коже. Яничка знала: перевязывать, даже трогать, тем более отправлять в таком виде солдатика было невозможно: крошево костей при движении вызвало бы такую боль, что солдатик умер бы от шока. Замерев, она смотрела на Алёшу. Охотник-якут проверяет себя, когда опасность придвигается на бросок руки. Здесь тоже была опасность. И тоже — рядом.

Размышлял Алёша какую-то секунду, потом протянул руку, коротко приказал: «Жгут!» Туго перетянул солдатiku ногу выше колена, поднял голову.

Она видела, как затвердело у глаз и в скулах его нежное лицо.

Не глядя на плотно и близко к нему сидящих на корточках солдат, властно сказал: «Нож!» Откуда-то передали, неуверенно протянули толстый, с многими лезвиями, складной нож. Алёша открыл одно лезвие, другое, попробовал остроту пальцем. Она видела, как напряглись солдатские лица, взгляды всех скрестились на его руках, — взгляды как будто жгли его руки! Он же, не видя взглядов замороженных его руками солдат, нацелился на разбитую ногу; не поднимая головы, сказал: «Йод. Вату». Быстро протёр блеснувшее и тут же потускневшее от йодной черноты лезвие, всё так же ни на кого не глядя, приказал: «Огонь!» Удивительно, но его поняли: кто-то запалил зажигалку, дрожащей рукой протянул. На огне Алёша прокалил лезвие, тут же, ни секунды не мешкая, сдавил пальцами посинелую полоску кожи над раной, осторожным твёрдым движением ножа рассёк.

Тишина стояла такая, что слышен был скрип лезвия по коже!

Страшась за Алёшу, она навалилась на грудь раненого, собой отгораживая от солдатика его ногу. Стоило бы Алёше заколебаться, дрогнула, остановилась бы над раной его рука, да просто закричи солдатик от боли, — и тишина рухнула бы на ничего не замечающего Алёшу обвалом солдатского гнева. Тишина держалась только им самим, его уверенностью, твёрдостью его сосредоточенного лица; движения его рук убеждали, убеждали в том, что делает он то, что невозможно не делать. Больше всего она боялась, что солдатик закричит, и придавливала своей тяжестью худенькое тело, похлопывала, поглаживала торопливой рукой по холодному потному лицу, не давала солдатiku слушать боль. И всё-таки она пришла, эта страшная минута: она почувствовала, что Алёша сорвался.

Быстро повернула голову, увидела: напрягая руки, он резал последний пучок разбитых мышц, на котором ещё висела стопа, — и догадалась — попал на уцелевшее сухожилие. Тупое лезвие не могло перехватить встреченную плотность, и Алёша, побелев от усилий, двигал ножом, как пилой. Невозможно было смотреть, как пилят живую плоть, но солдаты смотрели, округлив неподвижные глаза, и что-то жуткое было в том, как они смотрели на окровавленные руки Алёши. Случившаяся заминка плохо подействовала на солдат: они как будто усомнились в том, что молодой доктор делает то, что надо, и озлобились в ужасе перед тем, что он делает. Солдаты, ближе других бывшие к Алёше, не выдержали, сдвинулись, приподнялись. Она заметила это опасное их движение и, торопясь оградить Алёшу от дурной солдатской ярости, закричала, как только однажды в детстве кричала на готовых вцепиться в отбившегося оленёнка задичавших собак: «Не смей! По местам!..»

Она помнила, как удивленно переметнулись на неё недобрые взгляды. Может, этой самой минуты и хватило Алёше: отсечённая стопа отпала, глухо пристукнув ботинком.

Она помнила, как пылало её лицо от пережитого страха, пока Алёша, по-прежнему ни на кого не глядя, сосредоточенно бинтовал ногу так ни разу и не крикнувшего солдата; бледное лицо Алёши было совершенно спокойным. Так же спокойно, закончив бинтовать, он поднялся, сказал солдатам: «Перенесите его в наш блиндаж» — и не торопясь вышел, на ходу отирая руки остатком бинта. На бугре, задымленном снеговой вихрящейся позёмкой, она, в обрётённой смелости, обхватила его руку, прижалась и почувствовала, как бьет Алёшу дрожь, и заторопила его. Но он остановился, приподнял её сильными руками, благодарно прошептал: «Молодец! Всё хорошо, Яничка. Они же знали, что мы спасали солдату жизнь!..» — и поцеловал крепко, в самую середину губ.

А ночью они лежали на широких нарах рядышком, в темноте, в тяжёлом от усталости забытии. Алёша постанывал: нога его болела. Он жался к ней, ища тепла и успокоения. И всё могло быть — не хватило им какой-то крохотной, с птичий носок, минутки, какого-то малого движения, чтобы соединились они в близости. Что помешало им — смешная его робость, которая была в нём даже в полусне, или те случайные солдаты, что вломились к ним в блиндаж со своим раненым командиром, — так она и не поняла. Но Алёша тут же вскочил, хлопотал. Как ругала она тех ночных солдат! Она верила, что Алёше нужна была здесь, на фронте, пусть грешная, но заботливая её любовь!..

...Стылость голубого неба как будто рассёк догоняющий их гул. Два «мессера», сверкая отражённым солнцем, шли, снижаясь к дороге, как будто уже видели свою цель; парой, словно держась друг за друга, прошли над деревушкой из трёх оставшихся домов, над уютными сугробистыми крышами которых с мирной домашностью стояли белые дымы; разошлись, каждый вписывая широкий круг в просторное небо. Оттуда, с высоты, они как будто взяли в перекрестия своих прицелов дымы топящихся печей; и с широкого круга ринулся вниз сначала один, отделив от себя тяжёлые капли бомб; потом, как бы подхватывая напряжённый рёв выходящего из пике самолета, ринулся вниз второй.

Алёша видел, как взметнулось вверх облако снежной пыли, из облака тут же выкинуло чёрные клубы взрывов; содрогнулся воздух; съехала до земли островерхая крыша, дом скособочился, как смятая сапогом картонка.

Когда «мессеры», завершив каждый свой круг, снова сошлись в пару и, снижаясь, понеслись над дорогой им навстречу, Алёша с силой потянул Яничку, от неожиданности весело взвизгнувшую, через глубокий снег к двум стоящим у дороги сосенкам: слишком заманчивой мишенью для фрицевских налётчиков были они на совершенно пустынной, просвеченной солнцем широкой дороге. Хотя за жидкими молодыми сосенками их так же легко было поймать в прицел пулемётов, всё-таки — дань живучему инстинкту! — за укрытием казалось спокойнее.

Самолеты прошли над дорогой, не стреляя, взмыли, ушли вдаль.

Яничка, наклонив к плечу голову, проводила их взглядом, посмотрела на чёрный дым, медленно оседающий у домов потревоженной деревеньки, по-детски открыто и как-то лукаво вздохнула; она как будто радовалась тому, что опасность соединила их на крохотном пятачке, почти утопив в снегах у пахнущих морозом мохнатых ветвей. Алёша как ввалился в сосенки, как встал, загородив собой Яничку, так и стоял, придерживая её, за толстый, холодящий запястья рук полушубок. Яничка не отстранилась, подняла к нему лицо, озарённое всё той же по-детски радостной улыбкой, но, пока смотрела, смешливо наморщив маленький нос, затерянный в широких, как будто до жара натёртых морозом щёках, выражение её глаз сменилось: из глубины их поднялось какое-то взрослое тревожное ожидание, и эта зовущая тревожность смутила Алёшу. Он расслабил обнимающие Яничку руки, но Яничка требовательным движением плеч заставила его задержать руки, потянулась к нему влажными губами, отдавая теплым парком дыхания, попросила:

— Поцелуй меня. Крепко!..

Алёша послушно склонился, Яничка губами нашла его губы, долго не отпускала. Наконец отстранилась, придерживая на запрокинутой голове шапку; с весёлой досадой насунула шапку до бровей, глядя искоса, снизу вверх, спросила:

— Ты не любишь меня?

И тут же, заметив, как страдальчески нахмурилось лицо Алёши, крикнула:

— Не надо, не говори!.. Только ты, Алёша, всё-таки смешной. Ты боишься того, что хочешь... — Озабоченным материнским движением она пошаркала рукой, обтянутой серой варежкой, по отвороту его полушубка, стряхивая с овчины иней, сказала:

— Пошли, что ли?.. — и первой стала выбираться по глубокому снегу на дорогу.

У развороченного дома, в расплзающемся едком дыму пожарища, суетились люди. Двое командиров, поверх полушубков перехваченные ремнями, старательно укрывали тулупом кого-то уже лежащего в сене на розвальнях; от соседнего дома, с напрочь вышибленными рамами, два солдата вели к саням генерала в папахе, широкого от накинутой на плечи шинели; видна была забинтованная, подвязанная к шее рука. Алёше почудилось что-то знакомое в тяжёлой походке раненого генерала, но он даже не дал себе труда оживить память, — знакомых генералов у него не было ни дома, ни на фронте. Генерала тоже усадили в сани, спиной к передку, укрыли тулупом. Один из молодых командиров вскочил сзади на розвальни, хлопнул по крупу натянутыми вожжами. Вороной сильный жеребец вскинул голову, рывком вынес сани на дорогу, пошёл крупной напористой рысью, далеко вперёд выкидывая ноги. Из-за крайнего дома тотчас вылетели вторые сани с двумя автоматчиками в них, пристроились вслед. Солдаты и командиры, оставшиеся у дома, сошлись. Алёша услышал злой голос:

— Весь штаб чуть не угробили. Какая-то сволочь навела!

С оскорбляющей подозрительностью они оглядели Алёшу, стоявшую рядом с ним Яничку, молча пошли к крайнему, с выбитыми рамами, дому.

Разбитый дом, земля, вывороченная на снег, пустота окон, ползущий от дома на дорогу разъедающий горло запах пожарища, раненые генералы, подозрительные, брошенные в их сторону взгляды — всё это угнетающе подействовало на Алёшу.

Как всегда бывало с ним перед подступившей силой зла, он замкнулся. Яничка тоже притихла, лишь помогала ему с прежней старательностью на скользких раскатах и крутых овражных спусках.

Алёша шёл и негодовал сразу на всё: и на войну, и на себя, и на Яничку, которая что-то ждала от него. «Да, чёрт возьми, — думал он, почему-то обращая своё негодование прежде всего на Яничку. — Я тоже живое существо! И не собираюсь бежать от того, что рано или поздно будет. Но кроме всего прочего я ещё и человек! Ну, не могу, не могу я идти к женщине, как ходят в столовую! — поел, попил, даже совестью не заплатил, — прощай, любезная, до следующего раза!.. Это же то самое, что у комбата-два! Призвал к себе в блиндаж Полинку; потом, за ненадобностью, отшвырнул. Прямиком под пули...»

Алёша даже содрогнулся, как только вспомнил о комбате-два. Комбат и тенью маячивший за ним Авров были теперь как тяжкий крест, который он нёс на себе. Что-то общее было в следах, которые оставляли они, и в том, что только что случилось на глазах: два маленьких самолёта в ясном небе — и грохот на земле, в уютно дымящей трубами деревеньке. Два маленьких самолёта — и опоганены дома, люди, белизна снега, вся радующая чистота морозного солнечного дня!..

«Неужели Яничка не понимает! — думал он, негодуя от неуходящего чувства вины перед всё-таки милой ему девушкой. — Неужели она не понимает, что не может быть радости, если всё идет от случая. Из-за минутной блажи! Ведь для близости нужна любовь. Должно же быть что-то прочное, на потом?!»

Яничка покорно шла рядом, дорожный умятый снег жалостливо поскрипывал под большими её валенками, и Алёша, вопреки тому, о чём только что думал, жалел её и, казалось ему, понимал её состояние.

Дорога полезла вверх, на лесной увал; как ни старался Алёша обойтись без помощи, ему всё-таки пришлось опереться на Яничку. Рука его была в рукавице, но даже сквозь твердь кожи полушубка он почувствовал, с какой готовностью Яничка подставила плечо под его руку. Когда медленными согласными шагами они взошли на увал и сосны притеснили их друг к другу, Алёша, виноватясь той виной, которую, как казалось ему, знал за собой, и стараясь выйти из душевной неопределенности, которую всегда, не терпел, сказал:

— Разве мало нам нашей дружбы, Яничка?

Яничка отстранилась, вскинула испуганные глаза:

— Не мало, не мало! Ох, как много! До самого неба!.. — выкрикнула она, в глазах её были слёзы. Рука Алёши соскользнула с её плеча; долго он не мог найти ей места в пустоте, потом, не снимая варежки, засунул в карман полушубка.

В госпитале Яничка, сделав что надо по его устройству, в озабоченности вышла с ним вместе из палатки на волю. Алёша ждал, что Яничка, прощаясь, потянется к нему, и приготовился сделать неизбежный поцелуй дружеским и шутливым. Но Яничка, глядя ему в глаза, протянула руку.

— Ну, лечись. И возвращайся молодцом, — с необычной бодрой серьёзностью сказала она, и у Алёши защемило сердце. Он почувствовал, что Яничка прощалась не с ним. Она прощалась с надеждой, которой всё это время отчаянно и упрямо жила.

3

Лунный свет сочился сквозь молчаливую заснеженность леса. Тени деревьев, сломанные боковыми сугробами, рябили дорогу. Алёша шёл навстречу стилому жёлтому свечению, умеряя скрип снега под ногами, — тишину не хотелось тревожить даже слабым звуком шагов.

У края поляны остановился, осторожно, стараясь не сронить снежную навись с еловых лап, прислонился к стволу.

Луна переместилась в прогал вершин, очистилась; свет лился теперь в упор, ему под ноги, и настолько был густ и ощутим этот ниспадающий на снега лунный свет, что казалось, тяжестью своей придавливал сугробы.

Алёша, замерев, стоял в окованной морозом ночи. Он готов был поверить, что великие тайны человеческого бытия открываются вот в такие олуненные ночи.

В глубине леса обозначился неторопливый постук копыт, звук сдробился, зачастил, молодой голос ласково прикрикнул: «Тихо, Орлик! Тихо!». Снова мерной неторопью застучали подковы. Постук ещё более замедлился, смягчился, в тишину вошёл удивительно чистый голос:

Ночь светла. Над рекой тихо светит луна,
И блестит серебром голубая волна...

Пел кавалерист знакомый Алёше вальс, пел бережно, с какой-то открытой доверчивостью к тем, кто мог сейчас слышать его в ночи, наверное так же радуясь тишине, так же тоскуя о днях где-то оставленной юности.

В тихих грёзах лечу, твоё имя шепчу.
Милый друг, добрый друг, о тебе я грущу....

Кавалерист замолк. И хотя Алёша слышал удаляющийся в глубину леса конский постук, мелодия осталась, она как будто продолжала звучать.

Гроыхнули орудия в стороне фронта, отдалённый гул донёлся, как глухой раскат грома. Алёша, не отнимая плеча от ствола, переступил с ноги на ногу и тотчас почувствовал боль, привычно перетерпел, нашёл удобное для ноги положение. Но очарование ночи ушло.

Он не слышал шагов, потому вздрогнул от близкого голоса:

— Давно не видел, не слышал подобного. Прекрасный голос, волшебная ночь!

В досаде на чужое присутствие Алёша не сразу оборотился. Разглядел крупного человека в полушубке, бурках, генеральской папаче, стоявшего почти рядом, в падающих на дорогу тенях; окончательно возвращаясь в действительность, по-солдатски вытянулся, приглушая в голосе досаду, негромко доложил:

— Товарищ генерал...

Генерал слабо отмахнулся:

— Оставьте, пожалуйста. Мы в госпитале...

Медленный, с приятной хрипотцой голос показался знакомым; ещё не веря, но уже зная, что это так, Алёша с изумлением, радостью выговорил:

— Арсений Георгиевич?!

Теперь застыл в удивлении генерал.

— Алексей?! — спросил он, не сразу его узнавая, подшагнул, обнял одной рукой. — Думать не думал!..

Под стиснувшей его рукой по-доброму памятного ему Арсения Георгиевича Степанова Алёша расчувствовался, сопнул носом; Арсений Георгиевич успокаивающе похлопал ладонью по его спине, сказал, как обычно говаривал отец:

— Ну-ну!.. — повернул к себе лицом. — Рад, Алексей!

Долго они ходили по ночному лесу, неторопливо разговаривали; как-то вдруг, а может быть, по сохранившимся в памяти беседам у охотничьего костра установился между ними свободный, доверительный тон разговора. К тому же они были товарищами по несчастью: Алёша всё ещё прихрамывал, Арсений Георгиевич оберегал от резких движений руку; Алёша узнал, что Арсений Георгиевич был одним из тех двух генералов, которых усаживали в сани у разбитых «мессершмиттами» домов.

Прощаясь у генеральской отдельной госпитальной землянки, Арсений Георгиевич, как будто отвечая на немую Алёшину просьбу, сказал:

— Встретимся, встретимся, Алексей! Обязательно. Пока есть время, походим, поговорим....

В ожидании генерала Степанова Алёша стоял, привалившись плечом к ели, в той же тишине, что была накануне. Но, укутанная в снега, освещённая луной, лесная поляна с отчетливыми тенями берёз сегодня казалась другой. Он как будто снова видел пространство реки, людей, которые, выставив перед собой винтовки, неуклюже бежали по открытому неуютному пространству, и падали, и затемняли снег неподвижными бугорками. Никогда прежде так остро не ощущал он этот страшный, бессмысленный переход от только что проявлявшей себя жизни к небытию.

Час назад в палатке умер лейтенант. Умер на глазах. Такой же молодой, как Алёша, с такими же, как у него, чувствами и мыслями. Лейтенант Юра говорил и думал о жизни. И ни разу не сказал, что ощущает рядом смерть. Он любил слушать с закрытыми глазами, и Алеше казалось, что он слушает его. Но лейтенант Юра, родом из Москвы, чистый, светлый, ещё не узнавший ни любви, ни подвигов, глаз больше не открыл. Алешу потрясло, что лейтенант умер в тишине, где как будто ничто ему не угрожало. Бой, в котором оба они были и который давно отгремел за рекой, достал его здесь, где была жизнь. Надежды. Мечты. И было невозможно смотреть, как лейтенанта, уже безгласного, завернутого в простыню, уносили на брезентовых носилках два санитары. Спокойно. Деловито. Как выносят отслужившую мебель.

Странно, там, на реке, среди боя, он не ощущал ни своей, ни чужой боли — кровь и смерть в бою как будто сами собой разумелись. Были необходимостью, которой окупались пройденные за рекой метры. Здесь же, в отдаленности, в тишине, в сознании общей неудачи наступления, кровь и смерть казались напрасными. И от бессмысленности того, что все двенадцать дней было там, за рекой, Алёша чувствовал, как, воспаляя душу, снова входит в него боль чужой гибели.

Он ждал генерала Степанова в настороженности, в нетерпении, как изнемогающий в болезни человек ждёт исцеляющего прихода врача; Арсений Георгиевич был оттуда, сверху, он был там, при высоком командовании, от которого, как казалось Алёше, шло всё, в том числе и общая неудача наступления, и напрасная смерть людей...

— Что ж, Алексей, рассказывай, чем живёт душа. Помню наши с тобой разговоры. Знать хочу, каков ты теперь! — Арсений Георгиевич держался бодро, гораздо бодрее, чем при первой встрече. В заметной его бодрости Алёша уловил удовлетворенность прожитым днем, как раз то, чего не было у него.

И резкая противоположность настроений, столь прямой спрос Арсения Георгиевича его смутили. Приноравливаясь в ходьбе к мерному, грузному шагу генерала, он затруднялся начать разговор. Чувствовал, что говорить с генералом о горестях своей жизни опасно: несоразмерность своих и генеральских забот он ощущал и не хотел предстать перед генералом суетным, того хуже — слабым человеком. Напротив, боль, которая сейчас была в нём, общая боль всех, кто прошёл через неудачу наступления за рекой, была слишком остра, слишком близка, чтобы о ней умолчать. И Алёша заговорил о том, что было общей и его болью. Своё право говорить он чувствовал; то, о чём он говорил, было правдой, он всё видел своими глазами, всё пережил.

Арсений Георгиевич слушал молча; шаг его как будто отяжелел, скрип затвердевших на морозе каблуков генеральских бурок порой был непереносим. Но Алёша говорил, сначала сдержанно, потом разгорячёно. Он как будто забыл, кто был перед ним!

Арсений Георгиевич дышал шумно, с присвистом, как будто не хватало ему воздуха в свежести морозной ночи. Он дослушал Алёшу, заговорил, и обычно приятная хрипотца в его голосе на этот раз не была приятной:

— Ты хочешь войны без крови, победы без жертв. К сожалению, так не бывает, товарищ Алексей! Мы учимся воевать; Если хочешь, заново учимся. И такая наука на войне оплачивается кровью. Страшную силу немецкого удара мы сдержали. Теперь начинаем наступать. Под Сталинградом удалось. Как знаешь, хорошо удалось. У нас, под Ржевом, не получилось. Не сумели. На то есть свои причины. О них думают те, кому положено думать за армии и фронты. Не один ты переживаешь неудачу. Её переживают равно солдат и генерал.

— А вы знаете, сколько там, за рекой, погибло людей? Погибло зря, без смысла, без победы!.. Если бы я был генералом, я бы не простил себе такого боя. Не простил, понимаете?!

— Что, пулю в лоб пустил?

— А вот пустил бы!

— Хорошо, что ты не генерал. И не над генералами стоишь. Хорошего генерала вырастить — полжизни надо. Больше чем полжизни. Пропуляешься!.. Не дело, Алексей, рассуждать о том, чего не знаешь. Неудача по замыслу на одном фронте не означает бесполезность в общих масштабах войны. Победы мы не одержали. Но мы помогли сталинградцам выйти на Дон. Когда оцениваешь чьи-то дела, понимать надо не только тактику. Понимать надо и стратегию. Не о том разговор завёл, Алексей. Давай ближе к тому, чем живешь ты...

Алёша слышал осуждение себе в том, что говорил ему генерал Степанов. Но по не всегда полезному свойству своего характера доводить любой разговор до конца, до полной ясности, не мог остановить себя. Замирая от предчувствия близкой беды, весь дрожа от горячности, он говорил:

— Понимаю. Вы — генерал, у вас армия. У меня — крохотный санвзвод. Даже не у меня — у врача. Не в том дело. Суть-то забот у нас — одна? Воюем мы за жизнь, за Родину, — это ясно. Но должна быть справедливость?! Даже на войне?.. А разве справедливо, когда люди погибают только из-за того, что генералы ещё не научились воевать?! Почему раньше, когда ещё не было войны, мы не могли научиться тому, чему учимся теперь? Ведь знали, что будет война? Были и тогда у нас и танки, и самолеты, и командиры. Так почему вдруг враги оказались сильнее? Почему нам приходится учиться воевать, когда война уже идёт?.. Вы сами говорите, что за такое учение мы платим кровью. Мы же знали, что фашисты набирают силу, что они — против нас? Так почему, почему, Арсений Георгиевич, всё получилось не так, как мы знали?! Почему только теперь мы учимся быть сильнее наших врагов? И люди, хорошие люди, погибают не только по необходимости войны. Они погибают ещё и потому, что кто-то вовремя их не научил, не дал им того, что нужно для скорой и, может быть, не такой дорогой победы?!

Алёша знал, что за его вопросами правда той жизни, из которой он пришёл, и знал, что защищает эту правду неумно. Он говорил и думал: «Что я говорю? Зачем? Разве можно самыми горькими словами поправить то, что не было сделано раньше?..» Но ни отрезвляющее сознание, ни ощущение близкой беды, к которой он шёл, не останавливали его. Остановил его вопрос Арсения Георгиевича:

— У тебя есть другое решение, Алексей?

— Какое другое? — растерялся Алёша,

— Кроме того, что надо научиться воевать, исходя из данной нам реальности? — голос Арсения Георгиевича был отчетлив и холоден.

— Я говорю... Я только спрашиваю, почему мы раньше не могли...

— Довольно, Алексей! Бессмысленно разговаривать, когда слова становятся важнее дела!.. — Арсений Георгиевич круто повернулся. — Нехорошо поговорили, Алексей. Нехорошо!..

Генерал Степанов ушёл, не попрощавшись.

В палатку Алёша вернулся в полном расстройстве. Разделся, не замечая, куда кладёт полушубок, шапку, стянул валенки, лёг поверх одеяла, лицом вниз, сжал голову руками.

— Зачем говорил? Чего хотел? — шептал он в отчаянье. — Неужели слова могут изменить то, что уже совершилось в жизни!..

Сосед по койке, усатый артиллерийский капитан, дотянулся, пошевелил его за плечо.

— Ну как, говорил? — спросил шёпотом, таясь от других. Алёша поднял голову, уставился непонимающе в красное, освещённое огнём печурки, пятно лица.

— Спрашивал генерала о наградах? Почему наградные вернулись?.. — тем же таящимся, нетерпеливым шёпотом спрашивал капитан.

Алёша уронил голову в подушку, даже застонал от отчаянья: он ещё о наградах!..

Первая встреча Алёши с генералом не прошла незамеченной: каким-то образом была учтена мера благосклонности генерала Степанова к молоденькому военфельдшеру. Утром, после завтрака, неожиданно перевели его с раскладушки в дальнем, холодном, углу палатки на койку у железной печки; даже отгородили койку с одной стороны простыней, тем самым как бы уравнили с истинным героем последнего боя — немолодым уже старшим лейтенантом, молчаливо лежащим на такой же отгороженной простынями кровати. Старший лейтенант сделал то, что не мог сделать за первые дни наступления целый батальон: ночью он провел восемь автоматчиков в занятое немцами село и овладел той уцелевшей церковью у излучины реки на крутояре, которая давала врагу видеть всё поле боя. Герой был крепко побит осколками гранат, ему по праву оказывали внимание все — от врачей до сестричек и корреспондентов газет.

И вот, чьим-то старанием, не принимая неловких его возражений, устроили его рядом с героем. Мало того, на обед, кроме котелка с обычным борщом, принесли ему ещё колбасу и банку консервированного компота, коротко объяснив: «От генерала». И Алёша в смущении, но принял подарок, хотя и сомневался в достоверности объяснения: на Арсения Георгиевича это не было похоже. Дополнительный паёк он тут же разделил между всеми, кто был в палатке, но это только усилило заискивающее к нему внимание. От него уже чего-то ждали, как тот капитан-сосед, с неостывающими переживаниями по поводу своего наградного дела.

В него уже верили, как будто он что-то мог! Жизнь сделала новый виток спирали, повторила на другом уровне, в другом месте, но то же самое, что случилось в юности между ним и конюхом Василием: тогда он сумел заставить себя с совестливым упорством отработать то, что дано было ему не по праву. Теперь снова он оказался чем-то вроде барчука, только не за отцом — за генералом. И всё сложилось сейчас много хуже, чем в юности: отец тогда был рядом и прочен в своём отцовском отношении к нему; генерал Степанов оказался случаем, выказал к нему внимание и тут же зачужал в своей генеральской высоте. Узел, пусть недолгих, но всё-таки не безразличных ему отношений с людьми, его окружающими в госпитальной палатке, затянутый неожиданным генеральским к нему вниманием, растаскивать в прямую, честную нить предстояло ему.

Ночью Алёша больше мучился раздумьями о своём положении, чем спал. Наутро первым душевным его порывом было бежать из госпиталя к себе в батальон, бежать тотчас, пока люди не узнали, что генерал Степанов уже не покровительствует ему. Однако врач, у которого он попросил скорейшей выписки, внимательно осмотрев его рану, категорически заявил:

— Никоим образом! Минимум ещё неделю!.. — и, не скрывая встревоженности, спросил: — Разве вам у нас плохо?

Алёша ушёл от врача, не попрощавшись, в ещё более напряжённых чувствах, чем был. Казалось бы, что трудного в том, чтобы открыться людям: я не тот, за кого вы меня принимаете, ваше внимание, ваше уважение — это внимание и уважение к генералу, не ко мне, простому военфельдшеру одного из батальонов, только-только прошедшему через первый бой! Чего, казалось бы, проще сказать, объявить себя таким, каков ты есть на деле. И пусть изменится всё, пускай всё будет по-другому, но будет твёрдо, прочно, как должно быть, и главное — достойно. Как, казалось бы, просто! — сказать. И как трудно, до невозможности трудно отказаться даже от незаслуженного почитания, — поступки, идущие от совести, требуют порой мужества, равного мужеству солдата.

Как ни странно, но мужества Алёша набирался в упорном и беспощадном по отношению к себе раздумье. Он нашёл ту раздражительную точку, с которой началось их расхождение с генералом Степановым. Точкой этой была высказанная им боль за тех, кто погиб на реке и за рекой, и погиб напрасно. Он посмел сказать об этом, и неосторожные его слова отдалили от него генерала. Он сам для себя определил: «неосторожные»; он сказал неосторожные слова. И тут же подумал: «Но почему — неосторожные?.. Я сказал то, что думал... Плохо, может быть, что я сказал о чужой смерти, как о своей боли? Может быть, Арсений Георгиевич понял это так, что я хотел просто хорошо выглядеть перед ним? Но ведь я не гляделся перед генералом!

Боль чужой гибели действительно была во мне. Боль напрасной гибели. Смерть — чужая, но боль — моя. Моя! Значит, сказал я правду. А правда должна быть одна для солдата и для генерала. Правду сказать трудно. Наверное, труднее, чем отказаться от незаслуженного внимания людей! Я сказал. Я сделал то, что труднее...»

Его не понял бы человек, принаравливающий свою жизнь к суетным выгодам дня. Но ещё в юности он искал прочности в отношениях с людьми. А прочно только, то, что вытравливается собственной жизнью.

Первое, что он сделал, — перебрался с тёплой, удобной койки на прежнее своё место, на пустовавшую раскладушку у дальней стены. С явившимся встревоженным военврачом он объяснился с виноватой улыбкой, но и с возможной твёрдостью:

— Простите мое самовольство. Но я привык к холоду...

В обед он отказался от дополнительного пайка. Увидел расстроенное лицо милой сестрички, смутился, сказал явную для зимнего времени несуразность:

— Понимаете, что-то с желудком нехорошо!..

Ему тотчас было доставлено лекарство. Порошок пришлось выпить при сестричке; остальное он тщательно упрятал на дно своей полевой сумки с утешительной мыслью, что редкое лекарство наверняка пригодится кому-то в батальоне.

Недоумённые взгляды командиров, обитавших с ним вместе в палатке, он старался не замечать; объяснять своё поведение не стал. Он просто исполнял то, что считал необходимым исполнить. Поступки по мягкости его характера не выглядели мужественными. Но поступок, идущий от убеждения, всегда добавляет человеку достоинства, если, разумеется, совершён не себе в корысть.

Есть какой-то закон, ещё не открытый философами, но последовательно действующий в жизни: когда человек находит силы и сам справляется с ниспосланным ему нравственным испытанием, жизнь поворачивается к нему снова доброй своей стороной; жизнь как будто сама укрепляет того, кто сумел выстоять перед испытанием.

Так случилось с Алёшей. За два дня до обещанной ему выписки, когда в вечерней темноте при свете фронтальной коптилки, прикрученной к столбику, он сидел на своей раскладушке, тихо переговариваясь с соседом, явилась в палатку, мягко подошла к нему с лукавой улыбочкой самая симпатичная из всех носящих белые халаты сестричка, голосом значительным, каким передают только самые важные приказы, она произнесла:

— Военфельдшер Полянин! Вас приглашает помыться в бане генерал Степанов...

Держал себя Арсений Георгиевич так, как будто не было неприятного разговора в ночи. Мылся спокойно в специально для него не жарко топленной бане, сделанной солдатами-умельцами по вековому крестьянскому опыту, но применительно к обстановке фронта; сам хлестал себя веничком, попросил Алёшу ополоснуть, стоял по-солдатски покорно под струёй холодной воды, оберегая закутанную в клеёнку раненую руку. И всё время, пока они мылись, с дотошностью расспрашивал о его жизни в батальоне. По необычному вниманию к подробностям его жизни, по тому, с какой старательностью Арсений Георгиевич обходил разъединивший их разговор, наконец, по самому тону обращения, в котором подчёркнуто звучала прежняя доверительность, Алёша в той сдержанной настороженности, в которой теперь был, чувствовал, что Арсений Георгиевич помнит про общую боль напрасной людской гибели. И от того, что он верно это чувствовал, возвращалось уважение к Арсению Георгиевичу не только как к генералу — он ответно проникался прежним доверием к человеческой его мудрости, о которой помнил ещё с довоенных времён, и как-то само собой, как наносная грязь с тела, окончательно смывалось с его души то маленькое страдание уязвленного самолюбия, которое мучительными усилиями ума он почти в себе победил.

Одевались они в узеньком предбанничке при свете керосинового фонаря, висевшего в углу под потолком. Арсений Георгиевич не спешил, сидел, остывая. Не торопился, принаравливаясь к его неспешности, и Алёша. Арсений Георгиевич снял с кувшина, стоявшего на лавке, чистую тряпицу, налил в кружку квасу, с наслаждением отглотнул, кивнул на вторую кружку:

— Пей, Алексей! Холодный!..

— Спасибо, Арсений Георгиевич. Не хочу, — вежливо, однако с излишней поспешностью отказался Алёша; пить он хотел, даже ощущал в тёплом влажном воздухе предбанника дразнящий хлебный запах. Но квас был «генеральский», для него этот кувшин с квасом никто бы не поставил. Арсений Георгиевич внимательно на него посмотрел, молча допил, оставил кружку; Алёша не понял, одобрил он его или осудил.

Было что-то щемяще-знакомое, давнее в этом неторопливом одевании в тёплом, чистом предбаннике. Вот так же, без жары, мылись и не спеша одевались они с отцом в поселковой бане, и всегда совместное их мытьё завершалось обязательным философским разговором, и жизнь каждый раз в раздумчивых словах отца приоткрывалась ему какой-нибудь новой, все более сложной, беспокоящей его стороной.

Острое ощущение близости прошлого, вновь почувствованное доверие к мудрости большого человека подталкивали к разговору, который давно Алёшу томил. Авров и комбат-два не уходили из его души, он догадывался, что тот и другой составляют как бы одно целое: Авров долго не просуществовал бы без власти комбата, комбату-два удобен был Авров. Оба, тот и другой, казались Алёше проявлением какой-то нравственной болезни, которой на фронте не должно было быть; но они были, он сам прошёл сквозь жёсткий охват их беспощадных рук. Он хотел знать, почему они есть и почему они здесь, где люди воюют, где от несправедливости или нечестности в отношениях каждого к другим и других к каждому не просто страдает чьё-то настроение, но зависит и сама жизнь.

Всё это Алёша высказал, правда, не во всех подробностях, какие знал. Но то, что его мучило, сказал, не страшась на этот раз того, что разговор может показаться Арсению Георгиевичу ничтожным. О комбате-два он умолчал; комбат был хотя и бывшим, но высшим его командиром; Арсений Георгиевич мог бы подумать, что он жалуется на своего командира. Генеральского вмешательства в свою судьбу он не хотел.

Арсений Георгиевич слушал внимательно, нетерпения не выказывал и, когда Алёша расстроено спросил: «Как же так, Арсений Георгиевич? Такие подлые люди и — на фронте?!» — он ответил с серьёзностью, которой Алёша хотел:

— Что подделаешь, Алексей. Даже в войне кто-то устраивает свою жизнь. Против нас не только национальный эгоизм, с которым — в уродливой форме фашизма — мы столкнулись сейчас в войне. Против нас... — Арсений Георгиевич тут помолчал в каком-то внутреннем затруднении; Алёша не мог знать, что вспомнил он свой не совсем приятный ему спор с Кимом о биологических основах человеческого поведения, памятный ему спор в последнюю мирную ночь, когда немецкие бомбовозы уже были подняты в воздух, и, как будто уступая Киму, договорил: — Против нас, в какой-то мере, и сама природа, заложившая собственнические инстинкты в человека. Трудно рождается новая нравственная суть. Легче утверждается в законах, чем в человеческой душе. Здесь, на фронте, особенно ощутима разность нравственной высоты людей. Ты это чувствуешь. И то, что чья-то нравственная низость вызывает твоё сопротивление, — это хорошо, Алексей! Но мне кажется, ты преувеличиваешь возможности авровых. Так сказать, не по чину тратишь на них свою душевную энергию. Не забывай, что и в наше государственное устройство заложен принцип диктатуры. И если принуждающей силы государства не чувствует человек, который живет по законам, нами принятыми, то преступающий законы чувствует её тотчас.

Сила государства заставляет действовать в интересах общей нашей победы даже тех, кто хотел бы уйти, от исполнения долга. Может, это выглядит и несправедливо с точки зрения отдельного человека. Но, к сожалению, далеко не каждый достиг той сознательной нравственной высоты, которая исключает всякое принуждение со стороны.

Алёша напряжённо слушал. Он понимал, что ему говорили, и, наверное, Арсений Георгиевич был прав, конечно, прав, измеряя явления жизни крупным масштабом государственности. Но для него Авров и комбат-два были реальностью, которую невозможно обойти. И дело было, как казалось ему, не в том, чтобы заставить их исполнять долг. Дело было в том, что было внутри у них. А было там — недоброе, жестокое и опасное для других. Уточнять свои сомнения он, однако, не решился — Арсений Георгиевич, похоже, считал вопрос исчерпанным. Подвязывая его забинтованную руку, Алёша всё-таки не удержался, спросил:

— Значит, не надо думать о том, что будет? Идёт война, и думать надо только о войне?.. Смешно, наверное, думать сейчас о справедливости, добре, о том, чтобы быть лучше?..

— Разве о том разговор, Алексей!.. — Арсений Георгиевич даже слегка отстранился, как будто давая простор своим словам. — Война разве отменяет жизнь?.. Порой думаю: жизнь — та же война. Война с невежеством, с леностью умов, с жадностью плоти. Постоянная война за справедливость, за честность в отношениях между людьми. Только что кровь не льётся по телу — вся там, внутри, не видимая даже дружескому глазу. А раны и рубцы — те же, Алексей! В так называемой мирной жизни поражения и унижения, связанные с этими поражениями, переживаются не легче, чем поражения на войне. Победы в жизни даются даже сложнее. И длятся много короче военных побед. Военная победа видна всем. Ясна как день. В обычной жизни ты выиграл сто сражений с несправедливостью и — не видны они, хотя вся твоя душа в ранах. А не видны потому — что впереди ещё сто сражений и, может быть, пятьдесят из них поражений... Нет, Алексей, жизнь сложнее войны и больше войны. В жизни народа война всё-таки эпизод. Кровавый, страшный, опустошительный, проверяющий всё и каждого, но эпизод. За победой снова дальше пойдёт жизнь. И по своим извечным законам созидания, а не теперешней стихии уничтожения и смерти. Смерть на войне, как ни крути, случайность. Нет закона смерти даже на войне. А законы жизни есть. Сам знаешь, и здесь, на войне, действуют, проявляют себя законы жизни. Вот мы с тобой встретились, и наши с тобой отношения — это тоже проявление жизни. Той, прежней. И этой, нынешней.

И твои отношения с солдатами, с командирами, с девчатами-сестричками — тоже жизнь. Только условия этой жизни другие. Нет, война не отменяет законы человеческой жизни! Исключая, разумеется, отношения к врагу. Тут уж сила на силу, смерть за смерть. А может, в этом тоже свой закон? Ведь добро может и погибнуть, если не хватит ему силы отстоять себя?!

Арсений Георгиевич почти оделся. Сам, не без труда, натянул на себя генеральский китель. Алёша, слушая, подзадержался с одеванием и теперь торопился.

Наблюдая за ним, Арсений Георгиевич сказал:

— Не торопись, Алексей. Время пока с нами. Будешь раздумывать о жизни, тоже не торопись. В твоём возрасте выводы делаются допреж того, как становятся верными.

Арсений Георгиевич дал понять, что помнит разговор в ночи.

Алёша был удовлетворён; торопливо одеваясь, думал: «Значит, правда заставляет думать и генералов. Значит, и генералы чувствуют боль, когда обрываются чужие жизни! Если они — настоящие генералы...»

Когда, уже остывшие от банной теплоты, они подошли к землянке, Арсений Георгиевич сказал с сожалением:

— В Москву отправляют меня. — Приостановился, глядя искоса, спросил: — А что, Алексей, может, хватит тебе лазать по передовой? Скажу — переведут тебя в этот госпиталь. Можно — к Киму, он в соседней армии? Как?..

Алёша даже задохнулся от обиды.

— Арсений Георгиевич! — почти выкрикнул он. — На фронте я не затем, чтобы прятаться по госпиталям!

— Зачем же прятаться! И здесь люди делают своё дело.

— Нет, Арсений Георгиевич, начал с горячего места, по горячему и пойду!

— Ну-ну! — Генерал Степанов был удовлетворён. Алёша это чувствовал и в смущении первым протянул руку. Арсений Георгиевич руку отстранил, приобнял, похлопал по спине с тем же добрым расположением, как при встрече.

— Хотел бы увидеть тебя после войны, Алексей! Ну, будь жив!..



Глава тринадцатая

ПИСЬМО

— Пиши, Нюрка!.. — Маруся шатко сидела на табурете у плохо нагретой печи, укрывая спину и плечи просторной ей, заношенной телогрейкой, смотрела нехорошим взглядом на старшую дочь, пристроившуюся за пустым столом, в кофте, сшитой из мешковины. Нюра коротеньким остатком карандаша припала к листу бумаги из давней своей школьной тетрадки; старательно огибая строчками столбики цифр, когда-то решённых примеров, прикусывая губы от внутреннего несогласия с матерью, послушно писала то, что Маруся ей говорила:

«Плачемся вам, Василий Иванович, нашему любезному дорогому отцу и хозяину, неутешными слезьми и с покаянием сообщаем, что пала Краснуха, кормилица, вся надежда нашей жизни. Долго мы таили беду нашу, перебивались, как могли, весну и лето, а теперечи, как полетели снеговые мухи, такая навзрыд-тоска заколодила сердце, что духу и вовсе не стало. А случилось на Евдокею. Краснуха дышала, ровно где её запалило, глазами смотрела — печалилась. Вокруг все мы собрались. Сказать бы кому, крикнуть — языки у всех поотнялись. Кто-то брякнул Васёнке Гужавиной — теперечи она в председателях, — подхватилась, к утру фельдшера доставила. Да что. Погинула Краснуха. Не минула беда нас, свет наш Василий Иванович! Мне бы на себя ту смерть принять, ей бы деток спасать-кормить, вас дожидаетесь. Да беда кого выбрала — не годит. Как быть? Держаться чем?.. Хлебушка на нынешнюю зиму мы ничего не имеем. Всё, что собрали, отдали на войну. От колхоза заработали на всех шесть мешков картошки. Так едовы этой не хватит до рождества. Насшибали клеверных головок, едим вместо хлеба. Да всё одно, родимый наш спаситель, страх берёт, как думаешь о пустопузом нашем таборе да лютых холодах, что ползут-подбираются к порогу...»

Маруся метнула взгляд на печь, где в угловатой тени бледнели лица трёх притихших пустопузов, сдавила маленькое губастенькое лицо ладонями, качнулась к полу, тонким дрожащим голосом пристрожила:

— Всё, Нюрка, как говорю, пиши! С голодудохнуть почнёте, как мне перед им, светом моей жизни, отмолиться?.. Чтоб всё знал! Выкажет горькую беду нашу генералу, может, и отпустит! Хоть на часок, на один погляд предстанет перед нашими очами!.. Что глаза блюдцами пораскрыла? Льни к бумаге-то! Пиши!..

«Весну мы от мышей хлебом держались, ходили в поля, норы шарили в остожьях. Из иной их кладовки по полбады колосков гребли. А ныне — осень мокрая. Теперечи в страхе мы — долежит в норах-то до весны зерно?»

Нюра, прищуривая глаза, замедленным движением протянула руку, в лампе с косо отбитым стеклом поубавила коптящий красноватый огонь, прихватила ровными, белыми даже в полусвете зубами карандашный кончик, задумалась.

— Что притихла? — насторожилась Маруся.

— Где писать-то? Лист кончился. Больно много наговорила.

— Другой возьми!

— Где взять-то? Валька все старые тетради учительнице перетаскала!

Валька, учуяв неприятный для себя оборот, тут же подала с печи голос:

— В школе ни бумажки! А заниматься надо!

Маруся привстала с табурета, потянулась к Вальке.

— А ну, сыскивай! Чтоб мигом!

Валька сползла, схватила с лавки холщовую суму, приспособленную для школьных книжек, ящеркой скользнула обратно на печь, забилась в темноту: она готова была защищать своё богатство ногтями и зубами.

Маруся, озлобясь в горе, которое никто, как ей казалось, не хотел понять, угрожающе сготовилась полезть на печь. Нюра остановила её тихой своей рассудительностью:

— Мама! В письме про всё уже. А поклоны тут вот, по боковинке, пропишу. Сядь, а то читать не буду.

— Я тебе не буду! — Маруся погрозила ей тощим кулачком, села, в беспокойстве ожидала, как заговорят с листа жалобные её слова.

Нюра медленным голосом, слово в слово, зачитала всё, и напряжённый её голос под конец дрогнул, и тотчас на печи всхлипнула Валька, и, вторя ей, плачем залилась на всю избу младшенькая, Верка.

Горе, считанное с бумаги, гляделось страшнее, чем молвленное. Не выдержала и Маруся: закрыла лицо руками, ткнулась себе в колени, сидела, раскачивалась и никого вокруг голосащих не успокаивала.

В таком разброде и застала всех Петраковых Васёнка. Села на лавку, молча мяла кончики озябших пальцев. Наслушавшись и будто вобрав в себя чужое горе, с ним и обрётённое право говорить, спросила осторожно:

— Что же, горевать будем или жить?

Маруся, приподняв от колен худое, мокрое от слёз, пугающее чернотой глазниц лицо, будто отрыдала в притихшей избе:

— Помирать будем... С меня почнём, по одному и приберёмся...

Случись Васёнке оказаться перед подобным, казалось, неизбывным горем чужой семьи в поры давнего своего девичества, ни на что другое не решилась бы, — приклонилась бы к Марусе, как береговая лозиночка к воде, в молчаливости сострадала бы, переживала, плакала душой. Приказали что — тотчас бы сделала; спросили бы — слово, молвила. А сама ни-ни! — не решилась бы ни на слово, ни на дело; таково уж было матушкино наставление ей на жизнь. Но за два года войны, по предсмертному наставлению Ивана Митрофановича оказавшись среди других людских судеб и в ответе за каждую, столько чужого горя заплеснула к себе в душу Васёнка — вовсе и не чужого, по адресу — чужого, а по боли — своего, — что добавлять к плачу сочувствующий голос уже не могла. И не то чтобы сочувствие избыло в доброй её душе; переплавилось оно в другую жизненную важность — в потребность избыть чужое-нечужое горе большой, малой ли, но тут же изысканной помощью. Васёнка знала, как бьёт и лечит слово; но познала она и другое: как отраждает поникшего в горе человека сотворенное ко времени участливое дело. И Васёнка будто пропустила мимо своего внимания горёванные слова Маруси, скинула с головы на плечи платок, подаренный ей бабой Дуней, расстегнула такую же, как у Маруси, телогрейку, только поладнее, по ней ушитую, и собралась было заговорить про то самое дело, с которым пришла к петраковскому табору, но заметила письмо, лежащее под рукой у Нюры, и тотчас догадалась, кому и о чём оно писано. И в тревожности за солдата Василия Ивановича, воюющего на другом конце земли, потянулась к не своему письму, сурово прихмутив брови. И Нюра даже под угрожающим взглядом матери не огородила письма, с неожиданной готовностью сама подала листок Васёнке.

Васёнка быстрым движением придвинулась к лампе, читала писанные старательно, убористыми буквочками слова и слышала в замеревшей избе многоносое настороженное сопение с печи, вызывающий своенравный постук карандаша о Нюркины зубы, не то жалобный писк, не то придавленный в горле Маруси плач, готовый вот-вот прорваться криком, и, чем дальше читала, тем неуступчивее делалось её сильно похудевшее в постоянных заботах и несытости и всё-таки не утратившее привлекательности лицо. Письмо она не вернула: сложила вполювину, потом в четверть, подложила под локоть под оторопелым взглядом качнувшейся Маруси, твёрдо сказала:

— Не солдату, не на фронт письмо писано... Солдату такое письмо не надобно!

Она ожидала и крика, и ругани, потому не пошевелилась, только чуть сузила глаза, когда Маруся, одним махом скинувшая себя с табурета, оказалась перед ней, простоволосая, растрёпанная, с поднятыми к лицу руками. Будто сглатывая силу своего обычно пронзительного голоса, она прошептала:

— Как это не надобно?.. Как это не надобно? — спросила она уже в голос со зловещим движением сжатых в кулачки рук. — А как я отмолюсь перед им, когда он, свет моей жизни, Василий Иванович, в дом войдёт и ни детишечка не узрит?! А ну, дай сюда листок, не грехи, председательница! Каждый со своим горем обнимается. Иди горюхайся со своей Ларкой. Сберегай, чтоб потом мужик батогом на твоей спине не отыгрался!..

Маруся норовила вырвать листок. Васёнка руки не отняла, крепче придавила к столу. Тогда Маруся пронзительно взвизгнула:

— Поддай письмо, окаянная! — и ногтями, с кошачьей яростью, вцепилась в Васёнкину руку.

Васёнка, не уступая письма, поднялась, скрывая боль, прошла по избе, остановилась напротив Нюры.

— Ты хочешь, чтоб Василий Иванович получил такое письмо? — спросила, едва удерживая дрожь напряжённого голоса.

Нюра вскинула испуганные глаза на Васёнку, на мать, потупилась; бледные, почти белые щёки и прямой, высокий, всегда чистый лоб, так нравившийся Васёнке, окинуло пятнами волнения. Нюра понимала мать, жалела и всё же собралась с силой, сказала, не поднимая глаз:

— Не будем, мама, сердце у нашего бати травить. Без того беспокойно там. Как-нибудь... — Голос её пресёкся, она сглотнула, в твёрдости договорила. — Как-нибудь проживём, мама.

Васёнка оборотилась к печи, без прежнего напора, дрогнув голосом, всё же спросила:

— А ты, Миша?

Миша заворочался, с ним вместе и быстрее его заметалась по слабо освещённому потолку большая его тень, он выпростал из-под себя руки, обхватил одной другую, будто для твёрдости, угрюмо сказал:

— Кабы его домой по письму пустили! А с войны не пустят. Что уж, только переживать будет...

Васёнка поняла, что даже в согласии с ней старшие Петраковы в своём горе, в последней своей надежде равно уповали только на добрую силу своего названного отца. Вместе с письмом она отбирала последнюю их надежду и, поняв это, положила письмо на стол.

Маруся, видя, что Васёнка отступилась, отошла от стола неверными шагами, опустила на свой табурет, откинула растрёпанную голову к печи, сказала:

— Вчерась в городе была. Хлеба притащила. Кусок. На всех пустопузых поделила. Сглотнули. Не осилила им сказать. А теперь при них сказываю — у собаки, у пса бродячего, тот кусок вырвала... Где он, пес тощий, лопоухий, тот кусок выкрал, догадать не могу. Видела, в городе не слаще нашего. Вот, добыла... Скормила...

— Мама! — Нюра от стыда и унижения закрыла лицо руками, уткнулась в стол. На печи притихли, будто вымерли.

Знала Васёнка, как живут бабы, детишки и старики во всех семидесяти шести домах Семигорья, знала и то, что семейство Петраковых держалось только на коровёнке, купил которую перед войной сам Василий Иванович. Но такое не могла даже в мысли пустить. Стояла потрясённо посреди избы, пальцами сдавливая виски, как будто задерживая чудовищно разрастающуюся в ней самой чужую боль, потом прошла своей неслышной походкой к лавке, села у стола, где прежде сидела, сказала решительно:

— Вот что, Маруся, по делу пришла ведь. Договорились с руководством: Валюшку и Верочку в Дом возьмут. Будут вместе с эвакуированными детишками жить, питаться. Валюшку к классу прикрепят, там и учиться будет. А Нюра с Мишей уж как все — в колхоз. Для войны потрудятся. Для себя что-ничто заработают...

— Это что же, при живой матери — в сироты?.. — заносчиво спросила Маруся.

— Мама! — в отчаянье крикнула Нюра, даже прихлопнула рукой по столу. — Не там гордость проявляешь!

Васёнка знала, что Марусю напугали неминуемые деревенские оговоры, и без досады подумала, что бабы не перестают её удивлять. И эта вот: немужняя — детей рожала, от деревенских сплетен подолом отмахивалась. А теперь, когда её же ребятишек спасать пришли, славой озаботилась! Но тут же, второй мыслью, сумела догадаться, что не деревенский оговор беспокоит Марусю; после того, как, на удивление всем, вошёл в её дом Василий Иванович, преданней, заботливей бабы, чем Маруся, нарочно ищи — не сыщешь. Не гордость окинула её — боялась, как посмотрит на сирот при живой матери свет её очей Василий Иванович. Потому Васёнка пристрожила себя, сказала, убеждая:

— Разве в Доме все сироты? Ещё неизвестно, сколько отцов к ним повозвращается!.. В войну, Маруся, все для нас равны: и сироты, и те, которые под материнской рукой. Живы бы только были!..

Маруся нахмурилась, шевелила губами, но Васёнка видела, что слова её нашли нужное место в недоверчивом уме, думала: «Одно огорили. Теперь бы с письмом этим нехорошим довершить...»

Белевшее на пустом столе письмо и теперь беспокоило: уж больно страдало её сердце за тех, кто в неведомых краях дрался с врагом; не могла она отступить в таком деле, как спокойствие солдата за свой оставленный дом.

Думая о письме, вроде бы без умысла попросила:

— Нюр, что-то запомнила, о чём наказывал Василий Иванович в прошлом письме? Не прочтёшь?

По сверкнувшим живостью глазам, по готовности, с которой Нюра поднялась и потянулась к ещё довоенной большой фотографии, вставленной в светлую, из дощечек, рамку, где озабоченного Василия Ивановича сняли рядом с мордой коня, по тому, как, ревностно следя за Нюрой, зашевелилась на табурете Маруся и на печи враз поднялись головы пустопузых, Васёнка поняла, что спросила правильно.

Нюра вытянула из-за рамки свёрточек в холстинке, положила на стол, любовно раскинула концы, взяла верхний треугольничек с карандашной крупной адресной надписью, бережно, будто расколупывала яичко, вытянула запрятанный вовнутрь край, развернула, длинными, чуткими пальцами разгладила на столешнице. Поглядела в радостном ожидании на мать, села, огородила руками листок, сдерживая рвущийся в звень голос, стала читать, сизнова сама вникая:

— «Из дальней стороны шлю тебе, Маруся, и всем детям: Нюре, Мише, Валюте, меньшей Верочке — своё слово и отцовское благословение. Ивана нашего, как ни выглядываю по дорогам и становищам, среди встречных мною солдат покуда не углядел. Да и то сказать: среди многих тыщ, что вокруг копают, ходят, справляют свое ратное дело, отыскать Ваню возможности мало. Надежды, однако, не теряю, потому как земляки в нежданности всё же объявляются. Беспокойства ныне меня одолевают. Одно беспокойство унёс от порога и не изживу, видать, покуда к порогу не вернусь, — это вы все, от меня нераздельные, и жизнь ваша, отсюда мне не очень видная. Обнадёживаюсь думой, что лад в семье вы сберегаете, как самое первое благо, от коего зависит всё прочее. А как сажусь за котелок солдатского варева, так рука с ложкой опадает. Думается: не в свой бы рот ложку нести. Опишите в точности, что за еда готовится у вас в печи и что каждому перепадает со стола...»

Нюра в этом месте отвлеклась от письма, со взрослой обеспокоенностью глянула на печь, где в полутьме обозначились недвижные лица меньших, словно навешанные в черноту портреты, — видно, показалось ей, что в письме надобно что-то опустить. Но тут же, сдвинув строгие брови, снова склонилась над столом.

«Душа держится на месте только думой о Краснухе, — Васёнке чудилось, что теперь с трудом, в упрёк ей, считывает слова Ньюра. — Она не даст вам погнать ни при какой другой нужде. Накосили ли сколько надо? Ежели по той погоде, что здесь в лето была, то травы ныне, должно быть, и у вас были укосны. Про сено мне опишите. И кто что делал на косьбе, кто лучше других оказался.

Опишу и другое моё беспокойство. Хотя от Волги — нашей матушки — фашиста хорошо и далеко отогнали и мы тут уже глядим на сплошь порушенные белорусские деревни, однако же в думках своих так и сяк прикидываю и вижу, что победное замирение случится ещё не вдруг. Тыщи верст до этого самого Берлина, от коего зародились все наши нынешние беды, и, хоть огня стало у нас теперь больше, чем у немца, и силы много, несравнимо с прошлыми годами, всё же пройти тыщи вёрст по страдалище-земле да супротив чёрной силы — срок долгий. Упреждаю о том Вас, чтоб себя по-нужному настроили, чтоб хозяйство вели с бережливостью. И Васёне Гавриловне о том передайте. Когда наперёд всё обдумаешь, сготовишь себя к долгой дороге, оно и идётся легче. И главное — без рыва. В какой обуви кто ходит? Сделан у меня тут припас, вроде бы для Миши, а может, и для тебя, Маруся. Лейтенанта молоденького с боя вынес, с ногами сильно побитыми. Сапоги пришлось спороть. Он мне их вроде бы в память и оставил. Сшил их обратно. Мне не носить, не по ноге. Берегу с думой о доме. Политрук наш, добрый человек, хотел помочь переслать, да не успел, не оберёгся, сердечный. Может, кто ещё догадается из командиров помочь. Тогда сами решите, без обиды, кому носить. Ещё раз наказываю, чтоб друг друга берегли, и особо вы, дети, заботьтесь о матери — Марусе. Без её и вам ходу не будет. А доля выпала ей нелёгкая. Всем по череду головки глажу, обнимаю. Маму Марусю целую. Поклоны мои, всем добрым людям семигорским и техникумским — тоже. Отец ваш и солдат Василий»

Васёнка недвижно сидела за столом, плотно прикрыв лицо руками. Письмо она уже читывала, знала все слова, которыми говорил с петраковским семейством Василий, и всё-таки, сызнова услышанные, они отозвались никому не ведомой тоскливой болью за себя, за свою одинокость, ни единожды не скрашенную таким вот заботным словом, — будто в нети канул Леонид Иванович, будто не помнилось ему там, за дальней далью, ни о доме, ни о Лариске, ни о ней, Васёнке. «Без коровы-кормилицы остаться — беда, — думала она, не открывая лица. — А человека потерять?!» — Васёнка отняла от лица руки, неслышно положила на стол, сказала тихо, будто самой себе:

— О беде крикнешь — горе позовёшь...

Маруся, расстроенная письмом, сквозь слёзы обидчиво спросила:

— К чему это ты?

— Всё к тому же, Маруся. Мы, бабы, всё переживём, всё одолеем. А солдат под пулями ходит...

Нюра, накрыв ладонью прочитанное письмо, через угол стола потянулась к листку, что лежал рядом с Васёнкой. Виновато поглядывая на мать, взяла, сложила треугольничком, какое-то время держала в руке, не решаясь поступить по своему разумению. Потом, неуступчиво сжав губы, оба письма положила в холстинку, с привычной ловкостью связала концы. Придавив руками пакет, в котором теперь было всё — и добро, и беда, и надежда, сказала, заливаясь краской смущения от той самостоятельности, которой ещё час назад в ней не было:

— Отца пусть ждёт. Вернётся, тогда и узнает про беду. Лучше так будет, мама!..

Маруся, часто моргая, удивлённо смотрела на дочь такими же большими, как у Нюры, глазами. И молчала. Кажется, впервые за прожитую жизнь.



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

А время шло — среди общей скорби и нужды, среди горя и забот, порой в робких радостях, порой в грустном и смешном, и всё, что ни случилось среди своих или чужих людей, было жизнью.

В колхоз прибыл ещё один уполномоченный, сутулый, тихий, годочков с виду неопределённых и чем-то — робостью своей, что ли, — не похожий на уже побывавших в Семигорье районных и областных людей.

Васёнка поглядывала на его усталое широколобое лицо, узенькие, какие-то подслеповатые очки, обмотанные по переносью чёрной ниткой, на маленький самолюбивый подбородочек, на реденькие, вроде бы и незачёсанные, просто закинутые на затылок волосы, и на всего на него, щупленького, какого-то неухоженного, похожего на заклёванного цыплёнка, и всегдашняя усмешливая обида, с которой она встречала уполномоченных, обида за недоверие, за лишний бесполезный глаз, без которого не обходилось теперь ни районное, ни областное начальство, сменилось у неё почти материнским состраданием. Спросила, глядя жалеющими глазами:

— Что теперь-то глядеть в колхозе? Ведь ноябрь на дворе! Всё, что могли и даже не могли, — всё сдали...

Уполномоченный виновато подмаргивал, косился на дверь, осторожно трогал натрёпанные морозом уши, как-то неопределённо пожал покатыми плечами, признался:

— Вы знаете, даже не представляю. Сказали: директива товарища Стулова. Вот я и... Словом, пришёл...

Чистосердечность уполномоченного, беспомощность его Васёнку даже развеселили. Улыбаясь она убрала в стол бумаги, сказала:

Ну что ж, раз приехали, определю вас на постой. А дела на завтра, — так, что ли?

Уполномоченный обрадовано закивал лобастой головой, оживился той определённости, которая появилась в его жизни, по крайней мере до утра, и неожиданно бодро встал. В самую эту минуту и вошла в контору Капитолина.

Увидела диво в бабьем царстве – мужичка, хоть и щупленького, но живого, и выразила на лице такое умиление и готовность услужить, что Васёнка тут же решила к ней и отправить уполномоченного на постой. «Хоть накормит бедолагу, — подумала. — В другом доме и куска не найдут...»

Она представила уполномоченного. Капитолина осторожно пожала протянутую ей руку, почтительно взглянула на хотя и унылого вида, но довольно массивный нос и тут же, забыв про дело, с которым явилась, повела гостя к себе в дом.

Дома, повязав под могучую грудь передничек с розовыми оборочками, приобретённый недавно в обмен на кусок яблочного мармелада, она усадила гостя в красный угол, принялась хозяйничать. В тепле гостя начало размаривать, и Капитолина, как могла, занимала его разговорами, понимая, что гость не прост, не из деревенских, похоже, ещё и учёный.

Ставя на стол миску с закусочкой, блюдца, она вежливо поинтересовалась:

— Как же вас звать-величать, если позволите? Геннадий Витальевич? Очень приятно... Сами-то из каких будете: из учителей, докторов?.. Ах, из плановых работников!.. Понимаю, понимаю, от строчек да цифири голова в круговерти!..

Гость хоть и разомлел в жарко натопленной избе, но отвечал на вопросы охотно и особенно оживился, когда стол был наконец заставлен с вызывающей щедростью.

— О, да у вас скатерть-самобранка!.. Откуда?! — Сказал он потрясённо. — Богатство, достойное Лукулла...

Капитолина сочла нужным уточнить про Лукулла и, когда гость пояснил, с простодушной гордостью отрезала:

— Было у императоров, будет и у нас. Не хуже прочих!..

Опустив на стол тяжёлый, шумящий и посвистывающий струёй пара самовар, она как бы в робости выдержала молчаливую минуту, поджала губы маленького рта, спросила:

— Небось у этих самых Лукуллов и вином угощали?

— Вне всякого сомнения! — с убеждённой воскликнул уполномоченный. — На всех столах огромные амфоры с разными винами!

— Тогда и нам не грех по маленькой... — осмелев, сказала Капитолина.

Гость в замешательстве потрогал свой выразительный нос, стараясь как-то поубедительней выразить своё отношение к вину, проговорил не очень твёрдо:

— Вообще-то...

— И я так считаю... — закончила его не совсем ясную мысль Капитолина. Открыла крышку стоявшего в углу сундука, с проворностью достала и поставила на стол нераспечатанную бутылку.

Гость пил осторожно, больше мочил губы, чем пил; после каждого глотка зажмуривал глаза и непонятно качал головой. Зато ел неостановимо, — Капитолине пришлось подложить ему в тарелку ещё и ячневой каши, которая припасена была для разных прочих, по зову её заходящих время от времени для домашних услуг. Правда, кашу она сдобрила постным маслом, но и кашу уполномоченный съел до удивления легко, как будто до каши не переложил в себя со сковороды глазунью с салом да не опростал чугунок картошки, тушённой с мясом, к коему подана была ещё и миска солёных огурцов. Ложку после каши он по-деревенски облизал и поглядел на пустую тарелку с сожалением.

Капитолина хотя и захмелела, но не до такой смелости, чтобы пуститься в откровенность. Поколебать её убеждение в том, что мужик в корне своём — всегда мужик, будь он хоть из области, хоть из самой столицы, не мог бы никакой уполномоченный, даже если бы заместо очков он нацепил бинокль. Но что-то было в этом щупленьком госте, сильном на еду, такое, не поддающееся быстрому пониманию, перед чем даже Капитолина робела. Какая-то умственность, что ли, неподвластная ей способность на высокий, отвлечённый от действительной жизни разговор, какое-то витание в мыслях и необычных словах, — всё это смущало, как-то стесняло Капитолину. И потому, робея перед умственностью, она с терпеливостью ждала того часа, когда вино и сытость разрушат высокое парение мыслей, и гость сам потянется к греху, и останется ей лишь подбодрить его, готовенького. Капитолина терпеливо чокала в стопочку гостя, заставляя его хоть и по глоточку, но пить. И с удовлетворённостью наконец увидела, что Геннадий Витальевич сомлел. Подпёр голову рукой, стащил с запотевшего носа очки; с четвертой или шестой попытки засунул их в нагрудный карман сильно поношенной в вороте, пообтёртой на локтях фланелевой рубашки.

— Нет, уважаемая Капитолина Христофоровна, — говорил он, блуждая глазами по сумеречному пространству дома. — Нет, я не из таких, кто завидует: по службе — начальнику, по дому — соседу. Да, я составляю графики, составляю сводки. Я не герой фронта. Но в душе я — художник. Мне дано видеть небо, землю, человека. Я чувствую жар красоты! И зрю насквозь пёструю человеческую натуру! Вы по своему не молодому, так сказать, опыту должны знать, что по натуре человек изрядно пёстренький. Как, к примеру, лоскутное крестьянское одеяло. Лоскуты сшивают; старые, новые, цвета разного, а вместе — одеяло, то есть человек. Мне дано это видеть. И запечатлевать!

Не в звуках — я не композитор. В красках!.. У меня есть портреты выхваченные из гущи быта... Скажу вам, не оценённые ещё портреты! Я покажу. Отступлю от принципов и покажу. Вам! Вы бываете в городе? Да? Я так и думал. Вы зайдете к нам. Я покажу. И жену покажу...

Капитолина внимала разговарившемуся уполномоченному с незнакомым чувством робости. Тень его, вздымающаяся на стене от светившей на краю стола керосиновой лампы, как бы уширяла, могла сама гостя; разгорячённый угощением и разговором, гость казался Капитолине, замороженной ожиданием неодинокимой ночи, чуть ли не чудом, ниспосланным в теперешнее безмужичье. Её приятно щекотнуло вырвавшееся из многих непонятных слов приглашение городского человека, но в мрачность вогнало упоминание про жену. Её бледно-зелёные, с холодным, тёмным ободком глаза как бы уменьшились, недобро заблестели; кто Капитолину знал, мог ожидать немедленных и самых крутых её действий. Но на этот раз Капитолина успела сообразить, что по нынешним временам крутые действия к добру не приведут. В то же время по скопленному опыту она в точности знала, что всякое поминание жены или оставленных дома детишек расстраивало даже самых бесшабашных мужиков, потому она сделала умственный ход, достойный не только женщины, но и полководца. Концом розового передника она вытерла губы, будто готовилась целоваться, наклонилась над столом и, не давая гостю углубиться в дела семейные, с участливостью в лице и голосе спросила:

— А матушка ваша в далёких ли краях обитает?..

Геннадий Витальевич на минуту застыл в удивлении, даже в изумлении, потом махнул рукой, будто послал приветствие.

— В далёких! В краях, невидимых для живущих... — Он проговорил это с такой печалью, что у Капитолины сжалось сердце от жалости к самой себе. А Геннадий Витальевич вдруг разволновался, заговорил, как будто только и ждал её вопроса:

— Не знали, не знали вы моей матушки! Умнейшая женщина, скажу вам. Ведь мог бы я и не быть, вот как есть сейчас перед вами!.. Девочки, всё девочки-сестрички рождались... А папаше нужен был я, — хоть один, но молодец! Матушка это знала. И — это надо представить! — решила поправить несправедливость, ниспосланную самой природой! Матушка вызнала где-то важный женский секрет. Оказывается, и такие секреты есть, в которых скрыта тайна рождения особи, — кто, как говорится, выглянет на белый свет: он или она? И, как в откровенности поведала мне матушка, секрет заключается в том, кто в минуту самого таинства зачатия сильнее пожелает близости — муж или жена. От страсти жены рождается мальчик. Вы понимаете?!

Капитолина даже привстала, по тугим её щекам пятнами пошёл гулять румянец. Отмоли перед богом все свои забытые и незабытые грехи, и то не сумел бы он дать такого нужного ей оборота в разговоре! Вся будто приподнявшись над столом, Капитолина выдохнула с превеликим сочувствием:

— Понимаю! Очень даже понимаю... — Она хотела добавить «миленький мой», но сумела и на этот раз с твёрдостью сдержать порыв прихлынувших чувств; только осторожно добавила: — Женщины в таких делах мудрющие люди!..

— Не все! Выкрикнул Геннадий Витальевич. Он вскинул руку и потряс пальцем перед лицом Капитолины, и Капитолина поспешила согласиться:

— Не все, не все, правый ты мой. Сроду такого понимания не схватишь!..

— Да, в том суть! — сказал Геннадий Витальевич, опуская низко к столу лобастую голову. Но я — о матушке... Так вот, собрала матушка отца в командировку и с первого часа стала ждать. Ждёт и себя в ожидании подогревает. На огне, так сказать, ожидания кипит. И ко дню приезда в таком превеликом нетерпении оказалась, что когда отец вошёл, она не дала ему даже раздеться... Мда... Я, кажется, не в те ворота. Семейная тайна, так сказать. Оглашению не поддаётся... Что-то голова в кружении... Мне бы прилечь, милая хозяйюшка...

Капитолина выводила гостя из-за стола с таким вниманием, с такой осторожной бережливостью, что глядеть со стороны — в руках её был не муж во плоти, а по меньшей мере блюдо с дорогими пасхальными яичками! Проведёт шажок — словом приласкает, проведёт другой — рукав погладит, на третьем шагу и вовсе к плечу припала, залепетала что-то, переводу не поддающееся. И, усадив на мягкую постель, тяжело преклонила, сама расшнуровала, стащила с ног до жалости оббитые ботинки со стоптанными набок каблуками и носки, сказать прямо, несвежие, которые гость в ещё теплившейся стеснительности пытался выволить у неё из рук и засунуть в ботинки, чему Капитолина со снисходительной на неё игривостью воспротивилась. Гостя в конце концов она уложила, до подбородка укрыла пёстрым тяжёлым одеялом и, укрывая, слегка придавила боком. Геннадий Витальевич в охватившей его трогательной вере в бескорыстие добра, надо полагать, забыл в эти минуты о жене и высоких своих полномочиях от области. Накормленный, напоенный, разморенный почти банным теплом избы, душевно размягчённый услужливостью хозяйки, ещё не ощущая нависшей над ним опасности, он в ответном благодарном чувстве нашёл укрывающую его руку, прижался щекой.

— Как матушка!.. Спасибо доброй вашей душе... Вы ко мне, как матушка!.. Незабытая, добрая моя... — Он бормотал, выражая словами и движениями головы обьяввшие его чувства, тёрся небритой щекой о беспокойную руку Капитолины.

— Погоди-ка, касатик. Сейчас я...

Капитолина потревожено сползла с кровати, пошла по тяжело постанывающим половицам. Пока, скинув катанки, ходила по дому, запирала дверь, сдирала с себя розовый с оборочками передник, гасила лампу, Геннадий Витальевич забылся в блаженстве мягкой постели. И не очнулся, если бы не почувствовал удушья: чьи-то цепкие руки стискивали его грудь, жаркий шепоток опаливал ухо:

— Нут-ко, мужичок, шевелись...

Он попытался высвободиться из-под живой, шевелящейся тяжести, суетился руками, полузадушено выкрикивал:

— Позвольте... Позвольте...

— Позволю... Позволю... — шептала Капитолина, всё крепче сжимая его с подушками. И тогда уполномоченный, всхлипнув, вдруг завыл, тонко, жалобно, как одинокая, потонувшая в снегах собака. От неожиданности Капитолина отинулась, дрожащей рукой перекрестила воющего в темноте гостя.

— Что это ты, касатик? — спросила, приходя в себя. — Чай, не пёс выть-то!..

Геннадий Витальевич наконец замолк, выбрался из-под подушек, отодвинулся в угол постели; Капитолина слышала, как тяжело посипывая и посвистывая, он вбирал в себя воздух, будто горло у него было в дырках.

— Что притих-то? — осторожно осведомилась она.

— Астма у меня, — пожаловался уполномоченный.

— Не мужик, что ли? — Уже смелее спросила Капитолина, придвигаясь.

— Ради бога!.. — взмолился уполномоченный. — Я... я не способен, — добавил он упавшим голосом.

— А жена пошто? — подозрительно спросила Капитолина; ещё с девичества, когда только-только она начинала кое в чём разбираться, жизнь научила её не доверять таким вот тихоням: наговорят, с ничего натворят да и улизнут...

— Ну, поверьте же! — дрожащим голосом сказал Геннадий Витальевич. — А жена... Вы же понимаете, я давно женат. И время сейчас не то. Всё на нервах. И пища, сами знаете, картошечка...

«Картошечка! — в мыслях передразнила Капитолина. — А за столом жрал как боров...»

Она окончательно утвердилась в том, что перед ней тихоня из тех, кто за разговорами умеют увернуться, решительно придвинулась, обхватила тощие бока уполномоченного, проговорила зловеще:

— Ты, касатик, не крути. Коклетами тебя зря кормила, что ли?.. Брюхо-то набил, а благодарить дядю пришлешь?!

Чувствуя под руками живое мужиковское тело и оттого помутившись умом, Капитолина рывком повалила уполномоченного в подушки.

На этот раз Геннадий Витальевич неожиданно проявил твёрдость и силу — вдруг окрепшими руками он свалил с себя бабью тяжесть, соскочил на пол.

— Зажгите немедленно свет! — приказал он голосом такой неподдельной властности, что Капитолина притихла. Где-то в глубине постели она соображала, насколько серьёзна и опасна перемена, случившаяся с уполномоченным.

— Зажгите свет! — повторил Геннадий Витальевич, и Капитолина, вся превратившаяся в слух, не уловила прежней властности в его голосе. Успокаиваясь, она деланно вздохнула, ответила из темноты:

— Время не такое, касатик, чтоб среди ночи керосин жечь! Да и спичка каждая на учёте...

— Но мне надо одеться! Я к председателю пойду!..

— Одевайся, иди... — зевнув так, чтоб он слышал её зевок, сказала Капитолина. — Может, отыщешь дом да среди ночи добудишься...

Она шумно вытянулась на постели; ещё не перекипев страстью, слушала, как уполномоченный в нерешительности переступает босыми ногами по остывающему полу.

— Ладно, тихоня! Честность мою и себя на всё село не позорь. Лезь на печь!.. — Она сползла с кровати, в тёмках пошатнула плечом уполномоченного, закинула на печь подушку.

— Одеялко на печи... Лезь!.. И чтоб до утра голосу твоего не слышать было!..

С кровати она слушала, как уполномоченный, срываясь ногами с узких ступенек, ощупью взбирается на печь. Когда, недолго повозившись, он затих, Капитолина почувствовала себя обманутой. Обманутой и брошенной. И забытой людьми в этом казённом, обжитом ею пристрое к магазину, в котором было всяких товаров, но не было живого голоса, кроме мышинной возни и писка. И волчья, студёная тоска захладила грудь. И вспомнила она своего Гаврилу Федотовича, дуб-мужика. Вспомнила, как в угрюмой неуступчивости он проводил её из дома, без доброго слова и взгляда, позабыв про всю её горячность, про ласки, какими одаривала она его в беспамятных утехах!.. И Машку свою неблагодарную помянула. В девицу вымахала, а всё туда же, от дома норовит!.. Вспомнила про всё Капитолина. И в тоскливых думах и в жалости к себе лежала в немой темноте дома, концом одеяла отирая мокрые щёки.

На печи осторожно кашлянул уполномоченный. Капитолина приподнялась, робко позвала:

— Не спиться, касатик?..

Уполномоченный притих, даже дыхания не стало слышно. Капитолина слёзно вздохнула, в безнадежности отвалилась на подушки. Волнения вконец притомили её: она ещё раз вздохнула, и угрожающий храп потёк через щёлочки её ноздрей.

Пробудилась она от незнакомого ей осторожного шебуршания, не сразу сообразила, что это одевается уполномоченный: в жёлтом утреннем свете, пробивающемся через оконца, он, пригнувшись, зашнуровывал ботинки.

Капитолина стеснительно попросила отвернуться, проворно оделась, взялась было за самовар, но уполномоченный вежливо остановил её:

— Если для меня, то не беспокойтесь.

— Что так-то?!

— Спасибо. Я сыт вчерашним.

Он с достоинством надел своё не по росту длинное, не застегивающееся в ворота пальто, накинул на лобастую голову кепку.

Попрощался он издали, как-то странно: то ли улыбнулся, то ли попросту увёл в сторону широкий рот. И Капитолина, глядя, как перешагнул он порог, как с улыбочкой прикрыл за собой дверь, с запоздалой отчаянностью подумала: «Обвёл. Вокруг пальца обвёл! Тихоня!..» — и громыхнула железной трубой по самовару.



Глава пятнадцатая

ОЛЬГА

— Что, военфельдшер, молвы лишился?! Проходи, садись. — Комиссар вглядывался в него из-под рожек-бровей любопытствующим взглядом. Но не взгляд комиссара сковал движения Алёши и речь — в блиндаже сидела Ольга, та самая до невозможности красивая девушка, которая так неожиданно явилась ему на первом шагу его фронтовой жизни, очаровала, на миг приоткрыла и унесла с собой от него, потрясённого, тайну своего страшного в улыбке лица; он помнил, как почти клятвенно обещал Ольге отыскать её на дорогах войны.

Ольга сидела на нарах, напротив комиссара, подняв и в ожидании повернув вполупоборот к нему голову. Алёша видел излишне спрямленную спину, напряжённый взгляд красивых выпуклых глаз, как будто мерцающий беспокойством. Он не знал, зачем вызвал его комиссар, и стоял, привычно вытянувшись, держа руки по швам.

— Ну, здравствуй, Алёша! — первой сказала Ольга.

Привечающий её голос вернул ему речь. С неловкостью он поздоровался, повинувшись приказывающему жесту комиссара, сел на край нар, накрытых серым суконным одеялом, рядом с Ольгой.

Алёша не знал, как говорить ему с девушкой, которую до нежданной сегодняшней встречи видел всего несколько часов. Пока, как всегда мучительно, он искал нужные и возможные в новой их встрече слова, комиссар взял разговор на себя:

— Извини, военфельдшер. Но Ольга хотела тебя видеть. Помнит тебя романтиком. И не верит, что на войне человек может остаться, так сказать, в довоенном душевном состоянии. Сам-то как на это смотришь?

От неожиданного вопроса Алёша покраснел и только неловко улыбался и молчал.

— Видишь, Оленька! Таким же, думаю, был наш военфельдшер и в первом разговоре с тобой. Понимаю его. И могу сказать — лично мне это дорого. По-солдатски прошёл он через первый, очень трудный для него и для всех нас бой.

И сердца не ожесточил. Не сбили его и прочие сложности военной жизни. Насколько могу судить, даже на врага он порой переносит чувства, рождённые в нашем добром мире. Война такого отношения, знаю, не терпит. Но... но, Оленька, я всё-таки за то, чтобы после боя и солдат оставался человеком.

Ольга сделала плечами едва заметное протестующее движение, и комиссар с несвойственной ему поспешностью, даже суетностью, договорил:

— Не каждому, Оленька, довелось пройти по кругам адовым. И не приведись, чтоб каждому... Прости меня, но я начинаю рассуждать так: если кто-то принял на себя пулю, эта пуля уже не достанется другому...

— Слабое утешение, — сказала Ольга, и Алёша почувствовал, как голос её, без того глуховатый, по-недоброму загустел. — Когда жизнь одних утверждается на смерти и страданиях других — это плохое утешение. Для страдающих и погибающих...

— У войны свой выбор, Оля! Мы не знаем, кого она выберет завтра.

— Так пусть страдают и погибают те, кто силой ставит себя над другими!.. — голос Ольги накалился. Присутствие комиссара не сдерживало её, и комиссар, к удивлению Алёши, уступил.

— Ладно, дядя Коля, — примирительно сказала Ольга. — Не будем об этом. Тем более что наши с тобой споры едва ли по душе гостю.

Неприкрытое изумление Алёши словами Ольги комиссар заметил, пояснил, усмехнувшись:

— Не удивляйся, военфельдшер. С Оленькой мы не только с одной земли — одной семьёй жили. Ольга не помнит, а я с ложечки её кормил!.. Теперь вместо отца ей. Хотя и не признаёт! Свои соображения имеет! Не хочу, говорит, дядя Коля, чтобы плакал ты по мне, как по дочери. Тут с ней мы не ладим. Последнее это дело живому о смерти думать. Слышишь, Ольга?!

Алёша смутно чувствовал, что неожиданная встреча, не совсем понятный разговор комиссара с Ольгой имели какое-то отношение и к нему, — комиссар как будто хотел, чтобы он знал, что Ольга близка ему, как дочь. И Ольга как будто не была настроена против забот комиссара, хотя держалась, как всегда, сдержанно-спокойно. Она смотрела на комиссара с какой-то тяжёлой ласкающей печалью, и неподвижное лицо её жило только глазами да едва различимой скорбной улыбкой у края полных губ. Просительно она сказала:

— Об этом тоже не надо, дядя Коля. Лучше объясни Алёше, зачем ты пригласил его.

Комиссар, утишая горячность, потрогал столик, прилаженный между нар, наподобие вагонного, взглянул с ещё не остывшим чувством недовольства.

— Разговор-то знаешь о чём, военфельдшер?! Оленька, да будет тебе известно, — снайпер, прикомандированный к нашей армии. Какое-то время будет работать на участке батальона. Могу сказать, чтоб знал: у неё на счету — семьдесят два фашиста.

— Семьдесят четыре, — поправила Ольга, и Алёша почувствовал, как притихло его сердце, не столько даже от невероятного количества убитых этой невозмутимо-красивой девушкой врагов, сколько от бесстрастности самого её голоса, которым она поправила комиссара.

— Это когда же?... — настороженно спросил комиссар.

— Позавчера, — с той же бесстрастностью, уточнила Ольга.

Комиссар помолчал; сказал, почему-то стараясь уйти от подробностей:

— Ладно. Важно не это. Важна суть...

Ольга неуступчиво поправила:

— Важно именно это. Ты забываешь о том, о чём я забыть не могу...

Комиссар в неловкости оттянул ворот гимнастерки, расстегнул две верхних пуговицы.

— Прости, Оленька, — сказал он. — Я о другой сути. О той, что относится к нашему гостю, военфельдшеру... Послушай, Полянин, если я правильно понял, ты попросил у нас с комбатом винтовку снайпера не для забавы? Не хотел я разрешать, да что поделаешь — войны впереди ещё много! Что тренируешься — слышал. Как успехи?..

Алёша уже догадался, о чём скажут ему сейчас, и постарался быть скромным в оценке своих успехов: неопределённо пожал плечами, надеясь, что комиссар правильно поймёт и удовлетворится молчаливым его ответом.

Но комиссар расценил его жест по-своему: как-то сразу весь подобрался, настороженно, с недоброй пытливостью, спросил:

— Что, нет успехов?!

Алёша понял, в чём заподозрили его, с дрожью в голосе сказал:

— Плохо вы обо мне думаете, товарищ комиссар!..

Комиссар вглядывался в него, как будто проверял, насколько искренен он в своей обиде, сказал примирительно:

— Обиды тут ни к чему. Мне надо знать о твоих возможностях. Определимся так: на сто метров в пяточок попадёшь?

Алёша, уже не уступая желанию выглядеть лучше, ответил:

— Около пяточка, товарищ комиссар.

— Около. Но — пяточка!.. — Комиссар выразительно посмотрел на Ольгу.
— Как, Оленька? Для дела это годится?..

Ольга наблюдала Алёшу с неостывающим интересом и теперь удовлетворённо, как показалось ему, ответила:

— Думаю, что годится. Только... Дело ведь не в винтовке...

— Ты хочешь сказать — в человеке?..

Комиссар и Ольга — оба смотрели на Алёшу; и Алёша, от смущения и отчаяния набираясь дерзости, спросил:

— Как человек я разве подводил вас когда-нибудь, товарищ комиссар?

— Если бы подводил, позвал бы я тебя, военфельдшер?!

Чуть позже, когда комиссар вышел следом за ним из блиндажа как бы проводить, он объяснил ему уже наедине:

— Как понимаешь, Полянин, это — не приказ. Просьба. Боюсь за Ольгу. В ненависти удержу не знает. Ты только подстрахуй её. На рожон не лезь!.. Ну, ни пуха ни пера вам обоим! — Он дружески сдвинул ему плечи, тряхнул.

... Тоскливую тяжесть падающих на него брёвен он знал, — в детстве, когда он заболел, метался в жару и бредил, сверху, из темноты, начинали валиться брёвна; брёвна отделялись от потолка, с непонятной замедленностью падали, перекатывались по груди, исчезали в чёрной пустоте у кровати, оставляя чувство тяжести и страха. Он боялся падающих на него брёвен и кричал. Успокаивать его умела только мама: встревоженная, она появлялась у кровати, укладывала на его горячий лоб исцеляющую руку...

Алёша не был болен; но, едва закрывал глаза, начинался тот далекий, из детства, бред: из перекрытия землянки вываливались брёвна, падали, перекатывались по груди; и качались перед глазами, как в яви, загорелые спины парней, взбирающихся в торопливой ярости на бугор, где таилась Ольга; снова он слышал свои оглушающие выстрелы, ощущал жёсткие толчки винтовочного приклада, видел, как одна, другая, третья спины словно прогибаются от ударяющих в них пуль... Опять начинался бред, озноб пробегал по спине, уходил куда-то в ноги, в земляные нары, на которых, укрывшись до глаз шинелью, он лежал. Он не видел, как вошла Ольга; он открыл глаза, когда почувствовал чьё-то присутствие. В сумраке землянки Ольга поймала его отчужденный взгляд, скорбно улыбнулась одними глазами, нашла его напряженные пальцы, крепко сжала:

— Спасибо, Алёша. На этот раз ты спас мне жизнь... — Ольга была какой-то осторожно-праздничной, и Алёша отвернулся: видеть Ольгу он не мог.

Всё началось с Ольги. И то, что случилось потом, тоже случилось из-за Ольги. Это она, милая девушка, прошедшая специальную снайперскую школу, тщательно готовила и наставляла его. Это от неё он услышал: «Подумай ещё раз, Алёша! Это серьёзно. И опасно...» И слова эти только подстегнули его нетерпение. Всё предусмотрела заботливо-сдержанная девушка, всё, вплоть до маскировочного халата для него и бронебойно-зажигательных пуль, которые сама с тщательностью заложила ему в подсумок. Не смогла предусмотреть она одного, только одного, — каким он вернется оттуда...

Вслед за Ольгой, почти невидимой в немецком маскхалате, испятнанном жёлтыми, зелёными, коричневыми треугольниками, он полз, осторожно протягивал своё тело по ничейной земле.

Таинственную для него линию фронта никогда прежде он не переползал и только по ощущению тяжести, сдавившей виски, понял, что они пересекли черту, разделяющую армии.

За фронтом он ждал увидеть нацеленные в их сторону орудийные стволы, зарытые по башни танки, угрюмые шапки дотов, пулемётные гнёзда, ямы-площадки, с настороженно присевшими миномётами, — всю ту механику войны, которая стреляла отсюда, с этой стороны, и там, у них, рвала землю и солдат, вспарывала животы, выбивала глаза и челюсти, — ту страшную механику войны, к кровавым следам которой в каждом бою он притрагивался своими руками; ждал и хотел открыть для себя такое же страшное лицо врага, в которое так тщательно и долго готовился выстрелить. Но то, что он увидел, не было войной.

От берёз на высоком краю склона, под которыми распластано они лежали, он увидел охваченный холмами приречный луг со знакомой просинью цветущих колокольчиков. За холмом, куда уходила речка, был, похоже, омуток, и там купались люди; видимая сверху светлая гладкая речная хребтинка беспорядочно колыхалась, ломая тёмную полосу отражённого в ней берега; довольные голоса доносились оттуда. Внизу, на зелени луга, играли в мяч голые по пояс парни; двигались, краснели на солнце их загорелые руки и спины. Пополуденная жара спадала в тишине: ни выстрела, ни даже случайного взрыва; только в стороне над лесом спокойно рокотал немецкий самолёт-разведчик да трещали кузнечики в разнотравье на склоне.

Было так по-деревенски, тихо, что слышались внизу сильные удары ладоней по тугому мячу и возбуждённые, обычные в игре, возгласы парней.

Ольга тронула его плечо, шепнула, почти не двигая губами:

— Оставайся здесь... Окопайся. И ни единого стука!— Он увидел её глаза, устремлённые вниз, на играющих в мяч парней, и успел испугаться их выражению. Тело Ольги, будто гибкое тело большой змеи, переползло через корни, лишь по колыханию травы, испятнанной тенью листьев росших по склону берёз, он догадался, что Ольга ползет на бугор, нависающий над лугом.

Он нервничал, готовя себе узкое укрытие в земле под берёзой, его беспокоила не столько близкая опасность, которую в одиночестве он острее чувствовал, сколько сама Ольга. Сейчас Ольга начнёт стрелять, и вся эта летняя тишина, весёлая игра парней на лугу, мир, который хоть как-то, хоть на час, но установился на этом кусочке земли, разрушится, — снова загрохочет война, снова замрёт всё живое.

Ольга не стреляла, тишина продолжала быть. Алёша подтянул к себе винтовку, в сильный оптический прицел следил за играющими в мяч парнями. В кругу их было девять, азартных, увлечённых общей игрой, крепкие их плечи и спины лоснились от пота, как крупы сильных, разгорячённых коней. Он видел, как взлетал от ударов мяч, как быстрые движения рук перехватывали его в падении, не давая коснуться земли; мяч снова уходил в высоту, перекидывался от одного к другому, третьему — знакомая, веселящая, влекущая к себе игра. На просторном летнем лугу незнакомые парни повторяли то, что проходит через юность каждого. Жаркая устоявшаяся тишина умиротворяла душу; сама игра, за которой он следил, странным образом сместила ощущение времени. Хотя он смотрел на парней через перекрестие прицела, он вдруг почувствовал, что близок к тому, чтобы подняться из укрытия, широкими лёгкими прыжками сбежать по склону на луг и, как бывало в доверчивые школьные времена, напроситься в оживлённый летающим мячом круг. Желание было настолько отчётливым, что он зажмурил глаза, с силой придавил нагретый солнцем приклад к щеке.

Среди девяти выделялся плотный, спортивного вида парень, с коротко подстриженными, почти белыми волосами; он высоко прыгал, сильно и точно бил по мячу и, насколько был стремителен и оживлён в ударе, настолько выжидающе сдержан, когда мяч летел на соседа. Он чем-то напоминал семигорского Васю Обухова, сына Ивана Митрофановича, и больше, чем за другими, Алёша следил за ним. Именно этот ловкий, удачливый в игре парень упал первым: вскинул руки принять мяч и в первый раз за всю игру не дотянулся — мяч ударил в него, и парень, словно не выдержав удара, запрокинулся, подгибая ноги, повалился на траву. Алёша не сразу связал в сознании сухой щёлк одиночного винтовочного выстрела и падающего на траву парня.

Наверное, не сразу поняли в азарте игры то, что случилось, и другие: они застыли в самых разных позах на какие-то секунды, и этих секунд хватило, чтобы вслед за щелчком выстрела упал лицом вниз другой игрок. Луг как будто вскипел людьми. Алёша даже представить не мог, как много таилось здесь солдат! Оголённые до пояса парни бросились к оружию; прежде чем они подняли автоматы, ещё двое, один за другим, упали на свои одежды.

Война ожила: подвывая, падали, рвались на земле мины, расшвыривали траву, листья; дымом затемнило воздух: лёгкий потреск разрывающихся пуль доносился из леса. Прилетевшие на шум войны уже из полкового тыла снаряды покрыли чёрными, мгновенно вспухающими огнищами солнечный, заполненный разбегающимися солдатами луг.

Но самое страшное ещё не свершилось. Полуголые парни, не надев даже кителей, с автоматами в руках бросились вверх по склону. Похоже, они засекли место, откуда стреляла Ольга, и, осатанев от мстительной злобы, спотыкаясь, падая, снова поднимаясь, в исступлении карабкались к соснячку, торопясь охватить бугор.

Алёша видел, что Ольге с бугра уже не уйти: смерть несли ей не солдаты, разбегающиеся по лугу в разрывах падающих на них снарядов, а вот эти пятеро полуголых парней с раскрытыми злыми ртами. Ближе всех других к Ольге был парень с гладкими длинными волосами; припадая на колени, он карабкался по крутому склону мимо Алёши, помогая себе рукой, и жутко хекал, как запалённая лошадь. Ещё минута — и хекающий парень скрылся бы в сосняке, за спиной Ольги.

Алёша поднял винтовку, он не хотел убивать, он хотел только остановить парня, отпугнуть, не дать ему добежать до Ольги. Но пуля нашла свою цель: над виском парня вскинуло волосы, будто брызнула вода под косо брошенным камнем. Алёша оцепенело смотрел, как парень, переворачиваясь с боку на бок, скатывался по склону, взмахивая вялыми руками, и автомат, петлёй ремня охватывающий его шею, при каждом повороте упирался коротким стволом в землю, тяжёлой рукоятью ударяя парня по лицу.

Алёша пришёл в себя, когда чужие пули стали крошить ствол берёзы, под которой он лежал. Уйти без Ольги он не мог. И он начал стрелять в парней, распластанных на склоне, хорошо видных ему голыми загорелыми плечами. Наверное, он стрелял лучше, потому что все парни, лежащие на склоне, скоро затихли.

... Ольга не уходила, хотя всё в нём протестовало против её присутствия; не открывая глаз, он отодвинулся. Ольга уловила его отстраняющее движение, сказала мягко, как говорят больному:

— Я думала, ты солдат, Алёша. А ты до сих пор не веришь, что бомбы, разрывающие на земле людей, падают с «юнкерсов». Я же вижу того, кто сидит там в самолёте. Пушки тоже не стреляют сами. Где-то на удобной высотке сидит вышколенный улыбчивый унтер. И каждая его улыбка обрывает жизнь русскому солдату. Я не хочу, чтобы умирали наши люди. Не могу видеть улыбку врага. Ты — на фронте. Но ты всё время среди своих. Ты ещё не знаешь, что фашист — это зверь. Я видела их там, в силе и власти. Все они звери! Все!.. Ты хоть немного понимаешь меня? — Холодная рука легла ему на лоб. Ольга искала примирения. Алёша, не открывая глаз, качнул головой, сбросил её руку. Ольга сделала движение встать и уйти, но почему-то осталась. Молчала она так долго, что он перестал ощущать её присутствие. И вздрогнул, когда услышал её вздох и голос:

— Нет, Алёша, твоё сердце не для войны!.. Он рывком приподнялся на локтях, обернул к ней дурное от страданий лицо, крикнул:

— А твоё? Твоё сердце?! — Он смотрел с такой враждебностью, что Ольга отстранилась; глаза её, полные застывшей печали, распахнулись, как от удара.

Ольга опустила голову. На застывшем её лице, в ямке у края губ, появилась неприятная горькая усмешка, странно-пугающе блестели её глаза; почти не раскрывая рта, она сказала:

— Ты спрашиваешь о моём сердце? О моём сердце?! Я жила для добра и любви. А выжила для ненависти... Холодное, страшное, у меня сердце, Алёша!.. — Она медленно подняла глаза. Под прямым отчужденным взглядом холодно-влажных глаз Алёша замер, он не смел даже моргнуть. Ольга видела его испуг, на её напряженно-бесчувственное лицо прорвалась какая-то вымученная улыбка. И снова, как при первой встрече, будто злой рукой, стянуло в узел половину её лица. Перекошенное её лицо сделалось страшным. Алёша откинулся на нары, закрыл руками глаза, Ольга жёстким от прорвавшейся обиды голосом крикнула:

— Глаза прячешь?! Нет, смотри!.. Это сделал такой же фашист, как те, в которых стрелял ты!..

Алёша был раздавлен открытой жестокостью её слов; он уже знал, что виноват перед Ольгой, и взглядом испрашивал прощения. Ольга не замечала, не хотела замечать его взгляда, она как будто застыла в желании встать и уйти.

Рассеянный свет, проникающий в землянку, добавлял её высокому лбу, мраморно-спокойным щекам, бледным, подрагивающим от обиды губам какой-то тёмной, нездоровой желтизны. Но и в жёлтом подземном свете зачужавшее её лицо было прекрасно; как будто просили защиты её узкие опущенные — плечи, обессиленные вспышкой гнева.

Алёша, терзаемый раскаянием, нашёл холодную её руку, прижал к своей горячей щеке. Ольга не шевелилась. Стыдясь, он осторожно передвинул руку к губам, раскаянно поцеловал чистые холодные пальцы.

Ольга вздрогнула, почти вырвала руку; прежде чем она плотно заслонила ладонями, он увидел, как правая сторона её лица опять судорожно перекосилась, между пальцами, прижатыми к глазам, проступили слезы. В растерянности Алёша поднялся, сел рядом. Он понимал, что надо что-то сделать, как-то помочь, и не знал, как утешают страдающую женщину. Он заметил, что Ольга успела смыть с себя пот и грязь вчерашнего боя, видел белую, трогательную в своей аккуратности полоску подворотничка над застёгнутым на все пуговицы воротом новой гимнастёрки, чувствовал, как от промытых, ещё влажных волос, умело, по-женски оттенённых светлой в сумраке землянки пилоткой, как будто в укор ему пахло свежестью реки. Чистоту и свежесть, с которой Ольга явилась к нему, непривычную в жизни переднего края фронта, он увидел вдруг, и к общей растерянности добавилась неловкость от своих исчернённых землёй рук, неумытого лица, пропотевшей, порванной в дикой сумятице вчерашнего боя одежды. Руки его ещё помнили, с какой резкостью она убрала от его губ свои вздрогнувшие пальцы, и, страшась своим прикосновением ещё больше досадить Ольге, сидел в неловкости и молчании.

Ольга наклонилась так, чтобы он не видел её лица и рук, прижатых к глазам, глухо, в ладони, сказала:

— Ты счастливый человек! К тебе не прикасался ни один фашист!..

Ольга как будто отрешилась и от сумрачной землянки, и от Алёши, от всего, что было вокруг. В дали прожитых в неволе дней, которые были так черны и отвратны, что прикоснуться к ним даже мыслью было как провести ладонью по лезвию ножа, она напряжённо всматривалась в узкие пятна лиц. Лица приближались, увеличивались, обозначались с такой нестерпимой отчётливостью, что Ольга зубами до острой боли придавила губу, с трудом оборвала видение...

Она отняла от глаз мокрые ладони; на её застывшей, как маска, стороне лица, под выпуклостью глаза, набухало, влажно сочилось слезой и кровью отпавшее нижнее веко. Лица она теперь не прятала, Алёша видел взгляд, тоскливый и тяжёлый. Слипшиеся её губы, затенённые желтизной сумеречного света, разомкнулись, пропустили едва слышимый шёпот: «Боже! И зачем я всё это помню!..»

В отчаянье она бросила кулаки на обтянутые армейской юбкой колени, уронила голову: густая россыпь волос закрыла её щеки и руки.

Алёша видел согнутую спину, перехваченную в талии широким ремнём, низко опущенную шею с клинышком прикорневых волос в ложбинке, видел погоны старшины с тёмно-красной окантовкой; погоны топорщились над плечами беспомощными обрубленными крылышками. Жалость рвала его душу; он понимал, что Ольга ждёт утешительного движения его рук, и не мог заставить себя прикоснуться к напряжённой, униженно согнутой спине, — Ольга была для него теперь как сплошная обнажённая рана, тронуть которую было выше его сил.

Ольга не дождалась жалеющей руки; с трудом, будто одолевая боль в спине, поднялась. Влажные её глаза остановились на нём:

— Надо же!.. Хотела у твоей чистоты погреться!.. — Машинальным движением рук, будто припоминая что-то, она медленно расправила под ремнём гимнастёрку; живая половина её бесстрастного лица напряглась, уголок губ подтянулся к щеке не то в сожалеющей улыбке, не то в укоряющей усмешке.

Алёша, охватив себя руками, спиной жался к холодной земляной стене, почти в страхе ожидал, что скажет сейчас Ольга. Ольга видела его ожидание и нашла слова, которых ждал и боялся он, — глухо и внятно она сказала:

— Только знай, милый мальчик! Чистеньким ты можешь остаться, пока между тобой и фашистами — солдаты. Солдаты и такие, как я...

Плавным, чисто женским движением головы и рук она отвела волосы на плечи, переколола на волосах пилотку, ударами пальцев отряхнула юбку, — всё она делала так, как будто в землянке была одна. Когда она выходила, из-за откинутой плащ-палатки сверкнул солнечный луч. И снова установился в землянке жёлтый сумрак и звенящая пустота...



Глава шестнадцатая

АТАКА

1

Он шёл через ночь, беззвучную, непроглядную, казалось, безразличную и к затихшему недавно бою, и к стыду, который жарко опалял время от времени его лицо; тогда из сжатого до болезненной сухости горла и вырывался не то судорожный вздох, не то всхлип.

Он не задавал себе вопроса, зачем он идет, он не мог не идти. Мгновение боя, когда в общем ужасе отступления батальон поднялся и пошёл в атаку, а он, охваченный общим и своим страхом, бежал к спасительной низине ручья, то, теперь до боли стыдное, мгновение боя, как будто оторвало его от солдат, и теперь, страдая сознанием своей оторванности, он шёл за канувшим в ночь батальоном, чтобы выбрать как можно скорее случившийся, позорный, как представлялось ему, разрыв.

То, что Алёша Полянин переживал как свой позор, случилось близко к вечеру, когда общее наступление, начатое пополудни, определилось и батальон, продвигаясь вторым эшелонем за другими подразделениями полка, втянулся в прорыв.

Командиры в ожидании событий притулились под разрушенным мостком через ручей, позади лежащих на краю поля рот, внимали звукам идущего впереди медленного наступления с какой-то, казалось, отстранённостью. Никто не заговаривал, не шутил, избегали даже смотреть друг на друга, томящее ожидание атаки, тоскливое предчувствие опасностей там, впереди, на открытом поле, сосредотачивало каждого на своих, словно застылых мыслях.

Светившее сквозь пыль и дым, поднятых к небу артиллерийской канонадой, тусклое солнце было уже низко над лесом, когда что-то изменилось в движении боя. И то, что случилось там, впереди, отозвалось в командирах мгновенным напряжением.

Алёша заметил, как настороженно вслушивается в звуки боя молодой, новый в их батальоне комбат, как привстал и замер в неудобном полусогнутом положении, вглядываясь в открытое справа поле, стремительно-нетерпеливый командир первой роты, заметил тревожное движение замкомбата Вишнякова, нескладно-высокого, с каким-то по-девичьи круглым лицом, поймал на себе испуганный взгляд диковато-красивых глаз юного начхима и понял, что в той стороне, где лежали их роты, случилась беда.

Оттуда, рассыпавшись по пологостям холма, бежали солдаты, бежали в обратную сторону, пригибаясь к земле, как-то нелепо качая в беге зажатыми в руках винтовками.

В бешеном галопе мчалась, обгоняя людей, упряжка с короткоствольной пушкой, подпрыгивающей на неровностях поля большими деревянными колёсами. Трое парней с застывшими лицами, вцепившись друг в друга, стояли в передке. Один из них, приседая, нахлёстывал коней. Сбоку упряжки ударил снаряд. Кони, круто повернув, почему-то встали. Парни суетно попрыгали на землю, побежали, спотыкаясь по склону. Взрывом второго снаряда опрокинуло пушку. Сильные кони взвились, понесли, волоча пушку на колесе, скрылись в облаке пыли за выступом холма. Воздух, казалось, отяжелел от взрывов, воя проносащихся низко над землёй, снарядов, свиста, щёлканья пуль.

Два града, занесённые каким-то недобрый ветром и мечущиеся над кипящим людьми и металлом полем, вдруг оба рухнули с высоты растрёпанными чёрными комьями.

От гула рвущегося металла, топота ног, запаленного дыхания бегущих мимо людей шёл страх близкого конца жизни, и командиры, находившиеся во впадине мостка, как будто оцепенели.

Вдруг, словно подброшенные одним ударом, все разом вскочили: командиры каким-то непостижимым образом уловили, что поднялись их роты.

Все, кто был в укрытии, бросились в открытость поля. Ротные и комбат, выхватывая пистолеты, устремились к батальону, уже поднявшемуся, уже захлёстнутому напором общего отступления. Других же, не боевых офицеров, кто был здесь, при комбате, не по долгу службы, а по собственному побуждению, из неистребимого на фронте тщеславного влечения к опасностям боя, всех их словно ураганным ветром выдуло из общей командирской тесноты. Среди тех, кого бросило в поток бегущих, был и красавец-начхим, и лейтенант-особист, оказавшийся тут же, был и он, военфельдшер Полянин.

Выскочив из укрытия, Алёша увидел два, ему показалось — раскалённых до красноты, танка, накатывающих прямо на него от догорающей за полем деревни, чужих автоматчиков за ними и, ошеломлённый всем, что было вокруг, не зная, что и как ему делать, понёсся среди убегающих людей, разбрызгивая сапогами хлюпающую торфяную луговину.

Чуть позже этой минуты он всё-таки остановил себя. Солдаты бежали мимо, но в уже почувствованном стыде, весь ещё дрожа от напряжения дикого бега, он как будто не видел бегущих. Ткнулся ему в живот низенький, с раскрытым ртом и безумными глазами солдат, совсем ещё мальчишечка, даже по сравнению с ним. Он увидел на его груди автомат, в отчаянье и ярости ухватил так нужное ему сейчас оружие. Он пытался стащить ремень с шеи солдата, но мальчишечка-солдат с неожиданной силой воспротивился. Общими руками вцепившись в автомат, всей тяжестью повиснув на нём, он испуганным плачущим голосом выкрикивал:

— Не надо, не надо, товарищ лейтенант! Это моё оружие!

— Какого черта тогда бежишь! — вдруг заорал Алёша и нечеловеческим своим ором привёл в сознание и себя и солдата. Взгляд мальчишечки-солдата осмыслился. Он быстро залепетал:

— Я ничего. Я как все...

— Если как все, то туда! — махнул он рукой в страшную для них сторону, и оба они, почти касаясь друг друга, с каким-то вновь обрётённым чувством долга, упрямо и ненавидяще пошли навстречу бегущим.

И вдруг всё стихло. Оборвался сотрясающий землю и воздух гвалт боя. Он увидел, как впереди, вдоль белеющей пролысины дороги, по всей видимой широте поля стремительно и, казалось, беззвучно бежали, удаляясь от них в сторону врага, солдаты его батальона.

Он опоздал, пустое пространство между ним и батальоном уже образовалось; оно всё увеличивалось, и солдаты скрылись вдали, за окутанным дымами перелеском.

В наступивших сумерках он ходил по затихшему полю, перевязывал, отправлял на оказавшихся рядом подводах раненых солдат, которых пули и осколки уложили на землю в первые минуты внезапной атаки. И когда собрал всех, кого нашёл, и отправил, и снова обходил, казалось, ещё горячее поле боя, уже почти не видя и только прислушиваясь, не донесётся ли из темноты стон, когда оказался он в совершенной тишине и одиночестве, — страдания совести сделались непереносимы. Он пошёл за батальоном.

Время от времени он останавливался в надежде уловить в непроглядности сентябрьского мрака человеческий голос, скрип колёс или лошадиный вздох, хотя бы выстрел — всё напрасно: война и люди словно вымерли.

По ощущению он прошёл уже больше километра и, будь он в другом состоянии, давно бы, по чувству самосохранения, остановил бы себя.

Опасность, могущую объявиться перед ним в любую из минут, он предугадывал и знал, что защитить себя ему нечем, разве только жалкой силой кулаков и тем презрением к себе самому и возможному появлению врагов, с которым он шёл сейчас в ночи. Ни винтовки, ни автомата, ни даже пистолета у него не было. Винтовка осталась на подводе, добытый в первом бою парабеллум он сдал ещё на формировке командиру второго взвода — нерасторопный начальник боепитания вечно бегал в поисках оружия для строевых командиров и добывал его за счет таких вот офицеров, как Алёша, которым личное оружие почему-то считалось необязательным. Будь у него сейчас в руке его парабеллум, он чувствовал себя много спокойнее. Он даже думал, насколько мог сейчас об этом думать, что в минуту, когда все вскочили и каждый оказался перед выбором — устремиться вперёд, к ротам, или бежать вместе с отступающими солдатами в кажущееся спасительным «назад», — именно ощущение лично своего бессилия перед вооруженным врагом заставило его броситься вслед за теми, кто спасал себя от танков и огня.

В ночи наконец он услышал звуки. Но чем напряженнее вслушивался он в недалекие, отчётливые, не затихающие звуки, тем тоскливее становилось ему: звуки эти были рокотом тяжёлых моторов, и доносились они с левой и с правой от него сторон. Впереди, куда он шёл, была тишина. И по медлительному, то спадающему, то нарастающему рокоту моторов, как бы охватывающих то пространство, в котором должен быть батальон, он догадывался, что немцы накапливаются по флангам, чтобы утром закрыть прорыв.

Он постоял, послушал и пошёл вперёд.

Глаза пообвыкли в темноте. Под однообразно мутным, беззвёздным, но более светлым, чем земля небом угадывались скопления деревьев, разглядел он и выбитую по склону бугра колею просёлочной дороги, по которой входили они в прорыв. Вряд ли здесь, среди лесов и болот, могла быть другая дорога, соображал он на ходу, и шёл теперь с большей уверенностью, чем прежде.

Кожей лица он ощутил наплывающий из темноты жар, почувствовал запах гари. Замедлил шаг, осторожно пошёл навстречу слабому движению ветра, остановился перед излучающей жар, слитой с землёй громадой.

Различил очертания танка, углы башни. Верх мотора топорщился: развороченное его нутро дымилось. «Один из тех двух, — думал Алёша. — Нашёлся и в этом бою свой солдат Колпин!..»

Он тронул горячий металл, и снова стыдом опалило лицо: кто-то другой пробивал дорогу, по которой шёл сейчас он.

В деревне, оказавшейся на пути, дотлевали в квадратах фундаментов опавшие стены. Среди осыпей горячего пепла багрово просвечивали угли: то разгорающийся, то тускнеющий их взгляд сопровождал его, пока он шёл когда-то бывшей здесь улицей.

Слух поймал ещё один звук - знакомый стукоток «кукурузника», невидимого в закрытом наволочью небе. Слухом слившись с самолётом, он мысленно сопровождал его, летящего в ту сторону, куда он шёл сам. Но самолёт почему-то возвратился, сделал круг над ним, стал заходить на второй. Видеть его летчик не мог, подавать какие-то знаки было бесполезно, и Алёша продолжал идти, обострённым слухом пытаясь понять, что задумал невидимый пилот.

Мотор замолк. Алёше казалось, что он слышит шелестение скользящего в ночи над ним самолёта. Нарастающий звук падающей бомбы бросил его на дно придорожной канавы. Сам взрыв не был сильным, но даже сквозь закрытые веки он ощутил всполох яркого света. Он открыл глаза и тут же вскочил: показалось, он в огненной западне, — горела земля низким слепящим пламенем. Тут он разглядел, что горит не сама земля, горит, выделяя едкий белый дым, что-то разбросанное на земле, и вспомнил, как Ленка в первой и последней их встрече небрежно сказала: «И фосфорные бомбочки швыряем!..»

Раскиданный по дороге и вокруг фосфор горел кострами, едучий дым стелился над землёй белесыми полосами в одну сторону, плотно, как будто холстинами занавешивая ему путь. Горело и в канаве у примятого им бурьяна, в каких-то сантиметрах от того места, где только что он лежал. С содроганием Алёша подумал, что было бы с ним, если бы хоть капля фосфора попала ему на тело: он бы не потушил её ни водой, ни землёй, расплавленный фосфор прожёт бы его насквозь.

Надо было как-то выбираться из наплывающего дыма с едким настораживающим запахом. Прикрыв лицо руками, он пробежал сквозь первые растянувшиеся над землёй полосы, увидел между дымами коридор, выбрался по ещё не затянутому проходу за пределы огненного круга.

«Кукурузник» с ровным стукотком мотора кружил над мерцающей пламенем землёй. Алёша в сердцах обругал летчика слепым чёртом, но был он не только разозлён, сколько встревожен.

Ночные лётчики обычно точно знали свой передний край. И если бомба упала на уже захваченную деревню, то означало это только одно: прорыв батальона, случившийся на закате солнца, не был ещё даже обозначен на штабных картах. Отчетливее, чем прежде, он представил, чем грозит ему эта неопределённость: в безгласной тьме легко было миновать свой батальон, через открытый фронт попасть в расположение врага; от одной этой мысли холодела спина, тяжелели ноги.

Он стоял в напряжённом раздумье, медленно проглядывал уже пройденный путь. Было бы благоразумнее вернуться в полк, который полностью ещё не вступил в бой и выжидал на исходном рубеже. Утром, не рискуя, он добрался бы вместе со всеми до своего батальона. И никто не упрекнул бы его в том, что он не исполнил свой долг — все санслужбы выжидали вместе с полком.

«Да, вернуться надежнее, — думал он в страшащей его неопределённости. — Надо бы вернуться», — думал он, как о чём-то правильном и надёжном, в то же время зная, что не изменит своего решения. Он постоял в раздумье и пошёл дальше, уже не думая о том, что может случиться с ним.

Тьма, ещё более непроглядная от только что слепившего огня, снова втянула его. В ночи слышался лишь звук его шагов да изредка, когда он спотыкался о камень, уходил в тьму резкий удар каблука, похожий на звук отдалённого выстрела. Звук тут же двоился эхом, и Алёша, досадуя на свою неосторожность, догадывался по быстрому эху о близости большого леса с левой от него стороны. С дороги он в конце концов сбился, но, помня, что слева от него лес, стал забираться правее, где брезжила открытость поля. Скоро он почувствовал, что идёт под уклон, остановился перед сплошной, показалось ему — ольховой, порослью. Он даже отломил ветку, поднёс к глазам, ощупал шероховатый лист и мягкие шишечки в развилках, чтобы убедиться, что перед ним действительно ольховник, а значит овраг или речушка за ним внизу. Забираться в овраг было незачем. Он повернул назад, поднялся по склону, встал, слушая. Подумал, что если батальон впереди, то вернее всего именно на этом ночном поле немцы утром замкнут фронт. Батальон окажется в окружении. Но и эта, как-то сама собой, будто со стороны, явившаяся к нему мысль о возможности трагического конца не остановила его.

Ощущение времени и пройденного расстояния подсказывало, что батальон где-то уже близко. Беспокоило его теперь одно: не пройти бы мимо своих. Опасность он сознавал и шёл медленно полем, вдоль темнеющих справа зарослей оврага, обостряя до предельной возможности зрение, слух, чутьё пробирающегося в ночном одиночестве человека.

Он скорее почувствовал, чем услышал приглушённый звук голоса. Звук не повторился, но он был уверен, что не ошибся.

Бесшумно, как когда-то скрадывал дичь, продвинулся в том направлении, где показался ему звук. В прохладе ночи с устоявшимся запахом травы и прелых листьев почуял запах махорочного дыма, и запах этот, не очень-то приятный ему в обыденности, втянул расширенными ноздрями с радостной дрожью. Услышал сдержанный недовольный говор, разобрал слова: «Да будет тебе... Нашёл, мать твою, время!..» — и от услышанного грубоватого русского слова вздохнул, будто после удушья.

Среди сумеречной желтизны поля он различил чёрный остров леса, траншею с буграми земли — немецкую траншею, обращенную бруствером к нему, — тесно сидящих людей. Один из солдат с автоматом, свисающим с плеча, шёл откуда-то с поля к лесу, увидев его, приостановился, поглядел внимательно, ничего не сказал, пошёл в какой-то своей заботе вдоль траншеи.

Алёша, помня свой стыд, со стеснительными чувствами подошёл к солдатам. Кто-то узнал его, сказал без радости:

— И доктор здесь. А кухни не слышать!

— Разве кто сунется в такую ночь? — откликнулись из темноты.

— Совесть есть, так сунутся! Не повстречал где наших поваров, доктор? — спросил тот, что признал его.

— Нет. Не пришлось, — ответил Алёша, он почему-то чувствовал себя виноватым за отставшую кухню. И добавил, радуясь, что всё-таки дошёл до своих: — Пока один вот добрался...

Кто-то из пожилых, из солдат-отцов, чутко уловил его радость и его повинную стеснённость, приказал:

— Иван, подай доктору пачку из трофейки. Тоже, видать, день не евши!

Алёша смутился, отказался поспешно:

— Не надо, не надо... До утра уж недолго!..

— Возьми, доктор. С утра тут такой сабантуй начнётся, про кухню и не вспомняешь!

Алёша держал на ладони невесомую пачку печенья, не знал, как распорядиться солдатским подарком, спросил в неловкости:

— Не подскажите, как до комбата добратся?

— Чего не знаем, того не знаем, доктор. Немца гнали, не оглядывались. Ротного, говорят убило. И младшего лейтенанта не видать. За оврагом будто наши, точно не скажу. А раненых к пушкам, в блиндажи подсобрали, — солдат кивнул в темноту. — Батарею фрицевскую прихватили. И землянки, и блиндажи там.

К блиндажам Алёша шёл приободрёно: никто не упрекнул его в том, что он считал своим позором, карман топырила пачка печенья — знак солдатского внимания, его ждали раненые, — всё вставало на привычные места.

Вышел он точно на батарею. Три длинноствольных тяжёлых орудия на несуразно малых колёсах стояли на ровных площадках, развёрнутые в ту сторону, где остался полк. Можно было различить ящики, сложенные в аккуратные горки снаряды; какие-то тёмные предметы разбросанные лежали среди орудий. Алёша подошёл, увидел убитого; в немецком кителе, со светлеющими в сумерках офицерскими нашивками на воротнике, он лежал лицом вверх, какая-то неестественная чернота закрывала его левый глаз. В безотчетном желании что-то понять он нагнулся, рука наткнулась на твёрдую рукоять штыка, — плоский штык был намертво загнан в череп, второй неподвижный глаз тускло светил, отражая свет открывшихся в небе звёзд. Алёша быстро поднялся; он уже догадался, что вокруг лежала перебитая орудийная прислуга.

Обозревая смутно видимые в ночи следы недавнего побоища, он пытался представить убегающих от раскалённых орудий пушкарей, иступленную ярость солдат, бьющих их пулями и штыками, и всё, что видел он сейчас в сумеречности ночного поля, никак не мог увязать с теми солдатами, которые в усталости, в ожидании утра сидели на бруствере захваченной траншеи, неспешно дымили махрой, переговаривались, поминали запропавшую в тылах кухню, с теми самыми солдатами, у которых для него нашлось и приветливое слово, и доброе дело. Не в первый уже раз за истёкший год фронтовой жизни ошеломляли его непостижимостью солдатской службы. И как-то неловко было сознавать себя другим.

Всех недвижимых раненых, которых отыскал он в батарейных землянках, с помощью двух оказавшихся тут же солдат, он собрал в просторный офицерский блиндаж. При свете плоских немецких свечей подновил взятыми у солдат пакетами кровавые повязки, двоим, с перебитыми голеньями, приделал шины из палок, прикрутил обмотками.

Тяжело раненых было девять, все они смотрели на него с надеждой, не высказывая вслух томящей их тревоги. Они понимали, как и те солдаты у леса, как сам он понимал, что утро может оказаться для всех невесёлым, для них, раненых, и вовсе плохим.

Алёша чутко улавливал настроение солдат, продумывал, пока занимался привычным делом, всю сложность положения и про себя уже решил пройти обратную дорогу в полк, отыскать хотя бы пару подвод и, что бы это ему ни стоило, до утра отправить раненых в тыл.

— Вот что, братцы. Маленько потерпите. Я — за подводами. — Он сказал в колеблющемся свете трёх горящих в земляных норках свечей увидел настороженный блеск устремлённых на него глаз. Страх, надежду, презрение к нему, как будто от них убегающему, — всё можно было прочесть в обращённых к нему взглядах беспомощно лежащих на земляных нарах солдат. И наверное, он смутился бы под их взглядами, если бы не собственная его убеждённость в том, что поступает он, как должно поступить. Он знал, что людей этих он не обманывает, и, вытирая о край висевшей над входом плащ-палатки измазанные кровью руки, стараясь своей убеждёностью успокоить и раненых солдат, повторил с нажимом:

— Приеду. Сам.

Кто-то, пытаясь хотя бы на немного задержать его, робко попросил:

— Попить бы, доктор...

Алёша почувствовал, что и этой малой своей просьбой солдаты проверяют твёрдость его слова. Он молча взял протянутый ему котелок, поднялся по крутым ступеням из блиндажа.

Пошёл он под уклон к ольховнику и угадал: пахнуло из зарослей овражной сыростью, зачавкало под ногами, из темноты посветил лаковой чернотой бочаг неслышного ручья.

Шумных в ночи своих шагов он не строжил и уже потом, когда набрал воды и возвращался к блиндажу, верно угадывая даже в сумерках место, где он был расположен, подумал, что как-то утратил страх перед опасностями ночи: стоило оказаться среди своих, и он как бы обрёл дом, хотя дом был настежь открыт, без стен и крыши.

Спустившись в полуосвещённую душность блиндажа, с запахом стеарина и людского пота, он передал в чьи-то руки тяжёлый котелок, почувствовал, не по голосам, по как будто отмякшим взглядам из полутьмы нар, что солдаты ему поверили. Он мог теперь идти и почему-то медлил. Что-то мешало ему выйти из блиндажа. И когда кто-то из темноты угла, как и те солдаты у леса, просительно напомнил о кухне, он понял, что мешало ему — та пачка печенья, которая оказалась у него не по праву. Он вытянул из кармана хрустнувшую под пальцами пачку, передал неудобно привалившемуся к стене у свечи сержанту.

— Ваши угостили. Разделите пока, — сказал он, чувствуя облегчение от восстановленной справедливости, и добавил: — Я скоро...

Обратный путь к исходным позициям полка Алёша, по обострённому ещё в юности памятливому чутью охотника, прошёл быстро и точно. Но подвод, ни своих, ни каких-либо других, не отыскал среди притаившихся в ночи подразделений. В рощице, у ручья, разглядел сторожко мерцающий костерок, пробрался, отводя ветви, к красновато светившей в ямке теплине и обнаружил старшину Аврова, недавно, после расформирования бригады и создания дивизии, переведённого к нему в санзвод под его начало. Встреча и обрадовала и разгневала Алёшу: Авров сидел спокойненько среди чужих солдат, покуривал, рассказывал с невозмутимым видом что-то весёленькое и был успокоительно далёк от всего, что было там, в ночи, где почти в окружении, в тревожном и покорном ожидании нового боя томился батальон.

С хорошо разыгранным удивлением, с медлительностью человека, сознающего свое достоинство, Авров поднялся на оклик, подошёл.

— Подвод, люди где? — Клокочущий в Алёше гнев готов был прорваться исхлестывающими старшину словами.

— Не знаю, командир, — старшина ответил с вежливым смирением. После того как Авров попал под непосредственное его начало, он с таким вот подчёркнутым смирением, в котором слышалась притаённая где-то в глубине его ума снисходительная усмешка, обращался к нему только так: «Командир».

Алёша едва не выругался чуждым ему грубым словом. Но и на этот раз сдержал себя, проговорил с упрёком:

— Где же ты был, Авров?

— Наверное, там, где и ты, командир. — Медлительный голос Аврова был теперь откровенно насмешлив.

Гнев Алёши наконец прорвался.

Авров тут же уловил по его состоянию, что командир пришёл не из тыла, и в мгновение переменялся: в мерцающем отсвете костра стоял перед ним уже другой человек — предупредительный, готовый к действию солдат. Алёша никак не мог привыкнуть к способности Аврова почти мгновенно меняться соответственно обстоятельствам и, всё-таки ругнувшись, приказал:

— Пошли!..

Подвод они не отыскивали, не встретили даже кухонь, на которых, случалось, вывозили раненых. В досаде на тыловую ночную потаённость Алёша решил возвращаться в батальон.

Не отпуская от себя старшину, он торопливо шёл по знакомой уже дороге, предугадывая близкий конец ночи. Дымы и пыль, поднятые артиллерийской канонадой и всегда заволакивающие мглой ночное небо в первый день наступления, к этому часу рассеялись. В звёздном небе отчётливо виделся ковш Медведицы, стоял он уже почти на ручке: ещё немного — и польётся из звёздного ковша рассвет, вместе с ним оживёт и война.

Обдумывая, как поступить с оставшимися в блиндаже ранеными, он не оглядывался на старшину, улавливая его шаги за спиной, и знал, что, торопя себя, торопит и его. Потому даже вздрогнул, услышав голос:

— Куда идем, командир?

Алёша почувствовал старшина трусит, ответил в досаде:

— Шагай, шагай, Авров! Недалеко осталось...

Авров с удивившей Алёшу решительностью вышел вперед, заступил дорогу:

— Послушай, командир. Послушай, Полянин. Пора и тебе понять: побеждает тот, кто остаётся в живых. Тебе что, больше других надо?! Запоремся по этакой тьме чёрту в задницу. Тогда уж точно: и награды будут не нужны... Вернёмся, пока не поздно, командир!

— Философ же ты! — сказал Алёша в раздражении. Старшина стоял перед ним, мешал, движением руки он отвёл его с дороги.

Некоторое время шли молча. И вдруг Алёша ощутил беспокойство: возникла какая-то опасность, определить которую он не мог. В ночи он не улавливал посторонних звуков, но какая-то угроза появилась и была рядом.

Он прибавил шаг, стараясь побыстрее дойти до батальона, и услышал недобрый догоняющий его голос:

— Не к немцам ли торопишься, командир?

Вот оно! Опасность определилась: она была за его спиной. Он вспомнил про маленький пистолетик, который Авров всегда носил в невидимой под гимнастёркой кобуре, стало ему неуютно в огромной безлюдной ночи.

«Он же может выстрелить просто из трусости!» — думал Алёша, не позволяя себе даже замедлить шаг. Заострившимся взглядом он разглядел за придорожной канавой неподвижное тело солдата. Ещё один убитый лежал на обочине дороги. И Алёша подумал, что завтра, при свете дня, всех павших на этом поле солдат и командиров снесут на окраину спаленной деревни, сложат в братскую могилу, и, если среди собранных окажется и военфельдшер Полянин, никому в голову не придёт, что убит он не немецкой пулей, а пулей того маленького плоского пистолета, который держал сейчас в своей руке Авров; не оглядываясь, не видя Аврова, он точно знал, что пистолет в его руке.

«Как всё-таки глупо! — негодовал он на очевидное свое бессилие. — Невероятно! — думал он. — А почему, собственно, невероятно? Нравственный поединок его с Авровым не закончился. Обстоятельства и сила сейчас на стороне Аврова. И распорядиться обстоятельствами он сумеет. Если вдруг попадут они к немцам, он сдаст его, своего командира, им, как выкуп за свою жизнь. Если он расправится с ним и кто-то каким-то чудом узнает, что стрелял в него Авров, он и тут выставит себя вершителем праведного суда. Кто помешает ему сказать, что подлец-командир вёл его к немцам?! Так и так. В любом случае Авров спасает себе жизнь.

«Вот положение!» — думал Алёша. Никогда ещё не приходилось ему с такой надеждой ждать спасительного присутствия людей. Прежде как-то не думалось, что сила и зло отвратительней всего проявляют себя в безлюдье.

Напрягаясь неприятным ожиданием, зная, что любое изменение в его поведении только побудит Аврова к действию, он продолжал идти прежним быстрым шагом. Как будто не слыша Аврова, как будто не ведая опасности, идущей от него, он громко, вроде бы даже весело сказал:

— Дошли, старшина! Батальон здесь.

Он сам не объяснил бы себе, как удалось ему это почти весёлое спокойствие в том негодующем отчаянии, в котором он был, до захваченной немецкой батареи оставалось ещё не меньше километра. Он знал, что Авров сейчас прислушивается к звукам ночи, и, нарочито утяжеляя свой шаг, он чаще, чем случалось, ударял каблуками о камни, дробил опасную для него сейчас тишину. Он не давал Аврову сосредоточиться и, стараясь вогнать блуждающую мысль старшины в круг привычных его обязанностей, говорил:

— Раненые в блиндаже, в поле. Оставлять там опасно. Будем перетаскивать в овраг. Подводы подгоним туда и днём... — Алёша говорил не оборачиваясь, он не слышал шагов Аврова, но чувствовал напряжённым до первой звени затылком близкое и опасное его присутствие.

«Ещё бы шагов триста, двести», — думал он, в уже охватившем его лихорадочном нетерпении. Он ждал, что кто-то из солдат услышит в ночи их шаги, окликнет. «Ну же! Ещё шагов сто...»

— Кто бродит! — услышался в темноте недовольный усталый голос, и как будто свежестью большой реки пахнуло в разгорячённое лицо Алеши. Он готов был броситься на голос окликнувшего их человека, но, уже не в первый раз за эту ночь удивляясь себе, ответил с принятой в таких случаях командирской ворчливостью:

— Свои. Медицина пришла... — и вытер испарину со лба. Из-под руки покосился на старшину, увидел, как Авров быстрым движением убрал под гимнастёрку пистолет.

3

Они перетащили и устроили в нише, вырытой немцами в склоне оврага для каких-то своих надобностей, лишь одного из солдат с перебинтованной ногой. Когда возвратились к блиндажу, рассвело. Отчётливо виделось поле до лесного острова, к которому Алёша вышел ночью. Розовели в свете зари и матово-жёлтые стволы пушек, и серо-голубые куртки немецких артиллеристов, неподвижно лежавших среди орудий.

Авров стоял рядом, на мёртвых он не смотрел; взгляд его блуждал поверх поля и леса. Держался он по-солдатски послушно. Не выказывал ни оторопи, ни раскаяния, ни даже тени памяти о том, что мог совершить в ночи. Алёша ещё раз убедился в том, что Авров способен замирать в неблагополучии, как замирает в холод муха, ожидая благоприятной для себя поры. Тяжёлый его взгляд Авров выдержал, повёл сильными плечами, как будто побуждая к деятельности, сказал:

— Будем раненых выносить, командир?

Пока в полусумраке блиндажа они укладывали на плащ-палатку беспомощного в движении сержанта, что-то изменилось на воле, и каждый в блиндаже уловил идущую с поля угрозу. Приподнялись даже те, кто неподвижно лежал на земляных нарах.

Алёша видел вытянутые шеи, застыло повернутые к выходу лица. Слух уловил какие-то лёгкие частые звуки, но определить, что это за звуки, какая опасность стоит за ними, он не мог.

Из офицеров он был один в блиндаже. Скутывая беспомощного сержанта плащ-палаткой, стягивая узлом края, он старался погасить общую встревоженность спокойствием занятого делом человека.

— Сейчас всех в овраг по-одному, — говорил он, нарочито сдерживая торопливость рук. — Ну, поднимаем, старшина!..

Непонятные звуки участились. Дробно чмокнуло в земляную стену напротив входа, и все увидели цепочку рваных ямок от залетевших в блиндаж пуль.

Алёша опустил сержанта на пол, крикнул охваченным тревогой людям:

— Спокойно! Сейчас узнаю!

И в два прыжка выскочил наверх.

В первое мгновение, почти ослеплённый голубенью чистого неба, простором светлого от солнца поля, он с каким-то даже недоумением внимал щёлкающим, будто лепечущим вокруг звукам; было такое впечатление, что по всему полю во множестве и беспорядке лопались детские воздушные шарик. И только когда по камню, косо выпиравшему из земли у самых его ног, хлестнула пуля и пошла в небо с пчелиным истончающимся до визга жужжанием, словно досадуя на то, что не попала в человека, он отрезвел, почувствовав опасность.

От лесного острова, рассыпавшись по полю, бежали солдаты: они бежали к логу, уходящему в овраг. А с левой и правой стороны леса, по кромке реденького, золотящегося листьями березняка, охватывающего тёмный от хвои борок, то появлялись, то исчезали, то снова будто из воды выныривали и перебежали к траншее суетные фигуры немцев.

Чмоканье, щёлканье, треск множились, воздух как будто наполнился шумом подступающего ливня. Там, где бежали солдаты, взметывали пыль быстрые хлопки мин. Воздух, как вчера, перед атакой, стал плотным, душным, враждебным.

Алёша в растерянности оглянулся, тут же выпрямился, глубоко вздохнул недобрый воздух подступающей атаки и прыгнул в блиндаж.

— Наши отходят, ребята, — сдерживая голос, сказал он и, заметив общее суетное движение, крикнул: — Без паники!.. Старшина Авров, вам приказ: всех раненых ползком, на себе перетащить в овраг. наших задержу. Немца не пустим! Слышите?!

Испуганный, ненавидящий взгляд старшины он видел, читал в как будто побелевших глазах: «Бежишь, падла?! А меня под пули?». Но то, что совершалось сейчас на воле, было много важнее того, что думал, что мог думать о нём Авров. Он и секунды не мог потратить на объяснение; только взглянул уже невидящим взглядом, крикнул раненым, в отчаяние сгрудившимся на нарах:

— Старшина перетащит всех! Я — к ротам! — и, чувствуя, что времени нет, что он может опоздать, выскочил из блиндажа.

4

Немцы были уже в лесном острове. Он видел, как, мелькая голубоватостью мундиров, появлялись они из леса, спрыгивали в траншею, накапливались для нового броска.

Солдаты оставляли поле, укрывались в логу. Он ожидал, что они залягут по склону — склон давал возможность оборониться, — но солдаты, не задерживаясь, уходили вниз по логу в овраг.

Между немцами в траншее и логом, из которого уходили солдаты, оставались только молчаливые пушки, он, военфельдшер Полянин, открытый взглядам и пулям, и внизу, в блиндаже, девять не могущих двигаться раненых под опекой старшины Аврова. Чтобы спасти их, надо было остановить солдат, снова занять траншею у леса. Ещё до того, как выскочил он из блиндажа, он знал, что будет делать. Знал ещё раньше, когда шёл в ночи, разыскивая батальон. Уже тогда он знал, что предстоит ему утром. И готов был к действию. Он только не знал, как сделать то, что должен сделать, — в руках у него не было не только автомата, но даже штыка, с чем можно было бы ворваться в горячку боя.

В минутном замешательстве взглянул он на мёртвого офицера, сделал движение вырвать из глазницы штык, почувствовал локтём какую-то твёрдость. Откинул полу кителя, увидел на поясе торчащую из-под отстёгнутой крышки чёрной кобуры рукоять парабеллума.

Всё стало на свои места, когда тяжёлый, пообтертый чужой рукой металл удобно вжался в ладонь.

С пистолетом в руке он перебежал угол поля, властным криком, способностью к которому до сих пор в себе не знал, остановил уходящих в овраг солдат. Всё, что делал он сейчас, он делал впервые. Но всё делалось как будто само собой. Тем же властным голосом он приказал развернуться по логу и, не удивляясь, принимая как должное то, что солдаты выполнили его приказание, не думая о том, что может произойти там, впереди, у леса, и ещё много раз до леса, прыжком поднялся на край открытого поля. Убеждённый в том, что солдаты не оставят его одного, просто не смогут оставить его в бою, который был их боем, негромким, вдруг осевшим голосом скомандовал:

— За мной!..

По открытости поля он бежал, не чувствуя ногами земли: казалось сила большая, чем сила ног, несёт его через пожухлые, бьющие в сапоги стебли бурьяна. Всё, что было перед ним и вокруг: землю, солдат, тоже бегущих слева и справа от него, с той же неостановимостью, с какой бежал он, странные, как будто безобидные всплески минных разрывов, под самыми, казалось, ногами, — он отмечал, как сидящий в поезде человек отмечает мелькающие за окном телеграфные столбы, то ниспадающие, то взлетающие к поперечинам провода, ближние и дальние деревья, перелески, дома — всё это там, за окнами, всё это охватывается глазом и пропадает за обрезом окна, но не изменяет и не может изменить само дорожное бытие людей в вагонах. Даже когда глаз охватывал непоправимый для кого-то миг, кто-то из бегущих вдруг падал в беззвучности на землю, Алёша не улавливал в себе даже возможности остановиться, броситься к упавшему солдату.

Ни страдания, ни страха. Он не почувствовал бы, наверное, и боли, если бы его выбрала и ударила пуля. Всё в нём сосредоточилось на движении, на беге, на стремительно приближающейся, как будто на глазах вырастающей черноте леса, которая была сейчас для него единственно обозначенной в сознании целью, которую он должен достичь, что бы ни случилось вокруг.

Чем явственней проступал освещённый ещё низким солнцем гребень траншеи в нависи сосновых ветвей над ним, тем сильнее сжималась, давила ему в грудь невидимая пружина, сопротивление которой по отдававшемуся во всём теле упругому толчку он почувствовал, как только выскочил из лога на край поля. Упор этой невидимой, казалось, до предела сжатой пружины одолевал он всё с большим усилием и, ощущая палящую сухость во рту, взглядом вцепившись в опасно близкие неровные очертания траншеи, всё-таки бежал, зная, что остановить себя уже не в силах. Над гребнем траншеи он видел беспорядочное сверкание, как будто отблёскивало солнце от осколков стекла, и не давал себе думать том, что каждый высверк — это выстрел, направленный, быть может, в него.

В ускоряющемся общем движении он никак не мог выбрать для себя зримую завершающую точку бега. И только когда позади, казалось, безлюдной траншеи появился высокий голубовато-розовый от солнца человек, и, вскинув руку с отсвечивающим в ней пистолетом, завертел им над головой, будто раскручивая длинный кнут, и перед ним по всей длине траншеи стали вырастать на бруствере суетно-медлительные солдаты, и, сутулясь, прижимая расклешённые каски к плечам, выставив перед собой винтовки и короткие автоматы, двинулись какими-то мелкими спешащими шагами им навстречу, Алёша с ёкнувшим сердцем и гулко ударившей в виски кровью, в то же время и с какой-то беспощадностью к себе, подумал: «Вот оно! Грудь в грудь!.. Ты хотел этого. Сейчас получишь!..»

Из всего, что было перед ним, к чему бежали все они с исступленностью довершающих своё дело людей среди неслышимых ими, но летящих в них пуль, он наконец выбрал нужную ему точку, ту единственную точку, которую должен был достичь в своём беге, чтобы завершить то, ради чего он бросился в это открытое, холодящее опасностью смерти, поле. Он выбрал того высокого худого офицера без каски и без фуражки, на как будто прыгающем лице которого, обращенном к нему, взблёскивали время от времени очки. «Он тоже в очках!» — успел подумать Алёша с каким-то даже удивлением тому, что тот человек, с которым сейчас они столкнутся, тот враг, который бежит ему навстречу, чтобы опрокинуть, убить его, тоже, как он, молод, близорук, простоволос и старается о ЕГО смерти.

Боковым зрением он увидел, как солдат, бежавший рядом и чуть впереди, вдруг пошатнулся, как от удара, остановился, остался позади. Кто-то с той стороны, от леса, видно тоже выбрал его своей целью, как выбрал он себе офицера. Но изменить то, что совершалось, было уже невозможно: развёрнутая цепь солдат, в которой бежал он, с каждой секундой набирала стремительности и ярости, — Алёша это чувствовал по состоянию, в котором был сам. Что, как он будет делать, когда сомкнётся пространство, отделяющее их от идущих им навстречу врагов, он не знал. Но он желал, и как можно скорее, сблизиться с офицером, которого избрал для себя. И эта ярость, это палящее желание дотянуться до уже близкого, зримого врага, нарастающее в нём и в тяжело бегущих рядом с ним солдатах, как-то почувствовалось теми, чужими солдатами. Шаг их замедлился, они приостановились, заюрили, словно вдруг ослеплённые бьющим в их глаза солнцем, и побежали обратно в траншею быстрее, чем бежали солдаты, среди которых был Алёша.

В растерянности остановился офицер, вскинул руку, выстрелил два раза — Алёша не сомневался, что стреляет он именно в него, — повернулся и, открыв спину, побежал вслед за своими солдатами. Треска автоматов, винтовочных выстрелов Алёша не слышал — он был как будто оглушён во время бега, — но видел, как чужие солдаты, перепрыгивающие траншею, торопящиеся укрыться в сумеречных глубинах леса, падали у шершаво-серых стволов сосен, в сыплющемся дожде хвои веток, срезанных пулями, отлетающих кусков коры.

Офицер, которого держал своим взглядом Алёша, с ходу перепрыгнул траншею, попал на кусты, пружинисто повернулся; съезжая в траншею, прижимаясь спиной к стене, он вытянул перед собой руку, нацеливая пистолет ему в грудь.

Ни броситься к земле, ни уклониться от выстрела Алёша уже не мог. Опережая движение чужой руки, он вскинул парабеллум, нажал спуск в окинувшем его мгновенном холоде, не чувствуя толчка в ладонь, который обычно следовал за выстрелом. Ожидая удара уже летящей в него пули, он прыгнул, чтобы падая, придавить врага хотя бы своей тяжестью. И в этом прыжке, в этом последнем, казалось ему движении, взглядом вбирая чёрную точку пистолетного дула и расширенные за круглыми стёклами ненавистные ему в этот миг глаза, увидел, как перечеркнула лицо офицера от щеки до спадающих на очки волос полоса мгновенно проступивших тёмных пятен. Уронив к плечу голову, сгребая пыльный песок, офицер оседал в траншею. Алёша, падая, ударил, смял ногами мягкое податливое тело, опрокинулся, тут же вскочил, в оторопи уставился на мёртвого, только что грозившего ему смертью человека.

В траншею с топотом, шумным злым дыханием прыгали солдаты, сбивая с бруствера песок, клубя вокруг пыль. В неостывшей ярости атаки кто-то стоя бил очередями в глубь леса. Другие, ввалившись в траншею, тут же опускались на корточки, выставив между колен винтовки, часто и трудно дыша, глядели блуждающими глазами, как будто не узнавая друг друга.

Алёша, сам взбудораженный безумством атаки, был ещё не в силах сдвинуться с места, смотрел на запаленных бегом солдат, улыбался какой-то растерянной улыбкой.

Молодой крепкий парень из взвода автоматчиков, всё стрелявший расчетливыми очередями в глубь леса, наконец успокоился; отнял от автомата опустевший диск, вставил, подбив ладонью, новый. Стащил с головы пилотку, утёр потное разгорячённое лицо. Обжигая Алёшу взглядом дерзких глаз, крикнул, как кричат, не слыша себя глухие:

— Ну, доктор, весёлый ты человек! Припозднись я чуток, плакать бы твоей мамаше... Что не стрелял?! — Он подошёл, тронул сапогом лежащего на дне траншеи офицера.

Алёша, смущённый криком парня, повернул парабеллум, выщелкнул на ладонь обойму — обойма была пуста: тот, убитый у блиндажа, артиллерист со штыком в глазнице успел расстрелять её всю.

Парень-автоматчик сокрушенно мотал головой:

— С пустым пистолетом — в атаку! — Он всё ещё не мог не кричать, оглушённый возбуждением боя. — Ну, доктор!..

Он вытащил из кармана горсть автоматных патронов, взял обойму, стал вгонять в пружинистое её нутро патроны.

— У фрицев до волоска всё рассчитано! — кричал парень. — Наши-то подходят к этой штуковине — закладывай и пали. Их же — ни-ни! Держи, доктор!

Алёша поставил обойму, привычно передёрнул затвор. С запоздалой собранностью выглядел на сосне шишку, выстрелил. Шишка отпала вместе с мохнатой лапкой.

Парень-автоматчик одобрительно прищёлкнул пальцами.

— Стрелять умеешь! — крикнул он и дружески потрепал его по плечу.

Алёша сознавал, что принял на себя ответственность за жизнь солдат и за этот вот кусочек земли, который они только что вновь отвоевали. Он поднялся, пошёл по траншее. Что-то надо было делать. Преследовать немцев в лесу с остатком роты, оказавшейся под его командой, не ведая, где батальон, что с комбатом, с другими ротами, было бессмысленно, он это понимал. Но понимал и другое: немцы могли снова навалиться из леса.

Он шёл по неглубокому ходу, пересчитывал глазами бойцов, стоявших, сидевших на корточках, куривших короткими нервными затяжками. «Не густо, не густо, — думал, подходя к концу траншеи, круто повёрнутому к лесу. — Всего-то двадцать восемь. По крайней мере, здесь, у меня». Немцев, казалось ему, было больше. Если они и побежали под напором их атаки, то это ещё не значило, что отошли они без возврата.

«Пулемёт бы сюда!» — прикидывал он, оглядывая глубоко уходящий в лес прогал и предугадывая возможности обороны. Пулемёта, даже ручного, у бойцов, занявших траншею, не было. «Пару автоматчиков надо здесь оставить!» — думал он. Хотел было пойти, позвать знакомого, оберёгшего его парня, но из закрытого бревенчатым накатом безлюдного конца траншеи будто вынырнул солдат с коротким карабином в руке. Деловито подошёл, проговорил спешным говорком, как будто угадывая Алёшины мысли:

— Пулемётик бы сюда, да?! Пойдём, лейтенант, покажу. Стоит за блиндажом. Целёхонек!..

Что-то в солдате насторожило Алёшу, чем-то непохож он был на тех солдат, которые бежали с ним через поле и теперь сидели в траншее в ещё не отпустившем их напряжении. В тех солдатах не было такого вот услужливого поспешания, таких вот бегающих, мимо глядящих глаз; и дыхание у солдата, при всей его суетливости, было легким, ненатужным.

Всё это он подметил. Но был он в том возбуждённом от только что пережитой опасности состоянии, когда всякая другая опасность уже не кажется опасной. И хотя звали его выйти из траншеи в лес, в котором скрывались немцы, он просто не мог после всего, что было, показаться в чьих-то глазах малодушным; он решительно направился в конец траншеи.

— Там, за блиндажом! — показал карабином солдат, и Алёша первым вступил в тень притихшей на какое-то время ничьей полосы. Солдат с какой-то суетливой услужливостью направлял Алёшу голосом и жестами.

Крадучись, прошли они рядом с укрытой среди деревьев, аккуратно обложенной дёрном землянки, миновали сожжённую немецкую штабную машину, будто присевшую на спущенных баллонах среди разбросанных канистр. Уже открылся прогал с высыпками березнячка, за которым вполне могли быть и немцы, а пулемёта, кем-то оставленного здесь, всё не было. Напряжённость нарастала. Сжимая рукоять парабеллума, держа на спусковом крючке палец, Алёша прошупывал взглядом сумрак ближних зарослей, какой-то частью зрения улавливал солдата, осторожно, с лёгким шорохом опавших листьев, идущего за ним.

«Какой тут к чёрту пулемёт? — думал он, вглядываясь в нетронутость травы. — Здесь и боя не было!..» Досадуя на очевидное солдатское враньё, он хотел было выговорить увлекшему его сюда солдату и в это же мгновение уловил тень быстрого, угрожающего ему движения. Ещё не сознавая, что угрожает ему, он отпрянул, и тут же, от левого плеча к локтю, скользнул, раздирая рукав гимнастёрки, приклад карабина. Он увидел по-птичьи округлённые, немигающие глаза солдата, заострившееся в ожесточении лицо и, спасая себя от нового удара, выстрелил солдату в грудь. Не чувствуя повисшей от удара руки, в потрясении от опавшей его гибели, собственной, очевидной теперь, глупости, он, опустив пистолет к упавшему телу, стрелял, выдавливая из хрипящего горла: «Гадина... Недобиток... Власовская сволочь...» — и было ему всё равно, что бы ни случилось с ним в следующую минуту.

От траншеи бежал к нему человек. Алёша поднял пистолет, ненавидящим взглядом нацелил, узнал в настороженно перебегающем к нему человеке знакомого парня-автоматчика.

— Чего расстрелялся, доктор? — опасливо окликнул он, увидел лежащего у ног Алёши солдата, присвистнул: — Чего это он?!

— К немцам, сволочь, увести хотел... — Алёша дрожал от гнева и боли.

— Дела! — парень быстро нагнулся, обшарил на солдате карманы.

— Пусты! Не наш... Вот, гад... С рукой-то что? — спросил он приглядываясь.

— Да вот... — Алёша подтянул к плечу намокший кровью лоскут рукава, поморщился.

— Пошли, доктор. Не ровен час, сабантуй начнется. Немцы тут где-то!

В траншее опекающий его парень вскрыл свой пакет, забинтовал ему плечо, остатком бинта стянул разорванный рукав гимнастёрки.

— Вот оно как, доктор. Под пулями пробежал, а тут угораздило!

Парень неумело ворочал бинтом, приговаривал, а Алёша никак не мог унять дрожь охватившей его лихорадки: он едва удерживался, чтобы не ткнуться головой парню прямо в грудь.

— Спасибо за всё, тихо сказал он. — Жив останусь, не забуду...

— Ну, доктор! — возмутился парень. — Нам без внимания нельзя. Друг за дружкой ходим!..

Алёша поднялся, он помнил опасный вход в траншею, сказал, пересиливая неотпускающую дрожь:

— Там, у блиндажа, двух автоматчиков поставить бы. Дрянное место.

— Сделаем, лейтенант! — парень в готовности встал.

То, что парень-автоматчик признал в нём командира, его готовность исполнять приказ, не приказ даже, а общую их заботу удержать отбитую у врага траншею, то, что солдаты, уже узнавшие его историю с лазутчиком, сочувственно глядели на него и тоже — он чувствовал — признавшие его, как своего, пехотного командира, ободряло и смущало Алёшу.

Он держал при себе это согревающее, дорогое для него чувство, в командирской неуспокоенности пробирался в другой конец траншеи, приглядывал казавшиеся ему опасными подходы из леса, но, когда солдаты при его приближении вставали, освобождали ему дорогу, он стеснительно дотрагивался до каждого и говорил:

— Отдыхайте, отдыхайте. Я пройду...

Через какое-то время из лога, откуда они начали атаку, добрался до траншеи в сопровождении связного старший лейтенант Вишняков. Радостно потискав Алёшу, с которым всегда был дружен, он высоким, захлёбывающимся голосом торопливо объяснял:

— А мы с ночи за оврагом! Заваруху вашу видели. Да нас тоже даванули. Отбиваться пришлось. А ты, чертяка, герой!

— Ну, началось! — Алёша рассердился и расстроился. То, что он сделал, сами солдаты определили своей, солдатской, мерой, и то, что Вишняков выделил его своей шумной похвалой, разрушало важное для него ощущение равной своей причастности к самому трудному на войне солдатскому делу. К тому же своим появлением замкомбата как бы снял с него ответственность за людей, вместе с которыми он атаковал траншею.

В сразу почувствованной усталости, стараясь поставить всё на свои места, он поискал глазами парня-автоматчика, глядевшего на него, как казалось ему, с пониманием, кивнул, показывая, что всё помнит и не забудет, сказал Вишнякову:

— Пойду. Раненые у меня там...

Он шёл к блиндажу. Но по какому-то внутреннему побуждению всё забирал вправо, к той полосе поля, по которой бежали все они от лога к лесу, навстречу немцам. Ступив на эту полосу, он увидел лежащих в неподвижности солдат. Всех обошёл, постоял над каждым с чувством сострадания и вины.

Павших было пять. Ещё одного он обнаружил почти у лога: волоча за собой винтовку и вытянутую непослушную ногу, он торопился укрыться от начавших падать на поле снарядов: дальнобойная артиллерия немцев была теперь по батарее, стараясь уничтожить свои же брошенные орудия.

Алёша подтащил, уложил солдата под склон. Кое-как, помогая бесчувственной левой рукой, перевязал раздробленное колено протянутым ему пакетом. Солдату приказал лежать, сам пошёл к блиндажу.

Тяжёлые разрывы время от времени вскидывали землю. Снаряд дальнобойной артиллерии не был рассчитан на одного, идущего полем человека, но попасть под его разрывающую силу он мог. Будь это прежде, до атаки, Алёша, наверное, обошёл бы поле логом. Но сейчас он шёл напрямик, лишь предугадывая сторожким чутьём, где, по всей вероятности, вздыбит землю следующий разрыв, — человек на войне постоянно живёт в опасности, и мера её всегда относительна.

По крутым ступеням Алёша медленно спустился вниз, привалился рукой и лбом к поперечному бревну над входом, увидел в глубине блиндажа, на нарах, людей. Семь пар лихорадочно блестящих глаз молча и недобро смотрели на него из сумрака блиндажной ямы.

— Ещё здесь?! — удивился Алёша.

— А где нам быть! — ответил злой обиженный голос. — Кто в силах, уполз!..

— Старшине же было приказано?!

— Испарился твой старшина. За тобой следом!

— Так. — Алёша представил, что было бы с этими беспомощными людьми, если бы у тех, других солдат, не хватило мужества на атаку, если бы ворвался в этот блиндаж хотя бы один из немецких захватчиков, и с трудом продохнул пахнувший кровью и стеарином воздух.

— Так, — повторил он. — Потерпите ещё чуток.

С трудом он оттолкнулся от балки, почувствовал беспокойное движение на нарах, сказал устало:

— Немца отогнали. Всех, всех увезём...

Аврова он отыскал в овраге, у минометчиков, только что прибывших и роющих себе укрытие. При виде своего командира в порванной гимнастёрке, перебинтованного, с пистолетом в руке, идущего к нему с мрачным, устремлённым на него взглядом, Авров встал, в замешательстве поглядывал на минометчиков, ища у них защиты.

Алёша подошёл, пистолетом подтолкнул Аврова в тугую спину.

— Пошли, герой, — сказал, едва разжимая губы.

— Что, что, командир?! — Авров отступал, руки его слепо шарили подолой гимнастерки.

— Опустите руки, Авров! — с тихой угрозой сказал Алёша, приподнимая парабеллум. — Руки! — крикнул он. И Авров, поняв, что командир не шутит, сжал побелевшие губы, медленными шагами пошёл вдоль оврага, куда направлял его Алёша.

Он заставил Аврова спуститься в подземный сумрак, где были раненые, жёстко, не чувствуя к старшине даже малой жалости, сказал:

Вот вам старшина. Объяснитесь с ним по-солдатски.

Он вылез из блиндажа, пошёл к оставленному в логу солдату. В поле по-прежнему то ближе к лесу, то ближе к блиндажам с равными промежутками вздымалась от тяжёлых разрывов рыжая в свете солнца земля. Но вокруг было спокойно, по сухим травам не щёлкали пули, немцев не было видно даже у дальнего леса. На брошенной немецкой батарее хозяйничал могучий в плечах и по росту солдат. Развернув в сторону леса одно из орудий, подняв повыше его длинный ствол, он накатывал на согнутую руку снаряд, неторопливо подходил, вдвигал в орудие, встраивал широкую гильзу с зарядом; закрыв замок, секунду выжидал, дёргал шнур. Орудие вздрагивало, оседало, вместе с пламенем выкидывало дымное облако, снаряд уходил куда-то в неведомую даль. Солдат открывал замок, вылетевшую дымящуюся гильзу откатывал ногой, шёл к снарядам. Зарядив пушку, что-то прикидывал, изменял у ствола высоту наклона, не спеша снова дёргал шнур — солдат **работал**, сосредоточенно и неторопливо.

Из оврага с глухим урчанием выкатила «тридцатьчетверка»; встала в логу, обратив сужающийся ствол пушки на лес. Пошумливая голосами, с нестройным топотом, не таясь, подходила по оврагу пехота.

Дело было сделано, Алёша это почувствовал. И как-то сразу потянуло его к земле упасть, уткнуться лицом в её осеннюю стынь, забыть о том, что было, что гудело в нём непрерывным гудом.

Но ждал он ещё одного знака. Из блиндажа, придерживая на своей спине беспомощного сержанта с перебинтованными ногами, выбрался Авров; постоял, отдуваясь, тяжело переступая, потащил раненого в овраг.

«Вот так, старшина. В урок тебе!» — подумал, остывая от зла, Алёша.

Подошёл к терпеливо дождававшемуся в логоу солдату, опустился рядом, свесил с колен обессиленные руки.

Мимо шла свежая, ещё не обмятая в бою пехота. Один из молодых солдат с весёлым загорелым лицом, с автоматом на груди, в накинутаой со спины плащ-палатке, покачивая в ходьбе плечами и глядя на них, перебинтованных, привалившихся друг к другу, окликнул понимающе:

— Что, жарковато пришлось, земляки?

Алёша хотел ответить, но сил не хватило; он только устало улыбнулся, махнул весёлому солдату рукой.



Глава семнадцатая

ЮРОЧКА

1

— Ты скажешь в конце концов, кто мой отец?! — Юрочка стоял, прилепив ладони к краю стола; тонкая шея, плечи, руки его были так напряжены, что дрожь их передавалась столу; Дора Павловна локтями ощущала эту передаваемую досками стола нервическую дрожь напряжённых рук сына. Она слышала сразу и резкий голос Юрочки, и приглушённое двойными рамами окна осторожное поскуливание Урала во дворе у дровяной сарайки, где пёс одиноко сидел на цепи. Урал скулил от голода. Юрочка выходил из себя от того, что его желания, которые в своём воображении он связывал с возможностями всё ещё безответного ему отца, не осуществлялись. Дора Павловна сочувствовала поскуливающей одинокой собаке, которую Юрочка выпросил у Поляниных, родителей Алёши, для охоты, и без сочувствия воспринимала обращённый на неё бурный напор сына. Разговор об отце был не первый. «И не последний», — думала Дора Павловна, отводя глаза к ярко-синему от мартовского неба окну. Она умела уходить от неприятностей личного плана и не позволяла Юрочке проявлять ненужный интерес к далёкому и — теперь это было для неё ясно — безвозвратному прошлому. Сама она постаралась забыть это прошлое. Юрочка стал реальностью её жизни, реальностью стало, как говорила об этом деревня, и её соломенное вдовство. И она приняла эту реальность. Активная её натура не терпела бесполезных воспоминаний, не давала она воли и мечтам. «В наше время никому не позволено растрачивать себя в пустоте нереального», — думала Дора Павловна; сама она всегда действовала в данной ей объективной необходимости и хотела, чтобы сын её тоже был человеком сегодняшнего дня.

В последние годы Юрочка особенно досаждал ей вопросами об отце, и Дора Павловна порой сожалела, что не пошла на спасительную ложь в то время, когда Юрочка был ещё мальчиком. Она сумела бы придумать какую-нибудь достоверную историю о гибели отца в жестоких классовых боях.

Тем более что отец Юрочки явился в Семигорье вестником грандиозных преобразований, выступал перед народом, говорил убеждённо о зарождающихся в вековом единоличном крестьянстве коммунах, уезжал, потом снова появлялся, будоражил сердца сельских девчонок кожаной курткой, фуражкой и наганом. Он, Юрочкин отец, много ездил по глухим дорогам, от села к селу, и мало ли что могло случиться с ним!..

Но Дора Павловна знала от верных людей, что её Михаил остался жив. Связал себя с миром искусства. Выбрал для жительства не село, а город, равный столице, — Ленинград. И не был там одинок. Похоронить в своём сознании и в сознании Юрочки живого отца она не посмела: это противоречило её пониманию реальности. Она думала, что со временем, когда Юрочка повзрослеет и углубится в свои житейские проблемы, вопрос об отце сам собой разрешится — просто останется в прошлом. Но чем ближе Юрочка подходил к порогу самостоятельной жизни, тем всё настойчивее и требовательнее спрашивал об отце. Дора Павловна начала догадываться, что интерес сына — уже не просто любопытство к человеку, имя которому «отец»; она поняла, что Юрочка, думая о будущей своей жизни, уже рассчитывает, хочет в этой будущей жизни опереться не на мать, а на всесильного, как казалось его распалённому воображению, отца.

Дора Павловна это поняла, и несколько дней и ночей ей было душно, хотя у себя в кабинете и дома она настежь раскрывала окна и ночи в ту осеннюю пору, когда она это поняла, были уже прохладными. Потом она успокоилась. Её аналитический ум оправдал Юрочку: сын исходил из того, что дано было ему реальностью, в которой он жил. А всякая реальность в глазах Доры Павловны была объектом человеческих действий в человеческих же интересах. «Отец существует, он реальность, — думала Дора Павловна, успокаивая себя привычным холодком рассуждений. — А если он реальность, Юрочка вправе рассчитывать на его поддержку и его помощь...» И всё-таки Дора Павловна медлила открыть Юрочке отца. Останавливали её не сложности морального плана, которые могли возникнуть у человека, связанного с другой средой, с другой семьёй, при встрече с явившимся из небытия собственным сыном, — для Доры Павловны эта сложность не имела значения. В чётком её сознании не было и тени сомнений в том, что за всякую измену, будь то измена родине, женщине или сыну, должно следовать наказание — причем наказание и юридическое, и моральное. Медлила она обратиться к Юрочке к отцу не по доводам рассудка, а по чувству, по неясно тревожащему её ощущению: в настойчивом, до бешенства, стремлении Юрочки она ощущала нечто предающее её самое. Дора Павловна верила: пока Юрочка при ней, пугающая её измена не совершится.

Потому она стойко выдерживала приступы сыновнего бешенства и, вопреки желанию Юрочки, используя авторитет своей высокой должности, сумела устроить его в эвакуированный из Брянска институт, который теперь располагался и действовал на территории, живущей под её началом.

Дора Павловна зачла эту победу себе; она ещё не знала, что ни власть, ни её родительская сила не заставили бы Юрочку исполнить её желание. Он пошёл в институт вслед за Ниночкой — оборвавшейся Алёшкиной любовью, а выбор Ниночки определили обстоятельства военной поры. Как бы там ни было, но Юрочка ещё на какое-то время остался при ней. Дора Павловна надеялась: невесёлый быт, институтские заботы, общая тревожность военной поры отвлекут Юрочку от болезненных дум об отце. И вдруг — эта вот вспышка бешенства, этот прищур заходящих глаз, этот захлёбывающийся голос и дрожь напряжённых рук, от которой содрогается стол... Дору Павловну ждут в райкоме, у неё нет времени успокаивать сына. Ей хочется отправить Юрочку в угол, чтобы там в слезах он простоял час, два, остыл, испросил у неё прощения за свои дикие вспышки, за бестактность, назойливость. Но Юрочка — не десятилетний мальчик. Подобная её материнская власть тоже в прошлом. Теперь его не заставишь замолчать властным окриком. Он знает, что он — уже человек, индивидуальность. По пунктам он знает свои права. Он знает, что у него есть право на уважение и есть право на отца.

Дора Павловна сжимает ладонями виски, некоторое время сидит неподвижно, как будто вглядываясь в потёртость старой клеёнки, которой вот уже лет десять накрыт их обеденный стол. Не отнимая рук от головы, с измученностью в голосе, она наконец говорит:

— Хорошо. Я сведу тебя с отцом. Но сейчас война. Ты как будто не понимаешь, что сейчас — война! Он на фронте. Если не на фронте, то в блокаде. Ты же знаешь, что Ленинград — в блокаде!.. Или тебе нет дела до того, что переживают сейчас люди? — Дора Павловна опускает на стол руки, внимательно смотрит на сына.

Юрочка ещё в напряжении. Некоторое время он выдерживает её не очень-то добрый, совсем не материнский взгляд, как будто в неуютности поводит плечами; взгляд его скользит по её рукам, по столу, уходит в угол. Но самолюбие не дает ему отступить. стараясь придать голосу угрожающую категоричность, он говорит:

— Ну, хорошо. Война кончится, и ты пошлешь меня к отцу! — Он обхватил себя руками, нервно прошёлся по кухне, как бы подчёркивая свою неуступчивость. Этого показалось ему мало: он остановился, сощурился глаза, сказал, как будто утверждая нечто в пространстве между ними:

— Помни, договорились! Железно!..

Дора Павловна без улыбки ответила:

— Договорились. Разумеется, если его не убьют...

Юрочка в каком-то оторопелом, зверином движении вскинул голову, смотрел на мать жалкими, испуганными глазами.

— Не убьют. У него нет сердца, — сказал он угрюмо, и Дора Павловна подумала, что сын иногда бывает прав.

Удовлетворённая не столько разговором, сколько возможностью неопределённо долго не возвращаться к трудному для неё вопросу, Дора Павловна позволила себе задержаться ещё минут на десять. Согласие, которого она ждала и хотела и которое так неожиданно возникло между ними, казалось ей сейчас важнее других дел и ожидающих её в райкоме людей. Желая закрепить важное для неё согласие, она поднялась, накрыла на стол и, зная, с какой насупленностью и обидой Юрочка ест столовские супы и каши, которые она приносит с работы, достала из тайника в кладовочке кусок масла и полголовки домашнего сыра — подарок знакомой крестьянки из дальней деревни. Она радовалась оживлению, с которым Юрочка ел, пачкая губы крошками сыра, — он как-то подобрел в эти минуты за столом и посматривал удовлетворённо лучистыми, как в детстве, глазами.

«Как кошечка: приласкали — замурлыкал! А цели, разумной воли — нет. Всё — порыв, всплески чувств, не больше! Хоть бы на год себя заглянул. Хоть бы на год!..» — думала Дора Павловна, любуясь сыном и сожалея о том, что Юрочка больше похож не на неё, что не сумел он вобрать в свой характер самые сильные качества её природы — убеждённость и волю.

Пока Юрочка ел, во дворе снова заскулил Урал. Дора Павловна нахмурилась: голос голодной собаки её беспокоил. Юрочка не мог не слышать осторожный, зовущий собачий голос, но никакого нового чувства не появилось на его сосредоточенно-удовлетворённом лице; он отрезал от плотного сыра крупный ломоть, вытянул губы трубочкой, поймал уголок белой мякоти, втянул в себя, как обычно втягивал молоко, обласкивая язычком, почмокал. Урал снова сдержанно подвыл.

Дора Павловна подумала, что покормить собаку она может только варёной картошкой. Опять картошкой!.. В начале зимы Юрочка приносил зайцев, кое-что доставалось Уралу. Но после января снегу намело, Урал тонул в сугробах. Юрочка возвращался из лесу пустой, раздражённый, в конце концов перестал брать с собой собаку. Ночи и дни покинутый Урал сидел на цепи. Дора Павловна, чем могла, кормила его утром и по вечерам.

Она добросовестно исполняла свой долг перед живым существом, доверенным её сыну. В глубине души она понимала, что исполняет не свой долг, а долг Юрочки перед его другом Алёшей. «Но такова, кажется, участь всех матерей, — думала Дора Павловна. — Отвечать перед обществом не только за себя, но и за растущих не по нашему разумению детей!..» Долг, который она исполняла, неожиданно обернулся привязанностью к Уралу, этому лопухому деликатному псу. Алёша Полянин, видимо, много вложил труда и проявил похвальную настойчивость, чтобы воспитать собаку по своему характеру. Да, этот неглупый, настойчивый мальчик имел то, чего недостаёт её Юрочке...

— За сегодняшний завтрак спасибо, — сказал Юрочка, но лучики в серых его глазах попритухли. — Вот если бы ещё сладенького!.. — Он по-детски сморщил нос и ладонью пошлепал себя по затылку.

— Сладенькое будет после войны!.. — Дора Павловна почувствовала, что слишком жестоко ответила на безвинный Юрочкин каприз, но поправлять себя не стала. Лёгкое раздражение, которое возникло в ней от беспокойства за собаку, одиноко и голодно сидящую на снегу, усилилось: Урал снова подал голос. Дора Павловна посмотрела на довольного выпавшей ему сытой минутой Юрочку, не смягчая жесткости своего голоса, спросила:

— Ты всё-таки думаешь как-то устроить Урала?

— Думаю. Ползимы думаю! — Юрочка нервным движением рук взял нож, пальцем попробовал лезвие, отшвырнул к пустой хлебнице; не в первый раз он уходил от этого разговора, как сама Дора Павловна уходила от разговора о Юрочкином отце. Но если дела с Юрочкиным отцом пока можно было отложить, то голодный Урал во дворе был реальностью. Реальностью было и то, что Юрочка теперь не нуждался в собаке, — охота кончилась, летом ждала его практика, связанная с отъездом, самой же Доре Павловне по горло хватало забот по району, не каждую ночь удавалось ночевать дома. Юрочка явно не хотел заниматься собакой. Он как будто уже забыл, с какой неотступной страстностью выпрашивал Урала у Елены Васильевны осенью, когда была охотничья пора. Дора Павловна знала, что Елена Васильевна долго колебалась, прежде чем решилась передать собаку Юрочке; она не сразу отдала Урала даже после того, когда Алёша в письме разрешил ей это сделать. Юрочка вообще как-то легко уходил от того, что переставало быть ему нужным. Дору Павловну настораживала эта черта в сыне. Тем более она считала необходимым настоять на том, чтобы Юрочка сам решил возникшую проблему.

— Я думаю, Урала надо отвести в Семигорье к Фёдору Насонову. — Дора Павловна всё-таки не выдержала и подсказала решение, которое казалось ей разумным. — Он охотник. Он, насколько я помню, и подарил Урала Поляниным.

Юрочка, не дослушав мать, поморщился.

— Ты же сама учила меня думать, а потом поступать! Вот я и думаю: собака-то рабочая!.. Осенью он пойдёт с Уралом на охоту, что останется мне? Ты, мать, занимайся своими делами. О собаке я подумаю!..

Почему-то он не смотрел на Дору Павловну, он сосредоточенно смотрел в угол; губы его сомкнулись, потвердели; он выглядел в эту минуту вполне решительным. И Доре Павловне показалось, что Юрочка наконец-то понял свою ответственность за близкое ему существо.

2

В лес Юрочка шёл с готовым решением. Никогда прежде Урал не был так послушен, как в это, последний для него день. Он шёл без поводка у ноги, по взмаху руки стремительно бросался вперёд, привычно выискивал запахи следов среди оплывшего весеннего, уже не чистого снега. Он был так послушен сегодня, что даже по тихому призывному свисту бросал свой азартный поиск, подбегал, вскидывал чёрную, в рыжих подпалинах, голову с длинными висячими ушами; вывалив из клыкастой пасти язык, часто, шумно дыша, преданно смотрел выпуклыми жёлтыми глазами, готовый к любому послушанию. Юрочка ощущал неприятный холодок зарождающегося сомнения, поджимал губы, недобром поминая Алёшу: «Вышколил собаку! Из дикого гончака слепил легавую... Чуха интеллигентская!..»

Юрочка искал зацепки, хоть какой-нибудь задоринки, чтоб раздражиться, рассвирепеть на собаку, как это бывало на зимних, не всегда удачных охотах. Но Урал будто чувствовал нависшую над ним злую волю и был сама святость, сама послушность, верный, преданный слуга!..

«След бы взял, что ли! — думал Юрочка. — Разумеется, конец марта, охота закрыта. Но ведь война?! Какие могут быть запреты? Когда самих людей щёлкают, как птиц!..»

Юрочка обманывал себя, он хотел выйти из-под тяжести неприятного дела, которое готовился совершить; то, что он задумал холодным, ясным рассудком, теперь страшило. Рассудить и сделать — не одно и то же. Это далеко друг от друга. Между ними горы и пропасти, которые надо одолеть!..

Ощущение вины, какого-то недобра мешало ему быть холодным и спокойным. Дурные ощущения рождали ненужные сейчас мысли об Алёшке, совести, долге. Ведь Урал был Алёшкиной собакой. Он почти на коленях вымолил Урала у Елены Васильевны! Обычно послушная ему память сегодня не слушалась. Он не хотел, но видел лицо Елены Васильевны, похудевшее, затенённое какой-то не отпускающей её внутренней заботой. В её взгляде не было и следа былой приветливости. С недоверием, его возмущившим, она смотрела ему в глаза, говорила, стараясь быть твёрдой:

— Но Алёшенька написал, чтобы Урала мы отдали Фёдору Игнатьевичу Насонову! Он уже с ним списался...

Юрочка и сейчас помнил, как запалилось его сердце от ревности: Урал не мог, не должен был попасть Феде-Носу! На все окрестности только двое они и остались в охотниках!..

— Но Алексей ведь не знает, что я дома и до сих пор охочусь! — сказал он, и в ревности он сумел остаться рассудительным. Кажется, его рассудительность и подействовала на Алёшину мать.

— Может быть. Даже наверное вы правы, Юра, — уже в нерешительности сказала она. — Ведь вы так много охотились вместе! Я напишу Алёше, он быстро ответит...

Елена Васильевна, как всегда, не собиралась решать сама. Он знал эту черту Алёшкиной матери и, охваченный нетерпением и страхом не получить охотничью собаку, улыбнулся своей лучистой, неотразимой улыбкой:

— Мне кажется, Алексей никогда не изменял своим друзьям. Напишите, пожалуйста, напишите, Елена Васильевна! А пока я возьму Урала — он засиделся на цепи. Да и подкормить его перед охотой надо... Ну, а если вдруг почему-то Алексей изменит свое отношение ко мне, я вам собаку приведу. Так и договоримся, Елена Васильевна!..

Он подошёл к Уралу, отстегнул поводок от проволоки, тонко чувствуя, что Елена Васильевна не наберётся мужества прервать его действия. И увёл Урала, раскланявшись и ещё раз одарив Елену Васильевну улыбкой.

Память в подробностях развернула перед ним тот день, хотя он старался отмахнуться от памяти, даже сердился на то, что память всё-таки жила в нём. «То, что уже было, значения не имеет, — убеждал себя Юрочка, — Важно то, что сейчас. В этот вот последний день марта, в какой-то там трёхсотый или четырёхсотый день войны и девятнадцатый год моей жизни! Важно то, что в этот день и час я должен освободиться от неприятности, от неприятности в образе этой вот ненормально послушной собаки!..

Собака отслужила и Алёшке, и мне. А люди даже нужные тяжести сбрасывают с воза, отправляясь в путь. Сбрасывают — и всё тут! Ни бог, ни мамочка не знают, куда меня закинет до будущей зимы! Готовым надо быть ко всему. В войну не до сентиментальностей!..»

Юрочка отвёл сомнения, решительно остановился посреди зимника, идущего с дальней лесосеки, стянул с плеча ружьё, резко и громко свистнул невидимого среди тёмного елового подроста, где-то рыскающего по сугробам Урала. Как верный конь из слышанной в детстве сказки, выскочил Урал из островерхих зелёных шапок можжухи, встал перед ним, затонув задними лапами, передними опираясь на слежалый, льдисто-отсвечивающий снеговой намет. Он стоял к нему грудью, подрагивая чёрными широкими ноздрями, смотрел в готовности, ожидая команды. Юрочка щёлкнул одним взведённым курком, другим — медленно приподнял, потом быстро приложил к плечу ружьё. Мушка, всегда такая маленькая, теперь почему-то огромная, отсвечивающая медью, закачалась между висячими жёлто-чёрными ушами Урала, закрывая то один его глаз, то другой. Юрочка никак не мог закрыть мушкой сразу оба, преданно смотрящих на него глаза, не мог осилить тугую пружину курка. Чувствуя, как занемели от напряжения руки, заслезились глаза, опустил ружьё.

«Чёрт, не всё так просто... — думал он, протирая согнутым пальцем глаз. — В уме всё легче — казни и милуй. А тут не мысль, тут — совершить!..»

Умостив ружьё под мышкой, придерживая локтём, он пошёл по дороге дальше в лес. Урал, не услышав команды, подбежал, ткнулся носом в колено, — отметил по своей привычке у хозяина, — круто развернулся, вскачь, мотая тяжёлыми ушами, понёсся впереди, открыто радуясь воле и работе.

Юрочка глядел на собаку нехорошими глазами. Он старался заохладить в себе чувства, но даже сквозь холод рассудка ощущал недобро, к которому сейчас шёл. В своей жизни он совершал недобрые поступки. Но они с лихвой окупались удовольствиями, которые он получал. Здесь удовольствий не было, он только освобождал себя от лишних забот. И это могло быть прибылью, если б не цена, которую он должен был заплатить. Он не ожидал, что цена окажется столь высокой. На Урале как будто сошлось всё: и память об Алёшке, и доверие Елены Васильевны, и озабоченность матери, и верная служба самого Урала.

Здесь не просто он избавлялся от собаки — кого-то и что-то он предавал.

Юрочка углублялся в лес. Он ещё таился от себя, но уже с родившейся надеждой поглядывал на сумрачные, оплывшие снега, почти сплошь засыпанные хвоей и ветками, нападавшими за долгую зиму, теперь вытопленными устойчивым теплом. Узреть след в этом мусоре, конечно, было трудно. «Но Урал-то с чутьём! — думал Юрочка. — Возьмёт, и в этой путанице возьмёт след! Только дать ему время, возьмёт. А в кутерьме охоты чего не бывает. Случается и людей убивают! И *это* будет случайностью! Я буду знать, что *это* — случайность. По крайней мере избавлюсь от пакостного чувства!..»

Он только подумал о том, как в глубине леса взвизгнул Урал. И вдруг взвыл и залился ровным бухающим лаем.

«Взял!» — прошептал Юрочка, чувствуя облегчающую радость. Он определил направление гона, перелез через плотное придорожное сугробье, проседая в талом снегу, пошёл к мелколесью на бугре.

Всё было как на настоящей охоте. Урал не скальвался, гнал ровно, иногда в азарте подвывал. Юрочка, как всегда ощущая в руке радующую тяжесть ружья, поспешал перехватить гон. Но с каждым шагом, сближающим его с гоним, к нарастающему привычному волнению всё определеннее примешивалось уже знакомое, пугающее его чувство вины перед кем-то, кого не было с ним рядом. И настолько сильным было это пакостное чувство, что дрожали и холодели руки, сбивалось дыхание, как будто он запалил себя, и половины не дотянув до финиша.

Гон приближался. Юрочка остановился за молодыми ёлками. Вглядываясь поверх снега в просветы между стволами, сжал губы, шумно продул ноздри, стараясь выровнять сбитое дыхание. Он рассчитал, что гон пройдет перед ним, по склону бугра, поросшего сосняком и редкими кустами можжухи, и не ошибся: замельтешил между пепельными стволами сосен белый подпрыгивающий зверёк, и тут же как будто открылся, накатила ухающий собачий лай. Крупный заяц бежал медленнее, чем мог бы; часто останавливался, вскидывал уши; снова тяжело прыгал с уже почувствованной обречённостью. Урал нагонял тяжёлого зверя, и, когда заяц медленно покатился по склону между мохнатых копёшек можжух, тут же следом показался и захлёбывающийся лаем Урал. Оба зверя шли в одну линию: близко, на верный выстрел. И Юрочка, преодолевая тяжесть дрожащих рук, поднял ружьё, заученно повёл стволами впереди белой головы, с испуганно прядущими высокими серыми ушами. В это уже неостановимое мгновение он внушил себе, что стреляет в зайца. Краем глаза он видел, что Урал в сильных прыжках настигает добычу, и, как будто забыв о необходимом опережении, сместил мушку на заячий зад, остановил стволы перед кустом можжевельника, стиснул зубы и рванул пальцем спуск.

Привычный толчок в плечо, грохот выстрела; лай оборвался. Как будто ничего и не было. Тишина. Только вверху, по тяжёлым макушкам сосен, протяжно продышал ветер.

«Вот и всё», — облегченно подумал Юрочка. Открыл ружьё, вынул окинутую копотью, тёплую латунную гильзу, хотел, как обычно положить в карман и, словно обжёгся, отбросил в снег. С минуту колебался: подойти? Или оставить, как есть?.. Всё-таки сдвинул себя с места, не спеша, тяжело вытягивая из снега ноги, подошёл. Скосил глаза за можжевеловый куст и оторопел: Урал, припав, давил зажатую в пасти спину своей добычи. Задние вытянутые заячьи лапы, с широко растопыренными пальцами, судорожно поддёргивались: между ними на грязном, красном от крови снегу лежали в мокрой шерсти два неподвижных комочка с плотно прижатыми к спине ушами, — картечь, которую он послал, обошла Урала. Урал видел хозяина; выпустил задавленную зайчиху, вскочил, склонил голову набок, отвесил длинное ухо, победно повил хвостом, смотрел спрашивающими глазами. Юрочка в отчаянии топотнул ногами: в этот недобрый час всё было против него! Он рассчитывал на случайность — случайность обошла его. Он чувствовал себя обманутым и теперь зол был на то, что не решился быть самим собой. «Слабак, такая же чуха! Размазня на солидоле! — ругал он себя. — Решил? Решил. Так что же изворачиваюсь? Перед кем паиньку играю?!»

Юрочка двигал руками, как будто отпихивал кого-то; торопясь, выбирался по снегу на дорогу, думая, что там, на твёрдости наезженной колеи, обретёт нужную решимость. Он уже порядочно прошёл. Успокоиться не старался; его бесила собственная мягкотелость, своя же, доведённая до тонкого мастерства, изворотливость перед самим собой, которая когда-то вошла в его жизнь и теперь заставляла мудрить даже перед бессловесной, ненужной ему, ничего не понимающей собакой!..

Юрочка был настолько раздражён, что почти забыл про Урала. Урал, чувствуя настроение хозяина, понуро трусил за ним по дороге, иногда останавливался, смотрел назад, не понимая, почему осталась лежать в лесу затравленная им добыча. Юрочка шёл быстро, пиная сапогами вытаявшие среди лошадиного навоза шишки. Он устал от всей этой возни, ему хотелось домой. Сработай случайность, на которую он рассчитывал, — он бы уже сидел дома и пил молоко. И душа была бы спокойна — случай есть случай, случай властвует и над жизнью великих!.. А теперь носи в себе эту пакость. Думай, как выбраться из неё... «Нет, надо кончать, — думал Юрочка. — Домой притащишь — опять всё сначала: корми, прогуливай, делай вид!..»

Он представил все неприятности, связанные с Уралом, и неприятности эти предстали перед ним такими тяжкими, ненужными в его нынешней жизни, что снова он почувствовал, на этот раз уже неостановимую, решимость освободиться от них. «Не ждать, а жить», — вспомнил он свой девиз и подумал, что с этой войной, поднавалившей разных забот, стал забывать главное правило своей жизни. «Если что-то мне надо для жизни, значит надо...» — холодно и ясно подумал Юрочка. Он остановился, глазами поискал Урала. Не давая влиться в охлаждённую умом душу никаким другим чувствам, кроме тех, которые в ней сейчас были, голосом и резким движением руки возбудил, послал собаку от дороги в лес. И когда Урал отбежал, в привычной страсти начал свой извечный поиск, Юрочка свистнул, призывая. Урал повернулся, замер на придорожном сугробе, вывалив подрагивающий розовый язык, глядя в ожидании команды. И Юрочка, видя, как почему-то чернеют сугробы и небо, выстрелил Уралу в грудь.

3

Дора Павловна прошла по комнате, дважды переложив на столе бумаги, — то ли от усталости, то ли от тяготивших её дел она не могла сосредоточиться. В доме чего-то не хватало, но чего? Юрочка за столом, занят конспектами. Печь топится. В чугуне варится картошка. Она попросила немного картошки, чтобы вечером покормить Юрочку, а остатками — Урала.

«Ах, да, вот оно что: совсем не слышно Урала! Почему-то он не встретил меня, когда я проходила в дом». Ещё не чувствуя даже малой тревоги от того, что наконец она определила ту пустоту, которая сегодня ощущалась в доме, Дора Павловна ровным голосом спросила:

— Юрочка, а где Урал?

Юрочка, не поднимая лохматой головы от тетради, ответил с раздражением, явно большим, чем обычно:

— Можно мне не мешать, когда я занимаюсь?!

— Можно. Но всё-таки где Урал?

Юрочка пошарил по столу ладонями, как будто искал карандаш, не ответил, снова углубился в конспект.

Дора Павловна хорошо знала людей и очень хорошо, как казалось ей, знала своего сына. Сын уходил от разговоров, одно это уже не было добрым знаком. К тому же не в характере Доры Павловны было ждать, когда с ней захотят говорить; напротив, в жизни всегда было так, что люди ждали её слова.

Потому она не приняла во внимание ни Юрочкино молчание, ни показанное им раздражение и тем же ровным голосом, в котором, однако, слышался уже металлический страх, проговорила:

— Я хочу знать, где Урал?

Юрочка сделал страдальческое лицо, в досаде взъерошил кудрявинки своих волос, ответил так, как будто его мучили:

— Ну, увёл я Урала... Ты же сама говорила, что надо увести!..

— И куда ты его увёл?

— Куда. Куда... Ну, в лес...

— И там оставил? — Взгляд Доры Павловны ещё ничего не выражал, кроме вопроса. Но Юрочка сжался, как зверёк, готовый прыгнуть; он не спускал с матери глаз. У Доры Павловны кольнуло в груди. Она всё-таки нашла в себе силы повторить свой вопрос:

— И ты оставил его там?..

Юрочка смотрел уже спокойно, глаза его были ясны и холодны.

— Да, я оставил его там. Я застрелил Урала...

Дора Павловна долго смотрела в ясные глаза Юрочки. Потом медленно повернулась, пошла к двери, на ходу сняла с гвоздя, вбитого в стену, пальто. И пока открывала дверь, ощупью выходила на крыльцо, торопясь вдохнуть свежий, с запахом талого снега воздух, успела подумать с давящим чувством боли и удивления: «Ну, дорогой мой сын! Далеко же ты пойдешь...» Она прислонилась к мокрому столбику крыльца, почувствовала, как что-то упало, потекло по щеке. Подумала: «Капель! Ну, конечно же, капель!..» Дора Павловна не позволила себе поверить, что по щеке текла первая в её жизни слеза.



Глава восемнадцатая

ЛЕНА

1

В землянку вривался из-под свисающей над входом плащ-палатки холодный, пахнувший зимой ветер, и Алёша убеждал себя, что неудобно ему именно от этого задувающего к нему ветра. Пригнувшись к печурке, в маленьком квадратном зеве которой догорали последние щепки от разбитого снарядного ящика, он плоским штыком ковырял железную обшивку противотанковой гранаты, добираясь до жёлтого спрессованного тола. Тол хоть и дымил чёрным смоляным дымом, но горел жарко и мог надолго согреть малое пространство жилья, которое он сам отрыл в канун затянувшегося боя.

Накрошив тола, побросал куски в печурку, принялся за вторую гранату, но добытый из неё тол ссыпал в пустую цинковку из-под патронов, пристроил её так, чтобы она не мешала ногам, но и легко было достать и кинуть тол в печурку прямо с низких нар, составленных из жердей.

В том, что Алёша делал, был скрытый и важный смысл; и то, что он сейчас сделал, подействовало на него странным образом: лицо вспыхнуло, руки засуетились. Он почувствовал, что до невозможности краснеет, хотя в землянке он был один и стыдиться было некого. Мучительно было даже думать о том часе, когда сюда, в эту узкую неудобную щель, прорытую в склоне оврага, прибежит она и между ними что-то случится. Неминуемо случится, потому, что этого хочет *она*, Лена, Ленка Шабанова, их умница-разумница, несменный староста их десятого выпускного!

«Захочешь, не придумаешь!» — всё ещё оглушено думал Алёша. Оглушила его, собственно, не сама встреча, а тот взрыв чувств, который кинул её, рассиявшую глазами, через дорогу к нему, когда она узнала его в сосредоточенно идущем, хмуращемся от холодного ветра лейтенанте. Он и теперь ощущал приятную боль её стиснутых на шее рук, прохладу её лица и губ, прижатых к его щеке, свою растерянность и смущение от обрушившейся на него Ленкиной радости.

У дороги, где они повстречались, была врыта в землю артиллерийская позиция, поверх Ленкиной ушанки он видел горящие любопытством глаза молодых ребят, выглядывающих из-под маскировочных сетей, готовых вот-вот свистнуть им в озорной солдатской ревности. Стыдясь чужих взглядов, он хотел куда-нибудь отойти, но Ленка, обретя его, будто топнула ногой на весь свет: обхватив его, она, девчонка, крутилась с ним вместе по гулкой мёрзлой дороге и звеняще смеялась, впутывая в смех радостные слова. Ему всё-таки удалось увести Ленку от смущающего его любопытства молодых артиллеристов. Только там, уже, в безлюдье поля, он овладел собой настолько, чтобы заметить на её шинели, ладно пригнанной к широкой и плотной Ленкиной фигуре, погоны с маленькой звёздочкой и голубой окантовкой.

— Да, летаю! Сказала Лена с какой-то весёлой небрежностью. — По ночам бомбочки швыряем фрицам!.. — Но больше говорить о том не стала, сорвала с головы шапку, тряхнула короткими, по-мальчишески подстриженными волосами, с неостывшим возбуждением спросила:

— Как теперь я? Хуже-лучше без грандиозной своей косы?! — Она смотрела, смущая его дерзкой смелостью зелёных глаз, и Алёша, вспоминая, думал теперь, что такая вот, мальчишеская Ленка лучше, много лучше и желаннее; его и раньше влекли похожие на мальчишек девчонки именно своей вызывающей смелостью, которой так не хватало ему при его совсем не мужской стеснительности. А Лена шла рядом, не отпускала его руки и допрашивала с влекущей его дерзостью, которой прежде он в ней не знал:

— Лёшенька! А почему ты на меня не смотришь? Ниночку свою вспоминаешь?! А знаешь, что я тебе скажу? Совсем она не для тебя! Ну, совсем! Нинка остороженькая. Всё время боится прогадать. Тебе не такую надо. Да ты сам знаешь, какую тебе надо! Я — для тебя, Лешка, я!.. — Она сказала это неожиданно и вроде бы шутя, но по тому, как прижала она к себе его руку, он понял: Ленка не шутит.

Лена дошла с ним до землянки, по-хозяйски всё осмотрела, прощаясь, положила руки ему на плечи, будоража блеском зелёных глаз, сказала:

— Так вот, милый мой Лёшенька. Сейчас я ненадолго исчезну. Но скоро приду! — Не отводя глаз, напряжённым шёпотом досказала: — К тебе приду. Слышишь?.. — И от этого её будто стиснутого зубами шёпота он так заволновался, растерялся, что даже не проводил Лену.

В печурке, в коротком быстром пламени потрескивающего тола, сгорало время, которое даже в страхе перед встречей он не мог остановить. Ему казалось, Лена уже близко, уже спешит к нему, оступаясь на стылых комьях разбитой полевой дороги; с минуты на минуту он мог услышать быстрые её шаги.

Алёша всё косился на цинковку с припасённым толом; и нехорошая от душевной слабости мысль вдруг пришла ему: спалить сейчас весь этот с умыслом припасённый тол, сорвать с нар стёганный ватный мешок, оттащить его вместе с трофейным одеялом в землянку старшины, уничтожить весь этот уют, жалкий, но располагающий к близости. И встретить Лену в холодном блиндаже, с голыми жердями вместо постели. Она сама всё поймет, снова разойдутся их дороги и судьбы, снова он останется самим собой, в ожидании неясной любви, незнакомой, обитающей где-то, наверное не рядом с ним.

И странно, тут же, в каком-то противоречивом упрямстве к тому, о чём только что думал, он поднялся, придерживая накинутую на плечи шинель, вышел в овраг, стал выискивать по нарытым в склонах ямам и щелям гранаты, остатки разбитых снарядных ящиков, чтобы сохранить огонь и тепло и возможный в его жилище уют к тому часу, когда запыхавшаяся в торопливой радости Лена ворвётся к нему.

Вернулся он, захолодав от ветра, с охапкой щепок, двумя гранатами. Около землянки увидел поджидающих его раненых солдат и даже обрадовался подоспевшей привычной работе. Пожилого солдата с осколком в предплечье перевязал быстро; другого, по виду совсем парнишечку, бинтовал долго, осторожно подлаживая под перебитую кость твердую шинку. Парнишечка морщился, приседал, виновато охал; Алёша знал, что каждое его прикосновение — боль, но даже сквозь страдание парнишечки видел в его глазах и в глазах пожилого солдата уже устоявшуюся, понятную ему радость: раны — ранами, раны заживут, а вот от мёрзлых окопных стен, открытого зябкого неба, от неуёмного на пули и мины немца они теперь законно и надолго уходят. Ещё чуток и вылезут они из затяжелевших потом и грязью шинелей; отмоют их под госпитальной крышей, в тепле, женские руки, с тарелочки накормят, уложат на койку, на подушки, на чистые простыни. Алёша сам проходил весь этот путь страданий и успокоения, знал и не осуждал солдат за эти греющие их мысли.

Напротив, в том состоянии ожидания, в котором он сейчас был, он желал им добра и торопился сделать всё, чтобы скорей они прошли остаток пути до госпитального покоя.

Пока он в поспешности заполнял сопроводительные карточки, втолковывал, где идёт самая короткая дорога к медсанбату, в горловине оврага, выходящего к передовой, снова привычно и плотно начали рваться снаряды. Пожилой солдат прислушался, сказал: «По нашей роте ложит!» — сказал рассудительно, уже как о чужой беде, как говорят под надёжной защитой дома о хлещущем за окнами дожде. Алёша опять уловил в его голосе придержанную в себе радость укрытости от недавних бед и опять не осудил старого солдата.

— Идите, пока светло! — поторопил Алёша; он успокоился привычной работой и теперь снова думал, что вот-вот появится Лена.

Готовые в путь солдаты как будто не мешали, но встретиться с Леной ему хотелось наедине. Он нетерпеливо повторил своё напутствие солдатам. Парнишечка подобрался, в готовности переступил твёрдыми пехотинскими ботинками, но пожилой солдат глянул с укоризной:

— Не торопи, товарищ лейтенант. Оттуда вышли, туда дойдём! — Он сказал это в достоинстве, не спеша перебрался на ровную площадку, открытую на всякий случай для палатки, сам уже распорядившись собой и парнишечкой, сказал:

— Передохнем чуток на этой вот ладони и отбудем.

С хозяйской обстоятельностью он пристроился на корточках, спиной к стене, здоровой рукой долго подсовывал под себя полы шинели, видом своим показывая, что теперь ему нет дела до начальников.

Алёша не чувствовал неприязни к солдату; напротив, в его хозяйской ухватке, в крестьянском обиходном словечке «ладонь» было что-то от семигорского мужика. Спросил:

— С Волги, что ли?..

— Вологодский!

— Ну! Почти земляки, — улыбнулся Алёша; в ответ на его улыбку подобрело и неопрятное от небритости лицо солдата. Уже не скрывая того, что его томило, он жалобно попросил:

— Слушай, сынок, махорочки на закрутку не сыщешь? Со вчерашнего не куривши!..

С наивностью некурящего Алёша предложил:

— Может, лучше перекусить?

— Нет, лучше махорочки, — сказал солдат и поднёс к губам дрожащие в нетерпении пальцы.

Алёша пошёл в землянку достать из аптечного ящика бумажку с махоркой, завернутую им, как лекарственный порошок. Махорку, небольшой запас сухарей, сала, особенно водку, которую каждому выдавали в боях, он всегда хранил в этом своем ящичке и берёг. Не для себя. Всё это для него не имело ценности, разве что сухари и сало на трудный случай. Но когда к нему в землянку вваливались знакомые офицеры или симпатичные ему солдаты в грязных шинелях, возбужденные близостью важного дела, он с удовольствием устраивал праздник для этих шумных людей. Тая в себе радость, он молча следил, как они в жадности курили его махорку, как, заглушая тревогу, нарочито резко стукались жестяными кружками, перед тем как, запрокинув головы, выпить сбережённые для них обжигающие граммы. Такое чувство было у него сейчас и к пожилому солдату. Спеша он выдвинул из-под нар зелёный свой ящик, но едва откинул крышку, как с тупым звуком лопнул воздух, противная всему живому сила содрогнула землю. Оглушённый, с неостановимым звоном в ушах, задыхаясь от толовой копоти, выбитой из печурки, Алёша с трудом поднялся, соображая: взорвался тол или гранаты у входа? Пошатываясь, вылез на волю и всё понял: посланный с немецкой стороны снаряд разорвался на «ладони», у ног пожилого солдата. Он и молодой оба лежали тут же, отпав друг от друга, один на правом боку, другой на левом. Парнишечка прижимал к груди перебинтованную кисть, словно она всё ещё болела, пожилой лежал с откинутой рукой, пальцы были раздвинуты, и Алёша не мог отрешиться от ощущения, что пожилой солдат всё ещё просит покурить. В ожидании нового снаряда Алёша отступил в узкий проход землянки, в ещё плавающий там толовый дым. Зная что от опасности он всё равно не ушёл, пристроился на нарах, сидел какое-то время неподвижно в неприятном ожидании удара, думал: не на дымок ли печурки послал немец этот дурной снаряд? И хотя это могло быть правдой, он всё-таки, одолевая скованность, запалил забитый взрывом огонь; упрямо, с усмешливым вызовом кому-то, подложил в печурку тол, раздул огонь до жара.

Глядя на повеселевшее пламя, прислушался — показалось, он слышит сквозь звон в ушах приближающийся постук быстрых шагов. С заколотившимся сердцем поднялся, вышел. По оврагу к передовой шли солдаты, каждый держал на плече по ящичку с минами, стук ботинок по стылой земле был сух и тяжёл.

Лены не было ни в овраге, ни на дороге, уходящей в поле; но по растущему волнению он чувствовал, что Лена к нему идёт, она где-то уже близко. Он спрыгнул на площадку, натянул на лежащих там солдат край посечённого осколками палаточного брезента, чтобы Лена не увидела случившуюся смерть, прислонился к мёрзлой земле у входа в землянку и стал ждать. Он ждал и молил судьбу, чтобы Лена дошла, добежала до его землянки, чтобы ни люди, ни война не развели их дороги.

Алёша брал из цинковки жёлтые маслянистые куски тола, подкидывал в печурку, стараясь не смотреть на Лену. Огонь потрескивал, освещал его лицо, он был на виду, и Лена с любопытством разглядывала его; он чувствовал неотрывный её взгляд, смущался, раздражался, напрягал лицо, стискивал желваки скул, — между ними стояло стесняющее их молчание.

— А ты погрубел, Алёша! — Тихий голос Лены донёсся как будто издалека, сожалеющую нотку в её голосе он уловил, поспешил разуверить:

— Да нет, всё такой же! И в любви — мальчишка! — зачем-то добавил он и застыдился своего откровения; он сказал об этом тоже от неловкости, чтобы хоть как-то оправдать свою робость.

Лена пристально смотрела из сумеречного угла, в её неподвижных глазах прожигающими точками светилось отражённое пламя.

— Среди девчонок-сестричек и — мальчишка? — Она недоверчиво усмехнулась.

— Представь себе. Тебя это удивляет?

— Пугает! Твоей робостью заробела... У тебя нет хоть немного спирта? Ты ведь медик...

Алёша, напрягаясь уже другим, лихорадящим напряжением, достал из ящика флягу.

— Только не спирт - водка.

Не показывая удивления, скрывая в небрежности движений оторопь, он налил в кружку, и, кажется, много, подал в протянутую руку Лены.

— Сам глотни! — сказала Лена.

Алёша поморщился.

— Не пью я, Лен...

— Ну, знаешь ли!.. Глотни. Не могу я одна!..

Он слышал, как выпила она двумя большими глотками. Стыдясь своей интеллигентности, ненужной, глупой сейчас, он тоже глотнул, обжигая горло, прямо из фляжки, протянул Лене на кончике ножа кусочек сала. Лена отвела его руку, потянулась сладко, как будто раскрывая себя.

— А теперь, Лёшенька, целуй! Хочу! Слышишь?!

... «Бог мой! — ошеломлённо думал Алёша, ощущая странную пустоту в себе. — Неужели это и есть тайна? То, что смущало, звало, не давало покоя, было мечтой?! Что казалось дороже жизни?!»

Алёша был подавлен. Радости не было. Было чувство потери. И почти физического стыда. Он вспомнил Рыжую Феньку, вспомнил, как шёл к ней ради *этого*, стыдного и бессмысленного, и на душе стало ещё хуже. Фенька остановила его у своих добрых рук, каким-то бабьим чутьём поняла, как покаянно будет ему от безлюбивной близости. Лена не думала о том. Просто сделала и его заставила сделать то, чего хотелось ей.

Алёша умер бы, если бы Лена вдруг узнала о том, о чём сейчас он думал. То, что случилось, было при нём, всё он должен был пережить в себе без звука, без слова.

Воздух в землянке остыл. От заолодевшей печурки наносит запахом золы и копоти. До невозможности узки и неудобны накрытые ватным стёганным мешком нары из кривых жердей, к которым они с Леной придавлены двумя шинелями и неловким, затаённым молчанием. Он не может даже вытащить руку, затёкшую под тяжестью чужого тела. Так нехорошо на душе и вокруг, что, прислушиваясь к бьющим землю разрывам на передовой, Алёша с недобрым чувством думает: «У входа бы рвануло, что ли!..»

Лена как будто затаилась, он не слышал даже её дыхания, он был уверен, что Лене так же стыдно, как ему. Но Лена в полутьме нашла его свободную, лежащую поверх шинели руку, потянула к себе, почувствовала безответность, вздохнула:

— Не обижайся, Алёша. Я ведь тебя, дурня, ещё в школе любила. А тут на фронте встретила!

Сказала она всё это чистым, ничуть не виноватым голосом, погладила его ладонь тёплой мягкой ладонью. Алёша смутился другим смущением; тронутый её вздохом, её ласковым старанием, боясь обидеть её своей безответностью, погладил пальцами её пальцы, слабо сжал.

Лена, как будто успокоенная ответной его лаской, затихла. Она, наверное, знала что-то, чего Алёша ещё не знал. Когда он успокоился и затомился собственным молчанием, она осторожными движениями рук повернула его к себе, губами нашла его губы. Он понимал: после того, что случилось, Лена обрела какие-то свои права на него, и сдерживал дыхание, не отводил губ.

— Поцелуй! Ну, поцелуй же! — шептала Лена. И Алёша, вопреки всему, о чём только что думал, покорился её настойчивому шёпоту.

... Снова лежали они рядом, на тех же узких нарах, под теми же тяжёлыми шинелями, так же пуста и холодна была железная печурка, но мир под неудобными тяжёлыми шинелями как будто стал другим. Какое-то незнаемое прежде согласие зародилось в этом крохотном — на двоих — мирке, какая-то ласковая предупредительность, какое-то бережное внимание даже к дыханию друг друга. Через ошеломивший его физический стыд Лена приблизилась к нему, обволокла ласковым теплом любящей женщины, и не было для него сейчас необходимее того, что было Леной.

— Лен, закутайся. я разожгу печку.

— Не надо, милый!

— Хочу добавить чуточку тепла.

— Добавишь — и что-то отнимешь от того, что есть!

— Разве может так быть? Ведь тепло к теплу, хорошее к хорошему?

— Я верю, Лёшенька, в то, что есть. Я боюсь верить в то, что будет.

— Но почему?

— Этому научила меня война, Лёшенька...

Он всё-таки растопил холодную печурку: заботливо укутал Лену и запалил огонь. На неровных жердях низкого потолочного перекрытия теперь как будто раскручивались тёмно-красные огненные отблески. Лена высвободила из-под шинели руку, положила под голову, с напряжённым любопытством наблюдала мерцающие на жердях чёрно-красные блики.

Алёше не понравилась пристальная сосредоточенность её взгляда, он прикрыл её глаза ладонью, сказал тревожно:

— Как-то нехорошо ты смотришь!

— Да нет. Это я так. Я о другом, Лёшенька.

— Не надо о другом... Лен! Мне хочется что-то для тебя сделать! Хочешь, пойду на батарею к Романову, устрою пальбу по немцам?!

Лена радостно ужаснулась:

— Зачем, Лёшенька! Я хочу тишины!..

— Ну, хочешь, пойду с разведчиками и приведу тебе фрица? Молодого. Белобрысого?!

— Зачем мне, Лёшенька, фриц? Да ещё молодой!.. Ты ведь не собираешься отдавать меня ему?..

— Пусть попробует! — Только на мгновение Алёша вообразил потерю, в глазах потемнело от незнаемого прежде страха; он склонился, обнял Лену за плечи, как будто собой отгородил от враждебной им обоим войны, которая и теперь была тут, рядом, за холодными стенами землянки. Лена благодарно поцеловала его, уложила рядом.

— Послушай, Лёшка! Поверишь ли, но я знала, что мы с тобой встретимся! И на фронте думала о тебе... Помнишь, ты вальс танцевал? В нашем ДК? С девочкой семигорской? Потрясающе! Мне так хотелось быть на месте той удивительной девчонки! Всё-таки тогда я справедливая была, недаром меня в классе умницей-разумницей звали. Завидую, а думаю: вот пара! Друг для друга созданы. Где сейчас та девчонка?

— Не знаю. И знать не хочу!

— Не надо, Лёшенька. Даже ради меня не говори плохого о тех, кто тебя любит! Я могу говорить о твоей Ниночке, я — женщина. К тому же ты в ней ошибаешься. Нинка тщеславна и любит не тебя. Она себя любит. С такой ты не будешь спокоен. А та девочка... Как её зовут? Зойка?.. У той девочки вся жизнь в тебе! Это же видно! Раз взглянула — и видно!.. Я вот о чём думаю. Случись что с тобой — война же! На войне мы! — она раздумывать не будет. За тыщи верст прибежит! И не отступит. Глазами твоими станет. Руками. А Ниночка... Что Нинка — в слезах растворится, по слезам в свою жизнь уплывёт. Да и не любишь ты её! Какую-то свою мечту в ней любил!

— Но Зойку-то я тоже не люблю!

— Знаешь, что я тебе скажу?! Любить, конечно, радость. Но быть любимым, — это, Лёшенька, счастье...

— Знаешь, Лен. Я ведь на самом деле... никого не знал. У меня это первая близость...

— О! — Лена будто задохнулась, мягким, совсем материнским движением прижала к груди его голову. — У кого-то я тебя украла! Но это ненадолго, Лёшенька. Перед мечтой, перед желанием не устояла. Нежности захотелось! Мужики тут кругом! Отчаянные. Дерзкие. А про нежность будто забыли!

По сумеречному померкнувшему свету у выхода из землянки Алёша понял, что время оставляет их. Со страхом он ждал минуту, когда Лена почувствует свой срок, скажет: «Пора мне, Лёшенька...» — и, как бы он ни хотел, что бы ни говорил, он не сможет остановить её. Потому что есть на войне своя жестокая необходимость.

Лена беспокойно вздохнула. Он понял, что страшная минута подошла. Стараясь укрыться от несправедливой к ним необходимости, он прижался к породнённой с ним женщине, лицом раздвинул расстёгнутый ворот её гимнастерки, приник к теплу, ощущая губами солоноватость влажной кожи.

— Пора мне, Алёша, — сказала Лена.

— Подожди, Лен. Подожди! — Он был не в силах оторвать себя от её тепла. Лена гладила его волосы, с ласковой грустью говорила:

— Мне же, дурачок, на вылет надо!

— Ну, подожди, подожди! Ну, можешь ты подождать?

Лена приподняла его голову, поцеловала, сказала тоскливо:

— Я-то, Лешенька, могу. Война не может!..

Из землянки Лена вышла вслед за смущённо-неловким Алёшей, ничуть не утомлённая, с откровенно-радостным блеском в глазах. Голубоватая шинель, стянутая по-уставному туго отличным кожаным ремнём, сидела на ней ладно, без единой складочки, как может сидеть только на красивой женщине, постоянно живущей под взглядами мужчин. У Алёши ревниво кольнуло сердце. Но Лена ухватила его руку, не отпуская, вскочила на глыбу мёрзлой земли; поигрывая в воздухе ногой, обутой в мягкий хромовый сапог, засмеялась совсем как школьница:

— А ведь я, Алёшка, переросла тебя!..

Он хотел ответить с такой же шутливостью, но взгляд Лены вдруг остановился, зрачки только что весёлых глаз расширились. Неприятно холодея, Алёша увидел, как плохо он укрыл убитых солдат. Лена высвободила из его пальцев руку, не отводя глаз от ног в солдатских ботинках, видных из-под брезента, спустилась на площадку, обошла чёрный след недавнего разрыва, осторожно подняла угол палатки. Опять он увидел странно-напряжённый её взгляд под светлыми, выпавшими из-под ушанки волосами, опять почувствовал, как тревожно заныло сердце.

— Бедненькие! — сказала Лена, выдохнула как-то по-девчоночьи, повлажневшей рукой схватила его руку, выбралась наверх. Постояла, прислушиваясь к небу, зябко передернула плечами:

— Вот так всегда: летишь к радости, а *она* — тут...

Алёша чувствовал состояние Лены и клял себя за плохо укрытых несчастных солдат. Лена вдруг засмеялась, как будто разгоняя всё дурное, что могло стоять между ними, попросила:

— Проводи чуточку!.. — и молча пошла рядом, покусывая губы, с какой-то старательностью ступая полными, красивыми даже в сапогах, ногами.

Прощаясь, приникла к нему; постояла, закрыв глаза, не шевелясь под его обнявшими руками. Потом высвободилась, откинула голову, глядя в прояснённое холодное небо, не сказала, будто выдохнула:

— Сегодня лечу первой...

И вдруг начала целовать, опалая его губы жаром своих губ:

— Прощай, Лёшенька! Мутно что-то на душе... Нет-нет, не хмурься: не ты тому виной! Я рада нашей близости. Даже сказать не могу, как рада! Всё, Лёшенька, пора. Как стемнеет — над тобой пролечу! Жди!

С внезапно пробуждённой силой Алёша притянул Лену к себе, Лена не сказала о главном. Тревожась этим главным, считая постыдным от самого главного уйти, стараясь внушить ей, что для него всё это не может быть случайным, с неловкой серьёзностью спросил:

— Лен, а если ребенок будет?

— Ой, Лёшенька! — Лена откинула к плечу голову, смотрела растроганно добрыми печальными глазами. — Ой, Лёшенька, — повторила она. — Если будет, век буду благодарить бога и войну!.. Пора мне, милый!..

3

Старшину, вернувшегося из санроты, смущённо-счастливый Алёша оставил в землянке. Радуюсь возможности ничего не объяснять, поднялся на косогор: здесь открыто и ближе к небу. Ветер стих ещё с вечера, снежная позёмка улеглась, белела в колеях, в солдатских следах, в ямах. Стыли в ночной тишине олунившие дали. Молодой морозец охлаживал разгорячённое волнением лицо, прихватывал уши. Алёша не развязывал тесёмку, даже сдвинул шапку повыше, слушал, ходил взад-вперёд по самому верху косогора, оттаптывал в припорошенной снегом траве себе тропу.

В ожидании думается обычно плохо, но не думать он просто не мог. Лена вошла в его жизнь. И всё, что было в его душе до часа, сблизившего их, всё, думал он, должно навсегда уйти.

Он даже как-то растерялся, когда в его как будто наглухо закрытой сейчас памяти с непонятным старанием прозвучал вдруг чуточку раздражённый, чуточку насмешливый голос Ниночки: «Что же, прощай, мой милый рыцарь!..» В неловкости и совершенно не ко времени вспомнил он ночь прощания, милую тогда для него тяжесть Ниночкиного тела на своих бережных руках, случайное касание оголённой её ноги, и свое мальчишеское смущение, и свое покаянное бормотание: «Это я от комаров...» И снова услышал чуточку насмешливый, чуточку раздражённый её голос. Тогда и думать он не мог, что Ниночка хотела, могла оставить другую о себе память. Он догадался об этом сейчас и почувствовал, как жаром окинуло лицо, заломило виски: не от сожаления о том, что могло бы тогда случиться, — от гулкого страха за то, что тогда бы он не посмел ответить на сбережённое до сегодняшнего дня желание Лены!

Пробужденные Леной чувства не оставляли места Ниночке в той жизни, которую теперь он обдумывал. И в неловкости, в стыде за наивность своего прошлого, стараясь быть честным перед прошлым, он говорил себе: «Ниночке я напишу. Правду она узнает от меня. Напишу, что Лена со мной. Что с Леной мы будем вместе всю жизнь...»

Он ходил взад-вперёд по короткой тропе, задевая мёрзлую траву; трава шуршала, царапала затвердевшие на морозе сапоги. Алёша прислушивался, в протяжном шорохе травы ему чудился звук летящего самолёта. Коченели пальцы, сдавливало холодом уши. Быстрые движения не помогали. Тогда он вспоминал обжигающие губы Лены, и память живого чувства согревала его в морозной ночи.

В безмолвие, не нарушая общей тишины, вошёл размеренный, спокойный стрекот. Неуловимый глазом самолёт пролетел где-то в вышине, отдалился, затих. Послышался звук другого, идущего следом, и этот был высоко, не подал знака. «А говорила: лечу первой! Где же Лена?» — думал в смятении Алёша. Только четвёртый самолёт, летевший ниже, потому слышнее других, вдруг оборвал стрекот; Алёша, до ломоты сощуривая глаза, разглядел над собой скользющую в звёздном пространстве тень крыльев и слабый отблеск лунного света на фюзеляже. Самолёт застрекотал, снова затих. Алёше показалось он услышал там, в вышине, голос, протяжный и слабый, как затихающее эхо. Веря, что над ним в звёздном небе Лена, он разволновался до невозможности, забыл все законы войны, торопясь извлёк из сумки плоский трофейный фонарик, суетно замигал зелёным глазом: «Я здесь... Слышу... Жду...»

Уйти к себе в землянку он не мог, он должен был дождаться Лену. Плотнее застегнув шинель, приспустив на шапке уши, в одиночестве ходил по холодному полю и снова думал о том, что жизнь его с сегодняшнего дня переменилась. Определённо переменилась. И вовсе не по разуму — по чувству. «Ты уж, мамочка, меня прости, — думал Алёша, согреваясь теперь памятью о доме. — Ты всегда хотела, чтобы при моём горячем сердце я имел холодную голову. Я, мамочка, держался. Я честно держался. Но увы! — на радость ли, на горе, но холодная моя голова ничего не могла поделать. Я побеждён, мамочка! И победил меня не фашист. И вовсе не Ниночка, так и не приглянувшаяся твоему осторожному сердцу. Победила меня *женщина*, неповторимая в своей открытости, нежности, смелости. Ты полюбишь её, мамочка, мою *женщину*, мою Ленку, Леночку, нашу умницу-разумницу, старосту десятого, которая почему-то — ну, почему?! — не потрясла меня в то глупое время своей потрясающей косой!

Наверняка была тут какая-то каверза природы — разъединить двух, предназначенных друг для друга, чтобы где-то на фронте, в страшной неразберихе человеческих судеб, кинуть в мои объятия, буквально с неба! Нет, мамочка, здесь что-то есть! Когда чувства овладевают судьбой, разум должен молчать!.. Ты нас жди. И подготовь, пожалуйста, папку. Лена, может, приедет раньше. И, может быть, нас будет трое...»

В будоражных мыслях, в торопливости от крепчавшего мороза Алёша прошагивал свою короткую тропу на косогоре, согревая себя уверенными мыслями о доме, о Лене, теперь неотделимой от него самого, и всё время напряжённо следил за тёмной далью земли и неба в стороне немецких расположений. Он много раз видел, как по ночам небо вдруг расцветивалось плывущими вверх огнями, и с первых дней пребывания на фронте знал, что эти красивые издали огненные дуги и посвёркивающие россыпи таят погибель летающим там, над вражескими тылами, нашим самолётам, потому что каждый из этих красивых, всплывающих над землёй огней не что иное, как снаряд скорострельного немецкого эрликона. В той стороне, куда улетела Лена, небо было тёмным и неподвижным. Только вблизи, над противоположным склоном, время от времени зависали, обозначая линию немецких траншей, обычные ночные ракеты, Алёша всматривался и сдержанно радовался тёмному неподвижному небу за линией ракет.

Вдали, под чёрной полосой угадываемого лесистого увала, в какой-то одной, видимой ему, точке как будто плеснуло по земле огнём; бело-голубая вспышка была столь яркой, что на мгновение увиделись острые вершины далёких елей. Огонь померк не сразу, как это обычно бывает при взрыве; на земле продолжало что-то гореть и светиться неровным пламенем, и Алёша, помня о том, что успела рассказать Лена, подумал, что это она, Ленка, долетела наконец-то до цели, сбросила свою особенную, всё сжигающую бомбу...

Луна поднялась. Небо осветлилось. Поскрипывал под ногами притоптанный снег. Алёша быстро, безостановочно ходил по косогору вместе с неотступной своей тенью. В какую-то прочувствованную им минуту он остановился. Где-то высоко, своей дорогой, неторопливо возвращался самолёт. Так же неторопливо прошёл в вышине второй, третий. Время было возвращаться Лене. Алёша приоткрыл рот, втянул слегка воздух, чтобы вернее ловить даже слабые звуки, и услышал: рядом с тонкой, постоянно преследующей его звенью в ушах от многих, уже пережитых, оглушающее-близких разрывов появился едва уловимый, но не пропадающий звук. Алёша, напрягая слух, следил за появившимся посторонним звуком. Звук определился, уже можно было различить ровное стрекотание мотора; самолет шёл много ниже, чем первые самолёты. Тревожась последней, как казалось ему, тревогой, он вглядывался в пространство той стороны, откуда летел самолёт, страшился увидеть всплывающие в небо шевелящиеся струи снарядов и всей силой разума заклинал враждебную самолёту землю промолчать.

Стрекот приближался; самолёт летел той же дорогой, которую избрала для себя Лена. Самолёт прошёл обозначенную поднявшимися ракетами линию фронта. Алёша, просветляясь радостью, уже готовился уловить в высоте добрый знак благополучного возвращения.

Но с треском разверзлось, вспыхнуло, казалось, само небо; спасаясь от огня, он упал на свою чёрную тень, тут же, рукой отгораживаясь от горящего неба, вскинул голову и увидел раскинутый над собой невозможно огромный огненный крест. Раздираемый пламенем, самолёт медленно вращался, как будто зацепившись крылом за тьму ночи, он не падал, он словно тонул, раскидывая в стороны и вниз трескучие искры.

В пылающем небе Алёша слышал незнакомый гуд, блуждающим взглядом поймал короткую горбатую тень ночного истребителя, уходящего в сторону луны, и понял, что произошло в небе.

Горел самолёт на косогоре, опалая холодную землю. Алёша обессилил метаться вокруг огнища, опустился на землю, вцепился обожжёнными руками в мёрзлую твердь и так в неподвижности сидел, пока последние мерцающие угли не замерли в холоде настывшего пепла.

...На полевом аэродроме, который с упорством обречённого он отыскивал на другой день, с ним говорил высокий молодой майор с подрагивающими злыми губами. На Алёшу он не смотрел, слушал, заминал пальцами ремень португепи и торопился уйти.

— Самолет Шабановой с задания не вернулся, — сухо сказал майор. И вдруг закричал, страшно, как кричат только в бою:

— Что глядишь, лейтенант?! Нет больше Лены! Слышишь?! Нет!..

Он сдавил зубами злую, дрожащую губу, зачем-то кинул руку к кобуре, неловко, плечом вперёд пошёл к землянке. Алёша шагнул было за ним, как будто майор мог помочь, опустил голову.

Майор почему-то вернулся, долго разглядывал Алёшу настороженными глазами, вдруг сощурился в недоброй догадке.

— Пстой! Пстой, лейтенант!.. Не ты ли виноват в том?! Рывком он повернул к себе Алёшу, губы его прыгали. Он хотел что-то сказать, махнул рукой, пошёл не оглядываясь. Алёша смотрел в прямую его спину, мучительно старался понять свою вину и с запоздалой, ненужной теперь ревностью думал, что этот красивый майор был, наверное, близок Лене не меньше, чем он.



Глава девятнадцатая

СНОВА АВРОВ

1

Батальон стоял, огораживая четырьмя, ровными шеренгами холодный заснеженный взгорок. Внутри квадрата, образованного батальоном, не в центре, а в углу, ближе к Алёше, три офицера, аккуратно перетянутые ремнями, сдержанно перетаптывались в снегу, не позволяя себе лишних движений.

Отдельно от них был поставлен солдат, в распоясанной шинели, с забинтованной от стопы до колена ногой; он неловко опирался на костыль, подсунутый под мышку, и жалко улыбался в спину аккуратным офицерам. Позади солдата будто выросли в снег два паренька-охранника в зелёных стёганках и таких же штанах, в серых валенках, они держали на изготовку карабины, хотя всем было ясно, что солдат с жалкой улыбкой и костылем под мышкой убежать не может.

Алёша зрением и слухом, обострившимся в предчувствии ужасного, видел и слышал, как сдержанно и, казалось ему, неуверенно переговариваются аккуратные офицеры, не похожие на тех, кого он знал по боям и окопам, как передают они из рук в руки шелестящие в тишине листы бумаги, как будто не решаясь начать то, ради чего был выстроен под утренним мартовским небом батальон.

Но вот, сжимая в руке перчатку и бумагу, отделился от других высокий и широкий в плечах майор, сделал знак. Кто-то торопливо подал команду: «Батальон, смирн-а-а!..» — и высокий майор, зачем-то сделав вперёд ещё два шага, взял освобождённой от перчатки рукой бумагу, отстранил от себя на всю длину вытянутой руки, возвысив и без того высокий голос, стал читать:

— «Военно-полевой суд... армии в составе... рассмотрел дело рядового... нанёсшего с умыслом себе ранение... По заключению врачебно-экспертной комиссии вывел себя из строя на срок не менее пяти месяцев... Учитывая тяжесть совершённого преступления... вред, нанесённый боеспособности части... приговаривает рядового к высшей мере наказания — расстрелу... Приговор утверждён Военным советом армии... Пересмотру не подлежит...»

Высокий майор, проговаривая знакомые ему слова, уже совершенно овладел собой; глаз от бумаги не отрывал, но голос его в замкнутом шеренгами солдат пространстве был пугающе слышен.

Никто не шевелился, никто не смотрел друг на друга, глаза всех, стоящих в строю, устремлены были в невидимую точку прямо перед собой, как будто вина солдата в распоясанной шинели и костылём под мышкой могла даже по взгляду перекинуться на того, кто дерзнул бы увидеть больше, чем было перед ним.

Аккуратный майор кончил читать, с заметным облегчением от благополучно завершённого своего дела сложил бумагу вдоль, потом поперёк, вложил в висевший на его боку отблёскивающий жёлтым целлулоидом планшет, натянул коричневую шерстяную перчатку на руку, отошёл к ожидающим его офицерам.

Алёша услышал тихую, кем-то из них поданную команду. Парни-охранники с бесчувственно застылыми лицами стеснили с обеих сторон солдата с забинтованной ногой, повели его, жалко озирающегося, к середине замкнутого батальоном пространства, где среди голых с серым налётом ветвей бузины — Алёша увидел это только сейчас — уже была вырыта могила.

Солдату помогли спуститься в яму, поставили лицом к земляной стене. Один из охранников вынул из-под его руки костыль. И солдат в распоясанной шинели, до этой минуты всё время озирающийся с жалкой улыбкой, как будто не верящий в серьёзность того, что происходило вокруг, что казалось ему, наверное, не больше чем каким-то поучительным для него и для других действием, после которого всё обратным ходом вернётся на свои места, потеряв из-под руки костыль, вдруг понял, что суд не разыгрывается, что приговор, и парни-охранники за спиной, и стоящий в неподвижности батальон — всё это всерьёз, без возврата; понял, растянул в плаче губы и, откинув забинтованную ногу, повалился на колени, судорожно вздрагивая плечами.

Из группы аккуратных офицеров тотчас подскочил к яме капитан, властно, с режущей слух пронзительностью, закричал:

— Вста-а-ать!..

Парни-охранники спрыгнули в яму; торопясь, подняли за руки плачущего солдата, снова установили лицом к стене.

Алёша отвёл глаза. Из множества неподвижных лиц взгляд его выхватил лицо Аврова. Старшина пристально смотрел на солдата в яме, и в напряжённом прищуре его глаз было что-то от сочувствия и презрения; с таким сочувствующим презрением люди, знающие свою силу, обычно смотрят на попавших в беду неудачников. Алёша смотрел на старшину мгновение, но взгляд его, направленный на жалкого солдата, запомнил.

Парни-охранники с застылыми лицами встали на краю, позади стоящего в яме всхлипывающего солдата; оба враз вскинули к плечам карабины, в одну точку нацелив их короткие стволы. Стволы не дрожали, карабины были зажаты в руках, как в струбцинах учебных станков; и капитан, стоящий у ямы, подал короткую команду...

Хлопок сдвоенного выстрела, не затихая, звучал в памяти Алёши и в ночи, когда батальон уже шёл под чёрным небом на зарева пожаров. Движение тысяч людей, артиллерийских упряжек, повозок, сплошь заполнивших, казалось, единственную дорогу, конец которой мысленно виделся в лощине, или у опушки леса, или перед высотой, где в приготовленных траншеях и дзотах ожидал их враг, — ночное, уже привычное движение людей к заданной генеральским расчётом точке, ощущение ждущей впереди опасности, обостряющееся с каждым следующим переходом, не мешали Алёше размышлять под шум, поскрипыванье, глухой кашель, нестройный топ, разговаривать с меняющимися попутчиками, додумывать то, что лежало на душе и не было додумано прежде.

Память удерживала звук сдвоенного выстрела; не уходя, маячило перед глазами и сдвоенное видение: жалкий в своей улыбке солдат в распоясанной шинели и лицо Аврова с жёстким стиснутым ртом и пристальным, словно прицеливающимся, взглядом из-под прищуренных век. О солдате Алёша думал как-то отстранённо. Он не представлял солдата в живых связях с другими людьми. Для него он был как будто без лица, без имени. Он совершил подлость по отношению к другим, таким же солдатам, с которыми рядом спал, у одной тепliny грелся, делил сухари и кусочки сала; бежал от боя, когда все другие собирались в бой. Одно это уже вычленяло его из установленного порядка жизни, из привычных человеческих отношений. И думая о солдате, он не понимал одного: как могло прийти солдату в голову обмануть то, что обмануть невозможно?! Солдат старался подлостью спастись от смерти и не спас себя, и не мог спасти. Знал он об этом? Или не знал?..

Алёша шагал среди людей, растянуто движущихся в прихваченной ночным морозом, похрустывающей, повизгивающей под множеством ног, саней, колёс дороге, и не вдруг заметил, как пристроился к нему, будто замытый ночной теменью, но чем-то знакомый ему человек. Вгляделся, насколько позволяло отдалённое, не освещающее снега блистанье звёзд, узнал в молча идущем человеке Аврова.

С любопытством, пробуждённым бродившими в нём мыслями, спросил, будто продолжая давний между ними разговор:

— Как думаешь: трус или подлец был тот солдат?

Старшина молчал много дольше, чем надо было, чтобы ответить.

— Дурной ты, Полянин! — сказал он наконец; в голосе его была насмешка. — Что за печаль мёртвому в башку лезть? Кончился, значит, ума не хватило жить... Может, лучше расскажешь, как это ты сумел к начальству подкатиться? Лопух лопушком, а ушами не прохлопал. На коне теперь!..

— Уже и коня увидел! Оба по земле ходим, Авров!

— По земле-то, по земле. Да по-разному!.. — Голос Аврова прозвучал хотя и желчно, но тоску в нем Алёша услышал. И как ни бедовал в своё время от злой воли старшины, в душе ему посочувствовал: с приходом другого комбата, недавнего, сельского учителя капитана Серёгина, и нового начальника санслужбы полка, молодого врача Потапова, ещё не растерявшего, к радости Алёши, романтики и желания порядка, Авров, как человек, не имеющий отношения к медицине, оказался в стрелковой роте; бывший их старшина, распорядитель и вершитель девчоночьих судеб, теперь ожидал от предстоящего боя лиха под самую завязку. Сочувствуя старшине, жалея его в эту минуту, Алёша, по извечной своей потребности в добром поступке, предложил:

— Может, в санитары пойдёшь? Как-никак при санзводе будешь!

Авров рассмеялся тихим обидным смехом.

— Ну, Полянин! Не велику же ты мне цену даёшь! Уж не всерьёз ли думаешь, что в окоп меня вогнали — на том век мой и кончился?! Не приглянулся новой власти? Да бог с ней! Земля крутится. На месте новой ещё новее будет. Здесь ли, там — но будет! Пойми ты головой своей замудрённой — нужен я! Я не власть. Но — при власти. Человек, Полянин, всегда чего-нибудь хочет. Сверх того, что имеет. Или из того, что по чину ему не причествует. Нет человека без желаний! А желания кто-то должен исполнять. Вот и являюсь я, — тут как тут. И для меня чужое желание — закон. Кто откажется от умной услуги?! Нет таких! Разве ты один, от рождения чокнутый. Да и то ещё поглядеть надо!.. Вечен я, Полянин. Тут как тут!..

Оглушённый философским напором старшины, пытаюсь что-то понять, Алёша спросил, недоумевая:

— Тут-то при чём?

— Тут как тут, говорю! Читай, хоть с начала, хоть с конца. Хоть слева направо, хоть справа налево. Язык измозолишь, а из трёх этих слов не выберешься. Вот так, Кострома! Это же у вас в Костроме, на той стороне, дрова градом повыбило?! С тех пор всё думаете, что за град такой был!

Авров исчез так же незаметно, как появился, он как будто растворился в ночной сумерети, в бесконечном движении людей, медленно идущих под тревожно-пульсирующее, отражённое в низком ночном небе зарево где-то уже близко горящей деревни.

2

Роты поднялись без выстрела, в надежде с ходу одолеть открытый склон, всего-то метров в двести шириной.

И взвыл на земле и в небе летящий металл. Воздух, казалось, стал крепким полотном, — его раздирали, били, рвали, хлестали, как будто именно он, утренний весенний морозный воздух мешал людям во вражде добраться друг до друга.

В самый разгар боя Алёша оказался в редкой берёзовой рощице, непонятно как уцелевшей на склоне. Опасливо пригибаясь то от резких, то от гулких звуков, казалось, над самым ухом бьющих очередей, от рвущихся с лёгким потрескиванием среди стволов, в ветвях, на снегу пуль, он пробирался к ротам, когда увидел бегущего от края рощицы Аврова. В спешащем его беге на полусогнутых, будто подламывающихся ногах было столько отчаянного слепого усилия как можно скорее выбраться из опасного места, что в первую минуту Алёша подумал, что старшина в самом деле ослеп и вот-вот ударится головой в одну из берёз. Но тут же он понял, что старшина видит его и почему-то старался его обезжаты. Трассирующие пули навесили перед ним белую сверкающую сеть; старшина изменил направление бега; он согнулся ещё ниже и теперь бежал прямо на него, — он был ранен, рукой зажимал у запястья свою левую руку.

С ходу он бросился в снег, Алёше под ноги, хватал ртом воздух, сжимал и зачем-то тряс раненую руку, выкрикивал, торопя:

— Скорей!.. Скорей!..

Заражаясь его нетерпением, Алёша присел рядом, выхватил из сумки, разорвал пакет.

Авров торопливо подсовывал ему под бинт раненую руку, другой рукой зажимал запястье, мешал наложить подушечки на рану, и от суетной бестолковщины старшины Алёша вдруг расвирепел:

— Убери к чёрту свою руку! — заорал он. И Авров, как будто испугавшись крика, открыл запястье. Алёша быстрым движением приложил с обеих сторон на сквозную пулевую рану подушечки пакета, сделал уже первый охват бинта и вдруг увидел в полуприкрытых глазах Аврова почти дикий восторг удачи.

Руки сами собой потянули бинт, подушечки отпали; он ещё не взгляделся, только взглянул на запястье, но уже понял, что за рана была на руке Аврова. Это был аккуратный прострел между двумя костями, по мягкой ткани, не задевающий ни крупных сосудов, ни нервных волокон, прострел расчётливый, почти бескровный. И само отверстие было пробито не винтовочной и не автоматной пулей — маленькое отверстие было сделано пулей из того плоского пистолетика, который носил Авров в специальной кобуре на поясе под гимнастёркой. Вокруг ранки, со стороны ладони, выдавая выстрел в упор, темнел венчик ожога, хотя, по всей вероятности, стрелял старшина себе в руку через обильно намоченный платок...

Алёша на минуту оглох; ему даже показалось, что бой затих. Не сразу он поднял глаза. А когда поднял, лицо старшины было белее, чем ствол берёзы, у которой он сидел. Немигающие глаза, жалкая улыбка, весь испуганный его вид сделали Аврова похожим на солдата в распоясанной шинели в те предсмертные минуты, когда поставили его в яму и убрали из-под руки костыль. Взгляды их сошлись, и всё, что могли бы они сказать друг другу, оба поняли без слов.

Подгоняемый торопящими накатными звуками идущего боя, Алёша бинтовал руку старшины. Он ещё не знал, как поступит. Он видел, как вели и тащили через рошу раненых. Как перебежали, припадали, словно ящерики, к пням и стволам юркие связные. Видел, как два солдата в длинных шинелях и серых шапках согласно волокли мимо берёз по проталинам и через размятые сугробы стянутую узлом плащ-палатку с патронами, как обычно волокут на стирку ротное бельё; медно-красные патроны выпадали из прорех узла, окропляли снег ржавыми точками. Все, кто появлялся в роще, были озабочены своими заботами: на них, двоих, приткнувшихся к комлю берёзы, никто не обращал внимания; никому дела не было до того, что совершалось в душах двух людей, как будто притиснутых друг к другу молчаливой враждой.

Куском марли Алёша машинально подвязал к шее старшины его забинтованную руку, поднялся, понимая, что выйти из боя, чтобы отвести Аврова в бригаду, он не сможет; надо было перепоручить его кому-то, хотя бы тем же связным. Настороженный взгляд старшины Алёша чувствовал. Но для него уже не имело значения, что думает, что скажет Авров; он отделил себя от жизни батальона, бригады, вообще от жизни; Авров-человек перестал для него существовать.

Алёше надо было в этой роще, рядом с наступающими ротами, найти хоть какое-то укрытие, чтобы раненых не тащили во время боя далеко и небезопасно за ручей; для этого он и пробрался сюда, в закрытое от вражеских глаз место.

Ему надо было действовать. Но вблизи он не видел никого, кому можно было бы перепоручить старшину, Авров со своей простреленной рукой как будто повис на нем. «Такой бой! И ни одна пуля не достала подлеца, — думал Алёша, нервничая и проглядывая рощу. — Лучше лежал бы здесь, как павший на поле боя! И подлость ушла бы вместе с ним...»

Он не заметил движения Аврова, но близкую опасность почувствовал по мгновенно сжавшемуся сердцу. Авров, привалившись на левый бок, шарил правой рукой под шинелью; видно было, как приподнимает полу шинели твёрдый ствол уже вытащенного из кобуры авровского пистолета. Ударом ноги Алёша мог бы выбить пистолет, но на марлевой перевязи он видел другую, раненую руку, ударить которую был не в силах. В спокойствии почти ледяном, как бывало с ним в самые опасные минуты жизни, он проговорил, едва разжимая губы:

— Ну!.. Теперь в меня стрелять будешь?!

Он не отводил взгляда от напряжённых глаз Аврова, как будто чувствовал, что Авров способен выстрелить в спину, но выстрелить в грудь не решится.

Вдавливая пистолет в ладонь, старшина, горбаться, морщась, показывая боль, поднялся, встал перед ним; забывая в себе страх, проговорил:

— На... ты мне нужен, Полянин!.. Ползай тут, паши землю очками. Может, выпашешь звезду себе на могилу!.. Мне делать тут нечего...

Слова, которые как будто выплюнул в него Авров, были страшнее, чем выстрел. В мгновение всё переменилось местами: исчезли, казалось бы, накрепко установленные самой жизнью отношения между справедливостью и подлостью, между предательством и возмездием; с совершенной ясностью Алёша видел, что старшина, стоящий перед ним, его уже не боится.

— Вот так, военфельдшер!.. Гуд бай!..

Быстрыми шагами старшина пошёл вниз к ручью, время от времени вбирая голову в плечи от просвистывающих, прощёлкивающих рощу пуль. Алёша, приходя в себя, запоздало закипел гневом.

— Стой, Авров! — закричал он. Он уже понял: Авров расчётливым своим умом взвесил всё; он знал, что военфельдшера бой не отпустит; что забинтованная, подвешенная к шее рука — уже выданный ему безотказный пропуск из боя в тыл; что раскрывший его Полянин помешать ему уже ничем не может.

Авров дошёл до ручья; не останавливаясь, швырнул свой пистолет в мутную от взрывов воду; пригнулся, перебежал открытый прогал в берёзах — он спешил к лаве, по которой солдаты перебирались через ручей.

Алёша знал, что этот горбятящийся, опасливо вжимающий голову в плечи человек уносит с собой в жизнь подлость и предательство.

И, стараясь перекрыть шум боя, страшным голосом закричал:

— Авров, стой!

Авров не оглядывался. С иступленно забившимся сердцем Алёша вытащил из холодной кобуры будто налитый свинцом парабеллум поднял до уровня глаз. Он ловил мушкой всегда аккуратно зашитую складку авровской шинели, и, когда поймал, шинель вдруг расплылась. Он закрыл глаза, снова открыл — сгорбившаяся спина Аврова обозначилась среди коричнево-красного прибрежного тальника.

Алёша прицелился. И снова исчезла, как будто расплылась серая авровская шинель. В третий раз он увидел Аврова у лавы. Уже холодея от ощущения последнего движения придавливающего спуск пальца, ясно сознавая, что справедливо последует за его выстрелом, он увидел перед собой полное ужаса и отчаяния лицо Янички.

— Скорей!.. Скорей, Алёша! Там плохо! Совсем плохо!.. — Она кричала, захлёбываясь словами, хватала его за руку, и Алёша, оторопело оглянувшись на опустевшую лаву, заражаясь отчаянием и ужасом Янички, обгоняя её, побежал через рощу на склон, где пытались пробиться к близкому лесу роты.



ЛИЦОМ К ЛИЦУ

1

Багровой казалась эта случайная на их пути деревня. Закатное солнце светило на сосны за домами. Прямые их стволы, и мокрая хвоя вершин; и сами дома, поставленные в ряд вдоль широкой, в свежих лужах улицы, как будто напитаны были багровостью. Огнисто плавилась неподвижные стёкла окон. Навись калины, с тяжёлыми гроздьями кровавых ягод, малиново отсвечивающие плетни, ломаные тени, зачернившие половину улицы, усиливали ощущение тревожности. Сам воздух, с влажным туманцем и почему-то душный, казался тоже багровым, и Алёша с уже выработанным звериным, постоянным ожиданием опасности снова и снова разглядывал в бинокль молчаливые дома и пустую улицу, почти сплошь заросшую поблескивающей, почти не тронутой ногами травой.

Выйти к людям, опуститься в доме на лавку, глотнуть хотя бы кипятка хотелось до головокружения, но он лежал, только знобко поводит плечами под липнувшей к телу гимнастёркой.

Из труб над двумя крышами поднимались тихие неурочные дымы, и надо было догадаться, почему в этой оставленной в целости лесной деревеньке притихли дома и безлюдна улица.

Позади него лежали два бойца-десантника — всё, что осталось от расстрелянного в воздухе батальона. Он слышал их осторожные движения, шёпот, понимал, что ребята, его сверстники, пережившие всё, что пережил он, одинаково измученные скитаниями и голодом, тоже жаждут крова и хлеба, ждут его спасительного решения, и всё-таки медлил, вглядывался в притихшую деревню, не чувствуя доверия даже к дыму, тихо плывущему из трубы ближнего дома.

Дом этот, второй от края по левому порядку, привлекал его внимание: у него, единственного, настежь была распахнута калитка, на высоком, с перилами крыльце висела на шесте женская кофта. В окне, обращённом к крыльцу, просвечивающий из противоположных окон свет время от времени затенялся — кто-то в доме ходил; Алёша напрягал зрение, вглядывался и не мог определиться в решении.

Лежать было мучительно: комарье лепилось к лицу; терпеливо, не опуская бинокля, он давил кровососов на лбу, на щеках, у глаз под очками. Он уже думал о том, чтобы тихую эту деревеньку обойти, поискать другую, живую, понятную, но дверь сеней вдруг отворилась, на крыльцо вышла женщина с вёдрами. Не торопясь, с каким-то странным выражением лица, она спустилась по ступеням, пошла через улицу, к недалёкому колодцу. Чёрные распущенные её волосы с небрежностью лежали на плечах, белая, без рукавов, кофта до плеч открывала полные руки.

Алёша с пристальностью вглядывался в её невесёлое лицо.

Женщина щурила глаза, недобро усмехалась; пустые ведра, надетые на руку, звякали при каждом её шаге. Женщина, казалось, не обращала внимания на этот чуждый притихшей деревне звук, она шла к колодцу с каким-то вызовом, босая, напрямик, разбрызгивая в лужах воду, как будто было ей сейчас всё равно, где идти: по траве, по лужам, по битому стеклу. Когда с опущенной головой и тяжёлыми вёдрами в руках она медленно поднялась на крыльцо и, повернувшись боком, уже хотела пройти в сени, из двери навстречу ей шагнул крепкий мужик в исподней белой рубашке, распахнутой на груди. Он взял из рук женщины вёдра, отставил в сторону и — у Алёши перехватило дыхание — охватил женщину; он бесстыдно тискал её, мямлил ей грудь, и женщина, закинув голову, стояла будто неживая.

В доме неожиданно рванула песня, приглушенная стенами и закрытыми окнами:

Горел, пылал пожар московский,
Дым расстилался по Москве-е...

Мужик в рубашке оттолкнул женщину, кулаком стукнул в стену, с беспокойством огляделся.

Женщина одёрнула кофту, подхватив вёдра, прошла в сени. Мужик стоял на крыльце, наклонив голову, слушал; теперь видны были его синие офицерские галифе, заправленные в хорошие сапоги.

«Кто этот хваткий мужик? И те, что запели в доме?.. — соображал Алёша. — Окруженцы, осевшие в лесной деревне? Или партизаны, загулявшие в родном углу?..» С пробудившейся надеждой и сдерживая себя ощущением опасности, он прикидывал, как надежней им поступить, и не мог ни на что решиться.

Почувствовал прикосновение к своей руке, услышал нетерпеливый шепоток симпатичного ему своей верностью и силой десантника со смешной фамилией Малолетков:

— Товарищ лейтенант, наши тут! Песню нашу поют!..

Алёша сам не понимал, что удерживало его от простого шага: встать и пойти в дом, где оказавшиеся в немецком тылу русские парни выбрали час для гульбища. Что за парни — не так уж важно, делить с ними нечего, кроме крыши и хлеба. Война всех людей разделила на «наших» и «не наших»; и так ли важно было сейчас, что этот вот мужик, стоящий на крыльце, груб и охоч до баб, что те, которые вдруг запели, наверное, пьют в доме самогон? Важно, что они русские.

Мужик, бывший на крыльце, успокоился; поигрывая носами сапог, спустился на ступеньку, подкинул что-то на ладони. Солнце светило, теперь прямо на его кирпичного оттенка, угловатое лицо; Алёша всмотрелся, и руки его задрожали на бинокле — он узнал в хватком мужике семигорского лесника Леонида Ивановича Красношеина.

Закинув автоматы на плечи, все трое размашисто, открыто шли к дому.

— Сейчас кусанём что-ничто! — говорил оживленно и по привычке шёпотом Малолетков, поворачиваясь то к Алёше, то к высокому медлительному Белашу, который от голода мучился животом, был бледен и неразговорчив, — Что молчишь, Белаш! У него горло языком заткнуло, товарищ лейтенант! Этак бывает, когда брусёны нажрёшься заместо хлеба!..

— Брусёны?.. — так же тихо переспросил Алёша; он тоже возбудился ожиданием еды и крова и готов был говорить. — Сам-то откуда?..

— Ярославский. Из-под Любима, товарищ лейтенант!..

— Я ведь тоже с Волги! — радостно сказал Алёша; он радовался не столько самому землячеству, сколько тому, что наконец-то, хотя бы на несколько часов, они окажутся под крышей и свои хоть чем-то накормят их.

Красношеин увидел их, когда из-за плетня они вышли почти на середину улицы, — Алёша с расчетом появился на открытом месте, чтобы не напугать Леонида Ивановича неожиданным появлением. Но Красношеин испугался. Увидев их троих, он на какую-то долю секунды остолбенел, глупо округлив рот, и тут же с проворностью метнулся в крыльцо.

Алёша рассмеялся, как смеются удачной шутке, крикнул:

— Свои, Леонид Иванович! Свои!..

Красношеин остановился в сенях, медленно разгибаясь, повернулся, опасливо взгляделся. Алёше показалось, что он узнал его, но вместо радости испуг и растерянность в лице Красношеина стали отчетливее, и тогда Алёша, желая успокоить напуганного земляка, первым вошёл в калитку, говоря:

— Я это, Леонид Иванович. Полянин.

Знакомое, но какое-то жёсткое, настороженное лицо бывшего лесника просветлело натужной улыбкой.

— Эт-то встреча! — сказал он, стараясь голосом показать радость. Он овладел собой и, метнув быстрый взгляд на автоматчиков, входящих в калитку, ударил в раму окна.

— Эй, ребята, встречайте гостей! — крикнул он в полную силу своего голоса и, в приветствии расставив руки, пошёл навстречу.

Приобняв Алёшу, дружески прихлопнув по спине, он снял с его плеча автомат, позвал: «Заходите, гости!» — первым пошёл в дом. В сенях он попридержал Алёшу, распахнул дверь перед автоматчиками, пригласил:

— Шагайте смелей!..

И когда Малолетков, а за ним, пригнувшись, Белаш шагнули за порог, навстречу им рванулся запоздалый женский крик:

— Тикайте, хлопцы!

Помочь им уже ничто не могло: Алёша увидел в проёме двери, как ткнулись в спины Малолеткова и Белаша карабины, и тут же почувствовал под ребром жёсткий ствол собственного автомата.

— Проходи, Лексей! Дорогим гостем будешь! — тихо сказал Красношеин и подтолкнул автоматом в дверь.

Связанных Малолеткова и Белаша усадили на лавку. Алёша стоял у стены, руками намертво вцепившись в бинокль; он не смотрел на то, что было в избе, исподлобья он смотрел на Красношеина и, до ломоты в скулах стискивая зубы, иступленно, в отчаянии твердил:

— Гад! Гади́на!.. Глупо... Как глупо! Предатель! Сволочь!..

Ни о чём другом он не мог думать. Боль обмана натуго захлестнула его разум; он, наверное, заплакал бы от обиды, если бы не душила его ненависть.

Красношеин не мог не чувствовать его взгляд, при всём спокойствии и даже медлительности, которые снова вернулись к нему, он внимательно следил за ним и автомат из рук не выпускал.

Не мог успокоиться один из трёх красношеинских дружков. Припадая на правую ногу, он ходил мимо стола, на котором внавал лежала еда и стояла бутылка самогона, сплёвывал на чистые половики. Он был мал ростом; в опухлом, не то в жировых складках, не то в шишках лице терялись его глаза. И только по придавленному, наморщенному маленькому лбу да ещё по прижатым, плоским ушам можно было догадаться о звериной злобе, заключённой в этом маленьком неуклюжем человечке без шеи.

Человечек зацепил ногой половику, покачнулся, зло поглядел на женщину, вжавшуюся в угол, и закричал неожиданно тонким, заячьим голосом:

— Ты что это? Это что ты тут вопила? Ты это что — против?..

Он подошёл к женщине, рукой-коротышкой хлестнул по лицу.

— Рейтуз, ты не её, ты меня бьёшь... — лениво проговорил Красношеин.

— Тогда вот ещё! — размахисто, с наслаждением он ударил женщину по глазам, и Алёша вздрогнул от звука упавшего тела. Опираясь на руки, женщина приподнялась. Он видел, как изменилось её лицо: словно взбухшие от удара, глаза смотрели сквозь закрывшие лицо волосы не на Рейтуза, а на Красношеина, и такое отвращение было и её взгляде, что невозможно, казалось, выдержать такой взгляд.

Красношеин всё видел, но сидел спокойно, поглаживая рукой круглый диск автомата.

Рейтуз снова поднял руку, выбирая, куда лучше ударить. И Алёша, забыв, кто он и что он сейчас, угрожающе, сквозь зубы процедил:

— Не смей трогать женщину, гадина...

Все лица повернулись к нему. Он заметил острое, открытое любопытство Красношеина, интерес, который проскользнул в быстром взгляде другого полицая, всё время невозмутимо сидевшего за столом, — этот чем-то отличался от Красношеина, и от Рейтуза, и от третьего, борцовского вида, детины с младенчески-бессмысленным лицом, — сидел он в маскировочной плащ-палатке, застёгнутой до горла, его маслянисто отсвечивающие на свету волосы были аккуратно зачёсаны назад; и, хотя полицай этот до сих пор не проронил ни слова, не сделал ни движения, Красношеин всё время с предупредительным вниманием поглядывал на него. Невозмутимый полицай пристально, с интересом смотрел на Алёшу. Даже Малолетков и Белаш, подавленные всем, что с ними случилось, настороженно подняли головы.

Но сильнее, чем на других, угрожающий голос Алёши подействовал на Рейтуза. Он пошатнулся, будто от толчка, повернулся всем своим маленьким квадратным телом, выставив едва обозначенный под неопрятной губой подбородок, прихрамывая, подошёл, встал перед ним, упёр руку в бок; как будто в задумчивости, разглядывал его снизу.

— Гражданин начальник, мне что-то не нравятся твои круглые стёкла. Тебя не научили через них вежливо видеть!.. — Он говорил с натугой, и в тонком его голосе отчётливо нарастала угроза. Он сдёрнул с Алёшиной шеи бинокль, расставил короткие пальцы, потянул их к очкам. Алёша близко видел выглядывающие из пухлых складок, нацеленные в него маленькие кабаньи глазки, клинышек потных волос выше переносья и, не думая, что будет с ним через минуту, ударил в этот потный волосяной клинышек. Как-то успел левой рукой ещё ударить и под грудь и, наверное, достал хорошо, потому что Рейтуз без звука опрокинулся навзничь; ему хватило сил только перевернуть себя на живот; пальцами он царапал пол, судорожно поднимал голову, пытаясь вздохнуть.

Малолетков и Белаш враз вскочили, Красношеин поднял автомат, властно приказал:

— Сидеть!

Встал, передал автомат детине, суетившемуся в ожидании скорых действий, снял со стены ремень и, прежде чем Алёша сообразил, что будет делать Красношеин — бить или топтать ногами, натуго перехватил ремнём его руки.

— Говорил: бойся справедливых! — сказал он, посмотрев сверху на Рейтуза, и знакомо хохотнул. Рейтуз всхлипнул, выгнул спину, привстал на четвереньки; с минуту стоял в такой нечеловеческой позе, нависнув головой над полом; вдруг на коленях засеменил в угол, схватил стоявший там короткий «шмайсер», вскочил, юрко повернулся, изготовась к стрельбе.

Алёша откинул голову, закаменел, как всегда, когда готовил себя к неизбежной боли: он ждал всплеска пламени в чёрном отверстии под высокой мушкой и знал, что это будет последнее, что он увидит. Странно, в этом ожидании последней своей минуты он пожалел только своих ребят-десантников, так доверчиво шагнувших за ним в калитку, и женщину, похожую на Рыжую Феньку, живущую в этой избе под тяжким вниманием полицейства с каким-то своим горем и покорностью, так и не понятой им. И ещё успел увидеть маму, всю в слезах, и рядом с ней увидел и пожалел Васёнку.

Ствол автомата пристукнул о стекло очков; Алёша чувствовал, как с расчётливой медлительностью Рейтуз вдавливая очки в переносье, стараясь продлить наслаждение мести. И, чувствуя, что стекло сейчас лопнет и ствол с разрывающей болью провалится в глубину глаза, старался уйти от подступающей боли, до невозможности вминал в стену затылок, смотрел остановившимся взглядом мимо Рейтуза на Красношеина, как будто знал, как знала и женщина, похожая на Рыжую Феньку, что бьет и казнит не подонок Рейтуз, а вот он, стоящий за ним бывший лесник Красношеин. Красношеин краем глаза следил за Рейтузом, но смотрел прямо в глаза Алёше, и в остром его взгляде, как раскалённая нить в лампочке, проглядывало любопытство и какое-то звериное напряжённое ожидание; он как будто дожидался, когда появится в глазах прижатого к стене Алёши страх и мольба о пощаде.

Алёша, сознанием уже принявший смерть, поднимал насколько можно выше голову, пытаясь хотя бы на сантиметр уйти от давящей тяжести автоматного ствола, и, отвечая уже мутнеющим от боли взглядом на ожидающий напряжённый взгляд Красношеина, старался не показать ни страдания, ни страха.

Красношеин перевёл взгляд на Рейтуза, уловил какой-то нужный ему момент, тихо окликнул:

— Глянь, Рейтуз!..

Рейтуз оглянулся, оглянувшись, ослабил руки на автомате. В то же мгновение Красношеин расчётливо и точно ударил по стволу. Огонь, которого ждал Алёша, полыхнул у самого его лица, тупо отозвался в затылке удар пуль, пробивших стену. Но Красношеин уже держал автомат в руках.

— Личные обиды не должны наносить ущерб Великому Рейху, — сказал он спокойно. — Лейтенант этот мой, понял?..

— Баба — твоя, этот — твой! — закричал Рейтуз; в бешенстве он топотнул ногами.

Красношеин навесил «шмайсер» себе на плечо, сказал примирительно:

— Подрастёшь — твои будут... — Он явно был доволен собой и всем, что случилось.

Алёша стоял у стены, чувствуя, как на висках проступает испарина; с трудом он поднял связанные, затёкшие, с синевой под ногтями руки, провёл по твёрдым, как лёд, губам, — страшна для человека смерть — ещё страшнее, когда она проходит, рядом.

Красношеин заметил движение его рук, усмехнулся знакомой своей усмешкой:

— Вот так-то, Алексей! Побудешь покуда в лагере. А там, на досуге, поговорим. Не терпится мне поговорить с тобой по всему, так сказать, разрезу жизни!.. Могу ли я рассчитывать на такое удовольствие? — Он склонился к молчаливому полицаю, прямо и неподвижно сидевшему за столом; полицай наблюдал за Красношеиным с живым и пристальным интересом.

— Гут! — неожиданно сказал молчаливый полицай. Он встал, расстегнул, сбросил на спинку стула плащ-палатку, и все увидели чёрный китель и на плечах узкие витые погоны немецкого офицера.

2

— Вот, значит, и свиделись, Алексей! Который день говорим, а не рад, вижу. Зря. Попади ты не ко мне, душа бы твоя уже — фьюить! — за облаками дорогу в рай искала! И Елена Васильевна, уважительная, скажу тебе, женщина, — безутешно горевала бы. И директор Иван, по отчеству Петрович, в суетной своей службе остатки дней своих доживал бы без тебя. Так, Алексей. Жизнь, какая ни есть, лучше вечного покоя. И когда петля кадык пережимает — тут уж всё: к чёрту на загрибок готов забраться, лишь бы осталась она, жизнь. По себе знаю. Так думаешь и ты, только о том не скажешь, ни хрена не скажешь! Совесть не даст сказать. И не понять тебе, что этой самой совестью всю твою жизнь вязали к месту, как собаку к будке. Во, пса моего помнишь? Ни на час с цепи не спускал. Ждал, что будет. От ремня на шее заместо шерсти — мозоль вкруговую, ноги покривели, голос сорвал. А покорился! Так перед будкой и топтал землю пять, шесть ли годов. И как я понял, вроде бы стало ему казаться, что истоптанное им место и есть воля... Вот и нам кажется. А сами на ремне всю жизнь. На сколь длины каждому отпущено, на столь дорожку себе вкруговую топчем. И дальше — ни на палец! Чтоб там день или час побегал — ни-ни! Дай псу раз почуять свободу — цепь сорвёт! Мой пёс у конуры околел. А я вот к своему ремню версту прибавил. Может, и две...

Алёша сидел на лавке, втиснув плечи и голову в угол. В душевной комнатке с закрытыми окнами, куда приводил его из лагеря Красношеин, пахло геранькой. Пахло хорошо, знакомо; оттого особенно грустно. Сами цветы на низких окнах он едва различал, плохо видел и самого Красношеина. При первом же допросе очки с него сбили. И с того часа прежде зримый мир, в котором каждый предмет и человек имели определённый вид и привычное место, с того часа отчётливый прежде мир превратился в бессмысленное нагромождение враждебных ему теней.

Лиц он не различал, люди бродили перед ним по лагерному двору беззвучными серыми пятнами, и, когда Красношеин вёл его пыльными улицами городка на окраину в приглянувшийся ему домик, дома по обеим сторонам их медленного пути, безлюдные и немые, казались развалинами. Неволья держала его крепче, чем других; даже если бы привалила ему удача вырваться за лагерную проволоку, он не нашёл бы своей родной стороны в этом другом, ускользящем от его взгляда, расплывшемся мире, где равно непроглядны были дороги, лес и поле, где единственно видимым пятном света было пока ещё не закрытое от него небо.

Конца жизни он ждал не то чтобы равнодушно и покорно, — конца жизни он ждал с каким-то даже мстительным чувством к себе; этим чувством он как будто сам наказывал себя за горькую свою доверчивость, непростительную на войне.

— Лексей! Спишь, что ли?.. — Красношеин кулаком постучал по столу. — Слушай, что говорю...

Алёша открыл глаза, поглядел невидящим взглядом, равнодушно закрыл. Он не внимал тому, что говорил Красношеин; слышал знакомый, нечистый, будто навсегда простуженный голос, а видел сыпучие жёлтые берега Нёмды, сосны Разбойного бора. Лесник сидел перед ним, каблуками сапог вдавив в землю палую хвою. И говорил-рассказывал, прислонясь сильной спиной к стволу у корней. Солнце светило сквозь вершины, до багровости калило лицо и шею Леонида Ивановича, но почему-то не могло согреть его, Алёшу; бока зябли, он съёживал плечи, прикрывал себя ладонями, — всё равно было студёно, и очень хотелось есть. Он слышал голос Леонида Ивановича, но думал, что сейчас встанет, пойдёт домой, скажет: «Мамочка, я голоден. Очень голоден. И слаб. Дай поесть что-нибудь, пожалуйста... Мне почему-то больно. Очень больно. Всё болит. Они хотели, мамочка, выбить из меня мою душу...»

Нет, это не красношеинский голос. Это чужой голос резко и чётко ударяет в уши:

— Was ist das? Was bedeutet diese Patrone? [Что это такое? Что означает этот патрон? (*нем.*)]

Человек в чёрном мундире поднимает над столом руку; между большим и указательным его пальцами винтовочный патрон. Тот, который лежал в нагрудном кармане его гимнастёрки, завёрнутый в промасленную тряпочку и бумагу. Самый обычный винтовочный патрон, который вёз он с Урала на фронт и который был его надеждой, мальчишеской надеждой на спасение в ту последнюю минуту его жизни, когда спасение, казалось бы, уже невозможно. Патрон его наивности, в котором что-то опасное для себя и Германии заподозрил немецкий офицер...

— Ich frage, was diese Patrone bedeutet? Parole? Ein Zeichen?.. Fur wen?.. [Я спрашиваю, что означает этот патрон? Пароль? Знак?... Для кого?.. (*нем.*)]

Алёша молчит. Если бы даже он захотел ответить, что мог бы он сказать этому чужому офицеру, не знающему, что такое мальчишеские мечты?..

Офицер, не мигая, смотрит в глаза. Он ещё сдерживает себя. Достает из ящика стола никелированные плоскогубцы, осторожно разъединяет пулю и патрон, высыпает на чистую бумагу щепотку зеленоватого пороха. Он ещё хочет что-то открыть для себя!..

— Ich frage noch einmal: was bedeutet diese Patrone?! [Ещё раз спрашиваю, что означает этот патрон?! (*нем.*)] — Глаза офицера превращаются в лёд. Это было последнее, что отчётливо он видел, — застывшие глаза офицера, переводчик в длинном пиджаке, с выжидательно наклонённой головой, и в дальнем углу несуразная фигура Рейтуза, в нетерпеливом ожидании мнущего свои руки-коротышки. Потом удар по лицу, кровь во рту, вспышки боли в боках, в ногах, под грудью.

Когда его подняли, вместо офицера он уже видел только чёрное пятно мундира...

— Мда, — Красношеин снова постукал кулаком по столу. — Сучок, к тому же свилеватый... — Он встал, громыхнул табуретом.

Алёша открыл глаза, смотрел, что будет дальше.

Тяжело ступая, Красношеин прошёлся вдоль окон, вернулся к столу:

— На-ко вот, держи...

Алёша прищурился, разглядел: это были его очки, круглые, в простенькой железной оправе. Он протянул руку, дрожащими пальцами откинул дужки, не сразу пристроил очки на распухшем переносье.

Он увидел комнату, оклеенную чистыми, в розочках, обоями. С лихорадочным любопытством прозревшего взгляделся в фотографии на стене, понял по форменному пиджаку мужчины с напряжённым добрым лицом, что в домике прежде жила семья железнодорожника. Сейчас, по всему видать, обитал здесь только Красношеин, обитал не по-хозяйски, с небрежением временного постояльца: в углу, у окна, стояла неубранная кровать с примятой подушкой, на печной вьюшке висела шинель, под лавкой валялись нечищенные, с короткими широкими голенищами, сапоги. У двери, на тикающих ходиках, он заметил подвязанную вместо гири ручную гранату с длинной деревянной ручкой, и рука как будто сама собой в нетерпении сжалась.

Красношеин молча наблюдал за ним, и когда напряжённый взгляд Алёши натолкнулся на подвешенную к часам гранату и глаза распахнулись, выдавая радость находки, тяжелый его рот сочувственно шевельнулся:

— Без запала она, Лексей. Разве что по затылку ударить... — Взгляды их встретились, впервые за все дни. Алёша языком потрогал острые края выбитых зубов, через пустоту в дёснах тронул нечувствующую губу; её, безобразно разбухшую, он видел, когда опускал глаза.

— На себя-то хоть глянь! — Красношеин, не вставая, шумно сдвинул табурет, взял с окна зеркало.

— Тебя я без зеркала вижу, Леонид Иванович... — с трудом выговорил он, и Красношеин как будто обрадовался самому звуку его голоса, спросил с интересом:

— Ну, и что видишь?

— Была маленькая сволочь. Стала большой.

Красношеин сокрушенно покачал головой:

— Всё такой же!.. Видать, зря спасал твои очки. А пора бы, пора, Лексей, поглядеть на всё, как оно есть...

За окнами Алёша теперь видел землю, недалёкий лес, близко видел Красношеина, и безразличие, с которым тянул он через плен последние дни своей жизни, стало высветливаться неясной ещё надеждой. Он догадывался, что вокруг него шла какая-то игра, задуманная, наверное, не одним Красношеиным. Одно то, что его перестали водить на допросы, что немцы как будто забыли, что в лагерь брошен свежий десантник-лейтенант, уже заставляло думать о начатой игре. Немцы в то же время хорошо помнили о бойцах-десантниках Малолеткове и Белаше. Били их каждый день, избитых вволакивали в ворота, оставляли на виду среди двора, настораживая пленных против лейтенанта, как будто заслужившего их благосклонность. Самого Алёшу отдали на откуп Красношеину. И Красношеин с удивительной для него аккуратностью исполнял свою роль: в один и тот же час пополудни уводил его из лагеря в этот вот домик на окраине, близ железнодорожных путей; словно не замечая его безучастности, терпеливо разговаривал с ним; через какое-то, одно и то же, видимо отмеренное ему, время выводил на улицу. Немец-охранник, дежуривший у ворот лагеря, смотрел на часы, говорил: «Gut» — и пропускал Алёшу за ряды колючей проволоки. От ворот Алёша шёл по открытому, вытопанному, как выгон, пространству на виду обессиленных, заросших, оборванных людей, у которых, как и у него, не было ничего, кроме медленно истаивающей жизни, и был в том тонкий и страшный для него расчёт. Очень скоро он понял, что у немцев ничего не делается зря. Люди, недавно бывшие, как он, солдатами и, казалось, безразличные к его судьбе, с какого-то не уловленного им времени начали сторониться его; хуже — они молча и неуступчиво отторгали его от себя.

К исходу дня пленных, до последнего человека, выстрелами загоняли внутрь кирпичных стен недостроенного завода, без потолка и почти без крыши; и Алёше теперь не находилось места среди людей, — в дождь и в холодные августовские ночи он просиживал у провала в стене, заменявшего вход, на битых острых кирпичках. Однажды десантник Малолетков, вопреки всему сохранивший уважение к своему лейтенанту, уступил ему своё место под лестницей; на другую ночь не стало места и Малолеткову. Немцы знали, что делали: они казнили Алёшу ненавистью своих же русских людей. И Красношеин всякий раз, прежде чем отправить за перетянутые проволокой ворота, на виду всего лагеря размашисто обнимал его за плечи, дружески всовывал за ухо сигарету; и, хотя эту всунутую, ненужную ему сигарету выхватывал у него первый же встречный, он, слепо озираясь, плохо видя людей, всё равно ощущал на себе тяжесть их взглядов. Он замечал, что все пленные сходятся в группы, ночуют рядом, делят добытую скудную еду; его, Алёшу, никто не приглашал в долю, никто ни разу не дал ему хотя бы малого куска. Даже лагерная дуранда не доходила до него: люди, которых умертвлял плен, считали, как догадывался он, что ему хватает подачек дружка-полицая. А Красношеин разговаривал с ним за издевательски пустым столом и спокойно следил, как обессилевал он от голода и одиночества. Алёша сегодня едва дошёл до красношеинской обители; и, пока волочил в пыли безлюдной окраинной улочки чугунной тяжести заскорузлые ботинки, которые подбросил ему Красношеин взамен его армейских сапог — сапоги в первый же день плена стянул с него Рейтуз, — думал, что завтра он уже никуда не пойдёт. Ему уже было всё равно, где оборвется его жизнь — в песчаном карьере, где расстреливали, людей, или в самом лагере, на кирпичках у пролома в стене, на том единственном пространстве, которое ещё у него оставалось.

Из своего угла он разглядывал Красношеина, стараясь разгадать игру, которая шла вокруг него, Красношеин видел ожившее в его глазах внимание и, в ожидании удачи, терпеливо внушал:

— Ты, Алексей, помнится мне, всегда до корня лез. Давай глядеть исходя, как говорится, из существующего. Положение у тебя, скажем прямо, не то что другу, врагу не пожелаешь. Родину ты потерял. Да-да... не вздрагивай, Алексей, не всверливайся в меня отчаянным своим взглядом. Там, откуда ты прилетел, крест в списках уже поставлен. Такой же, как против меня, против каждого, кто по доброй или недоброй воле перешагнул за край бывшей над нами власти. Каждый, кто к немцу за проволоку попал; знает, может, и не говорит, а знает, что на земле, где он жил, его место уже заровнено и памяти о нём не осталось. Был случай, прямо скажу, для твоего ума трудно постижимый.

О лагерной шестёрке не слыхал? Нет? Оно, и понятна. С тобой в лагере, знаю, не очень-то якшаются. А дело было. Да такое, Лексей, что поначалу сам не поверил. Лагерники на дороге мост поправляли. И какой-то из заблудших самолётиков, пролетая, швырнул к ним бомбу. Двоих охранников прямым ходом на тот свет. А эти шестеро выползли из-под моста, глазам не верят — сами целехоньки и сторожей нет. Свобода! Беги хошь в лес, хошь в поле. В родные места дорога открыта... Вот перекрёсточек судьба им подкинула! И что думаешь? Вся шестёрка в лагерь притопала. Строем. С лопатами на плечах. Сами в ворота вошли. Слышишь — сами!.. Отчего бы это, а?! Гауптман тут же приказал каждому по буханке хлеба подать. Настоящего. Солдатского... Вот, Лексей, сказка какая. Им — свобода, а они обратно в лагерь. Сами! Есть над чем поразмыслить... Ты сейчас у последней черты. Не сегодня-завтра всех угонят в Тростинец. А оттуда одна дорога — дымом под облака!..

Пока я тут, якорь, как говорится, спасения в твоих руках. Тебе ж одно только слово сказать! Что слово? Тьфу! Сказал и — нет его, ушло. А ты — жив! Жив! И всё при тебе!..

... «Когда же, когда мы разошлись с тобой, Леонид Иванович?.. — думал Алёша, напрягая слабыми своими силами память; он слушал, но как будто не понимал, что говорил ему Красношеин. — Ведь сходились в чём-то? В желаниях, что ли? Лес. Воля. Рыжая Фенька... В чём-то я и Юрочка сродни были тебе, Леонид Иванович! А разошлись. Не здесь. Не теперь. В те ещё годы, когда не думалось о войне.

Я ведь помню день дикой вольницы, когда, хмельной и довольный, шёл ты от Феньки и ухватил нас с Юрочкой на озёрах. Ухватил и понятливо обласкал нас, нашкодивших школьников. Заставил дружно распить бутылку самогона. А утром, после мучительной для меня покаянной ночи, в совершеннейшем удовлетворении врезал навек в мой исстрадавшийся ум свои убеждённые слова: «Вот, Лексей, одна бутылка и — нет человека. Даже двух...» Не в ту ли ночь что-то разладилось у нас с тобой?.. А может, ещё в ту, начальную пору нашей, дружбы, когда ты, Леонид Иванович, разорвал протокол на знакомых порубщиков? Разорвал, хотел проверить, какая сила возьмет во мне верх: совесть и долг или взбурлившее молодое чувство к доброй Феньке?..

Нет. Тогда мы с тобой ещё не разошлись. Ты только заставил в жарком стыде пережить подброшенную утеху. Тогда я ещё не нашёл сил отступить от вольницы, что виделась за твоими плечами.

Что же всё-таки развело нас, Красношеин? И вот теперь обоих поставило у последней черты?..»

Алёша пробуждал память, искал тот день, который развёл их уже без возврата. И нашёл! Случилось это, когда милая каждому, кто её знал, Васёнка уже была женой удачливого лесника.

В тот вечер мела метель. Он сидел у лесника в доме, как всегда, стеснительно и молчаливо и не торопился уходить. Держала его в чужом доме не только метель — с каких-то пор трепетно-милым стал для него чужой уют, который теперь ощущал он в присутствии Васёнки. Красношеин в тёмно-синей, запахнутой на груди форменке сидел, облокотясь на стол, лениво водил пустой стопкой по чистой клеёнке, с усмешкой, будто не замечая молчаливого и светлого присутствия своей жены, вслух рассуждал о жизни семигорцев. Васёнка в тихой озабоченности готовила печь к утру, время от времени бесшумно подходила к сундуку, на котором под лоскутным цветным одеяльцем спала Лариска; раскинув пухлые ручонки с подогнутыми к ладошкам пальцами. Васёнка склонялась, плавным, движением руки убирала с покрасневшегося от жаркости сонного личика тёмные, напавшие на такой же выпуклый, как у неё самой, лобик прядки волос. Замерев над дочкой, улыбаясь беспокойной мягкой улыбкой, поправляла одеяльце на ножках, снова; неслышно шла к печи. Алёша с открытой доверчивостью любовался её заботой. Последнее время он чувствовал какую-то, неизвестную прежде, потребность видеть Васёнку; хотелось на неё смотреть, следить за певучестью её движений, чувствовать на себе её тёплый; обласкивающий взгляд. Васёнка была для него как сама Красота, сама Доброта. Он с завистливым волнением наблюдал Васёнку в её озабоченности и затаённо, смущаясь, своими мыслями, думал о той поре; когда чьи-то руки с такой же певучестью и ласковостью движений будут хлопотать для него. Он ведь не ведал, что Леонид Иванович Красношеин всё зрит из своего застольного угла.

— Что, Алексей, обжигает?! — спросил он, когда Васёнка закончила хлопоты у печи, оделась, взяла вёдра; вышла за водой; взгляд его посвечивал нехорошим дымным огнём.

Он пригнулся над столом, сбоку заглянул ему в глаза и — не шёпотом — в голос сказал:

— Хочешь, с Васёнкой спать положу?! Вот придёт сейчас — и ляжешь! А то глядеть на тебя тошно: как кобель-коротыш, прыгаешь вокруг, достать не можешь... Ложись давай. Я тем часом к Феньке смотаюсь... — Сказано это было всерьёз, Алёша чувствовал, что сказано всерьёз, и как будто вмёрз в лавку.

Вошла Васёнка, с мороза зарумянившись, поставила вёдра, как-то по-домашнему звякнувшие железными дужками. Почти в ужасе он смотрел, как снимала она с головы платок, ладонями оглаживала волосы, опущённые у висков инеем; боль за милую Васёнку, боль, какой прежде никогда он не знал, рвала его сердце. Рывком он поднялся, кинул на голову шапку, сдёрнул с гвоздя пальто.

— Что так скоро собрался? — Васёнка обернулась, спрашивающе глядела из-под согнутой в локте руки, которой поправляла волосы. Он не ответил, споткнулся, перешагивая порог, захлопнул дверь. С гудящей головой он шёл по твёрдой, взвизгивающей под ногами дороге, не чувствуя ни мороза, ни ветра, шептал: «И это — человек... Ничего святого!.. Ни души, ни совести. Дико. Страшно!..»

С того дня он перестал ходить в дом Красношеина. Они разошлись, и как будто навсегда, предоставив друг другу возможность жить по своему разумению. Он думал, что пути их, как рельсы по шпалам, могут рядом идти тысячи вёрст и нигде, ни в днях, ни в ночах, не сойдутся. «А вот сошлись, — думал Алёша, — Война, оказывается, не только обрывает дороги. Она ещё и сводит разведённые пути...»

«Сошлись мы с тобой, Леонид Иванович. Снова сошлись, — думал он. — И жизнь одного теперь зависит от смерти другого...»

Алёша оглядел свои истонченные, покрытые грязью руки, незаметно приподнял над острыми коленями — костлявые, удлинившиеся пальцы, пугающе раздутые в суставах, задрожали мелкой, незатихающей дрожью. Он покосился на руки Красношеина — огромные его кулаки, похожие на лабазные гири, в ленивой неподвижности покоились на столе. Горько он усмехнулся, с трудом поднял голову; голова качнулась на ослабевшей шее, как неживая, стукнулась об стену.

Красношеин поднялся, на лице его обозначилось беспокойство, жалостливо глядя, он постучал себя кулаком по виску:

— Не докумекал, Лексей. Ты ж без сил теперь! Я с тобой о том-сём, забыть забыл, что на пустое брюхо голова не в уме! погоди, я сейчас, по-холостяцки...

Он вышел будто в суетности, у стены под часами остался карабин.

Алёша затаил дыхание, он смотрел, уже ощущал в ладони залоснённую красношеинской рукой ловкую шейку приклада, всю возбуждающую тяжесть металла, готового плеснуть огнём. Кровь била в виски. Он рассчитал: проскочить два шага, которые отделяют его от карабина, ему не хватит сил; ему придётся сделать три шага, и сделать их надо тихо.

Он уже нагнулся, он уже вытягивал себя из-за стола, дрожа от самой возможности дотронуться до оружия, меняющего их силы, когда из невидимого пространства другой комнаты бесшумно объявился Красношеин, загородил телом весь дверной проём. Он глядел как будто с сожалением, и Алёша понял: промашки не было — Красношеин просто проверял его.

— Ну вот, глаза заблестели! А то, гляжу, хиляк хиляком... — сказал он так, как будто доволен был тем, что Алёша не обманул его ожидания. Он поставил на стол помятую алюминиевую тарелку с варёной нечищенной картошкой, достал из тумбочки буханку ржаного настоящего хлеба с чёрной верхней коркой. Алёша не хотел смотреть и не отводил глаз; видел хлебные, до румяности запечённые боковины и чувствовал, как желудок словно затягивается в узел; как мутит разум-голодная боль.

Не спеша, Красношеин изрезал половину буханки. Алёша из-под полуоткрытых, подрагивающих век следил, как отделяются, отваливаются на столешницу ломти, пахнущие жизнью, сдавливал губами липнувшую к дёснам слюну, униженно думал, что когда-то такой вот хлеб за медяки он покупал по заданию мамы на улице Горького, в булочной, где за широкими, светлыми витринами лежали караваи, батоны, сухарики, крендели, — в булочной, которую почему-то все москвичи называли прежним, привычным им словом «филипповская»...

Он плотнее задвинул себя в угол, незаметно сглотнул слюну.

— Ешь, Алексей. Другого случая не будет, — серьёзно сказал Красношеин. — В лагере не накормят, а сил у тебя на два дня осталось...

Алёша не знал, что сломало его упорство: посерьёзневший тон Красношеина или прихлынувшая вдруг обида на тех в лагере, кто был недобр к нему и так жестоко обносил куском; может, просто одолел его, ослабшего, запах хлеба, но он склонился над столом, взял ломоть, разломал, впился обломками зубов сразу в обе половины. Он жевал, клоня голову, закрыв глаза, знал, что Красношеин смотрит на него, и всё-таки кусал и жевал кровавившими хлеб дёснами, и плечи и руки его дрожали, и слёзы текли по немеющим от позабытых усилий щекам. Он сжевал два ломтя, пару холодных картофелин, не сумев в голодном нетерпении очистить их, и, как будто ломая рвущиеся к хлебу руки, остановил себя.

— Всё, — сказал он и откинулся в угол. Теперь ему было стыдно за свою слабость, он опустил голову, стиснул рот, зажмурил глаза, чувствуя, как накатывает боль от раздражённого пищей желудка.

— Ладно, Лексей, — Красношеин пристукнул рукой по столу, будто захлопнул книгу. — Голос твой услышал и тому рад. Давай говорить напрямки. Из души, как говорится, в душу. Откроем карты, раскинем, где — козыри, чьи биты?! Ну?.. Кончай молчать, Алексей! Ты же об уме какие речи выдавал! Вот умом и раскидывай. Гляди мои козыри. Сила — раз. Воля — два. Хоть баб, хоть девок — навалом, от бело-чёрных до рыжих. Небось бабьего естества так и не спробовал?! Как помирать-то будешь?.. Заметь и то, что в жизни, куда зову, никто за вольности с тебя не взыщет. У Гитлера всё построено на потребностях естества. Это они хорошо понимают!.. Что у тебя на руках? Шестёрки, да и те без козырной. Ни воли. Ни хлеба. Ни прочих людских необходимостей. Нет, Лексей. Чем курой в щах сдохнуть, лучше соколом над теми же курами кружить...

Напрягаясь большим, замутнённым взглядом, Алёша смотрел сквозь стёкла очков, как будто хотел что-то, понять в том, что говорил ему Красношеин. Последние слева он расслышал, и запавшие его щеки шевельнулись, внятным тихим голосом он сказал:

— Какой ты сокол! Коршун ты, Красношеин...

Красношеин согласился:

— Тебе видней. Но коршун тоже птица — летает!.. Ну, Лексей, пойдёшь к нам?.. Мужики мы, чую, одной закваски. Пулю от тебя я отвёл. С допроса, как видишь, снял. Но тому сегодня последний день. К жизни осталась у тебя одна: дорога, одна-разъединственная... Другого хода нет, Лексей...

Красношеин глядел с каким-то родственным участием, как будто жалел и нынешнего, и того, ухоженного, семигорского Алёшку, которого пестовал в былые времена. И всё-таки Алёша улавливал нетерпение, с каким ждал Красношеин его слова; почему-то слово его было нужно ему, и, стараясь понять, он спросил осторожно:

— Если пойду, так что?

— Жить будешь!

— Жить!.. А как?..

— Как прикажут, так и будешь.

— Без совести, значит...

— Далась тебе эта совесть, Лексей! Пустяк она! Рыбий пузырь!

— Пустяк! — Алёша усмехнулся, как только мог усмехнуться разбитым, опухшим ртом, подумал: «Без пузыря рыба, а в воде не живет»

С тем же усмешливым сочувствием спросил:

— Пустяк, а, наверное, мешает?

— Теперь уже не мешает, — отрезал Красношеин, и по грубости, с какой он ответил, Алёша понял, что бывшему семигорскому леснику что-то не даёт спокойно жить. И, желая надавить на больное, нащупанное им место в душе Красношеина, сказал:

— Нет, Леонид Иванович. На моей совести тебе не заработать. И душу не спасти.

— Ну и хрен с тобой! Только вот что скажу: совесть всё одно не сбережёшь. Не будет у тебя её, совести! Потому как может она быть только у живого. Слышишь? У мёртвого её не бывает!..

Алёша откинул голову, в угол; бледнея серым лицом, смотрел мимо Красношеина, мимо стен этой уже потерявшей чистоту комнатки с засыхающими гераньками на окнах; едва слышно будто самому себе, сказал:

— И как только Васёнка жила с такой сволочью...

Он не вздрогнул, — он уже не вздрагивал от криков, даже от близких выстрелов, — он просто возвратился в действительность от тяжёлого удара по столу.

Красношеин прижимал к столешнице оба кулака, и с искаженного бешенством багрового его лица дико глядели остановившиеся глаза.

— Ещё слово про Васёнку — задушу... — Шёпот, его был страшен. Пригнув голову к груди, он глядел вбок, водил по столу тугими кулаками.

Алёше казалось: ещё минута — и Красношеин рухнет, как бык, которому ножом перехватили горло.

— Всё, Алексей. Подымайся... — Он встал, взял карабин.

Алёше дурно стало от подступившей слабости. «Всё... Значит, конец... Только бы не пошатнуться...» — думал он. Рукой, нащупал край стола, поднялся. Заложил руки за спину, наклонил голову, пошёл к двери, стараясь ступать твёрдо. Спустился с крыльца, сам повернул направо, к песчаным карьерам. Неуклюже шаркая ботинками, чувствуя совершенную пустоту, он шёл впереди Красношеина, твердил, как заклинание: «Это не страшно... Удар пули — и всё. Давно бы могла она достать меня. И под Ржевом. И под Каменкой. В воздухе у Сходни... Что из того, что достанет здесь? Только бы устоять. Только не подогнулись бы ноги...»

С дороги они сошли на широкую, протоптанную в сухой траве тропу, идущую вниз, к карьерам, из которых когда-то брали песок на полотно железной дороги. Как только открылась глубина песчаных ям, услышался там, в её глубине, неясный шум. С трудом переставляя ноги, увязающие в сыпучем песке, прислушиваясь к странному шуму, Алёша покорно спустился вниз, увидел за грядой валунов людей.

Люди — три женщины, старик с растрёпанной бородой, мальчишка, совсем ещё подросток, и мужчина в разорванной косоворотке — стояли у края котловины, с проглядывающей позади них тинистой водой. Напротив, шагах в двадцати, оживлённо переговаривались два автоматчика в голубых куртках с засученными рукавами; чуть в стороне офицер в чёрной форменной одежде курил, медленно выпуская дым, рассматривал стоящих у котловины молчаливых людей. Между офицером и людьми бегал в озабоченности несуразно низкий, почти квадратный, человек в шапке с длинным козырьком и автоматом в руке; дрогнув сердцем, Алёша узнал Рейтуза. Пустота в груди зазвенела отчаянным звоном; глядя себе под ноги, он пошёл туда, где стояли люди.

— Торопись, Лексей!.. — Красношеин придержал его, встал рядом, искоса наблюдая за ним.

Рейтуз что-то выглядел, подскочил к одной из молодых женщин, своим сапогом придавил её сапог, крикнул:

— Давай скидывай!

Женщина смотрела, как будто не понимая.

— Сам снимешь, когда убьёшь! — вдруг сказала она.

Рейтуз засутился, навесил автомат на шею, протянул короткие руки:

— Сымай, говорю!

Женщина приподняла ногу, как бы давая ухватить сапог, и, когда Рейтуз нагнулся, с силой ударила сапогом ему под шею.

Красношеин чуть слышно хохотнул:

— Во, достаётся лакейчику! — Он с каким-то даже удовольствием глядел на ворочающегося в песке Рейтуза; он как будто отделял себя от того, что было сейчас перед ними.

Испуганный и ненавидящий взгляд Алёши он заметил, сказал внушительно:

— Туда, туда гляди, Алексей!..

Женщина оборотила лицо к небу, руками крест-накрест охватила плечи, как будто укрывая себя от стужи; стояла так, казалось, никого и ничего уже не видя.

Рейтуз сидя стащил с шеи автомат, целился, как по мишени. Щёлкнул выстрел; нога подломилась у женщины; она пошатнулась, опустилась на песок. Рейтуз прицелился, выстрелом разбил ей вторую ногу. Поднялся, подошёл. Постоял, посмотрел, сапогом придавил горло. Перевёл рычажок на автомате; развернувшись на каблуке, длинной убивающей очередью ударил по людям, оцепенело стоящим у края котловины.

— Что, помертвел, Лексей? Думал, здесь шутят?! — Красношеин мрачно смотрел на него, сцепив на карабине руки.

Офицер в чёрном, не торопясь, отбросил сигарету, платком обернул мундштук, положил в карман. Взял у солдата автомат, не спешно подошёл к лежащим на краю котловины людям. Он медленно выцеливал, бил короткими очередями в каждого. Он делал своё дело привычно, аккуратно и с видимым удовольствием. Дважды обойдя убитых, офицер так же не спеша подошёл к лежащей на спине женщине. Женщина была ещё жива, руки её двигались, пальцы сжимали песок. Офицер, как только что делал это Рейтуз, постоял над ней, разглядывая. Потом одной рукой поднял автомат, выстрелил ей в голову.

Жажда убивать не была в нём удовлетворена. Он махнул рукой Красношеину, крикнул;

— Hole noch jemanden zu mir! [Веди ко мне! (*нем.*)]

И, видя, что Красношеин не двигается, сам пошёл навстречу.

Алёша снял очки.

Офицер приближался медленно. С каждым шагом он как будто увеличивался, заслонял чернотой своего мундира небо. Лица у чёрного человека не было; на месте лица Алёше виделось неясное, жёлтое, как песок, пятно, и в середине этого пятна было почему-то огромное, круглое, тоже чёрное, дуло автомата; не мигая, он смотрел в этот вбирающий его чёрный круг и, как в полусне, слышал заискивающий, но настойчивый голос Красношеина:

— Господин обер-лейтенант! Установленный срок ещё не кончился. Слово господина Гауптмана ещё охраняет этого человека!

— Wozu hast du ihn zum Teufel hierher geschleppt?! [Какого же чёрта ты привёл его сюда?! (*нем.*)] — Чёрный человек кричал, он хотел крови.

— Будущему служителю райха, господин обер-лейтенант, надо знать работу, которая ему предстоит!..

Чёрный человек резко повернулся, разряжая своё возбуждение, выпустил остаток пуль по мёртвым.

У ворот, уже сдав Алёшу немцу-охраннику, Красношеин закинул карабин на плечо, сказал, подойдя вплотную:

— Всё, Алексей. Свиданки кончились. Завтра к Рейтузу попадёшь. Меня в тот страшный час не поминай. Собаки-овчары, что рвут людей, щенки перед ним!.. Что мог — сделал. Власти моей над тобой больше нет. Ежели передумаешь, ночью к воротам подойдёшь. Как подойти, знаешь — руки крестом держи. В ночь у ворот дежурю. Понял?..

Было что-то в этом «понял» и не только участие к незавидному его концу. Алёша хотел увидеть это «что-то» в его взгляде, но немец-охранник твёрдым дулом пулемёта пропихнул его в приоткрытые ворота.

— Алёша, дорогой, приляг, вот тут приляг, я потеснюсь. О, господи, что творится в этом мире! Думал ли я, что в этом вонючем концуглу, у края могилы, встречу милого нашего Алёшу!.. Я не узнал тебя, мой мальчик. Ты худ и мрачен. И это твоё лицо. Разбитые чёрные губы. Что они хотят от тебя?! Прости, мой дорогой. Мне всё кажется, что я на Басковом... Ты спрашиваешь, почему я не выхожу на свет божий?! Во-первых, никакого света, Алёша уже нет. Жизнь стала кошмаром, в котором легче умереть, чем жить. Скоты стали господами, людей пытаются сделать скотами. Всё, как, вздыхая, говорил Толстой, переверотилось. Несправедливой силой они толкают мир к концу. Это всё, во-первых, милый Алёша, теперь, когда от моего тела осталась треть довоенного объёма, мой нос стал привлекательной мишенью для этих всемогущих эрзацманов с автоматами и в касках юбочкой. Даже deutsche язык, который я слышу отсюда, вызывает во мне неприятную дрожь. Как ты понимаешь, сюда я попал не по желанию. Меня ударило, пропороло осколком!.. Вот, пощупай, мой мальчик, дай руку. Ты чувствуешь, как это было?! — Алёша ощутил под пальцами панцирную твёрдость засохших бинтов. — Я очнулся, когда меня уже вели под руки. Рядом шли и смеялись автоматчики. Их автоматчики. Не могу понять, как удаётся нашим парням, идущим так же, как я, к широкому рву с трупами, прятать меня от собачьих глаз этих далеко не милых господ! Эта одна из великих тайн русской души, Алёша! Быть под дулами без предупреждения стреляющих пулемётов и верить, что на земле ещё есть будущее. И не только верить, а и ждать. Не только ждать, но и что-то делать! Русские парни просто потрясли меня! Не знаю, зачем я нужен их будущему, полковой интендант и уже не первой молодости еврей, который все последние мирные годы служил искусству, только искусству! В первый же час плена меня должны были поставить в сторонке, вместе с политруками и теми, кто чем-то похож на комиссаров, и аккуратно, исполненно пробить пулями, изготовленными в Vaterlande Gëte. Не знаю, не знаю. Эти парни спасли меня в первый день. Они прятали меня потом, в печально бредущей по пыльным дорогам процессии. Они укрывают меня здесь, в этом странном, непонятном и страшном месте! Хотя для меня это только лишние дни страданий по пути на Голгофу. Я не заблуждаюсь относительно своего будущего, милый Алёша. После сортировки, которая здесь пройдёт, даже удивительные парни не помогут мне избежать моей печальной судьбы! Я готов принять неизбежное. Но не могу не думать, как странно устроен человек! Я знаю, никому не пригодится опыт, который отложился в моей беспокойной голове за очень короткие сорок четыре года моей жизни!

Иду к концу, а думаю о начале. Это как понять, милый Алёша?! — дядя Миша держал его руку холодной слабой рукой, дрожащими пальцами шарил по ладони, будто старался что-то в ней найти. Но суетилась только одна его рука: вытянутые босые ноги, худое под просторной, порванной гимнастёркой тело, крупная голова с покатым, к затылку устремлённым лбом, и другая рука, закинута на живот, — всё было в какой-то отрешённости, было неподвижно в сумраке, скопившемся под стеной. Казалось, вся сила этого когда-то полного, подвижного, жизнерадостного мужчины осталась только в руке, протянутой Алёше, и в губах, быстро шевелящихся в неопрятности бороды и усов. Алёша сам был в истерзанном виде, но смотреть на то, что осталось от когда-то весёлого, симпатичного ему человека, с которым он встречался в доме на Басковом, было даже как-то жутко. А дядя Миша не мог себя остановить, глаза его, будто выдавленные из чёрных провалов глазниц, молили Алёшу слушать.

— Если милосердие небес падает на тебя, судьбой ниспосланный мне мальчик, и ты выберешься из этих адовых кругов, и когда-нибудь попадёшь на благословенные берега Невы, в дом на Басковом, опустишь на колени перед Анной, скажи родной своей тётке: «Так бы стоял перед тобой твой муж Михаил, если бы судьба пощадила его...»

— Алёша! Ни перед кем я так не виноват, как перед этим молчаливым, всёпрощающим ангелом! Она всё знает! Я всегда уходил от объяснений. Я считал, дело — выше слов. Я не был чуток к её невесёлым мыслям. Право знать и терпеть я оставлял ей. И она терпела! Я понимал её, Алёша! И всё-таки я не могу не думать, милый мальчик, зачем цивилизованный век возродил варваров? Неужели для того, чтобы в этой невероятной войне погибло человечество?! Эгоизм — всегда плохо, милый Алёша. Теперь я всё вижу из мрака этого здания. Но национальный эгоизм этих наци, в крепко пошитых немецких мундирах — это ужасно! Это — конец! Это край пропасти, куда вместе с побеждёнными катятся они сами! Без будущего нет жизни, Алёша. У них нет будущего. Эти скоты в чёрных мундирах силятся замкнуть двадцатый виток истории на виток первобытного прошлого. Но разве возможно, дорогой Алёша, возродить рабство, когда люди уже почувствовали себя людьми?!

Бог с ними! О, я кощунствую — пусть дьявол заботится о них! Говорить о них так же мерзко, как быть с ними на одной земле... Человек слаб, Алёша! Я тоже был слаб. Но, боже, если есть на мне грех, то только от коварства самой природы! — она дарует удовольствия и заставляет платить за них. За всё я готов был расплачиваться здоровьем. Но не мог думать, что за любовь к искусству и России мне придется расплачиваться жизнью. Печально думать, что моя всегда покорная совесть умеет ещё и больно кусать!

Я — материалист, Алёша. Я считал, моё дело — активно, дерзко жить, как положено каждому сильному созданию. Меня увлекало само действие. Я никогда не страдал по тому, что оставлял. Я был деловым человеком, Алёша. Я умел и любил делать дело. Для театра. Для искусства. Для людей. Само собой разумеется, и для себя. Ты знаешь, что такое «цимес плюс компот»? Я поклонялся красоте, Алёша. И никогда ни в чём не знал сложностей, всё казалось естественным, как сама жизнь!.. Но вот в побеждённых оказался я, хотя и несколько в другом смысле. Увы, теперь я знаю, что чувствуют побеждённые!.. Теперь я не спешу. Зачем рваться вперёд, милый мальчик! Когда тебе уже не за чем смотреть вперёд, смотришь назад. Куда-то надо смотреть, пока ты жив, к тому же ещё и в памяти!.. Я стал смотреть назад и увидел длинный хвост своих суетных дел. Мне казалось я увижу яркий хвост, подобный огненному хвосту несущейся над землёй кометы. Увы, даже мои добрые и полезные дела присыпаны пеплом бесплодно растраченных сил! Скажи, дорогой моему сердцу мальчик, зачем природа дала человеку память? Жестоко возвращать человека к тому, что прошло... — Дядя Миша устал говорить, закрыл глаза, лежал не отпуская Алёшиной руки. Неожиданно он сел, прислонился спиной к бетонной стене. — Алёша, слушай сюда. Я не хотел оставлять после себя другую жизнь. Я хотел прожить свою. Но прошлое неведомыми путями настигло меня. Я узнал, что у меня есть сын. Это был давний след, я оставил его в моей романтической молодости, когда колесил по губерниям России. Мне не было приятно от того, что я узнал. Я был деловым человеком и предложил деньги... Милый Алёша, деньги есть деньги. Даже шедевры искусства имеют свою цену! На них можно не только учиться, на них можно просто жить! Я уже не говорю про город, речь шла о деревне...

Почти забытая мать моего сына мне ответила: сын хочет знать своего отца. Поразительно, в этом письме не было жалоб, не было просьб. Было достоинство и боль, даже стыд за сына!.. Я подумал: моим житейским принципам пора потесниться. Я не боялся, что объявившийся потомок Михаила Шапиро потеснит мою жизнь. Моя жизнь была хорошо устроена. У меня были связи. Я мог без труда и под весёленький аккомпанемент запустить неустроенный кораблик из небытия явившегося сына в незнакомое ему море городской жизни. Я боялся другого: я не знал, как примут явление младшего Шапиро на Басковом? Тебе известно: живущее там большое семейство и так не очень жаловало мою, как им казалось, лёгкую жизнь! Бог видит, я уже готов был открыться Анне. Но тут началась война, и человеческая жизнь стала дешевле пары туфель самой невзрачной девицы кордебалета.

Милый Алёша, я знаю, в жизни есть идеалисты. Я не принадлежу к ним. Я знаю, через день-два моё когда-то весёлое тело пойдёт на удобрение скудной смоленской земли. С этим я уже смирился. Когда другого не дано, человек с покорностью принимает то, что даётся ему судьбой. Ты не согласен? Это оттого, что ты ещё мало жил. Ты ещё совсем не жил, милый Алёша! Я хочу сказать другое: в этом общем каменном гробу я стал думать о людях. О тех многих людях, кто не судя меня строго, прошли через мою жизнь, как лёгкие деньги проходят через молодые беспечные руки! Я стал кое-чего стыдиться в своей жизни! Это ли не парадокс, милый Алёша?!

Мне бы не хотелось уйти, не заплатив долга. Ты молод, таких здесь быстро не убивают. В глазах твоих упрямство и злость. Ты ещё можешь вырваться из лап этих скотов. Обещай, Алёша, если небеса отметят тебя своей благодатью, ты встанешь перед страдальцей Анной на колени, испросишь прощение за меня и скажешь о моём сыне. Она простит, она примет, она позаботится о человеке, который имеет право войти в нашу семью.

Прошу, Алёша, нацарапай в своей памяти: на Волге, где-то под Костромой, есть городок, мною забытый. Имя у него теперь новое. Я узнал по письму. Имя его — Советск.

Есть там улица Верхняя, запомни — Верхняя, дом восемнадцать. Восемнадцать ты запомнишь — это твое совершеннолетие. Живёт там одинокая женщина Дора Павловна Кобликова. В юности я её знал просто как бесстрашную Дашку. Её сын — это мой сын Юрий... Я тебя утомил? Тебе плохо? Что ты смотришь на меня такими ужасными глазами?! Всё ясно, ты истощен. Этот голод невыносим даже в гробу. Мне нечего тебе дать, милый мальчик. Всё, что подсовывают мне по ночам заботливые парни, я тут же проглатываю с нетерпением бездомной собаки. В этой жизни что-то оставлять на завтра может только сумашедший. Что ждут от меня эти парни? Я не врач. Я человек театра. Но здесь не место для театра души и благородства. А театру убийц и людоедов я не служу... Тебе легче? Твой взгляд меня испугал... Ты запомнил, что я тебе говорил? Напротив городка есть село. Какое-то Горье. Там, я вспоминаю теперь, и жила эта самая Даша...

Алёша внимал сбивчивому говору дяди Миши. Он сидел на грязном полу, опираясь рукой на холодный бетон, приклонив к плечу голову, время от времени от слабости закрывал глаза, что-то пропускал из покаянных и, в общем-то, ненужных слов Михаила Львовича. Но имя Юрочки Кобликова пробилось сквозь вялость его души, и запоздалым отчётливым сочувствием он подумал: так вот к кому тянулись нетерпеливые думы его тоскующего друга! Вот она, удручающая тайна — его, Алёшин дядя, Михаил Львович — отец Юрочки!..

Не открывая глаз, он тихо поправил:

— Не Горье, а Семигорье. Мы там живём... И Юрочку я знаю...

Дядя Миша издал какой-то странный короткий звук, похожий не то на смех, не то на плач. Алёша открыл глаза и увидел Юрочку: та же сейчас тусклая и всё же уловимая лучистость глаз, те же губы, собранные в трубочку, — всё это пряталось в неопрятной бороде и усах, дополнялось широкой залысиной над энергичным лбом, но Юрочка перед ним был, на мгновение он явился...

Дядя Миша откинулся к стене, обе его руки упёрлись в пол.

— Бог ты мой! А кто-то утверждает, что судьбы человеческие устраиваются не на небесах... Но почему, Алёша, Семигорье? Вы же всё время были в Москве?! Впрочем, всё может быть, я мало следил за жизнью родственников... Ты знаешь моего сына?.. Тебе надо мне рассказать...

За стеной сухо треснул воздух — прозвучали две предупредительные очереди. Немцы не утруждали себя: когда приходило время очистить примыкающий к недостроенной фабрике открытый, обнесённый проволокой загон, где пленным разрешалось проводить день, охранник свышки давал две очереди. Через десять минут тысячная толпа должна была убраться за стены здания, кто не успевал — попадал под пули.

Алёша знал, что люди сейчас забьют всё помещение, вплоть до потолочного перекрытия на втором этаже, забьют так плотно, что до утра многие будут стоять, а то и висеть, сдавленные другими телами. Он поднялся, чтобы успеть пробраться на своё место в полуосыпавшемся тамбуре, где хотя и на острых битых кирпичах, но можно было лежать. Дядя Миша цепко прихватил его за полу гимнастёрки:

— Останься здесь, Алёша! Ты мне ещё не рассказал...

Пристроиться вдвоём в узком закуточке, где Михаил Львович пребывал, было невозможно. Он хотел сказать об этом, но спасающие себя люди хлынули через проход, словно поток воды в раскрытые створы плотины, оторвали его от что-то кричащего дяди Миши, погнали через лежащие на бетонном полу тела живых и мёртвых в дальний угол, где чернела дыра его тамбура.

Когда Алёша заполз на свои кирпичи, сдвинул из-под себя, насколько хватило сил, самые неудобные острые обломыши, лёг лицом вниз и затих, опирая лоб на подсунутые руки, он какое-то время ещё думал о дяде Мише и странностях человеческих судеб. Но в вялости души, идущей от обессиленного голодом тела, гасли, тушевались важные мысли. Забываясь в уже привычной болезненной полудрёме, он уловил в себе только две определённые, показавшиеся ему важными мысли. Подумал: «Дядя Миша старается об исповеди... Но почему молчит моя совесть? Только ли потому, что я ещё мало жил?!»

И ещё подумал с удивлением, с каким-то даже недоверием к тому, что в этот час ему открылось: «Оказывается, мы с Юрочкой какие-то там родственники?! Вот она, невероятность жизни! Но важно ли это теперь? А может, всё-таки важно?!»

4

Алёша слышал в эту ночь какой-то странный звук: «Триньк-треньк... Треньк... Триньк...». Звук был хороший. Из прошлой жизни. Такие звуки окружали его ночами на весенних разливах Волги, где в затопленной пойме, у дубовых грив, ещё удерживался лёд. Хрупкие иглы источенных солнцем льдин, подмываемые водой, с шорохом опадали, звенели чистым, печальным звоном. «Триньк-треньк...» — слышал Алёша звон рассыпающихся льдин: прошлое входило в затухающую в нём жизнь. Лежал он ничком на своём привычном месте, на битых кирпичках. Запавший живот, колени, руки уже не чувствовали ни холода, ни острых, как гвозди, углов; ему уже всё было равно — и боль, и голод, и сама жизнь. Только вот этот звук падающих ледяных игл: «Триньк-треньк...». Зачем доносился к нему из далекой теперь жизни этот памятный звук?.. Ах, вот — было. Было однажды что-то близкое тому отчаянию, в котором он сейчас. Было.

На разливах он стрелял селезней. Трое суток не выходил из лодки; в лодке спал, ел, с лодки стрелял и не видел ничего другого, кроме неба и серых льдин, истаивающих среди деревьев в ослепительной, сверкающей на солнце водополи. Наверное, он устал быть среди воды. Устал от одиночества, которое считал за благо. Вода вдруг стала пугать его текучестью, зыбкостью, плеском волн, шорохом и звоном рассыпающихся льдин. Странное чувство оторванности, заброшенности, ненужности, невозможности дольше быть в этой безбрежности воды охватило его. Беспокойство нарастало.

Он грёб всё убыстряя движение утомлённых рук, глазами выискивал хоть какую-нибудь, хоть малую земную твердь. Плыл долго, торопливо, изматывая себя, и, куда ни плыл, всюду была вода.

К закату солнца, в полном отчаянии, в объявшем его непонятном страхе, с мокрыми от слёз глазами, он наткнулся наконец на крохотный островок, едва заметный над водой. Уткнув лодку в береговую кромку, будто спасаясь от беды, он перевалил через борт, отполз на коленях, бросился к земле, сминая грудью сухую ломкую траву. Он вжимался коленями, ладонями, лицом в податливую земную влажность, стонал, смеялся, обнимал раскинутыми руками спасительную её твердь и чувствовал, как ответная живая сила земли снимает смятённость с его встревоженной души, успокаивает измученное неподвижностью тело...

«Триньк-треньк...» — слышал Алёша звон распадающихся льдин. Ему казалось, что снова плывёт он в одиночестве, среди безмятежности вод и нет на его пути даже малого клочка земной тверди, к которому он мог бы припасть. «Триньк-треньк...» — ломались льдины. Алёша вслушивался в опадающее их шуршание, в печальный их звон и старался понять, зачем идёт к нему этот звук? Не затем же, чтобы вспомнил о жизни в эту ночь, которая будет последней его ночью?

Он ещё может вернуть себя для жизни. Не для той, настоящей, которой жил. Для другой, но тоже жизни. Надо только подняться, дотащиться до ворот лагеря, пока это ещё дозволено ему, пролепетать слово, только одно слово, которого так ждёт Леонид Иванович Красношеин. И ворота откроются. И там, за воротами, дадут ему еду. Не просто еду — сытость. И вернут жизнь. Волю. И наслаждения, чувствовать которые могут только живые. Всё дадут ему, что нужно молодому, сильному. И возьмут — не сапоги, не руку, не ноги — возьмут самую малость, самый пустяк по сравнению с самой жизнью — совесть. Его совесть. Одну только совесть. Только совесть.

У него хватило бы сил подняться, пройти лагерным двором. У него не было сил выговорить нужное им слово. Последние свои силы он оставил на то, чтобы исполнить долг перед своей совестью. Он это решил. Не сейчас, не на этих битых, острых, как гвозди, кирпичах, не в эту холодную ночь уже близкой осени. Он решил это ещё в самолёте, на высоте тысячи метров, когда все они, десантники, тесно прижавшись друг к другу, ничего не слыша из-за гула моторов, летели в черноте ночи, уповая только на судьбу и командиров. Тогда в напряжённом ожидании, в общем молчании, чувствуя своих товарищей-солдат только локтями и плечами, отяжелёнными парашютом, автоматом и гранатами, надеясь и всё-таки не зная, что грозило им у незнакомой деревушки с неулыбчивым названием Погост, где с воздуха они должны были вступить на занятую врагом землю, ещё там, в замкнутом глухом пространстве самолёта, он решил, как будто врезал в свое ясное сознание, что, если случится худшее и не будет для него другого исхода, кроме неволи, он сам оборвёт свою жизнь. Так он решил, и решение своё исполнил бы, если бы по чистой случайности они, трое, не оказались за чертой того огненного круга, который с безжалостной расчётливостью подготовили десантному батальону враги. Он не знал, что на пути его встретится Красношеин. Он ещё надеялся обрести честную свободу. В безысходности все надеются на чудо. Чуда не случилось. Сил у него осталось только на то, чтобы исполнить свой долг перед совестью. Исполнить то, о чём с твёрдостью он решил в самолёте. Нет, не в самолёте. Там, на высоте тысячи метров, ясным стало то, что было в нём прежде.

Ещё тогда, когда в жаркий августовский день обоз увозил его вместе с другими парнями на войну и телега, на которой сидели они, перекатила по шаткому мосточку через Туношну. Тогда. А может, ещё раньше...

Сознание его пульсировало. В памяти то вспыхивали ясно и близко какие-то, может быть, не самые важные дни прожитых лет. То память затухала, и ночь, затиснувшая его и сотни таких, как он, в тесноту каменной коробки, шелестела дыханием, хрипами, стоном, вдруг взрывалась коротким тоскливым криком — каждую ночь кто-то срывался с бетонной без перил лестницы, крик обрывался мягким ударом о бетонный пол. И снова — шелест беспокойного дыхания многих людей, хрипы, стоны. Вдруг в памяти светлело, от видимых озарений прошлого, и проступал в сознании день.

В этом дне, в неподвижности, томилась Волга. С ним рядом — Витька Гужавин, оба — в июльской неге: ноги в воде, руки и головы на горячей кромке песка; под втянутый, ещё напряжённый дальним заплывом живот подкатывается от вольного дыхания Волги и отходит прохлада воды, и думается, и верится, что Волга будет рядом вечно, до ещё невидимого конца их жизни. Плицами огромных боковых колёс плюхает идущий по стрежню пароход с высокой дымящейся трубой, с весёлыми людьми на палубе. «Пух-пух-пух» — бьют колёса по воде, гладь Волги поднимается, волнами расходится до берегов. Вслед за волной, окатывающей их, лежащих на песке, от парохода доносятся весёлые голоса, поющие навсегда принятую страной «Катюшу». И когда пароход, натужно одолевая невидимое глазу могучее движение реки, уходит и затихает вдали песня, с берега где-то укрывшаяся от глаз Зойка для него же допеваает тоненьким верным голоском:

И бойцу на Дальний пограничный
От Катюши передай привет...

Память мечется, открывает лицо мамы, взгляд её, незабываемый её взгляд, тревожный и печальный, как будто о чём-то молящий. Когда он видел этот мамин взгляд, становилось трудно дышать. Он знал, что за этим её взглядом стоит их жизнь, которая устраивает отца и его Алёшу, и не устраивает маму. Он чувствует, чувствует даже сейчас горестную свою вину перед мамой. За прошлое. И за то, что случится, скоро случится, как только он додумает до конца. Память его рядом с мамой. Она уводит в дальнюю даль, когда он был ещё маленьким. Ожившая память даёт увидеть другую маму, молодую, красивую, в той удивительной волевой собранности, которую она умела проявлять в несчастиях. Вот она, мама, в далёком Хабаровске, в каких-то просторных помещениях у себя на службе, с ним, до ужаса окровавленным.

Он помнил: больше всего на свете мама боялась за его глаза. Не видеть мир! — большей трагедии она не представляла. И вот он с проткнутым, залитым кровью глазом перед ней, испуганный и молчаливый; скользя на санках с горы, он хотел затормозить, воткнул перед санками железный прут, и другой его конец вошёл в глазницу.

Если бы тогда он увидел ужас на лице мамы, он бы, охваченный её ужасом, надломился и забился бы в истерике. Но нервное потрясение двоих мама приняла на себя, взглянула, и взгляд её отвердел непонятной тогдашнему маленькому Алёше силой. Спокойно, будто была у него царапина, требующая простого йода, она взяла его за руку, быстро повела куда-то вниз; там, внизу, перед раковиной, так же быстро и спокойно смыла с его лица и с глаза кровь, и только тогда, когда он сказал: «Я тебя вижу, мама, этим глазом», лицо её задрожало, из глаз на побелевшие щёки покатались слёзы. Он плохо понимал маму. Он не понимал главного: все его боли были её болями, каждый дурной его поступок оплачивался её страданием... А в памяти уже бился шум ликующей Москвы. Дни народных встреч: сначала челюскинцы, потом Чкалов, потом Громов. Улица Горького, стиснутая радостными людьми, открытые длинные машины, увитые цветами, и над ними — между высокими домами — рукотворная метель листовок. Он, Алёша, распалённый общим ликованием, вместе с мальчишками своего двора, кидал и кидал листовки с крыши их высокого дома и по-детски огорчался тем, что брошенные им белые листки, подхваченные сквозняками, слишком долго качались в шумном пространстве улицы и не попадали к героям в быстро идущие машины. Первые герои страны! Как нужны они были им, растущим мальчишкам. Как зовуще входили в душу, в память, навсегда связывали их жизнь с жизнью и славой Родины! Они и сейчас были в его памяти. И согревали идущей из души теплотой его готовое к смерти тело. Прижимаясь к холодным острым кирпичам, задыхаясь от наплывающих чувств, Алёша думал: «Господи, как дорого всё, что было! И невозможно от того, что было, уйти. И не забыть, пока жив! Всё прошлое — во мне. И сам я — его часть...»

Пора. Пора идти. Сейчас он встанет, выйдет в истоптанный ногами, исползанный телами двор. Его услышат, осветят. И если узнают и не станут стрелять, он подойдёт к Кривошеину или к немцу-охраннику. Подойдёт и ударит. И всё кончится. Всё просто. Надо только подняться.

Он пододвинул ногу под живот, коленом оперся о твёрдый выступ кирпича; опираясь руками и коленями, приподнял своё безразличное к боли тело. Сел, смутно различая пролом в стене. Попробовал встать, не осилил: ноги подогнулись, он повалился на опостылевшую россыпь кирпичей.

Постанывая, сел, почувствовал чью-то руку на своей руке, услышал быстрый шёпот:

— Товарищ лейтенант, это я, Малолетков! Тут хотят поговорить с вами. Не сердчайте, доверьтесь...

Алёша не удивился ни шёпоту Малолеткова, ни тому, что кто-то захотел с ним говорить, — он уже ничему не удивлялся. И свою руку не отнял, не отодвинулся, когда чья-то чужая рука сжала его кисть и сдержанный, в прошлом явно командирский, голос спросил:

— Вы не могли бы объяснить, лейтенант, что за отношения у вас с полицаем?

Алёша чувствовал, что вокруг него стоят ещё люди и человек, который с ним говорит, опирается на силу этих людей. Он это почувствовал, усмехнулся, подумав, что окружившие его люди хотят совершить над ним свой праведный суд. Он собирал силы, чтобы дойти до смерти, а смерть, оказывается, подошла сама. В обиде на людей, которые не могли, не хотели его понять, в равнодушии к тому, что сейчас с ним произойдёт, голосом усмешливым, даже вызывающе, сказал:

— Вам-то что за забота! Пришли, так добивайте...

И тут же услышал нетерпеливый, явно взволнованный шёпот Малолеткова:

— Да не сердчайте, товарищ лейтенант! Доверьтесь. С вами Капитан говорит. С добром мы. Надёжа на вас большая!.. Держите-ка вот. Вашу долю отложили.

Алёша почувствовал в ладони царапающую жёсткость сухаря, втиснутую ему в пальцы округлость картофелины; неожиданное участие надломило его.

— Плачет, — сказал Капитан; он не отпускал его руки и, наверное, почувствовал упавшую слезу. Он подвинулся вплотную, обдав запахом пота и нечистоты; провёл пальцами по руке безвольно опущенного плеча, словно щупал у него мускулы; сжал с силой, как будто старался взбодрить больно; сказал невесело:

— Не дури, лейтенант. Не по годам принимаешь беды. А вытерпеть надо. Надо, лейтенант. Из такого рая вырываются только терпеливые. Дом-то твой далеко?

Алёша плохо слышал, что говорил Капитан, немо глотал слезы, чувствуя, как унизительно вздрагивает плечо под чужой рукой, и боялся, что проявивший участие человек снимет сейчас с его плеча руку и снова он останется один на постылых кирпичках, в трудном ожидании смерти. Капитан не снял руки: он как будто стараясь вернуть сознание Алёши к началу, важному для него и людей, молчавших близко в темноте, с настойчивостью спросил:

— Так где твой дом, лейтенант?

— На Волге! — где ж ещё... — со злым надрывом ответил Алёша; резкостью он старался вернуть себя в ту действительность, в которой сейчас был. Как будто это ему удалось, и Капитан, кажется, его понял. Он спрашивал теперь быстро и требовательно, узнавая то, что ему было нужно, и Алёша подчинялся его воле. Он чувствовал, что жалость и участие кончились, что людей, собравшихся вокруг, интересуют его отношения с Кривошеиным, и понял, что его судьба и судьба этих людей завязываются сейчас в один узел.

Капитан спрашивал, Алёша отвечал:

— Куда водит тебя полицай?

— К себе в дом.

— Что хочет?

— Зовёт немцам служить.

— Почему выбрал тебя?

— Жили бок о бок. Думает, одного поля ягода.

— Разговор в доме без свидетелей?

— Без...

Капитан молчал, как бы давая невидимым Алёше людям вникнуть в его ответы, вдруг жёстко, в упор, спросил:

— Убить сможешь?

Алёша понимал серьёзность разговора и всё-таки не удержался, усмехнулся в темноту:

— Давно бы убил. Сил нет.

— Ну, в этом поможем. Итак...

... Впервые Алёша коротал часы не на острых, как гвозди, кирпичах, а на охапке соломы, брошенной на каменные плиты. И хотя соломы было чуть и пахло от вороха гнилью, он рад был тому, что вытянулся, что мог наконец уронить вдоль боков руки; рядом с ним, оберегая его, лежал с одной стороны Малолетков, с другой — Капитан.

5

Красношеин перехватил руку, нажал на запястье - нож выпал из пальцев Алёши.

— Хреновину задумал, Лексей! — Голос его был глух и насмешлив. Половинка высокой луны, попавшая в разрыв туч, осветила его лицо; Алёша увидел, что смотрит он вприщур и совершенно трезвыми глазами. За плечами Красношеина паутинно отсвечивали сплетения колючей проволоки; готовыми виселицами в ряд стояли ограждающие лагерь столбы.

А позади, в развалинах бывшей котельной, таились трое, среди них Капитан, который так и не открыл своего имени. Капитан руководил побегом; он приказал ему вызвать Красношеина, убить, дойти до ворот, снять охранника. План был плох, опасен, это понимали все, но другого не было дано: через день пленных должны были раскидать по лагерям, и надежды всех троих теперь сходились на Алёше.

Двадцать шагов до развалин. Но эти двадцать шагов ни Малолетков, ни Капитан не пройдут живыми: Красношеин крикнет — немец-охранник очередью от ворот всех положит на землю.

Алёша был обречён. Наверное, обречены были и те — трое; они уже выползли из стен завода на лагерный двор, уже переступили дозволенную им в ночи черту. Алёша стоял перед Красношеиным, с отчаянием обречённого выбирал, куда вернее ударить, чтобы без звука, хотя бы на полминуты, Красношеин упал. Он старался сейчас об одном — чтобы трое следящих за ним из-за разбитых стен котельной поняли, что он не предал их.

— Долго думаешь, Лексей! Я б тебя три раза пришиб, ежели б нужда была. Хватит дурака валять, зови своих! Знаю, не один в бега собрался. — Собрав остаток сил, уже в бездумном отчаянье, Алёша ударил, стараясь попасть под грудь. Но то ли он был слаб, то ли Красношеин слишком крепок, удар даже не покачул его. Каким-то ленивым, привычным ему движением он заломил Алёше руку за спину, с силой притянул к себе.

— Негоже так-то! Не по-дружески! — Он прижал его так плотно, что худой своей грудью Алёша чувствовал литую красношеинскую грудь, сказал внушительно:

— Не теряй время, Лексей. Кличь своих. Ну!..

Лица их почти касались.

Алёша пробовал плюнуть в отвсечивающие белки красношеинских глаз, но рот его был совершенно сух, не набрал даже привычного сгустка крови.

— За дёшево покупаешь, Леонид Иванович! — Голос его сорвался от ненависти и бессилия.

— Дура! С вами ухожу... — Красношеин тоже терял спокойствие. — Без меня ни тебе, ни им, — он кивнул на развалины котельной, — не выйти.

Он отпустил Алёшу, поднял прижатую сапогом к земле финку, лезвием сунул в рукав.

— Скажи своим, охранника притишу. Не того надо бы, да... — В хрипловатом его голосе прорвалось что-то вроде сожаления. — Хрен с ним, всё одно немец... Следи за мной. Как в воротах встану, пластайтесь по одному на выход. И тихо чтоб! Ну?!

Он толкнул его в спину, вывел на середину двора. Алёша заученно поднял руки, медленно пошёл по открытому пространству к пролому в заводской стене, показывая себя охраннику у ворот. Красношеин стоял открыто, расставив ноги, предупреждая охрану, что стрелять не надо. Войдя в черноту стены, Алёша пополз к развалинам котельной. Не отрывая щеки от холодного кирпича, глотая слова от волнения и отдышки, рассказал, как случилось у него с Красношеиным.

— Продаст, сволочь, — выдохнул Малолетков, голос его сорвался в тоскливый всхлип.

Капитан поднял голову, молча слушал осторожную на звуки ночь. Алёша тоже приподнялся на локтях, вглядывался в перетянутые проволокой ворота. Он чувствовал свою вину перед лежащими рядом, измученными ожиданием людьми и, тревожась неожиданным поворотом событий, старался поверить в то, что Красношеин не готовит им смерть.

У ворот вспыхнуло полуприкрытое пламя зажигалки, озарив два склоненных лица, две сигаретные точки, то раскаляясь, то тускнея, краснели некоторое время в темноте почти рядом.

Терлась сухая трава об ограду. Луна, как жёлтая рыбина, пробивалась сквозь сети раскинутых по ночному небу облаков; осветлённые по краям, в середине — тёмные, как будто сачки, раздутые напором движения, они захватывали, глушили луну; но свет её снова пробивался сквозь облачные разрывы, тускло и ненужно высвечивал истоптанное пространство лагерного двора. От станции докатился дробный стук буферов. Паровоздохнул шумно, тронул состав, повёл, пыхтя сначала редко, потом учащая свое сильное, отчётливое дыхание. Пыхтение скоро слилось с перестуком колёс, шум движения тяжёлого состава постепенно заглох за тёмным пространством притихшего города. У Алёши сжалось сердце: знакомый с детства, всегда влекущий перестук колёс, пыхтение паровоза заглохли в той стороне, куда должно было уходить им.

В тишине вновь устоявшейся, слабо скрипнула петля. Алёша не поверил, подумал, что ослышался, но Капитан, чутко слушавший ночь, прошептал:

— Ворота он не закрыл...

Тишину вдруг порвал крик, даже не крик — дикий предсмертный вой; мягкий удар донёсся из-под стен заводского корпуса. Никто не пошевелился: каждый знал — с лестничного пролёта сорвался и разбился о бетонный пол ещё один обессиленный солдат.

— Слушай меня, — тихо и властно сказал Капитан, он принял решение, и все это почувствовали. — Лучше умереть у ворот, чем подохнуть там... На выход, лейтенант...

Алёша почувствовал: его настойчиво подтолкнули. И в эту минуту заметил, как за воротами, осыпая искры, пал на землю тусклый папиросный огонь.

В возбуждении он сжал руку Капитана: в проёме ворот встала тёмная фигура. Подбадривая, капитан тихо сказал:

Страшны у чёрта рога, да чёрта на свете нет... Давай, лейтенант!..

6

Никто из них не верил, что мир уже не захлестнут колючей проволокой, не придавлен настороженными глазами пулемётов, что они на воле и каждому дозволено выбрать себе путь.

Рядом с незнакомым Алёше молчаливым высоким бородачом, с жёлтым, нездоровым лицом и чёрными круглыми глазницами, из которых измученные глаза глядели порой сверкающе остро, лежал Малолетков лицом к небу. Он прежде других отдышался от бега, взгляд его блуждал по светлеющему над лесом небу, руки мяли траву, недоверчиво щупали землю; заросший по квадратным скулам каким-то птичьим, грязным пухом, он судорожно икал и смеялся, и слёзы текли по его страшным лиловым щекам. Капитан тоже не мог выговорить ни слова: держась рукой за грудь, дышал, всхрапывая, как запаленная лошадь, исцарапанным лбом елозил по стволу берёзы, то ли не в силах захватить открытым ртом воздух, то ли скрывая неположенную радость. Красношеин один стоял в неподвижности, приобняв ребристый ствол пулемёта, вырванного из рук убитого им немца-охранника.

Алёша из глубины сосновой поросли, куда он завалился, сладостно исколов лицо и руки мокрой от росы молодой хвоей, не сразу заметил, что Красношеин чужд общей их радости. Только надышавшись лесной пахучести, наяву заслышав ниспадающий с вершин вольный шум бора, он поднял из поросли просветлённое лицо и сквозь капли росы, смочившей стёкла очков, взгляделся в отчуждённое его лицо. В счастливые минуты освобождения он не хотел ни расплаты, ни крови, ни своих, ни чужих страданий, и усмешливо-тяжёлый, устремлённый на него, будто знающий всё наперёд, взгляд Красношеина его смутил.

В том, что Леонид Иванович, распахнувший им ворота на волю, стоял в стороне, не делил с ними радость свободы, была явная несправедливость. Он поднялся подойти, разрушить ненужную теперь между ними отчуждённость, но Красношеин как будто понял, зачем он идёт, и поторопился, ни к кому определённо не обращаясь, сказать с грубоватой прямоотой:

— Вот что, люди. Рассиживать недосуг, ежели не желаете обратным ходом за проволоку. Уши есть, так слушайте! Дорогами не шастайте, лесами идите. На Смоленск пути нет. Забирайте на Духовщину. Там партизан навалом. Ну, а дальше... Дальше вроде бы всё... — сипло проговорил он, и Алёша понял, что этим «всё» он сам отделил себя от них. Но твёрдости в будто запнувшемся его голосе не было, какая-то надежда ещё теплилась в тяжёлом его, взгляде, и Алёша уловил эту теплившуюся в бывшем, леснике надежду и, стараясь показать Красношеину, что надежда его не напрасна, сказал:

— А вы, Леонид Иванович? Разве не с нами?! — Он твёрдо знал: беда не делит, беда соединяет; вместе бежали, вместе вязать и судьбу. Он так понимал справедливость и не сомневался, что так же думают Капитан, и Малолетков, и, тот, болезненного вида, высокий человек в порванной солдатской гимнастёрке, который не произнёс ещё ни слова. Волнуясь непонятным ему недобрым молчанием, пугаясь этого молчания, он торопливо говорил:

— Вместе вышли, вместе и пойдём! Правда, товарищ капитан?!

Капитан молчал. Он глядел на Красношеина исподлобья пристальным, немигающим взглядом, и Алёша, остывая от сполоха первых, захмелевших его чувств, понял, что Капитан думает не так, как думает он. Под взглядом Капитана холодели его чувства, и всё отчетливее он сознавал, что Красношеину, даже после того, что сделал для них, пути с ними нет: они шли на Родину, у Красношеина Родины не было. Алёша понял это. Понял и Красношеин. Он усмехнулся; трудно давшаяся усмешка скосила вдруг побледневшее его лицо. Тут же кровь снова прихлынула к крепкой его шее, на тугих выбритых скулах проступили белые пятна. С отработанной ленивой небрежностью он кинул пулемёт на плечо, сказал уже с обычной своей спокойной ленцой:

— Добрая у тебя душа, Алексей. И на кой хрен ты в войну ввязался? У него вон учись... — Он кивнул в сторону Капитана. Красношеин казался теперь невозмутимым, но Алёша видел, как по-недоброму щурятся его глаза, — он сосредоточивал себя на какой-то тёмной мысли.

— Вообще-то, — сказал он, растягивая слова. — Вообще-то, на такое можно бы и по-другому ответить... — Он спустил с плеча пулемёт, перехватил рукой у ствола, подержал на весу, в угрожающей готовности. — Да не к чему. Всё. С обоих концов себе дорогу обрезал...

На Капитана он не смотрел; Капитан, сутулясь, стоял шагах в трёх, настороженно приподняв подхваченный ещё там, у лагерных ворот, карабин.

С подчёркнутым безразличием он даже, отворотившись от Капитана; опираясь на ствол пулемёта, пристально глядел на Алёшу из-под козырька шюцкоровской кепчонки, давал понять всем бывшим тут, что только он, Алексей, ещё имеет для него какое-то значение.

— Скажи ему... — голос Красношеина опять осел, он со злостью прокашлялся. — Скажи ему: с вами не пойду. Поберегу его биографию... Ладно. Всё. Не на посиделках, мать твою в душу! — вдруг крикнул он, грубостью окрика задавливая в себе последние проблески надежды. — Двигайте, как сказал! И благодарите штурмбанфюрера за то, что оставил в охране только пару овчарок. А то бы сбежали на тот свет! Хрен с вами, овчарок пристрелю. А без собак немцы в лес не ходят... Всё. Теперь всё! Двигайте!.. А ты, Алексей, погоди...

Алёша, уже было покорно шагнувший вслед за Капитаном, остановился. Красношеин, приклонив голову, с жадной настороженностью следил за ним, как будто ему важно было знать, с каким чувством, он сейчас подойдет. Алёша сознавал, что Красношеин имеет право остановить его, и, неуклюже, переставляя стёртые в тесных, ссохшихся ботинках ноги, пошёл к нему. Он заметил, что Капитан, Малолетков и высокий, болезненного вида человек остановились, чувствовал, что они не одобряют его, что тревога их нарастает, что всем им надо как можно скорее уходить, но не подойти к Красношеину он не мог. Он повернулся сказать, чтобы они шли, что он их догонит, и на мгновение оцепенел от того, что увидел: Капитан, застыв лицом, щуря холодные глаза, поднимал карабин, нацеливая его в грудь Красношеину. Стыд, боль обожгли Алёшу, он метнулся к Капитану. Молча стоял перед карабином, сдавив свои чёрные, опухшие губы; он смотрел в упор, сбивая взгляд сощуренных холодных глаз Капитана. Капитан до дрожи раздул ноздри тонкого горбатого носа, отвёл карабин. Опустил вскинутый пулемёт и Красношеин, сказал невесело:

— Славь бога, Капитан, что мой землячок тут оказался! А то бы всем вам лежать в кирпичках на лагерном дворе. На свободе, смиренько, без забот! Карабином размахался! В себя стрелил бы, Капитан. Собак не задержу — всем вам конец. А потому слушайте; что говорю! Ступайте. В бору дожидайте. Свой у нас разговор с земляком. Свой! — Наклонив голову, Красношеин ждал, когда исполнят его волю; плечи его нетерпеливо подёргивались, руки мяли ствол пулемёта. Он зорко перехватил злой, тревожный взгляд Капитана, брошенный на Алёшу, сказал, смиряя себя:

— Иди, Капитан, не печалься. Алексей мне сейчас всех вас дороже... Нужен он мне, можешь ты это понять? На два слова нужен!..

Трое молча проломили густую поросль сосен, ушли, сбивая с влажной мохнатости ветвей росу. Алёша проводил их обеспокоенным взглядом, вопросительно посмотрел на Красношеина.

— Приземляйся, — сказал Красношеин и первым сел, положив у ног пулемёт. Он не привалился спиной к сосне, как делал с ленивым удовольствием когда-то; сидел прямо, в неловком напряжении, как будто даже под сосной не было для него теперь места; в молчании нашарил шишку, подкинул на ладони. Солнце из-за края леса светило на латунно-жёлтый шелушащийся ствол сосны, освещало знакомое, заостренное к подбородку лицо Красношеина, пустую встопорщенную шишку на его раскрытой ладони, и Алёша с пронзительной болью узнавания опять подумал: жизнь повторяется. Было это, уже было! Вот так же сидели он с Леонидом Ивановичем под сосной в Разбойном бору, так же лежала на его ладони шишка, и разделял их тогда только лист бумаги, исписанный старательной красношеинской рукой, — лист протокола на порубщиков, родственников Рыжей Феньки. Тем листком бумаги Красношеин испытывал его живую веру в справедливость! Жизнь повторялась: снова они в бору, друг против друга, под освещённой солнцем сосной. Только не листок протокола разделяет их — между ними отсвечивает чернотой металла немецкий пулемёт; и не тёмно-синий френч лесника на Красношеине — его плечи и грудь облегает голубоватая поношенная немецкая куртка с отложным воротом и нашитым выше грудного кармана серебряным орлом. В неприязни к чужому мундиру Алёша сквозь очки, косо сидевшие на опухшем носу, через силу смотрел в лицо Красношеина и только теперь разглядел на привычно-красном, всегда как будто умасленном сытостью, его лице мешки провисшей под глазами кожи, сами глаза, набухшие сетью кровавых жил, воспалённые, замутнённые скопившейся где-то за глазами тоской. И опять сквозь мученическую череду дней, по которой протащился он по вине этого отступившего от Родины человека, пробилась к его, казалось бы навсегда ожесточившемуся, сердцу всё та же, знакомая, живучая, всегда предающая его жалость. Красношеин, в котором ничего уже не было от вольного, уверенного в себе, удачливого лесника, коротким широким дрожащим пальцем, на котором чернел свежий натёк крови, с тупой настойчивостью отламывал чешую с влажной, тронутой глением шишки, и Алёша с удивлением чувствовал, что неуголённая, казалось, навечная ненависть к сидящему перед ним в чужом потёртом мундире Красношеину, которого он готов был и мог убить, отпустила его. Он сострадал сейчас Красношеину, которому некуда было идти. И, сострадавая, думал, что Леониду Ивановичу уже не отойти от края, на который он сам себя поставил.

Здесь закончится его жизнь; здесь смешается он с бурой, примятой дождями и временем хвоей, на которой в неловкой напряжённости сейчас сидит; с ней уйдёт беспamięтно от живого света солнца в податливость всё и вся принимающей земли.

Красношеин отбросил ободранную шишку, пятернёй сдвинул своё широкое колено; натянулась, побелела на его руке кожа, казалось, ещё усилие — и кожа лопнет, обнажая суставы и кости. Он хотел говорить, но слова, которые были ему нужны, будто выросли в неподвижную его душу. Когда он всё-таки заговорил, он выворачивал из себя слова, будто пни:

— Ты, Алексей, меня по живому резал. Тебя, хилияка, ломаю, а хрустит во мне. Чего-то я не углядел. Считал, все мы одного дерева шишки! Пока нужда, жмёмся. Оторвались — вроде бы и дерево ни к чему. А ты... Поначалу потешил ты меня. Думаю, во, и тут кобенится! Ни папы, ни мамы рядом, ни комсомола. Смерть у глаз! А он пуговицы на шкуре застёгивает!.. Зарок дал — душу твою до дна вывернуть! Думал, нутро, что у тебя, что у меня, одно. Шелуха разная, а нутро — одно. До ночи до сегодняшней верил, что выверну, вытрясу тебя. Папенькиного сынка, столичную штучку, с собой рядом поставлю! Всё легче помирать, когда такой, как ты, и — рядом... А как с ножом на меня вышел — подсёк. Подсёк, Алексей. Ведь на смерть шёл!.. Сам!.. Меня ты не кляни. Службы этой самой я не искал. Попал, как другие в сорок первом попадали. Когда выбирать пришлось, куртку эту вот выбрал. Думал, у них жизнь! Нету у них жизни, Алексей. Порядок, ничего не скажешь, есть. Только от этого порядка — холод в загривке. Нагляделся. Такого нагляделся — не приведишь тебе увидеть! Прошлой жизни жалко, Лёха. И Семигорье наше никуда не делось — всё во мне. Как завяжется в памяти — выть готов, ровно волк недобитый!..

В шуме леса Алёша уловил западающий от далёкости лай. Услышал собак и Красношеин; на вдруг затвердевшем его лице испуганно заметались красные, воспалённые глаза. Какое-то время он слушал, напрягая широкую, сильную шею, медленно отёр рукавом проступивший на лбу пот, присвистнул невесело:

— Ну, кажись, время кончилось! — Он встал, какая-то бесшабашность появилась в усмешливом его взгляде, он попытался даже улыбнуться. — Ты вот что, Алексей: скажи Васёнке про всё, как есть. Нет, погоди. Про это вот самое, — он подёргал ворот куртки, — не говори. А про то, что сейчас на этом месте будет, про то скажи. Ну, топай! Обняться не хочешь? Хрен с тобой... Погоди, вот... — Из кармана куртки он вытянул компас, бросил Алёше. — Думал сам уйти, да меня теперь никакой компас не выведет!.. Ну, прощай... — Он оглядел себя, рванул полы, обрывая железные пуговицы, сбросил куртку с плеч.

— Помирать, так не в чужой шкуре... Торопись, Алексей! Без собак за тобой не пойдут! Но отсюда убирайся. В леса убирайся. — Он гнал его и как будто не верил, что сейчас он уйдёт.

Алёша видел, как в белой исподней рубахе он распластался под сосной у раздавшегося её комля, повернул пулемёт в ту сторону, откуда только что, задыхаясь, они шли. Лай слышался уже отчетливо. Алёша пятился, быстро приближающийся лай как будто раздвигал его и Красношеина. Спиной он вмялся в холодные от росы молодые сосны, повернулся и, задыхаясь от слабости и торопливости, побежал, прикрывая рукой лицо от мокрых ударяющих веток.

Капитана, Малолеткова и молчаливого человека с нехорошим от худобы лицом он догнал на увале. Отсюда, с увала, они и услышали первую, гулко раскатившуюся по лесу пулемётную очередь. Услышали и собачий визг, тут же заглушённый второй, короткой очередью. Алёша, дрожа от сознания совершающейся несправедливости, не сводил глаз с Капитана. Капитан видел его взгляд, и сжатые сухие его губы нервно подрагивали в презрении к нему. Капитан повернулся и первым молча побежал с увала вниз, в затенённую глубь пахнущего сыростью леса.



ИВАН ПЕТРОВИЧ

1

Снова, как три года назад, лошадка бежала по поляне, через овраги, от деревни к деревне, по слабо наезженной даже за долгую зиму дороге, в дальний от Волги край.

Только не красавица Майка, с гордо вскинутой головой, мерила расстояния тонкими быстрыми ногами, а маленький черногривый азиатский меринок (с начала войны этих выносливых лошадок поряточно завезли в леспромхозы от монголов) ровно трусил, пошумливая сбруей. И рядом с Иваном Петровичем в тесной кошёвке сидел не рассудительный, доброй памяти, конюх Василий Иванович, а утонувшая с головой в большом дорожном, как и у него, тулупе Серафима Галкина, с чьей судьбой столкнулся он по общему несчастью; Серафима так и осталась в посёлке, привязанная к нему благодарностью за оказанное ей человеческое соучастие.

И Василий Иванович, и Майка были на войне. На Майке, наверное, красовался какой-нибудь молодой кавалерист-генерал – отменно хороша была молодая кобылица! – и, подумав так, Иван Петрович подумал об Алёше, и тотчас прижала сердце непритихающая тревога за его жизнь. Он хотел заговорить о сыне, вызвать Серафиму на утешающий разговор, но промолчал – у женщины хватало своих забот: муж в отходе по трудовинности, пятилетний сын на всю их долгую поездку оставлен без материнского глаза, под присмотром живущей у неё эвакуированной немощной учительницы.

Война всё время присутствовала в сознании Ивана Петровича, и всё, что случалось на войне, что доходило до него через утренние и вечерние сводки, через рассказы людей, там побывавших, отзывалось в нём то гордостью и надеждой, то угрюмой болью. Он мог молчать, мог говорить о будничных, житейских делах, но война, идущая в невидимом ему отдалении, пульсировала в нём, как ток собственной крови, то затихающие, то оглушающие её удары он чувствовал каждую минуту.

После Сталинградской битвы, после победы под Курском и Белгородом, когда в московское небо взлетели первые победные салюты, Иван Петрович успокоился за общий исход войны, и только тревога за Алёшу нет-нет да туманила его нетерпеливое ожидание победы.

Но жизнь, не там, где были фронты, а здесь, в глубоком зимнем затишье приволжских лесов, пока не менялась, шла в тех же, установленных, повторяющихся изо дня в день трудовых заботах. И, привыкнув к этим обязательным, нужным войне заботам, и к другим, мелким, но тоже необходимым заботам по дому, которые хотя и в спешке, но равно он старался делить с Еленой Васильевной, Иван Петрович уже не ждал перемен в своей жизни, по крайней мере до ожидаемого теперь конца войны. И вдруг этот вызов, да ещё к самому Никтополеону Константиновичу Стулову!..

В белом пустынном далеке изредка проступало пятно встречного возка, постепенно сближалось, обозначивалось лошадей, санями, бородатым лицом мужика, выглядывающего из-за лошади, слышался беспокойный отклик: «Эгей!.. Разминёмся ли?!» Мужичонка предупредительно соскакивал с саней, утопая в снегу, обводил под уздцы лошадь целиной, и – снова бежала под полозья безлюдная, с желтоватостью редкого лошадиного помёта, неровная стежка одинокой среди снегов дороги, открытые матово-синие взгорки, тёмные клинья залесенных оврагов, деревеньки по косогорам с редкими дымами над ватно-пухлыми крышами, сплошь засугробленные леса вдоль невидимой Нёмды да широкий прогляд небесной синевы сквозь морозный, стоящий над полями туманец, — простор, тишь обезлюдевшей в войне России!

Что-то невыразимо грустное, светло-печальное рождалось от вида пустых полей, деревенского безлюдья, одиночества их возка в снеговых просторах, от общей нетронутости игристого холодного сверканья в снегах и в самом воздухе.

И долго ещё, пока в неспешной торопливости они ехали, казалось, по нескончаемой дороге, держал Иван Петрович у сердца это щемящее и тревожное ощущение Родины.

2

Жизнь в своём извечном движении по огромным галактическим спиральям, по спиральям земным и по крохотным спиральям отдельной человеческой судьбы завершала очередной свой виток, - повторялось то, что уже было: снова, и по вызову товарища Стулова, Иван Петрович ехал теми же зимними дорогами, с такими же раздумьями о себе, о том, что могло его ждать в ещё не скором конце пути.

Нельзя сказать, что неожиданный и категоричный (как всё у товарища Стулова), срочный вызов в обком партии совершенно не волновал Ивана Петровича: проехать на лошади почти две сотни вёрст пустынными зимними дорогами, при общей скудости жизни военной поры, уже было заботой.

Но само душевное состояние, в котором он ехал теперь, заметно отличалось от прошлой, памятной ему, поездки. Какой-либо вины, за которую предстояло бы оправдываться, он не знал за собой; причину вызова предугадывал, хотя бы по тому, что, прежде чем явиться в обком, должен был заехать в леспромхоз «Северный», на месте, как указывалось в телеграмме, ознакомиться с положением дел. Означать это могло лишь одно: «Северный» выбился из плановых заданий, и товарищ Стулов вынужденно отступал от своих, жёстких по отношению к нему позиций. Всем опытом большой и малой своей работы Иван Петрович знал, что ощущение прочности своего бытия человек обретает не от состояния собственного здоровья и не от благополучия в домашнем своём устройстве – ощущение прочности жизни и душевного спокойствия всегда приходило к нему от дела, успешности дела. Дело было главной опорой его жизни. И чем крепче, лучше, зримее образовывалось его усилиями большое, малое ли, в столице или в глухом, не очень-то приметном уголке России порученное ему дело, тем определённое, прочнее становилось и душевное его состояние. Такое устоявшееся ощущение прочности было у Ивана Петровича теперь, когда неумело успокоив Елену Васильевну, он отправился в дорогу. И, ощущая своё душевное спокойствие, он определённо знал, что шло оно от успешности того, пусть малого, но нужного дела, которое сейчас он исполнял. Когда по зимней Волге, санными дорогами, приходили в посёлок обозы, загружались ружейными болванками, сухо постукивающими на морозе лыжами, гладкими шуршащими листьями авиационной фанеры, производство которой с трудом, но удалось ему наладить в небольшом своём леспромхозике; когда по весне, по мутным беспокойным волжским водам, буксиры уводили длинные, медлительно изгибающиеся плоты, красновато отсвечивающие в жарком солнце ребристой плотностью сосновых стволов, а в подогнанные баржи грузили рудстойку для шахт освобождённого Донбасса, он, глядя на этот овеществлённый труд, в котором была значительная доля его ума, нравственной и физической его энергии, испытывал не просто удовлетворение делового человека – он обретал спокойствие и так ценимое им ощущение прочности своей жизни, малой части обозреваемого им целого, которым всегда была для него жизнь его страны.

Прошагавший по служебной лестнице снизу вверх и сверху вниз, Иван Петрович знал, что только такое, идущее от прочно налаженного дела спокойствие даёт силу выстаивать перед изменчивыми, а порой и небезопасными наплывами настроений выше стоящих на служебной лестнице руководящих товарищей, — не каждый из них бережно пользовался предоставленным по должности высоким правом руководить и взыскивать.

Иван Петрович по своему опыту знал об этом, как знал и о том, что среди руководящих товарищей есть люди, которые достигнув служебной высоты, перестают обращать внимание на мнения, которые складываются о них внизу, как раз на то, где, в конечном счёте, определяется всё, в том числе и судьба самого руководящего работника.

Никтополеон Константинович Стулов, о предстоящей встрече с которым Иван Петрович не без настороженности размышлял в дороге, по признанию многих людей, по собственным наблюдениям Ивана Петровича, не принадлежал к тем руководящим товарищам, которых заметно беспокоило бы мнение, складывающееся о нём где-то на нижних уровнях жизни. Однако утвердиться в этом своём огорчительном мнении о товарище Стулове Иван Петрович не спешил. Он знал, что даже у очень высоких и ответственных руководителей случаются минуты, когда вдруг задетое самолюбие разрешается вспышкой не удержанных разумом чувств. В такие минуты человек обычно и совершает ошибку – не в расчёте каких-либо плановых намёток, не в решении какого-либо хозяйственного дела, — он совершает ошибку в своих отношениях с другим человеком. Главную ошибку, потому что каждый ответственно и перспективно думающий хозяйственный или партийный руководитель знает, по крайней мере должен знать, что нехватка металла, бетона или леса может быть со временем восполнена, как могут быть налажены и механизмы вдруг остановившегося завода; но когда сбой происходит в человеческих отношениях, когда уважение и доверие между людьми, пусть стоящими на разных ступенях служебной лестницы, но призванными заботиться об одном, общем для всех деле, подменяется обидой или, того хуже, неверием и равнодушием, никакие запасы металла и леса, никакие совершенные заводские механизмы уже не смогут дать полной, необходимой для успешного продвижения общего дела отдачи.

По своему опыту, по опыту людей, чья работа и жизнь шли на его глазах, Иван Петрович знал, как озабочиваются в таких случаях руководители умные и ответственные. Прежде всего они поправляют нарушенные доверительные отношения с человеком; потом уже заботятся о всём прочем, что обеспечивает материальные необходимости и ход производственной жизни.

Никтополеон Константинович подобной озабоченности в повседневной руководящей своей работе не проявлял. И хотя Иван Петрович не сомневался в ответственном и деловом уме товарища Стулова, сомнения в самом человеческом его характере, от которого не менее, чем от ума, зависели его отношения с людьми, в том числе лично их не совсем по-доброму и не совсем доверительно складывающиеся отношения, были.

Иван Петрович помнил один из дней трудной осени сорок первого года, когда в техникумском посёлке, где к тому времени заканчивалось размещение эвакуированного из Брянска Лесного института, появился без предупреждения и в сопровождении Доры Павловны Кобликовой сам Никтополеон Константинович Стулов. Интересовало его, в основном, размещение института в посёлке, явно не рассчитанном на столь великое множество прихлынувших людей. Иван Петрович, как ещё действующий хозяин учебных корпусов и жилых помещений, в озабоченности водил гостей, знакомил руководство области и района с возможностями размещения студентов и профессуры, но всё время и с нетерпением ждал, когда товарищ Стулов заговорит наконец о новом его рабочем месте. Однако Стулов не заговаривал ни о телеграмме, посланной ему в первые дни войны, ни о леспромхозе «Северном». Иван Петрович понял, что Никтополеон Константинович не готов или не хочет решать его судьбу в том варианте, на который он дал своё согласие. И тогда, как это нередко случалось с ним в его отношениях с начальством, почему-либо не расположенным к нему, Иван Петрович с дерзким, нарочитым самоуничижением сам предложил себя на вновь организуемый здесь же, при посёлке, на базе учебного лесхоза, маленький, районного значения, леспромхозик. Объём работы этого мизерного леспромхозика был до смешного несоразмерен с возможностями и опытом прошлой крупномасштабной его работы. Он ждал, что Никтополеон Константинович поймёт довольно отчётливую его иронию и, учитывая трудное время и повсеместную нехватку опытных кадров, предложит дело более нужное и важное для области и войны. Но Стулов не счёл нужным даже улыбнуться.

— А что, Дора Павловна, может быть, это и есть решение вопроса с товарищем Поляниным?! — сказал он медлительным сочным басом, и в неподвижных его глазах, устремлённых на Дору Павловну Кобликову, проступило достаточно ясно видимое удовлетворение.

«Вот так тебе!.. — с таким же, несколько даже весёлым удовлетворением думал теперь Иван Петрович, плотнее стягивая мохнатый ворот пахнущего влажной овчиной тулупа и отгораживаясь от колкого, холодящего встречного ветра. — Так тебе! За характер, за неумную твою гордыню!..»

Иван Петрович помнил, что ни Стулова, ни Дору Павловну он не пригласил к себе на чашку чая, хотя приезд начальства предполагал это никем не установленное, но бытующее гостеприимство. Подобное приглашение никого ни к чему не обязывало и всё-таки, как казалось Ивану Петровичу, ощутимо несло в себе дух подобострастия и расчёта.

В маленьком директорском кабинетике, где Стулов с ним разговаривал, и в общей инспекторской ходьбе по посёлку он чувствовал, что Никтополеон Константинович ждал, именно от него, Ивана Петровича Полянина, приглашения к домашнему столу. Вероятно, он знал о расположении к нему Арсения Георгиевича Степанова, может быть, хотел, чтобы Иван Петрович перешагнул черту суховатой официальности, которая с прошлого, памятного им обоим, вызова установилась в их отношениях. Это ожидание, сдержанное, как все эмоции и жесты Стулова, он чувствовал и в каком-то внутреннем сопротивлении к тому, что чувствовал, не пригласил ни его, ни Дору Павловну к себе в дом. Правда, и угощать ему было нечем, разве что картошкой с солью. Но главное было не в том: со Стуловым они расходились по человеческим параметрам, он не чувствовал в себе потребности и возможности разговаривать с Никтополеоном Константиновичем на уровне простого, доверительного человеческого общения...

Иван Петрович поёжился, не от холода – от мимолётного пустячного воспоминания, которое относилось хотя и к Доре Павловне Кобликовой, однако имело отношение и к ходу нынешних его размышлений. Он вспомнил про сапоги. Самые обычные сапоги, которые до войны он имел возможность без хлопот купить в магазине или на базаре. Война отняла эту возможность у него и у всех других – исчезли из торгового оборота самые необходимые вещи, каждый донашивал то, что оставалось в доме от прежних времён. В этих весьма неудобных, но, в общем-то, терпимых житейских обстоятельствах Дора Павловна решила порадовать людей из делового своего окружения дорогим для военного времени подарком: из каких-то обнаруженных запасов кожи распорядилась сшить по паре сапог для районного актива. Каким-то образом попал в этот тщательно обдуманый список и Иван Петрович. Пришёл к нему человек, снял мерку с его ноги, загадочно улыбаясь, пообещал в скором времени появиться ещё раз. Но не появился. Через какое-то время, будучи в райкоме, он увидел многих знакомых ему номенклатурных работников, щеголяющих в одинаково новеньких хромовых сапогах, и понял с кольнувшим сердцем неприятным чувством, что в число этих номенклатурных он по каким-то причинам не попал. Дело как будто бы не стоило переживаний, но дело касалось *отношений* и первичная (как называл Иван Петрович возникающую на какой-либо раздражитель непосредственную реакцию чувств) горечь обиды всё же обожгла ему душу. Не далее чем через день от случайного доброхота он узнал, что из списка избранных собственноручно вычеркнула его Дора Павловна, вычеркнула за недавнее критическое выступление на районном активе. Наступившая ясность успокоила Ивана Петровича совершенно: дело касалось его убеждений, а убеждения на сапоги он не менял.

«Сложный это мир – отношения людей, особенно руководителей разных степеней!.. – думал Иван Петрович, улавливая нечто общее в главном – в отношении к людям – у Доры Павловны Кобликовой и Никтополеона Константиновича Стулова. – Если законы производственных отношений определяются необходимостями самого производства, то какие законы определяют отношения между людьми с разными характерами, с разной долей самолюбия, с разным пониманием своих руководящих обязанностей? Что определяет мои отношения с Дорой Павловной, с самолюбивым и властным товарищем Стуловым? Только ли интересы самой производственной жизни? Или недобрая память Никтополеона Константиновича о прошлом нашем несогласии?!»

«В том-то вся штука, – думал Иван Петрович в способствующем размышлению крохотном уюте дальней дороги. – Вся штука в разности человеческих характеров! Не каждый подчиняет свой характер интересам общего дела. А закон тут один: уж если поставили тебя над людьми – до крови закусывай удила, а поднимайся выше своих сиюминутных симпатий и антипатий, болезненных ожогов самолюбия, добренькой покладистости от лично тебе сделанных приятных услуг! Необходимость жизни всё равно заставит поступиться своим ради общего. С потерями времени, сил, нервной энергии, рано или поздно, но заставит. Как заставила Никтополеона Константиновича Стулова, вопреки огромной распорядительной его власти, поступиться своим характером, личной своей неприязнью и вызвать из небытия для дел несравненно больших, чем те, над которыми трудился и сейчас!..»

Иван Петрович размышлял о своей жизни, о жизни вообще, думал о возможных, всё-таки приятных ему переменах и в то же время чувствовал какое-то смутное беспокойство, которое словно бы тянулось за ним от самого дома.

Причину смутного своего беспокойства он искал поначалу в том, что как-никак, а покидать Семигорье будет не в радость: до самого последнего времени он не представлял, как глубоко вросли душевные его корни в землю родной стороны. Но скоро он понял, что тревожит его не только предстоящая разлука с родными местами.

Елена Васильевна, как будто предчувствуя перемены, ещё до его отъезда осторожно намекнула, что не хотела бы до конца войны что-либо менять в жизни. Уклончиво, сдержанно, в то же время не уступая возможному его несогласию, она объяснила, что дожидаться Алёшу они должны на том месте, откуда он ушёл на войну. «Мне кажется, – сказала она, и глаза её увлажнились, и голос задрожал от волнения, – он может не вернуться, если мы уедем из Семигорья...»

В другое время он взорвался бы, наверное, накричал о мистике и прочей чертовщине, которая неизвестно из каких углов лезет в голову современной интеллигентной женщины. Но почему-то промолчал. Больше того, забеспокоился неясной, но действительно возможной опасностью, которая могла обрушиться на их семью. В неловкости он постукал пальцами по столу, встал, молча прошёлся по комнате; молчанием дал понять Елене Васильевне, что над её словами подумает.

Идущая война вмешивалась в решение всех жизненных вопросов. И хотя теперь, на третьем году войны, никто не сомневался в победе, сражающимся армиям надо было пройти до победного края ещё полторы тысячи самых трудных километров. И потому Иван Петрович, глядя обочь дороги на белую пустошь полей и редкие дымы угадываемых вдали деревень, думал с такой же, как Елена Васильевна, может быть, только более скрытой, тревожностью о том, что нынешний их переезд хотя и не в такие далёкие, но всё-таки новые места, вряд ли будет ко времени. И если переезд всё же случится, обживать на первых порах ему придётся одному, - он чувствовал, что Елена Васильевна хотя и в скорбной покорности, но всегда следующая за ним в необходимостях его работы, на этот раз не поступится своим материнским правом дожидаться Алёшу там, откуда забрала его война. Не поступится, даже если придётся расстаться ей с домом, с привычностью всей их жизни, с самим Иваном Петровичем. Странно, он почувствовал на этот раз в её характере и неуступчивость, и поистине железное упорство и теперь с удивлением, с некоторой даже растерянностью думал об этом.

3

— ... Как прикажете понимать? Вы отказываетесь от «Северного»?.. — Стулов, опираясь локтями на стол, придавив массивным подбородком близко сведённые кулаки, смотрел на Ивана Петровича вежливым, как будто медленно сжимающим его взглядом. Вежливый взгляд был обретением Никтополеона Константиновича: Иван Петрович слышал, что в новой должности Стулов научил себя быть вежливым. Но, помнится, кто-то признавался, что от вежливости товарища Стулова у него холодеет сердце и спину пробирает дрожь.

Полуутопленный в низком мягком кресле перед высоким столом, Иван Петрович вынужден был смотреть на Стулова снизу вверх. Он чувствовал нависающую над ним чужую волю, но не изменил ни своего неудобного, как будто нарочито приниженного положения, ни общего своего устало-спокойного вида.

Сцепив на коленях красные, только начавшие отходить с мороза руки, он без всякого на то желания выдерживал медлительно-сдавливающий его взгляд и, хотя знал, что должно последовать за вежливым этим вопросом, ответил сдержанно:

— Могу повторить: Рычагова Николая Васильевича освободить от руководства «Северным» нецелесообразно. Убеждён, человек способен работать. Мыслит верно, достаточно широко. И, безусловно, перспективен.

Стулов медленно повёл рукой над зелёным сукном стола, артистическим движением удлинённых пальцев перебрал аккуратную пачку бумаг, безошибочно извлёк нужную, положил перед собой.

— То, что утверждаете вы, не соответствует положению дел. Товарищ Рычагов неплохо работал в прошлом году. В этот год тянул только до октября. В ноябре дал шестьдесят процентов к заданию. В декабре – пятьдесят. По-вашему – это способность и перспектива. По-нашему – безобразие. Если не хуже... Думаю, не мне вам объяснять, что страна живёт по законам военного времени. Бой выигрывают или проигрывают. Производственные задания выполняют или срывают. Товарищ Рычагов задание сорвал. Рассуждать сейчас о перспективах – это, извините, роскошь, позволить которую в настоящих обстоятельствах мы не можем...

Иван Петрович даже в идущем напряжённом разговоре обладал способностью наблюдать и оценивать человека не только непосредственной реакцией чувств, но и вторичным, задним, как величают его в народе, умом. Задний его ум наблюдал собеседника, равно как и самого Ивана Петровича, как бы со стороны, всегда пристально и чуть иронично. В разговоре участие этого вторичного ума не ощущалось: всё, что наблюдалось им, придерживалось до поры, и самые верные оценки чужого и своего поведения Иван Петрович получал уже после доброго или недоброго общения с человеком, получал именно от него, от наблюдательного, ироничного, притаённого заднего своего ума.

Сейчас, в обязательном, вежливом и напряжённом разговоре с Никтополеоном Константиновичем, Иван Петрович как бы проверял прежние свои оценки и не мог уйти от впечатления, что товарищ Стулов и по прошествии времени, в новых обстоятельствах и в новой должности, не лучшим образом подтверждает себя прежнего. Он видел, как Стулов медленно наливался гневом: матовые его глаза не пропускали всей накалённости чувств, но красные пятна, проступавшие на плоском неподвижном его лице, Иван Петрович видел. Он снял очки, с подчёркнутой тщательностью протирал их платком, как бы давая Никтополеону Константиновичу время перегореть в несправедном гневе.

Спокойствие Ивана Петровича не было показным. Он знал: что бы ни случилось, жизненные его тылы обеспечены прочно, обеспечены именно той работой, которую все три до невозможности трудных года войны он с предельным чувством ответственности исполнял. Представить ему меньшую работу, чем он имел сейчас, было невозможно, как невозможно отстранить рабочего от станка, крестьянина от земли. Стулов вправе был упрекнуть его в нежелании принять на себя груз больший, чем лежал на его плечах сейчас: в его власти было сделать так, чтобы в партийном порядке строго взыскали с Ивана Петровича за это его нежелание. Но сам же Никтополеон Константинович не мог не помнить, что вина за судьбу «Северного» лежала на нём, на самом Никтополеоне Константиновиче Стулове, на особенностях его характера, переступить через который в своё время он не счёл нужным или возможным.

Иван Петрович понимал, что область чисто человеческих его взаимоотношений с товарищем Стуловым осложняет, в какой-то мере влияет на результат разговора, а следовательно, и дела. Мысль Арсения Георгиевича Степанова, высказанная им при последней их встрече, мысль о том, что каждой высокой государственной и партийной должности необходимо должны соответствовать не только деловые, но и высокие нравственные, чисто человеческие качества лица, занимающего эту должность, была в полном созвучии с собственными его мыслями, с его пониманием государственной и партийной службы. Беда Никтополеона Константиновича Стулова была именно в человеческих его качествах. При общении с ним не возникало желания помочь ему, лично ему, в его стремлениях и усилиях, даже очевидно направленных на общую пользу. С товарищем Стуловым работали, выполняя свой долг, свои обязанности перед партией, перед государством. Но желания, идущего от уважения к самому человеку, его уму, характеру, его душевности, того самого желания, которое порождает беспокойное и счастливое стремление делать на своём рабочем месте больше, лучше, умнее, чем предусмотрено, положено по долгу службы, - такого желания, такого истинно творческого побуждения дополнять обязанности возможностями своей души, при общении с Никтополеоном Константиновичем Стуловым не возникало.

Иван Петрович слышал набирающий силу голос Стулова, и как бы сами собой выплывали из его памяти оставленные в наследство им, большевикам, слова: «Партийный руководитель должен действовать не силой власти, а силой авторитета» - эти слова Ленина любил повторять его нарком. Теперь слова эти как бы плыли перед глазами и настолько чётко обозначили себя в пространстве между ним и Никтополеоном Константиновичем, что удивительно было, как не видел, не прочитывал их Стулов.

Иван Петрович знал свой долг и перед страной и перед всё ещё идущей войной. И, конечно, он перешагнул бы через своё нежелание, через обидную, памятную ему забывчивость Никтополеона Константиновича, если бы «Северный» действительно страдал из-за плохого руководства. Но три дня, проведённые им в «Северном», убедили его в том, что в леспромхозе просто случилась беда, и беду эту не захотел разглядеть Никтополеон Константинович, раздражённый низкими цифрами сводок о вывезенном и отправленном лесе. В действительности же – на верхнем складе новой, врубившейся в спелый бор лесосеки лежало свыше тысячи кубов заготовленного леса, протянута была к нему и железнодорожная ветка. Но план вывозки и отправки повис, и только оттого, что между веткой и широкой колеёй нижнего склада, откуда лес уже прямым ходом отправлялся в освобождённые наступающей армией районы, зияла сорокаметровая пустота снесённого неожиданно бурным осенним паводком моста. Вся вина нынешнего директора «Северного», Николая Васильевича Рычагова, в том и была, что этот погибший в паводке мост стал для леспромхоза камнем преткновения.

«Видать, сам господь бог ножку подставил! — сокрушался Рычагов, раскрываясь настежь перед Иваном Петровичем. — Паровой копер с превеликими муками достали, перевезли, установили, думали до морозов сваи вогнать — на седьмой свае всё разлетелось к ядрёне-бабушке! Знаете небось, что за техника в тылу, под нашими руками!.. Пока то да сё, пока ручной копер сооружали, речка, считай, до дна промёрзла. Теперь всё, капут — до лета без моста, до весны без плана...»

Рычагов без дела не сидел. Все силы бросил на вывоз леса по лежнёвке. Но ни лошади, ни газогенераторные машины, что были на ходу, при всём старании вытянуть план не могли. Рычагов чувствовал, что судьба его, как директора, решена, и, то зажимая в крепких жёлтых зубах, то гоняя во рту из угла в угол неприятно дымящую, скрученную из газеты сигарку, говорил с отчаянной бесшабашностью русского мужика, стоящего у края лиха:

— Вот, Иван Петрович, ты — на судьбу, а она — из-под тебя да на тебя! Вроде всё прикинуто-раскинуто, всё пущено в ход, отдачи-удачи ждёшь. А тут — хоп! — мосточек под хвосточек, и ты — как молодая лошадь с перехваченной жилой: и силён, и рвёшься, а шагу нет!.. — Рычагов был симпатичен своей жадностью до большого дела, открытостью и тем, что, как будто уже передавая ему хозяйство, говорил, с видимо крепко сидевшей в нём честной озабоченностью о всём, что могло ему, Ивану Петровичу, пригодиться в новой его работе.

С мостком, проклятым Николаем Васильевичем, Иван Петрович всё же помог. Нечто подобное бывало в прошлой его работе, и про палочку-выручалочку он знал. Попросил собрать стариков из окрестных деревень, из семей, живших в леспромхозовских посёлках. Собралось их двенадцать, с седыми апостольскими бородами, в облезлых шапках, поддёвках, потёртых армяках, с виду немощных, вроде бы неловких в конторской, непривычной им обстановке; но даже в обесцвеченных временах глаз, в настороженном их пригляде угадывался опыт ума, который перетасили они на себе через век. У них, стариков, не лукавя и не заискивая, и спросил Иван Петрович совета.

Покряхтели, подымили щедро предложенной им махоркой, поворочались на неудобных им табуретах старики, выдали своё решение: «Ряжи, ряжи, вязать! Во льду колодцы долбить, на дно ряжи опускать, бутить. На ряжи – переклады, настил, - сдюжат и танку, и железного коня!..» Так сказали мужики. И Рычагов размашисто прихлопнул себя по лбу, забыл, что вроде бы сготовился передавать дела, - помчался оприходовывать стариковский подсказ...

«Мосток, мосток, — думал Иван Петрович. — Сооружение-то – всё ничего. А нет его – и набродишься, если не сломишься, на окольных путях... Сколько таких спрямляющих мостков не становится вовремя между людьми!.. А от духовных этих мостков зависят не только кубометры – судьбы людей. Даже их жизни!..»

Иван Петрович протирает платком очки, слушал голос Никтополеона Константиновича, думал, стараясь не дать ответно подняться недоброму чувству: «Вот где, вот когда собрать бы тех умудрённых стариков, дать бы сказать им слово в этом высоком кабинете, рассудить, что от дела, что от лукавого, перетасенным на себе через жизнь их опытом соорудить через непонимание мосток, — на ряжах, на сваях, на мудром ли слове, но – мосток, необходимо нужный не только им двоим! Ох, как нужна этому кабинету обстоятельная, неторопливая мудрость таких стариков!..»

— Итак, насколько можно понять, готовности принять «Северный» вы не выражаете. Мало того, на себя вы берёте ответственность утверждать, что товарищ Рычагов способен в текущий месяц дать не только план, но и достаточно быстро покрыть задолженность по вывозке и по отгрузке леса. Правильно ли я понял вас, товарищ Полянин? — Стулов каким-то образом ещё сдерживал басовую силу своего голоса; но отзвонь металла в самом звуке напряжённо произносимых им слов достаточно определённо говорила, что Никтополеон Константинович шутить не собирается.

Иван Петрович это чувствовал. Он надел свои невзрачные, в тонкой железной, потускневшей от ветров и дождей оправе очки, заправил дужки за обмякшие в тепле и теперь горевшие уши, посмотрел на Стулова снизу вверх внимательным, каким-то даже сочувственным взглядом.

— Вы правильно поняли, — сказал он, стараясь смиренностью голоса удержать Никтополеона Константиновича от ненужного взрыва. — Хотел бы добавить, что убеждение моё относится не только к плану ближайшего месяца. Моё убеждение касается и перспектив работы товарища Рычагова. Он — человек дела и большой энергии. Будущее у него есть.

Стулов, сдерживая себя, пальцами тронул свой побелевший нос — разговор о будущем он не любил: красные пятна на его плотных щеках потемнели.

— Ещё раз напоминаю, товарищ Полянин, что нас интересует сегодняшней день!.. Допустим. Допустим и дадим товарищу Рычагову для реабилитации две недели. Ровно через четырнадцать дней мы вернёмся к вопросу. Просил бы вас помнить, что вы состоите в партии... — Стулову хотелось добавить: «Пока состоите», но сказать это всегда больно ударяющее слово человеку, который большевиком прошёл через первые дни революции, он не решился. Иван Петрович наблюдал, как поднял он со стола лист бумаги, медленным, точным движением вложил в папку.

— Хорошо. Идите, — сказал он, придерживая руку на папке.

Похоже было, товарищ Стулов удалял его из кабинета. Подобных отстраняющих концовок Иван Петрович не терпел ни в деловых, ни в личных разговорах. Потому словно бы в задумчивости потирал пальцами напряжённый лоб, как бы не замечая взгляда матово-холодных глаз Никтополеона Константиновича. После достаточно ощутимой, трудно давшейся ему паузы, он с той же медлительностью, с какой вёл весь разговор Стулов, сказал:

— Неясным остаётся ещё один вопрос — о главном инженере «Северного». В нашу область эвакуирован вместе с семьёй из Крестецкого опытного леспромхоза Сергей Иванович Орешкин, специалист исключительно высокого уровня. Мы же говорили об этом человеке. В Крестцах он разрабатывал поточный метод заготовки и вывозки древесины в системе ЦНИИМЭ. Сейчас обосновался в Буе, занимается непрямыми своими обязанностями, страдает, что война оторвала от дела всей его жизни. Человек этот смог бы, в помощь товарищу Рычагову, стать и организатором и катализатором производственной жизни «Северного». В перспективе и в сегодняшнем дне...

Иван Петрович с умыслом подчеркнул — «и в сегодняшнем дне», он знал, что Никтополеон Константинович при всём своём самолюбии человек дела и не сможет не согласиться с очевидной выгодой дня. И когда Стулов, помедлив в некотором раздумье, согласился, Иван Петрович удовлетворённо заключил:

— Теперь, кажется, всё. — И спокойно поднялся: разговор закончил он, и на той точке, которую наметил сам.

И снова лошадка, потряхивая заиндевелой гривой, одиноко бежала среди заснеженных полей, от деревне к деревне, вдоль лесов, через овраги, мимо застуженных березнячков, по российским притихшим просторам. Смягчённый снегом постук подков, позвякивание сбруи, ровный скрип оглобель в гужах, само движение к уже угадываемому где-то за снегами дому рождали приятное чувство освобождения от долгих и нелёгких дорожных забот. Впечатления последней недели, прожитой вне дома, вне привычных хозяйственных забот, ещё не улеглись, и, как всегда после усилий, связанных с новыми делами, Иван Петрович неторопливо осмысливал суетные дни, старался для себя понять, что сделал он хорошо, что не совсем хорошо, в чём был прав, в чём не прав, где уступил характеру, проявил несдержанность, и во всём ли остался верен свои убеждениям. Всё, что успел он сделать за трёхдневное пребывание в «Северном», в том числе по восстановлению разрушенного моста, вызывало теперь, уже в несколько отстранённой оценке, удовлетворение. Как вызывало удовлетворение и то, что сумел он выстоять перед властным нажимом товарища Стулова, выстоял сам и помог достойному человеку остаться при деле. И всё-таки, как это бывает, когда человек уже настроился на большое дело и обстоятельства или сам человек отменяют уже поселившуюся в его мысли и душе заботу, он чувствовал вместе с удовлетворением и какую-то неловкость, и беспокойство, и что-то похожее на ощущение вины – нет, ни перед Никтополеоном Константиновичем, — перед интересами самого дела, которое всегда было для него выше личных, семейных и прочих интересов. Нет-нет, в Николая Васильевича Рычагова он верил, как верил и в Сергея Ивановича Орешкина, — для «Северного» это, конечно же, будет надёжная и широкая перспектива. И всё-таки... Пока Сергей Иванович переедет, пока умом приладится к работе...

Уйти от неприятного ощущения своей вины, какой-то неточности в своём поступке он не мог, как не мог высвободиться в дороге из тесной поскрипывающей кошёлки, увлекаемой бойкой лошадкой по промятой в глубоких снегах дороге.

Облегчить себя живым словом он мог только с Серафимой Галкиной, которая из уважения к молчаливости Ивана Петровича всю дорогу стойко обарывала свою женскую потребность в разговоре и отводила душу с хозяйками и старухами в деревенских избах, где приходилось им останавливаться на ночлег. Сноровистость Серафимы, умело управляющей лошадей в дороге и заботливо обихаживающей её на постое, приятно удивляла Ивана Петровича.

Случая высказать ей своё одобрение он не находил и теперь, сам томимый долгим молчанием, в неловкости поворочался в тесноте тулупа, спросил Серафиму о муже, — поездка дала ей возможность навестить своего многострадального хозяина, который по трудоповинности работал на маленьком военном предприятии при здешней железнодорожной станции.

Серафима откликнулась тотчас:

— Ой, Иван Петрович, тяжко им там! В дощатых барачках мины начиняют! Считай, тут и живут, кто как... Сам-то мой плохонькой! Да не в том беда — душой он надорванный после тех-то нехороших годов... Споведовался он мне, Иван Петрович. Ведь от Доры Кобликовой лихо под него подкатило!..

Иван Петрович будто споткнулся на разгоне, и желание говорить пропало. На доверительное признание Серафимы он не ответил. Но знакомая, вроде бы уже забытая в событиях войны, тоскливая нотка зазвучала в нём от неосторожных её слов. Он подумал о Стулове, о себе, о том, что если бы пришлось принять ему «Северный», он оказался бы под прямой опекой Никтополеона Константиновича и вряд ли достало бы ему силы выдержать постоянный его догляд. Когда там, на месте, он взвешивал и решал для себя вопрос о «Северном», он не думал об этой как бы несуществующей стороне предстоящей его работы; он думал о самом деле, исходил из действительных интересов и перспектив. Теперь ему казалось, что устоял он перед товарищем Стуловым не только по убеждению, но и потому, что во втором, настороженном его уме жило вот это опасение прямой беспощадной опеки Никтополеона Константиновича.

Тоскливый звук, который впервые он услышал в поезде, увозившем его, расстроенную Елену Васильевну и жаждущего перемен Алёшу из Москвы в Семигорье, в обычном плацкартном вагоне, среди множества других людей, продолжал звучать. И под недоброй памяти этот звук он думал, что будь на месте товарища Стулова Арсений Георгиевич Степанов, он, наверное, принял бы «Северный». Наверное, принял бы. Года на два. Оставил бы Рычагова в заместителях, помог бы ему поймать «второе дыхание» крупного руководителя и тогда, уже спокойно, с сознанием исполненного долга, отошёл бы на запасные позиции, приличествующие его возрасту и уже не прежним силам.

«Если бы!..» — думал Иван Петрович. Этого «если бы» не было; и шаг, который он сделал, хотя и был в какой-то мере компромиссом, казался ему теперь единственно приемлемым как для Стулова, как для «Северного», так и для него самого.

«Самое трудное в жизни, — думал он, — отстаивать своё право на самостоятельность — в работе, в мыслях, в поступках. Быть просто исполнителем легче. Много легче, чем думать и по убеждению поступать. Но ведь и человеком быть много труднее, чем просто жить!!!»

Лошадка бежала ровно. Серафима молчала. Она вообще тонко чувствовала настроение своего директора и до удивления была деликатна в своём отношении к нему. Иван Петрович почти успокоился ясностью додуманных мыслей. Где-то за снегами уже виделась ему Волга, Семигорье, обжитый домик на берегу Нёмды, где терпеливо ждала его возвращения Елена Васильевна. Теперь он может сказать ей успокаивающие слова. И Алёшу они встретят на родном ему пороге, через который с солдатским мешком на плече он перешагнул, уходя на войну. Мать права: дожидаться сына они должны на месте. И вообще – не надо им трогаться со своей земли.

Институт уже готовился к возвращению в Брянск. Восстановится с его отъездом техникум. Спираль военных годин завершает свой звенящий от напряжения виток. С потерями, горем, лихом, со страждями изболевших душ, но жизнь возвращается на круги своя. Только бы вернулся Алёша. И возвратился бы к своим делам Арсений Георгиевич Степанов...

Иван Петрович покосился на матово-пунцовевшее в овчинных отворотах тулупа лицо Серафимы, хотел попросить поторопить ровно бегущую лошадку, но промолчал: слишком хорошо он понимал, что время и пространство неподвластны даже самому нетерпеливому человеческому желанию.



ВОЗМЕЗДИЕ

1

Вторые сутки Макар вёл машину по белорусской земле. Было душно, пыльно, устало и — радостно: корпус вырвался на простор, за все линии многолетних укреплений, и шёл уже по тылам отступающих немецких армий.

Эту пылающую, окиданную смертями землю Макар прошёл в горьком июле сорок первого, и память тех дней будто спеклась, тяжелила неотступно душу, как настывшая на металл окалина. Помнил он всё: и гибель эшелона на безымянном разъезде среди полей; и бой на старом тракте у леса, где от выстрела по танку в упор погиб молоденький их командир, Соколов Володя; и свой последний в тот год бой, уже в одиночестве, у незнакомой деревни Речица, с немецкой пехотной колонной; и смерть свою там; и возвращённую ему Анной жизнь; и тяжёлое расставание с ней, с бедовым Серёгой, со старой женщиной Таисией Малышевой, по-матерински благословившей его в прощании. Говорят: кто переживает свою смерть, живёт долго, — будто бы смерти не хватает сил на второй замах. Так ли оно или не так, но минула его вторая смерть, когда он пробирался из Речицы по вражеским тылам. Минули и все другие, что подступали в партизанской нелёгкой жизни. Духовщинские партизаны и перебросили его, спустя год, на Большую землю — для новых формируемых танковых армий нужны были опытные механики-водители.

Может, верна оказалась народная мудрость. Может, идущее от твёрдого разумного сердца благословение старой женщины оберегло его от летающей, подстерегающей; стреляющей войны. Но обошло его то, что не обошло многих других, хотя себя он не берёт, но, понятно, и в глупую смерть не лез. Как бы там ни было, на обратной дороге войны выпала ему на пути та самая, уцелевшая в войне Речица, где держал он свой бой с пехотной немецкой колонной, и командир их танкового полка гвардии капитан Кузьменко Степан Егорович, потерявший на белорусской земле в 41-м всех родных, человек добрый даже в своей скорби и, при всей командирской строгости, располагающий к себе безоглядно, отозвался на скупую его просьбу. С тракта, через памятную канаву, Макар провёл свою рокошущую «семигорочку» — так звал он свой танк за номером семь, — бережно остановил у самого крыльца породнённого с ним дома, привычно выбросил своё тело через люк.

Волнуясь радостным, стеснительным волнением, встал молодцем перед крыльцовыми ступенями, заслышав открывшуюся в сени дверь. Ожидал обрадовать и самому обрадоваться сразу всем — и Таисье Александровне, и Анне, и бедовому Серёге, и желающей всему миру добра Катеньке-Годиночке; да сердце оборвалось, усунулось в чёрные памятные ему бездны, когда будто вытаяла — вышла из тьмы сеней на крыльцо старая женщина вместе с Катенькой — внученькой, обхватив, казалось, намертво своими костлявыми пальцами безвольную, как прут, руку девочки. Смотрела застылым, без скорби, взглядом, будто не признавая, и девочка прижималась к старой женщине, пугливо оглядывалась на заслонивший землю и половину неба танк.

Потерявшись от такого неожиданного привета, Макар сдёрнул с головы шлем, думая, что признают его по цыганским волосам, густо поседевшим в ту давнюю пору, когда здесь, в потаённой, за этой вот стеной, кладовочке, его вытаскивали из уже охватившей тело и душу гибели. Но и тут не потеплел взгляд старой женщины. Сказал Макар, не скрывая горечи:

— Или не признали, Таисия Александровна?

И тогда только старая женщина молвила:

— Признала, солдат. Заходи в дом. Товарищей своих зови...

Перед холодной печалью, положив на пустой стол чёрные, до костей исхудалые руки, поведала им старая женщина о жизни, напрочь разломанной оккупантом:

— Вот так, солдат. Анну повесили на виду деревни, у дороги. Семь дён висела, не позволяли снять. Хоронили — дочь свою в ней не признала. А погибла, солдат, за таких, которых окруженцы ни вынести, ни вывести не осиливали. После тебя в доме цельный лазарет наладила. От глаз такое разве убережешь. Тимофей-услужник доглядел, пожаловал с гостями. Не уступила Анна порога. Прямо при солдатах рубанула унтера топором... Серёгу и Натоху, дружка его деревенского, пристрелили на огородах: пулемёт пристроили в плетне, посекали прислужника Тимку Кривого... Вот так, солдат. Корову забрали. Курей побили. Дом вычистили до овсины, до последней картофелины. Спалить хотели. Оставили до какой-то своей поры. А пора вышла такая, что спехом пришлось убраться им из Речицы — охватили их будто где-то позади... С Катенькой худую ту зиму держались соседями. Жив был мир деревенский. Не каждый от ворага заледенел. Людские души тоже были...

Таисия Александровна говорила, как всегда, голосом ровным, будто всё уже было уложено и оплакано в её душе. В слове её не чувствовалось былой неуступной силы; надлом был и в голосе её и взгляде. Казалось, если и ходила-действовала ещё старая женщина, то не из своих сил, — опека-забота о Годиночке додерживала её на земле.

Когда, дослушав её слово, все они: капитан — их командир, наводчик молодой Сашко, заряжающий Матвей Матвеев, сам Макар — поднялись в неловкости перед пустым домом и опустошённой жизнью когда-то сильной крестьянской семьи, и капитан только взглянул, только едва кивнул Сашку, и понимающий Сашок в мешке приволок из танка весь наличный запас их армейских пайков, и всё с быстрой аккуратностью выставил и выложил на стол, и Катенька, округлив на бледном, с истонченной синеватой кожей лице свои когда-то доверчиво распахнутые в мир глаза, задрожала, и заплакала, и упрятала лицо под неподвижную руку старой женщины, — такой тоской и яростью скрутило Макару душу, что едва не вышел он из дома первым.

Старая женщина будто не видела лежащего на столе, спасающего богатства; не без труда Макар выдерживал направленный ему в глаза прежний, памятный ему, твёрдый, неуступающий взгляд.

— Сходи, солдат, Анне поклонись, — сказала старая женщина. — Что вернулись насовсем, вижу. По силе вижу. Что слово твоё при тебе, тоже вижу. До победы дождусь. Придёшь — Годиночку примешь. Кроме тебя — никому...

Ровное подвывание сильного мотора, привычное покачивание, потные руки на рычагах; в открытый люк будто сама собой движется завешенная пылью дорога; напахивает в люк гарью впереди идущих машин. А перед глазами старая женщина, истончённая голодом Годиночка, уткнувшая лицо под неподвижную её руку. Боль за Анну. И неизбывная вина за Серёгу, не убережённого его словом. Перед тем как уйти, он ночь караулил указанного Серёгой предателя Тимку! До рассвета просидел перед его домом, надеясь перехватить возможную беду, — не дождался; подонка призвали хозяева, с другими вместе бросили куда-то кого-то карать. Ждать дольше не было возможности...

Вот она, теперь на всю жизнь, его вина перед Серёгой, перед старой женщиной, — уже не солдатская, человеческая его вина. Попробуй-ка приглуши вину, ежели она перед теми, кто дал тебе вторую, вот эту, нынешнюю жизнь...

Макар слышал, как командир принимал передаваемый по колонне приказ: их полк менял направление, на предельной скорости должен был выйти к железнодорожной станции, где разгружались прибывшие немецкие танковые эшелоны.

Они мчались под белесым от зноя небом в рёве мотора, в бьющем дрожании гусениц, прихватывающих в бешеной быстроте сухую землю просёлков, навешивая над полями, над перелесками широкий клин неоседающего пыльного тумана; и с каждым оставленным позади километром ещё не отвоёванной, но уже доступной для них земли Макар всё с нарастающим чувством приближающегося возмездия выжимал из воющего мотора всю возможную двигающую его мощь.

И настолько велико было сейчас это желание возмездия, до невозможности растревоженное ещё и скорбным словом старой женщины, что Макар даже одним своим танком — не полусотней мчащихся впереди и позади сильных, готовых к бою машин — не помешкал бы обрушиться на где-то впереди маячившую железнодорожную станцию.

Война в этот час повторила для Макара июльский вечер сорок первого. Развернувшись дугой, не замедляя хода, танки пошли по когда-то бывшему здесь полю, сминая лебеду и уже поднявшийся лесной подрост, на большую многопутную станцию, обозначенную дымами паровозов, вагонами и платформами с угловатыми выступами машин, слитыми в одну неясную пятнистую линию от нанесённых на них разводов.

Выстрелов идущих по бокам машин он не слышал, — приостанавливая по команде капитана машину, он ощущал только тупые удары своей танковой пушки, — но видел, как мгновенные вспышки, как будто догоняя друг друга, разбегались по путям, вдоль платформ и вагонов. Запылала, зачадили запаленные ими костры. Завилось над вагонами в огненную трубу солнечно-жёлтое пламя: от пронёсшегося над всем составом сполоха отделилось смолянисто-чёрное, шевелящееся, разбухающее облако гаревого дыма. Горели и платформы и танки на них, разбегались, спасали себя люди. И Макар, всё это вбирая нежалеющим взглядом, испытывал глухое, мрачное удовлетворение от вида гуляющего, рвущего железо, вагоны и людей, сжигающего огня.

Танки, теперь уже медленно, с двух сторон охватывали огненный круг пылающих эшелонов, когда из разбухающего, текущего по ветру на поле, им навстречу, чёрного дыма, выполз тяжёлый танк, пошёл, заметно набирая скорость, по верху насыпи. Макар помнил, как в горький день сорок первого их танк и танк Артюхова вырвались из огня для того, чтобы снова вернуться в огонь, и, приближаясь к пожарищу, цепко удерживал взглядом уходящий по насыпи танк, стараясь предугадать его боевой разворот. Но те, кто был в танке, как будто не думали входить в бой; даже башня с тяжёлой пушкой не была развёрнута в их сторону, — похоже, немецкие танкисты уходили, спасая себя.

И когда бьющая выхлопами машина с быстрого хода занырнула за насыпь, он понял, что так оно и есть, и услышал голос командира:

— Третий!.. Третий... Примите руководство полком. Пошёл на преследование... Разуваев! Не дай уйти подлецам!.. — Капитан тоже следил за выходящим из боя танком, и Макар, откликаясь движением рук на команду, привычно сосредоточиваясь, оторвал свою «семигорочку» от других машин, сжимающих дугу на дымном, горящем разъезде.

Людей, спасающих себя броней и мощностью мотора, он не видел. Но все они, какие бы ни были — кадровые или молодые, с гитлеровскими усиками или с твёрдыми, чисто побритыми скулами, — все они были теперь для Макара на одно лицо, — это было лицо врага. И не видя, он уже ненавидел тех, кто прятал себя за бронёй чужой машины; презирал их, трусливо уклоняющихся от открытого боя, хотя тяжёлый немецкий танк по силе огня превосходил «семигорочку».

Танк, на броне которого уже не раз мелькала оранжевая, с оскаленной пастью голова тигра, то притаивался в залесенных низинах, то, как гонный зверь, пытался уходить, петляя по полям и обозначая свой ход цепкой полосой вздыбленной пыли; тогда Макар гнал свой танк напрямик, вырывал из разделяющего их расстояния очередную сотню метров. Где-то в придорожных ольхах жёлто-пятнистый танк запал. И когда Макар, широким полукругом охватывая плохо примеченное место, вывел машину на склон пологой высоты, тупой оглушающей звенью отозвалась «семигорочка» на удар посланного из засады снаряда, — люди, таившиеся в танке, были не только трусливы, они были ещё и коварны!

В излучине петляющей внизу речки снаряд Сашка достал наконец тяжёлую машину. Из опавшего её дыма суетно выбежали трое быстрых людей, бросились почему-то не в заросли у воды, не в речку, а побежали пологим берегом вдоль, отблескивая подошвами ботинок.

Макар добросил до них разгоряченную машину, стараясь подмять под гусеницы сразу всех троих, но услышал предостерегающий голос капитана:

— Не трогать!..

И, почти настигнув их чёрные, подпрыгивающие в отчаянном беге спины, он выжал в досаде сцепление, взвыл танковым мотором, в моторный вой вкладывая своё право на возмездие, молча и мрачно смотрел, как чужие солдаты, в ужасе перед настигшей их смертью охватив головы руками, распластались на земле.

Макар слышал, как откинул крышку люка капитан.

— Aufgestanden! [Встать! (*нем.*)] — услышал он его властный голос.

Немецкие танкисты, в недоверии к приказывающему им голосу, оглядывались, робко поднимались, тянули перед собой вверх грязные ладони, жалкими, испуганными улыбками показывали полную свою покорность.

— Das Gewehr hinlegen! [Бросить оружие! (*нем.*)] — снова прозвучал голос капитана. Двое, с испуганными мальчишескими лицами, отстегнули, с одинаково спешащим усердием, висащие впереди, у правого бедра, кобуры, вынули, бросили в траву пистолеты. Третий, заметно старше, в шлеме, с лицом, окинутым копотью («Из водителей, видать», — подумал Макар, не чувствуя обычного в таких случаях участия), боясь отвернуться от рокочущего недобрый голосом танка, в каком-то заискивающем полупоклоне тыкал рукой позади себя, показывая на лежащий там автомат. В квадрате раскрытого люка Макар близко видел всех троих, услужливо покорных в своём спасающем себя усердии перед чужой силой, жалких, совсем не похожих на тех, из июля сорок первого, которые даже под падающей на них танковой громадой стояли у своих орудий, и не было жалости в нём. И когда капитан приказал немецким танкистам забраться на броню, сам остался стоять в открытом люке и подал команду к движению, он не выдержал: по праву доверительных человеческих отношений, которые сам капитан установил в экипаже, проговорил, выводя на обратный к задымленному разъезду путь:

— Пооберегитесь, товарищ капитан! К худу бы не обернулась ваша доброта...

На что капитан с непонятым Макару удовлетворением ответил:

— Всё нормально, Разуваев. Не отвлекайся... Это уже люди...

Макар знал, что командир их, капитан Кузьменко, предельно точный и умелый в действиях, решительный и бесстрашный в бою, был до удивления, терпим и любопытен к уже поверженному врагу. Историк из города Самары, он, зная немецкий, с какой-то непонятной Макару дотошностью расспрашивал пленных офицеров и солдат, пытался расшевелить в них что-то, чего, по убеждению Макара, не было и не могло быть в их, настроенных на войну и жестокость головах. Капитан же при каждом удобном случае внушал, что немцы — враги на поле боя; в жизни они такие же люди: у них своя история, своя культура, такие же, как у всех, житейские и человеческие заботы. «Немцев одурманил фашизм, — спокойно убеждал капитан. — Поражение в войне образумит немецкую нацию. Опыт истории просветляет разум...» Капитан верил в опыт истории. Макар знал опыт войны. Он точно знал, что было бы с ними, если бы снаряд, посланный помилованными танкистами из засады, не срикошетил на обводах башни, если бы; «семигорочка» загорелась. Этим покорно заискивающим сейчас танкистам в голову не пришла бы, мысль о милосердии. Весь экипаж «семигорочки», в том числе и капитан, лежал бы сейчас в этом поле, прошитый пулями, вмятый в землю гусеницами раскрашенного танка.

Всё время, пока Макар вёл «семигорочку» к обозначенной широким дымным облаком станции, его не покидало ощущение какой-то нечистоты от присутствия чужих солдат на броне его машины. Круче, чем надо, он делал повороты, рывком набирал ход, мёртво тормозил, как будто ему не терпелось сбросить с танка и с себя это ощущаемое им недоброе присутствие врагов.

Когда пленных, наконец, сдали штабу случившейся на пути пехотной части, Макар подвел свою «семигорочку» к первому же ручью, молча зачерпнул ведром воды, с подчёркнутым усердием, как бы не замечая иронической улыбки командира, оплеснул, тряпкой протёр броню, где только что лепились, спасённые капитаном чужие танкисты.

2

Разбитые, охваченные на подходе к Минску, танковыми корпусами и мотопехотой, немецкие армии сдавались.

В один из дней, ещё не остыв от горячности только что затихшего боя, Макар поставил машину лбом к дороге, вылез на броню, смотрел на врагов по войне, молча бредущих мимо настороженных танков. В куртках, в шинелях, в сапогах и ботинках, в пилотках и без пилок, в пятнистых шароварах и таких же накидках, разные, по виду и возрасту, шли они — солдаты, унтеры, фельдфебели, молодые, старые и в самой сильной по возрасту поре, — одинаково растерянные, оглушённые, словно пригнутые к земле удивлением перед силой людей, которых призваны были они покорить и которые, остывая, после боя с ними, теперь, безоружными и, послушными, сидели и лежали на танках под припекающим солнцем, поглядывали на них с высоты машин. Шли среди пленных, укрываясь за спинами других, и крепкого вида не рядовые, но в солдатских куртках, видать по всему, с чужого плеча: выдавали их чёрные галифе, сапоги и притаённые взгляды из-за чужих голов, в которых не было безразличия и общей тупой покорности. Макар на таких и на всех прочих смотрел без сочувствия, в недоверчивости кривил тугие, неохочие даже на усмешку губы. Вспоминалось почему-то, как однажды, ещё в ранней молодости, заполучил он в капкан матёрого, на общий двор повадившегося волка. Волоча за собой капкан с привязанной к нему колодой, волк ушёл. Но по следу он дотропил его в густом засугробленном еловом подросте. Ружья не было; попробовал тут же выломанной дубиной расправиться с серым, угрюмо припавшим к снегу зверем и едва остался жив, — до сей поры не сошли с ноги лиловые, пугающие чужой глаз отметины.

В урок стал ему тот случай, как и многие другие, прибавленные уже войной. И в том, что сейчас он видел, было нечто от того притаённого волка. Потому даже на броне танка не отпускала Макара ставшая привычной настороженность, и, вроде бы не по обстановке и всё же с беспокойством, следил он за идущими мимо молчаливыми людьми и за своим командиром, который вместе с другими командирами-танкистами стоял у самой дороги, с оживлённостью, с любопытством вглядывался в лица чужих солдат, выбредающих, казалось, бесконечно, из окружённых танками лесов.

Капитан вдруг пошёл к машине, как всегда легко и быстро поднялся к башне, сказал, словно оспаривая возможное молчаливое несогласие Макара:

— Была сила. А сломили силу силой и — вот: послушная Гитлеру, жестокая армия превращается в людей. Простых, усталых людей, которым осточертело оружие, война и сам фюрер... Давай-ка, Разуваев, «семигорочку» по-тихому вдоль колонны. Сказать хочу им пару человеческих слов...

Макар, в душе не одобряя желание командира, спустился, в люк. Повёл машину мимо стоящих в перелеске других машин полка к дороге. Он вёл танк метрах в двадцати от бредущих навстречу им чужих солдат, окутанных поднятой их же ногами пылью, и капитан чётким, успокаивающим этих чужих солдат, радостным голосом выкрикивал:

— Soldaten! Der Krieg in Rußland ist für euch beendet. Ihr, werdet Zeit haben, über euer Schicksal, über das Schicksal eures Vaterlandes nachzudenken. Wir hoffen, das ihr euer Leben und die Zukunft Deutschlands nie mehr solchen wahnsinnigen gewaltdemagogen anvertraut, wie es euer Führer gewesen ist. Von eurer Vernunft hängt euer zukünftiges Leben ab. Jeder von euch... [Солдаты! Война в России для вас закончилась. Будет у вас время подумать над своей судьбой и судьбой своего отечества. Мы надеемся, что никогда больше вы не доверите свои жизни и будущее Германии таким бредовым проповедникам насилия, каким оказался ваш фюрер. От вас зависит ваша будущая жизнь. Каждый, из вас... (нем.)]

Макар догадывался по голосу, что командир снова и снова пытается пробудить какие-то человеческие чувства в этих тупо бредущих, не внимающих его голосу солдатах, и видел по выражению их лиц, что капитан старается зря.

В танке было как в печи. Макар сдвинул на затылок шлем, время от времени отирал рукавом комбинезона потное лицо. Теперь яснее он слышал рокот работающего на малых оборотах мотора, слышал в окне переднего откинутого люка шум множества ног, вразнобой ступающих по твёрдой, каменистой здесь дороге.

Что-то неприятное было в близком шарканье чужих ног, но капитан как будто не видел ни безразличия солдат, ни нарочито ускользающих взглядов на потных грязных лицах, которые подмечал Макар. Капитан стоял в открытом люке башни, старательно подбирал слова, выкрикивал:

— Zeder von euch... [Каждый из вас... (*нем.*)]

Однообразный шум множества переступающих по дороге ног, похожий на топот идущего по прогону стада, вдруг перекрылся коротким трескучим звуком.

Макар не сразу сообразил, что услышанный им треск — звук автоматной очереди. Только когда непослушное тело неживой пугающей тяжестью навалилось ему на плечи и, взглянув в оторопи, он близко увидел испятанное пулями незнакомое лицо капитана, он понял, что произошло.

Внутри машины уже падали заряжающий Матвеев и с каким-то собачьим подвыванием Сашок. Ударила с глухим звоном крышка башенного люка, донёсся будто спотыкающийся на всхлипах голос Сашка:

— От дороги... От дороги отдайся, Константиныч!

Макар ударом руки надвинул шлем, услышал в шлемофоне срывающуюся в крик команду замполита Мозгового:

— Полк! К бою!.. — и понял: весь полк видел, как был расстрелян их командир.

Тараня позади поросль леса, он отпятил танк от дороги. Рядом разворачивались, рвали гусеницами землю, составлялись в линию другие ожившие машины.

Макар слышал, как прихватисто щёлкнул затвор пушки; конец её длинного ствола опускался рывками, нацеливаясь на дорогу.

В открытый люк он видел, как на всём протяжении дороги, перед низкоопущенными и нацеленными в упор стволами пушек, метались, сталкивались, падали, ползли, старались укрыться друг за друга уже не могущие ни убежать, ни врыться в землю чужие солдаты. Он представлял, что будет сейчас на этой открытой огню дороге, и ждал и хотел огня.

Почти одновременно взбухло перед лбом танка и сверкнуло на дороге пламя, поднялись в воздух одежда и камни. Пороховой дымный запах знакомо потёк по танку. Снова щёлкнул, зажимая снаряд, затвор пушки.

Макар прикрыл глаза: он жаждал мести, но смотреть, как орудийные залпы разнесут сейчас распластанных на дороге людей, было даже ему не по силам.

Вместе с щелчком пушечного затвора Макар услышал хриплую, будто через силу, троекратно поданную на изготовившийся к бою полк команду:

— Отставить!.. Отставить огонь! Огонь отставить...

И, бережно придерживая плечом неживое тело капитана, слыша, как Сашок в неутолённой ярости бьёт кулаком в глухую броню, притаённо перевёл дух, медленно отёр лицо от проступившего облегчающего пота.



Глава двадцать третья

ПАМЯТЬ

Измученные солдаты, едва отрыв окопчики по краю поля, попадали тут же в перелеске, среди кустов. Пригреваемые ранним летним солнцем, люди засыпали, не донеся голов до земли; никто из них даже не вспомнил о дымящих под елями кухнях.

Алёша ходил по роще, смотрел на солдат с каким-то отеческим, неизвестным прежде чувством. Спали все: на пилотках, на кулаках, кто-то в обнимку с винтовкой или сапёрной лопатой; кто-то, утопив лицо в траве, разбросал по земле руки; одни лежали стриженными затылками к небу, другие лицом к солнцу; и каждый солдат своим отрешённым, до невозможности усталым видом как будто молил: «Не трогайте... Ну, дайте забыться хоть минуток на сто...»

Заботой перебарывая сон, Алёша с осторожностью пробрался среди как будто совершенно выпавших из войны людей, отыскал штаб и молодого комбата со смешной хохлацкой фамилией Лупинос.

Комбат не спал, но вид у него был оглушённый после почти непрерывного четырёхсуточного перехода, — дивизия вошла в прорыв, и фронт всеми силами торопил движение, чтобы закрепить пехотными частями окружение центральной группировки немцев, уже охваченной танковыми корпусами.

Комбат не был настроен на разговор, его заместитель и начальник штаба уже укладывались на лапник, настеленный ординарцами в прохладе, под смолисто пахнущими елями. Он вяло махнул рукой, сказал:

— Делай как знаешь... Да поглядывай — немцы где-то позади!.. — и с наслаждением расстегнул на себе широкий ремень портупей.

В жаре, в почти безостановочных переходах начались вспышки дизентерии, надо было раздобыть хотя бы несколько пузырьков бактериофага. И Алёша, в своём нынешнем состоянии постоянной озабоченности делами и людьми, решил, пока батальон на днёвке, отыскать в полковых тылах санроту, вытребовать необходимое количество лекарства.

Открытой полевой дорогой шёл он к синеющему в обширной низине лесу, где, как сказали ему, должны были быть тылы полка, прислушивался к привычному гулу идущего в стороне наступления.

Из-за лесного увала, где шёл бой, доносились не то лопающиеся, не то хлопающие звуки артиллерийской канонады, как будто там, за лесом, ураганный ветер полоскал, звучно трепал крепко навешенное белье; время от времени косо прожигали пространство над лесом огненные снаряды «катюш». В той же стороне, но ближе, над открытым косогором, поднималась мутно-розовая в солнце пыльная навесь — можно было различить, что там заходила в прорыв ещё одна танковая колонна.

Звуки боя бодрили. И то, что успех большого наступления был очевиден, вызывало в Алёше чувство, большее, чем удовлетворение.

Что-то в нём всё-таки изменилось. Он даже думал, что душа его, прежняя, доверчивая, ожидающая добра и справедливости, открытая его душа, не выживет там, где в удушающей цепкости лагерной проволоки, под нацеленными пулемётами, иссыхал он в униженности на крохотном пятачке земли, и должен был погибнуть, и не погиб.

Он вернулся в жизнь, в ту единственную, в которой только, и мог жить, и в удивлении обнаружил, что то, что было его душой, не умерло от близости смерти и под жестокостью чужой воли. Все добрые чувства, все высокие мысли его, все его прежние стремления остались при нём. Даже больше: при замкнутости, сдержанности, при кажущейся нынешней его молчаливости, он стал намного внимательнее и серьезнее ко всему доброму, что окружало его теперь. И батальон гвардейской стрелковой дивизии, куда он получил назначение после своего трудного возвращения на Большую землю, был для него уже не просто новым местом службы, где исполнял он свой воинский долг, — каждый солдат, каждый командир, находящийся под докторской его опекой, вызывал в нём уже не прежнее мальчишеское любопытство, а какое-то трепетное участие, чуть ли не любовь; он озабочивался каждой малостью, если она могла быть полезной для батальона, или для солдата, или для кого-то из людей, с кем сводила его судьба; и людская благодарность была для него теперь едва ли не самой важной из всех ценностей жизни.

Но лесная деревушка, залитая багровым вечерним светом, где чужая подлость вырвала его и друзей-десантников из жизни, которой они жили и за которую воевали, не забывалась им. И подлость, большая или малая, расчётливая или случайная, независимо от того, кем, и как, и по отношению к кому она была совершена, вызывала в нём ещё большую, чем прежде, холодную, побуждающую к действию ярость.

Он уже спускался с косогора, когда впереди появилась шестёрка штурмовиков. С режущим слух рёвом они прошли над лесом, развернулись и, как будто с горки, ринулись на лес, над которым только что прошли. Эресы [Реактивные снаряды] и снаряды самолётных пушек прошли лесную глубь, клубы белого и чёрного дыма выплыли из зелёных вершин. «Илы» развернулись, ещё раз зашли на какую-то видимую им цель, и Алёша, с сочувствием наблюдая их ожесточённую штурмовку, вдруг, настораживаясь, подумал: «Но почему штурмуют этот лес? Ведь где-то там должны быть тылы дивизии?!»

Пустынная в начале его пути, дорога у леса стала оживать: двигались навстречу машины, повозки, группами шли солдаты, — их повыгоревшие гимнастёрки и пилотки белели даже в тени; прошли, сгибаясь под тяжестью плит и стволов, миномётчики.

Алёша успокоился — он был не один на этой уходящей в леса дороге. И, успокоившись, невесело подумал, что после плена стал пугаться одиночества.

Навстречу ему из тени деревьев вышли солдаты в голубовато-серых куртках, в шюцкоровских кепках с длинными козырьками, и Алёша с памятным ему чувством обречённости замер на дороге: солдат было много — оружия у него не было.

Тут же он разглядел двух паренёков-автоматчиков, идущих один по левую, другой по правую сторону покорной им колонны, и, сдвигая назад плечи, движением лопаток отдирая прилипшую к спине рубашку, понял, что перед ним — пленные немцы.

Недобрым взглядом провожал он молчаливо бредущих, как будто бы уже отвоевавших своё чужих солдат. Потревоженная память настораживала. Хотя чёрных мундиров на солдатах не было, он знал теперь, что, если бы не было этих солдат в серо-голубых вермахтовских куртках, не было бы и тех, в чёрных мундирах, которым с покорностью они служили.

Паренёк-автоматчик поравнялся, пошмыгал простуженным носом, спросил:

— Много ли времени, товарищ лейтенант? — Его томило желание переброситься хоть словом и, когда Алёша ответил, простодушно пожаловался:

— Куда вот их! Только от дела отрывают!..

Алёша потрогал языком пустые дёсны на месте передних зубов, всё ещё в недоброй настороженности спросил:

— Что же вы так: вас двое, их — с полсотни! Не сомнут?..

— Не! Эти смирные. Сами сдались! — Паренёк оглядел их, молчаливо идущих, пожал детскими плечами. — А в общем, кто их знает! Все они смирные, когда прижмёшь!..

«Вот именно, когда прижмёшь... — думал Алёша. — Тогда что-то пробуждается в бездумных головах...»

Он смотрел на уходящих по дороге в гору чужих солдат, а память уже несла к нему мартовский день, казалось, далекого боя, когда под мушкой поднятого им пистолета как будто расплылась серая спина Аврова и Яничка, заражая его своим ужасом и отчаянием, повлекла его в другой конец рощи.

Комиссар был ещё жив: лежал на смятой плащ-палатке, в мокрой проталине. Над ним на коленях стоял, силился расстегнуть ворот на его шинели новый комбат Серёгин.

— Глупо, глупо, комиссар, — в возбуждении идущего боя кричал он, упрекая и раздирая на груди покорного сейчас комиссара шинель.

— Комиссары в атаку не ходят! Своё, другое дело у них, Николай Иванович... Глупо, глупо...

Комиссар в старании подняться двигал головой, ослабевшая шея не держала, он уронил голову на подложенную ему шапку. Шаря по земле рукой, как будто стараясь найти опору и повернуться на бок, он говорил ворчливо:

— Умной смерти нет, комбат... Нигде её, умной, нет. А на фронте есть. Ежели для победы... Ты, комбат, иди. Иди к ротам! Бой-то, слышишь, в лесу уже идёт!.. Иди, иди, комбат...

Комбат с мазком крови на лбу, ниже сдвинутой набок ушанки, дико, как-то даже ненавидяще взглянул на задыхающегося от бега Алёшу, как будто именно он был виноват в том, что случилось с комиссаром, поднялся в рост, кивнул ординарцу, пошёл, потом побежал, пригнувшись, к лесу. Когда Алёша дрожащими руками попытался высвободить из кровавого белья, как-то перевязать разбитый осколками живот, комиссар холодными пальцами ткнул ему в руку, едва слышно спросил: «Ты, военфельдшер?.. Ладно... Делай своё дело...» — Голос его, сходявший на шёпот, западал, как шум затихающего леса. Какое-то время он был в сознании, смотрел на Алёшу взглядом покорности и боли, с трудом поднимая грудь, вышёптывал: «С Ольгой вот спорили... А сиротой доживать ей... Обидел ты её... Не твоя вина. Знаю... А жалко... Ольгу жалко!..»

Перевязать комиссара он не успел, ни бинты, ни помощь ему уже не были нужны.

Расплывающаяся под нацеленным пистолетом спина Аврова, погибший комиссар, красивая Ольга, искалеченная и убивающая, чёрный мундир офицера, подступающего из песчаного карьера, серо-голубые куртки чужих солдат — всё было как будто разбросано во времени и пространстве войны, и всё было связано невидимой, но существующей связью причин и следствий.

И Алёша, ощущая эту невидимую связь, недобрым, настороженным взглядом провожал серо-голубые запятнанные потом спины уходящих по дороге чужих солдат.

Он вошёл в лес и теперь запоздало соображал, почему пленных вели не в тыл, а к фронту, куда шли наступающие части. В пустом сумраке леса было неуютно, и только ещё попадающиеся встречные редкие группы бойцов да верховые, с топотом проскакивающие мимо, как-то ещё приглушали тревожность, которая словно сочилась из молчаливых лесных глубин.

Достаточно проплутав по боковым дорогам и тропам, он не нашёл полковых тылов, обнаружил только батарею гаубиц, спешно снимающуюся со своих позиций. Тревога его росла. Торопясь на знакомую дорогу, он просекой вышел на обширный луг, от жёлтого болотца поднимающийся на сухой склон. Луг казался ему безлюдным; он вышел к перелеску, где угадывалась идущая из леса на луговое взгорье дорога. Но едва поднялся на приподнятую здесь дорожную насыпь, как услышал нетерпеливо-требовательный, спасающий его окрик:

— С дороги, лейтенант!.. — И, не раздумывая, бросился под укрывающую высоту откоса, успев мгновенным взглядом запечатлеть окопчик в обочине, вжавшегося в него бойца и раструб пулемета перед ним. Тут же он приподнял голову, увидел, как от леса будто отделился лес — так густа была людская лавина, которая, ломая кусты, сбивая ветви, сминая траву, высверкивая себя огнём, покатила на луговину и на дорогу.

Навстречу набегающему войску ударил шквал огня: с приподнятого края луговины, показывая себя пухлым дрожащим пламенем, било не меньше десятка пулемётов, не замеченных им прежде; гулко, над самым ухом, вколачивал пули в пространство над дорогой ручник окликнувшего его бойца.

Захлестнутая металлом, вздыбилась и опала людская лавина. Но через упавших катились новые и новые волны солдат, — лес, казалось, гнал их из себя. На потерявшей свой цвет луговине, как на огромной раскалённой сковороде, всё кипело, бурлило, опадало, оглушало треском, гулом, диким ором.

Из леса начала бить пушка. Снаряды рвали землю у пулемётных гнёзд. Два, уже три пулемёта молчали; прорвавшиеся солдаты, не оглядываясь, бежали на склон, надеясь найти спасение в распадке за горой. Не стрелял и ручник.

Алёша в оторопи боя, в котором он уже оказался, спеша, продавливая локтями и пальцами хрустящую осыпающуюся гальку откоса, перебрался к окопчику, потряс пулемётчика за ботинок. Солдат не отозвался, лежал, уткнувшись головой в приклад.

Алёша, чувствуя, как опаляет горло жаркая сухость от готовности к действию, плечом отвалил тяжёлое тело пулемётчика под откос, неловко втиснулся в окопчик, взглядом пересчитал уложенные на вещмешке диски.

Теперь уже с другой стороны, хоронясь за дорожной насыпью от огня установленных на луговине пулемётов, быстро выходила из леса серо-голубая рать; накапливаясь в прикрытии, ускоряя движение, разбрызгивая грязь и воду, в жутком молчании шли чужие солдаты через болотце вдоль дороги прямо на него.

Алёша притиснул к плечу тёплый приклад. Руки его были спокойны. Душа согласна с сжимающими пулемёт руками и с глазами, выводящими послушную мушку на живую цель. Всё прожитое было с ним в эту наступившую минуту. И горькие слова Ольги, сказанные в прощанье: «Только знай, милый мальчик, чистеньким ты можешь быть, пока между тобой и фашистами наши солдаты. Солдаты и такие, как я...»

И огненный крест горящего самолёта в ночном, олунённом небе, в котором сгорала его отчаянная Ленка.

И багровый вечер у незнакомой лесной деревни. И ствол автомата, входящий ему в глазницу. И офицер за столом, и патрон мальчишеской его наивности в чистой руке офицера. И угрожающий вопрос: «Was ist das?..»

Ноющим ртом, грудью, боками ощущал он сейчас удары, забивающие в нём его человеческое достоинство, убивающие его мальчишескую веру в какую-то всеохватную, равно живущую по всей земле справедливость.

Всплыло в его распахнутой памяти видение песчаного карьера. Рейтуз, стреляющий в женщину. Офицер в чёрном мундире, как будто наслаждающийся чужой смертью. Рейтуз и чёрный офицер с автоматным дулом вместо лица сближались, разбухали, заслоняли собой землю и небо. И вдруг распались на множество краснолицых, в серо-голубых куртках солдат, идущих в молчании через болото, вдоль дороги, прямо на него...

Расчётливо, прицельно, густо вбивал Алёша пули в торопящихся в зловещей; от него близости чужих солдат. Ему не было больно, когда падали они в болотную растоптанную грязь, перекрывая своими телами путь идущим позади. В эти в вечность растянутые минуты он жил как будто без чувств, без мыслей. Одно он знал застылым, разумом: он погибнет здесь, на дороге, но никому из тех, идущих на него, не даст пройти через себя к мёртвому спящему в редком леске, не готовому к бою, своему батальону.

Он расстреливал последний диск, когда, коротко взывая, понеслись снаряды и через него на луговине, перед лесом, на страшной огненной сковороде, куда с иступлённой обречённостью всё выбегали из леса солдаты и где людей было больше, чем самой земли, один за другим начали рваться.

И как будто поднятые этими быстрыми всплесками разрывов, вскинулись у леса сразу три белых пятна, и рубашки закачались на шестах флагами просимой пощады. Не выпуская из рук пулемёта, Алёша оглянулся: по всему взгорью дугой стояли «тридцатьчетвёрки», нацелив стволы пушек на луговину.

Всё, что надо было сделать в этом бою, было сделано. Он поднялся, отряхнул от песка гимнастёрку, штаны. Пилотку погибшего пулемётчика положил ему на плечо. Свою подобрал под откосом; не надевая, пошёл дорогой вверх, к перелеску. На задымленную луговину, на лес, на болото он не смотрел — у него не было сил взглянуть на покрытую телами землю...

Наперерез ему бежал кто-то из пулемётчиков; бегущего к нему человека он видел, но всё убыстрял шаг. Человек догнал его, тяжело дыша от бега, сияя потным, возбуждённым лицом, представился:

— Командир пульроты, Гугуша Чхония!.. Спасибо, дорогой!.. Если бы не ты, прошли бы твоей стороной... Пойдём, пожалуйста. Посидим. Поговорим!

— Время ли говорить, лейтенант?! — Голос Алёши был холоден и сух.

В чёрных блестящих добрых глазах командира пульроты, счастливого отлично сделанной работой, проступила такая неподдельная скорбь, что Алёша не мог не смягчить свою резкость.

— Не обижайся, Гугуша Чхония, — сказал он примирительно. — В другой раз загляну...

— Приходи, дорогой, гостем будешь!...

Алёша почувствовал: душа его, как будто занемела в жестокости боя, теплеет, отходит, и страшился, что начнёт сейчас страдать от того, что совершил. Он торопился уйти от страшного, стонущего человеческими голосами болота.

— Слушай, доктор! Орден тебе будет! Обмывать надо!..

— Убитый пулемётчик ваш там... — Алёша уже досадовал, и лейтенант, чувствуя его досаду, погасил возбуждение.

— Знаю. Всё видел, Четыре расчёта хоронить будем...

Алёша, не оглядываясь, поднялся до первого, выступающего в поле, перелеска. Оставил дорогу, пошёл по открытому, гладкому, как коровий лоб, взгорью напрямик к зеленеющему вдали лесочку, где дневал батальон.

Из-за лесного увала по-прежнему доносился оружейный гул; в непрерывном содрогании земли слышались будто топчущие, лопающиеся звуки; поднимался и расползался в той стороне дым, похожий на дым лесного пожара.

Туда, за увал, пролетали со звенящим рёвом штурмовики. Туда же, выше них, с каким-то деликатным после рёва штурмовиков, согласным звуком моторов шли построенные в «девятки» двухмоторные «петляковы». И где-то совсем высоко, под затенёнными до металлической серости поддонами кучевых облаков, и ещё выше, между снеговыми их вершинами ходили широкими кругами «ястребки», — из подоблачных и надоблачных высот сторожили небо над идущим на земле сражением. Алёша старательно следил за небом, он пытался отвлечь себя от того, что оставил на болоте, у леса.

На вершине взгорья набрёл он на стрелков, расположившихся здесь с зенитным пулемётом, укреплённым на турели в круглой яме, достаточной для того, чтобы надёжно укрыть и троих. Один из стрелков, ленивый телом, с молодой кожей загорелых щек, спал на закинутых под голову руках, насунув на глаза пилотку, выставив к солнцу босые белые ноги; рядом стояли ботинки, ветрились портянки. Другой солдат, из пожилых, с морщинистым, будто запечённым лицом и неторопливыми руками, сидел по-домашнему, раскинув на коленях вещмешок, нашивал на прохудившееся место заплату.

Алёша теперь многому не удивлялся, не удивился он и домашнему покою двух стрелков-зенитчиков, занимающихся будничным человеческим делом в каких-то трёх километрах от боя, от страшного побоища на луговине, жар и ужас которого с трудом он задавливал в себе. В опыт его бытия уже вошло понимание того, что на войне может быть всё: он видел рядом с благородством подлость, трогательную в своей нежности любовь рядом с грубым насилием, человеческое достоинство рядом с мучительной смертью, видел солдата, который устало и жадно ел, установив котелок на спину другого, убитого солдата, — всё это была война, всё это была жизнь на войне.

И то, что стрелки-зенитчики в минуты, когда он лежал за пулемётом, были в спокойствии, в будничной занятости и даже в ленивом сне, не вызвало в нём ни злого, ни осуждающего чувства.

Он молча сел рядом с хозяйственным солдатом, вытянул из тёплой земли жёсткую травину, сосредоточенно покусывал, наблюдая, как руки солдата аккуратно нашивают на мешок оторванный от портянки лоскут. Не удивился появлению незнакомого лейтенанта и солдат; не спеша он закрепил шов двумя стягивающими узлами, склонился, перекусил нитку, иголку пристроил в пилотке на внутренней стороне отворота, намотал на неё крест-накрест кончик суровья. Лишь теперь спросил деловито, как спросил бы любого идущего по деревне прохожего:

— Случаем, не знаешь, что за шум был у леса?

Алёша ответил неохотно:

— Фриц вроде бы прорывался...

И солдат, без желания узнать подробности, подтвердил:

— Много тут его охватили!.. А мы в сторожке, — сообщил он, признав в Алёше собеседника. — Стоим. А сторожить нечего. Небо-то — наше!..

Он сложил мешок, подсунул напарнику под голову. Молодой приподнял пилотку, непонимающе глянул, повернулся на бок, удобнее подогнул ноги с чёрными пятками.

— Молодой! Сном войну окоротить хочет!.. У тебя кровь за ухом, ранен, что ли?..

— Кровь?! — Алёша провел рукой по волосам, пальцы окрасились. — Чёрт, видать, задело... — Он не столько удивился крови, сколько зоркости пожилого солдата, ему казалось, солдат ни разу на него не взглянул.

— Давай обмотаю, — предложил солдат. Он вытащил из кармана гимнастёрки перевязочный пакет, подержал на ладони. — Для себя сберегал. Да, видать, не к случаю!

Алёша благодарно тронул его за руку:

— Спасибо, отец. У себя в батальоне перевяжу. Я ведь доктор...

Солдат даже малым своим вниманием его растрогал. Он испугался первого признака оттаивающей души и почувствовал, что надо уходить, — держался он из последних сил: где-то уж близко был неминуемый нервный срыв.

Солдат, от каких-то своих мыслей, забеспокоился:

— Погоди, погоди!.. Ты вот тоже молодой! Тоже, поди, не поймёшь, что старшему помирать трудней? Жизнь-то, она чем привязывает? Не сладким сном. Не тем, что съел. Тем, что ей, матушке, дал. Я-то за свои полвека сколь делов сотворил? Пахал. Сеял. Дома ставил. Скотину пас Ребятишек своих до ума доводил. Ко всему приложился. А Никола что? Он и привыкнуть к жизни не успел! Ты, гляжу, тоже по молодости не оберегаешься. Погоди вот, до моих годов с жизнью поозоруюсь — почнёшь каждый закат оплакивать!.. Голову-то всё же давай замотаю!.. — Солдат оправдывался, ему было неловко, что свой перевязочный пакет он вроде бы пожалел.

Алёша уже чувствовал едкую муть тошноты. Или удар шальной пули, не замеченный им, или оживающая память о кровавом болоте, набитом упавшими и падающими людьми, но что-то уже начинало свою изъедающую душу работу.

— Наверное, ты прав, отец, — сказал он, поднимаясь. — Спасибо тебе за верные слова.

В притихшее было небо снова вошёл знакомый певучий звук моторов: девятка «петляковых» треугольником, три по три, отбомбившись где-то в нужном месте, возвращалась к своему полю. Самолёты шли невысоко, звёзды на их оттянутых к хвосту крыльях отчётливо были видны, как и на крыльях четырёх истребителей сопровождения, уже успокоенно летевших чуть впереди и выше. Алёша с привычным чувством соучастия земли к небу отметил про себя, что у этой «девятки» всё обошлось благополучно. И собирался уже идти, но увидел ещё один истребитель — такой же «як», с такими же звёздами на крыльях, в спешности догоняющий самолёты. Всё могло быть в скоротечном движении войны: краснозвёздный истребитель мог — пока «петляковы» заходили на цель — отвлекать на себя «фокеры», мог пойти на преследование уходящего врага, мог просто побыть в небе над ведущей бой пехотой, — мало ли что могло задержать этот одинокий истребитель в изменчивых событиях войны! И Алёша с сочувствием следил, как отставший самолёт догнал «девятку», некоторое время шёл позади, как бы охраняя её с тыла, потом, переместился ближе к хвосту одного из «петляковых». И вдруг случилось немыслимое: короткое пространство между истребителем и бомбардировщиком вдруг прочеркнули быстрые прямые строчки огня. Выбитый из полёта бомбардировщик, увлекаемый тяжестью моторов, пошёл к земле, оставляя за собой похожий на раскрывающийся парашют клуб чёрно-коричневого дыма.

Алёша не успел даже понять всю нелепость случившегося. И только когда истребитель развернулся, снижаясь и спасая себя, понёсся почти над землей в сторону фронта, он услышал испуганный голос пожилого зенитчика.

— Ах ты, мать твою! Фашист в нашем самолёте!.. К оружию, Никола! — Он ловко скользнул в окоп, ухватил рукоятки пулемёта, повернул длинный ствол с просвечивающими кольцами зенитного прицела навстречу самолёту.

Алёша видел несущийся на него свой краснозвёздный истребитель и не в силах был даже броситься на землю. Душа его как будто снова застыла. Он как будто не понимал, почему он, должен спасаться от своего самолёта. И стоял беззащитно на самой вершине открытого взгорья.

Он услышал резкий треск зенитного пулемёта. И тут же увидел, как из летящей к нему разрастающейся огромности металла, из самой ревущей её середины, вырвался ему навстречу выскерк огня.

Последнее, что осталось в памяти Алёши, был накрывший его моторный рёв и звёзды на чёрных, как ночь, крыльях.



ТИХИЙ ДЕНЬ

1

— Господи! Неужто кончилось?! — Васёнка, будто до конца долгой дороги добралась, опустилась на позабытый бугор у Туношны, прижала к нагретой солнцем земле ладони. В усталости не за вчерашний день, не за последнюю тяжкую зиму — за всю долгую, без просветности войну отдалась первому дозволенному покою, сидела в устоявшемся по-летнему дне, чувствовала, как оттаивает, оживает каждая жилка, каждая чувствилинка изнемогшей души. Покой был всюду: на лугу, в журчащей среди камней воде, во всём неоглядном небе, за тыщи вёрст по любую сторону, — над всей землёй стояла тишина от замолкнувшей наконец-то войны. И только теперь, отсидевшись, отмолчавшись в давно неизвестном покое, Васёнка слышала тихость замиренной земли.

— Господи! Неужто кончилось?! — снова прошептала Васёнка и, уже окончательно веруя, что да, кончилось, казалось, нескончаемое лихо, поднялась, охватила загрубелыми ладонями тонкую свою шею, засмеялась, заплакала, не умея сразу привыкнуть к тому, что случилось.

Привиделась на какой-то миг сумеречная комнатуха в конторе, чуть подтеплённая печью, невпроворот набитая бабами и ребятнёй, без дыханья, без шевеленья внимающими голосу осаждённой Москвы. Представить Семигорье без Москвы было не можно, и думалось в ту отчаянную пору, что здесь, в конторе, в неотлучности от единственного на всё село старенького динамика, сплошь перезалатанного ещё руками Ивана Митрофановича, и окончится их жизнь.

Но следом пришла весть о первой победе. А с ней и вера в праведный исход идущих сражений. С этой верой все они: и старички, и бабы, и девки, и мальчишечки — тянули сколько было сил и, вместе с далёкими мужиками-солдатами, вытянули войну до Победы.

Толкнулась в неостывшей памяти минута из долгой череды годин, а всё увиделось в этой малой минуте. И непостижимо, но Васёнка будто помнила, как все четыре года громыхало и полохалось над Семигорьем небо и только вот замолкло, прояснилось...

Раздевалась Васёнка осторожно, будто отдирала прикипевшую к телу работную свою одежду. Куртку стаскивала с плеч с такой неловкостью, что, думалось, ни однажды не снимала за все безрадостные години.

Стянула, раскинула на руках глянуть вроде бы в последний раз и ужаснулась – в такой войну проходила! Пообтёрлась, застиралась до землистости – не поймёшь, какой цвет прежде был. И пахала в ней, и лес валила, и баб утешала, и в райкоме вздорила против Доры Кобликовой, тоже сунув руки в карманы этой куртки. Латкам на локтях да по ширине ворота не подивилась – руками помахать да шеей повертеть довелось сверх всякого; а вот на заплаты в полах долго глядела, припоминая.

Вспомнила, как по той ещё, дождливой осени всем селом убирали картофельное поле и Маруся Петракова первая разожгла на меже костёр, сыпанула под уголья с подола картошки. Перед жадно загоревшимися голодными глазами ребятишек Васёнка не устояла, сама выхватила пару горящих головней, запалила другой жаркий костёр, разрешила печь мокрые от дождя и сырой земли картофелины, есть до сытости.

Добро она делала или не добро, о том тогда она не думала; хуже от того люди не стали, доказать это она могла бы и теперь.

А вот куртку прожгла по глупости. Показался на краю поля верховой. Маруся и крикни: «Из городу! Полномочный едет!..» Куртку-то она и накинула на горячие, только что выкаченные из костра картофелины, - мукой стало для неё объясняться за каждый вольный свой шаг. Объясняться не пришлось, а подол вот подпалила...

Куртку Васёна всё же не бросила, как явную ненадобность, свернула в аккуратности, уложила на траве. Расстегнула, сняла юбку, разглядела, тоже качала головой: на свет – что решето, по низу коленками обита до махрушек. А всё же послужила, доходила-таки в матушкиной памяти войну. «Ох, батя, батя!» — оборотилась мыслями Васёнка к отцу. Сам принёс ей, виноватясь, эту юбку из матушкиного сундука. Как война началась, как пошло гулять по земле лихо, так и отрезвел помутнённым умом неистовый в гульбе Гаврила Федотович, наотмашь рубанул, отвалил от себя Капку: проводил до порога, да так круто, что Васёнка в жалости к мачехе даже попрекнула батю. Гаврила Федотович отмолчался. Капку, однако, до себя не допустил и, на диво всему Семигорью, так привязался к ответно признавшей его Лариске, что до тех пор, пока не взяли его по трудповинности в город на завод, ходил за ней, а заодно и за Рыжиком, ставшим названным братиком Лариски, с такой трогательностью, будто готовился к тому всю жизнь. И во все годы отдалённой городской жизни слал ей с оказией то сахарку, то игрушек-самodelок и письма писал большими буквами, словно внучонка сама могла прочесть.

Матушкину изношенную юбку Васёна тоже бережно сложила. Сгоняя липчавое комарьё, плотно провела по лицу ладонями, ущупала твёрдую горбину на носу, горестную, лихих годин, мету, и сердце ворохнулось в тревоге. память берегла весёлые Макаровы слова, те первые его слова, что выговорил он этом самом бугре: «Добрая! По носу вижу – добрая!» И, ощупывая будто не свою горбину, подумала с вдруг вернувшейся из бывшего пугливостью: «Теперь и не признает!..» И расстроилась, попрекнула виноватого в том старого Федю: «Ведь на часок доверил сторожбу непогоде!»

А какой бы потерей обернулось, не прибеги она в беспокойстве на ток. Десяти мешков зерна не досчитались бы, когда б, забыв про страх, не схватилась она с татями. Вот и пометили её злой рукой... «Да что я, право! — остановила себя Васёнка. — Неужто подаренная эта горбина из сердца увела добро? Чай, разглядит, что он чужого зла, что своё, неуступленное...»

Васёнка жалостливо, по-детски вздохнула, сбросила с лица руки, уже в поспешности сняла с себя исподнее, взяла припасённую тряпицу с печной золой, спустилась к воде, привычно простирнула, развесила на кусты сохнуть.

Утвердившись в холодной струистой воде Туношны, в неглубоком чистом омуте, Васёнка долго мыла себя жёлтым обмыльшком, сбережённым скрытной на доброту Женей. Ведь Женя сегодня поутру почти силой послала её на речку! «На-ко вот, обмойся, — сказала и сунула ссохшийся обмыльшек, который при нынешней нехватке во всём богатством был несметным. — и, вдруг, осерчав, крикнула: — Да чтоб с реки в прежней красе воротилась, слышишь?!» Женя всегда закрывалась криком от доброты. Но кто судил не по хмурой её крикливости, знал, что за долгую войну едва ли не каждый второй из бедовавших семигорцев был укреплен её к сроку угаданной заботой.

Васёнка поминала Женю, улыбалась, размачивала в мягкой воде обмыльшек. Распустила по верху воды сохранённые, неокороченные волосы, намылила, долго, бережно мяла, полоскала косу, как обычно всегда, с вниманием стирала и полоскала податливое Ларискино бельишко. С тщательностью обмыла себя всю, от гибких рук до натруженных сильных ног, снесла совсем крохотный остаточек мыла к берегу, положила на лист лопуха. Сама тихо занырнула в как будто потеплевшую Туношну, вытянулась на мелких камушках на бойком перекате. Чувствуя, как давит грудь беспокойная ласковая вода, зажмурилась, усунула всё лицо под бегущие напористые струи, подрагивающими губами ловила ответную ласковую их упругость.

Омылась Васёнка в милой сердцу Туношне, вышла на берег, оглянула посвежевшими глазами влажное, покрасневшее от родниковой воды тело, застыдилась вдруг неосторожной своей наготы: пригнулась, прикрылась руками, поспешила к узелку со свежим бельём.

Надела довоенное, из ситчика, с простенькими цветочками, платье, просушила на ветру волосы, уложила, как всегда, тяжёлым узлом на затылке, собрала, увязала рабочую, военной поры одежду. Вроде прикончила со всеми делами, а уйти не спешила. Опустилась на свой, с девичества памятный бугор, укрыла ноги подолом от таких же жгучих, как прежде, допокосных комаров, уложила на подогнутых коленях подбородок и как будто вернулась в далёкое времечко, когда не было в её жизни ни Леонида Ивановича, ни вдовьих печалей, ни военных годин.

Щебетали вокруг птахи таким же, как в ту пору, голосами; кукушка, не ведая о войне и людских печалях, сильно, ровно насчитывала в заречном лесу годы; вот и иволга перекатила через Туношну свой звонкий, чистый голос.

«Всё так, всё как прежде, — думала Васёнка, внимая. — Те же сини стрекозы над хлыстиками куги. То же лепетанье воды на перекате. Всё, всё, как было», — думала Васёнка и, проникаясь тем, что помнила, силилась почувствовать себя той, прежней, доверчивой Васёнкой, в терпеливости ожидающей своего незагаданного счастья, хотела и — не смогла. Светло было глазам, покойно чистому, омытому телу, а сердце будто не здесь, не на Туношне, — томится неодоленной заботой.

«Что же это такое? — думала Васёнка, обеспокоиваясь. — Пошто не радость в общей радости? Порухенная-то войной жизнь, хорошо, худо ли, но устанавливается на прежние места?! О том-то и забота, — Леонид Иванович вот-вот вернётся! За всю войну весточки не подал, а чуется — живой!.. Придёт героем, общей славой покрытый, неодоленной своей заботой. А встречать — привечать-то мне!»

Память воротила Васёнку к прощальному дню у военкомата.

Леонида Петровича увидела, как в яви, хмельного, суетного, взявшего от неё за последние дни и ночи всё, что ненасытная его душа пожелала. В заботах о своём устройстве не нашёл он, хозяин, в отход идущий от земли, ни единого надёжного словечка, за которое, хотя б за единое, могла она зацепиться в своей вдовьей жизни! С ясной памятью на каждое его движение видела Васёнка, как в торопливости ткнул он Лариску в бочок, тут же оговорил её за сделанную в суетности боль.

И на баржу пошёл в построении, даже взглядом не поискал их с Лариской. Будто чужие уже стали! С обидой да слезами в глазах воротилась она тогда домой. И было ей худо, как навсегда брошенной!

Теперь, припоминая каждый вдовий свой шажок, Васёнка понимала, что не одна только обида жила в ней, было ещё что-то вроде гордости или горькой усмешливости к Леониду Ивановичу, до чего прежде она и додуматься не смела. Да что-то непрочной казалась ей сейчас эта гордость, и обида вроде бы была не та.

«А ну, как, — думала Васёнка, страшась того, что могло случиться, — ну, как, нетерпеливо переставляя ноги, войдёт в дом Леонид Иванович, отечеряет, а потом, ночи не дождавшись, и охватит, и сожмёт жадной своей рукой, — устою ли? Откину ли нежеланную руку. Ведь муж. Хозяин! На своё, на мужнино пришёл!..»

В летнем, милом её сердцу покое, омытая родниковой водой до девичьей свежести, сидела Васёнка. Всё было при ней: и Туношна, и птахи, и не тронутый ни косами, ни тропами вольный луг в ромашковых пенных наплывах, в разливах лилового колокольца; мирно гудели, справляя своё дело, шумели; вперебой, от каких-то своих нужд, цокали, звенели по всему травянистому раздолью кобылки да кузнецы; бабочки, словно подхваченные ветром пёрышки, вскидывались над лугом, падали на нужный им цвет, складывали крылья, затеривались в пестроте трав. Напряжённым взглядом следила Васёнка за луговой, идущей свои чередом жизнью, внимала и стрекозам, и шуму листьев, и слышным ей переливам речных струй, и порханию птах, на лету хватающих заботных бабочек; и от всего видимого ей хода земной жизни, где каждому от века уготовано своё, поманило её броситься ничком в раздольный луг, охватить раскинутыми руками землю, и забыться, и смириться, и ждать, пока всё не сладится само по себе.

«Пошто терзать-то себя? Тянуться заботой ото дня ко дню? Заходиться сердцем, сторожиться умом?.. А что вот так-то, без воли да не в перебор судьбе?!

Да что это я? — очнулась Васёнка. — Неужто опять к тому, что было? Ведь всё отношено, отмучено. Всё протащено через душу, будто дерево с растопыренными сучьями! Можно ли с такой-то душой да в прежнюю жизнь?! Ох, — вздохнула Васёнка, поднимаясь, измученная неодоленной думой. — Лягко тут, в затишке, по-всякому мечтать! А ступит на порог — хватит ли сил, в глаза гляючи, правду вымолвить?.. Господи, не устоять мне! От жалости не устоять. Ведь с войны Леонид-то Иванович придёт!..»

2

С душой непрояснённой Васёнка возвращалась в дом к Жене, у которой, худо, бедно ли, но прожила вместе с Лариской всю войну; возвращалась не напрямиком, по лугу, а бором и вышла на другой край села, ближе к Волге.

Будто себя испытывая, подошла к лесхозовскому дому, где жили они с Леонидом Ивановичем и который сама заколотила досками по окнам и по двери в тот день, когда проводила хозяина на войну; присела на крыльцо с опасливым чувством возвращения к недоброму месту.

Дом не пустовал, осенью сорок первого ей самой пришлось отколачивать двери, топить печи, принимать с парохода зазябших детишек, эвакуированных из Ленинграда. В этот заброшенный к ним войной детский дом она вложила много забот и сил и как-то уже привыкла к тому, что место её прежней, в общем-то одинокой и нерадостной жизни заполнилось чужесторонними людьми, другой, шумной, беспокойной, жизнью.

И теперь, сидя на крыльце, радуясь, что её не окружили, не затеребили сиротские девчоночки и мальчишечки, отчаянно ревнивые к каждому движению её рук, к каждому её взгляду, — все были на купании, Васёнка видела за полем, на песчаном берегу Нёмды, их пёструю толкотню, — радуясь, что одна, и в то же время, как всегда бывало с ней, стыдясь, что слишком озабочивается собой, разглядывала она дом и двор, выискивала и словно бы примерялась к тому, что ещё осталось от той, прежней её жизни.

Прибитая над угловым окном струганная доска, на которой чернело удивительное для Семигорья слово: «Гвадалахара», — было новым для дома. Удивительное слово родилось из сердца Жени, её стараниями было отдано детскому дому. Она же, решительная Женя, достала где-то лоскуты военных плащ-палаток и своими твёрдыми на дело руками сшила всем ребятишкам испанские шапочки. На собрании, где семигорские бабы обдумывали помощь детскому дому, она так и сказала: «Мы ещё припомним фашистам Испанию!..» — и подняла над головой свой маленький, железно стиснутый кулак.

Женя была до ярости убеждена в том, что зло надо душить в зародыше, и всем говорила, что война пошла на Россию от того, что фашистам дали взять верх там, на сожжённой земле Испании.

Когда Васёнка жила в доме, трогательной доски со словом «Гвадалахара» не было. А вот выдавленное снизу на угловом окне стекло, как прежде, забитое фанеркой, было. Стеклу навредил, стуча в нетерпеливости палкой, Леонид Иванович; фанерку, не нашарив целого стекла в доме, прибила сама Васёнка.

Прежним было и чисто вымытое крыльцо, на котором сейчас она сидела, с той же запавшей по краю косо́й ступенькой, второй от низу; с этого широкого крыльца она в потерянности и глядела, как Леонид Иванович в свой последний перед уходом день, вытащив стол и на него все домашние припасы, шумел и угощал проходящих к Волге мужиков.

Стол, закиданный квашенной капустой, грибами, раздавленными огурцами, стоял тогда среди двора, ближе к калитке, где теперь врыт в землю другой стол, пониже, подлиннее, за которым в тёплое время кормят ребятишек.

У загороди, в углу двора, доньне хоронилась потемнелая от дождей, но ещё гожая будка недоброго пса Кулака; цела была и проволока, протянутая до сарая, и даже цепь. «Придёт – нового пса заведёт, — думала Васёнка, входя памятью в прошлые, общие их, тогда привычные ей заботы. — И баньку сладит. Сладит! — думала она в том же движении мыслей, углядев за огородами старую, чёрную от копоти и заброшенности, отцовскую баньку. — Небось злой до дела вернётся. Ладно бы до дела!.. — Опять перекинулась она на ту смуту в душе, что мешала ей быть в этом тихом и чистом дне, будто подаренном за все лихости войны. — Ох, как не лягко умом-то отказать! — думала Васёнка. — Всё через жизнь прошло. Болит, а с сердцем сцеплено!..»

Ужавшись на ступеньке хоженного-перехоженного её беспокойными ногами крыльца, она томилась в смуте, и вдруг как будто забрезжило в её думах. «Да что это я! — от сердца попрекнула себя Васёнка. — На что ни погляжу, что ни вспомню – всё нехорошо. Неужто ничего доброго и не было?!» С поспешностью, даже какой-то старательностью она припоминала что-нибудь ладное, что посветило бы неуступчивой душе, но, как ни силила свою память, света вокруг Леонида Ивановича не находила: помнила только хваткие его руки да особенный, покашливающий смешок, с которым всегда своей тяжестью он валился к ней в постель.

«Ну да как же! Ну да что же это! — не сдавалась сердцем Васёнка. — А ну, как переменялся Леонид Иванович? А ну, как война пообразумила его лихость да беззаботность?.. Вдруг в самом деле возвернётся героем да, соскучившись по доченьке, оборотится заботливым отцом Лариске?!» Васёнку словно обожгло надеждой; вся тоска, скопленная в одинокости, вся ласковость доброго её сердца, поманенные этой надеждой, будто сдвинули тягостную смуту с души. Всем покинутым семигорским бабам после лихости военных годин мечталось о верности и крепости домашней жизни; ожидала и страшилась Леонида Ивановича и Васёнка.

Из окна, как того не хотелось Васёнке, её заметили; шаги заторопились в гулких сенях, на крыльцо в поспешности вышла Валерия Михайловна, воспитательница, она же директор шумной ребячьей «Гвадалахары», не местная, ленинградская. Придерживая у груди руки, с озабоченностью на приятном лице, она выговорила:

— Как же так, Васёна Гавриловна? В дом не заходите! Будто для вас он не свой...

Васёнка ещё не вышла из подступившей к ней прежней своей жизни, смотрела в робости, будто тоже из той жизни, на душевно близкую ей, ещё не старую, но уже всю седую женщину; не найдясь, как объяснить нужное ей сейчас одиночество, виноватясь взглядом и голосом, попросила:

— Уж я чуть посяжу тут..

Валерия Михайловна знала Васёнкину жизнь, догадалась, с чем пришла она на крыльцо прежнего своего дома, с деликатностью истинной ленинградки она молча, понимаяще поклонилась, пошла, тихо ступая, как от постели больного, к себе в маленькую комнатёнку, отгороженную на повети. А Васёнкины мысли, вспугнутые посторонним ей сейчас человеком, обрели обратный ход. Валерия Михайловна только на минуту показалась, вроде бы ничего не сказала, а Васёнка знала, как твёрдо обошлась она с давнишним своим мужем: открылись его обманы, и гордая женщина не дала ему прощения, даже когда он встал перед ней на колени; навсегда оставшись одинокой, она нашла утешение и радость в том, чтобы отогревать и растить маленьких сирот.

Всё это Васёнка знала, и высветленные надеждой думы о Леониде Ивановиче опять запасмурнели. Чего-то не хватало ей вспомнить в своей жизни, вспомнить такое, что враз бы вывело к нужному шагу, пока хоть в думках, для себя; потом бы и в деле она сумела стать решительной. Васёнка оглядывала дом и двор, выискивала что-то в знакомых предметах, но то, что было перед ней, она уже видела и знала. Намучавшись напрасным ожиданием, она хотела было уже подняться и пойти, как взгляд её отличил рядом – рукой достать! – совсем ещё молоденькую рябинку. Серенький ствол, изогнутый у земли, выше – прямой до стройности, в крепкой зелени крылатых листьев, был откорнем, рос от срубленного прежде дерева. И Васёнка, уцепившись взглядом, поняв, откуда вилась здесь, у крыльца, новая живость, даже вздрогнула, вся напряглась. Вспомнила высокую, ломкую рябину, от которой прежде, особенно по осени, оживлялся дом и весь широкий двор, и до знобкости ясно привиделся ей тот день, когда Леонид Иванович порушил **любое** дерево. Было то первое лето в жизни её Лариски. Слабая здоровьем, она болела, и Васёнка почти неотлучно носила её на руках, кормила старательно и часто. А Леонид Иванович, не ночевавший дома, вернулся поутру с деловой, как он говорил, гулянки, развесёлый, охочий, потянул её в постель, не дожидаясь, когда она докормит малышку. Уговаривала она Леонида Ивановича – не уговорила. В нетерпеливости он азартился, зажав под мышкой четверть с брагой, лил в кружку, совал жестяной край ей в губы, осевшим в застолье голосом прищёпывал: «Пей, хлебай, горчица... В постели злее будешь...» Не ведая, что творит, он потянул Лариску, торопясь оторвать её от груди, и тогда Васёнка, оберегая малышку, ударила Леонида Ивановича. Ударила зло и, видать, сильно, потому что Леонид Иванович в удивлении отступил. Прижимая к себе плачущую Лариску, она поднялась, взяла у подтопка кочергу, не узнавая себя в явившейся вдруг решительности, махнула по звонкой бутылки, с которой стоял он в обнимку.

Дождаться, чем кончится его буйство, не стала, ушла с Лариской во двор. А Леонид Иванович, разгромив в доме чугуны и горшки, выскочил к ним на волю, мокрый от браги, жалкий, взъярённый, и поднял на неё топор.

Второй раз за свою жизнь смотрела она так на Леонида Ивановича. Стояла, даже не отклонив головы, прикрывая рукой Лариску, смотрела, чуть сощутив глаза, и Леонид Иванович, не удержав над головой топор, опустил его на рябину. От первого удара рябина вздрогнула. Он ударил ещё. Потом ещё, пока не треснула подсечённая древесная плоть.

Пала рябина, неловко подогнув под себя ветви, а Леонид Иванович, разрядившись, врубил топор в оставшиеся корни, сказал с угрожающей мрачностью: «Пню не быть деревом! Попомни, горлица...» Всё это ясно, до самой малости, припомнила сейчас Васёнка к тому другому, что всегда помнила о Леониде Ивановиче, и, стараясь додумать то важное, что ещё на Туношне замутило ей душу, как бы отвечая поманившей надежде, прошептала:

— Возможно ли такое: бросил в холодности, возвернулся — сердце обогрел?! Война кого сделает лучше? Только вывернет в каждом то, что прежде было...

Васёнка взяла с крыльца свой узелок, дошла до калитки, оборотилась, ещё раз обозрела памятный, теперь вконец зачужалый её сердцу двор, одолевая тяжесть не сброшенной с души смуты, сказала:

— А дерево-то выросло. Выросло, Леонид Иванович!..

3

Женя встретила Васёнку настороженным взглядом:

— Отмылась? — спросила и, взглядевшись, тут же в сердцах села на лавку, уставив кулаки на острых коленях. — Ну, девка? Пошто тебя на речку посылала? Глаза-то не отмыла!..

Васёнка виновато улыбнулась навстречу взгляду осерчавшей Жени, успокоила:

— Отмылась, Женя. Вся отмылась! Вот и платье другое надела...

— Платье – вижу. В глазах, не отмыла!

— Прожитое разве отмоешь, Женичка!.. — сказала Васёнка в невеселости.

— А вот надо! В прежней чтоб красе показалась!..

— Какая теперь краса! До мирности дожили, вот и вся радость...

Женя вскочила, будто не с лавки – с высокого тракторного сиденья, хлестнула обочь себя бывшим в её руках полотенцем, как кнутом.

— Замолчь, панихидница! — крикнула, враз опалаясь яростью. — Что мне мирность, когда на сорок баб один мужик вертается! Прежде не голубили, теперь и в очередь не жди... Ты-то своего дождалась! Себя потетишь да на место погиблых без счёта нарожаешь. Мне-то вот ни единого своего дитя в живых не свидеть...

Васёнка ждать не ждала от Жени подобного, как-то вдруг потерялась, в удивлении смотрела на неразлучную во всю войну подругу и помощницу. Она так привыкла к Жене, приноровилась к её, созвучной ей, заботной к людям душе, что совсем не замечала её неприглядности. В войну и Женя, и сама Васёнка словно забыли о наряжаньях да прочих разных красотях; в лихие годы открылась какая-то другая цена людям, и в этой новой цене Женя стоила дорогого. И вдруг эта ярость, этот выплеск неудержанной бабьей злости...

Васёнка смотрела в дурное от крика лицо Жени, на жилистую шею, тёмную в разрезе чистой кофты, и не понимая своей вины, искала и не находила ответных, замиряющих Женю слов.

А Женя, кулаком задавила в глазу слезину, туркнулась в угол, оборотилась спиной, и такой жалкой от одиночества увиделась Васёнке её худенькая, какая-то мальчишеская спина, что она тут же забыла окинувшую её обиду. Мягко подошла, обняла Женю за плечи, прижалась щекой к жёстким, всегда коротко подстриженным её волосам, стараясь теплом своего прикосновения внушить ей совершенную ненужность таких вот переживаний, сказала, утешая:

— Не надобно так, милая Женя. Что худое-то загадывать! Вместе войну пережили, вместе бабье лихо огорим...

От Васёнкиной ласки Женя отстранилась, отошла к лавке. Села, отворотившись к окну, с неотрывностью глядела на улицу; молчала долго, видать, в душе пересиливала свою не совсем ещё понятную Васёнке тягость. Не оборачиваясь заговорила хриплым, на всю жизнь надорванным в тракторном шуме голосом:

— Ладно, Васка. Я ж понимаю! Солнце всё равно светит, а у растенья, у каждого свой цвет. Которые и вовсе без цвета... А готовилась сказать тебе вот что: Макарушка живой вернулся...

Первые минуты под жалким и до жуткости тоскливым взглядом Жени Васёнка держалась, только чувствовала, как захолодели её щёки и лоб. Потом сила её сломалась: с запыхавшим лицом она метнулась за печь, к рукомойнику, долго мочила холодной водой над тазом щёки, губы. Вышла, прислонилась головой к косяку, смотрела на Женю в открытости всех своих чувств, как бы говоря: «Что таиться, подруга милая! Вся я тут. Суди, если можешь...»

Женя, лицом почти чёрная от неразлучного с ней солнца, какое-то время смотрела из-под сивых бровышек, не принимая ни её открытости, ни покорства. Потом всхлипнула, бросила кулаки к лицу, протащила ото лба до подбородка, будто сдирая кожу, грохнула кулаками о стол, не прогнав тоски из глаз, крикнула:

— Эх, трын-трава, в поле ветер! Не бывать тому, чего от роду не дано... Иди, сядь, Васка!..

Встала, твёрдыми шагами прошествовала к печи, громынула заслонкой, явилась с плоской. На горячей глиняной площадке в багровости сочилась располованная ножом пареная свекла.

— Сдуру себе сготовила, — сказала, хмурясь, но без прежнего зла, подсунула ближе к недогадливой Васёнке. — В контору небось пойдёшь! Вот и подновись. Потри губы-то! Повыцвели за войну... И глазам весёлости дай!.. Чую, не усидит в доме Макарушка, не под мои окна – к тебе притянется!

Весь остаток дня Васёнка безвыходно высидела в маленькой комнатке конторы, которую прежде держал для себя Иван Митрофанович. Не однажды, в рассеянности перекладывала исписанные чёрным карандашом газетные обрывочки, что в ходу были вместо бумаги, вдруг холодела сердцем, заслышав шаги на правленческом крыльце. Но истомившее её ожидание оказалось напрасным – Макар не явился.

В обиде Васёнка рванулась было к Макарову дому, будто бы к тётке Анне, но дела не придумала, без дела предстать пред Макаровы очи не посмела. Попрекая в душе за то, что не стосковался, не явился, не показал себя после стольких годов разлуки и тех непростых слов, которые сказал в прощанье на Волге, у баржи, которые она боялась помнить, но помнила, собралась домой. Селом шла с видом озабоченным, не выказывала невесёлых своих чувств, отвечала на приветы сроднённых с ней за войну старух, баб, ребятишек, как всегда, с вниманием. Но дома едва дождалась часа, чтобы лечь, уйти от взглядов всё понимающей Жени; лежала с открытыми глазами, строгими думами пыталась свои чувства к Макару Константиновичу. Но строгости, как ни старалась, не собрала. Из летней нетемнеющей сумерети Макар смотрел на неё своими весёлыми, косящими, как у коня, глазами. И не отдалялся, а вроде бы подходил всё ближе. И виделся до ясности пригожим, каким был в первой встрече на Туношне, на беседе у бабы Дуни, в зимней ночи, когда шли они в близости из клуба и Макар чуть не поцеловал её, заолодевшую от страха.

Рядом с думами о Макаре, в какой-то тайной сопричастности с ними, вспоминалась Васёнке случившаяся тогда же, в девичестве, одна пытливая её забава. По весне, в лесу, набрела она на только что родившийся под корнями ели родничок.

В котловинке было чуть воды, но на дне казалась себя слабенькая живая струйка. Она то начинала биться, как в радости вдруг бьётся сердце, раздвигала скопленный на дне тяжёлый для неё мусор, то замирала, уходила обратно в землю, и чёрные, сопревшие листья, опавшие хвоины, веточки тут же сползали на промытую по серому песку дорожку. Струйка начинала биться, раскидывать с дороги сор, снова никла, снова оживала. Васёнку будто околдовала живая водица. С радостным сочувствием наблюдала она, как пробивает себе дорогу родничок, и, вдруг испугавшись, что живая струйка обессилеет, замрёт, вздумала оберечь хотя бы горстку чистой воды. Загадала на радость, в торопливости очистила, огородила котловинку чем могла; место приметил. В самую эту пору и толкнулся в её жизнь Леонид Иванович. Про ключик забылось. Только нынешней весной, и то в случайности, набрела она на загаданное место. Распознала родничок, и озарилась давняя её задумка, — отодвинутые чёрные листья и мусор лежали по сторонам, вода переполняла котловинку, бежала среди корней, а на дне, в чистом песчаном окоёме, без устали бился, питая совсем уже не робкий ручей, ключик!

И что за причуда была ей, мужниной жене, по-вдовьи перетерпевшей войну, с трепетностью вспоминать какой-то бывший в давности родничок? А вот вспомнилось. Загадывала-то она на Макара!..

Поднялась Васёнка чуть свет; не спала, а встала в бодрости. Сама, без догляда, потёрла свеклой губы, ушла в торопливости из дому, чтобы вместе с бабами отправиться на ближние покосы. Загадала опять, как в девичестве: придёт Макар к косцам – значит, и её жизнь пойдёт в радости! Да случилось так, что перед самым выходом в луга в раскрытое окно её конторки, куда на минуту она забежала, влетели голоса собравшихся у крыльца баб. Бабы, может, и не думали, что Васёнка услышит их слова, но Васёнка услышала. Открылось ей из шумного говора, что Макар и двух дней не побывал дома: обрадовал, успокоил мать и поутру пешком отправился за двадцать вёрст на железную дорогу, — невесть куда, неведомо зачем.

Васёнка, как сидела за столом, оборотив напряжённое лицо к окну, так и осталась в неподвижности; глухо, пусто стало, будто сердце выпало из груди.

А через сколько-то прожитых в пустоте дней Васёнка вдруг повстречала Макара на мощённой дороге, идущей в гору от Волги к селу. С тугой котомкой за плечами, в солдатском обличье, притомлённый дальней дорогой, но такой же, как помнила: увиделся ей Макар сдержанно-улыбчивым, пригожим, хотя сразу приметил: чужая вмятина двоила подбородок и под тёмной щекой вроде бы ненужной морщиной белел широкий рубец.

Шёл он прямо к ней, а рядом, ухватив тоненькой рукой его руку, послушно торопилась, перебирая высокими ногами, девочка, незнакомая Васёнке девочка, по личику, по платицу вроде бы городская. Васёнка, распознав Макара, прихватила руками шею, словно удерживая готовый вырваться крик, но, пока Макар подходил, совладала с собой, даже сготовилась первой сказать приветные слова, достойные возвратившегося с войны солдата. Взгляд её, в ещё не остывшей обиде, завистливо подметил, с какой бережностью ведёт Макар послушную ему девочку: вроде бы и торопится к ней, Васёнке, а шаг придерживает, приноравливает к меленьким девчоночьим шагам. И от первой недоброй приметы настороженный взгляд снова метнулся к девочке; Васёнка разглядела большие, серьёзные, ей почудилось, косящие, как у Макара, глаза, и качнулась дорога вместе с Макаром и девочкой и потемнело небо, как в подступившей туче.

Могла, могла бы понять Васёнка, что по годам девочка не военных лет, что не может она быть Макаровой, а вот не поняла: подумала только, что, если есть девочка, значит, есть и женщина, близкая Макару, и шагнула ему навстречу в незнакомой прежде слепящей ревности. Чувствуя, как бьётся под рукой, охватившей шею, жила, насмешливо сощурила глаза, подражая кому-то, — уж не Зинке ли Хлоповой? Господи, до чего дошла! — без приветов, с вызовом спросила:

— Твоя, что ль?..

От неожиданных Васёнкиных слов Макар остановился, помедлил с ответом, но ответил, не отводя от Васёнки глаз:

— Моя.

— Гляжу, не терялся там! — сказала Васёнка, чувствуя, как ломается звенящий от отчаяния её голос. На что Макар, опять помедлив, по-серьёзному, будто не понимая Васёнку, сказал:

— Солдату на войне нельзя теряться, Васёна Гавриловна! — а в косящих догадливых его глазах метнулись весёлые черти.

И Васёнка, увидев в светлых глазах Макара этих, всегда пугавших её в девичестве чертей, поняла, что выдала себя, и Макар теперь знает, что страдает она от того, что кто-то другой объявился между ними.

Макар как-то очень уж бережно приобнял девочку за плечики, поставил перед собой. Васёнка с вновь закипающей в сердце ревностью, всегда слепой и всегда бесполезной, следила за руками Макара, с видимой ей ласковостью оберегающими покорную ему девчущечку.

И когда Макар, не спуская с Васёнки внимательных глаз, тихо, со значением, которого она не поняла, сказал: «Познакомься, Васёна Гавриловна, — наша Катенька-Годиночка», — она едва сдержалась, чтобы свою сердечную боль не выказать на девочке.

Подчиняясь Макарову слову, присела, взяла худенькие податливые ладошки в свои нечувствующие руки, сказала что-то не очень-то ласковое и умное, что потом вспоминала и вспомнить не могла, — уж очень больно, по самому сердцу, ударило Макарово слово «наша».

Поднималась Васёнка медленно, будто сдвигая занемевшей спиной сразу всё: и ревность, и боль, и стыд за дурные свои надежды.

И когда Макар со слышимой и непонятной ей радостью сказал: «Что ж, Васёна Гавриловна, путь-то у нас вроде один!» — она, в мыслях уже отделив себя от Макара, ответила:

— Эх, Макар Константинович! А мы-то вас, как света утреннего, ждали!.. — И, откинув свои тёмные волосы с побелевшего лба, пошла, будто силой уводя себя в поле.

Макар, хмурясь, смотрел, как ширилось пустое пространство между ним и Васёнкой, хотел было остановить, сказать наконец-то, что давно и неотступно нёс через всю войну.

Но Катенька-Годиочка, всё это время с недетской сосредоточенностью смотревшая то на Васёнку, то на Макара и всё-таки не понявшая, кто же она такая, встреченная ими красивая тётенька, вдруг крепко прижалась к его руке, глядя снизу вверх печальными глазами, спросила:

— А далеко ещё до дома?..

И Макар, будто возвращаясь в другое бытие, с трудом улыбнулся, бережно положил тяжёлую ладонь ей на голову, оглаживая памятные ему ещё с душного июля сорок первого года светлые, с бантиком в косице волосы, сказал:

— Пришли, Катенька. Вон за теми высокими тополями наш дом!..



Глава двадцать пятая

У ФЕДИ-НОСА

1

В невесёлое утро ехал Алёша к Феде-Носу: сквозь туман не пробивалось и солнце, никли от росы придорожные елохи, и лес за рекой стоял как в молоке, — осенняя пасмурь будто вошла в лето, не угадать было, чем обернётся погода к середине дня.

Лошадь Василий подогнал к самому крыльцу, спросил, ничем не показывая жалости:

— Пособить?..

Алёша покачал головой, сполз с телеги, сунул костыли под мышки,

— Домой езжайте, Василий Иванович...

Он не хотел, чтобы его ждали, стыдился привлекать к себе внимание ребятишек и семигорских женщин, чьи лица уже замелькали в окнах. Федя-Нос был ему нужен, и не для охотничьей утехы, о которой он мог бы его попросить, совсем не для мелкого, суетного дела — Федя-Нос нужен был ослабевшей его душе. Он понимал, и там, на войне, вспоминал мудрую рассудительность Феди и теперь ждал, что в доме старика Носонова найдёт утерянную душой опору.

Федя-Нос будто не заметил его костылей; зорким взглядом, брошенным из-под низких бровей, враз увидел и негнущиеся ноги, и деревяшки под руками, но увидел и — похоронил в себе. И поторопился навстречу на своих кривоватых, как у старого цыгана, ногах, обутых в залатанные кожей валенки; обнял накрест, потцовски, и так держал немалое время, то ли одолевая свою разволнованность, то ли давая успокоиться Алёше. Смахнув с широкой бороды упавшую из глаз мокрядь, отступил, давая простор гостю, и, когда Алёша задвинул себя за стол на лавку, сел напротив, глядел в глаза, не убирая с лица скорбь, но и показывая суетностью рук и блеском затерянных в старческих морщинах глаз радость от того, что вот всё-таки явился к нему в дом полюбившийся ещё прежде человек.

— Попомнил старика! Спасибо тебе, Олёша, — он говорил своим окающим, совсем не изменившимся с той памятной поры голосом, а мысль его — Алёша улавливал это обострившимся за годы госпитальной жизни чутьем — металась по закуткам избы, выискивая такое, что могло бы с ходу порадовать парня-солдата.

— Вот, Олёша, сейчас я тебя уважу. Как знал, что будешь, — поберёг.

В полу, перед печью, он легко, в один мах, откинул тяжёлую крышку, полез в подпол; к столу вернулся с ношей. Бережно отвернул концы полотнины, из вощёной бумаги извлёк с запечатанными сотами рамку, в чугуне с горячей водой, стоявшем в печи, нагрел нож, ловким движением, любовно следя за тёплым лезвием, освободил соты от рамки, уложил на блюдо.

— Вспомни-ко, как баловался у меня медком... Пасека, Олёша, погибла. А озёра в прежней целости. И утки нонешний год жутко! Не беспокоили дичь, некому было беспокоить. Ружьишко-то цело ли? А про Уралку — знаю. Стрелил его сын Дарьи Кобликовой. На войне не был, а собаку стрелил! Как узнал, нарочно на дороге укараулил. Говорю: как же это ты, парень? Друга так рассчитать! Привёл бы ко мне, я б держал Уралку, пока Олёшу война не отпустит!.. Нехорошо он на меня посмотрел, нехорошее слово сказал. Ах ты, думаю, дробь твою пороха мать, не сёк тебя никто, пока поперёк кровати лежал! Да что, Олёша, теперь о том, Уралку не вернёшь. Но собачку я для тебя обговорю. Без друга, Олёша, не оставлю...

Федя всё это говорил готовя свое угощение, говорил без роздыха, в явном старании поводить Алёшу по прошлым дням и прошлым заботам — чуял он: в прошлом было то, за что Алёша мог зацепиться и памятью и сердцем.

— Нут-ко, уважь старика, подсластись! — Федя подвигал ему блюдо с сотами. — Тут каждая капля в силу...

Алёша молча смотрел на пребывающего в доброй суете Федю, слушал, не давая подняться к глазам растроганности, которой против воли наполнилась его душа. Он понимал, какой бесценностью для нынешнего голодного года распорядился сейчас старый Федя, и страшился, что от этого вот открытого человеческого усердия, которым встретил его ничем не обязанный ему человек, он не выдержит, выйдет из той замкнутости, в которой сам себя держал.

Может случиться и того хуже: по-мальчишески разревётся от своей беспомощности, от обиды на судьбу: слишком кроваво обошлась с ним война, и привыкнуть к тому, что случилось, — об этом он думал раньше и теперь, — дано ему не будет.

Алёша подавил пугающую растревоженность, глядя на свои выложенные на стол руки, глухо, с какой-то даже жестокостью к себе и приветившему его Феде, сказал:

— Не за сладостью пришёл я к вам, дядя Федя...

Федя как будто ждал этих слов, не хотел, но ждал; и, когда услышал их, переменился: будто, не вставая с места, в чужой, неудобный ему дом вошёл; и суетность его враз убралась, и желание угостить гостя оставило. Сник Федя, перед горем Алёшиным сник.

Но уступить — не уступил. Лицо его, всё, от тёмного лба до щёк, растресканное в долгой жизни, охваченное снизу жёлтым волосом бороды и отмеченное раздутым, как картофелина, носом, некрасивое, может быть, даже страшное, и в то же время чем-то к себе располагающее, медленно приподнялось, как будто подсветилось падающим из окон светом; под растущими вразброс, тоже жёлтыми бровями замерцали, вроде бы изнутри накалились, густой черничной синевы глаза.

— Вот что скажу тебе, Олёша. Беды нет, пока вера не потеряна. Жуткую историю тебе расскажу. Но ты послушай, поймёшь, каково моё к тебе слово. Брательник мой меньшей в давние годы ушёл из села. Случилось это в ту, ещё царскую войну. Я со штыком на австрийца ходил, а он отца, мать оставил, пошёл в Вологодчину, в лесную глухомань. Не от войны, в солдаты ему так и так не полагалось, — горбат был. За верой пошёл. Такое душевное беспокойство ему явилось. Приняли его старoverы, оженили. Слух был, мол, и убогого добро не минуло. Ладно. Как первая война замирилась, да отвоевали мы после революций ещё гражданскую, отпустили нас по деревням. К тем годам малость образовалась в России жизнь. Отыскал я, навестил брата Прокопия. Скажу тебе как на духу: многого ждал, но, что свидел, представить умом не мог! Не дом — молельня, на стенах — лики, белого света ни в одном окне, мрак да лампадный дух. В супружнице брата Прокопия ни бабьего, ни человеческого: памятник надмогильный! В угол задвинулась, накрылась чёрным, на единое на слово губ не разомкнула! Из кружки воды глотнул, так кружку за порог на моих глазах бросила...

Братец до отвратности покорен. Всё с поклоном. Грудь двумя перстами осеняет. Ну, думаю, Прокопий, ухватил ты веру!

Напрочь порвалась наша с ним родственная линия. Слыхом не слыхивал годов двадцать. И представь, Олёша, в эту вот, нынешнюю войну, в самую её серёдку, является в дом ко мне странник. Вот в эту дверь взошёл, у порога встал, стоит. Малахай ниже бровей, — весь в заморози. Одежки много, да всё худая. А на воле мороз, зима в рост по снегам ходит! Сума на боку, на спине котомка. Котомка-то спервоначалу привиделась — не сразу горб углядел. Говорю: что стоишь, мил человек? Пришёл — садись, грейся, печь горит!.. Суму каким-то кособоким движением он с плеча на пол скинул, сам опять стоит. Подошёл я, посветил горящим фитильком — признал Прокопия. Злого в сердце в жизнь не держал. Обнял по прежней памяти, как положено, со всей холодной одежкой в охапку его забрал. Только чую, ответно он меня не обнимает. Отстранился, глянул, а рукава-то в его одеже без рук!

Таково, Олёша — без рук. Я потерялся: ни спросить, ни молвить. Он вроде на меня смотрит, а в глазах жизни нет, будто из дальней дали глядит, разглядеть, что перед ним, не может. Закинул голову на горб, тоненько, вроде овечки, проблеял:

— Помирать к тебе пришел. Без веры остался...

Прожил со мной череду дней и всё в немоте! Ни в ночь, ни когда кормил его — ни единого раза даже обрубками рук себя не перекрестил. Только взгляд кинет в красный пустой угол да тут же глаза опустит. Посидит — опять взглянет. Вот ведь что — знаменья он ждал! Веру потерял, а знаменья ждал. Верил, убогий человек, до последнего часа своего верил!.. Горбатого, бают, могила выправляет. Брата Прокопа и могила не поправила — гроб-то пришлось под горб прилаживать. Перед самой кончиной он мне, Олёша, открылся. А случилось таково: сидел Прокоп в ночи у огня, и явилось ему вроде озарения: всемогущ бог, неотступна вера. Сотворил он молитву, сказал: «Верю в тебя, господи. Огради!..» — и положил руки в огонь... Таково, Олёша. Проникся я исповедью Прокопа так, что жутко мне стало. И долго под его словом жил, всё хотел догадать, какой это такой поворот: человек силён верой, а тут вдруг вера да против человека?!

И вот что, Олёша, мне открылось: не всякая вера истинна. Мир-то, он — рукотворный! От ложки, избы — до души человеческой! А он — руки в огонь... — Федя умолк, боком навалился на стол; так и сидел, отворотившись, рукой придавив волосатую голову. Не поднимая головы, договорил:

— Вот, Олёша, что может сотворить вера с человеком. А вот что человек может, когда вера доподлинная, то должно показать тебе, Олёша!

Алёша усмехнулся; сам чувствовал — нехорошо усмехнулся. Сказал:

— А что, если нету веры? Ни доподлинной, никакой?..

Федя поднял голову, обесцвеченная временем кожа на плоских его щеках покраснела. Из-под косматого волоса бровей в упор глядел он в глаза Алёши, будто взглядом добирался к дальним, запрятанным его мыслям. Неожиданно возвысив голос, чего никогда с ним не бывало, проговорил:

— Доказать хочешь, что веру потерял? Понапрасну стараешься, мил человек! Коли жить остался, значит, есть в тебе вера!.. Что суровости напустил? Деревяшек своих напугался?! А ты не пугайся. За людей ты кровь пролил. И скажи ты мне, найдётся хоть одна живая душа у нас в Семигорье, по всей Волге, да что там — по всей России, что деревяшками тебя попрекнёт?! Не случится такому, Олёша. Народ, он чуткий до чужого горя. А горе твоё каждой вдове, каждому мальчонке, будь он сиротинкой или об руку с воротившимся отцом, — своё, сердечное, кровное горе!..

Костылики-то свои ты помалу прибирай. Окрепись на деревяшках-то, ходи-бегай! По лесу с ружьём хаживай! Себя окрепишь — всё другое приложится. Голова, руки — при тебе. Дело ещё сотворишь, Олёша. Заметное людям дело сотворишь!.. — Федя положил на стол руку; придавил другой, будто под руку собрал весь разговор; смотрел, выжидая.

Алёша низко держал голову, губы его дрожали. Федя тронул его против шерсти, погладил жёстко, с задиром; и неожиданная неуступчивость старого человека, к которому он шёл за утешением, а втайне и за состраданием, больно задела его. Правду Фединых слов он чувствовал, обида мешала принять как будто для него припасенную правду. Хмуро выглядывая из-под упавших на лоб волос, он спросил:

— В чём же ваша вера, дядя Федор?

— А вот есть она, Олёша! Не скоро умом её сознал. Но с нынешних лет вижу: и прежде была. Как объяснить непридуманно, — уж больно проста моя вера. Как думаешь: помри я — убавится чего-то на земле?.. Молчишь! — Федя в досаде отогнал с мёда мух. — Понятное дело: не по душе старика обидеть...

Алёша заставил себя разжать неохочие к разговору губы:

— Для меня убавится: доброго человека не станет...

— Ну вот и отличил! В том вся моя вера: жизни добра добавить. Тут мы с нашей Васёнушкой парой, в одной упряжке: тяжёл воз, всё в гору, а везём. Везём! Такая моя вера, Олёша. Она меня держит. Не могу, Олёша, оставить людей на трудной дороге жизни без малой моей помощи!.. А медку-то покусай! Слово словом, а сила тебе нужна...

Федя в неловкости, от того, что невоздержанно заговорил о себе, зашарил по столу руками, опять суетно озаботился гостем, как было это в начале встречи.

Алёша упрямо не притрагивался к дорогой Фединой затайке — к сотам, подёрнутым каким-то особенным коричневым загаром, сочащимся прозрачайшей медовой живицей, пахнущим прошлыми счастливыми днями, хотя знал, что упрямством своим ранит сердце старого человека.

«Напрасно, всё напрасно, — думал он. — Всё, что говорят мне, — слова, не больше как слова! Прошлое остаётся только в памяти. В жизни, в том настоящем, что вокруг, прошлое не удерживается. Сдвинулась жизнь, сдвинулось и добро. Может, оно и осталось где-то. В Феде, наверное, осталось, — думал Алёша, чувствуя, как наливаются глаза слёзами. — Но оно уже не мое добро. Помочь оно не может, потому что я уже не такой, каким был. Память обманывает. Опять меня обманывает моя память! Всё переменялось, а я живу тем, что помню. Надо знать, что ты есть и что тебе надлежит...»

Смотреть на Федю он не мог, так горько ему было то, о чём он думал. Ещё не в силах решиться встать, сдержанно попрощаться и уйти, дожидаясь Василия с лошадью где-нибудь на околице, он сидел, плотно отгородившись от Феди рукой, упорно глядел в сторону, на давно не беленную, копотью закинутую до самой задвижки печь. И грязная эта печь, и общая давняя неухоженность в доме, и весь дом, угловато-тесный от разных нанесённых сюда ненужностей — старых кадок, порванных хомутов, связок лозы, — дом, с глухо заросшим от времени жилым пространством, казалось, тоже был безучастен к нему.

Упираясь одной рукой о стол, другой о лавку, Алёша неуклюже поднялся, сунул под мышки костыли. Но, прежде чем сдвинулся с места, он слышал в сенях шаги и в угрюмой неприветливости уставился на дверь.

2

Дверь в один мах отворилась; пригнувшись под низкую притолоку, через порог стремительно шагнула в избу Васёнка. Встала, тревожным взглядом вобрала в себя сразу всего Алёшу с его копной волос, очками, костылями, будто обессилив, привалилась к косяку.

— Вернулся!.. — сказала и засмеялась, хорошо, легко засмеялась.

Встречи с Васёнкой Алёша не ждал; увидел в глубине её оживлённых глаз немой вопрос, опустил на лавку, с неловкой поспешностью стал засовывать костыли под стол. Васёнка не могла не заметить его растерянности, но виду не подала; будто не имея к нему никаких других дел, кроме понятной каждому радости его возвращения, присела к столу, не спуская с него внимательных радостных глаз, как будто виноватаясь перед ним, проговорила:

— Не сердчай, Алёша! Бабы гукнули, что ты у Феди, — не стерпела...

Алёша с трудом приходил в себя; с грустной ревностью ума отмечал, что Васёнка всё та же: такой вот, до беззащитности открытой, будто излучающей доброту и ласковость, она и хранилась в его памяти. Показалось даже, что годинины с их жестокостью и горем обошли Васёнку. Вот только слово «гукнули» непривычно услышать в памятном мягком, всегда каком-то стеснительном её говоре; отметив это чужое для неё, резкое слово и что-то ещё, неясно уловленное им, он подумал, что всё-таки, даже, наверное, Васёнка изменилась.

Плавным быстрым движением рук Васёнка пригладила волосы, как всегда плотно уложенные, оттянутые узлом на затылке, от ходьбы распушившиеся вокруг маленьких, аккуратных ушей; не отнимая рук от головы, поверх до смуглости загорелых локтей посмотрела на Федю каким-то особенным, тоже для неё непривычным, будто поощряющим его к чему-то взглядом; с озабоченностью сказала:

— Федя! Милый! Не сочти за труд, добыги до Капитолины. Пусть найдёт вина бутылочку. И скажи — надо, мол, Васёна Гавриловна наказала!..

Алёша было запротестовал, но Васёнка не дала и двух слов сказать:

— Ты, Алёша, с войны вернулся. Так неужто не приветить тебя по русскому деревенскому нашему обычаю!.. Лихо кончилось. Жизнь по местам всё расставляет. Можно ли солдату от приветных речей отказываться?!

В том, как она это сказала, была убеждённость, и Алёша, покоряясь её убеждённости, опять подумал, что прежде такой решительности он у неё не знал.

Федя, как только увидел Васёнку, зарозовел серединками морщинистых щёк, как от близкого сильного тепла; глаза его, было заугрюмевшие от тяжёлой Алёшиной молчаливости, вновь в живости зачернели; подняться, чтобы встретить Васёнку у двери, он не посмел и теперь, сидя с ней рядом, на одной скамье, привечал взглядом как близкого сердцу человека. Он тотчас встал, засобирався поспешнее, чем то требовалось; Алёша вспомнил о былой его слабости, но даже про себя не осудил. Ему казалось, Васёнка отослала Федю не без умысла, и вовсе не вино и не обычай были тому причиной. Разговора о Леониде Ивановиче он страшился; и, когда Федя вышел, в поспешности забыв, что оставил дверь открытой, весь напрягся в ожидании. Но Васёнка только коротко взглянула, порывисто поднялась, придерживаясь за косяк, склонила над порогом гибкое сильное тело, плавным движением руки дотянулась до скобы, притворила дверь; к столу вернулась в задумчивости.

— Вот, Алёша, не могу благодариться на Федю: золото человек. Иной раз глаза закрою, оглянущу полные лиха годы и думаю: спасение наше — Федя. Сколько семигорских баб да детишек не дотянули бы до Победы, если бы не Федино житейское уменье! Два ума на всё село война оставила: Федю вот да Акима Герасимовича, пастуха. Только они и выручали, когда бабьи руки уже ничего не могли... — Васёнка не жаловалась; казалось, она рада была хоть чуток скинуть с души из того, что скопилось за войну, и говорила: про Федю, про всех других семигорских: про девок и баб, голодавших пацанчиков, не в пример скоро ставших мужиками, про Женю, Лариску, трудно, через болезни, идущую в рост.

Алёша слушал Васёнку с каким-то сложным чувством настороженности и обиды. Васёнка зачем-то старалась внушить ему, как нелегко жилось людям здесь, где не падали бомбы, где не горела земля, где взрывы не отрывали ноги и руки, где поля в одночасье не покрывались сплошь телами поутру ещё живых солдат; она как будто не видела его беды, не хотела знать, каким он вернулся с войны, каково ему теперь в откинутости от общей жизни. Отчуждённо, не слушая, он смотрел, как двигались её руки, быстрые пальцы ощупывали доски плохо струганной столешницы, поднимались к груди, трогали пуговицы на кофте, опять беспокойно ложились на стол; не сразу услышал он зов.

— Алёша... Алёша!.. — в беспокойстве окликнула Васёнка. — Пошто запропал! Ни говоришь, ни меня не слышишь... Болит что?..

Алёша покачал головой; одинокость и безысходность, наверное, были на его лице. Васёнка поднялась, села рядом, обняла за плечи, и Алёша в охватившей его душевной слабости прижался головой к её шее.

— Эх ты, горечко мамино! — с тяжким вздохом сказала Васёнка. — Хочешь, чтоб пожалели... А надобна ли тебе, Лёшенька, жалость-то эта! Ты подумай-ка, в войну всем равно досталось. По-разному, но горяшка у каждого взахлёб... На восемьдесят шесть дворов — семьдесят две похоронки. Это же представить невмочь!.. Живой, живой ты, Алёша, услышь ты это слово! Жить тебе надо. Со всеми, кто остался в живых! Не можно ночь и день, себя жалеючи, думать, — умом поослепнешь. Радости не увидишь. Ведь ты, Алёша, сильный. Ты такой ещё парень!..

Васёнка запустила пальцы в его густые волосы, потрепала, прижала к себе, поцеловала в бровь и — взволновалась. Алёша почувствовал, как испугалась Васёнка своей ласки, поднялась, встала у окна, присунула к стеклу запалённое лицо. Глядя сквозь стекло на волю, напряглась о чём-то спросить, но не спросила: пошла по избе, на ходу бездумно прибирая в беспорядке побросанные вещи, каждой находя место.

Оставленный на лавке, Алёша потерянно следил за Васёнкой. С охватившей его вдруг ревностью и обидой сказал:

— Федю вот жалеешь!..

Васёнка только что подхватила с подоконника сунутые сюда, наверное, ещё с зимы, порванные рукавицы, услышала неприкрытую горечь Алёшиных слов, повернулась будто в удивлении:

— Что ты такое, говоришь, Алёша! Первый горемыка в Семигорье — Федя. Беды к нему катятся, будто под горой живёт! Небось словечка о себе не молвил. А вот тебе скажу. До первой ещё победы, что была под Москвой, — похоронка на сына. Через год — на дочь; в городе училась, в радистки пошла. Забросили на фронт — там её немцы и сгубили. Настёна, жена, — ты, верно, её и не знал, дела у тебя только до Феди были, — не удержалась на свете. А нужна она была ему, ой, как нужна! А следом ещё лихо прикатило: брат потерянный, убогий явился. Зиму бедовал с ним Федя — мыл, одевал, с ложки кормил. В пору-то какую! Корочка хлеба явится на стол — праздник!..

Васёнка стояла посреди избы, переключивала с руки на руку Федины рукавицы; упрекать вроде бы не упрекала, а хмуро внимавший ей Алёша от слов её бледнел.

— Я, Алёша, эти вот рваные рукавицы взяла, а вижу, как в этих рукавицах, в крещенские морозы, Федя лёд долбил в Нёмде, чтоб вытянуть бог весть из чего сплетённые мережки, какой ни есть добычей людей подбодрить!... Тот худой зипун, что на гвоздь навесила, тронула, а сердце от памяти заныло — в зипунишке этом в мартовскую липкую вьюжицу Федя на салазках тянул до города младшенькую петраковскую девчонку — животом, слабиночка, измаялась, не знаю, как отходили в больнице! Воротился домой, с неделю от кашля не говорил. А ведь крепкий свой тулуп да катанки среди зимы солдатам послал! Теперь вижу мёд у него был прихоронен, ни пол-ложки для себя не взял!.. Травку какую-то всё попивал... Даже неструганный, кособокий этот вот стол, мне, как сам Федя, дорог. Ведь хорошие-то доски он со стола сбил, чтоб брата честь по чести схоронить!.. Много, ой много лиха на одного! Устал он жить. Для себя ему и жизнь-то не надобна. А живет! Не сказать сколько людей за этим столом, в этой вот избе, душу себе отогрело! И ты к нему пришёл, другого своему горю не выбрал. Значит, чувствуешь, у кого сил занять!..

Васёнка перегнула рукавицы, всунула в печурку, потеснив пучок сухой травы и бересту, снова встала у окна, сложила на груди руки, глядела вприщур на волю. Алёша чувствовал себя скверно, так скверно, как никогда не чувствовал себя перед людьми. Две правды, две жизни сошлись, схлестнулись в стареньком домишке Феди, и Алёша, до самого этого часа живущий только правдой солдата, вдруг потерялся перед той, другой правдой, которая была за горестными словами Васёнки.

Васёнка, не размыкая крепко прижатых к груди рук, медленными шагами прошла по избе, под села к столу, из-под в строгости сдвинутых бровей посмотрела жгуче, спросила, сдерживая голос:

—Что про Леонида Ивановича не спрашиваешь? Или знаешь что?..

Алёша опустил голову. Из самой середины войны память вынесла кроваво-красный влажный вечер, затерянную в смоленских лесах незнакомую деревушку, Леонида Ивановича на крыльце чужого дома. Радость их, трёх, по чистой случайности не расстрелянных вместе с десантом, и тут же, в ответ на их доверчивость, руки Красношеина на его, Алёшином, автомате, короткий толчок в спину, обрывающий свободу. Плеснулся в глаза тот кроваво-красный догорающий день у незнакомой деревни, и тут же память сменила его видением холодной ясной августовской зари на опушке влажного бора, Красношеина, в обнимку с немецким пулемётом, неловко прижавшегося к стволу старой сосны. Он видел его таким, каким был Леонид Иванович за несколько минут до смерти: плотная тень от нависшей сосновой лапы как бы отсекала от его лица верхнюю половину; на освещённой половине были усмешливые, стиснутые до синевы губы; на затенённой, верхней, как будто не было ни волос, ни лба, — одни глаза, как две чёрные пещеры с мерцающим отсветом дотлевающих где-то в самой их глубине углей. И голос сохранила память — западающий в хриплость красношеинский голос; и слова, в завет ему, Алёше, сказанные: «Про всё Васёнке не говори. А вот про то, что сейчас здесь будет, про то скажи...»

Всё это мгновенным видением пронеслось перед закрытыми глазами Алёши. Он не знал, что должен сказать Васёнке. В полном смятении чувств думал: «Вот он, судный час: грехи чужие, исповедь моя...»

Васёнка угадала: носит в себе Алёша весть о Леониде Ивановиче! Руки её задрожали, поднялись к лицу; она подсунулась ближе, едва слышным голосом спросила:

— Коли знаешь, скажи?!

Глухо, под стол, он сказал:

— Он погиб... — И, испугавшись вдруг повисшей тишины, ещё глуше добавил: — Он хорошо погиб...

На Васёнку Алёша не смотрел. Капала из умывальника вода, капли размеренно, как постук ходиков, ударялись о какую-то твердь в тазу; тупой звук становился всё слышней и как будто ближе, мешался с высоким звоном в ушах, который пришёл с ним оттуда, с войны; в высоком звоне он едва расслышал тихий растерянный голос.

— Алёша, Алёша... Можно ли так-то: хорошо погибнуть?!

— Стало быть, можно... — Он поднял наконец глаза. Васёнка, опираясь локтями о стол, держала голову руками, смотрела с пристальностью вниз, мимо стола, на яркое солнечное пятно под окном; всё было в ней неподвижно, лишь удивительно ровные, полные, как у Зойки, сейчас бледные, губы чуть подрагивали, как будто от неслышных ему слов. Васёнка прищурилась, не отрывая глаз от светлого пятна на полу, медленным напряжённым голосом спросила:

— Пошто не говоришь мне всё?

Алёша молчал; он и теперь не знал, искупил ли вину Леонид Иванович своей смертью или так навек и остался без Родины. Одно он знал твёрдо: он и трое его товарищей жизнью были обязаны ему. И когда молчание стало невыносимым, упрямо повторил.

— Леонид Иванович погиб. Под Смоленском. Это всё, что я знаю.

В глазах Васёнки, всегда светлых, теперь как будто затенённых, он видел смятение и боль; придерживая руки у высокой шеи, она смотрела, ожидая. Потом как-то сдвоено вздохнула, и напряжение, бывшее в ней с первых минут, как вошла она в дом, оставило её; руки пали с мягким стуком на стол, лицо, непривычно решительное, напряжённое этой решительностью, дрогнуло в каком-то горьком недоумении; и вся Васёнка открылась в прежней своей незащитности:

— Алёша, Алёша, понимаешь ли ты, что мне надобно знать всё? Всё, до словечка последнего! Судьба моя в том, Алёша! Быть мне верной его памяти или забыть, про всё забыть! Не помнить, себя не казнить, коли случится по-другому...

Боль Васёнки Алёша видел; он протянул через стол руки, вобрал в ладони покорные ему Васёнкины пальцы, сжал, сострадав. Он облегчил бы свою душу, если бы здесь, сейчас рассказал о том, что пережил там, на Смоленщине. Но тяжесть памяти о предательстве Леонида Ивановича тогда перешла бы к Васёнке, придавила бы ни в чём не виноватое её сердце. Прояснённый состраданием чужому горю, он держал в своих ладонях покорную ему руку, принимая на себя чужую боль, говорил:

— Погиб Леонид Иванович. Нам помог, а сам погиб. Ты теперь знаешь, люди узнают. И памятью себя не осуждай. Свободна ты в теперешней своей жизни. Слышишь, Васёна, свободна!..

Васёнка высвободила руку. С силой прижимая к лицу ладони, огладила глаза, щёки, будто смывая дурноту наконец-то дошедшей вести, посмотрела внимательно:

— Больше ничего не скажешь?..

Алёша покачал головой. Васёнка шевельнула в усмешке углами губ, вздохнула:

— Что ж, ладно, Алёша. Знаю, как ты был добр к Леониду Ивановичу! Как-нибудь разберусь сама...

Лицо её потвердело, морщины отяжелили лоб, сузились в раздумье глаза; она хотела о чём-то спросить, но вошёл в радостной суете Федя, извлёк из-за пазухи бутылочку, по-стариковски лукаво улыбаясь, поставил на стол.

Васёнка поднялась, оправила на себе старенькую кофту, взглядом уходя в светлый проем окна, проговорила устало:

— Спасибо, милый Федя... Что-то нехорошо мне сегодня! Посидите, выпейте с Алёшей. А я пойду. Не могу...

Федя проводил Васёнку взглядом, шагнул было к двери, остановился: глядел на Алёшу из-под косматого волоса бровей, вопрошая.



ИВАН-ЧАЙ

В лесу зацвёл иван-чай. Возвращаясь с лугов в село по старой вырубке, Васёнка вдруг увидела спокойный малиновый его пламень и как будто обожглась, — кипрей был Макаровым цветком!

«Люблю я тот лесной цветок, Васёнушка. Вроде бы обычный, на глазах у всех растёт. А разглядишь — навек полюбишь. Диво-цветок! И в том его диво, что на цвет бережлив! Запалится снизу и долго землю красует, пока последним цветком на вершинке не отгорит...»

Давно были сказаны эти слова, в ту ещё пору, когда робкое её сердце только-только обнадёживалось мечтой. А вот, поди, — запомнила, пронесла через жизнь Макаровы слова о цветке.

После вести о Леониде Ивановиче, что принёс Алёша, снова в смуте была Васёнка. Вроде бы всё — душой укрепились, сготовилась не уступать себя прошлой жизни. И сумела бы, выстояла, — и перед лихостью Леонида Ивановича, и перед геройством. Сказала бы: «Так, мол, и так, Леонид Иванович. В войну себя не уронила. Честной женой дождалась. А теперь не суди — жизнь по сердцу начну улаживать!..»

Сказала бы открыто, на всём миру. Не дала бы худой молве по селу прокатиться. И если бы Макар принял её, повинную, глаз перед людьми не опустила бы. И никто бы не попрекнул, что своё счастье на чужом горе ставит...

Так бы оно и вышло, вернись Леонид Иванович живой. А тут — погиб. Да ещё «хорошо погиб» — слово-то какое надумал Алёша!.. А память людская, она — строгая. Мужем проводила на войну Леонида Ивановича, мужем её в людской памяти он и останется. Что за дело кому, что изжила она в себе прежнюю жизнь! Страданием изжила, без возврата. Что за дело кому, что с девичества сужен был ей Макар?!

Замутил ей душу милый человек Алёша. И опять будто бросило её к началу. Опять не знает, как верно поступить. А в жизни-то как бывает: раз отступишься, три отступишься, а потом в душевной своей силе и наовсе свянешь!..

Стояла Васёнка, прикинув к оставшейся на вырубке сосне. Обжигал её малиновый огонь иван-чая. А решиться на то, к чему сердцем была готова, не могла. Солнце уже перешло, нависло над мохнатостью леса, а она всё стояла, в который раз проживала свою жизнь. Всю перебрала, от денёчка до денёчка, а как добралась до нынешнего её порога — будто на берег вышла из воды. Вздохнула глубоко, на ощупь причесала, прибрала волосы, оглядела платье, совсем-то уж заношенное, не к такому случаю, да куда кинешься: другого искала бы — не нашла! И, не думая больше о том, в чём она, как со стороны глядится, вошла с решительностью в малиновый разлив, наломала самых лучших огоньков и пошла напрямик через село, мимо раскрытых окон, на виду своих баб-страдалиц, ковыряющихся в этот вечерний час за плетнями в огородах, мимо уберёженных от войны ребятишек, играющих в улице, — на виду всех своих семигорцев, отбедовавших вместе с ней лихо. Шла, высоко подняв голову, держала на руке любимые Макаровы огоньки, с достоинством отвечала на оклики, на приветные слова и под любопытствующими взглядами всех, кто глядел на неё, шагнула с улицы в Макарову калитку, не задерживая смелых шагов, незаметно перекрестив под цветами гулко стучащее сердце, поднялась в крыльцо.

В горнице, к великому облегчению Васёнки, никого из сторонних не было; была только близкая её сердцу баба Дуня да Макарова матушка, тётка Анна, и девочка, что явил с собой Макар, о которую и ударилось слепо и больно, её сердце при случившейся встрече на дороге у Волги..

Макар первым увидел Васёнку в открытом проёме переборки, отгораживающей горницу от кухни. На тёмном, побитом войной его лице высветились глаза, скуластые щёки покраснели, и когда-то сплошь чёрные, цыганские, теперь поседелые колечки волос как будто задрожали на лбу. Не по своей воле — будто окликнули его зычно, поднялся Макар, упёрлись в стол его тугие кулаки. Видела Васёнка, как напрягаются, дрожат вместе с веками опалённые его ресницы, будто смотрит он встречу солнцу, а глаз отвести не хочет. Всё увидела Васёнка: и одобряющий взгляд бабы Дуни, и движение матушки Анны, укрывшей лицо руками, как будто в невозможности поверить тому, что случилось, и, не вступая в горницу, в прежней своей беззащитности, глядя на Макара, выговорила едва слышно:

— Пришла я, Макарушка. Хоть казни, хоть милуй. А без тебя не могу... — Сказала и укрыла лицо в малиновом пламени иван-чая, прижалась головой к тонкой переборочке, вроде бы уже и стоять не в силах.

Макар сделал ответное движение к ней. Но девочка сидела с ним рядом, и потревожить её Макар не решился. По-прежнему глядя на Васёнку, как будто удерживая её взглядом, он бережно положил на голову девочки руку, осторожно, словно боясь порушить что-то до невозможности хрупкое, сказал:

— Прими, Катенька, у дорогой нашей гостьи цветы. И пригласи.

По голосу Васёнка, холодея, догадала, что выношенное в её сердце счастье не свяжется с Макаром без этой вот худенькой девочки с косичками на плечах, с большими, без детской улыбочности глазами. И когда девочка послушно вышла из-за стола и, мелко перебирая тонкими высокими ногами, пошла к ней, в тревожности залилась жаркостью стыда за дурноту прежних своих чувств. Оторвалась от переборки, от которой, казалось, и оторваться не могла, присела, вложила в слабые руки девочки ворох малиновых огоньков, охватила худенькие, как у Лариски, её плечики, прижала к себе и, целуя в волосы, казня себя, плача от жалости к Годиночке, судьбу которой знало уже всё село, покаянно шептала:

— Прости меня, Катенька!.. Не распознала тебя, доченька!.. Прости, кровиночка моя светлая...

Катенька притихла, прижалась тёплым лобиком к её плечу. И когда Васёнка чуть отстранилась, глядя заплаканными глазами, протянула руки, заботливо вытерла ладошками её мокрые щеки, позвала:

— Ну пойдёмте! Пойдёмте же!.. — За руку она подвела Васёнку к столу, сказала неожиданно звонким голосом: — Ну вот! А дядя Макар так вас ждал!..



Глава двадцать первая

О, ЖИЗНЬ...

К полуночи затихал осторожный говор за стеной в комнате отца и матери. И Алёша начинал жить. Он уходил в своё прошлое. И старался понять то, что было действительной жизнью. И себя, одинокого, вроде бы уже и ненужного большому миру, в котором каждый был как будто сам по себе и в то же время — он это знал — никто не жил, не мог жить независимо друг от друга. Лежал он на железной узкой, неудобной кровати — кровать эту он выбрал сам, из своей склонности к спартанскому устройству быта, — лежал в ночной отторженности от близких и далёких ему людей, и бились в нём с новой, как будто обнадёживающей силой яростные отцовские слова: «Жить будешь, как все. Как все!.. Запомни это!..» Давно были сказаны эти слова, ещё в далёкий день отъезда всей семьи Поляниных из Москвы сюда, на землю Семигорья. Но почему-то он вспоминал тот день и отца в страшной ярости, с которой он словно выхлестывал скопившееся в нём как-то само собой, от благ высокой отцовской должности, барство.

С горькой усмешливостью вглядывался Алёша в даль того дня, в искажённое лицо обычно всегда доброго к нему отца, вслушивался в срывающийся на крик голос. «Думать забудь о мягких вагонах! — кричал отец. — Жить будешь, как все... Как все!.. Запомни это!»

«Как все!» — Алёша помнил это важное для отца, важное для него слово. Сейчас он не желал ничего большего. Верхом его теперешних желаний было жить, как все!..

Страшно обошлась с ним жизнь!

Теперь он имел право на тот мягкий вагон, который в отрочестве манил его удобством и почётом. Хотя бы по орденской книжке, куда вписаны его боевые ордена и это его право на мягкий вагон. Он имел теперь право если не на барскую, то, по крайней мере, на бездеятельную жизнь в доме отца или в каком-либо другом доме. По государственным документам, которые удостоверяли пожизненную его инвалидность! Наитяжелейшую! Имел он и пожизненную пенсию на прожитие без труда. Он знал высокую справедливость всех этих представленных ему прав, но был совершенно равнодушен к этим своим правам. Они обеспечивали его жизнь, но не успокаивали душу. Они как будто отнимали его право жить, как все...

Ярость, с которой были когда-то выкрикнуты отцовские слова, Алёшу теперь не обижала. Текучее время обкатывает в памяти самые острые углы бытия, когда-то причинявшие боль; но важный для него смысл сказанных в прошлом слов жил, слова упруго бились в памяти беспокойной, какой-то подталкивающей силой. Он прислушивался к настойчивому зову этих слов и, мучительно напрягаясь телом и мыслью, думал: «А как живут все?..»

Все начинают свою взрослую жизнь с семьи. В одиночестве человек не может. Ему тоже был нужен, до покалывающих мурашек на пальцах, до сухости на подрагивающих губах, какой-то тёплый комочек рядом. Тёплая живая плоть, к которой можно было бы прижаться, забыться, уйти от того, что повторялось изо дня в день, не отходило, не менялось. В желании близкого, согревающего живого тепла он видел рядом с собой Лену. И маленького человечка, который не появился, но мог бы появиться для жизни от первой его близости с Женщиной, с дерзкой, отчаянной в чувствах Ленкой. В не забытой им холодной землянке. На неудобных жердях, под двумя согревающими их шинелями. В отсветах пламени горящего в печурке тола! Она и маленький «он» могли бы быть с ним рядом. Если бы не зло войны, в ничего не жалеющем пламени которой сгорела его, так нужная ему в жизни Лена...

В тоске, одиночестве он думал порой о Яничке, которой так хотелось быть с ним рядом. Думал о Ниночке, о затворническом домашнем её счастье с Юрочкой, о котором теперь он знал. Думал о Васёнке, о тёплых её руках, о неожиданном, в доме Феди-Носа, материнском её поцелуе, о который она словно обожглась. И о Рыжей Феньке. О том, как шёл к ней с грешными своими мыслями в то, далёкое теперь, юное время. О Рыжей Феньке, которая из чувственной его памяти так и не ушла.

Но память о прошлом не могла согреть его одинокое тело. А то, что было в самой жизни, в идущей вокруг него жизни, то было для других. Для всех. Не для него.

«Но если для меня осталось только одиночество, то зачем оно?.. — думал Алёша, стараясь быть мужественным перед вечным вопросом бытия. — Зачем тогда сама моя жизнь? Зачем?.. Если нет любящей женщины, которая могла бы вывести меня из одиночества. Если не дано мне продолжить саму жизнь. Не лучший ли исход у тех, кто вовсе не вернулся с войны?..»

«Но разве смерть лучше жизни?! — думал Алёша. — Не видеть. Не слышать. Не знать... Разве это лучше оставленной мне возможности просто внимать жизни, идущей вокруг?.. Говор ручья за палисадом, свист иволги, облака в высоком, распахнутом небе — разве одно это не может обернуться радостью бытия?! Разве не права Васёнка в страстном своем слове: «Живой ты! Живой! Услышь ты это слово!..» Война оставила мне жизнь. Может ли быть что-то большее?!»

«Хорошо. Всё так, — думал Алёша, волнуясь и пытаюсь открыть для себя какую-то важную истину. — Большого богатства, чем жизнь, у человека нет. Но в том ли жизнь, чтобы просто жить? Есть? Пить? Прибираться в доме?.. Отовариваться продуктами и одеждой?.. Молодым обзаводиться семьей? Следуя извечному закону природы, растить себе на смену детей? Радовать себя гостями-приятелями? Песней под гармонь? Зоревой рыбалкой или охотой?.. Если жизнь в этом, то много ли я потерял? В такую жизнь, пожалуй, уложусь и я. Даже в улыбочивую рыбалочку или потешную охоту, — в лодке можно и отзоревать!.. Да в том ли жизнь? В том ли смысл её — чтобы есть, пить, озабочиваться тем, чтобы был у тебя и завтра тёплый угол, приличная одежда? Семейное согласие, маленькие удовольствия жаждущих удовлетворения чувств?.. В том ли смысл — если брать жизнь не просто в её биологическом проживании, а именно как человеческую жизнь?! Разве может человек прожить свою жизнь, как сосна или берёза? Отличается она чем-то от жизни того же зайца или филина, ухающего по ночам в бору?.. Зачем-то дан человеку разум? Зачем-то ему, единственному из всего живого, дана возможность постигнуть смысл своего бытия?..

Что ведёт по жизни отца с его не только прямым, но вспыльчивым, колючим характером, с его фанатической устремлённостью в будущее? Работа, работа, только работа! Без никакой, даже без малой корысти. Даже без намека на корысть! Просто работа. Всё, что изо дня в день он строит, организует, направляет, отстаивает — всё для людей. Для тех, кто, быть может, даже наверное, не думает с благодарностью о нём, упрямом создателе условий для нынешних и для будущих, — он верит, — лучших по своей человеческой сути людей! Отец верит в будущее. Без этой веры и работы ему не выдержать бы тех душевных потрясений, постоянных перегрузок, которые валит и валит на него жизнь.

В этом весь он, отец. Большого ему не надо. Вера и работа — вот его жизнь! У меня ни того, ни другого. У меня нет будущего. Даже мама в бесконечных своих уступках неистовому разуму отца, даже в горестных своих печалях по неосуществлённым мечтам творит, как все, малую свою пользу, — для отца, для него, Алёши, для тех, кто способен её понять и принять такой, какой в своих печалях она стала. Отец может жить, как все, и там, где все. Мама может. А что могу я?..»

Алёша мыслями добирался до себя, и мужество, в которое он хотел верить, оставляло его; темнело в душе, медленные слёзы текли по щекам. Он не вытирал их, стыдиться в ночи было некого. А подушка к утру обычно просыхала. Постель к тому же он убирал сам. Мама, как казалось ему, не знала о душевных его страданиях в ночи.

«Вот, мамочка, — думал Алёша, сдавливая губами солоноватый натёк слёз. — Не только для людей — в малом домашнем нашем мирке ничего я не могу. Даже для тебя! Война подкосила и твои ожидания. Если бы даже я пошёл за твоей мечтой тогда, когда пришлось мне, ещё не зная своей судьбы, делать выбор, я не смог бы теперь сыграть для тебя ни сонаты, ни романса. Не смог бы порадовать твоё святое материнское тщеславие где-нибудь в знакомой тебе ленинградской гостиной ни привлекательностью вида, ни изысканностью манер. Жизнь не поддержала твоей мечты. Война распорядилась нам обоим не в радость. Всё, что могло быть *comme il faut* [Благовоспитанность (*фр.*)], — убито. Всё внешнее — убито, мамочка. Осталась для жизни лишь душа. Душа и ум. Как бы ни были они добры и благородны по твоей вере, что могут они, если отнята у меня сила, сама возможность силы? Если одинок я и скован неподвижными этими стенами? Если душа и ум только для меня и скрыты во мне?!»

Бродят, бродят мысли в бессонности притихшей ночи. Забрывают на дороги войны, на роковые перекрёстки жизни и смерти, через которые, оберегаемый неведомо какими силами, он прошёл. Памятливые мысли бродят в видимых ему далях, возвращаются вспять, на землю Семигорья — к истоку, от которого началась собственно его жизнь, — на других дорогах она складывалась, а неостывающее чувство причастности к этой вот, родной ему земле пошло отсюда...

В ночи, в непроницаемой тишине дома, звучит где-то выше левого виска тонкая, на одной ноте, звень — незатихающий отзвук пули, ударившей его в последнем для него бою, там, у налитанного кровью болота. Теперь вечно будет звучать в нём этот камертон войны, как сказал ему Ким, сын Арсения Георгиевича Степанова, чем-то созвучный ему человек и смелый хирург, вырвавший его из рук уже охватившей его смерти...

«Кто же говорил мне: жизнь — та же война?.. Ах, да. Говорил это Арсений Георгиевич. В госпитале. В ППГ-4, где обхаживали меня после первого боя и первого, пустячного по сравнению с тем, что было потом, ранения. Как же говорил Арсений Георгиевич? Как-то мудро говорил...» — Алёша напрягает память, и слова, давно сказанные, как будто звучат в темной и пустой его комнате!

«Жизнь — та же война, Алексей, — это голос Арсения Георгиевича. — Война с невежеством. С леностью умов. С жадностью плоти. За честность, за справедливость в отношениях между людьми. Только что кровь не льётся по телу — вся там, внутри, невидимая даже дружескому взгляду. А раны и рубцы — те же...»

«Да, раны и рубцы — те же, — думает Алёша. — Ранами я изуродован. А душа разве не в рубцах?! Такие ли ещё отметины на ней! Не от пуль — от людей. От тех даже, кто был на войне. Кто воевал...» Волнуясь какой-то важной, открывающейся ему мыслью, Алёша даже сел на кровати. И тотчас в квадрате окна, который был чуть светлее чёрных в ночи стен, он увидел серую согнутую спину Аврова и мушку пистолета на прорези его шинели. И опять, как это уже было с ним, в горьком ощущении упущенного времени увидел, как расплывается под мушкой пистолета, становится невидимой в коричнево-красных кустах тальника пригнутая серая спина Аврова.

— Вот она, — подлость! — шепчет Алёша. — Она таилась в душе Аврова! Война заставила её открыться. И снова услужливая подлость ушла в жизнь...

Алёша откинулся на подушку. Авров разбудил другое видение войны: накрывающий рёв самолёта, выскерк огня, удар, подламывающий ноги, красные звезды на чёрных крыльях. Пуля минула. Подлость — достала. Руками фашиста, укрывшего себя звёздами не своего самолёта. Когда зло встречает силу, оно оборачивается подлостью...

Алёша чувствовал, как пылает голова, беспокойны от возбуждённого сердца руки; он даже зажмурился от ясности видений того последнего на фронте дня.

— Нет-нет, рано я ухожу от жизни! Война не кончена. Она только перешла с опалённой земли в человеческие души!

Он вспомнил встречу, даже не встречу, а просто случай. В теперешней жизни, где печальный его мир был: дом, скамейка у палисада, снова дом и — очень редко — луг у реки, — каждая встреча, каждый взгляд даже на отдалённую чью-то жизнь словно прожигали в его душе след; потом по многу раз, из конца в конец, исхаживал он мыслями эти следы, стараясь понять чужую жизнь и себя, незримо живущего около. Встреча, о которой сейчас он помнил, случилась на лугу, за Нёмдой, куда, пытая свою, волю и свои возможности, он забрёл. Забрёл и повалился в траву, опрокинутый болью. В отвращении к своей немощи отстегнул, скинул с остатков ног тяжёлые приделки, бросил сохнуть мокрые, в пятнах крови чехлы, которые теперь носил вместо когда-то привычных носков и портянок. Лежал на спине, приходил в себя, разглядывал жизнь высокого неба, облака с округлой протенью, медлительно выплывающие из лесного заречья.

Смотрел, не давая себе думать о ногах вообще, не думать о том, чего теперь у него не было. И вдруг услышал голоса. Поднял из травы голову, увидел на луговине ребяташек. По-разному одетые, но все в одинаковых испанских шапочках-пилотках, беспокойные, как пролётные птицы, они вольно разбежались по травяному раздолью, и две воспитательницы, как мудрые птицы-сторожа, с возвышений оберегали их.

Алёша лег на живот, положил подбородок на ладони, с неожиданно пробудившимся любопытством, каким-то примеривающим взглядом, наблюдал полную чувственного восторга подвижную молодую жизнь.

Из общего круга отделился мальчонка, понёсся с поднятым на палке марлевым сачком вслед за улетающей бабочкой прямо к нему, пока ещё незримо в траве. Видны были его распалённое азартом лицо, кудряшки волос, будто нарочно набросанные на лоб из-под сбитой на затылок пилотки, глаза, распахнутые в диком желании догнать, придавить сачком пьяно летящую над цветами бабочку. Странное желание вдруг охватило Алёшу: захотелось до зуда в ладонях подняться навстречу бегущему мальчишке, подхватить сильными руками, подбросить к небу, чтоб, замирая сердчишком, завопил, завизжал он от восторга, и, как когда-то он сам, взлетая над отцовской головой, просил: «Ещё! Ещё, пап!..» — услышать от мальчишки свои же, из детства, слова.

Алёше казалось, он мог бы для маленького человечка сделать что-то важное, необходимое ему, то, что сам радостный человечек сделать ещё не может.

Мальчишка был уже рядом, уже слышалось его сбитое бегом дыхание, быстрый мягкий топоток ног. И Алёша, воображением уже брошенный ему навстречу, вдруг представил, как, увлечённый погоней, малыш увидит его, как остановится в испуге, как в страхе закричит, понесётся обратно, под защиту надёжных своих воспитательниц, и от того, что представил, вжался в траву, не зная, куда спрятать страшное для посторонних глаз своё тело.

Мальчишка не добежал: может быть, бабочка, отпугнутая суетным его движением, метнулась в сторону, увела за собой, но мягкий быстрый топоток отделился. Алёша облегченно вздохнул.

Через какое-то время воспитательницы построили ребяташек, повели к Семигорью, к детскому дому, и растянутый, звучащий тонкими голосами строй утёк живым ручейком к домам, под уличные вётлы. Пустая луговина и тишина возвратили одиночество, вместе с ним и отрешённость от деятельного человеческого мира. Снова, не давая проявиться бесполезной душевной боли, он смотрел в исцеляющее небо, на полную загадочных перемещений жизнь облаков, но небесная высь на этот раз не исцеляла.

Напряжённый слух ловил земные звуки, и среди милых ему звуков земли: пересвиста иволг у реки, нетерпеливого ржания коня в леспромхозовском посёлке, натужного плюханья колёс пробирающегося Волгой буксира — всё чудились ему тонкие, перебивающие друг друга голоса ребяташек. Он не мог отрешиться от ощущения какой-то своей причастности к мимолётно коснувшейся его радостно-доверчивой их жизни.

Какая-то связь между его памятью о войне и доверчиво бегущим в луг мальчишкой была, он ощущал эту связь теперь; лежал в ночи, растревоженный своими же мыслями, думал: «Неужели и этому мальчишке суждено пройти весь тяжкий путь познания и горя, который прошёл я?.. Неужели то, что приняли мы на себя, не может оберечь его жизнь?.. Неужели всё начинать ему сначала?! — Алёша, волнуясь, закинул руки на спинку кровати, сдавил холодные железные прутья. — Ведь я был таким же доверчивым мальчишкой! И тоже ждал от жизни только радости и добра!.. Почему же опыт и сила тех, кто дал нам жизнь, и тех, кому мы доверили себя, не могли оградить нас от горя и зла?! В том ли закон, что каждое поколение должно всё начинать сначала? Или в том закон, что люди, идущие вослед, не должны повторять то, что было нашим страданием и горем?! Как сделать, чтобы милый, сбережённый в войне малыш не повторил мой горестный путь?.. Как сделать, чтобы выстоял он, когда жизнь вдруг обернётся не радостью, не солнцем и бабочками? Когда в какой-то из дней выкатится ему под ноги угодливая, заманивающая подлость и зло бросит ему свой, быть может, властный вызов?! — Алёша провел по горячему лицу руками, как бы останавливая почти физически ощущаемые мысли; уже спокойнее, вместе с тем упрямо подумал: — Нет, дорогой друг Алёша. Кто-то был бы рад выбить тебя из жизни. Без тебя, битого, злу легче править свой бал! Если жизнь та же война — война в человеческих душах, — то нужны ей не только руки-ноги. Нужны и ум, и слово, и работа честной мысли, без которой людям не обойтись. Нет, что-то я ещё могу принять на себя!.. Хотя бы ради того доверчивого мальчишки...»

— Алёшенька! — голос мамы тревожен; она неслышно подходит, кладёт руку на разгорячённый лоб. — Скоро утро, а ты на час не заснул!..

— Прости, мамочка! — Алёша осторожно усаживает Елену Васильевну на кровать, ладонями придавливает её руку к своей голове. — Скажи, мама, скажи, пожалуйста, ты никогда не думала, откуда является в жизнь зло? — Он едва различает Елену Васильевну, слабо белеющую в темноте ночной рубашкой, но чувствует и скорбную её притаенность, и обнадеживающую её близость.

— Не знаю, Алёшенька, — слышит он наконец её неуверенный голос. — Добрые и злые поступки зависят от многих причин. И прежде всего от порядочности человека. А порядочность, как мне кажется, не совместна с эгоизмом души... Не знаю, Алёшенька. В одном я убеждена — горе приходит от тех, кто не умеет думать о других...

— Спасибо, мама! — Алёша передвинул к губам её руку; с горечью ощущая идущий от её руки, не перебитый одеколоном запах дыма и лука, благодарно поцеловал. — Спасибо. Ты всегда укрепляешь мою веру, мама!..



Глава двадцать восьмая

У СЧАСТЛИВЫХ

— Мама! Я больше не могу. Хочу видеть Ниночку и Юрку!..

— Но Алёшенька... — Елена Васильевна не находила слов, она боялась того, с чем мог встретиться Алёша в благополучном доме Кобликовых.

— Хочу видеть счастливых, мама!

Алёша стоял, опираясь на костыли, упрямо наклонив голову, и Елена Васильевна поняла, что остановить сына не в её силах.

Собирался Алёша долго. Облачился в офицерский китель и брюки, пошитые специально для него из когда-то недостижимого полковничьего бостона, добытого с помощью пожилого госпитального интенданта, сочувствовавшего его молодости и тяжёлой судьбе, прикрепил даже ордена. Но постоял у окна, вообразил, как предстанет перед взглядами тех, к кому незвано стремился, и содрал с себя весь парад. Надел единственный свой костюм, в котором когда-то счастливо танцевал в ДК с Ниночкой, Ленкой Шабановой, с удивительной, памятной ему до сих пор Зойкой, костюм, непостижимыми жертвами сохранённый Еленой Васильевной, и, больше не давая себе думать о том, во что он одет и как выглядит, с решительностью прошагал через кухню, мимо поникшей у плиты матери, прошёл на крыльцо, где его поджидала лошадь.

1

В тихой улочке, зеленеющей нетронутой гусиной травкой, Алёша придержал лошадь, пустил её шагом и, пока телега катилась по мягкой сухой колее мимо сплошных дощатых заборов и высоких деревянных тротуаров, уже ни о чём не думал и даже как будто не волновался.

Лошадь он привязал вожжами к одной из двух старинных тумб, врытых при въезде во двор, отпустил чересседельник, разнуздал; из телеги перетащил, зажимая под локтем, охалку сена, положил перед мордой мерина, благодарно тронувшего его руку тёплыми губами. Он не то чтобы хотел отодвинуть минуту встречи с людьми, в которых было его прошлое; просто он старался заботой о живом, послушном ему существе утвердить себя в том ощущении, что, что бы ни случилось там, за воротами, в которые сейчас он войдёт, сама жизнь, пусть малое, но его участие в ней, останутся при нём.

Всё же когда он повернул тяжёлое кольцо на воротах и железная накладка звякнула, освобождая ход калитке, когда, подпирая себя костылём и помогая палкой, он медленно двинулся через просторный двор к крыльцу, грудь ему стеснило, он даже остановился, вытер проступивший пот.

Первой на его пути оказалась Дора Павловна. С крыльца она спускалась навстречу, заметив, видимо из окна, и смотрела на него с каким-то неприятным ему удивлением, как будто старалась понять причину его появления.

— Здравствуйте, Алёша, — сказала она, пожимая его напряжённую руку. — Как вы решились на такой путь?.. Я слышала о вас. Но, признаться, не ожидала. Что ж, проходите. Юрочка и Нина дома.

В просторной кухне Дора Павловна указала на лавку у окна, по-деревенски длинную и широкую, сказала сдержанно:

— Посидите пока тут. Нина должна привести себя в порядок.

Алёша с волнующим его чувством узнавания опустил на лавку, с любопытством оглядел кухонный стол с когда-то зелёной в клеточку, теперь стёртой до серости, казалось, навечно прилипшей к столешнице клеёнкой. За этим столом сживали они бок о бок с Юрочкой, грызли с аппетитом огурцы, запивая их, по его рецепту молоком. За этим столом Дора Павловна поила их чаем и он внимал её строгим речам, боясь звякнуть ложечкой о чашку, поднять глаза и возразить, хотя и в то робкое время в чём-то не соглашался с ней.

Из-за прикрытой двери доносились звуки возни и шёпот.

Алёша покосился на дверь, заметил между русской печью и стеной что-то вроде широких спальных нар, наполовину задёрнутых ситцевой занавеской, которых прежде здесь не было, две замятые подушки на них, скомканное, отброшенное, видимо в поспешности, одеяло, догадался, что этот уединённый угол Дора Павловна отвела молодым, и жаркая сухость в горле перехватила ему дыхание. В оторопи он попытался сунуть костыль и палку в дальний от окна тёмный угол, чтобы Ниночка не вдруг заметила его нынешние деревянные опоры, но понял тщету своих усилий, нахмурился, оставил костыль в руках.

Дора Павловна, стоя у плиты, проследила за движением его рук, сказала, не пытаясь даже смягчить жестокий смысл своих слов:

— Ничего не поделаешь, Алёша. Надо уметь мужественно переносить эгоизм чужого счастья. Счастливые, к сожалению, не думают о других и всеми силами отвоёвывают для любви не только медовый месяц. — Удерживая на нём взгляд своих тёмных строгих глаз, договорила. — Надеюсь, теперь вы понимаете мои нынешние материнские заботы?

Да, Дору Павловну он уже понял. Он ещё не видел Нину, ни слова не сказал Юрочке, а Дора Павловна уже внушала ему, что в этом доме он только гость и никаких надежд на возврат былых близких отношений между ним и завязавшейся молодой семьёй быть у него не должно. Молча, с какой-то даже усмешливостью наблюдал он, как Дора Павловна ходила по кухне, в нетерпении мяла пальцами ладони. Ему казалось, она не находит слов, приличествующих их встрече, но желания помочь ей в её затруднении у него не было.

Дора Павловна направилась к двери комнаты, в которой всё ещё слышались шёпот и суета, возвышая голос, сказала:

— У меня нет времени! — Потом пожаловалась не то себе, не то Алёше: — Как дети! Всё ещё дети...

Она подошла к холодной печи, сняла с керосинки, стоявшей на плите, тихо шумевший чайник, задула огонь. Запахом копоти напахнуло на Алёшу, и по каким-то непостижимым законам памяти он вдруг увидел зачернённые пожаром стены полуразрушенного завода, где все они, пленённые солдаты и командиры, ждали своей участи, грязный бетонный пол, в углу прислонённого к стене дядю Мишу с раскинутыми босыми ногами, и услышал полубезумный зов: «Алёша!..» — и захлёбывающийся от торопливости и слабости его голос. В мгновенном виденье всё это вдруг оказалось здесь, у холодной печи, рядом с Дорой Павловной, и Алёша даже замер, даже холод почувствовал в висках от отчётливости того, что увидел. Самого главного Дора Павловна могла и не знать, она могла не знать, что дядя Миша жив, что он в Ленинграде, что письмо об этом невероятном событии уже лежит в маминой резной шкатулке, вместе с его фронтовыми письмами!.. То, что явилось из памяти Алёши, было так близко этому дому, что, ещё не поборов волнения, он неожиданно для себя спросил:

— Дора Павловна, скажите, Юрочка так ничего и не узнал о своём отце?..

— Что? Что вы сказали?! — Дора Павловна подходила, вглядываясь ему в глаза настороженным взглядом.

— Вы что-то знаете? — спросила она тихо, так тихо, что он понял её скорее по движению губ.

Алёше стало не по себе, вторгаться с чужими тайнами в чужую жизнь он не имел права. И, отвечая настороженному взгляду Дору Павловны, отрицательно покачал головой.

Дора Павловна медленными шагами дошла до порога, повернулась, ещё раз внимательно взглянула на Алёшу.

— Что же, всё может быть, — сказала она рассеянно. — Порой мы излишне чувствительны к своему прошлому. Мы почему-то забываем непреложный закон бытия: у каждого есть только одна реальность – реальность настоящего... — Она молча прошла несколько шагов, воскликнула: — Нет, это невероятно! Даже думать об этом глупо. Разумеется, глупо! — Она с трудом одолевала раздражающую её мысль. — Нет, так можно дойти и до мистики! — Дора Павловна взяла себя в руки. Смягчая взгляд, посмотрела на Алёшу, как будто только теперь по-настоящему увидела его.

— Простите, Алёша, — сказала она, усталым движением руки оглаживая лоб и глаза. — Я всё о себе. Но за вашими плечами своя нелёгкая жизнь. Вернуться без ног... Это же страшно!.. Если бы Юрочка...

Алёша видел, как Дора Павловна побледнела. Он сжал губы, протестующее повёл головой, стараясь остановить напрасный разговор. Дора Павловна, кажется, его поняла. Некоторое время ходила молча, сделала движение к двери, поторопить молодых, но раздумала. Подошла к столу, опёрлась о край, спросила, устремив взгляд в окно:

— Скажите, Алёша, приходилось ли лично вам проявлять на фронте жестокость?

Алёша удивлённо взглянул на Дору Павловну. Нет, Юрочкина мать, кажется, не изменилась, по-прежнему она жила в своём довоенном мире. Он пожал плечами, ответил угрюмо:

— Война, Дора Павловна, сама по себе, в любых проявлениях – жестокость.

— Прекрасно сказано! — Дора Павловна смотрела на него с новым для неё чувством одобрения. — Надеюсь, вы знаете, что война определяется как продолжение политики? Иными средствами, но – продолжение?.. Если жестокость признаётся в войне, то справедлива она и в политике?.. А значит, и в жизни?.. Нет ли в нашей жизни постоянного, не всеми видимого фронта? Не должен ли каждый из нас и в мирной жизни оставаться солдатом? Вы не согласны с подобным утверждением?..

Алёша с трудом высвобождался из-под властной, подавляющей логики Доры Павловны. Опять Дора Павловна возвращалась к своей как будто преследующей мысли. Он помнил, он хорошо помнил, как в один из дней ещё мирной жизни, в этом доме и, кажется, за этим же столом она говорила им с Юрочкой о борьбе и праве на жестокость. «Да, мир Доры Павловны всё тот же, — думал Алёша, крепче охватывая костыль, вжимаясь щекой в деревянную его шершавость. — Как хочется ей подтвердить свой житейский принцип опытом солдата, вернувшегося с войны! Не хочет, не может она понять, что жестокость в жизни не то же самое, что жестокость в войне...»

Алёше казалось, что Дору Павловну он понял, и, смягчая своё несогласие, осторожно ответил:

— Жестокость к врагу я признаю, Дора Павловна. Но бороться со злом – это бороться не с человеком, а за доброе в человеке...

— Вы так думаете? — Глаза Доры Павловны сузились, крылья аккуратного прямого носа напряглись, всё её холодной красоты лицо сделалось похожим на лицо прицеливающегося и уже готового выстрелить человека. — Почему же на войне убивали людей, а не зло в людях?! — Взгляд Доры Павловны был по-прежнему устремлён в окно, на какую-то одной ей видимую точку в пространстве над соседними домами.

Дора Павловна была сосредоточена на себе, на своих, беспокоящих её мыслях, но Алёша чувствовал, что этой властной женщине всё-таки не всё равно, что ответит он. Он хотел объяснить Доре Павловне, что война не решает вопросов самой жизни, что в войне они лишь отстаивали право жить по своим законам, что теперь, после войны, они снова оказались перед жизнью, и каждому теперь снова думать, как жить, и мучится вопросами добра, справедливости и человеческого счастья, но объяснить он не успел, — дверь от решительного толчка Юрочкиной руки распахнулась, и в кухню с приготовленной радостно-невинной улыбкой, клоня к плечу голову, вошла в сопровождении сияющего Юрочки Нина.

2

— Ну, Алёша, что же ты молчишь?! Ну, рассказывай как ты жил, что было у тебя в эти невесёлые годы? — Ниночка по девичьей своей привычке морщила нос, приподнимала брови, старательно моргала ресницами, одаривала его улыбкой. А Алёша, будто окаменев, смотрел затуманенными глазами и повторял про себя одну-единственную фразу, которая почему-то именно сейчас явилась к нему из его школьных дневников: «Дивно хороши у Ниночки волосы!.. Дивно хороши у Ниночки волосы!..» — и слова эти как будто вырывали его из годин войны и смыкали прошлое с настоящим. Ниночка сидела почти рядом, разделял их только угол стола. Вытянутой руки хватило бы, чтобы дотронуться до её волос, нежной шеи, как делал он когда-то, робкими прикосновениями выражая то, что не умел, что всегда стеснялся высказать словами. Он видел в одном из завитков её волос, по-новому подколотых над правым ухом, застрявший там крохотный обрывочек газеты. Ниночка, наверное, тоже, как делали это девчонки из санвзвода, накручивала волосы на газетные жгутики, и была, наверное, в этих жгутиках, когда он подъехал к дому, и, в спешке раскручивая, расчёсывая волосы, не заметила этого малого обрывочка.

Будь это в прошлом, он протянул бы руку, виноватясь улыбкой, убрал бы из её волос этот трогательный след её забот, и, наверное, они бы вместе посмеялись, счастливые своей доверчивостью друг к другу. Но прошлого не было. Была только память о прошлом. И разделял их не угол стола. Рядом был Юрочка, её муж, и вынуть соринку из Ниночкиных волос было его правом. Он мог встать, подойти к Ниночке, прижаться щекой к её волосам, мог обнять, мог даже поцеловать!.. Он всё мог, этот счастливчик Юрочка! Нет, не углом старинного массивного стола Алёша был отделён от Ниночки. Людей разделяют не вещи. Не стены домов. Не пространства земли и неба. Людей разделяют условности. и если человек принимает их и следует им – они крепче стен, неодолимеё расстояний!..

— Ну, не молчи, Алёша! Ну, расскажи, как ты воевал?! — Ниночка в старании расшевелить его протянула к нему руку, но не дотронулась, — под быстрым взглядом Юрочки вскинула локти, поправила волосы.

— Ну, Алёша!..

Юрочка, навалившись боком на стол, наблюдал Алёшу с каким-то притаённым любопытством. Был он в том особенном состоянии, в котором обычно бывают молодые мужья в счастливо начавшихся супружеских отношениях. Какая-то не свойственная ему медлительность, какая-то даже леность проглядывала в его движениях, когда он пододвигал себе стул, или садился, или, подперев голову рукой, не глядя, перелистывал страницы лежащей на столе книги. Время от времени, по какому-то неясному побуждению, он поднимал свои лучистые глаза, смотрел на Алёшу, как будто издали, из прошлых лет, и можно было уловить в его взгляде снисходительность удачливо устроившегося в жизни человека.

С тех пор, как Дора Павловна ушла, сославшись на дела, и Алёша с лицом, жарким от напряжения и стыда за свою неуклюжесть, сделал свои мучительные под взглядом Ниночки шаги из кухни в эту комнату и сел, засунув костыль и палку под стол, Юрочка как будто совершенно успокоился за исход случившейся встречи и предоставил ему полную свободу обозревать свою бывшую любовь. Ниночка, со своей стороны, как ни занята была старанием молодой хозяйки перед гостем, чутко следила за настроением своего мужа, с готовностью, с каким-то даже заискиванием отвечала на его взгляды, укоряла и успокаивала выражением своих глаз.

Алёша понимал весь их бессловесный разговор, чувствовал свою ненужность в этом доме и всё-таки сидел и в каком-то упрямстве, склонив голову к стиснутым на столе рукам. Ниночка наконец не выдержала, дотронулась пальцами до его руки.

— Ну, не молчи же, Алёша! Расскажи нам, как было там, на войне... — В близких глазах Ниночки, за натянутой улыбкой, он увидел растерянность, почти смятение человека, не знающего, как держать себя с ним, трудным для неё гостем, и, жалея её в её страдании, проговорил почему-то хриплым голосом:

— Давайте лучше говорить о жизни. Хотя и на войне не только смерть. И там жили... — он хотел сказать: «И даже любили...» — и не сказал: как-то не вместились это слово в дом, в котором он сейчас был.

Ниночка заморгала в новом для себя затруднении понять его, спросила быстро и невпопад:

— И тебе не пришлось никого убить?

Алёша пожал плечами:

— Я ведь раненных спасал.

— Но у тебя, я слышала, ордена?! За что?!

— Наверное, за то, что хорошо спасал!.. — Алёша неожиданно для себя рассмеялся. Помедлив и взглянув на Юрочку, засмеялась и Ниночка.

— Ты, оказывается, шутить научился! — сказала она, в ответном смехе освобождаясь от мучившего её напряжения. — А я вот даже не знала, как с тобой говорить! — успокаиваясь, она почти неувовимо обласкала его благодарным взглядом, повернулась к Юрочке, оживлённо спросила:

— А помнишь, Юр, как вы с Алёшкой бежали на районном кроссе тысячеметровку? Мне так хотелось, чтобы на финиш вы пришли вместе. Грудь в грудь. Честное слово!.. Алёша на секунду тебя опередил. И было это двадцать второго июня, когда война уже началась. Странно, правда? Война уже шла, а у нас соревнования, праздник. Люди нарядные, весёлые. И вы оба такие красивые, сильные!

Алёша не понял, что заставило Ниночку вспомнить именно тот день. Для кого она вспомнила: для себя, для него, для Юрочки? Как ни старался Юрочка быть благородным в проявлении своих чувств к Алёше, торжество удачника, теперь уже окончательно взявшего верх над давним своим соперником, нет-нет да прорывалось в его лучистом взгляде: Алёша угадывал это торжество и не осуждал его: что поделаешь, если война стала ему, Юрочке, помощницей!

Но день своего торжества он помнил. И с такой силой отчётливости, что даже дыхание у него сбилось, как в минуты уже завершённого бега. Победную секунду он вырвал у Юрочки не по случаю. Два месяца ежедневного бега по лесным необустроенным просекам, в любую погоду, с желанием и вопреки желанию, с убеждённой в своей победе и в дни отчаяния и безверия, — всё вобрала та победная его секунда.

Была в ней и память о поражении в зимнем кроссе, и сочувственные советы Васи Обухова, и робкие, ободряющие слова Витьки Гужавина, и тревога мамы, обеспокоенной нагрузками на его сердце, и даже Ниночкину иронию. Да, и Ниночкину иронию, хотя к тому времени их влечение друг к другу достигло, казалось, совершенной взаимности. Но именно тогда сказала она ему: «Всё-таки напрасно ты стараешься. Знаешь, какие сильные и славные парни пытались обойти Юрочку? А он как был, так и ходит в чемпионах!..» Он промолчал, хотя готов был завывать от обиды – Ниночка не верила в него! Но в солнечный жаркий полдень, при праздничном шумном стечении едва ли не всех жителей городка, он всё-таки обошёл непобедимого Юрку!

Юрка шёл ведущим всю тысячеметровку и первым выметнулся из лесного оврага на открытую взорам людей луговину. Алёша бежал вторым, в каких-то трёх-пяти шагах от Юрки, и всё время чувствовал, что может бежать быстрее. И тут, на луговине, на финишной прямой, приказал себе: «Пора!» и вложил в движение ног всю накопленную тренировками силу. Секунду, другую они шли плечо в плечо; боковым зрением, странным для тех напряжённых мгновений, он видел, как расширились в изумлении и отчаянье, глаза Юрки, как бешено заработали его быстрые руки, и тут же всё медленно ушло назад – протянутая по финишу лента повисла на его, Алёшкиной груди, как будто стиснутой от бега непереносимо трудным дыханием. Да, случилось это 22 июня 1941 года, и победа эта опять не стала его, Алёшкиным торжеством: через какой-то час-два все они узнали о войне и ценности их собственной жизни сделались ничтожно малыми в сравнении с общей бедой и общим долгом, к которому все они тут же почувствовали себя причастными.

Ему всегда всё давалось трудно. Каждая победа над слабостью своего характера или обстоятельствами жизни, осуществление даже малой, самой близкой мечты, — всё давалось ему в упорном напряжении сил. Он не знал, почему всегда так требовательно взыскивает с него жизнь. Но видел, что у друга его юности, при всех его житейских обидах, всё складывалось много удачливее и как будто без собственных его усилий. Вот и ту трудную его победу над Юрочкой затушевала война. И та же война вернула Юрочке Нину, и семейное его счастье устроилось как бы само собой!..

Счастливец Юрочка! Плывёт как парусник, и ветер всё время в паруса!..

А была в той довоенной поре возможность и его, Алёшкиного, счастья! Ведь Ниночка в ту пору выбрала его, а не Юрку...

Он помнил, как однажды все трое сошлись они на вечерней безлюдной улице. С Ниночкой они уже встречались, и Ниночка полупризнавалась ему в своих чувствах, посмеивалась над Юркой, давая понять ему, Алёше, что Юрка для неё — не серьёзно, он просто так, не больше как развлечение в её в общем-то затворнической жизни.

Объясниться с Юрочкой, как на том настаивал Алёша, она, однако, не торопилась и с обижающей Алёшу неуступчивостью заботилась о том, чтобы никакие чужие глаза не могли увидеть их вместе. До времени Алёша мирился с её осторожностью. Но когда однажды они встретились в кино и, как незнакомые, просидели весь сеанс и порознь вышли в толпе на ещё светлую улицу и Ниночка, озабоченно склонив к плечу голову, как всегда быстро пошла вперёд, предоставляя ему право следовать за собой в отдалении, Алёша не выдержал оскорбительной, не нужной, по его мнению, театральности. Он догнал Ниночку и, как будто отстранив её и себя от любопытствующих взглядов бывших на улице людей, взял её под руку. Он видел жаркий всполох испуганных её чувств, её изменившееся лицо, чувствовал протестующие её движения, но только крепче прижимал к себе её руку, заставил пройти рядом с собой весь путь до её дома. Он шёл с достоинством отчаяния и обречённо думал, что прощения за дерзость ему не будет. А Ниночка, едва они укрылись в безлюдности знакомого парка, тут же обласкала его лукаво-восхищённым взглядом и поцеловала, награждая за мужество.

И вот наконец случилось: все трое оказались друг перед другом. Юрочка только что вернулся с тренировок и предстал перед ними в каком-то взлохмаченном, угрюмо-сияющем виде: губы — в улыбке, настороженный взгляд нацелен в Алёшу: он что-то уже знал и настроен был не по-доброму.

Ниночка радостно возбудилась присутствием Юрочки и всю дорогу старалась расшевелить его угрюмость. Она крепко держала обоих под руки, обоих одаривала милыми своими улыбками, успокаивала хорошими словами. Но чем ближе подходили они к дому Ниночки, тем всё ощутимее росло напряжение всех троих. Каждый вёл себя по праву своих чувств, и каждый сознавал, что выходят они, все трое, на тот перекрёсток, где не просто расстаются, — где решаются судьбы. И когда у калитки парковой ограды Юрочка молча отцепил его руку от Ниночкиной руки и, встав между ними, с полупоклоном холодно сказал: «Спасибо за компанию. Дальше обойдёмся без провожатых» — и, полюбив Ниночку, повёл её к калитке, Алёша вдруг до отчаянной ясности понял, что Ниночке, по сути, всё равно с кем их них идти!..

Давило виски. Бешено стучало сердце. Он не помнил, как очутился в калитке. Загородил собой проход, молча стоял и смотрел в глаза Нине. Он ждал, что она вспомнит о том, что говорила ему в тени лип, что были за его спиной. В слабом свете уличной лампочки, светившей с высокого столба, он видел, как в досаде поджались губы на затенённом её лице, взгляд в беспокойстве перекинулся с его лица на Юрочку.

— Мальчики! Отношения будем выяснять потом! — сказала она. С милой улыбкой повернулась к Алёше, взяла за отвороты пиджака, потянула на себя, как будто собиралась его поцеловать, прошептала:

— Ты иди! Я сама поговорю с ним...

Алёша покачал головой.

— Решать будем сейчас, — сказал он твёрдо, не узнавая себя в проявленной решимости.

Ниночка как-то загнанно взглянула на него, подошла к Юрочке, упёрла ему в грудь, ниже распахнутого ворота любимой им розовой рубашки апаш, сжатые в кулачки руки.

— Ты должен уйти, Юрка, — сказала она внятно и тут же просительно добавила: — Ну, пожалуйста!..

Юрочка не пошевелился.

— Уйдёт он! — сказал он глухо.

Ниночка опять подошла к Алёше.

— Ну, Алёша, ну прошу тебя! Я сама ему всё объясню!

Он не уступал. Он знал свои чувства, верил в свою любовь. Выбор между ним и Юркой делала она, Ниночка, и чтобы облегчить её этот выбор, он сказал тихо и твёрдо, зная, что поступит именно так:

— Если ты скажешь, чтобы ушёл я, я – уйду...

Ниночка в мольбе прижала к груди руки:

— Юрка! Ну, можешь ты уйти!..

Юрочка стоял неподвижно, как парковая статуя, розовая распахнутой на груди рубашкой, пальцем он указал на Алёшу:

— Уйдёт он!

И тогда Ниночка крикнула в отчаянье:

— Уходите вы оба! — и, закрыв лицо руками, заплакала.

Алёша подошёл, осторожно взял её за плечи, провёл в калитку, снова загородил собой проход. Юрочка попытался оттолкнуть его плечом, но Алёша стоял крепко, охватив столбики руками. Он был выше Юрочки на голову, и хотя силой они никогда не мерились, он знал, что в силе ему не уступит.

Ниночка дошла до дома, оба они услышали, как осторожно притворилась знакомая им обоим дверь. С ревнивой настороженностью следя друг за другом, они вместе пошли от калитки. Алёша не был совершенно уверен в своей победе, Юрочка не был убеждён в своём поражении. В возбуждении они всю ночь бродили по пустынным улицам городка, в непонятной откровенности изливали друг другу души. Только когда разгорелась заря и солнце пробилось красными пятнами сквозь заволжские леса, Юрочка, дрожа от прохлады и нервного напряжения, сказал:

— Ладно, чудик. Спать пойдём к тебе. Домой не могу...

Устроились они на одной кровати, в крохотной комнатухе деревянного домика на окраинной улочке, которую для Алёши снимал отец на время весеннего половодья, когда разлив Волги отрезал посёлок и Семигорье от городка и школы. Алёша как-то умудрился заснуть и проснулся уже в разгаре дня. Юрочка лежал на боку, подпирая голову рукой, смотрел в упор, внимательно и недобро. Алёша виновато улыбнулся, хотел подняться, Юрочка движением руки остановил.

— Лежи! — сказал он, продолжая его разглядывать. Спросил мрачно: — Как это ты не побоялся положить меня рядом? Я же мог задушить тебя!

Алёша попытался перевести разговор в шутку:

— Не задушил же!

— Не задушил. Не могу решить, кто из вас мне нужнее – ты или Нинка. — Он сказал это взвешенно, серьёзно, и на минуту Алёше стало страшно за Юрку, за спокойную его рассудительность после ночи потрясений и потерь...

Ниночка выбрала его, Алёшу. И как ни часто встречались они в последний перед войной месяц, как ни щедры были их ласки, как в покорности ни льнула к нему Ниночка, он не смел и помыслить обидеть её грубым мужским желанием. Свята была для него Ниночка, и святость её он оберегал всей силой своих убеждений, которые к тому времени у него уже сложились.

А Ниночка? Что она? Чем жила её душа в те, казалось ему, счастливые дни?

Он как будто слышал её голос и слова из той, последней их ночи перед уходом его на войну: «Прощай, мой милый рыцарь!» — сказала ему Ниночка печально и чуточку раздражённо и, как казалось ему теперь, с едва уловимым вздохом облегчения. «А был ли тот вздох облегчения? — думал Алёша, глядя на что-то говорившую Ниночку и не слыша её. — Уж не придумал ли я его теперь от обиды, от горечи, от вида чужого счастья?.. Но «милый рыцарь» был. Были и слова Юрочки: «Ты уезжаешь, а Ниночка остаётся!» Он подарил эти отяжеляющие сомнениями душу слова ему в неведомость военной дороги, и жестокий смысл тех слов, которым тогда он не поверил, был теперь в яви перед ним.

Какого труда стоило ему вырвать у Юрочки секунду, одну только секунду, миг на беговой дорожке! И как легко досталось счастье Юрочке – само легло в раскрытые руки!.. «Ну что же, ну что же, — думал Алёша, стараясь не выдать смятение от пробужденных памятью чувств. — Своё прошлое я прожил, чужое счастье, как того хотел, увидел. Остаётся мне... Что остаётся мне?..»

Жужжание мухи, с упрямым пристукиванием бившейся на стекле окна, привлекло их внимание. Юрочка повернул голову, смотрел, ещё не находя в себе желания подняться. Настежь раскрытое окно было рядом. Но муха исступлённо елозила по стеклу в квадрате рамы, стараясь пробиться на волю. Юрочка всё-таки приподнялся, хлопнул книгой по окну. Оглушённая муха некоторое время неподвижно лежала на подоконнике, потом, топорща смятое крыло, перебежала на раму, снова полезла вверх. Юрочка отложил книгу. Он не хотел пачкать рук, взял с полки старое бритвенное лезвие, аккуратно приставил, перерезал муху пополам. Обе её половинки упали на выступ рамы. Юрочка, брезгливо морщась, бросил лезвие на подоконник, хотел отойти, но увидел, как половинка мухи, где была голова и лапки, вдруг зашевелилась, с любопытством стал глядеть. Половина мухи с тем же упрямством ползла по стеклу вверх. Время от времени останавливаясь, будто цепенела от напряжения, потом переставляла вперёд одну, другую лапки, подтягивала вверх половину своего тела, снова цеплялась лапками и ползла, всё ползла вверх по освещённому снаружи стеклу. Где-то на половине своего невероятного пути муха остановилась, задрожали её крылья, последним напряжением сдвинула она вперёд ноги и сорвалась, упала замертво на подоконник.

Юрочка удивлённо присвистнул.

— Смотри-ка, — сказал он, — тоже за жизнь цепляется! — Он нацелился пальцем, сощёлкнул остатки мухи на пол.

Ничего особенного не было в том, что сказал и сделал Юрочка. Но в мухе, разрезанной пополам, в её исступлённом упорстве, с каким она ползла по освещённому снаружи стеклу, как будто что-то было от Алешиной судьбы, и Алёши сделалось не по себе. Наверное, взгляд его выдал: он заметил, как Ниночка, пожав плечом, переглянулась с Юрочкой. И тут же, упрекая, обиженно сказала Алёше:

— Ты совсем не слушаешь меня! — Приподнялась, посмотрела в зеркало, поправила волосы.

Юрочка отошёл от окна, будто в затруднении, потёр шею, сказал:

— Ну, вы тут воркуйте. Я пойду покурю! — он вытянул их пачки, лежавшей на подоконнике, папиросу, похлопал по карману брюк, проверяя, на месте ли зажигалка, пролез боком между столом и стульями, вышел в кухню. Ниночка проводила его внимательным взглядом, когда входная дверь прихлопнулась, сказала в неодобрении:

— Курить начал! — она слабо улыбнулась, приглашая Алёшу разделить её иронию; Алёша промолчал. Ниночка сделала скорбное лицо.

— Мы ведь скоро уезжаем! — сказала она. — Дора Павловна задержала нас до осени. А институт уже в Брянске... Так что мы в ожидании и нетерпении. Ты-то полсвета объездил! А я ведь нигде не была. Жила, как рыбка в аквариуме!.. А ты не хотел бы поступить в наш институт?! Ты же любил лес? А что, Алёша?! Вот была бы прелесть!.. — Бледные её щёки покраснели, повлажнели глаза. Она наклонила голову так, что волосы легли на плечо, заглядывая сбоку ему в глаза, как любила делать это в школьные времена, спросила:

— Ты не забыл? Ты всё помнишь?!

Алёша почувствовал маленькую, почти невесомую ладонь на своей тугой от постоянного напряжения руке.

— Ого! Какие в тебе силы! — Ниночкины пальцы озорно пробежали по закаменело лежащей на столе его руке, придавили запястье.

— Ты не должен на меня сердиться, Алёша, — сказала она медленным шёпотом, отделяя слово от слова и тем придавая каждому особый смысл. — Я всё та же. Понимаешь? Всё та же!.. — Лаская его руку, она смотрела улыбчивым взглядом, приподняв брови: она как будто возвращала его в прошлое, и в голосе, в её укрытости от Юрочки, было обещание какой-то будущей, неопределённой, но возможной между ними радости.

— Алёша! Поверишь ли, но мне всегда хотелось, чтобы вы оба, понимаешь — оба! — были со мной! Ты слышишь, что я говорю?!

Шёпот Ниночки волновал, в то же время тоской давил сердце. Алёша не знал, как, не обижая, высвободить свою руку из-под Ниночкиной руки. Глазами он искал хоть что-нибудь, что могло бы их отвлечь.

На подоконнике лежала оставленная Юрочкой надорванная пачка папирос и плоская, скупых военных времён, упаковка спичек.

Ни на фронте, ни в госпитале Алёша так и не научился курить, хотя вслед за другими пробовал втянуться в одурманивающую привычку – не пошло, не увидел в том надобности. Теперь он готов был укрыть своё смятение даже за папиросным дымом. Осторожно высвобождая руку, он потянулся к пачке, спросил:

— Можно?..

— И ты куришь?!

Ниночка не то чтобы удивилась, она растерялась от необходимости решать что-то в этом доме самой. Беспомощно оглянулась на приоткрытую в кухню дверь, неуверенно проговорила:

— Юрка вообще-то курит на крыльце. Но ты ведь – гость? Тебе, наверное, можно...

«Вообще-то», «наверное», — да, Ниночка всё та же! Алёша передвинулся, взял папиросу. Зажёг спичку, пустил дым в открытое окно, стараясь за небрежностью движений скрыть неумелость.

Из окна, за огородами, видна была Волга в окоёме низких жёлтых песков. Два буксирчика, густо дымя, старательно отжимали плоты от отмелей к левому высокому берегу, где на вершине горы, под купами вётел и берёз, проглядывались угловатые крыши и окна домов Семигорья. С реки донеслось тягучее гудение парохода, пристающего к городскому дебаркадеру. Торопливее зацокали на мощённом тракте, что шёл к пристани, подковы лошадей, слышались покрики возниц, спешащих к пароходу и сдерживающих на уклоне лошадей.

Пока Алёша молча курил, выдыхая в окно дым и всё сильнее ощущая в горле раздражающую горечь табака, усилился шум и говор в стороне реки – толпа прибывших поднималась в город. Часть людей на подъёме свернула с тракта, люди шли теперь перед окном, серединой улицы, переговаривались в озабоченности, торопились к каким-то ждущим их делам.

И Алёше вдруг захотелось вырваться из дома, в котором он был, захотелось оказаться среди этих спешащих бородатых мужиков в пыльных картузах, с мешками на спинах, среди парней в солдатских сапогах и гимнастёрках, с нездешними чемоданами на плечах; среди баб в платках, с бегущими за ними ребятишками, среди простоволосых босых девок с узлами и обувкой в руках, спешащих вслед за мужиками, к какой-то уже определившейся для них цели. Разглядывая идущих мимо людей, он даже пригнулся к окну и услышал обиженный голос Ниночки:

— Ну, не накурился ещё?..

С зажатою в зубах папироской, шурясь от неприятного ему дыма, он повернулся. Ниночка увидела его приоткрытый рот и ахнула:

— Алёша! У тебя же полный рот металлических зубов! Зачем ты их сделал?! У тебя же были прекрасные зубы! Мне так нравилась твоя улыбка!.. Ну, зачем, зачем? Неужели захотел быть оригинальным?..

Алёша вынул изо рта папиросу, втиснул в край цветочного горшка. Уловил знакомый запах листьев герани и почти задохнулся от мучительного для него запаха, — как будто снова втиснули его в такой угол той, памятной ему комнатухи у железнодорожных путей; снова как будто надвинулся, заслоня свет, Красношеин, и заныли скулы, подбородок, заныло всё лицо от ударов тех, других, уверенных в своей силе, кулаки которых крошили его зубы.

Не поднимая глаз, почти не разжимая губ, он проговорил:

— Так уж получилось...

Как-то сразу пришло к нему решение уйти из этого дома, живущего, может быть, и счастливой, но непонятной ему жизнью. Привычно напрягаясь, он поднялся, непослушными протезами качнул тяжёлый стол. Ниночка испуганно одной рукой прикрыла живот, другой подхватила с края стола пустую цветочную вазу.

— Какой ты неуклюжий, Алёша! — упрекнула она, стараясь за мягкостью тона скрыть испуг. — Это же подарок Доры Павловны!.. — Она поставила на стол вазу и, вдруг поняв несоразмерность своих чувств с тем, что мог сейчас переживать Алёша, покраснела. Ресницы её повлажнели, она умоляюще протянула свои тонкие руки, прикоснулась к костылю и как будто обожглась: сжала пальцы в кулачки, прижала к лицу, изменившимся глухим голосом попросила:

— Не оставляй меня! Ну, пожалуйста. Ну, посиди, Алёша!

Когда Алёша, постояв в молчании, тяжело и ненужно снова опустился на стул, она сжала дрожащими влажными пальцами его руку, как бы винясь сразу за всё, и, убеждая его, сказала:

— Я ведь понимаю тебя, Алёша! Я так тебя понимаю! Ты совсем не похож на Юрку... Тебе нужна понимающая тебя душа. Я знала это. Я и тогда знала это!.. Так вот душой я была и всегда буду с тобой!

Ниночка сильнее сжала его руку, косясь на приоткрытую в кухню дверь, потянулась к нему, но входная дверь отворилась. Ниночка заговорщицки приложила палец к губам. И Алёша, ощущая в груди одновременно пустоту и тяжесть, с грустью подумал: «Счастлива ли ты, Ниночка?!»

Все трое томились разговором, когда вернулась Дора Павловна. Вошла она в комнату деловито, как в свой рабочий кабинет, внимательным взглядом окинула всех троих, сидящих в унылой неловкости, свела прямые брови.

— Гость в доме, а стол пуст?..

Юрочка издал странный, выражающий недоумение звук, отвернулся с видом оскорблённого человека.

— Угощать-то чем? — сказал он. — Воспоминаниями о годах прошедших мы уже сыты!

Ниночка под взглядом Доры Павловны выпрямилась, как будто приготовилась встать, моргая ресницами, пролепетала:

— Я, Дора Павловна, предлагала Алёше картошку, он отказался.

— Эх, дети, дети! — Дора Павловна вздохнула, вышла в кухню, вернулась с серой полотняной скатертью, раскинула над столом прямо на руки Юрочке. — Накрой! — сказала строго.

Из кухни она принесла ломтики чёрного хлеба на дощечке, тарелку с ещё не обсохшими кусочками отварной щуки, видимо, только что взятую в райкомовской столовой. Глядя с иронией на Юрочку, поставила на стол миску свежих огурцов вперемежку с бледными, ещё не дозревшими помидорами, накрыла их сверху пучком тёмно-зелёного лука, пристроила по бокам четыре в смуглой скорлупе яйца.

Юрочка, через плечо обозрев неожиданно явившееся богатство, подобрел взглядом. И пришёл в совершенное изумление, когда Дора Павловна вошла с бутылкой тёмного вина, удерживая в пальцах другой руки четыре гранённых стакана. Оторопелого взгляда Юрочки она как будто не заметила, поставила на стол призывно звякнувшие стаканы, передала бутылку Алёше.

— Открывать вам, Алёша!.. — сказала она, подчёркнуто выделяя своим вниманием именно его. — Хотя это не спирт и не солдатская водка, обычный кагор, каким причащают прихожан в нашей вновь открытой церкви, всё равно мы как-то должны отметить ваше возвращение. Трудное и достойное ваше возвращение!

Дора Павловна стоя ждала, пока Алёша, смущаясь общим вниманием, извлекал поданным ему штопором тугую пробку из бутылочного горлышка, разливал по стаканам густое чёрно-красное вино. Наконец он оставил бутылку, поднял на Дору Павловну глаза.

Дора Павловна выдержала паузу, как делала всегда перед каждым своим выступлением, сосредоточивая внимание на том, что сейчас она скажет, придавливая пальцами крепкой полной руки грани стоящего перед ней чернеющего вином стакана, сказала тихим отчётливым голосом:

— Мы все взволнованы приёмом в честь парада Победы. И горды высказанной товарищем Сталиным благодарностью и признательностью русскому народу за его мужество, терпение, за его неизменное доверие правительству. Думаю, из нас четверых наибольшей благодарности и уважения заслуживаете вы, Алёша. Свои заботы, тяготы, чёрные дни отчаяния были и у нас. И мы трудились насколько хватало сил. Даже выше сил. И всё-таки ваше мужество, мужество солдата и человека, заставляет смотреть на вас по-особому. Я рада, не удивляйтесь — я искренне рада, что вижу вас в своём доме, Алёша! — Дора Павловна подняла стакан, подержала в раздумье, поставила обратно: — Люди устали! А расслабляться нельзя. Работа, работа и работа ждёт каждого!.. Я верю, Алёша, что вы будете жить не в стороне от наших дел. Мне нравится бесстрашие вашего ума. Мне нравится, что вы умеете думать не только за себя и не только о себе... — голос Доры Павловны обрёл металлическую жёсткость, она смотрела через стол на Алёшу, но взгляд её вбирал и сидящего с ним рядом Юрочку, больше даже Юрочку.

Алёша сидел между Ниной и Юрочкой, прикрывал в неловкости лоб и глаза ладонью. Он не понимал, что с Дорой Павловной, откуда у неё эта неожиданная ожесточённость к тому, что ещё утром всей своей материнской силой она защищала. Дора Павловна как будто старалась, возвышая Алёшу, возмутить усмешливо-спокойную душу сына.

Юрочка уловил неприятную для себя суть в словах и тоне матери. Изумление, не сходившее с его лица всё время, пока строгая, никогда не жаловавшая гостей, его мать устраивала столь щедрое застолье, сменилось настороженной иронической гримасой. И когда Дора Павловна договорила:

— Я знаю, Алёша, вы сами ушли туда, на передний край войны, и потому заслуживаете вдвойне нашего уважения. — Юрочка всё с той же ироничной усмешкой откинул голову на высокую спинку стула, сложил как будто в задумчивости губы трубочкой, выждал с совершенным подражанием Доре Павловне вниманием, сказал невозмутимо:

— Я понимаю, мамуля, твои восторги по отношению к нашему другу. Но ты почему-то забываешь, что в упомянутой тобой победе есть и моя доля. Кто в зиму сорок второго года тренировал бойцов лыжных батальонов в нашем военном лагере? Не твой ли сын, мамуля?..

Дора Павловна, не изменив ни позы, ни выражения лица, обращённого к Алёше, с подчёркнутым спокойствием проговорила:

— Надеюсь, ты понимаешь, что смотреть из дома, как люди идут под грозой по открытому полю, и самому пройти сквозь ту же грозу, не одно и то же?..

— Не всё хорошо, что громко, мам! — Юрочка по-прежнему был невозмутим. — Ты сама меня учила: всё, в том числе и поступки человека, зависят от условий. Ты ведь не можешь сказать, как действовал бы я, окажись на фронте? Может, я не только спасал бы раненных, но и подбил бы самолёт, сжёг бы танк!..

— Ты забываешь, сын, что условия человек выбирает или создаёт сам. Согласно со своими убеждениями и совестью.

— Ты хочешь сказать что-то о совести?! — Юрочка сощурился, как будто слишком яркий свет мешал ему смотреть. Взгляды Доры Павловны и Юрочки встретились, и Дора Павловна напряглась в усилии удержать сына от каких-то неприятных для неё слов. И Юрочка — Алёша это ясно почувствовал — уступил её молчаливому приказу, усмешливо мотнул курчавой головой, протянул руку к стакану.

— Ладно, не будем. Истинна в другом: чтобы жить, надо есть. Перейдём к делу?.. — с нарочитой сосредоточенностью он смотрел на вино своими лучистыми глазами. Дора Павловна села. Хотя Юрочка и подчинился молчаливому её приказу и не решился тронуть какую-то известную ему болевую точку её души, Дора Павловна уже не могла отступить от опасно начатого разговора. Взглядом она погасила застольную Юрочкину суету, загнав в уголки губ горестную, сожалеющую усмешку, спросила:

— Сын! Ты мог бы сказать мне, в чём твоё счастье?

Юрочка сделал вид, что подавился, развёл с комическим видом руки, поставил вино на стол.

— Мамуля! Тебя сегодня не узнать! Насколько я понимаю, — он погладил мизинцем кончик носа, сохраняя комическое выражение лица, — насколько я понимаю, — повторил он, — у нас сегодня не урок политграмоты, а встреча с другом?.. — Ирония, которой он обычно укрывался от подступающих к нему неприятностей, на этот раз не сработала. Слова и страдальчески сморщенное его лицо на Дору Павловну не подействовало. С упреком, с горечью, с каким-то даже душевным надрывом, она спросила:

— Скажи, сын, ты хоть как-то почувствовал, что война кончилась?..

— Ну, мать, — Юрочка крутнул головой, как будто высвобождая шею из захлёстывающей петли, смешок короткий и резкий вырвался из колечка его полных губ.

— Нет, не почувствовал! — крикнул он. — Знаю, что кончилась. А не почувствовал! Даже на нашем столе — та же военная картошка, та же нищенская пайка хлеба!.. Ты это хотела от меня услышать?!

Дора Павловна неторопливым и трудным движением соединила пальцы рук, глаза её сузились.

— Услышать я хотела другое, — сказала она ровным голосом. — Жаль, что твоё счастье, сын, определяется только тем, что ты можешь взять со стола...

— Успокойся, мамуля. С тобой мы расстаёмся. И начинаем жить своим умом.

— Это меня и страшит. Ты научился жить для себя. Ты не научился беспокоиться о других.

— Ничего, научусь. Была бы нужда. А беспокойств у всех и так хватает... — Юрочка вытянул из пачки папиросу, стал нервно разминать, всем видом показывая, что сейчас встанет и уйдёт.

Алёша молча, опутив голову, поглаживал пальцами лоб. Впервые за все годы знакомства он сочувствовал Доре Павловне и, казалось ему, понимал её боль и её запоздалую тревогу. Вспоминая горячую исповедь дяди Миши, он видел сейчас другую Дору Павловну, ту отчаянную семигорскую Дашку, которую дядя Миша встретил и полюбил в своей молодости. Какой же силой характера она владела, если способна была бросить вызов всему свету, всему тому, что стало для неё устаревшим порядком жизни?! Даже одна, с Юрочкой на руках, она не изменила своим убеждениям и не вышла из борьбы. И как будто стянула себя стальными обручами, сумела для всех и навсегда стать строгой, невозмутимой, всегда убеждённой в своей правоте Дорой Павловной! Он не помнил в её костюме расстёгнутой пуговицы, в её причёске – растрёпанной пряди, никогда не слышал в её голосе ни растерянности, ни отчаяния, ни ожидания помощи или хотя бы сочувствия. Он и теперь видел её такой. И только такой...

«Так почему? — думал Алёша, не решаясь вмешаться в обострившийся поединок матери с сыном. — Почему при такой силе характера она не сумела выстоять перед Юрочкой? Почему сделала его исключением из правил, которым с неотступностью следовала сама? И вопреки высоким принципам данной ей власти, вопреки своим убеждениям, оберегла Юрочку от опасностей фронта в трудные для всех годы войны?.. Долго же шла она к переоценке того, что было её непреходящей болью!»

Дора Павловна наблюдала Юрочку с невозмутимостью человека, уже пережившего боль. Она, как будто на трудном заседании, знала свою цель и видела сразу всех, сидящих перед ней. Взгляд её остановился на Ниночке.

— А ты, Нина, что ты можешь сказать о своём счастье? — Дора Павловна ждала, выдерживая на лице снисходительную улыбку, как будто наперёд знала, что ей ответят.

Ниночка поспешно и как-то неловко выпрямилась. Она уже была напугана взрывом Юрочкиной ярости, прямой вопрос Доры Павловны поверг её в почти детскую растерянность.

— Счастье?! — пролепетала она с разбегающей по бледному лицу улыбкой. — Не знаю, Дора Павловна. Я думаю, мне кажется, — она бросила на Алёшу извиняющийся взгляд, — мы с Юрочкой нашли своё счастье...

Дора Павловна вздохнула.

— Вот, Алёша. Все говорят о счастье. Все хотят, все заботятся о счастье. И никто даже не пытается определить – а каково оно, это самое счастье! Кошечке тепло и сытно, кошечка мурлычет. И мурлыканье кто-то принимает за счастье... А кто-то свою жизнь отдаёт за других, кто-то за счастье почитает свою гибель! Вы думали о своём счастье, Алёша?

Алёша ожидал, что Дора Павловна спросит его, хотя бы для того, чтобы Юрочка услышал слово солдата, видевшего войну. Он знал и то, что хотела бы слышать от него мать Юрочки. И был в странном и сложном состоянии души: он понимал Дору Павловну, жалел Ниночку, сочувствовал Юрочке и не хотел обострять отношения не согласных друг с другом и всё-таки близких ему людей. Он повернул стоящий перед ним стакан, сосредоточенно разглядывая, как колеблется за толстыми гранями почти чёрное вино, сказал, не поднимая глаз:

— Наверное, ещё не время говорить о моём счастье, Дора Павловна!

— И всё-таки, Алёша! — Дора Павловна требовала ответа, и Алёша, напрягаясь оттого, что должен был ответить не так, как того ждала от него Дора Павловна, сказал:

— Для меня, после того что я видел и пережил, счастье – это в любых условиях остаться человеком...

— Да, но без борьбы человек не может быть человеком?! — воскликнула Дора Павловна, на мгновение изменив своей выдержке.

Алёша помедлил, подумал, согласился:

— Да, наверное, это так.

— Это – так! — Дора Павловна утвердила в Алёшиных словах свою, важную для неё мысль, повторила в задумчивости: — Да, это – так!..

Алёша улыбнулся, стараясь улыбкой смягчить давящую настойчивость Доры Павловны, сказал:

— Думаю, что такое счастье у нас впереди. А сейчас я хотел бы поддержать Нину. За её и Юрочкины семейные радости! — Он поднял стакан, смотрел на Дору Павловну, навстречу её пристальному взгляду, и ясно ощущал, как пробивается сквозь, казалось бы, навечно устоявшуюся непроницаемость её натуры слышимое только ему созвучное движение её мыслей и чувств.

Дора Павловна пригубила, отставила стакан, посмотрела на покрасневшую от мгновенного удовольствия Нину, на Юрочку, сосредоточенно наливающего вино из бутылки себе в опустевший стакан, снова встретилась глазами с Алёшей, сказала своим ровным голосом:

— Я была бы счастлива, наверное, была бы счастлива, если бы вы, Алёша, были моим сыном.

Юрочка, пролив на скатерть вино, задрожавшей рукой поставил бутылку, вложил папиросу в рот, отломил от упаковки спичку, чиркнул, вызываяще закурил. Пустил дым в пространство комнаты, нервическим движением пальца убрал с губы приставший кусочек папиросной бумаги, сказал, задыхаясь, как после тяжёлого бега:

— Что ж, Алексей Иванович, гордись! У тебя при здравствующем отце появилась ещё и вторая мама!..

Ниночка судорожно всхлипнула, закрыла лицо руками. Дора Павловна медленно поднялась; она как будто не слышала ни язвящих слов сына, ни плача невестки, сказала со спокойствием делового человека:

— Мне пора идти. Ждут нескончаемые мои дела. Я могу проводить вас, Алёша...

С крыльца Дора Павловна спускалась первой, стараясь помочь, и Алёша, переступая со ступеньки на ступеньку, стеснённый её вниманием, настойчиво повторял:

— Спасибо, Дора Павловна. Я сам... Я сам...

Уже стоя на земле, он встретился с внимательным взглядом Доры Павловны, сердце его дрогнуло: он понял, что ждёт от него Дора Павловна. Он вправе был промолчать, мог попрощаться, добраться до лошади и уехать, с собой унести хранимую в памяти невероятную среди войны и смерти свою встречу с дядей Мишей. Он счёл бы справедливым оставить в неведении Юрочку с его корыстным интересом к где-то обитающему отцу и оберечь тем самым от возможных потрясений устоявшийся семейный мирок Ниночки. Но он не мог обмануть ожидание Доры Павловны, той Доры Павловны с её неуходящей болью матери, с сострадающим вниманием к нему, которую он сегодня узнал. Он знал её боль, видел напряжённое ожидание в тёмных беспокойных глазах, её напряжённую руку, придерживающую его костыль, и сказал, сознавая важность того, что открывал.

— Дора Павловна, — сказал он. — Я не хотел говорить. Но вы должны знать. На фронте я встретил Юрочкиного отца. Я думал, он погиб. Но Михаил Львович — жив. Он снова в Ленинграде. Мама получила от сестры письмо, что он жив, вернулся... Михаил Львович — мой дядя...

— О, боже! Я чувствовала, что так просто всё это не кончится! — Дора Павловна стояла какое-то время в неподвижности, как будто привыкая к ещё одной тяжести, вдруг опустившейся ей на плечи. Потом вытянула из нарукавного обшлага тёмного своего костюма маленький платочек, приложила к глазам.

— Юрочка теперь своего добьётся! — сказала она с какой-то безнадежностью, как будто уже смиряясь с тем, что должно теперь быть. Медленным движением она убрала платочек. — Но, вы, вы-то, Алёша! Выходит, вы Юрочкин брат?! О, мальчик мой!.. — Дора Павловна прижала к себе его голову, и Алёша, покоряясь её движению, почувствовал тепло, почему-то всегда ему казалось холодных, её рук.



ВОЛГА

1

В жарком августовском дне разморенно лежала Волга в раздвинутом её силой окоёме. Береговые леса и пойменные тальники, вобравшие ранней желтизны, в точности повторялись в глади воды. Казалось, было два берега: один настоящий, в действительной жизни; другой — словно подсечённый в основании и опрокинутый в воду, совершенно такой же, даже отчётливее, и по краскам гуще, чем действительный. Но любая, самая маленькая рябь, поднятая случайным дуновением ветра, разрушала нижний, отражённый берег, и тогда становилась очевидной непрочность как будто такого же, но ненастоящего мира.

Алёша сидел в старой Фединой долблёнке, напряжённо всматривался в расцветенную даль воды, и этот, создаваемый им, радующий глаз обман почему-то отзывался болью.

Обеими руками он держался за нагретые солнцем борта, чтобы уравновесить себя на узком поперечном сиденье, сощуриваясь, глядел, старался сосредоточиться на том, что было вдали, что отражалось в воде, и всё-таки видел лежащие на берегу протезы; на протезах были ботинки, брюки закрывали их до широкого поясного ремня, — казалось, на песке, у Волги, лежит половина человека. Алёша видел эту свою, чужую ему половину, ощущал то, что осталось в нём живого и хотевшего жить, и с напряжённым душевным холодком, который всегда появлялся в нём, когда он готовился исполнить опасное, но уже принятое решение, вглядывался в Волгу. Всё, что было вокруг, всё, что сейчас он видел, было до сладкой боли знакомо: и словно выглаженное от берега до берега пространство Волги; и даль, теряющейся в лесах реки, чуть размытая в призрачную дымку; и песчаные чистые берега с полого уходящими под воду косами; и ветхая эта долблёнка со следами давней осмолки, в которой сейчас он сидел, но рассчитанную надёжность которой не раз испытал, — всё, даже небо с чуть забеленной предосенней голубизной, с теми же, казалось из юности, облаками, и высокий береговой крутик с серыми покатыми крышами Семигорья, — всё было из прежней его жизни. Знакомо жила в ощущении упругость волжской воды, которая всегда рождала в послушном теле стремительную, жадную радость движений. Всё до малости вернулось после жестоких к нему годин войны, всё готово было принять его, как принимало прежде, а он, внимая всему, не решался поднять кормовик с памятной, наполовину отколотой лопастью и толкнуть лодку в знакомое пространство воды.

Он ещё не сделал того, что задумал: от дома он дошёл сюда; к Волге, по лугам, с висящим на шее ружьём; пусть с костылём под мышкой и палкой в руке, но он одолел путь, который вчера ещё казался невозможным. Теперь предстояло ему испытать себя среди простора и силы когда-то доброй к нему реки. Ему надо было вернуть себе необходимую для жизни силу одоления: душевная работа, которая долгое время в нём происходила, подошла к пределу, за которым должно было последовать действие, может быть, безрассудное, но действие.

Если бы знал отец, куда и зачем он потащился в это как будто обычное утро, если бы застал его здесь, у Волги, в последней готовности к неразумному по его понятиям поступку, он взвился бы в неистовстве от его мальчишества, от очевидной его глупости, от совершенной потери здравого смысла. И был бы прав отец в своем страхе потерять его даже такого, да ещё теперь, когда войны уже не было.

Если бы мама нашла его в эти минуты, трудно даже представить исход её переживаний. Всё поняв, она молча уступила бы его упрямой дерзости; угасая от переживаний, ждала бы его на берегу, и, если бы он не одолел, если бы не выплыл, не вернулась бы домой и мама.

То, что он задумал, было жестоко по отношению к матери, к отцу, было жестоко по отношению к себе, было вопреки разуму, но что мог он поделать: чтобы выиграть бой, надо подняться в атаку...

Лодка, в которой Алёша сидел, уже плыла.

Как ни казалась в тишости дня неподвижной осветлённая солнцем Волга, он чувствовал по тому, как лодка смещалась, текучую, глубинную её силу; в первый раз Алёше было страшно перед силой реки.

Ощущение прежней власти над водой в нём жило; сквозь поколы подступившего страха он старался утвердиться в былой своей уверенности пловца. В какую-то минуту ему показалось, что он обрёл прежнюю силу и власть над пространством воды, — он поймал это ощущение, оттолкнулся руками от сидения и перекинул свое короткое тело через борт.

Плыть он не мог. Натренированное послушное тело, всегда без усилий входившее в наилучшее положение для плавных скользящих движений, не приняло привычных ему условий: голова, не уравновешенная тяжестью ног, неостановимо потянула его вниз. Алёша понял, что уже не овладеет увлекающим его в глубину падением, и в тоскливом удивлении перед близким, ненужным, глупым концом своей жизни уже готов был смириться с тем, что уготовил себе сам. Много раз на фронте и на руках врачей, в болезнях и страданиях от ран подходил он и даже переступал последнюю черту бытия. И спасала его не только помощь врачей, — в не меньшей мере и сила заложенной в нём жизни.

И на этот раз, наперекор растерянному сознанию, сила заложенной в нём и не прожитой ещё жизни воспротивилась его смирению. Какими-то невероятными круговыми движениями удалось ему на мгновение вытолкнуть себя на поверхность, хватнуть задыхающимся ртом воздух, и снова тяжесть головы утянула его в глубину. Даже в отчаянности борьбы за жизнь Алёша ощущал, что бессмысленно, неумело тратит силы только на то, чтобы развернуться и вытолкнуть голову наверх. Пугаясь нарастающей толщи воды, он в бешенстве работал руками, крутился колесом, то уходил под воду, то снова всплывал, пока наконец ему, обессиленному, не удалось ухватиться за борт лодки, по непонятной случайности не уплывшей от него.

Он лежал на косе, у воды, лицом в песок, без сил, без мыслей, казалось, без чувств, как когда-то в давнюю, ещё довоенную пору лежал на этой же косе Васенкин брат Витька, вот так же в отчаянье от неласковой к нему жизни пытавший свою судьбу.

Жизнь повторялась, пусть в другой судьбе, но жизнь повторялась.

Здесь, на косе, и нашёл его Федя-Нос. Алёша не видел, кто шёл к нему по берегу, — очки его, вместе с протезами, остались далеко от того места, где сейчас он лежал, — но по мерному звуку уже близких, с пришаркиванием шагов, по тому, что человек, к нему идущий, его не окликнул, а подошёл сначала к лодке, подтянул её на берег с протяжным шорохом подминающего песок днища и лишь потом, с посипывающим, вроде астматическим, дыханием тяжело сел, Алёша и с закрытыми глазами верно знал, что с ним рядом — Федя.

Вряд ли он мог бы ясно объяснить своё отношение к старому Феде-Носу. Но из множества людей, которых он узнал за свою жизнь, каждого из которых данной ему острой зрительной памятью мог бы мысленно призвать и усадить с собой рядом, одного-единственного его, Федю, он мог видеть и слышать в том своем странном состоянии как бы отделённости от действительного мира, в котором сейчас был. Он не знал, почему этот неуклюжий с виду и ловкий в движениях старик, какой-то даже жалкий в своей неопрятности, тянул его к себе. Что бы ни выкидывал Федя в своей нескладной, по понятиям Алёши, жизни, как невзрачно ни гляделся бы среди прочих всех семигорских мужиков, связь, соединяющая их, не обрывалась, и Алёша шёл к нему и в радости, и в горе. Ни Федя, ни Алёша не объяснили бы друг другу, по каким беспокойным сигналам, по каким законам души вдруг заторопился Федя-Нос на Волгу, отыскал его здесь, на косе; но Федя сидел рядом, и Алёша знал, что он — рядом, и не поднимал головы, хотя ждал его слов.

Федя отдышался, заговорил сокрушенно, как всегда бывало, когда брал на себя Алёшину вину:

— Не тако надобно, Олёша, к Волге-то заходить! Не вдруг, помалу надобно. Помалу, Олёша, любое дело одолеешь!..

Алёша крепче вжался щекой в песок: он не удивился тому, что Федя оказался рядом; он боялся, что Федя начнёт его утешать.

— Забирайся-ко в долблёнку, Олёша. Побуду с тобой. Оно, может, дело и пойдёт!

Алёша готов был заупрямиться, но Федя встал, подвёл к нему ближе лодку. Хмурясь, не глядя на Федю, он боком, опираясь на ладони, подвинул себя к лодке, движением сильных, развившихся за годы госпитальной жизни рук перебросил себя через борт на сиденье, сел ссутулясь, глядя на воду. Он не терпел принимать помощь от кого бы то ни было. Но Федя-Нос имел над ним непонятную власть.

Работая кормовиком, Федя вывел лодку на середину залива, где могучее русловое течение Волги почти не ощущалось, ободрил:

— Пробуй, Олёша. Придержу, ежели что.

Алёша, не отпуская лодки, погрузился в воду, расслабил тело и тут же почувствовал, как лёгкую нижнюю его часть повело вверх. Попробовал, подгребая одной рукой, поставить себя в вертикальное положение — вода упрямо развертывала его вдоль борта, опрокидывала на спину. Алёша в горечи чувствовал, что Волга не признаёт его теперешнего, в уже испытанном отчаянии оттолкнулся от лодки, надеясь на силу своих рук.

И всё повторилось: голову, будто к шеё был привязан камень, потянуло вниз, и снова он бешено закрутился, пытаясь вытолкнуть себя из воды. В волосах он почувствовал неожиданно цепкую руку Феде; рука приподняла его, он ухватился за лодку, отвернул от Феде мокрое лицо, глотал воздух, будто после бега.

Федя вроде бы не замечал явных его невозможностей; склонившись над бортом, он размышлял, будто над неводом, севшим на донную корягу:

— Понятное дело, Олёша. Тело прежний лад помнит. Надобно тебе другую опору отыскать. Голову-то не тяни. Подбородок пусти к воде, обопрись. И рукам суеты не давай!..

Удерживаясь за лодку, слизывая натекающую с мокрых волос на губы солоноватую от слёз воду, Алёша думал, тоскуя от бесполезности своих усилий: «Дожил! Федя плавать учит!.. Нет, дорогой мой Федя! Или вот сейчас я поплыву, или больше ты меня не увидишь...»

Он отпустил лодку, раскинул руки, медленно стал погружаться в глубину. И в этом медленном, без движений, падении вдруг почувствовал, что короткое его тело расположилось и может плыть; тот воздух, который он вдохнул и удерживал в груди, как будто уравновесил его.

Он ждал, что счастливо найденное положение вот-вот нарушится, тяжесть головы снова, уже безвозвратно, потянет его в глубину. Но тело, будто парящая, в воздухе птица, медленно опускалось, не теряя найденной в воде опоры, и вдруг плавно коснулось гладкой твёрдости дна, — знал Федя, где дать ему волю. И когда он лёг на дно и плавно повёл в стороны руками, тело поднялось, послушно двинулось по плотному слою воды. Грудь требовала вдоха, Алёша, как в былые времена, вытянулся, плавно толкнул под бока воду, и тело пошло головой вверх, всплывая. Он вдохнул раз, другой, снова опустился под воду, опять всплыл, ещё раз вдохнул от свежести волжского простора, выбросил перед собой руки, развёл с силой, отгребая воду с пути движения, и ощутил, в содрогнувшей душу радости, как скользнуло тело, не потеряв найденной опоры.

Погружая голову в прохладу воды, лицом и плечами ощущая бодрящую упругость реки, он плыл заученными брассовыми движениями рук, — одних только рук! И хотя короткое тело ощутило кособочилось, он всё-таки плыл — плыл! — и знал, какая бы глубина под ним ни была, она уже не для него!..

Давно не тренированные в маховых движениях, мускулы устали; Алёша перевернулся на спину, часто шевеля под собой кистями рук, удерживая себя в новом положении, попробовал плыть на спине и с новым приливом радости почувствовал, что плывёт на спине даже свободнее — облегчённое тело как будто само, удерживалось на воде. Он раскинул руки, замер в настороженном ожидании: тело, чуть провиснув в пояснице, медленно погружалось; вот уже грудь, уши, подбородок ушли под воду, и, когда остался над поверхностью воды лишь крохотный островок лица с торчащим носом, почувствовал, как мягкая сила реки приподняла его и оставила на себе, под светом и теплом слепящего солнца.

Он лежал, раскинув руки, не двигаясь, не погружаясь в воду, и Волга медленно разворачивала его и несла в своём текучем просторе вдоль невидных ему берегов; движение он ощущал только по солнцу: то слепило его даже сквозь закрытые веки, то глазницы затенялись; он открывал глаза, видел над собой даль неба и знакомые, из юности, облака...

Над гладью реки прошёл и догнал его сдержанный окрик: «Олёша! Ко мне подгребай!..» Время от времени Алёша замечал в стороне расплывчатое пятно лодки, лодка не приближалась и не отдалялась, Федя следил за ним и в то же время, всё понимая, оберегал его радость.

Алёша поднял голову: по очертанию высокого лесистого берега понял, что унесло его ниже Нёмды. Он повернулся, смущаясь своей радостью и силой, не спеша поплыл на Федин зов.

Надевал Алёша протезы с дощечки, подложенной Федей. И хотя он был удовлетворён почувствованной своей силой и вроде бы успокоился, пока Федя вёз его в лодке к берегу, «влезание» в протезы каждый раз вызывало в нём тоску и раздражение. Ломать свой нетерпеливый характер, минута за минутой сдерживать всегда готовое к порыву тело, сцепливать, пристёгивать один за другим ремни, ремешки, резинки, расправлять на болезненных культиях складки шерстяных чехлов, потом с напряжением, от которого темнело в глазах, поднимать себя на деревянные ходули и, уже стоя, снова подправлять и стягивать до тугой неподвижности опять те же ремни — всё было противно взрывной Алёшиной натуре. Стоило немалых сдерживающих усилий разума, чтобы зажать клокочущее бешеное желание разбить неповоротливые деревяшки, разорвать, раскидать всю эту оковывающую его тело тяжёлую сбрую.

После вольного проявления силы в мягком текучем просторе Волги особенно трудно было навешивать на себя мученические свои вериги.

Алёша хмурился, и пока молча, в видимой досаде, ворочал деревяшки, Федя отошёл к лодке, будто в озабоченности что-то покачивал, постукивал, давал ему самому управиться с одеждой и душой.

Когда Алёша наконец поднялся и, не вникая укоряющим словам Феде, помог затащить подальше на берег лодку, которую доверчивый Федя не приковывал ни на какие цепи и которую ни один волжский лиходея ни разу не согнал с места без его на то согласия, Федя в какой-то суетности, скрыть которую вроде бы старался и не мог, поднял с песка Алёшино ружьё, навесил себе на плечо, с заметно полегчавшим настроением позвал:

— Помалу пошли, Олёша. Помогу тебе гору одолеть.

Алёша покачал головой.

— Нет, Федя, сам буду добираться. Посижу немного и пойду, — он протянул руку к ружью; Федя неожиданно торопко отстранился, смутившись своей торопкой, пояснил:

— Тягость-то, уж сам домой к тебе занесу.

— Нет-нет! Ружьё оставьте, — сказал Алёша безулыбчиво.

— Погоди, Олёша, Ты скажи, пошто пушку сюда приволок? Охоты тут никакой!.. — Он глядел обеспокоенно и строго, и Алёша вдруг догадался, о чём думал Федя. И смутился: Федя был недалёк от действительных прежних его мыслей; но к ружью эти мысли отношения не имели.

— Нет, дядя Федя!.. Ни единого патрона с собой!.. Ружьё просто для выкладки, чтоб по-солдатски... Не то, всё не то, Федя! Волгой порадовался. А на земле вот плох! К земле привыкать надо... — Он принял ружьё, приладил за спиной, ободряюще улыбнулся, видя, что старый добрый человек никак не решается его оставить: что-то держало его около.

— А скажи, Олёша, много зла на душе скопил? Круто жизнь-то с тобой обошлась!..

Алёша не удивился прямому Фединому спросу; глядел в себя, зла не видел. Не было зла в его душе ни на жизнь, ни на людей. Была обида, горькая обида на то, что, на войне осталась его молодость, что отнята у него сама возможность жить, как живут все. Но обида — не зло. Зла не было. И душа осталась, как была. Проглядев всего себя, он поднял на Федю измученные постоянной болью глаза, сказал, как настежь раскрылся:

— Было, Федя. Много зла было. Думал, так со мной и жить будет! А теперь ушло. Ушло! Нет во мне зла, дядя Федя. Вот нет и — всё!.. — И, как будто сам удивляясь тому, развёл руками.

Федя посмотрел на него из-под своих, растущих вниз, на глаза, седых, с остатней желтизной бровей, зорко смотрел, хватко и — поверил.

— Вот и ладно, Олёша. Не каждый от лиха добро сберегает... Ну, теперь пойду. — Он отошёл на шаг, воротился.

— Может, в гору пособлю?

— Нет, Федя, нет. Сам!..

Алёша, навалившись на костыль и палку, смотрел, как поднимается Федя по крутой тропе, наискось пробитой в горе семигорцами. Взбирался он поначалу ходко, памятно переступал по неровностям тропы заметно покривленными ногами.

Но скоро приустал, поник в спине, на кручах подпирался рукой. Где-то на середине горы Федя остановился, полинялая распоясанная его рубаха и такие же пообтертые до светлости порты маячили бледным пятном на одном месте. Потом Федя переместился повыше, снова остановился, видно, не выдюжил, сел; виднелось теперь только бледно-синеватое пятно рубахи. К вершине, где тропа уже пропадала из глаз, Федя добрался, похоже, на коленках; однако добрался, скрылся за горой.

Алёша прикованно следил за неровным, упорным стариковским ходом, прикидывал свой предстоящий путь на крутую гору, и неожиданная мысль пришла ему: сейчас он будет так же, с ещё большим трудом взбираться наверх, к Семигорью, и много медленнее, чем взбирался Федя. А ведь ему двадцать два, всего двадцать два года! Тогда как Феде — за семьдесят. Если мерить его мерой физических возможностей старого Феди, то война вырвала из его жизни пятьдесят лет. Полвека!.. Он сейчас как семидесятилетний старик! Даже хуже! — без долгой его жизни, без дел, радостей, печалей, какие могли бы быть за пятьдесят лет... Это же целая человеческая жизнь!..

Странная и страшная эта мысль была как удар гулкового колокола, гудела и не замирала; и оторопь, и слабость до холодного пота охватили его. Тяжело нависнув на костыле, не двигаясь, он как-то вдруг прозрел свою будущую жизнь, и страшно ему стало от того, что ждало его. Он долго стоял, ждал, когда прихлынет от сердца к рукам нужная ему сила; опираясь на костыль и палку, сделал шаг, другой и, покачиваясь, тяжело переступая, пошёл к горе.

3

Видная издали, почти на самом берегу Нёмды, стояла одиноко, в давнем наклоне берёза. Алёша с трудом добрался до берёзы, за рекой уже виднелись над тёмной хвоей бора дома поселка. Он всё-таки одолел весь путь, который в бессонности ночи задумал. Ему бы ещё шагов с тысячу — и будет дома. Он сможет посмотреть в глаза отцу, маме, измученно, но почти победно: сегодня он возвратил себе что-то из той жизни, из которой выбила его война.

«Всё хорошо, всё хорошо», — твердил Алёша, переставляя костыль, за ним правую протезную ногу, потом палку, за ней левую, тоже не свою ногу. Он шёл бы дальше, если бы не уже непереносимая боль разодранной и воспаленной в протезах кожи; он делал шаг — сердце останавливалось от боли, культы как будто всовывали в пылающие жаром угли. Шея гнулась под висящим на ремне ружьём; он не знал, что обычное ружьё, которое прежде без заботы он таскал по лесам с рассвета до темна, может оборотиться в казнь. Он обливался потом, едва держался костылем и палкой, но до берёзы, дошёл.

Он помнил: до войны здесь росли из одного корня две одинаково высокие, сильные берёзы; в удобную развилину между стволами он однажды усадил отдыхать Ниночку в одну из редких — Ниночка просто до дрожи боялась чужих глаз! — их прогулок вдоль Нёмды. Теперь одной берёзы не было, кто-то спилил её, и, видимо, давно. Алёша пристроился на высоком, почернелом от непогод срезе, привалился к другому, ещё целому стволу, закрыл глаза. Ствол почему-то был холодный, хотя день выстоял жарким; спиной и затылком он чувствовал глубинный холод берёзы, и, хотя прохлада сейчас была ему приятна, он с толкнувшим сердце чувством вины вспомнил свою, всегда хранящую для него тепло сосну, там, за рекой, в лесу, у которой ясно думалось и успокоенно дышалось.

Протезы теперь он не снимал, знал: боль не даст снова надеть их; не открывая глаз, он только ослабил опутывающие его ремни, чтобы дать отдых занемевшему в неволе телу.

В неподвижности боль как будто затихла. И в живой, никогда не остывающей памяти всплыл такой же вот августовский день сорок первого года: Обоз, увозивший их, суетных, бритых, стеснительных; мама, затерявшаяся где-то в пыли, окутавшей дорогу; и грозовая туча за горой, под которую все они с нетерпеливой дерзостью въезжали. Он помнил мост через Туношну, по разбитому настилу которого колёса увозящих их подвод простучали с добрым грохотом, похожим на выстрелы, и — как будто это было сейчас — сжалось сердце от ощущения невозвратности того, что оставлял он тогда за Туношной... Стараясь уйти от бесполезной сейчас памяти, Алёша заторопился, сполз с высокого пня, перенёс тяжесть тела на протезы и охнул: глаза оплеснуло тьмой, ноги горели, как будто с них сдирали кожу. Стиснув губы, он стоял, заставляя себя привыкнуть, к неотступающей боли. Сделал шаг, другой, попятился, снова прислонился к берёзке: почувствовал — не дойдет.

«Вот и всё, — подумал. — Вот она, черта, отсекающая от жизни. Оказывается, и у человека есть предел возможного. И не дано раздвинуть этот предел ни упорством, ни волей. Кажется, я дошёл до своего предела...» Он смотрел затуманенным болью взглядом через поля на взгорье, где были дома и люди; и не смел и не знал, как людей позвать.

Из многого, что хранила память в том августовском, уводящем на войну дне, он не давал себе вспомнить только Зойку, белым трепетным видением ожидавшую его у расстанной дороги. Он знал свою вину перед ней, перед девичьей её преданностью, им не понятой и не принятой. Он знал, что земное богатство, оставленное им в тот день за Туношной, к которому с надеждой и верой он теперь припадал, может шаг за шагом вернуться к нему; не могла возвратиться в его жизнь лишь удивительная семигорская девчонка, её открытая всему свету, преданная любовь. Он сознавал это с отяжеляющей душу скорбью, как сознавал и справедливость этой, ощущаемой им теперь, может быть, самой великой потери. И, сознавая, не позволял себе трогать притаённую в душе скорбь. Но в этот час одиночества и боли взорванная страдающими чувствами его память опрокинула запреты: он увидел несущееся к нему с придорожного косогора белое, трепетное, живое облако и услышал протяжный, как осенний птичий клик, наполненный разлукой и тревогой девичий голос:

— Алё-ёё-шка!..

И настолько сильны были ощущения того далекого дня, что, он не смел открыть глаза; и с такой яростью он сдавил костыль, что стонала прихваченная, болтами деревянная опора. Заглушить память он не мог и стоял, опустив к груди голову, давал пройти через душу скорбным и светлым видениям.

Когда поутихла наконец душевная сумятица и Алёша возвратился в день, в котором сейчас был, и снова явственно ощутил и свое одиночество, и меру своей беспомощности, и поднял от груди голову, и посмотрел в даль низкого предвечернего неба, он увидел, как от Семигорья, — не от середины, не от прогона, откуда выходила дорога к Нёмде, — а от крайнего, ближнего к Волге дома, отделилось и заскользило вниз вдоль некошенных хлебов светлое быстрое пятнышко. Алёша даже не удивился: прошлое было в нем, оно было в сегодняшнем дне, видение прошлого продолжалось; он знал, что видит то, что хранит его память. И только когда белое пятнышко обозначило себя на луговине, на которой он был, и уже не в пятнышке — в белом облачке он увидел бегущую к нему девчонку, он напрягся до ледяного холода в лице, придавил себя к берёзе и замер, как будто должна была сейчас окончиться его жизнь.

Зойка налетела как стремительный, упругий, обжигающий ветер; с раскиданными по лбу, по щекам, по губам волосами, она, на последних шагах, будто втянутая магнитной силой, вникла лицом в его грудь, охватила его плечи и, целуя в подбородок, в щёки, в губы, сдвигая с носа очки, измазывая радостными слезами, обретённо, счастливо твердила: «Алёша... Алёша...»

Она оторвала от груди мокрое, смеющееся лицо, заглядывая в его растерянные глаза чёрными, блестящими, как речные камушки-окатыши, глазами, виноватясь, радуясь, смеясь, быстро говорила:

— Я же только-только вернулась! Дядя Федя увидел, кричит, беги, тебя Олёша ждет!.. Я как побёгла! Ну про всё на свете забыла!... Алёша... Алёша... Вот какой ты стал, Алёша! Ещё красивей. Ещё лучше!

Алёша, уронив костыль, смятённо сжимал Зойку железными своими ручищами, жался стыдящимся лицом к её волосам, пахнущим теплом и полем, и не давал ей поднять головы, чтобы не увидела она прожигающие его глаза слёзы.

Зойка первая пришла в себя. Как-то деловито обеспокоилась одной ей известным беспокойством, навесила себе на шею ружьё, подняла с земли костыль, заботливо подставила ему под локоть, другую его руку примостила на своём плече, прижала крепко своей рукой. Осторожно, настойчиво отстранила его от берёзы, сказала в сосредоточенности, по давней девичьей своей привычке растягивая слова:

— Пошли, Алёша. Потихонечку. Далёко-о-о нам ещё идти!..

1973—1982 гг.



ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Глава 1 – Июль 41-го</i>	<i>стр. 4</i>
<i>Глава 2 – Переправа</i>	<i>стр. 32</i>
<i>Глава 3 – Годиночка</i>	<i>стр. 52</i>
<i>Глава 4 – Под Москвой</i>	<i>стр. 62</i>
<i>Глава 5 – Иван Митрофанович</i>	<i>стр. 75</i>
<i>Глава 6 – Пахота</i>	<i>стр. 81</i>
<i>Глава 7 – К фронту</i>	<i>стр. 107</i>
<i>Глава 8 – Старшина Авров</i>	<i>стр. 121</i>
<i>Глава 9 – Добрые люди</i>	<i>стр. 143</i>
<i>Глава 10 – Комбат-два</i>	<i>стр. 154</i>
<i>Глава 11 – На берегах</i>	<i>стр. 166</i>
<i>Глава 12 – ППГ-4</i>	<i>стр. 194</i>
<i>Глава 13 – Письмо</i>	<i>стр. 219</i>
<i>Глава 14 – Уполномоченный</i>	<i>стр. 227</i>
<i>Глава 15 – Ольга</i>	<i>стр. 235</i>
<i>Глава 16 – Атака</i>	<i>стр. 245</i>
<i>Глава 17 – Юрочка</i>	<i>стр. 269</i>
<i>Глава 18 – Лена</i>	<i>стр. 281</i>
<i>Глава 19 – Снова Авров</i>	<i>стр. 295</i>
<i>Глава 20 – Лицом к лицу</i>	<i>стр. 303</i>
<i>Глава 21 – Иван Петрович</i>	<i>стр. 342</i>
<i>Глава 22 – Возмездие</i>	<i>стр. 358</i>
<i>Глава 23 – Память</i>	<i>стр. 368</i>
<i>Глава 24 – Тихий день</i>	<i>стр. 378</i>
<i>Глава 25 – У Феди-Носа</i>	<i>стр. 392</i>
<i>Глава 26 – Иван-чай</i>	<i>стр. 404</i>
<i>Глава 27 – О, жизнь</i>	<i>стр. 407</i>
<i>Глава 28 – У счастливых</i>	<i>стр. 415</i>
<i>Глава 29 – Волга</i>	<i>стр. 437</i>

За основу настоящего переиздания романа взята публикация:
Корнилов В.Г. Избранное. Т. 2: Годины: Роман – М. Современник, 1990

В настоящей публикации приведены копии обложек и портрет писателя с изданий:

- *Годины*: Роман. - Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1983.-352 с.;ил.;
- *Годины*: Роман. - М.: Современник, 1985.-447 с.;
- *Годины*: Роман. - М.: Худож. лит., 1987.-127 с.

***Настоящая публикация подготовлена и осуществлена силами и средствами
НКО «Гуманитарный фонд «СВЕТ» имени писателя В.Г.Корнилова***

<http://kornilovfund.narod.ru>

Ответственный редактор публикации – Корнилов И.В.

Контакты по e-mail:
fundkornilov@gmail.com; kornilovfund@yandex.ru

